Александр Городницкий

Атланты

Моя кругосветная жизнь

SHOUT
SHARE IT

Annotation

К 80-летию прославленного барда! Полное издание мемуаров живого классика, чьи песни «Атланты держат небо», «У Геркулесовых столбов», «Над Канадой небо сине», «От злой тоски не матерись» и др. стали настоящим гимном «шестидесятников», а его имя стоит в одном ряду с такими гениями, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Александр Галич, Юрий Визбор. В честь Александра Городницкого названы малая планета Солнечной системы и перевал в Саянских горах, а его телепередача «Атланты. В поисках истины» признана одной из лучших научно-популярных программ нового тысячелетия. Будучи главным научным сотрудником Института Океанологии Российской Академии Наук, Александр Моисеевич объездил весь мир, плавал по всем океанам, много раз погружался на морское дно в подводных обитаемых аппаратах (в том числе и на глубины более четырех километров), был на Северном полюсе и в Антарктиде, участвовал в поисках легендарной Атлантиды… Обо всем этом – о научных экспедициях и дальних странствиях, сенсационных открытиях и незабываемых встречах, о стихах и песнях, довоенном детстве и Блокаде, переломах истории и смене эпох – он рассказал в своей книге. Это издание – не просто мемуары; больше, чем путевой дневник – знаменитый поэт и ученый не только вспоминает прошлое, но и размышляет о будущем: какие тайны и открытия ждут нас за «Геркулесовыми столбами» обыденности, за пределами привычного мира…

- Александр Городницкий
  - Предисловие
  - Васильевский остров
  - Ленинградские дети рисуют войну
  - Новая Голландия
  - Отечество нам – горный институт
  - Глеб-гвардии Семеновского полка
  - На материк
  - Паруса «Крузенштерна»
  - Жена французского посла
  - Чистые пруды
  - Острова в океане
  - Песни нашего века
  - За линией рампы
  - Остров Израиль
  - Уроки немецкого

- Парижские каштаны
- Преодолевая Америку
- Кенгуру под дождем
- Хелло, Джуди
- Атланты в поисках истины
- Портреты на стене
  -
  - «Я говорил от имени России»
  - «Повремени, певец разлук»
  - Последний летописец
  - «Единственный свидетель уходящего столетия»
  - Имени Окуджавы
- Вместо послесловия

Александр Городницкий
Атланты. Моя кругосветная жизнь

Предисловие

Моя память с возрастом, как и слабеющее зрение, делается дальнозоркой – я начисто забываю события недавних дней и неожиданно для себя отчетливо вижу разрозненные картинки довоенного детства. Так, например, мне ясно вспоминается, как в 1936 году с Андреевского собора, неподалеку от которого стоял наш дом на Васильевском острове, срывали кресты. Примерно в то же время была взорвана часовня Николы Морского на Николаевском мосту, названном так по этой часовне. После революции мост переименовали в честь лейтенанта Шмидта. Саму же часовню, по преданию, не трогали до смерти академика Ивана Петровича Павлова, жившего в «Доме академиков» на углу 7-й линии и набережной Невы. Великий физиолог был верующим и регулярно посещал эту часовню. Сразу же после его смерти часовню взорвали, но то ли постройка была крепкой, то ли взрывчатку пожалели, а вышло так, что распалась она на три большие части, которые долго потом разбирали вручную. Отец рассказывал, что мы с ним как-то проходили мимо взорванной часовни, и я спросил у него: «Папа, когда ее склеят?» Теперь мосту вернули старое название, а часовню собираются восстановить.

Ненастным ноябрьским днем 1982 года в небольшом, неподалеку от Тюмени, в музее декабристов, устроенном в старой почерневшей от времени избе, в которой долгие годы жил ссыльный Матвей Иванович Муравьев-Апостол – брат казненного Апостола Сергея, – я увидел странный экспонат. Это была старая толстостенная винная бутылка из темного стекла. Уже не надеясь вернуться в столицу, Матвей Иванович, забытый всеми, положил в эту бутылку записку о себе и уже ушедших из жизни друзьях-декабристах, а бутылку спрятал под половицу возле печки. Как будто не томился в ссылке в заснеженном сибирском городке, а тонул в бурном штормовом океане. Он был уверен, что про их поколение никто давно не помнит. Бутылку с запиской нашли уже в XX веке…

Несколько лет назад мной вместе с профессиональными «киношниками» была начата большая работа над документальным автобиографическим фильмом «Атланты держат небо…», 34 серии которого были закончены в 2011 году. Мне пришлось снова входить в дома и квартиры, где я когда-то жил, ездить в города, где я бывал молодым, разыскивать старых друзей, большинство из которых умерли или уехали зарубеж, и я понял, что поиски прошлого – вещь неблагодарная. Под

объективом оператора я сидел на подоконнике в узкой комнате на пятом этаже дома на Мойке, 82, где прожил с родителями более десятка лет, смотрел на Исаакиевский собор напротив, пытаясь вспомнить свою юность, и ничего не испытывал, кроме тоски по ушедшим и острой ностальгии по себе. И все-таки мне хотелось бы повторить попытку Муравьева-Апостола и бросить свою бутылку в бушующий океан времени.

В 2011 году на концерте в Казанском университете я получил записку: «Уважаемый Александр Моисеевич! Не кажется ли вам, что авторская песня сегодня окончательно выродилась? Поют «под минус», поют «под плюс», вместо стихов какие-то пошлые тексты. Какое счастье, что вы до этого не дожили!» Смешная эта реплика заставила меня с грустью подумать о том, что минувший век, с которым связана большая часть моей жизни, стремительно и невозвратно уходит в прошлое и становится историей, обрастая легендами и небылицами.

Я – представитель поредевшего поколения «шестидесятников», перешагнувший через рубеж тысячелетий, дожил до времени, когда песни и стихи как будто перестали быть нужны. Те наивные и хрупкие идеалы, которые манили нас в недолгую пору хрущевской оттепели и зыбкое неоднозначное время горбачевско-ельцинских перестроек, оказались призрачными. Авторитарная система, диктатура коррумпированной бюрократии, пришедшая на смену неустойчивой и слабой демократии 90-х годов прошлого века, становится все более циничной и беззастенчивой. Телеэкраны, радиоэфир, газеты, журналы и Интернет наполнены криминалом, кровью и цинизмом. Мракобесие, ксенофобия и неонацизм набирают силу при явном попустительстве властей. Всеобщая усталость, раздражение и разочарование достигли опасного предела.

Тихая, требующая глубоких раздумий стихотворная строка, негромкое звучание гитарной струны, приглашающее к доверительному разговору, – все это осталось в прошлом и сегодня как будто не востребовано. Песен в стране не слышно. Эфир заполнен попсой и так называемым русским криминальным шансоном. Телеэкран забит третьесортными полицейскими фильмами. Через эфир и экран идет последовательная «дебилизация всей страны». Уместно вспомнить, что когда в средневековом Датском королевстве хотели отравить короля, то капали ему яд именно в ухо. Для чего это делается? Не потому ли, что дебилами легче управлять?

Для меня Родина – не только страна, где я родился, но и эпоха, в которой я вырос и жил. И меня невольно охватывает

ностальгия по невозвратно миновавшему времени «поющих шестидесятых», поре недолгих юношеских надежд и первой волны гласности, вызвавшей к жизни среди прочего такое странное явление, как авторская песня, по ушедшим из жизни друзьям. Эта книга – воспоминания не о «себе, любимом», а скорее о минувшей эпохе, в которой мне довелось жить и работать.

Моя жизнь делится примерно на две равные части, по сорок лет каждая. Первая связана с моим родным Питером, где родился, пережил блокаду и, окончив среднюю школу, поступил на геофизический факультет Ленинградского горного института. По окончании института я был принят на работу в Научно-исследовательский институт геологии Арктики, где проработал около семнадцати лет. Каждый год я отправлялся летом на полевые работы в различные районы Крайнего Севера. Там я начал писать песни. В 1964 году побывал на дрейфующей станции на Северном полюсе.

С 1962 года начались мои океанские плавания на борту военного экспедиционного парусника «Крузенштерн». Плавания эти круто изменили мою жизнь. В 72-м я переехал в Москву и перешел на работу в Институт океанологии имени П.П. Ширшова Академии наук СССР. С этого времени начался второй этап моей жизни, с которым были связаны многолетние регулярные экспедиции в различные районы Мирового океана. Мне посчастливилось несколько раз обогнуть земной шар, плавать во всех океанах и даже купаться во всех, в том числе и в Северном Ледовитом (правда, там не по своей воле), побывать в Антарктиде, Австралии и Новой Зеландии, неоднократно погружаться на океанское дно в подводных обитаемых аппаратах, искать легендарную Атлантиду.

Вместе с ведущими отечественными учеными Олегом Георгиевичем Сорохтиным и Львом Павловичем Зоненшайном я принимал участие в разработке основных положений теории тектоники литосферных плит, которая произвела революцию в науках о Земле. И чем более я погружался в научную работу, тем дальше уходил от понимания многих научных постулатов, которые в студенчестве казались ясными и простыми. Это относится к устройству геомагнитного поля, к происхождению жизни на Земле и многому другому.

В 2007 году мне позвонили из моего родного Питера и пригласили принять участие в вечере «Звездные имена Петербурга», вместе с другими моими земляками, в честь которых названы малые планеты Солнечной системы. Так, неожиданно для себя я узнал, что в 1999 году по решению Российской академии наук моим именем была названа малая планета

№ 5988 в созвездии Весов диаметром девять километров. Пару лет спустя мне прислали письмо из Сибири, в котором сообщалось, что моим именем назван перевал в горах Восточного Саяна. Известия как будто радостные, но мне от них почему-то стало грустно.

В последние годы ансамбль «Песни нашего века» выпустил несколько альбомов, персонально посвященных творчеству уже ушедших из жизни бардов – Окуджавы, Визбора, Высоцкого, Берковского. Год назад я случайно узнал, что они начали записывать диск с моими песнями. «Ребята, – сказал я братьям Мищукам, – я же еще живой!» На это они мне ответили: «Не волнуйтесь, мы его еще не записали». Теперь они уже его записали.

Жизнь моя пошла на последний поворот, как поется в старой песне «Перекаты», и мне хотелось бы успеть рассказать о людях, которые сыграли в ней немалую роль и которым я благодарен за формирование в моей душе того, что не очень точно называется мировоззрением. В книгу вошло немало стихов и песен, иллюстрирующих написанное. Автор считает своим приятным долгом выразить сердечную благодарность Наталии Аккуратовой, Яне Любарской и Игорю Петровскому за помощь в подготовке книги к изданию.

Когда-то в песне, появившейся в далеком 1970 году, я написал такие строчки:

> Пусть годы с головы дерут за прядью прядь.
> Пусть грустно оттого, что без толку влюбляться, —
> Не страшно потерять уменье удивлять, —
> Страшнее потерять уменье удивляться.

Так что старым я себя пока не считаю.

Васильевский остров

От рождения островитянин,
Я спокоен и весел, когда
За трамвайными блещет путями
В неподвижных каналах вода.
Никогда я на море не трушу,
Доверяя себя кораблю.
Не люблю я бескрайнюю сушу,
А бескрайнее море люблю.
Мне далекие архипелаги
Приносил на заре океан,
Где вились разноцветные флаги
Неизвестных до этого стран.
От Колгуева до Гонолулу,
От Курил и до Малых Антил,
Привыкая к прибойному гулу,
Я их в юности все посетил.
Собирал деревянные маски,
С аквалангом нырял между дел
И на идолов острова Пасхи
С суеверным восторгом глядел.
Но ходившему Зундом и Бельтом,
Больше дальних морских берегов,
Полюбилась мне невская дельта —
Полинезия в сто островов.
Изучивший от веста до оста
Океана пронзительный цвет,

Полюбил я Васильевский остров,
В мире равных которому нет.
Где весною на запад с востока
Проплывают флотилии льда
И у Горного, возле футштока,
О гранит ударяет вода.

Мы старые островитяне…

Вадим Шефнер

Я родился на Васильевском острове в Ленинграде и поэтому могу считать себя островитянином. Первые зрительные воспоминания связаны для меня с такой картиной: в начале моей родной улицы, перегораживая ее, сереют грузные корпуса судов, а над крышами окрестных домов торчат корабельные мачты и кружатся чайки.

7-я линия Васильевского острова между Большим и Средним проспектами, где располагался наш дом, беря свое начало от набережной Невы, в конце своем упирается в речку Смоленку. Как известно, по дерзкому замыслу Петра василеостровские линии и должны были быть поначалу не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы. Обывателям же василеостровским вменялось в обязанность иметь лодки, «дабы по этим каналам ездить». Однако первый «санкт-питербурхский» губернатор, вороватый светлейший князь, герцог Ижорский, большую часть отпущенных казной для рытья каналов денег употребил на обустройство своего роскошного дворца на василеостровской набережной, развернув его фасадом вопреки воле государя к Неве вместо здания Двенадцати коллегий. За это Александр Данилович Меншиков был, как известно, бит палкой лично государем, но ничего изменить уже было нельзя. Каналы получились узкие, непроточные и такие грязные, что их пришлось засыпать. Можно считать, что с губернаторами Питеру не везло с самого начала.

Я родился в 1933 году, когда большинство старых питерских названий улиц, площадей, мостов и даже пригородов было уже изменено на новые, послереволюционные. Дворцовая площадь носила имя Урицкого, которого здесь застрелили, Марсово поле называлось Площадью жертв революции. Это название всегда

представлялось мне нелогичным, так как жертвы революции, как мне тогда казалось, – это прежде всего капиталисты и помещики. Невский проспект переименовали в проспект 25 Октября, а Садовую – в улицу 3 Июля. В связи с этим рассказывали анекдот: «Старушка спрашивает: «Скажи, сынок, как мне к Невскому добраться?» – «А вот садись, бабка, на остановке «3 Июля», – как раз к «25 Октября» и доедешь». – «Что ты, милок, – мне раньше надо». Уже после войны, когда отовсюду активно вытравливался немецкий дух, Петергоф был переименован в Петродворец. Другое такое же переименование породило чисто питерскую шутку, непонятную москвичам: «Как девичья фамилия Ломоносова?» – «Ораниенбаум». Интересно, что в годы моего довоенного детства пожилые люди обычно употребляли старые питерские названия, упорно игнорируя советские переименования. Теперь – когда вернули старые названия, – я сам, став пожилым, почему-то предпочитаю привычные моему уху имена моего детства, называя Каменноостровский Кировским, а улицу Первой Роты – Первой Красноармейской.

Будучи коренным василеостровцем (или василеостровитянином?), я всегда интересовался происхождением питерских названий. Так, не без удивления я обнаружил, что название Голодай (отдаленный приморский край Васильевского) к слову «голод» никакого отношения не имеет. Просто заселившие Васильевский остров при Петре иностранцы в конце недели отправлялись сюда на взморье проводить свой «holiday». Название пригородного поселка Шушары по Московскому шоссе тоже появилось при Петре Великом. Там на тракте стояла городская застава, и обывателей, имевших документ, пропускали в столицу, а «беспачпортную шушеру» тормозили здесь, за пределами города, где она и селилась.

Дом № 38 по 7-й линии, где мои родители занимали узкую, как щель, тринадцатиметровую комнатушку с окном, упершимся в черный колодец двора, в коммунальной квартире на втором этаже, был шестиэтажным доходным домом 1909 года постройки. Сама квартира, прежде принадлежавшая, видимо, одной весьма состоятельной семье, до революции была довольно комфортабельной, о чем говорили лепные узоры на высоких потолках прежних больших комнат, рассеченных тонкими перегородками на тесные клетушки.

Свет попадал в наше окошко, только отраженный каким-то другим окном, выходившим в колодец двора. Этот замкнутый стенами двор жил своей отдельной жизнью. Жизнь здесь начиналась ранним утром, когда с Андреевского рынка сюда

привозили на тележке бидоны с молоком и раздавались крики: «Молоко! Молоко!» Потом приходил жестянщик, за ним точильщик ножей, и резкий звук дребезжащих о металлический брусок ножей и вилок будил всю окрестность. До сих пор эти звуки, умноженные колодцем двора, отражающиеся дворовым эхом, живут в моем воображении.

Не так давно со съемочной группой фильма «Атланты держат небо…» я впервые после войны попал в свою старую коммунальную квартиру. И меня охватило странное ощущение, что это был не я, а какой-то другой человек, жизнь которого мне хорошо известна, но которого как бы и не существует. Дом наш, в детстве казавшийся огромным, с высоким лепным фасадом и сохранившейся с дореволюционных времен красивой парадной с литыми бронзовыми украшениями и цветными витражами на стеклах, теперь представляется уже не таким большим. Коммунальная квартира и наша комната оказались совсем уж крошечными и тесными. Да и бульвар перед домом стал совершенно другим. Еще на моей памяти на нем были посажены молодые лиственные деревца. В блокаду их спилили на дрова, а после войны почему-то посадили ели, и всякий раз, проходя по 7-й линии мимо родного дома, я с грустью вспоминаю довоенный лиственный бульвар.

Кстати, когда началась работа над сериалом «Атланты держат небо…», не обошлось без курьезов. Первые серии фильма, снятые в Питере, первоначально монтировались на студии известного режиссера и продюсера Александра Борисоглебского «Русское Теле-Видео». Для расшифровки содержания записей по хронометражу он привлек студенток филфака Самарского университета, проходивших у него практику. И вот я читаю: «Старый еврей идет по улице. Старый еврей входит в подъезд. Старый еврей поднимается по лестнице и звонит в дверь». И вдруг до меня доходит, что старый еврей это я! И ведь ничего не возразишь, – все чистая правда.

Мерцает, отражения дробя,
В зеленой Мойке облачная вата.
Снимаю фильм про самого себя.
Смешно, конечно, но и грустновато.
Припоминаю старое житье:
Васильевский и Линия Седьмая.
Гремит оркестров медное литье.
Обозначая праздник Первомая.
Поют гудки в невидимом порту,
Суля судам счастливую дорогу,

И вкус лимонной корочки во рту
Слабеет, исчезая понемногу.
Потом блокада, орудийный гром,
И дистрофии черная зараза.
Мой старый дом сгорел в сорок втором,
Я с той поры здесь не бывал ни разу.
Я прожил жизнь вдали от этих мест,
О прошлом забывая постепенно.
Зачем вхожу я в старенький подъезд,
Ступая на знакомые ступени?
Зачем смотрю в забытое окно
В чужом дому, смущенный и неловкий?
Соседи переехали давно:
Кто на Смоленке, кто на Пискаревке.
Шумят бомжи под окнами в саду,
Входная дверь клеенкою обита.
Я ничего здесь больше не найду
Из детского утраченного быта.
Не наводи, приятель, объектив,
Не надрывай мне уши, канонада.
Вторично в реку времени войти
Я не могу, да это – и не надо.

К трехсотлетнему юбилею Питера рядом с нашим домом поставили бронзовую фигуру «бомбардира» – петровского сподвижника Василия Корчмина, от которого, по легенде, Васильевский остров получил свое название. За его спиной до войны был кинотеатр «Форум», сгоревший в блокаду, потом кинотеатр «Балтика», а сейчас элитный жилой дом. На другой стороне нашей улицы, на 6-й линии, в Троекуровском особняке, втором каменном строении Петербурга после Меншиковского дворца, находилось отделение милиции. Кстати, в детстве я очень хотел стать милиционером. Меня привлекала их замечательная белая форма и белые каски с двумя козырьками – спереди и сзади. Потом я, конечно, хотел быть пожарным, так как неподалеку располагалась пожарная часть.

На углу 7-й линии и Среднего проспекта, где теперь вестибюль станции метро «Василеостровская», дежурили извозчики в высоких черных пролетках с откидным верхом и лаковыми черными крыльями. Звонкое цоканье конских копыт по еще булыжной мостовой, ржание и всхрапывание лошадей, ласково зазывающие голоса извозчиков, ударяющий в ноздри острый запах лошадиного навоза населяли мертвые каменные

городские просторы реальной жизнью окрестной деревенской природы, вытравленной нынче смертоносной гарью отработанного бензина. Все это вновь приходит мне на память, когда я перечитываю замечательные строки Давида Самойлова: «Звонко цокает кованый конь о булыжник в каком-то проезде».

Мои отец и мать родились в губернском городе Могилеве в Белоруссии, откуда отец приехал в Ленинград учиться в конце 20-х годов. Родителей матери я практически не помню. Они умерли в эвакуации в Свердловске в годы войны. Дед мой по отцовской линии был по профессии шорником и имел в Могилеве собственную мастерскую. Переживший трех царей, он отличался крепким здоровьем, религиозностью и редким трудолюбием. Работал не покладая рук до восьмидесяти лет и умер, простудившись на чьей-то свадьбе в восемьдесят четыре года. Более всего любил париться в русской бане. Отец мой вспоминал, что уже в последние годы жизни деда, приезжая из Ленинграда в Могилев, он возил его на извозчике париться в баню, поскольку без посторонней помощи дед уже добраться туда не мог. В бане, однако, отец старался сесть от деда подальше, чтобы не ошпариться брызгами кипятка, долетавшими из его шайки, так как сам горячего пара не выносил.

У меня хранится чудом уцелевший рыжий и выцветший фотоснимок 1911 года, на котором изображен дед за станком в своей мастерской и стоящий рядом трехлетний отец. Смотря на него, я с грустью думаю, что почти ничего не знаю о своей родословной. Судя по воспоминаниям отца, к большевикам дед относился сдержанно, хотя именно им почему-то, возможно, из-за недостаточного технического образования, приписывал заслугу изобретения радио, которое, как известно, задолго до них придумали Маркони и Попов. «Нет, нет, это сделали они, и сделали специально, – говорил он моему отцу, с опаской косясь на вещающую хриплым голосом черную тарелку репродуктора в углу. – И знаешь зачем? Чтобы никто не мог думать сам. Потому что, если человеку в ухо все время что-нибудь говорят, то он уже сам думать не может».

Много лет спустя, в декабре 1961 года, когда я впервые отправился в океанское плавание на военном экспедиционном паруснике «Крузенштерн», оригинальное высказывание деда нашло неожиданное подтверждение в реплике нашего замполита. Когда я спросил его, почему по принудительной трансляции на судне весь день оглушительно грохочет радио, забивая уши, он ответил: «А это специально, чтобы матрос много не думал. За него другие думают».

Что же касается заблуждения о могуществе большевиков в

области науки и техники, то оно до сих пор бытует довольно широко. Вспоминаю, как в начале 80-х, уже на другом судне, где я прочел для экипажа лекцию о дрейфе континентов, другой замполит спросил у меня: «Скажите, а мы можем управлять движением континентов?» – «Кто это мы?» – переспросил я. «Как это, кто? – удивился замполит. – Конечно, партия и правительство». – «Нет, что вы, – замялся я, – человечество пока не в состоянии управлять таким сложным процессом». – «Плохо работаете, – отрезал замполит, – должны научиться». А в пору перестройки и распада Советского Союза мне домой в Москве позвонил корреспондент Би-би-си. «Профессор Городницкий? Мне вас рекомендовали как специалиста по строению земной коры. Мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали заявление Звияда Гамсахурдии, что большевики специально устраивают землетрясения в Закавказье, чтобы подавить в Грузии движение за независимость». – «Конечно, большевики многое могут, – ответил я, – но специально устраивать землетрясения они, слава богу, еще не научились. Поэтому заявление Гамсахурдии либо глупость, либо, что, вероятнее, – политическая провокация».

Бабушку свою по отцовской линии я помню смутно. Облик ее ассоциируется в памяти с острым ароматом антоновских яблок, лежавших на чердаке в ее могилевском доме, да еще, пожалуй, с торжественным обрядом варки всевозможных варений в сияющем, подобно вечернему солнцу, медном тазу, в процессе чего детям разрешалось лакомиться пенками. Была она непревзойденной мастерицей по части знаменитой еврейской кухни, прежде всего по фаршированию рыбы и изготовлению «тейгелех» – маленьких орешков из теста, вываренных в меду. Двигалась она и говорила тихо. Когда немцы занимали Могилев, в августе 41-го, она, уже покинув дом, решила вдруг вернуться за какими-то забытыми вещами. Она не слишком опасалась прихода немцев, хорошо помня немецкую оккупацию Могилева в 1918 году, когда немцы торговали с местным населением и не вмешивались в его внутренние дела. Вместе с несколькими тысячами могилевских евреев она и ее сестры в октябре 1941 года погибли в местечке Пашково под Могилевом. Это было место, где впервые испытывались немцами печально известные душегубки.

Отец мой своей скромностью, трудолюбием и любовью к порядку пошел в деда. Более строптивым характером обладал его младший брат – Борис, мой дядя, ставший потом профессиональным военным. В 1916 году, пяти лет от роду, когда в Могилев, где размещалась Ставка Верховного командования русской армии, прибыл Николай II, он ухитрился чуть не попасть под царский автомобиль, неожиданно перебежав перед ним

улицу. Происшествие это не обошлось без вмешательства полиции и последующей взятки полицмейстеру, чтобы замять дело. Пятнадцати лет дядя мой добровольцем вступил в Красную Армию. В конце 30-х годов на Дальнем Востоке, где он уже офицером служил в химических частях, чуть не загремел, вместе с другими офицерами их полка, по обвинению в шпионаже в пользу Японии. В отличие от других его тогда в связи с фамилией – Городницкий – обвинили в шпионаже в пользу Польши. Все обошлось по чистой случайности – Ежова сменил Берия, и репрессии были временно приостановлены. Помню, как в 39-м, проездом в Мурманск, «на Финскую», он появился в нашей тесной комнатке на Васильевском в дубленом, остро пахнущем овчиной полушубке, туго перепоясанный портупеей с кобурой, с «кубарями» в петлицах, сразу заполнив своим громким голосом и воинским снаряжением все наше небольшое жизненное пространство. Пережив Отечественную и дослужившись до подполковника, дядя вышел в отставку и поселился в Саратове.

Был он в свое время изрядным сердцеедом. Вспоминаю, как в 1966 году мы вместе с моим тогдашним начальником Николаем Николаевичем Трубятчинским в промозглую осеннюю погоду прибыли в командировку в Находку, в Военную гидрографию, договариваться о совместной экспедиции. В городской гостинице «Восток» пожилая хмурая администраторша нам сказала, что мест нет и не будет, да и вообще гостиница эта для интуристов. «Я знаю, что надо делать, – шепнул мне в ухо Николай Николаевич. – Надо вложить в паспорт два червонца и дать ей». Так я и поступил и сказал, просовывая в окошечко паспорт: «Может быть, мы оставим паспорта на случай, если место вдруг освободится?» – «Да зачем мне ваш паспорт?» – строго спросила администраторша и отпихнула его ладонью. Паспорт упал на ее столик и раскрылся, обнаруживая внутри две красненькие бумажки. К моему удивлению, неприступная дама, даже не взглянув на них, с интересом прочитала мою фамилию и спросила: «Это кто – Городницкий?» – «Я – Городницкий», – несколько смущенный своей популярностью в этом далеком краю, произнес я. «Подождите, – сказала она, вдруг покраснев и начав поправлять свою «химическую» прическу, – вас двухместный люкс устроит? Тогда давайте и второй паспорт». Польщенный таким безотказным действием своей фамилии и приписывая все это, конечно, собственным песенным заслугам, я заполнил наши гостиничные анкетки. Когда я ей их передавал, она спросила: «Лейтенант Городницкий, Борис, вам родственник?» – «Только не лейтенант, а подполковник, – наконец начиная что-то понимать, ответил я. – Дядя мой». – «Ой, у меня смена через час кончается.

Можно, я к вам зайду, вы мне про него расскажете. Всю жизнь его помню!»

Мать моя родилась в многодетной семье, где было семеро детей. Всем им, несмотря на нужду, дали образование. Отец и мать познакомились в 1923 году в школе во время соревнований на лучшую устную газету. В то время в моде были разного рода кружки, один из которых, литературный, собирался обычно в обширной квартире школьных друзей отца Гордонов. Душой кружка был старший из братьев Гриша Гордон, впоследствии ставший журналистом и рано ушедший из жизни. Второй брат – Павел Гордон, – возможно, под влиянием этого кружка стал известным поэтом-переводчиком, взяв себе в качестве псевдонима звучную фамилию Кобзаревский. Переводил он в основном стихи белорусских поэтов, а кроме них – еврейских, латышских и таджикских. Жил он и умер в Ленинграде. До сих пор помню его замечательную библиотеку в квартире на Пятой Красноармейской – угол Московского, неподалеку от старинного каменного верстового столба, поставленного еще при Екатерине II. Его именем названа одна из улиц в Могилеве.

В 1925 году родители расстались. Отец поехал учиться в Ленинград, а мать – в Москву, где пыталась поступить в МВТУ имени Баумана. Она сдала приемные экзамены, но не была зачислена «по социальному положению». Тогда она поступила учиться в педагогический техникум, который окончила в 28-м году. После этого ее направили на работу в Сибирь, в Алтайский край, в глухую деревню Вознесенское Рубцовского района, где впервые организовали школу. В непривычной для нее сибирской обстановке приходилось нелегко, тем более что местные власти всячески старались привлечь ее к коллективизации.

Отец посылал ей письма из Ленинграда чуть ли не каждый день. Он в это время учился в ленинградском фотокинотехникуме, куда поступил в 1926 году. Стипендия ему не полагалась из-за неприглядности социального происхождения – сын кустаря. Приходилось поэтому работать, чтобы прокормиться. В те поры в учебных заведениях существовали на общественных началах трудовые артели, подыскивавшие для студентов временную работу. Через такую артель отец устроился ночным сторожем, поскольку дни были заняты учебой.

Директором фототехникума в годы, когда там учился отец, был профессор Ленинградского технологического института Дмитрий Ильич Лещенко, друживший с первым наркомом просвещения А.В. Луначарским, который, приезжая в Ленинград, всегда останавливался у него. В 1917 году, когда Ленин после

июльских событий скрывался в Разливе, Лещенко фотографировал его для фальшивого удостоверения загримированным под рабочего сестрорецкого завода. В техникуме он читал на первом курсе неорганическую химию, но на его лекции приходило множество студентов со старших курсов. Читал он захватывающе интересно. Рассказывая о химии, часто приводил примеры из истории революционного движения, участником которого был сам.

Помимо работы ночными сторожами и грузчиками, студенты фототехникума время от времени прирабатывали на киносъемках как статисты. Работа эта была легкой, а заработок – вполне приличным. Как раз в это время Эйзенштейн снимал в Ленинграде фильм «Октябрь». Помощниками его были Г. Александров, М. Штраух и М. Гоморов. Оператором фильма был Эдуард Тиссе. Поскольку съемки начались в мае 1927 года, все студенты, в том числе и отец, старались пораньше сдать экзамены, чтобы освободить время. Сдав экзамены досрочно, отец чуть ли не каждый день ездил на съемки то в Смольный, то в Петропавловскую крепость, то на станцию Кушелевка. Наряду с участием в массовках он работал разнорабочим на съемочных площадках, расставлял осветительные приборы, разматывал кабели или подвозил из Арсенала винтовки. Позднее, научившись обращаться с прожектором, он стал осветителем на вечерних съемках.

Отец вспоминал, что в фильме «Октябрь» профессиональных актеров почти не было. Ленина, например, играл рабочий цементного завода Никандров, имевший с ним портретное сходство. Ему пошили костюм, пальто и кепку, а на голове выбрили лысину. В роли Керенского снимался также похожий на него студент университета. Зиновьева играл его настоящий брат, а в роли Троцкого был занят какой-то зубной врач, также обладавший большим сходством с героем. Можно было только поражаться терпению и выдержке Александрова и Штрауха, которые «дрессировали» непрофессиональных актеров. Больше всего возни было с Никандровым, часто не понимавшим, что от него требуется. Обычно на массовках его не показывали. Поскольку отец работал в съемочной группе, ему было поручено привозить Никандрова на съемки в Смольный, где специально была выделена комната для гримировки. На съемочную площадку Никандрова выпускали в самый последний момент. Это производило такое впечатление, что все солдаты и матросы, участвовавшие в массовках, встречали его как настоящего Ленина. Когда он проходил по актовому залу, направляясь к трибуне, не надо было искусственно подогревать «энтузиазм

масс». Присутствующие кричали «ура» и кидали вверх шапки вполне естественно, что и фиксировалось на пленке.

Однажды отцу в очередной раз поручили привезти Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в гостинице «Европейская». Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, его не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним был неожиданный скандал. Он поднялся вечером в уже упомянутый ресторан «Крыша», где кутили татары, и, подсев к ним за стол и изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался и кричал: «Кого забираете, гады! Я – Ленин, я вам свободу дал!» В какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: «Ждите в милиции – мы позвоним Подвойскому». Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом – огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там Никандрову устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации «революционных рабочих и крестьян».

На деньги, заработанные на съемках, отец купил себе шапку, ботинки и большую деревянную фотокамеру формата 13 на 18 для занятий фотографией. Старинный этот фотоаппарат я хорошо помню. Он стоял в нашей комнате на Васильевском и сгорел в блокаду вместе с домом. Помню также необычную фотографию, где отец, игравший в массовке рабочего, снят сидящим между Лениным и Троцким…

В феврале 1930 года мать приехала к отцу в Питер из Алтайского края, где работала учительницей, и они поженились. Все имущество молодой семьи в тринадцатиметровой комнатушке на 7-й линии Васильевского острова, полученной отцом, состояло из ломберного столика, двух стульев, раскладушки и табуретки. Отец в это время работал в фотокинотехникуме и учился заочно в Московском полиграфическом институте. Мать пошла работать учительницей начальных классов в среднюю школу на Восьмой линии и поступила на заочное отделение физико-математического факультета Пединститута имени Герцена, который окончила в 36-м, когда мне было уже три года.

Родители дома почти не бывали – днем они работали, а вечером учились. Поэтому большую часть времени в первые мои четыре года я проводил с няньками. Институт нянек в Ленинграде в начале 30-х был весьма распространенным и вполне доступным даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были в основном женщины средних лет или пожилые из псковских, новгородских или вологодских краев, чаще всего верующие. Отправляясь утром на уроки в школу, мать обычно снаряжала нас гулять. Местами ежедневных прогулок были бульвары на 7-й линии или Большом проспекте, а при дальних прогулках – Соловьевский сад на углу 1-й линии и набережной.

В Соловьевском саду с его стройным Румянцевским обелиском, увенчанным бронзовым орлом и гордой надписью «Румянцева победам», по субботам и воскресеньям играл обычно военный духовой оркестр. Исполнялись по большей части старинные марши и вальсы. Мне почему-то более других запомнился часто звучавший вальс «Осенний сон». Зрительная память связывает с глухими ударами вздыхающего барабана и грустным напевом труб огненно-красную акварель сухих кленовых листьев на песчаных дорожках сада. До сих пор, услышав этот старый вальс, я испытываю странное чувство мечтательной грусти, как будто кто-то теплой и влажной рукой осторожно берет тебя за сердце. Может быть, именно поэтому всю жизнь более всего я люблю вальсы. Навсегда остался в памяти и старинный марш «Прощание славянки», уже через много лет снова вернувшийся ко мне со сцены МХАТа в финале «Трех сестер».

Я люблю духовые оркестры,
Что других мне оркестров нужней.
Это все начинается с детства,
С довоенных забывшихся дней.
Те старинные слушая марши,
Что запомнил тогда наизусть,
Почему-то я делался старше
И впадал в непонятную грусть.
Поистлели нашивки и канты,
Неуместны в эпохе другой,
Те военные спят оркестранты
Кто под Гатчиной, кто подо Мгой.
Позабыть бы давно это надо —
Где обратно дорогу найду?
Догнивает пустая эстрада
В Соловьевском осеннем саду.

Мне оркестр духовой не поможет, —
Впереди холода и дожди.
Отчего же, скажи, отчего же
Снова сердце заныло в груди?
Не вернуть мне васильевских линий.
Что я в жизни хорошего знал?
Все уходит, как в фильме Феллини,
Где всегда неизменен финал.
Где теряешь и дом, и подругу,
И годами налаженный быт,
А оркестр все ходит по кругу
И веселые марши трубит.

Одна из моих нянек, набожная старуха из-под Крестец, во время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский собор на церковные службы, строго-настрого наказав не рассказывать об этом матери. Более всего любила она отпевания. Торжественность мрачноватого этого обряда, усугубляющаяся казавшейся мне странной неподвижностью лежавшего человека, бледное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма, необычно выпевавшиеся слова, терпкий запах плавящегося воска – все это внушало тоску, побуждало скорее выйти наружу, под яркий солнечный свет, на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. Я не мог разгадать пугающей тайны смерти и понял тогда только одно: смерть – это неподвижность. В 36-м с собора сорвали кресты, и церковь свое существование прекратила.

Вместо свергнутого Бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прибивали странный знак Осоавиахима – с винтовкой, пропеллером и противогазом, напоминающий языческий тотем, который должен был защитить жилище от беды. Увы, не защитил.

Поскольку мать и отец нередко возвращались домой поздно, спать меня в раннем детстве, как правило, укладывали няньки, так что я хорошо запомнил и полюбил старые колыбельные песни, которые они пели. Больше других запомнились мне две песни. Одна из них начиналась строчками:

Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Вторая, которую, я, конечно, так же как и первую, услыхав впервые от своих нянек, считал народной, начиналась так:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман:
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.

Уже через много лет я сильно удивился, узнав, что слова одной песни принадлежат Якову Полонскому, а второй – другу Пушкина Антону Дельвигу. Именно эти песни всплывают в моей памяти как одни из первых в жизни.

Стена, как Ванька-встанька,
От двери до угла.
Поет мне песню нянька
Про солнце и орла,
Крестецкою растяжкой
Коверкая слова.
Садится солнце тяжко
В окне за острова.
Орел, избегнув сети,
Летит к себе домой.
Струится теплый ветер
По линии Седьмой.
Июньское бесцветье
И тридцать пятый год.
Струится пыльный ветер
Вдоль запертых ворот,
У близкого причала
Качая корабли.
Вот здесь мое начало
И край моей земли,
Где то, что в коммуналке,
И то, что за стеной,
Покачивает валко
Единою волной
Та песня, что надолго
Мне на душу легла,
Как ощущенье дома,
И света, и тепла.

Что касается самого Пушкина, то первая картинка, увиденная

мной на стене нашей узкой комнатки, – большой, работы Тропинина, портрет Пушкина с перстнем на пальце. Отец вырезал эту литографию из какого-то журнала и повесил над моей кроватью. Так что с Пушкиным я знаком почти с самого рождения.

А с улицы из черных репродукторов гремели другие песни и марши, заполняя собой окружающее пространство и призывая воевать и строить: «Нам нет преград на море и на суше», «Мы железным конем все поля обойдем», «Сталин – наша слава боевая». От песен этих становилось весело и тревожно, хотелось маршировать вместе со всеми, бороться и обязательно побеждать. Только через много лет, привыкший к этим песням, как к неотъемлемой части моей жизни, я вдруг обратил внимание на то, что почти ни в одной из них нет местоимения «я» – вместо него всегда безликое «мы». Так исподволь, через песни, в подсознание слушающих вливалась привычка все делать строем, по команде: сеять, строить, воевать, ненавидеть и даже любить. Сейчас, когда в дни Первомая или 7 ноября я вижу на улице редеющие группы плохо одетых стариков с орденскими колодками, размахивающих красными флагами и распевающих надтреснутыми голосами эти старые песни, сердце мое сжимается от жалости к ним и горечи за наше обманутое поколение.

Что же касается песен времен революции, то их тоже, конечно, пели, но постепенно они как бы уходили из жизни. Это относилось и к «Варшавянке», и к «Вы жертвою пали в борьбе роковой», и ко многим другим песням. Набирающему силу авторитарному режиму, хотя еще и называвшему себя революционной властью, такие песни были уже не нужны.

Мне вспоминается небезопасная шутка отца. Мы с ним стояли на краю тротуара на Большом проспекте, а мимо нас шагом двигался кавалерийский эскадрон в буденовках с алыми звездами и шишаками сверху. Эскадрон лихо распевал «Интернационал». Когда я спросил у отца, для чего на буденовках эти суконные шишечки сверху (их еще называли «громоотводами»), он, усмехнувшись, сказал: «А ты слышишь, они поют: «Кипит наш разум возмущенный?» Вот через них пар и выходит».

Моя теща, Нина Ивановна Сундарева, как-то в разговоре заметила, что почти все песни революции – переводные, пришедшие к нам с Запада, – ни одна из них практически не родилась в России. Это и «Интернационал», и «Марсельеза», и та же «Варшавянка». Красноармейцы на Гражданской войне, у костров, подальше от бдительных комиссаров, эти песни не пели. Они предпочитали петь «Ермака» и другие народные песни. Часто одни и те же песни пели и белые, и красные. О чем это

говорит? Не о том ли, что сам дух революции, бунта «бессмысленного и беспощадного», чужд российской душе? Вслушайтесь в раздумчивый тон русских народных песен, вы не отыщете в них и следа грозных мятежей, не раз сотрясавших империю. Даже гениальная стилизация Блока в «Двенадцати»: «Уж я ножичком полосну, полосну» кажется на этом фоне чужеродной и явно звучит из уст маргиналов, которым «на спину б надо бубновый туз».

В 33-м году отец перешел на работу на Картографическую фабрику Военно-морского флота, где проработал почти всю жизнь – около тридцати пяти лет. Имя его не раз упоминается в книгах, посвященных истории гидрографии ВМФ в нашей стране.

Даже в те дни, когда отец и мать были вечером дома, они, как правило, работали. Мать проверяла бесконечные ученические тетради, а отец готовился к занятиям или штудировал очередную полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам, засыпая, я видел отца или мать, склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Зрелище это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец ненадолго освобождался и мы отправлялись гулять. Основным местом этих гуляний была набережная Невы, куда няньки не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир.

Под сырым пронизывающим до костей балтийским ветром поскрипывали у причалов самые разные суда – от гигантских (так мне тогда казалось) пароходов до маленьких, густо дымивших буксиров, которые все почему-то носили имена героев Великой французской революции – «Сен-Жюст», «Демулен», «Робеспьер». Веселые матросы курили на палубах. Иногда там же можно было услышать звуки баяна и лихие матросские песни, из которых запомнилась: «По морям, морям, морям, морям. Нынче здесь, завтра там». За маленькими круглыми окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь – уже не на земле, а в другой, хотя и близкой – не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это детское ощущение сладкой притягивающей тревоги и непреодолимого любопытства я вспомнил уже взрослым, когда впервые прочел строки Осипа Мандельштама: «Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло».

Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской стороне. Туда надо было ехать на трамвае, хотя и не слишком далеко, а все-таки – настоящее путешествие через мосты. Трамваи тогда были с открытыми площадками и колокольчиком,

объявлявшим отправление. Вечером на них зажигались разноцветные огни – для каждого маршрута свой, чтобы можно было опознать в темноте нужный номер. Сейчас трамваев в Питере почти не осталось. Их вытеснили на дальние окраины пахнущие бензином автобусы и маршрутки. А жаль.

Прощай, трамвай, прошла твоя пора.
Ты вровень стал с ненужными вещами.
Тебе вчера лишь оды посвящали,
А нынче выгоняют со двора.
Прощай, трамвай, не надо лишних слов.
Ты в прошлое ушел. Не на тебе ли
Сквозь питерские черные метели
Летел навстречу смерти Гумилев?
На рубеже изменчивых времен
Не ты ли вызывал в сердцах стесненных
Церквей, большевиками разоренных,
Из детства возвращенный перезвон?
В блокадные лихие времена,
Будя людей неугомонным звоном,
Внушал ты горожанам истощенным —
Мы победим, и кончится война.
Прощай, трамвай, тебе уж не звенеть
По площадям и набережным старым.
Тебя автобус не заменит впредь,
Бензиновым чадящий перегаром.
Забуду ли мальчишеских времен
Былой азарт? По островам зеленым
Ты двигался к футбольным стадионам,
Обвешанный людьми со всех сторон.
В далекие студенческие дни
Ты неизменно доставлял нас к цели,
Через дожди, туманы и метели
Светили разноцветные огни.
Теперь к поре не возвратишься той,
Когда во тьму мы вглядывались зорко,
Где шла зеленоглазая «семерка»
И желтоглазый шел «двадцать шестой».
Прощай, трамвай, ты устарел давно.
С тобою завтра встретимся едва ли.
Те парки, где трамваи ночевали,
Распроданы теперь под казино.
Прощай, трамвай, скорее уезжай.
Твой звон я не услышу спозаранку.

Ты вытеснен сегодня за Гражданку,
За Купчино, за Охту, за Можай.
Прощай, трамвай, судьба твоя темна.
Мы оба – уходящие натуры,
Два персонажа той литературы,
Которая сегодня не нужна.

В зоопарке, налюбовавшись на слонов, жирафов и львов, мы обычно шли кататься на «американские горы». Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала вверх и стремительно неслась вниз по крутым головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце замирало от ужаса и восторга.

Кстати, именно здесь, на Петроградской, несколько позднее, когда я уже мог по складам читать объявления на стенах и вывески, я сделал неожиданное для себя открытие. Зная наизусть «Доктора Айболита», я пришел в восторг, увидев на угловом доме надпись: «Бармалеева улица». Вот оно что, оказывается, даже улица есть в честь Бармалея! Мне тогда, конечно, было невдомек, что все как раз наоборот. Здесь прежде жил богатый английский купец Бромлей, по фамилии которого и была названа улица, а уже по названию улицы придумал Корней Чуковский имя своему герою.

В последние годы, приезжая в Питер, я часто останавливался на Петроградской стороне в квартире моего друга, исследователя литературы Серебряного века и творчества обэриутов профессора Александра Аркадьевича Кобринского. До своего переезда, жил он на улице Подковырова, параллельно которой идут улицы Подрезова, Бармалеева и Плуталова. Само перечисление этих чудесных названий уже почти готовая стихотворная строчка. Несколько лет назад я написал песню «На Петроградской», которую профессору Кобринскому и посвятил:

Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.
Успокой меня, нетрезвого,
Подбодри меня, усталого.
Ах, родная Петроградская,
Меж Большой Невой и Невкою!
Там примеры нынче брать с кого?
Там влюбляться больше не в кого.

Почему в моих глазах тоска,
На губах моих ирония?

По Введенской и по Лахтинской
Ходят люди посторонние.
Ходят с вечера до вечера
По Зверинской и по Гатчинской.
Здесь искать мне больше нечего —
Все былое смыто начисто.

Бармалеева, Плуталова, —
Только разве дело в имени.
Все подруги стали старыми,
Все друзья мои повымерли.
Ты меня припомни резвого,
Дай мне запах снега талого,
Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.

Любил я и праздничные демонстрации, особенно первомайские, куда отправлялся либо с мамой и ее школой, либо с отцом. Второй вариант был гораздо привлекательней, поскольку колонну картфабрики обычно возглавлял большой военно-морской оркестр, да и в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло иллюзию причастности к морю. Да и сама морская форма осталась любимой на всю жизнь.

Когда в марте 1985 года неожиданно выяснилось, что у отца рак легких и оперировать его бесполезно, я, пытаясь отвлечь отца от размышлений о болезни, уговорил его начать писать воспоминания о своей жизни. Поначалу он никак не мог к ним приступить, но, будучи человеком крайне трудолюбивым, понемногу втянулся в это занятие и успел написать довольно много. Уже после его смерти, внимательно прочитав написанное, я еще раз ощутил горькое чувство сиротства, незнания своих, даже самых, казалось бы, близких корней.

Из записок его я узнал многое, о чем при нашей многолетней жизни в одной комнате даже не догадывался, – например, о том, как в 49-м году, когда началась «борьба с космополитами», отца чуть не посадили по ложному доносу, и наших соседей по квартире вызывали в Министерство государственной безопасности, чтобы они дали на него показания. К счастью, все наши соседи были людьми порядочными.

Более всего отец любил книги, которым, будучи полиграфистом, посвятил свою жизнь: работу на картфабрике он совмещал с преподаванием в Ленинградском полиграфическом техникуме и Промакадемии, а выйдя на пенсию, руководил

дипломными проектами и принимал постоянно участие в конкурсных комиссиях Ленинградского общества научно-технических изданий, заместителем председателя которого был много лет. Беря в руки красиво изданную книгу, он всегда радовался. Как-то он сказал, что брать в руки неряшливо изданную или грязную и затрепанную книгу хорошего автора так же неприятно, как общаться с умным и талантливым человеком в грязной и рваной одежде.

Судя по воспоминаниям отца, читать я научился по газетным буквам к пяти годам, а стихи запоминал со слуха довольно легко и очень любил читать их во время прогулок совершенно незнакомым людям. Вот что написал в своих записках отец без тени юмора: «На бульваре Алик мог подойти к сидящему на скамейке человеку и спросить: «Дядя, вы знаете стихи про челюскинцев?» Если тот говорил – нет, Алик выпаливал ему это стихотворение от начала до конца. Вот откуда у него появилась любовь к публичным выступлениям».

Почти каждое лето родители выезжали вместе со мной в Белоруссию – в Могилев или под деревню Полыковичи, «на Полыковские хутора». После тесной василеостровской комнатушки и питерских дождей белорусская солнечная деревенская вольница казалась сказочной. В памяти смутно брезжат протяжные белорусские песни, и до сих пор звенит в ушах лихая «Лявониха» с замечательными четырехсложными рифмами: «Лявониха – душа ласковая, черевичками поляскивала».

Не браню своих дней остаток,
Собирая в дорогу кладь.
Бог послал мне восьмой десяток,
А ведь мог бы и не послать.
Я в грядущем себя не вижу:
Дунет ветер – и нет меня.
Мне сегодня прошлое ближе
День становится ото дня.
Постепенно впадая в детство,
Как и прочие старики,
Я пытаюсь в него вглядеться,
Ветхой памяти вопреки.
Вспоминаются, как ни странно,
Ветки яблонь над головой,
Проступающий из тумана
Год далекий сороковой.
Вспоминаю седой от пыли

Белорусский пологий шлях,
Где с родителями мы жили
На Полыковских хуторах.
Довоенного дня горенье
Убирает фитиль в окне.
Доспевает в тазу варенье,
И обещаны пенки мне.
Слитки яблок лежат под крышей.
Мать смеющаяся жива.
Где теперь я еще услышу
Эти ласковые слова?
Сладко пахнет ванилью тесто,
Полыхает, как солнце, медь.
Для того и впадаем в детство,
Чтоб счастливыми умереть.

Собирались мы поехать в Белоруссию под Могилев и в 1941 году, но в мае отцу задержали зарплату, не на что было купить билеты, и родители сняли дачу под Вырицей в Ленинградской области. Это нас спасло.

В 40-м году у меня вдруг отыскали музыкальный слух, и родители загорелись идеей обучать меня музыке. В начале 41-го отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник по полиграфии «Производство клише для высокой печати», который ему перевели на сберегательную книжку. Было решено купить пианино, однако внезапно грянувшая война порушила эти наивные планы. Что касается вклада на сберкнижке, то мать смогла получить его только в 44-м, в эвакуации, в Омске. На эти деньги на целую неделю накупили хлеба, масла и яиц. Так что не могу сказать, что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоит выеденного яйца.

В том же 40-м году меня отдали для подготовки к школе в частную немецкую группу, где попутно обучали немецкому языку, столь же модному тогда, как теперь английский. Занятия вела опрятная невысокая старушка Агата Юльевна. Мы изучали немецкий алфавит, ставили какие-то пьески на немецком языке, разучивали песенки. Однако времени на изучение немецкого мне также не хватило – началась война.

Колыбельная на три такта.
Отлетающей стаи крик.
Вспоминаешь про детство? Так-то:
Это значит, что ты старик.

В календарь и на паспорт глянь-ка,
Вспоминая далекий год.
Эту песню негромко нянька
Над тобою в ночи поет.

Довоенные бодры марши,
Молодая шумит листва.
Солнце красной косынкой машет,
Уплывая за острова.
Там костюмы другой эпохи,
Там газеты сулят беду.
И оркестра глухие вздохи
В Соловьевском слышны саду.

Колыбельная на три такта
Возвращает меня назад,
На родную мою Итаку,
В мой покинутый Ленинград.
Там баюкает спящих вьюга,
Там морозная бирюза.
Обними же меня, подруга,
И в мои загляни в глаза.

Ты увидишь в них синь залива
Довоенных забытых лет,
И зеленое пламя взрыва,
И прожектора дымный свет.
И когда по ночному тракту
Я отправлюсь к себе домой,
Колыбельную на три такта
Мне вдогонку негромко спой.

Колыбельную на три такта
Надо мною негромко спой.

Ленинградские дети рисуют войну

День над городом шпиль натянул, как струну,
Облака – как гитарная дека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе двадцатого века.
Им не надо бояться бомбежки ночной,
Сухари экономить не надо.
Их в эпохе иной обойдет стороной
Позабытое слово «блокада».

Мир вокруг изменился, куда ни взгляну.
За окошком гремит дискотека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе двадцатого века.
Завершились подсчеты взаимных потерь,
Поизнетилось время былое.
И противники бывшие стали теперь
Ленинградской горючей землею.

Снова жизни людские стоят на кону,
И не вычислить завтрашних судеб.
Ленинградские дети рисуют войну,
И немецкие дети рисуют.
Я хочу, чтоб глаза им, отныне и впредь
Не слепила военная вьюга,
Чтобы вместе им жить, чтобы вместе им петь,
Никогда не стреляя друг в друга.

В камуфляже зеленом, у хмеля в плену,
Тянет руку к машине калека.
Ленинградские дети рисуют войну
На исходе двадцатого века.
И соседствуют мирно на белом листе
Над весенней травою короткой
И немецкая каска на черном кресте,
И звезда под пробитой пилоткой.

Для меня война началась не 22 июня, а 1 мая 1941 года, на первомайской демонстрации, на которые я любил ходить вместе с отцом. Колонна Картографической фабрики ВМФ, двигавшаяся по улице Герцена, которой сейчас вернули прежнее,

дореволюционное, название Большая Морская, через Исаакиевскую площадь, ненадолго остановилась у здания немецкого консульства, на котором развевался огромный красный флаг с белым кругом и черной свастикой посередине. Тогда мы еще дружили с Третьим Рейхом. Уже потом, в черную зиму блокады и в сибирской эвакуации, мне как страшный сон, как кошмар виделся этот гитлеровский флаг, развевающийся над моим родным Ленинградом.

Полыхает кремлевское золото.
Дует с Волги степной суховей.
Вячеслав наш Михайлович Молотов
Принимает берлинских друзей.
Карта мира верстается наново,
Челядь пышный готовит банкет.
Риббентроп преподносит Улановой
Белых роз необъятный букет.

И не знает закройщик из Люблина,
Что сукна не кроить ему впредь,
Что семья его будет загублена,
Что в печи ему завтра гореть.
И не знают студенты из Таллина
И литовский седой садовод,
Что сгниют они волею Сталина
Посреди туруханских болот.

Пакт подписан о ненападении —
Можно вина в бокалы разлить.
Вся Европа сегодня поделена —
Завтра Азию будем делить!
Смотрят гости на Кобу с опаскою.
За стеною ликует народ.
Вождь великий сухое шампанское
За немецкого фюрера пьет.

Я отчетливо помню ясный июньский день, когда отец приехал из города на дачу и сказал, что началась война. В это трудно было поверить – вокруг стояла невозмутимая летняя тишина, и казалось, что ничего не изменилось. Однако изменилось многое. Почти сразу после начала войны, в июле 41-го, моя мать вместе с начальными классами своей школы выехала, забрав меня с собой, в деревню, под Валдай. В соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед Финской войной в 39-м году,

туда отправили несколько десятков тысяч ленинградских детей. Как вскоре выяснилось, вывезли нас практически навстречу немцам… Уже в первый месяц войны Вермахт вплотную подошел к Валдаю, в то время как Ленинград еще был относительным тылом. Вспоминаю, как громыхали на западе орудийные залпы, горело небо, через деревню тянулись обозы с беженцами и медсанбаты. Линия фронта стремительно приближалась. Многие родители кинулись из Ленинграда за своими детьми, чтобы забрать их обратно. В августе одним из последних эшелонов нас с матерью вывезли в Питер. Помню бомбежку на станции Малая Вишера, когда мы прятались под вагонами, а вокруг все было красиво освещено яркими осветительными ракетами. (В 2010 году в Нью-Йорке я неожиданно встретил женщину примерно моего возраста, с которой, как оказалось, мы тогда ехали в одном вагоне.) Так с горем пополам в конце августа мы добрались до Ленинграда, а 8 сентября немцы взяли Шлиссельбург, и замкнулось кольцо блокады.

Недели первые блокады,
Бои за Гатчину и Мгу,
Горят Бадаевские склады
На низком невском берегу.
Мука сгорает, над районом
Дым поднимается высок,
Красивым пламенем зеленым
Пылает сахарный песок.
Вскипая, вспыхивает масло,
Фонтан выбрасывая вверх.
Три дня над городом не гаснул
Печальный этот фейерверк.
И мы догадывались смутно,
Горячим воздухом дыша,
Что в том огне ежеминутно
Сгорает чья-нибудь душа.
И понимали обреченно,
Вдыхая сладкий аромат,
Что вслед за дымом этим черным
И наши души улетят.
А в город падали снаряды,
Садилось солнце за залив,
И дом сгоревший рухнул рядом,
Бульвар напротив завалив.
Мне позабыть бы это надо,
Да вот, представьте, не могу —

Горят Бадаевские склады
На опаленном берегу.

Осень 1941 года тоже была сухой и погожей. Бомбежки становились все чаще, к ним добавился артиллерийский обстрел. Пайки урезались каждую неделю. К зиме вырубили все деревья на бульваре. Исчезли с улиц и дворов голуби, кошки и собаки. Располагавшийся неподалеку от нашего дома Андреевский рынок из праздничной выставки пищевого изобилия превратился в мрачную пустыню. По городу распространились упорные слухи, что детей воруют, убивают и продают потом на рынках в качестве телятины. Поэтому мать категорически запретила мне выходить на улицу. Отца отправили в Омск, куда была эвакуирована Картографическая фабрика для срочного выпуска военно-морских карт, и мы с матерью остались вдвоем. Началась бесконечная, черная и голодная блокадная зима.

Ветер злей и небо ниже
На границе двух эпох.
Вся и доблесть в том, что выжил,
Что от голода не сдох.
Что не лег с другими рядом
В штабеля замерзших тел,
Что осколок от снаряда
Мимо уха просвистел.
Мой военный опыт жалок
В зиму сумрачную ту.
Не гасил я зажигалок,
Не стоял я на посту.
Вспоминается нередко
Черно-белое кино,
Где смотрю я, семилетка,
В затемненное окно.
Гром разрывов ближе, ближе,
До убежищ далеко.
Вся и доблесть в том, что выжил, —
Выжить было нелегко.

Дом наш загорелся в январе 41-го года не от бомбы и не от снаряда. В квартире выше этажом умерла соседка и оставила непогашенной буржуйку, а гасить понемногу разгоравшийся пожар было нечем – воду тогда приходилось таскать из проруби на Неве. В апреле 42-го, через ладожскую Дорогу жизни, нас

отправили в эвакуацию в Омск, где уже работал отец. Машины шли ночью, с погашенными фарами, чтобы, не дай бог, не заметили немцы. Многие из них гибли, проваливаясь под весенний лед. На восточном берегу Ладоги нас пересадили в товарные вагоны.

Мне позабыть окончательно надо бы
Вой нестерпимый сирены ночной,
Черные проруби вздыбленной Ладоги,
Город блокадный, покинутый мной.
Эвакуация, эвакуация,
Скудный паек, затемненный вокзал.
Рельсы морозные, стыками клацая,
Гонят теплушки за снежный Урал.

Помню, как жизнь начинали по-новому,
Возле чужих постучавшись дверей.
Кажется мне, в эту пору суровую
Жители местные были добрей.
Эвакуация, эвакуация,
Жаркое лето и вьюга зимой,
Сводок военных скупые реляции,
Злые надежды вернуться домой…

В Омске первый год отец почти все время был на казарменном положении – надо было срочно пустить фабрику. Мать сначала пошла работать вахтером (за это давали рабочую карточку), а к 44-му году освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в Гидрографии, где и проработала до пенсии. Около двадцати пяти лет уже после войны она редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для мореплавателей. Вспоминаю, что уже через десятки лет, во время долгих плаваний на «Крузенштерне» и других гидрографических судах, открывая по ночам на вахте в штурманской рубке увесистые тома морских лоций, в выходных данных я не без гордости читал: «Технический редактор Р.М. Городницкая».

В эвакуации, в Омске, я пошел в школу сразу во второй класс. Время было голодное. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменяны на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая заменяла все. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. В доме на Войсковой улице, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки старых журналов «Вокруг света», которые я

перечитывал по многу раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть, именно поэтому география стала моим любимым предметом.

Сюда же в Омск был эвакуирован из Москвы Театр имени Евгения Вахтангова, так что первый мой выход в драматический театр состоялся в Омске. Было это, кажется, уже в 43-м году. На сцене шел «Сирано де Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до этого прочесть однотомник Ростана, так что всего «Сирано» я знал почти наизусть. В конце первого акта, действие которого происходит в театре, король проходит со свитой через сцену и говорит: «Что сегодня было на ужин!» К всеобщей радости публики, актер, игравший короля, под сильным впечатлением от собственного ужина, а возможно, и в мечтах о нем, неожиданно сказал: «Что сегодня было на ужин – биточки!»

Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его крутили в клубе Гидрографии по два раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три мушкетера» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку д'Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Темная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне еще и потому, что действие его проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.

Вместе с тем, когда я думаю об истоках авторской песни в нашей стране, я полагаю, что ее зачинателями были не только Булат Окуджава и другие авторы начала 60-х. Их предтечей в военные годы был и Марк Бернес с гитарой в руках, который среди грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых» впервые открыл для нас ее задушевную интонацию. И если именно интонация, негромкий, но проникающий в самое сердце голос – отличительная особенность этого жанра, то Марка Бернеса можно с уверенностью относить к одному из его основателей. И это в те времена, когда гитара еще обличалась как символ мещанства. Не случайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте и в тылу, породила массу веселых и грустных пародий типа: «Ты меня ждешь, а сама с офицером живешь и от детской кроватки тайком ты в ДК убегаешь».

Открыв для себя Бернеса на этой песне, я стал буквально отслеживать все его роли. Оказалось, что удивительная и точная

интонация его негромкого речитатива звучит во всех песнях, которые он поет, – и в кинофильме «Истребители» («В далекий край товарищ улетает»), и в фильме «Антоша Рыбкин» («Там ждет меня далекая подруга синеокая, девушка любимая моя»), и даже в не слишком удачной песне о Ленинграде («Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню мою»). Все песни он пел так, как будто сам их написал. При этом задушевность исполнения совершенно не зависела от сопровождающего инструмента – это могла быть гитара («Темная ночь»), рояль («В далекий край товарищ улетает») и даже гармошка («Тучи над городом встали»).

В Омске я впервые понял, что песня может не только радовать, но вызывать чувство обиды и стыда. Еще в 48-м, в начале эвакуации, словоохотливые омские мальчишки в нашем дворе, обозвав меня жиденком, популярно объяснили мне, что это значит. Хорошо помню растерянные лица родителей, к которым я кинулся за поддержкой. Помню, как долго плакал и ни за что не хотел быть евреем, хотел быть как все вокруг. В связи с этим на долгие годы запомнилась мне весьма популярная в то время антисемитская песенка, распевавшаяся дразнившими меня мальчишками на мотив песни «В кейптаунском порту» и начинавшаяся строчками: «Старушка не спеша дорожку перешла – ее остановил милиционер». До сих пор, когда я вспоминаю ее, сердце сжимается от жгучего чувства детской обиды. Уже значительно позднее я узнал о настоящих нацистских песнях, распевавшихся в гитлеровской Германии, и понял, какой страшной может быть песня, призывающая к убийству и погромам.

Было трудно мне первое время
Пережить свой позор и испуг,
Став евреем среди неевреев,
Не таким, как другие вокруг,
Отлученным капризом природы
От ровесников шумной среды.
Помню, в Омске в военные годы
Воробьев называли «жиды».
Позабыты великие битвы,
Неприкаянных беженцев быт, —
Ничего до сих пор не забыто
Из мальчишеских первых обид.
И когда вспоминаю со страхом
Невеселое это житье,
С бесприютною рыжею птахой
Я родство ощущаю свое,

Под чужую забившейся кровлю,
В ожидании новых угроз.
Не орел, что питается кровью,
Не владыка морей альбатрос,
Не павлин, что устал от ужимок,
И не филин, полуночный тать,
Не гусак, заплывающий жиром,
Потерявший способность летать.
Только он мне по-прежнему дорог,
Представитель пернатых жидов,
Что, чирикая, пляшет «семь сорок»
На асфальте чужих городов.

Пару лет назад, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо…», я со съемочной группой побывал в Омске. Надо сказать, что в огромном современном промышленном городе я не узнал того Омска военных лет, где прожил четыре года эвакуации. Пытался найти наш омский дом, но, видимо, он уже не существует. А проблемы того времени существуют до сих пор.

Из всех дней, проведенных в Омске, отчетливо всплывает в памяти самое радостное событие – День Победы в 1945 году. Город был на военном положении, но школы и госпитали работали вовсю. Помню, что, когда я учился во втором и третьем классах, мы читали стихи раненым. Время было очень тяжелое, голодное. Первые диктанты писались в самодельных тетрадках из оберточной бумаги. Но борьба с общим врагом и наша общая Победа над ним объединяли людей.

В сентябре 45-го мы возвратились в родной Ленинград. Поскольку дом наш на Васильевском сгорел, отцу выписали ордер на комнату, разрушенную попаданием снаряда, в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка. На время ремонта нас почти на три месяца приютила семья Карцевых, с которыми мои родители познакомились в начале эвакуации, в товарном вагоне эшелона, идущего в Омск. Глава семьи Георгий Николаевич был старым «морским волком» и еще до войны много лет проработал в Главсевморпути. Только в конце ноября мы с родителями наконец-то перебрались в собственную комнату в большой коммунальной квартире на Мойке, 82, где я прожил более десяти лет.

Война для меня закончилась. Но ее отзвуки еще не раз возникали в моей жизни. Моя мать умерла в 1981 году от очередного инфаркта. Сама она за всю свою жизнь, кроме

повседневной работы и забот по дому, ничего не видела и, уж конечно, за границей не бывала и по морям не плавала. Последние годы мать мучили постоянные страхи за меня и за отца, превращавшиеся в нервную болезнь. Она боялась взять телефонную трубку, открыть дверь на внезапный ночной звонок. Когда я задерживался вечером в городе, она могла часами стоять у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. При этом к моим многомесячным экспедициям в Арктику и дальние моря она относилась спокойно, даже зная о риске во время погружений на подводных аппаратах. Все это происходило как бы вне ее реальной жизни и не вызывало такого беспокойства, как мои вечерние опоздания.

Все невзгоды нашей семьи ложились на хрупкие мамины плечи. Ее любили, кажется, все вокруг – и домочадцы, и соседи. Каждого вошедшего в дом она старалась прежде всего накормить, хорошо помня черные военные годы. Более всего боялась обременить кого-нибудь собой, причинить неудобство. Терпеть не могла долгов и внушила эту нетерпимость мне. В доме, несмотря на нужду, всегда поддерживала медицинскую чистоту. Она и умерла оттого, что, почувствовав себя плохо и уже вызвав врача, вдруг решила вытереть пол, показавшийся ей недостаточно чистым.

Ее внезапная смерть в ноябре 81-го года, по существу, сломала отца. Он потерял интерес к жизни, хотя был человеком любознательным и общительным. В январе 1985 года у него обнаружили рак легких, к сожалению, неоперабельный. Летом того же года мы с женой не без труда уговорили его переехать к нам в Москву (он долго сопротивлялся этому переезду, не желая уезжать от могилы матери). Скрывая от него смертельный диагноз и стараясь отвлечь от размышлений о болезни, я предложил ему написать воспоминания о его детстве и юности. Будучи человеком, приученным к порядку и каждодневному труду, он завел конторскую книгу и начал аккуратно записывать туда свои воспоминания. Работал он, к несчастью, недолго. 6 мая 1986 года он умер на моих руках от горлового кровотечения.

Отца никак не вспомню молодым:
Все седина, да лысина, да кашель.
Завидую родителям моим,
Ни почестей, ни денег не снискавшим.
Завидую, со временем ценя
В наследство мне доставшиеся гены,
Их жизни, недоступной для меня,
Где не было обмана и измены.

Безропотной покорности судьбе,
Пренебреженью к холоду и боли,
Умению быть равными себе
И презирать торгашество любое.
Они, весь век горбатя на страну,
Не нажили квартиру или виллу,
Деля при жизни комнатку одну,
А после смерти – тесную могилу.
Чем мы живем сегодня и горим?
Что в полумраке будущего ищем?
Завидую родителям моим,
Наивным, обездоленным и нищим.

Когда я думаю о счастливых семейных парах, в наше время достаточно редких и нетипичных, то всегда вспоминаю своих родителей. Сейчас они лежат рядом под одним надгробным камнем на Казанском кладбище в Царском Селе, и я рано или поздно надеюсь к ним присоединиться.

Каждый раз по приезде в Питер навещая их могилу, расположенную в конце еврейского участка, я прохожу мимо древнего покосившегося и заросшего мхом могильного камня с изображением могендовида и надписями золочеными буквами по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 1896 году лейб-гвардии фельдфебель Шимон Черкасский, видимо, выходец из кантонистов, отдавший жизнь за обретенную им негостеприимную Родину. Заброшенная эта могила поневоле заставляет задуматься о собственной судьбе.

Кавалер Святого Георгия,
фельдфебель Шимон Черкасский,
Что лежит на Казанском кладбище
в Царском Селе осеннем,
Представитель моей отверженной
в этой державе касты,
Свой последний бивак наладивший
здесь под дубовой сенью.

Гренадер императорской гвардии,
выходец из кантонистов —
Нелюбимых российских пасынков
выпала с ним судьба нам.
Неродного отечества ради
был он в бою неистов,
Управляясь в часы опасности

с саблей и барабаном.

Давний предок единокровный мой
фельдфебель Шимон Черкасский,
За отвагу на поле брани
орден свой получивший,
Обладатель ружья огромного
и медной блестящей каски,
В девяносто четвертом раненный,
в девяносто шестом – почивший.

Ах, земля, где всегда не хватало нам
места под облаками,
Но которую любим искренне,
что там ни говорите!
Ощущаю я зависть тайную,
видя надгробный камень,
Где заслуги его записаны
по-русски и на иврите.

И когда о последнем старте я
думаю без опаски
И стараюсь представить мысленно
путь недалекий сей свой,
Вспоминается мне лейб-гвардии
фельдфебель Шимон Черкасский,
Что лежит под опавшими листьями
на окраине царскосельской.

Что же касается «Эха войны», то оно еще немало лет возвращалось ко мне. Дождливым сентябрьским днем 2000 года мне довелось принимать участие в официальной церемонии открытия немецкого военного кладбища в деревне Сологубовке под Мгой, неподалеку от Синявинских высот, для немецких солдат, погибших под Ленинградом в годы войны. Здесь в 1941–1944 годах, когда немецкие войска полностью блокировали Ленинград, неподалеку от ладожской Дороги жизни шли самые жестокие бои, в которых погибли десятки тысяч солдат Красной Армии и Вермахта. Именно здесь, на ладожском направлении, в топких синявинских болотах воевал и был ранен в 42-м молодой лейтенант Александр Межиров, написавший прекрасные стихи «Воспоминание о пехоте»:

Пули, которые посланы мной, не возвращаются из

полета.
Очереди пулемета режут под корень траву.
Я сплю, положив голову на синявинские болота,
А ноги мои упираются в Ладогу и Неву.

Здесь же неподалеку находится деревушка Лодва, где отбивал упорные атаки наседавших немцев юный солдат-разведчик Давид Самойлов:

Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил…
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.

Здесь в деревне Сологубовке было решено открыть военное кладбище для немецких солдат. История этого кладбища была непростой. Во время войны на территории Ленинградской области было захоронено около четырехсот тысяч солдат Вермахта. После 1945 года, в точном соответствии с директивой ЦК КПСС, все немецкие воинские кладбища были стерты с лица земли. Под Петербургом сохранилось одно-единственное немецкое военное кладбище, под Сестрорецком. С 1992 года, когда впервые было подписано российско-германское соглашение по уходу за воинскими захоронениями, в Петербург и в Ленинградскую область стали приезжать с туристскими группами и поодиночке немецкие ветераны и родственники тех, чья жизнь оборвалась в годы войны на ленинградской земле. Мало-помалу сам собой сложился традиционный маршрут, который приезжавшие немцы по собственной инициативе обязательно начинали с возложения венков на Пискаревском кладбище. Как сказал Генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Дитер Боден: «Каждый житель Германии, посещающий Петербург, должен воспринимать его не только как сокровищницу мировой культуры, но и как трагическую страничку немецкой истории».

Писатель Даниил Гранин, бывший фронтовик, выступил в «Литературной газете» с инициативой установить на Пулковских высотах Крест примирения, чтобы его «простой ясный знак осенил память жертв при наступлении Юденича, сражений белых и красных, русских и немцев». В 1993 году в Питере возник центр международного сотрудничества «Примирение». Его председатель

Юрий Лебедев сказал: «Почему именно «примирение»? Слово «мир» нравится мне меньше. С этим словом за тысячелетия беспрерывных конфликтов произошла ужасная вещь: оно все чаще используется политиками для развязывания войн… Само понятие примирения подразумевает четырехступенчатый процесс: сначала нужно познакомиться, затем понять друг друга, примириться и в конце концов подружиться». Лебедев припомнил известные слова Альберта Швейцера: «Отношение к военным могилам свидетельствует о культуре нации».

Были и другие мнения. Так, известный телерепортер Александр Невзоров в свойственной ему манере представил попытку немцев установить памятный знак в районе Красного Села как «очередную оргию фашиствующих молодчиков».

На открытии кладбища в Сологубовке молодые женщины, восстанавливавшие немецкие могилы, жаловались мне, что в деревне им вслед кричали: «Подстилки немецкие! Вас всех повесить надо!» Кстати, под Ленинградом воевали не только немцы. Здесь, в районе Стрельны, Красного Села, Пушкина, воевали солдаты испанской «Голубой дивизии», норвежского, голландского, бельгийского легионов, сотни поляков, латышей, эстонцев. Были даже французы из Эльзас-Лотарингии, которые ни слова не знали по-немецки.

Теперь, спустя более полувека, бывшие враги разыскивают на многострадальной ленинградской земле, начиненной осколками, своих погибших родственников. Оказалось, что в иностранных архивах сохранились фотографии каждого военного кладбища, каждой немецкой могилы. «Когда родственники погибших немецких солдат привозят с собой эти документы, просят разыскать места захоронений своих родных, становится стыдно, – пишет Юрий Лебедев. – Стыдно, когда видишь, как варварски обошлись с этими местами… Когда на этом месте устраивается свалка, когда кости разбрасываются по округе мародерами, а мальчишки «стреляют» камнями по черепам, становится жутко».

В 1996 году Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями приступил к строительству в деревне Сологубовке под Мгой крупнейшего немецкого кладбища. На церемонии открытия мне рассказывали, что наших русских ветеранов, которые не всегда однозначно реагировали на строительство кладбища, пригласили в Германию и показали, как ухожены там военные кладбища советских солдат. Это сразу же убедило.

На официальное открытие кладбища в Сологубовке прибыло более тысячи немецких ветеранов и родственников погибших. Возглавляли официальную делегацию бургомистр Гамбурга, города-побратима Петербурга еще с 1957 года, и немецкий посол

в России. Церемония первого дня началась с возложения венков к памятнику жертвам ленинградской блокады на Средней Рогатке в конце Московского проспекта. В тот же день были возложены венки на Пискаревском мемориальном кладбище, и в лютеранской церкви Святого Петра на Невском состоялось богослужение памяти погибших солдат. Вечером состоялся обязательный по такому случаю банкет с обилием официальных речей и тостов.

На второй день автобусы с участниками церемонии отправились в сторону Мги, сначала на Синявинские высоты, где были возложены венки к обелиску памяти погибших здесь советских солдат, и далее в деревню Сологубовка. Здесь на церковной земле была выделена территория в пять гектаров для сооружения кладбища. Церемония началась с православного богослужения у большого деревянного креста, установленного перед руинами церкви, на которое собралось много местного населения. Службу вел местный священник, отец Вячеслав, окончивший технический вуз и свободно владеющий несколькими языками. Рядом стояли лютеранские священники, также освящавшие кладбище. Потом участники церемонии в сопровождении многочисленного милицейского оцепления двинулись за каменную ограду, ворота которой были украшены немецкими флагами, на территорию будущего кладбища. Здесь на покрытом короткой стриженой травой поле стояли по три невысоких гранитных креста. В нескольких местах поднимались редкие саженцы деревьев и стояли небольшие гранитные стелы с именами погибших.

Родственники погибших, их дети и внуки, уже ставшие седыми и старыми, несли с собой свечи и вечно молодые фотографии своих сгинувших здесь отцов. Более полувека они безуспешно пытались разыскать эти могилы. Им показывали примерную территорию, где захоронены останки их близких. Они втыкали в рыхлую землю зажженную свечу, укрепляли возле нее фотографию, клали рядом цветы, ложились или садились на поросшую редкой травой глину и плакали. У дальней ограды кладбища в нескольких армейских палатках был организован обед. Там дымили полевые кухни. Каждому входящему в палатку давали в руки металлическую миску с мясным гуляшом и гречневой кашей и стопку водки.

Мне почему-то запомнилось, как уже в конце официальной части какой-то человек из обслуги начал торопливо снимать с ворот кладбища немецкие флаги. На просьбу съемочной группы подождать до конца телевизионной съемки он ответил: «Что вы, нельзя – немедленно все сопрут».

Больные и согбенные старики, бывшие немецкие танкисты и наши пехотинцы, обнимались и плакали, поминая погибших. Выяснилось, что у немцев тоже были заградотряды, стрелявшие в своих, если те отступали. Вокруг сочувственно ахали местные бабки в белых платочках. Они поведали нам, что в годы войны партизан подо Мгой не было. Были только наши солдаты, бежавшие из немецкого лагеря. Троих из наших бежавших военнопленных выдала немцам местная крестьянка за триста немецких марок. «Да как же не выдать, – сочувственно объясняли старушки, – у нее четверо детей было, их кормить было нечем». Живется здесь и сейчас невесело. Прежде был совхоз-миллионер с породистыми коровами. Сейчас – нищета, разорение и бескормица.

Теперь, когда минуло более полувека, бывшие рядовые армии противника тоже стали для наших людей жертвами войны. Ведь немецкие солдаты также вынуждены были выполнять приказ. Вряд ли им всем, даже одурманенным нацистской пропагандой, так уж хотелось умирать на чужой земле. Немцы подарили мне изданный в Германии дневник погибшего в этих местах немецкого солдата Вольфганга Буффа, начатый 29 сентября 1941-го и оборвавшийся 14 января 1942 года. В дневнике есть и стихи, очень невеселые.

Как знать, может быть, именно моему родному многострадальному Питеру суждено стать в истории первым городом-миротворцем враждовавших народов? По проекту питерских архитекторов в Сологубовке было сооружено кладбище, рассчитанное на захоронение 80 тысяч погибших немецких солдат (самое большое немецкое военное кладбище), и примыкающий к кладбищу Парк мира, символизирующий бессмысленность войны и означающий примирение. Также была восстановлена и отреставрирована русская православная церковь Успения Богородицы. Церковь эта, освященная в 1851 году, в конце 1920-х годов была разграблена, а в 37-м закрыта. В подвале церкви во время войны находился полевой госпиталь Вермахта, поэтому она была разрушена ударами советской авиации.

Еще в 1961 году известный московский художник Борис Неменский написал картину «Безымянная высота», на которой изображены двое лежащих голова к голове молодых парней, – русский и немецкий солдаты, убившие друг друга в рукопашном бою на безымянной высоте. Лицо русского солдата обращено к небу. Немец уткнулся лицом в землю. Оба юноши, одетые в солдатскую форму враждующих армий, почти дети, одинаково беспомощны перед смертью. Пожалуй, это единственная из

многочисленных картин о войне советского периода, ярко и выразительно показывающая, что война – это не победа и героизм, а страдание и смерть.

Картина вызвала яростное поношение советской критики. Художника обвинили в отсутствии патриотизма и буржуазном пацифизме. Более всего высокопоставленных идеологов советского искусства возмутило, что на картине смерть уравняла захватчика-немца и защитника-русского. Это никак не вписывалось в многолетний привитый нам еще с военных лет стереотип немец-нацист. Несмотря на хрущевскую либеральную оттепель, после ожесточенных споров картина была убрана в запасники. Пытаясь спасти картину, художник сделал ее вариант, где изобразил немца со звероподобным лицом, но и это не помогло. Цензура была неумолима. Только через тридцать лет картина смогла увидеть свет.

Известный немецкий коллекционер Петер Людвиг купил один из вариантов картины и повесил в своем музее в городе Ахене в Германии на одном из самых почетных мест. Там был открыт конкурс на тему «Память о войне и примирение глазами молодежи». Такой же конкурс в 1997 году был организован и в Петербурге центром международного сотрудничества «Примирение». О нем было рассказано в радиопередаче «Исторический клуб», которую вел профессор Виталий Иванович Старцев. Целью конкурса было укрепление взаимопонимания молодежи городов-побратимов Санкт-Петербурга и Гамбурга через творческое переосмысление уроков Второй Мировой войны. Основой для конкурса была предложена картина Неменского. Ребят попросили нарисовать еще что-нибудь на эту тему. Сначала казалось непонятным, как можно нарисовать примирение? Вот войну, например, можно нарисовать, мир – тоже, а примирение как? «Мы сами не знаем, что такое примирение. Зачем же эту идею детям навязывать? – возмущался директор одной из художественных школ. – Давайте заменим тему на «Мир и дружба: Петербург – Гамбург». Детям будет слишком сложно понять эту тему».

Но одна за другой на конкурс стали поступать детские работы, которых набралось более пятидесяти. При этом решения были самые нестандартные. Меня более других тронул рисунок четырнадцатилетней девочки. На рисунке изображены две могилы рядом на пригорке. На одной могиле – немецкий крест с каской, пробитой пулей, на другой – звездочка на фанерном постаменте и висящая на ней пробитая пилотка. Так появилась песня «Ленинградские дети рисуют войну», исполненная впервые на церемонии открытия немецкого военного кладбища.

В июле 2003 года мне в качестве геофизика довелось принимать участие в экспедиции на военном гидрографическом судне «Сенеж». Мы вышли из Мурманска в северо-восточную часть Баренцева моря к берегам архипелага Новая Земля, к тем местам, где в 42-м году погиб печально известный Полярный конвой PQ-17. В 1941–1942 годах, когда напавший Третий Рейх уничтожил большое количество танков и самолетов Красной Армии, союзники начали поставлять Советскому Союзу необходимое вооружение. Значительная часть грузов из Канады и США шла в Великобританию и Исландию, а оттуда через Арктику в северные порты СССР. Назывались эти караваны транспортных судов, охраняемых военными кораблями, конвоями. Мурманск и Архангельск в годы войны стали постоянными пунктами назначения для конвоев с ценными стратегическими грузами. Чтобы топить суда союзников, немцы специально сосредоточили в районе Норвегии и в других полярных областях значительные силы флота и авиации. Уже после войны выяснилось, что база немецких подлодок была даже на Новой Земле.

Судьбы конвоев складывались по-разному, но большинство из них благополучно достигало русских берегов. Трагическая судьба конвоя PQ-17 наиболее известна, поскольку он был почти полностью уничтожен, когда в июле 42-го по личному указанию первого морского лорда сэра Дадли Паунда его бросили на произвол судьбы британские корабли боевого охранения. Судам конвоя был отдан приказ рассредоточиться и поодиночке пробиваться в русские порты. Тихоходные и беззащитные транспорты, таким образом, были отданы на растерзание немецким подводным лодкам и авиации. Причины этого сих до пор не ясны. Немцы атаковали суда конвоя методом «волчьей стаи», разом ударив и из-под воды, и с воздуха. В результате были потеряны сотни единиц военной техники, из 35 кораблей конвоя до Архангельска добрались только 11, а более 150 моряков навсегда нашли покой на дне Баренцева моря.

Надо заметить, что советские моряки проявили большое мужество, спасая тонущих союзников. В частности, отличился сторожевик «Мурманец», на котором служил штурманом старший лейтенант Валентин Валентинович Дремлюг. Он лично спас более сорока человек. Сейчас ему за девяносто, он профессор Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова и один из крупнейших российских океанологов.

В 2003 году общественной организацией «Полярный конвой» совместно с командованием Северного флота была организована мемориальная экспедиция, которую возглавил один из крупнейших российских гидрографов контр-адмирал Вячеслав

Анатольевич Солодов. Поставленная перед геофизиками задача состояла в том, чтобы у берегов Новой Земли, по примерным координатам, известным из архивных документов, найти погибшие суда конвоя PQ-17. Отрядом геофизиков на судне «Сенеж» руководил замечательный российский ученый, профессор Михаил Александрович Спиридонов. При поиске затонувших кораблей мы использовали современную аппаратуру: систему спутниковой навигации, многолучевой эхолот, специальный глубоководный аппарат, предназначенный для видеонаблюдения дна, подводных объектов и гидролокатор бокового обзора с высокой разрешающей способностью, который позволяет находить объекты на дне в широкой полосе – до пятисот метров от судна.

Нам удалось обнаружить два американских транспорта – «Олапама» и «Алко-Рейнджер», правда, несколько в стороне от предполагаемого места их гибели. Оба этих судна были торпедированы одной и той же немецкой подводной лодкой U-255. На экране гидролокатора получилась отчетливая картинка: были видны даже несколько танков, выпавшие с борта транспорта «Олапама». А ведь прошло уже шестьдесят лет. В таких случаях судно, как правило, полностью или частично заносится донными осадками, и для его обнаружения приходится применять магнитную съемку. Так, к примеру, произошло с обнаруженным в 1981 году британским легким крейсером «Эдинбург», который в апреле 42-го перевозил из Мурманска в Великобританию большой груз золота в качестве оплаты за военные поставки.

В мемориальный рейс на судне «Сенеж» вместе с учеными и военными пошли ветераны Полярных конвоев, не испугавшиеся, несмотря на преклонный возраст, отправиться в штормовое Баренцево море: канадцы, американцы, англичане и, конечно, русские. Каждый из этих смельчаков заслуживает отдельного рассказа. Например, Евграф Евлогиевич Яковлев – потомственный помор из архангельской деревни. В четырнадцать лет в 1943 году он поступил в школу юнг на Соловках и прошел путь до капитана. Во время войны служил на переоборудованном из лесовоза танкере «Михаил Фрунзе». На палубе перевозили бочки с бензином, и однажды, во время налета немецкой авиации, он под вражеским огнем сорвал с емкостей вспыхнувший брезент, спасая судно от взрыва. «А вы не боялись?» – спросил я его. «Боялся, что от начальства попадет, – брезент-то новый», – бесхитростно ответил ветеран. Поразил меня и его рассказ о том, как после бомбежки он переживал об испорченной новой «фланельке»: мол, испачкал казенную форму чем-то черным. Оказывается, это была кровь – в него угодил осколок… Другой замечательный

потомственный моряк – Алексей Андреевич Нахимовский. Когда-то его отца, родившегося в Китае, подобрал и «усыновил» экипаж броненосного крейсера «Нахимов». От названия корабля пошла их фамилия. Капитан I ранга Анатолий Львович Лившиц, ходивший штурманом на эсминцах, участвовал в 23 союзных и 20 внутренних конвоях. За годы войны он прошел почти сто тысяч морских миль, зачастую в сложнейших штормовых условиях. Пятнадцать раз эсминцы, которым он прокладывал курс, атаковали глубинными бомбами немецкие подлодки. Две из них были потоплены, а еще две – повреждены. Канадским ветеранам тоже было что вспомнить. Так, Роберт Ферли рассказал мне, что в 44-м году он перевозил из Британии в Мурманск тысячи советских военнопленных, которых Черчилль выдал Сталину. Другой канадец – капитан торгового флота Хилл Вилсон – начал службу кадетом в Атлантических конвоях, а в конце войны стал старпомом на танкере. Англичанин Уильям Лоус был сержантом Королевских ВВС, у него случился роман с русской девушкой Зиной. Уильям делился с ней своим армейским пайком, спасая от голодной смерти, и вот спустя шестьдесят лет 83-летние «Ромео» и «Джульетта» вновь встретились в Архангельске.

В числе прочих был и немец, бывший полковник Люфтваффе Хайо Херрманн. В 1942 году он командовал «штаффелем» (эскадрильей) бомбардировщиков «Юнкерс-88», которые топили конвои союзников. Он – герой Второй Мировой, личный друг Геринга, летчик, награжденный всеми боевыми орденами Третьего Рейха, неоднократно бывавший на приемах у Гитлера. В 2003 году ему исполнилось 90 лет. Седой, высокий и статный старик с жестким и твердым характером, «настоящий ариец». На счету Херрманна 12 потопленных кораблей общим тоннажем 70 тысяч тонн. Он трижды горел в небе и выбрасывался с парашютом. Его подразделение полностью выбивали, а он оставался живым и получал новое назначение. Переквалифицировавшись в истребители, Херрманн стал командиром ночной истребительной эскадры, отражавшей массовые налеты союзников на немецкие города, и лично сбил 9 тяжелых бомбардировщиков. В 45-м в Австрии его взяли в плен и отправили в воркутинские лагеря. Не зная русского языка, он дважды пытался бежать оттуда, но был пойман. Самостоятельно изучил русский язык. За справедливость и жесткий характер был избран зэками старостой барака. На всю жизнь его любимой песней стала «Широка страна мойя роднайя». Но взгляды его после войны не изменились – он считал, что воевал за Великую Германию. В последние годы Херрманн работал адвокатом в Дюссельдорфе, где вел дела по защите нацистских преступников,

неонацистов и «историков», отрицающих Холокост. В ноябре 2010 года он умер.

Внук одного из наших ветеранов, узнав об участии в экспедиции бывшего врага, с надеждой спросил: «Дедушка, а вы его там утопите?» Ничего подобного, конечно, не произошло. Состоялась невероятно трогательная сцена примирения бывших врагов. Деды плакали, обнимались и вместе опускали венки на воду. Для них эта экспедиция стала актом примирения. Наверное, это естественно для людей, проживших трудную, полную противоречий жизнь, которые не хотят испытывать мстительных, враждебных чувств друг к другу.

В рейсе мы с Хайо Херрманном подружились и даже выпивали по рюмке. Все шло хорошо, но когда он узнал, что я – еврей, то сильно расстроился. На бывшего бравого летчика буквально жалко было смотреть. Я ему понравился, и Хайо очень не хотелось, чтобы я был евреем. «Александр, – спросил он дрожащим голосом, – может быть, ты только наполовину еврей?» – «Как говаривал твой дружок Геринг, наполовину евреев не бывает. Понял?» – отрезал я. Он безнадежно махнул рукой, принял сразу две таблетки валидола и ушел спать в свою каюту.

Хайо Херрманн подарил мне свою фотографию военных лет с крестами и орденами. Во время рейса я написал песню в память о конвое PQ-17, и он перевел ее на немецкий язык. «Александр, – сказал он мне, – у тебя в песне одна строчка неправильная. Ты пишешь, что хорошо, чтобы погода была нелетной. Это неправильно. Хорошо, когда она летная». – «Это вам, сволочам, нужна летная погода, чтобы нас бомбить, – ответил я, – а морякам – наоборот». Он, кажется, понял. Эта песня звучит в документальном фильме о конвое PQ-17, снятом во время нашей экспедиции немецкими тележурналистами, русский вариант которого мне довелось озвучивать и который был назван по строчке из этой песни – «Корабли собирает конвой».

Аргумент в неоконченном споре —
Злой сирены пронзительный вой.
Для похода в студеное море
Корабли собирает конвой.
Им волна раскрывает объятья,
Им поют, провожая, гудки.
Это ваши друзья или братья, —
Помолитесь за них, моряки.

Каждый твердо в звезду свою верит.
Только знать никому не дано,

Кто сумеет вернуться на берег,
Кто уйдет на холодное дно.
Не дожить им до скорой победы,
Ненадежной мечте вопреки.
Это ваши отцы или деды, —
Помолитесь за них, моряки.

Вспомним тех, кто стоит у штурвала,
Чтоб погода нелетной была,
Чтобы бомба суда миновала
И торпеда в пути обошла.
Отлетают их светлые души,
Словно чайки в полете, легки.
Никому не добраться до суши, —
Помолитесь за них, моряки.

Над водою, соленой от горя,
День полярный горит синевой.
Для похода в студеное море
Корабли собирает конвой.
Там грохочут салюты прибоя,
И намокшие тонут венки.
Это те, кто закрыл вас собою, —
Помолитесь за них, моряки.

По окончании нашей экспедиции в Питере на моем родном Васильевском острове в храме Успения Богородицы состоялся молебен памяти моряков Полярных конвоев, погибших в годы войны.

«Вождей и воинов, на поле брани убиенных,
Прими к себе и память сотвори».
Нестройный хор звучит в церковных стенах,
Где пахнет свежей известью внутри.
Здесь отпевают моряков конвоев,
Что сгинули отсюда вдалеке.
Меж прочих, с непокрытой головою,
Стою и я со свечкою в руке.
Забытые припоминая раны,
Под флагами союзных прежде стран,
Среди других согбенных ветеранов
Стою и я, как будто ветеран.
Поскольку здесь мой дом сгорел в блокаду,
В которую мне выжить довелось,

И сам я уроженец Ленинграда
И Петербурга нынешнего гость.
Знаком мне с детства чаек этих гомон
И монументов бронзовая рать.
Сюда и сам я, не в пример другому,
Когда-нибудь отправлюсь умирать.
А девушки поют в церковном хоре,
И далеко от питерской земли
Шумит в тумане Баренцево море,
Погибшие скрывая корабли.

Недавно по инициативе Совета ветеранов Полярных конвоев в Петербурге был установлен гранитный обелиск памяти погибших в арктических морях моряков конвоев. На обелиске выбиты слова из моей песни: «Это ваши отцы или деды, – помолитесь за них, моряки».

В мае 2012 года, накануне Дня Победы, я попал в Севастополь. Там открывали мемориал на мысе Херсонес, где в годы войны располагалась знаменитая 35-я батарея береговой обороны. Именно здесь были сосредоточены остатки Приморской армии, героически оборонявшей Одессу и Севастополь, около ста тысяч человек. Людей должны были эвакуировать на побережье Кавказа. Однако, когда положение стало безнадежным, Ставка Верховного Главнокомандования приняла предательское решение не эвакуировать армию. Более того, была практически прекращена доставка подкреплений, продовольствия и боеприпасов. Вместо этого было дано издевательское секретное указание тайно эвакуировать несколько сотен «наиболее ценных» военных и партийных работников. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский бежал на самолете, командующий Приморской армией генерал-майор И.Е. Петров – на подводной лодке. Стотысячная армия была брошена на растерзание войскам генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна.

Посадка на подводные лодки командования Приморской армии и Севастопольского оборонительного района проходила на глазах у сотен людей. Поэтому, естественно, не обошлась без эксцессов. Из толпы прозвучали не только ругательства в адрес командования, но и автоматная очередь, попавшая в шедшего перед генералом Петровым начальника отдела укомплектования Приморской армии. Экипаж подводной лодки, боясь перегруза, сталкивал обратно в воду пытавшихся взобраться на палубу красноармейцев и матросов, достигших лодки вплавь в надежде

эвакуироваться. Ночью подлодка вышла в Новороссийск. Утром за ней последовала другая субмарина, взяв на борт 117 руководителей Севастопольского оборонительного района и города. Однако многие командиры остались со своими бойцами. Начальник штаба береговой обороны подполковник И.Ф. Кобалюк вернулся назад и передал, что погибнет вместе с батареей, военный комиссар 3-й особой авиационной группы ВВС Черноморского флота полковник Б.Е. Михайлов добровольно сошел с последнего самолета и погиб через несколько дней в Херсонесе. Остался в Севастополе командир пограничного отряда НКВД подполковник Г.А. Рубцов. Позднее, чтобы избежать плена, он застрелился.

Трагическая история предательства Приморской армии, открывшаяся через много лет, потрясла меня, и я написал такие стихи:

Крымское небо янтарное,
Контур далеких гор.
Реквием брошенной армии
Петь начинает хор.
Дымная нитка тянется
От неземных миров,
К вам, адмирал Октябрьский,
К вам, генерал Петров.
Позарастали травами
Белые костяки
Там, где лежат державою
Брошенные полки.
Позарастали тиною,
Ржавые за года,
На произвол противнику
Брошенные суда.
Белая чайка реет
Над синевою вод.
«Политруки и евреи,
По три шага вперед»!
Долго еще вам стариться
Среди сирот и вдов,
Вам, адмирал Октябрьский,
Вам, генерал Петров.
Смешано звездное крошево
С бездною голубой.
Реквием армии брошенной
Гулкий поет прибой.

Грянет молвою позднею
Правда во все концы,
Будут герои опознаны,
Трусы и подлецы.
Память о вас останется,
Ваш приговор суров:
Ваш, адмирал Октябрьский,
Ваш, генерал Петров.

Несколько лет назад питерский телеканал «100 ТВ» выпустил документальный сериал «Дети блокады» об известных жителях Петербурга, переживших блокаду, в число которых попал и я. Съемочная группа сначала снимала меня на 7-й линии у ворот моего старого дома, а потом в Музее истории Санкт-Петербурга на Английской набережной Невы, где есть большой отдел, посвященный блокаде. Меня привели в маленькую комнатушку, имитирующую блокадную пору: буржуйка, окна, заклеенные крест-накрест бумажными полосками, черная тарелка репродуктора на стенке – и усадили на узкую койку. «Подождите пару минут, – сказали операторы, – мы сейчас принесем камеру и будем вас снимать». С этими словами они вышли. Через две минуты в уши мне неожиданно ударил вой сирены, и из включившегося репродуктора хорошо знакомый, как бы возникший из подкорки моей памяти, голос закричал: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Сердце мое бешено заколотилось. Я съежился, обхватив голову руками. Глаза мои вылезли из орбит, и на них выступили слезы. Оказывается, все это время операторы снимали меня скрытой камерой, а потом вставили это в фильм. Ну и методы! Почти как у Анджея Вайды в картине «Все на продажу»!

Через пару дней после показа этого фильма по телевидению мне позвонила моя давняя приятельница литературный критик Ирина Муравьева: «Я хотела поговорить с тобой о блокаде, но я видела по телевизору фильм, и не буду тебя тревожить».

Тает в часах песок.
Вся голова в снегу.
Черствого хлеба кусок
Выбросить не могу.
Не понимает внук
Мой полуночный бред.
Шепчут, смеясь, вокруг,
Дескать, свихнулся дед.
Вынь мне из сердца боль,

Мой ленинградский Бог,
Чтобы муку и соль
Не запасал я впрок.
Не угождал беде
В мире, где тишь да гладь,
Веря, что черный день
Может прийти опять.

Новая Голландия

Был и я семиклассник зеленый,
И, конечно, в ту пору не знал,
Что ступаю на землю Коломны,
Перейдя через Крюков канал.
Поиграть предлагая в пятнашки,
Возникает из давних времен
Между Мойкой, Фонтанкой и Пряжкой
Затерявшийся этот район.

Вдалеке от Ростральной колонны
Он лежит в стороне от дорог.
Был и я обитатель Коломны,
Словно Пушкин когда-то и Блок.
Здесь следил я, как ранняя осень
Гонит желтые листья в моря.
Здесь осталась на Мойке, сто восемь,
Разоренная школа моя.

Здесь, гордынею полон безмерной,
Я о славе мечтал перед сном,
В коммуналках сырых на Галерной,
И на Мойке, и на Дровяном.
Здесь влюблялся темно и случайно,
И женился бездумно и зря,
Но кружила над крышами чайка,
И гремели в порту якоря

Я ступаю на землю Коломны,
Перейдя через Крюков канал,
И себя ощущаю бездомным
Оттого, что ее потерял.
Там кружит над Голландией Новой
И в далекие манит края,
Прилетая из века иного
Белокрылая чайка моя.

Прилетая из века иного
Невозвратная чайка моя.

Стихи я начал писать случайно. Я в это время учился в

седьмом классе 254-й ленинградской школы, расположенной напротив Никольского морского собора, в доме на углу проспекта Римского-Корсакова и улицы Глинки, где поворачивали трамвайные рельсы. Школа наша помещалась в старинном здании с высокими потолками и лепными карнизами. На фасаде дома уже при нас водрузили мемориальную доску, извещавшую о том, что именно здесь в гостях у своего друга водевилиста и переводчика Никиты Всеволожского бывал Александр Сергеевич Пушкин на собраниях литературно-политического кружка «Зеленая лампа». Самое забавное, что в предыдущие годы эта доска висела на соседнем доме, но потом историки, подумав, перевесили ее на нашу школу. Теперь всякий раз, бывая в Питере и проезжая мимо, я ревниво смотрю на знакомый школьный фасад, опасаясь, не перевесили ли эту доску еще куда-нибудь после очередных исторических уточнений, но она пока еще на месте…

Послевоенное время было трудное. Я помню, что на кухне дымили примуса и керосинки, газа тогда еще, конечно, не было, и мне неоднократно приходилось ходить на угол Фонарного переулка и улицы Декабристов в керосиновую лавку. Денег на новую одежду не хватало, поэтому для меня перешивали что-то из старых отцовских вещей. Так, в конце войны отец отдал мне свое кожаное полупальто, которое получил в Гидрографии и носил несколько лет. Пальто немного подогнали, перешили, и я таскал его в старших классах, очень гордясь своей «кожанкой». В ней я потом ходил и в Горном институте. То же относилось и к другим вещам. Например, были проблемы с кастрюлями. Помню, что очень долго в качестве кастрюль использовались привезенные из эвакуации банки из-под американской свиной тушенки. Только потом мы начали потихоньку обрастать каким-то имуществом.

Я детство простоял в очередях
За спичками, овсянкою и хлебом,
В том обществе, угрюмом и нелепом,
Где жил и я, испытывая страх.
Мне до сих пор мучительно знаком
Неистребимый запах керосина,
Очередей неправедный закон,
Где уважали наглость или силу.
Мне часто вспоминаются во сне
Следы осколков на соседнем доме
И номера, записанные мне
Карандашом чернильным на ладони,
Тот магазин, что был невдалеке,

В Фонарном полутемном переулке,
Где карточки сжимал я в кулаке,
Чтоб на лету не выхватили урки.
Очередей унылая страда.
В дожди и холода, назябнув за день,
Запоминать старался я всегда
Того, кто впереди меня и сзади.
Голодный быт послевоенных лет
Под неуютным ленинградским небом,
Где мы писали на листах анкет:
«Не состоял, не привлекался, не был».
Но состоял я, числился и был
Среди голодных, скорбных и усталых
Аборигенов шумных коммуналок,
Что стали новоселами могил.
И знаю я – какая ни беда
Разделит нас, народ сбивая с толка,
Что вместе с ними я стоял всегда
И никуда не отходил надолго.

Заканчивался трудный 47-й год, завершавший для меня пору недолгих мальчишеских увлечений. Марки, которые я начал собирать еще в 44-м, в эвакуации, мне уже изрядно поднадоели. Пробовал в шестом классе начать собирать открытки, но из этого тоже ничего не получилось. Тогда почему-то была пора коллекционирования – все что-нибудь собирали. Отец пытался склонить меня к занятиям фотографией и подарил на день рождения свой старый «Фотокор», снимавший еще не на пленку, а на специальные стеклянные фотопластины. Поначалу мне понравилось это занятие. Особенно привлекали меня ритуальное таинство проявления и фиксации негативов и печатания фотоснимков, секреты рецептур проявителей и фиксажа, приготовление соответствующих растворов, напоминающее о средневековых алхимиках. Наконец, таинственная процедура при красном полутемном свете, когда со дна кюветы, из черноты раствора, вдруг проступает человеческое лицо. У нас в школе образовался кружок фотолюбителей. Вел его чрезвычайно бледный и болезненный человек с тихим голосом, одетый в неизменный вытертый пиджак с бахромой на продранных рукавах. Он сказал, что все его занятия надо записывать, как лекции. «Ну-ка, покажи, – сказал как-то отец и, посмотрев мои записи, произнес: – Это знающий человек. Сразу видно, что специалист высокого класса». Занятия, однако, продолжались

недолго. На одно из них пришел директор школы и попросил у нашего учителя документы. На этом все и кончилось. Лишь через несколько лет, уже после смерти Сталина, когда только началась пора реабилитации, вспомнив грустный облик нашего болезненного учителя, я понял, откуда он к нам попал.

Я еще таскался с фотоаппаратом, когда к нам в седьмой «Б» пришел новенький, Володя Михайловский, почти сразу же получивший, уже не помню почему, кличку Бича, – невысокий полный мальчик, тихий, немногословный и очень скромный. Рисовал он прекрасно, хотя смущался, краснел и страшно сердился, когда на это обращали внимание. Жил Володя недалеко от школы, на Малой Подьяческой улице, хордой соединявшей петлю Грибоедовского канала. Как раз по этой улице и далее, через Львиный мостик и улицу Декабристов, пролегал мой каждодневный путь в школу и обратно, в огромный дом на углу Мойки и Фонарного переулка, где мы тогда жили. Мы с Володей подружились, тем более что оказались попутчиками. И как-то раз он зазвал меня к себе домой, показал свои рисунки карандашом и акварелями, которые мне сразу понравились. Володя был удивительно одаренным рисовальщиком, быстро и точно изображавшим на бумаге окружающий мир с поразительным, как мне казалось, сходством. Глядя на то, как он рисует, можно было подумать, что дело это простое и доступное для каждого. Поэтому я тоже попытался рисовать, но из этого, конечно, ничего не получалось, хотя Володя по доброте своей усердно мне помогал.

В связи с этим не могу не вспомнить весьма забавный случай. Зимой 2011 года на площади Островского в моем родном Питере, перед Александринским театром, на специально сооруженной сцене происходила организованная каким-то фондом благотворительная акция: известные персоны, писатели, артисты, общественные деятели, прямо на сцене на глазах зрителей рисовали картины маслом. После этого картины продавались на специальном аукционе, а собранные деньги поступали на поддержку детских медицинских учреждений. В число приглашенных для рисования почему-то попал и я. На сцене, несмотря на изрядный мороз, я попытался изобразить по памяти вид из нашего окна в доме на Мойке. К моему великому изумлению, моя мазня была продана на аукционе за двадцать тысяч евро.

Теперь уже не помню, кто именно посоветовал нам в том далеком 1947 году пойти в художественный кружок при Ленинградском Дворце пионеров, располагавшемся в Аничковом дворце на углу Фонтанки и Невского. Володя, которому не хотелось записываться в кружок одному, уговорил и меня. Мы

отобрали с ним несколько рисунков и отправились на Фонтанку. Отдел художественного творчества Дворца пионеров помещался в длинном двухэтажном флигеле, вытянутом вдоль Невского перпендикулярно фасаду главного здания дворца. Мы долго ходили по коридорам второго этажа в поисках «художественной студии», с робостью прислушиваясь к звукам разного рода музыкальных инструментов, раздававшимся из-за дверей. В конце коридора, рядом с вокальным классом, где какой-то высокий женский голос выпевал гаммы, мы увидели наконец надпись «Студия рисования», но двери оказались запертыми. Выяснилось, что сегодня среда, а занятия бывают только по вторникам и четвергам.

Обескураженные, мы повернули обратно, и, когда уже дошли до конца коридора, я увидел приоткрытую дверь, за которой звучали стихи. Я подошел поближе и прислушался. Это были очень красивые и совершенно мне неизвестные стихи, как потом выяснилось – Франсуа Вийона. Читал их негромким глуховатым голосом невысокий, стройный и курчавый черноволосый мужчина в толстых роговых очках и темной гимнастерке без погон, перехваченной в талии широким офицерским ремнем (им оказался Ефим Григорьевич Эткинд). На столе перед ним лежала толстая открытая офицерская кожаная полевая сумка, набитая книгами. На стульях перед столом, спиной к дверям и ко мне, сидели несколько ребят и девушек, примерно на класс или на два постарше, чем я. «Ну, чего ты застрял, пойдем!» – окликнул меня Бича. «Иди, я еще побуду», – неожиданно для себя ответил я ему и, тихо открыв дверь, надпись на которой так прочесть и не успел, вошел в комнату и, стараясь не шуметь, сел на крайний стул. Никто из присутствующих не обратил на меня никакого внимания – все были заняты слушанием стихов. Так в феврале 1947 года началось мое увлечение стихами, затянувшееся на долгие годы.

Что же до Володи Михайловского, которому я обязан своим приходом во Дворец пионеров, то с ним мы встретились после многих десятилетий в 1998 году в Питере на моем вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала. Он действительно стал художником. Его батальные полотна морских сражений украшают залы Военно-морского музея и кают-компании многих судов.

Для приема в «Студию литературного творчества» (вот что было написано на дверях) необходимо было представить один собственноручно написанный рассказ или три стихотворения. У меня к тому времени уже было в запасе одно стихотворение, посвященное умирающему гладиатору и подозрительно смахивающее на лермонтовское. Помучившись неделю, я, не

ожидавший от себя такой прыти, написал еще одно стихотворение, про татаро-монгольское нашествие (я в те поры страшно увлекался книгами Василия Яна «Батый» и «Чингисхан»). Там были такие, чрезвычайно почему-то тогда понравившиеся мне строчки:

Монголы, монголы, монголы идут,
И стонет земля под тяжелым копытом,
И рвется тревожный набатный гуд:
Монголы, монголы, монголы идут…

Ободренный таким неожиданным успехом, я настряпал еще одно, примерно такого же качества, стихотворение про Древний Рим. Так что можно сказать, что стихи на историческую тему я начал писать с самого начала.

Меня, хотя и со скрипом, приняли – правда, не в ту, как оказалось, старшую группу, куда я случайно забрел, а в младшую, состоящую из семи– и восьмиклассников. Это, однако, роли не играло, так как на занятиях можно было сидеть как в той, так и в другой группе. Младшей руководил тогда ленинградский поэт Леонид Иванович Хаустов, человек маленького роста, с всклокоченными черными волосами и такими же угольными зрачками. Одет он был неизменно в коричневый костюм и темную рубашку с галстуком, ходил быстрой походкой, был темпераментен и эмоционален.

Старшую группу вел поэт Глеб Сергеевич Семенов, очень худой, небольшого роста, всегда державшийся с подчеркнутой прямотой и казавшийся сутуловатым. Волосы его, в противоположность Хаустову, были прямыми и всегда гладко зачесанными. Ходил он неторопливыми длинными шагами на как бы негнущихся ногах. Пиджак строгого темного цвета висел на его плечах так же прямо. Строгость его внешнего облика подчеркивалась всегда аккуратно завязанным галстуком и негромким глуховатым голосом. Занятия по «теории литературы» (да-да, тогда именно так это называлось) вел уже увиденный и услышанный мною доцент Ленинградского пединститута имени Герцена Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик…

Так начались мои занятия во Дворце пионеров. Проходили они два раза в неделю – по средам и пятницам. Один день – «теория литературы», другой – практические занятия. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял гораздо

позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, что мы и понятия не имели, что это за программа. Зато своему первооткрытию звучащей сокровищницы российской поэзии – от «Слова», Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, открытию трагических судеб Данте и Петрарки и не искаженных переводами стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона – я обязан именно ему.

Ефим Григорьевич Эткинд, ныне известный во всем мире как переводчик, писатель, литературовед и критик, был человеком удивительных талантов и не менее удивительной работоспособности. Он не только был переводчиком, прекрасно владевшим европейскими языками, в первую очередь – английским и французским, но и глубоким знатоком русского языка и русской поэзии. Он, по существу, заложил основы науки перевода европейских поэтов на русский язык. Им составлено собрание лучших поэтических переводов в России, вошедшее в состав «Библиотеки поэта». Так же тщательно изучил он и русскую эпиграмму за последние три века. Будучи далеким от политики, он тем не менее не остался в стороне во время позорного процесса над Иосифом Бродским и вместе с Фридой Абрамовной Вигдоровой решительно встал на защиту арестованного поэта. Выступления на процессе Бродского, а также помощь опальному Солженицыну (Эткинд прятал у себя часть его архива, в том числе один из машинописных экземпляров «Архипелага ГУЛАГ») в 1974 году привели к увольнению Эткинда из Педагогического института имени Герцена, где он проработал много лет, и его публичной травле. Лишенный возможности работать, он вынужден был эмигрировать.

В эмиграции Ефим Григорьевич в течение ряда лет с успехом читал лекции в Сорбонне и университетах Германии. В Париже он на русском языке опубликовал свой фундаментальный труд «Анатомия стиха», стал одним из основных редакторов и составителей многотомной «Истории русской литературы» вместе с И.З. Серманом, Ж. Нива и В. Страда. Он подготовил множество изданий классиков русской поэзии от Пушкина до Цветаевой на немецком и французском языках. Активно участвовал вместе с С. Маркишем в издании романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и других книг «тамиздата». В сложной конфликтной обстановке парижской эмиграции с постоянными междоусобицами среди отдельных издательских и литературных групп Эткинд, так же как и Виктор Некрасов, приложил немало усилий для нормализации литературной жизни. Его энергии хватало, кажется, на все. Он ухитрялся ездить с лекциями в Америку, планировать издание «Энциклопедии советской

цивилизации», писать многочисленные статьи, выступать с обширными докладами на конференциях и писать книги.

В конце жизни он неоднократно приезжал в Россию. Я встретился с ним последний раз в мае 1999 года в Питере, куда он приехал в связи с пушкинским юбилеем. Он был у меня на авторском вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала, а на следующее утро я приехал к нему домой в маленькую квартирку в доме неподалеку от площади Мужества. Мы просидели и проговорили весь день до темноты. Через много лет он заставил меня перейти с ним на «ты». Это оказалось менее сложно, чем я предполагал: в свои восемьдесят он казался значительно моложе – та же живость ума, мальчишеская любознательность, азарт в полемике и полное отсутствие занудства и стремления вещать, нередко свойственного классикам ушедшего фронтового поколения. Опасаясь за его здоровье, я по пути к нему деликатно взял небольшую флягу коньяка, и немедленно пришлось бежать за второй.

Говорили о многом: о Глебе Семенове, об Иосифе Бродском, о Льве Копелеве, с которым Эткинда связывала многолетняя дружба, об авторской песне, о поэзии в Питере, о тревогах и надеждах нынешнего дня. Прощаясь, он подарил мне свою «Анатомию поэзии». Кто мог предполагать, что встреча эта окажется последней? Через полгода после этого у него внезапно обнаружили рак, и вскоре его не стало. И когда я слушал его глуховатый голос, я снова вспоминал молодого курчавого красавца в офицерской гимнастерке, вдохновенно читавшего стихи Вийона и открывшего мне когда-то океан мировой поэзии.

«Практика», которую сначала я проходил у Хаустова, а потом у Семенова, заключалась в чтении и разборе стихов. Процесс этот имел строгий, раз навсегда заведенный порядок. За неделю до обсуждения стихи передавались автором двум специально назначенным «оппонентам», которые внимательно читали их дома и готовили подробный критический разбор. На занятии сначала читал стихи автор. При этом строжайшим образом соблюдалась полная тишина. Категорически запрещалось разговаривать, перешептываться или шумно перемещаться. Это строгое правило оцениваешь вполне, когда сам читаешь стихи. После с подробными «докладами» выступали оппоненты. Затем слово предоставлялось всем желающим. Мнения можно было высказывать любые, но их обязательно полагалось аргументировать. «Нравится? Почему? Объясни, пожалуйста». «Не нравится? Опять же, почему?» Резюме обычно подводил руководитель. Обсуждаемому часто приходилось туго, так как мнения высказывались самые резкие, но все люди были пишущие,

каждый знал, что наступит и его черед, и обстановка в общем была доброжелательная. Много лет спустя, когда мне самому довелось вести литературные объединения, я всегда использовал эту старую, полюбившуюся мне во Дворце пионеров схему.

«Практика», однако, не ограничивалась только разбором собственных стихов. Регулярно устраивались литературные игры: цепные стихи, буриме, акростих, стихи заданным размером на заданную тему и так далее. Глеб Сергеевич сказал тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу: «Я, конечно, не могу научить вас писать стихи – это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, будем считать, что мы с вами не зря тратили время». С тех пор прошло более сорока лет, но эти слова я запомнил отлично. Действительно, сколько порой одаренных поэтов страдают отсутствием вкуса – опасной болезнью, становящейся с возрастом неизлечимой, как и другие детские болезни, угрожающие взрослым! А ведь если научиться отличать плохие стихи от хороших, то сможешь и своим стихам, которые каждому автору кажутся замечательными, дать трезвую и правильную оценку, пусть даже самую горькую!

И Глеб Семенов, как мог, воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, родом из старой интеллигентской семьи (приемная мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а приемный отец – известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов авторов, о которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту ничего не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Помню, как-то году в пятидесятом он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,
Горю с остатками угля.
Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет,
И осыпается земля.
Последние истлеют крепи,
И рухнет небо мертвеца,
И превращаясь в пыль и пепел,
Я домечтаю до конца.
Я лишь на миг тебя моложе, —
Пока еще могу дышать:

Моя шагреневая кожа,
Моя усталая душа.

«Чьи это стихи?» – спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только несколько лет назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автор этих «безымянных» полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший в то время в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем – ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше. Именно он, помнится, дал мне впервые прочитать стихи прекрасного поэта Николая Тарусского, стихи Николая Заболоцкого и многих других поэтов, тогда запрещенных или полузапрещенных.

Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах, на занятиях литературной студии, именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания мировой поэзии – от Тредиаковского до обэриутов, от терцин «Божественной комедии» и песен вагантов до мужественной «Мэри Глостер» и «Баллады о трех котиколовах». Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.

После занятий мы упорно не хотели расходиться, обычно долго бродили по вечернему шумному Невскому или по тихой и безлюдной Фонтанке, беспрестанно читая стихи или разговаривая о них. Жизнь наша, до того бессмысленная, обрела главный смысл. И дело было, конечно, не в скромных наших способностях и не в уровне собственных злополучных стихов. Мы все обрели истинную веру, причастились великого таинства мира звуков и смысла их единственной гармонии и не могли уже жить как прежде.

Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно потравленные «воспитанием под барабан» в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы

существования, появилось первое сомнение в безусловной правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести «Попытка к бегству» на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим и людей приговаривают к смерти за следующий состав преступления: «Хотят странного». Стараясь научить нас «отличать плохие стихи от хороших», Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание – «хотеть странного». Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного «стремление ко лжи и к искусству». Не знаю, как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно, и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И это его огромная заслуга перед непорочностью и весомостью слова. Заслуга, благодаря которой мы были обращены в религию творчества. Не все, безусловно, стали литераторами – многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных «ценностей»…

Именно Глебу Семенову принадлежит заслуга превращения в интеллигентов целого поколения пишущей ленинградской молодежи. Он отдал этому делу практически всю свою недолгую жизнь. Много лет руководил студией во Дворце пионеров. Потом, когда я учился в Ленинградском горном институте, мы пригласили его вести студию там. По окончании Горного все участники «горняцкого» объединения не могли и не хотели расставаться с Семеновым и долгие годы ходили на его занятия во Дворец культуры имени Первой пятилетки, где он потом вел студию литературного творчества. Забегая вперед, могу сказать, что из «Глеб-гвардии Семеновского полка» (так мы себя в те поры величали) вышло немало литераторов, внесших заметный вклад в литературу последующих лет. Среди них – писатели Андрей Битов, Яков Гордин, Борис Никольский, поэты Александр Кушнер, Леонид Агеев, Глеб Горбовский, Владимир Британишский, Олег Тарутин, Нонна Слепакова, Нина Королева и многие другие.

С тех пор прошло много лет, но когда я в журналах или поэтических книжках встречаю вдруг новые хорошие, ранее неизвестные мне стихи, то, читая их, снова слышу глуховатый и негромкий голос Глеба Семенова.

Нам всем, дворцовым студийцам, было от пятнадцати до семнадцати лет, и Глеб Семенов казался тогда безнадежно старым и взрослым человеком, а ведь ему не было еще и тридцати. Поэтическая судьба его сложилась трудно. Первая книга стихов

«Свет в окнах», вышедшая в 1947 году, была неудачной. Последующие сборники, очень редкие, тоже были разными по своему уровню. Лучшие стихи оказались доступны для широкой публикации только после его смерти (он умер в январе 1982 года от рака легких). Был он крайне требователен к себе и всю жизнь мучился из-за хронической невозможности опубликовать то, что хочет. В годы войны его не взяли в армию из-за слабых легких, и это тоже мучило его, что нашло отражение в его стихах. Существовал он более чем скромно тем, что частично переводил, а по большей части работал при Союзе писателей в качестве литконсультанта и вел литературные объединения. Не знаю, что было бы, если бы его творческая судьба сложилась более удачно, но думаю, что в этом случае того уникального (на более чем два десятилетия – в самые черные годы) педагогического семеновского феномена могло бы и не быть…

Но вернемся в 1948 год. В нашем кружке (мы не любили это слово и всегда говорили «студия») были свои лидеры – первые поэты, писатели и критики. Старшую группу одно время посещал Василий Аксенов, поступивший после школы учиться в Первый медицинский институт. Там же занимались ушедший из жизни несколько лет назад многолетний главный редактор журнала «Нева» Борис Никольский, Владимир Торопыгин – главный редактор журнала «Аврора», безвременно умерший от рака в 1980 году, Игорь Масленников, ставший потом известным кинорежиссером. До сих пор помню его стихи, тогда чрезвычайно мне понравившиеся:

Луч солнца сух и высок,
Сух и высок веками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
И солнце целит дулом в висок,
Верблюд шевелит боками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
Пальмы стоят, стоят с руками,
Лужа прохладной грязи.
Камень, песок, песок, камень.
Камень, песок – оазис.

Часто рядом со мной за столом оказывался очень серьезный и худой старшеклассник с иконописным лицом, который оказался моим ровесником, но я почему-то считал его старше, может быть, из-за неприступного вида, а может быть, потому, что его первого,

несмотря на возраст, перевели в старшую группу. Это был Володя Британишский, с которым мы впоследствии учились на одном курсе в Горном институте. Помнится, нам как-то предложили показать свои стихи ленинградскому поэту Петру Ойфе, работавшему тогда в газете для пионеров «Ленинские искры». Прочтя рукописные тексты, он заявил: «У всех стихи плохие, потому что написаны они плохим почерком, трудно читать. А вот у Британишского стихи хорошие, потому что он пишет печатными буквами, и их читать легко». Стихи у Володи действительно были хорошими. Меня они тогда поражали глубиной и серьезностью тематики.

Да, жил и минерал, он был расплавом, газом,
Он магмой бешеной кипел в груди земной,
Но времена прошли, стал минерал алмазом,
И вот он на стекле лежит передо мной.

«Вот поистине «геологические» стихи, – думал я, – но какие глубокие и точные!»

В старшей группе выделялся своими стихами Лев Куклин, также ставший потом профессиональным поэтом. Но истинным лидером среди поэтов в ту пору был Феликс Нафтульев, которому все прочили большое поэтическое будущее. Был он на два года старше меня, стихи писал легко и много и очень, по тогдашним нашим представлениям, мастеровито. Здесь надо оговориться, что уровень поэтического мастерства в студии был сравнительно невысок. Несмотря на призывы наших руководителей, за редким исключением все писали привычными ямбами. В последние годы мне часто приходится слышать и читать стихи начинающих поэтов, и я с честной завистью вижу, насколько они «мастеровитее» нашего поколения. Возможно, на этой «ямбической скованности» отразилась наша несчастная эпоха конца 40-х годов, когда любая «формалистическая» поэзия казалась непозволительной экзотикой.

Феликс Нафтульев писал быстро и эмоционально, мог написать стихи буквально на любую тему. Мне более всего запомнились тогда его поэмы «Небо зовет» и «Индийская гробница» (все тогда увлекались этим фильмом). Стихи Феликса были лаконичными и динамичными, из них всегда была отжата «вода», которую лили все остальные. Помню его стихотворение «Стратонавты», посвященное памяти погибших в 30-е годы стратонавтов Васенко, Федосеенко и Усыскина.

Мне надо знать, как это было,

Как трудно долог был подъем,
Как оболочка тихо стыла
И покрывалась синим льдом.
Гондола дрогнула от ветра,
И вдруг в лиловой полумгле
Сорвалась стрелка альтиметра
И закружила по шкале.
Мне надо знать, как пела стенка,
И в страшном небе штормовом
Дюралевые швы Васенко
Рубил наотмашь топором.
Мне надо знать, как тьма редела,
Как стрелки прыгали, шаля,
Как нарастающе гудела
В иллюминаторах земля.
Как разом, отзвенев нелепо,
Вслепую, в чернозем, в века…
Мне надо знать, как страшно небо,
Чтоб победить наверняка!

Нафтульеву я (да и, видимо, не я один) завидовал. Еще бы – такие стихи! На отчетных вечерах Дворца пионеров он всегда читал стихи последним, и в отличие почти от всех других его неизменно награждали долгими аплодисментами. По окончании школы Феликс окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, стал неплохим редактором и журналистом с детским уклоном, но со стихотворными публикациями завязал. Более тридцати лет трудился в документальном кинематографе, где стал «широко известен в узких кругах», помог Юрию Сенкевичу написать книжки про его экспедиции вместе с Туром Хейердалом на «Ра» и «Тигрисе». Он умер в самом начале 2001 года, перевалив рубеж тысячелетий.

Другим «неформальным» поэтическим лидером очень недолгое время был таинственный человек Олег Ширма, парень шестнадцати лет, которого привел в кружок его одноклассник поэт Виктор Берлин, закончивший впоследствии Политехнический институт. Олег неожиданно появился у нас и почти так же внезапно исчез. У меня с ним сразу же осложнились отношения, так как ему понравилась волоокая, с темной косой и длинными черными ресницами Лена Иоффе, за которой я тогда ухаживал, и он после первого же занятия с прямотой римлянина стал угрожать мне финкой, чтобы я не ходил ее провожать.

Вместе с тем он сразу же потряс всех, и прежде всего, кажется, Глеба Сергеевича, поэмой, которую нам прочел. Это была поэма о Сталинградской битве, написанная вполне профессионально и явно человеком воевавшим. Поэма настолько отличалась от наших ученических писаний, что сразу же возникло подозрение, подлинно ли Олег Ширма ее автор. До сих пор помню такие строчки из нее:

Бледнеют голубые ромбы
Скрестившихся прожекторов,
И первый взрыв немецкой бомбы
Гремит у бронекатеров.
Пробиты бомбой бензобаки,
И нефть пылает на песке,
И грохот танковой атаки
Подкатывается к реке.

Поэма казалась написанной зрелым, настоящим поэтом. А вот другие стихи у Олега как-то не получались. Он походил к нам что-то около месяца, потом пришел на занятие с «маленькой», демонстративно выпил ее из горла без закуски, вызвав этим у присутствующих почти такое же потрясение, как прежде чтением поэмы, и исчез. Секрет этой таинственной поэмы так и остался для меня неразрешимым.

Помню, что в восьмом классе, в 1948 году, будучи тогда ретивым комсомольцем, я написал весьма посредственное, но «политически грамотное» стихотворение «Венок красных маков», в котором обличал «поджигателя войны» Уинстона Черчилля (так мы тогда совершенно искренне считали). Стихи эти, по рекомендации Семенова, я прочел на одном из отчетных вечеров и был удостоен первого в своей жизни упоминания в печатной прессе. И не где-нибудь, а в главной газете – «Ленинградской правде»! Статью об отчетном вечере студии литературного творчества опубликовал известный в те поры ленинградский поэт Всеволод Азаров, которому стихи мои вдруг понравились, и он написал: «Молодой поэт нашел гневные слова для разоблачения…» и так далее. Дурацкому моему тщеславному счастью не было предела. Пару раз после этого, в том же 49-м, пару стихов, тоже довольно скверных, напечатала газета «Ленинские искры». Это были мои первые печатные публикации.

Уже сейчас, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо…», в музее бывшего Дворца пионеров в старой газете «Ленинские искры» я прочитал свои стишки, посвященные сорокалетию комсомола, и пришел в ужас.

К сожалению, «отличать плохие стихи от хороших» я в ту пору еще не научился, поскольку совершенно не хотел понимать безнадежно низкого литературного уровня моих поэтических опытов.

Справедливости ради следует сказать, что Глеб Сергеевич Семенов, бывший для меня в те годы высшим авторитетом, довольно трезво и невысоко оценивал мои поэтические способности. Беседуя как-то со мной об упомянутом выше Олеге Ширме, он сказал: «Понимаешь, про тебя я знаю, что ты можешь, а что нет, а вот он – человек неожиданный». Много лет спустя, уже в конце 50-х годов, в каком-то поэтическом застолье он же, приводя уже не помню чьи остроумные изречения, заявил, обратившись ко мне: «А вот есть цитата про тебя: «Если хочешь быть талантливым, стань лауреатом». Слова эти я припомнил уже в 1999 году, когда действительно стал лауреатом премии Булата Окуджавы. Возможно, самым разумным в моем положении было бы бросить писать стихи раз и навсегда, но я уже был отравлен сладким ядом обманчивого сознания причастности к литературе и сил честно бросить это неблагодарное для меня занятие в себе не находил. Так, видимо, лишенный актерского таланта юноша готов быть статистом в массовке, осветителем, рабочим сцены – лишь бы дышать пыльным воздухом подмостков, пропитанным едкими запахами нафталина и олифы.

В то время все вокруг постоянно твердили нам, что надо «приобретать жизненный опыт», зарабатывать себе рабочую биографию, изучать жизнь не по книжкам. И только Глеб Сергеевич не уставал повторять нам, что поэзия, так же как и наука, требует от человека глубоких профессиональных знаний и мастерства; что, не зная мировой поэзии, и прежде всего отечественной, нельзя создать ничего нового. Что люди, презирающие культуру, пишущие «пупом», никогда не смогут обогатить литературу. «Рецепт один, – читайте, читайте и читайте», – повторял он.

Выступали мы тогда со стихами довольно редко, как правило, на отчетных вечерах студии в концертном зале старинного Аничкова дворца, куда разрешалось приглашать родственников и знакомых. Потом, в девятом и десятом классах, мы выступали на вечерах Дворца в зале Ленинградской филармонии и в Эрмитажном театре.

Помню, на выступлении в Эрмитажном театре я читал свои (весьма, кстати, посредственные) стихи о португальском мореплавателе Васко да Гама, поскольку увлекался тогда географическими открытиями. Об этом через много лет неожиданно вспомнил в своих стихах Владимир Британишский:

…И он к нам, в кружок наш, в Аничков дворец,
Пришел. Что прочтет горбоносый птенец?
Какими сразит нас стихами?
А он нам – о Васко да Гаме.
И в восемьдесят – не соврать бы – восьмом,
В Москве прихожу в цедеэловский дом,
И публика в зале, набитом битком,
И он обозначен в программе.
О чем же прочтет он лет сорок спустя?
А век наш летит и грохочет, свистя,
Ведь сверхзвуковые теперь скоростя —
Попробуй поспеть за голами!
А он нам – о Васко да Гаме…

Жили мы тогда с родителями в упомянутой выше большой коммунальной квартире на пятом этаже огромного дома на углу Мойки и Фонарного переулка. Во дворе этого гигантского дома с проходными дворами, заставленными дровяными сараюшками, помещались старые петербургские бани. Существует версия, что именно из-за этих, построенных еще в XVIII веке, бань река Мойка и получила свое историческое название. В числе прочих жильцов нашей квартиры (которую раньше занимал повар Мариинского театра), вытянутой подобно кишке вдоль длинного коридора, ведшего на кухню, был член Союза писателей Николай Афанасьевич Сотников. Кто он был, критик или киносценарист, я так и не понял. Он с его, к тому уже времени бывшей, женой и сыном Сергеем, одноклассником Феликса Нафтульева, занимали три крохотные комнатки в конце коридора, возле кухни. Ксения Николаевна, так звали его жену, постоянно подрабатывала машинописью, и в квартире у нас время от времени появлялись ее клиенты и приятели, среди которых мне запомнился Виктор Некрасов, тогда еще молодой автор только что опубликованного романа «В окопах Сталинграда».

Сам Николай Афанасьевич, грузный обрюзгший человек неопределенных лет, в неизменных роговых очках, в квартире появлялся редко. В постоянно пустовавшей комнате его была неплохая библиотека из старых книг, кое-что из которых его сын Сережа давал мне читать. На старом расшатанном столике в передней, напротив входных дверей, где стоял телефонный аппарат (тогда еще не автоматический с наборным диском, а с кнопками «А» и «Б»), вместе с письмами квартирным обитателям регулярно появлялись календарики мероприятий в Доме писателей, Доме кино и различного рода пригласительные

билеты, в пору отсутствия Сотникова лежавшие здесь подолгу. Я смотрел на них с завистью к этому таинственному человеку, который каждый день, оказывается, мог ходить то на концерт, то на просмотр и обсуждение кинофильма, то на какую-нибудь интереснейшую лекцию. Вот что значит быть настоящим писателем! Да я бы на его месте только и делал, что ходил все время то в Дом писателя, то в Дом кино – не жизнь, а сплошной праздник, да еще и постоянно среди всяких знаменитостей!

С другой стороны, такой образ жизни отпугивал меня своим, как мне представлялось тогда, праздным бездельем. Я понятия не имел о черном и каторжном писательском каждодневном труде, заменяя его в своем воображении редкими приятными взлетами творческого вдохновения. Да и родители мои, с утра до ночи пропадавшие на работе, усердно приучали меня к тому, что каждый мужчина должен иметь «серьезную» специальность и трудиться, как и все, на производстве. Под словом «серьезная» понималась – техническая. Всякое искусство в нашей «технарской» семье воспринималось в основном как развлечение и отдых после работы, которая, неважно какая, но обязательно каждодневная, и являлась главной целью в жизни. Поэтому делать искусство своей специальностью я тогда не собирался. В то же время, хотя я и старался быть отличником, математика и физика давались мне с трудом, а больше всего я любил литературу и историю, явно обнаруживая, к неудовольствию матери, гуманитарный уклон.

Весной 1947 года я окончил седьмой класс 254-й школы, а поскольку она была семилеткой, то я перевелся в восьмой класс в другую школу, расположенную в Коломне. Такое название получил исторический район старого Петербурга за Крюковым каналом – треугольник между Невой, Мойкой и Фонтанкой. Здесь когда-то жили молодой Пушкин, Евгений – герой его «Медного всадника», Гоголь, Иннокентий Анненский, Блок, Мусоргский, Репин, Глинка и многие другие. В связи с эвакуацией мне пришлось сменить несколько школ, но из всех мне более всего запомнилась именно эта – 236-я школа на Мойке, 108. Находилась она напротив главных ворот знаменитой петровской Новой Голландии, где в начале XVIII века строили галеры, которые сыграли решающую роль в победоносных сражениях молодого русского флота со шведами при Гангуте и Гренгаме. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то испытываю острое чувство ностальгии по временам моей юности. Когда я думаю о том, что такое Родина, не «малая родина», а единственная, потому что Родина малой быть не может, то вспоминаю Васильевский остров и Новую Голландию – район старой питерской Коломны. Вообще

каким-то непостижимым образом моя жизнь переплелась с жизнью этого города.

Тот город, где легендой стали были,
Как белым снегом черные дожди,
Который императоры любили
И страстно ненавидели вожди.
Тот город, что не встанет на колени,
Предпочитая умереть в бою.
В Москву не зря бежал отсюда Ленин,
Спасая жизнь недолгую свою.
Корабликом на шпиле этот город
Одолевает бурные года.
Его не задушил блокадный холод,
Не затопила невская вода.
Мне – семьдесят, ему сегодня – триста,
Он так же юн, а я – уже старик.
Но, как мальчишка, выхожу на пристань,
Услышав чаек сумеречный крик.
И мне сулит немереное счастье
Немереной гордыни торжество,
Что сделаться и я могу причастным
К суровому бессмертию его.
И, до конца отжив свой век короткий,
Уже не слыша пушку над Невой,
Стать завитком литой его решетки
И камнем безымянной мостовой.

В последних классах школы мне больше нравились гуманитарные предметы, чем точные. Исключение, пожалуй, составляла биология, где со стен биологического кабинета на нас хмуро взирали с портретов Трофим Лысенко, Исаак Презент и еще какие-то мрачные личности. Физику у нас в восьмом классе преподавала некая Мария Леонтьевна, женщина средних лет, грузная и косноязычная, с тяжелым неподвижным взглядом бесцветных глаз, от которой за версту веяло холодом и полным равнодушием к своему предмету. Я боялся ее гипнотического взгляда, как кролик боится взгляда кобры. В десятом классе ее сменил высокий, узкоплечий и худой Владимир Александрович со впалыми щеками многолетнего курильщика и цепкими презрительными глазами, щеголявший во флотском офицерском кителе и заявивший как-то моему однокласснику Леве Лозовскому, отличавшемуся вопиющей еврейской внешностью: «Зря стараешься. Таким, как ты, я все равно больше тройки

никогда ставить не буду, чтобы вы в вузы потом не лезли». Может быть, поэтому никакой привязанности к физике я не испытывал в то время.

Да, еще нелады у меня были с физкультурой. Я был худосочный послеблокадный мальчик, в эвакуации болел и всегда, как орудий пытки, пугался всяких спортивных снарядов. У нас был замечательный физкультурник, Георгий Владимирович Старов, в прошлом заслуженный мастер спорта, который воспитал не одно поколение спортсменов. Со мной ему явно не везло.

Для меня мучением когда-то
Физкультура школьная была.
Я кидал недалеко гранату,
Прыгать не умел через «козла».
Я боялся, постоянно труся,
В зале физкультурном не жилец,
Шведской стенки, параллельных брусьев,
К потолку подвешенных колец.
Это после, полюбив дорогу,
Обогнул я Землю раза три,
Прыгал с кулюмбинского порога
С пьяными бичами на пари.
Штурмовал обрывы на Памире,
Жил среди дрейфующего льда.
Но опять, как дважды два – четыре,
Помню эти школьные года,
Где не в силах побороть боязни
Ног моих предательских и рук,
Подвергался я гражданской казни,
Всеми презираемый вокруг.
И в пустой укрывшись раздевалке,
В щели между шкафом и стеной,
Всхлипывал, беспомощный и жалкий,
Проигравший бой очередной.

Математику же преподавал замечательный человек Александр Павлович Григал, прекрасно знавший свой предмет, но грозный и строгий. В нашем девятом «Б» учился высокий крепыш по фамилии Синица, носивший на своей широкой груди множество спортивных значков. (Уже в девятом классе он занимался в юношеской спортивной школе и был разрядником по нескольким видам спорта.) С математикой он систематически был не в ладах. Каждый раз, когда Григал громовым своим

голосом зачитывал оценки за очередную контрольную, он начинал с отличников: «Камский – пять, Темкин – пять, Капинос – пять…» Потом шли четверки, тройки и двойки. Заканчивал же он всегда в рифму: «Синица – единица!» Меня он тоже не особенно жаловал, так что выше четверки я у него обычно не поднимался.

Совсем другое дело – литература и история. Литературу в восьмом и девятом вела худенькая и некрасивая Лариса Михайловна, со старомодной косой и высоким восторженным голосом старой девы. Я у нее, конечно, был на самом хорошем счету, так как с литературой, которую любил, проблем никогда не возникало.

Не обходилось, однако, и без конфликтов, в которых каждый раз виновен был я. Помню, однажды зимой она вошла к нам в класс, румяная от мороза, с блестящими глазами и звонко сказала: «Ребята! Сегодня мы с вами начинаем новую тему, связанную с величайшим нашим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, – любовь Пушкина. Дело в том, мальчики, что Пушкин был однолюб». Я, к тому времени успевший прочитать довольно много всякой всячины о поэте, в том числе дневники А.Н. Вульфа, книги Вересаева, работы Щеголева, дневник самого Пушкина в Михайловском с характерной записью о романе с Анной Петровной Керн, и зная знаменитый донжуанский список Пушкина, довольно гнусно захихикал, чем неожиданно для себя вызвал ее яростный гнев. «Городницкий, – закричала она, заливаясь краской, – немедленно покиньте класс. И давайте дневник – я вам двойку поставлю!» Несколько растерянный ее внезапным и, как полагал, несправедливым гневом, я вышел в коридор и, закрывая за собой дверь, слышал, как она объясняла срывающимся от волнения голосом: «Ребята! Не верьте этому цинику! Да, действительно, женщин в жизни Пушкина было много. Но ведь Пушкин был один! И поэтому любовь каждый раз была одна – великая, светлая пушкинская любовь!» Увы, мне потребовалось полвека, чтобы понять, как она была права!

Историю в восьмом и девятом классах вел худощавый и подтянутый, с высоким лбом и строгими роговыми очками Вячеслав Николаевич, ушедший потом преподавать в Нахимовское училище и надевший морскую форму. Вот кто умел говорить красиво! В нескольких словах мог он развернуть захватывающую картину штурма Бастилии или казни Робеспьера. Именно ему я обязан пожизненной любовью к истории. Именно он дал впервые прочесть поразившие меня тогда книги Стефана Цвейга «Жозеф Фуше», «Подвиг Магеллана» и «Звездные часы человечества». В десятом классе его сменил Петр Антонович,

лысоватый и неряшливый, с вытянутой длинной и асимметричной головой. Он вел историю СССР и объяснял ее по-простецки: «Услышав это, Ленин сказал: «Ты, милочка Коллонтай, не очень-то тут разливайся, мы тебя враз укоротим!» Впрочем, человек он был добрый, да и отрезок истории ему попался неблагодарный.

Нельзя, конечно, обойти в памяти и уроки военного дела, и нашего израненного под Ленинградом инвалида-военрука в гимнастерке, на которой желто-красных нашивок за ранения было не меньше, чем орденских колодок. У нас, послевоенных мальчишек, отношение к оружию было особенным. С огромным энтузиазмом мы в сотый раз разбирали и собирали затворы знаменитой мосинской трехлинейной винтовки образца 1891 года или пистолета-пулемета системы Шпагина и палили с пыльных матов по картонным мишеням.

Классным руководителем с восьмого по десятый класс была у нас учительница немецкого языка Софья Львовна Щучинская, маленького роста, с черными зачесанными гладко волосами и гоголевским профилем. Характер у нее был сложный и жестокий. Именно она была инициатором создания в школе рукописного журнала «Проба пера», сменным редактором которого в числе прочих был и я. Печатался он на машинке в одном экземпляре. Обложку и рисунки делали сами. В журнале помещались стихи, проза и публицистика. Помню, всего было выпущено номеров шесть (выходил он раз в месяц). К великому сожалению, после перевода 236-й школы в другой район все старые архивы наши, в том числе и журналы «Проба пера», были сожжены. У меня чудом сохранился один номер с напечатанной там моей первой поэмой «Ноябрь».

Вспоминаю замечательную историю. Была весна, десятый класс, и прямо у подъезда школы продавались леденцы «Петушок на палочке». Все мальчишки на большой перемене накупили этих леденцов. Следующим уроком был немецкий. Вошла Софья Львовна и сказала: «Как вам не стыдно! Вы уже взрослые мужчины! Это пошло! Вы «Петушков на палочке» купили. Вот Городницкий никогда бы не опустился до такого безобразия». В это время открылась дверь, и вошел я с «Петушком на палочке».

Мой одноклассник Толя Рыжиков припоминает еще один забавный случай: «Сидим мы с Городницким в классе. К нам подходит Софья Львовна и спрашивает: «Как вы думаете, кого нам избрать комсоргом?» Я говорю: «Конечно, Камского». Городницкий возражает: «Какого Камского?! Камский пессимист». «Ну, какой же он пессимист? – говорю я. – Он просто говорит то, что думает». Городницкий отвечает: «Вот это и называется –

пессимист».

Оглядываясь назад, я понимаю теперь, что в те далекие и неискренние годы Софья Львовна Щучинская делала все, что могла. Она говорила часто, что не учеба главное в школе, а жизнь в коллективе. «Вы будете вспоминать через несколько лет уже не нас и не школу, а только то, что вы сами успели в ней сделать». Вот и я теперь действительно вспоминаю журнал «Проба пера» и бережно перелистываю его желтые страницы с никому уже, кроме меня самого, не нужными стихами и рассказами. Вместе с тем я никак не мог отделаться от постоянного чувства неловкости, не вполне осознанной, которая возникала у меня всякий раз, когда на классном собрании по любому поводу она громко кричала: «Даю честное слово коммуниста!» Софья Львовна умерла от рака в конце 50-х годов, и я был в числе двух или трех одноклассников, шедших за ее гробом.

Что же касается моих гуманитарных склонностей в школьные годы, то все относительно. Несколько лет назад я присутствовал на Дне открытых дверей в Международном университете в Дубне, где я числюсь профессором по кафедре наук о Земле. По случаю праздника весь профессорский состав облачили в красные мантии и конфедератки. На кафедре информатики, где мы с коллегами уже успели пропустить по паре рюмок коньяка, стояли компьютеры с экзаменационными тестами для поступающих, вокруг которых толпились студенты и абитуриенты. Когда мы подошли, кто-то из них пошутил: «Вот, дорогие профессора, вы нам тут вопросов наготовили. А сами-то можете на них ответить?» – «А что, – неосторожно сказал я, разгоряченный коньяком, – можно попробовать». Хохочущая стайка абитуриентов обступила меня и потащила к компьютеру. Остальные профессора от этого скромно уклонились. И тут я не без испуга вспомнил о своих проблемах с физикой и математикой в школе. Отступать, однако, было поздно – плотное кольцо насмешливых абитуриентов уже сомкнулось вокруг меня. «Ну, ладно, – подумал я, отрезвев от страха, – с литературой и языком-то я как-нибудь справлюсь. А вот как бы с физикой и математикой не опозориться». Результат тестирования оказался для меня весьма неожиданным: английский я еле вытянул на тройку, по литературе получил четверку, а физику и математику, не задумываясь, ответил «на пять».

В то трудное послевоенное время для нас, полуголодных ленинградских мальчишек, самым доступным искусством оставалось кино, игравшее огромную роль в формировании системы наших ценностей и стереотипа поведения.

«Из всех искусств для нас наиважнейшим
Является кино», – заметил Ленин.
И не ошибся: в школьные года,
Послевоенные, да и позднее тоже,
Оно сердца нам жгло на всю катушку.
Катушки эти, помню, привозили
В тяжелых металлических коробках,
Защитною окраскою и формой
Напоминавших цинки для патронов
Или противотанковые мины,
Которые в ту пору находили
Под Сиверской и возле Сестрорецка.
Ах, эти фильмы! Именно по ним
Учились мы как надо целоваться,
Закуривать и открывать бутылку,
Да и другим вещам, необходимым
Для юношеской жизни, о которых
Умалчивали школьные программы.

…Прощай, кинематограф. Ты теперь
Искусство ретро, как и оперетта,
Что вытеснена шоу, или книга
В суровую эпоху Интернета.
Прощай, кино. Уже не будем мы
Из темноты с надеждою на свет
Смотреть, завороженные лучом
Твоей трескучей кинопередвижки.
Прощай, мое важнейшее искусство,
Последняя и первая любовь.
Ты – жизнь моя, которая прошла
И более уже не повторится.

Кончались 40-е годы, о мрачной оборотной стороне которых я тогда не догадывался. Уже шла вовсю «борьба с космополитами», предвещая в недалеком будущем дело врачей. Уже были преданы анафеме Ахматова и Зощенко, Шостакович и Мурадели. Снижали послевоенные цены, но испуг оставался привычным выражением человеческих лиц. Что же делать… У нас не было другого детства и юности. Для меня конец 40-х годов стал временем первых, вполне платонических сердечных увлечений, горьких раздумий о своей неисправимой национальной неполноценности, мечтаний о будущем, где мне хотелось бы стать «настоящим мужчиной».

Характерно, что поэзия не занимала никакого конкретного

места в моих жизненных планах – она как бы существовала сама по себе, не становясь в то же время самоцелью. Я в ту пору увлекался историей и даже собирался поступать на истфак в университет. Свидетельством этого осталось интервью, взятое у меня, как у «круглого отличника», каким-то незадачливым корреспондентом молодежной газеты «Смена» в девятом классе в 1949 году. Интервью вместе с фотографией попало на страницы газеты, откуда много лет спустя перекочевало в юбилейную книгу, посвященную шестидесятилетию газеты «Смена». В книге этой напечатаны «Атланты» и мое дурацкое давнее интервью, названное в духе того времени «Смело смотрим вперед», где я наивно заявлял, что собираюсь после школы в Ленинградский университет.

Что еще занимало нас тогда? Ну, конечно, любовь. Для нас, питомцев мужской школы, девочки были инопланетянами. В восьмом классе у нас организовали кружок танцев, куда пригласили девочек из соседней 235-й школы. Борьба с «иностранщиной» и космополитизмом была в самом разгаре, поэтому фокстроты и танго, воплощавшие тлетворное разложение буржуазного Запада, были объявлены вне закона. Даже слова были изъяты из обихода. Когда на танцах, не более одного раза за весь вечер, играли все-таки танго или фокстрот, их стыдливо называли «медленный танец» и «быстрый танец». Строгие комсомольские патрули на школьных вечерах бдительно следили, чтобы никто не вздумал танцевать неприлично развратный «Гамбургский стиль» фокстрота, считавшийся пределом грехопадения. В кружке танцев поэтому тщательно изучали русский бальный, падекатр, чардаш, краковяк и другие мертворожденные бальные танцы. Единственным, кажется, утешением был вальс. Ему я обучился быстро. Считалось особым шиком закружить свою партнершу до такого состояния, чтобы у нее начала кружиться голова, и она, боясь упасть, старалась сама ближе прижаться. Умение танцевать в старших классах казалось нам столь же необходимым, как, например, умение читать.

Саша Малявкин, мой сосед по парте в девятом классе, переводившийся ненадолго в школу рабочей молодежи и успевший почерпнуть там изрядный опыт сексуальных навыков, регулярно ходил на танцы в клуб «Швейник» на Исаакиевской площади и постоянно дразнил наше любопытствующее воображение рассказами о своих победах. По этому поводу в подпольном классном журнале, который вел мой другой одноклассник Миша Капилевич, про Малявкина были написаны исторические слова: «Хвастается, что познал женщину. Однако это свист». Про меня, кстати, Миша Капилевич, а он давал всем

весьма нелицеприятные характеристики, написал следующее: «Маленький, слабенький, а хищник».

Саша Малявкин учился со мной вместе в Горном институте, после чего стал моим коллегой, геофизиком, работал на аэромагнитной съемке в Антарктиде. Остальные одноклассники перебивались редкими поцелуями. Куда нам, тогдашним, тягаться с современными старшеклассниками, отягощенными ранним сексуальным опытом! Зато устраивались многочисленные ханжеские диспуты на тему «Дружба, товарищество и любовь», где прыщавые лбы-переростки и полногрудые девятиклассницы, стараясь не смотреть друг на друга, на полном серьезе обсуждали, может ли быть «чистая дружба» между юношей и девушкой.

И все-таки наступали волнующие майские дни, когда на подоконники окон выставлялись радиолы и пробивалась первая светлая зелень на тополях, стоящих вдоль Мойки, и щемящие до сих пор сердце мелодии вальса «Память цветов» или фокстрота «Укротитель змей» манили наши неокрепшие души и тела смутным обещанием немедленного счастья. И бледные, незагорелые ноги девчонки из соседнего дома в неожиданно короткой, не по тогдашней моде, юбке заставляли беспокойно просыпаться светлой ночью, отличавшейся от дня только тишиной и неподвижностью.

С той поры минуло более шестидесяти лет. Сейчас в бывшем здании нашей школы размещается учебный корпус Института физкультуры и спорта имени Лесгафта. Мраморные доски с именами золотых медалистов, в том числе и с моим, сняты со стен и выброшены. Когда я смотрю на выпускную фотографию нашего десятого «Б» класса 236-й мужской школы Октябрьского района Ленинграда в 1951 году, то с грустью отмечаю, что многих уже нет на свете, а многие навсегда уехали в отдаленные края. В Нью-Йорке несколько лет назад умер мой сосед по парте Алик Камский. Один из моих самых близких друзей – Толя Рыжиков, теперь живет в Калифорнии, в небольшом городке Сан-Хосе неподалеку от Сан-Франциско. Пару лет назад он закончил книгу воспоминаний с характерным названием «Впереди – прошлое». Книга эта вышла в Питере в издательстве моего друга, известного литератора Николая Якимчука, и в июне 2011 года была удостоена престижной литературной премии «Петрополь», которую вручали в Музее А.С. Пушкина на Мойке, 12.

Нелепо от утренней боли
Искать утешенье во сне.
Товарищ мой Рыжиков Толя

Скучает в далекой стране.
В округе цветные пейзажи,
Сиянье воды голубой,
О калифорнийские пляжи
Стучит океанский прибой.
Товарищ мой Рыжиков Толя,
Ему нелегко одному.
С ним вместе учились мы в школе
Полвека и больше тому.
Листаем мы старые снимки
Далеких мальчишеских лет.
На снимках мы сняты в обнимку
С друзьями, которых уж нет.
Теперь они все – невидимки,
А мы еще живы пока.
Мы смотрим на старые снимки,
Сутулые два старика.
На раны насыплет нам соли
Волны настоявшийся йод.
Товарищ мой Рыжиков Толя
Нам водки в стаканы нальет.
И мы с ним поднимем стаканы
На этом крутом берегу
За класс наш, что в прошлое канул,
За Мойку в январском снегу.

Комната, где ютились мы с отцом и матерью, была узкой и длинной и напоминала трамвайный вагон. В одном торце ее помещалась дверь, в другом – окно. Зато за окном открывался необъятный вид на весенний город. Дом был огромный, старый, угловой, выходивший и на Мойку, и в Фонарный переулок. Фасад дома в его верхней части был украшен лепными ангелами. Один из них располагался возле нашего окна, слева от него. Справа, симметрично ангелу, красовалась водосточная труба. До сих пор помню весенний праздник его открытия, когда из щелей извлекалась пожелтевшая за зиму вата, отдирались полоски бумаги и крошащаяся замазка и распахивались пыльные рамы, впуская в нашу тесную комнату таинственную полифонию вечернего города. Со стороны фасада окно было перехвачено старинной чугунной решеткой, так что на широком подоконнике при открытом окне образовывалось что-то вроде небольшого балкона, где я обычно любил устраиваться с книгами или тетрадками.

Кто-то из моих друзей однажды сказал, что мировоззрение человека во многом определяется тем, что он видел в детстве из своего окна. Так вот, на Васильевском острове я из своего окошка видел только глухую стену во дворе, а из этого окна многое другое.

Прямо подо мной, глубоко внизу, медленно струились грязно-зеленые воды Мойки, по которой иногда, пыхтя, тянул буксир какую-нибудь баржу да в начале лета проплывали учебные шлюпки с обнаженными по пояс загорелыми курсантами Высшего военно-морского пограничного училища, располагавшегося неподалеку от нашего дома, на другом берегу Мойки, возле Поцелуева моста, в здании бывшего Гвардейского экипажа. Враз поднятые по команде сверкающие на солнце весла, резко нагибающийся в такт гребкам старшина, командующий «р-раз, р-раз», неизменный военно-морской флажок на корме – все это заставляло сжиматься сердце в мечтах о настоящем море.

Вечерами по булыжной мостовой возле нашего дома с песнями маршировали курсанты Высшего транспортного училища, также располагавшегося неподалеку. Эти ежевечерние строевые песни «Распрягайте, хлопцы, коней», «Эй, море Черное, песок и пляж», «Взвейтесь, соколы, орлами» и другие, как ни странно, рождали чувство стабильности и покоя.

Напротив дома на противоположной стороне Мойки возвышалось несуразное здание Дома культуры работников связи в стиле социалистического конструктивизма начала 30-х годов, перестроенное когда-то из немецкой кирхи, своим серым обликом и высокой башней напоминавшее старинный средневековый замок. По выходным на последнем этаже его, где помещался танцевальный зал, устраивались танцы, и громкие звуки оркестра до позднего вечера вырывались из узких длинных окон, похожих на бойницы. В 90-е годы в верхних этажах башни размещалась одна из питерских радиостанций. Мне довелось побывать там на эфире, и я через много лет с грустью снова взглянул на «свое» окно на пятом этаже отреставрированного ныне дома, между ангелом и водосточной трубой.

Правее, над крышами старых домов на бывшей Большой Морской, где жили когда-то Набоковы и другие именитые дворяне, сиял в лучах заходящего солнца купол Исаакиевского собора. Перед блокадой он был закрашен, «чтобы не служил ориентиром для немецкой артиллерии при обстреле». Помню, как после войны с него долго соскребали краску специально подрядившиеся альпинисты-верхолазы. Это ежевечернее золотое сияние за окном, являвшее разительный контраст с нищенской нашей домашней обстановкой, стало для меня как бы

необходимой частью домашнего интерьера.

Лет десять назад на брифинге в роскошной резной черного дерева гостиной особняка Набокова на Большой Морской, где теперь располагается редакция газеты «Невское время», кто-то из журналистов спросил меня: «Скажите, а вы впервые в особняке Набокова?» – «Нет, – ответил я, – я здесь уже был много лет назад, в сорок девятом году. Тогда я ходил по всей этой анфиладе совершенно голый, прикрываясь листом бумаги». Мое неожиданное заявление привело присутствующих журналистов в явное смятение. Они решили, что у меня «поехала крыша». Пришлось пояснять, что в этом доме в 1949 году помещался Райвоенкомат, где я вместе с другими допризывниками проходил приписку и необходимую при этом медкомиссию. В каждой из комнат бельэтажа сидели врачи, и мы, раздетые догола, ходили из комнаты в комнату, стыдливо прикрываясь обходным листом.

Левее Дома культуры связи, над крышами домов, в том месте, где Большая Морская соединялась с набережной Мойки и в маленьком скверике в апреле всегда прежде других начинали зеленеть два деревца, отчетливо были видны верхушки мачт огромного парусника «Крузенштерн», стоявшего в те годы у причала на набережной Невы, неподалеку от моста Лейтенанта Шмидта. Мачты эти, черневшие на фоне пронзительных алых и желтых закатов, пылавших над Васильевским и Петроградской, будили чувство счастливой тревоги, напоминая о том, что мы живем на берегу, и вселяя обманчивую иллюзию о доступности дальних стран. Старый этот парусник, построенный в Германии в 1926 году, был захвачен в качестве военного трофея и много лет стоял здесь без движения, ожидая своей дальнейшей участи. Мог ли я тогда думать, что буду штурмовать на нем в суровой зимней Северной Атлантике, плыть Гибралтарским проливом мимо Геркулесовых столбов, швартоваться у причалов далекой Ямайки?

Этот пьянящий воздух вечернего города, пропитанный звоном трамваев, обрывками танцевальной музыки, резкими криками вдруг вспыхивающих на солнце чаек, сигналами автомобилей, протяжными гудками близких судов и, наконец, звонким стуком чьих-то запоздалых каблучков по камням в молочном безмолвии белой ночи, кружил голову упрямым, несмотря ни на что, ожиданием счастья на завтра. Необъятность и неопределенность будущего, кажущееся богатство выбора – все пьянило воображение. И писались стихи, глупые и беспомощно-восторженные, а ныне недоступные, вызывающие острое чувство ностальгии.

Летит окрестная листва

На мокрый парапет.
На Мойке, восемьдесят два
Я прожил много лет.
Несолнечная сторона
На северо-восток,
Налево – ангел у окна,
Направо – водосток.
Свистели бомбы за окном,
Был зимний ветер лют,
Ах, ночи белые потом,
И праздничный салют!
Прожектор бело-голубой
И разноцветный снег!
Ах, эта первая любовь,
Что помнится навек!
На Мойке, восемьдесят два
Я числился, жилец.
На Кировские острова
Возил меня отец.
Отстукивал мне время днем
Привычный метроном,
Солдаты пели перед сном,
Шагая под окном.
Стоял на Мойке старый дом,
И с самого утра
Скрипели весла за окном,
Пыхтели катера.
О, ветер странствий у виска,
И перекличка стай!
О, эта сладкая тоска, —
Фокстрот «Цветущий май»!
На Мойке, восемьдесят два
Я прожил много лет.
Соседи сникли, как трава,
Иных – в помине нет.
Зажгитесь давние огни,
Пластиночка, играй!
Верни мне прошлое, верни
Тот коммунальный рай,
Когда блокада и война
Стучали в нашу дверь,
Но мир из этого окна
Был лучше, чем теперь.

Отечество нам – горный институт

За серыми окнами Горного, —
Забыть их до смерти нельзя,
Где лекции слушал покорно я,
Азы теормеха грызя,
Над линией узкой причальною
Маячили верфи вдали,
Гудками глухими печальными
Прощались с землей корабли.
За серыми окнами Горного,
Дневной застилая нам свет,
Желтея большими погонами,
Огромный качался портрет.
Мы шли с первомайскими флагами,
Усталых не чувствуя ног,
Под статуей Сталина плакали,
Купив со стипендий венок.
За серыми окнами Горного
Рассвет загорался и гас.
Желание славы упорное
Сжигало неопытных нас.
Направо вели экспедиции,
Налево блестела вода, —
Присевшими на воду птицами
Качались у пирса суда.
За серыми окнами Горного
Клубился туман над Невой,
И небо, от копоти черное,
Вдруг вспыхивало синевой.
И плыли в воде отражения,
И вензель мерцал у плеча,
Как солнечное продолжение
Рожденного в небе луча.

Геологией я начал заниматься так же случайно, как и стихами. Увлекаясь в старших классах литературой и историей, не в пример физике и математике, я не мог не сознавать бесплодность этих увлечений. Когда я окончил десятый класс, на дворе стоял 1951 год. Еще не отшумела антисемитская кампания по борьбе с космополитами, а уже готовилось дело врачей. Несмотря на золотую медаль, путь на истфак в Ленинградский

университет, носивший гордое имя Андрея Александровича Жданова, был для меня с моим «пятым пунктом» закрыт наглухо. То же относилось и к основным «престижным» вузам. Идти в «разрешенные вузы» – пединститут, мединститут и так далее, входящие в «черту оседлости», не хотелось. Яд сталинской антисемитской пропаганды до такой степени корродировал мое полудетское сознание (не говорю «душу» – ее тогда, пожалуй, еще не было), что я сам себе казался человеком второго сорта, неженкой и белоручкой, ничего не умеющим. Я мечтал стать «настоящим мужчиной», закаляющим свой дух и тело постоянными трудностями и героическими подвигами, хотелось доказать всем (и себе), что я не хуже других. Реализовать эти юношеские комплексы в те невеселые времена, по моему разумению, можно было, только связав свою будущую жизнь с армией или экспедициями…

В начале десятого класса в нашей школе появился ладно скроенный молодой подполковник с голубыми просветами и крылышками на золотых погонах, туго перетянутый скрипучей портупеей. Объявлялся набор десятиклассников в курсанты Высшей военно-воздушной академии. До сих пор помню, с каким завистливым вниманием мы следили за ним, когда он рассказывал об условиях приема. Через год – всего через год! – уже присваивается первое офицерское звание младшего лейтенанта и жить можно будет не в казарме, а дома. Его литая фигура, туго обтянутая новенькой гимнастеркой с яркими полосками орденских колодок, зелено-черное мерцание погон, портупеи и начищенных до предельного блеска сапог безоговорочно покорили и наши мальчишеские сердца.

Нельзя забывать, однако, что для нас, школьников военного поколения, облик боевого офицера был тогда главным идеалом. Не в пример Белинскому, «титло литератора» заслонялось от нас «блеском мундиров и мишурой эполет». Кроме того, обещались большие по тем временам деньги и полная независимость от родительской опеки. Остатки сомнений были развеяны, когда на новогодний вечер в школу пришли вчерашние выпускники, ребята всего лишь на два класса старше нас, вместе с которыми мы еще вчера выпускали стенгазету и ставили спектакли. Они появились в такой же летной форме, при серебряных погонах с офицерской звездочкой на голубом просвете.

Заявления в академию подало больше половины класса, в том числе и я, совершенно упустив из виду то (показавшееся нам совершенно неважным) обстоятельство, что прием-то был только на специальность строительство аэродромов, которая никакого отношения к полетам не имела. Поскольку я, не без оснований,

побаивался, что меня и в академию из-за пятого пункта не возьмут, то одновременно начал думать – не поступить ли в военно-морское училище, хотя, конечно, о море, как и о геологии, никакого понятия не имел, а воды боялся, поскольку плавать не умел.

В моем увлечении морем во многом «повинны» Сергей и Вадим Карцевы, уверенно пошедшие после седьмого класса сначала в подготовительное, а потом в Высшее военно-морское училище. Прибегая домой в недолгие сроки увольнений или в «самоволку», загорелые и отощавшие на военно-морских харчах, братья поражали мое убогое школьное воображение незнакомыми морскими словечками. Пол они называли палубой, кухню – камбузом, стены – переборками, порог – комингсом. Мир вокруг начинал преображаться. Казалось, привычные прежде комнатные стены, став переборками, кренятся и скрипят, унылый дом напротив, маячащий в окнах, превращается во вражеский фрегат, идущий на абордаж, а серые булыжники мостовой искрятся балтийской рябью под атлантическим норд-вестом. Братья чаще приходили в выходной форме с ярко-синим сиянием «гюйсов» (так они называли свои морские форменные воротники с тремя белыми полосками, присвоенными, как мне объяснил Сергей, русским морякам еще в XVIII веке за победы в морских сражениях). Первое, что они делали при этом, – бросались, сняв свои «гюйсы», на кухню и начинали яростно их застирывать, стараясь с помощью хозяйственного мыла и щелочей вытравить красивый синий цвет. На мои недоуменные вопросы братья снисходительно отвечали, что новенькие синие воротники – опознавательный знак «салаг», а у настоящих опытных и бывалых моряков, каковыми они, вне всяких сомнений, себя и считали, «гюйсы» должны быть бледными, выцветшими от тропического солнца, полярных ветров и соленой воды.

А чего стоили их палаши в черных тугих ножнах с черными же рукоятями и кистями на эфесах, настоящее «табельное» оружие, которое обычно небрежно отстегивалось и ставилось в угол! Разрешение «подержать» палаш обычно сопровождалось захватывающими дух историями о кровопролитных дуэлях (конечно, из-за женщины), возродивших древнее искусство фехтования. О том, как грозные курсанты наводят ужас на всю шпану в танцевальном «Мраморном зале» на Васильевском острове. Как под угрозой обнаженных палашей испуганные милиционеры, незаконно придравшиеся к курсантам на ночной набережной, вынуждены многократно отдавать им честь, чтобы потом убраться подобру-поздорову.

Но даже когда братья являлись в «самоволку» из какого-

нибудь овощехранилища в грязных, донельзя затертых матросских «робах» и огромных не по размеру матросских ботинках последнего срока носки, прозванных «ГД» (говнодавы), они и тогда казались мне небожителями, штатными гриновскими героями, сошедшими ненадолго на берег.

Итак, мифическое море и не менее мифическое небо, ослепившие честолюбивые мечты худосочного юнца на пороге десятого класса. Я регулярно, вместе со всеми, являлся «на построения» и перекличку на старый, еще дореволюционный плац в Военно-воздушную академию на улицу Красного Курсанта на Петроградской и одновременно собирал документы для военно-морского училища. Отец, всю жизнь работавший в системе военной гидрографии, поначалу снисходительно относился к моим безумным намерениям, справедливо полагая, что все равно из этого ничего не получится. Только когда, уже получив аттестат и медаль, я должен был назавтра окончательно отдать документы в академию, где, как ни странно, попал в список, он всерьез встревожился и с несвойственной ему безоговорочно-твердой манерой категорически отговорил меня связываться с военной службой, которую слишком хорошо знал.

Что же было делать? Недолго сомневаясь, я отнес документы на Васильевский в приемную комиссию Ленинградского горного института, где просил зачислить меня на геолого-разведочный факультет. Почему именно Горный? А не потому ли, думаю я теперь, что и в Горном институте в те времена тоже была форма, унаследованная еще от царских времен и, кстати, весьма напоминающая морскую офицерскую – с такими же двубортными тужурками, украшенными золотыми жгутами погон с литыми буквами на них, напоминавшими императорские гербы? Да и само знаменитое здание воронихинской постройки с его грязно-белой колоннадой располагалось на самой набережной, и неподалеку от подъезда поскрипывали у причала суда. А из вечно пыльных окон институтских аудиторий были видны мачты и надстройки огромных кораблей, стоявших на соседних стапелях Балтийского завода. А еще дальше, за унылыми заводскими корпусами, редкий солнечный луч вдруг выхватывал из дымной мглы ослепительную рябь Маркизовой лужи. Я никогда, в отличие от Володи Британишского, не увлекался минералогией и геологией и выбирал скорее не специальность, а образ жизни, который в моем наивном мальчишеском воображении был связан с постоянными экспедициями, преодолением трудностей и приключениями. Значительно позднее я прочел и взял на вооружение мудрую фразу любимого мною Роальда Амундсена, одного из самых героических путешественников, открывшего

Северный и Южный полюс: «Всякое приключение – результат плохо организованной работы».

Жесткого «национального ценза» в Горном (по сравнению с университетом) как будто не было, и я сравнительно легко прошел обязательное для медалистов собеседование. Строгая медкомиссия также подтвердила мою принципиальную пригодность к трудностям геологических скитаний. Но здесь совершенно неожиданно возникла новая проблема. Оказалось, для поступления в Горный надо обязательно совершить прыжок с вышки в воду, как это требуют нормы программы физподготовки «Готов к труду и обороне». До сих пор не могу понять, какой идиот придумал это условие, что общего между геологией и прыжками в воду.

Известие это повергло меня в полное уныние, поскольку плавать я тогда не умел совершенно. В Горный, однако, очень хотелось, и я, непонятно на что надеясь, отправился в толпе абитуриентов к водному стадиону на Гребной канал. Кончался дождливый ленинградский август. День был будний, холодный и ветреный, на влажных дорожках парка на безлюдных Кировских островах лежали первые осенние листья.

Нас загнали в раздевалку, и затем мы, зябко поеживаясь, долго толклись на некрашеных холодных досках купальни под порывами сырого ветра, ожидая, пока нас по одному вызовут на вышку. Услышав свою фамилию и мгновенно вспотев от волнения и страха, я на подгибающихся непослушных ногах направился к вышке с твердым намерением прыгнуть во что бы то ни стало, хотя и уверен был, что иду на самоубийство. «Главное – прыгнуть, – твердил я себе, собрав остатки мужества, – а уж потом как-нибудь вытащат». Наивный школьник, воспитанный под сталинский барабан, я тогда всерьез полагал, что «в советской стране человеку не дадут погибнуть». Увы, сорокалетний опыт экспедиций впоследствии показал, что на деле все обстоит совсем не так.

Руки и ноги меня не слушались. Когда я наконец взобрался на вышку, где очутился впервые в жизни, глянул вниз на отвратительную серую воду с огромной, как мне показалось, высоты и сделал пару неуверенных шагов по шаткой доске, с которой мне надлежало прыгнуть, то понял, что ни за что на свете этого не сделаю. Без всякого юмора вспомнил я в этот момент старый анекдот про еврея, который пообещал, что за четыре поллитры спрыгнет с Исаакиевского собора. Когда он забрался туда, то заявил: «Об соспрыгнуть не может быть и речи. Вопрос об том, как слезть вниз». Я повернулся, чтобы с позором уйти назад, но в этот момент доска спружинила, и я упал в воду.

Мне засчитали прыжок. Так я стал геологом…

Ленинградский горный институт начала 50-х годов представлял собой своеобразное заведение. С одной стороны – старейший технический вуз, основанный еще при Екатерине II для дворян как «офицерский корпус горных инженеров». В знаменитом музее, среди образцов исчезающих ныне видов горных пород вроде малахита, и диковинного чуда – пальмы, выкованной русским умельцем из обыкновенного чугунного рельса, и портретов ставших известными выпускников (в числе которых красуется теперь и мой), можно увидеть образцы форменных сюртуков конца XVIII века и короткие шпаги «Господ Горных Ея Величества инженеров». Давние эти традиции как бы подчеркивались вновь введенной после войны для горняков и геологов формой. Нам, юнцам, нужды не было в том, что безумный генералиссимус решил перевести на казарменный образ жизни почти все гражданские ведомства. Нас радовали фуражки с молоточками, подтверждавшие принадлежность вчерашних нищих мальчишек к «Горному корпусу». Фуражки эти с самого начала первого курса, еще за год до получения формы (ее разрешали носить только со второго курса), были предметом немалой гордости. Их полагалось заказывать в специальных ателье, где шились они как морские офицерские фуражки – с высокой тульей и широкими полями. Козырек, наоборот, был небольшим, круто скошенным вниз и острым «нахимовским». Молоточки же, украшавшие тулью спереди, должны были быть обязательно геологическими – тонкими, а не, упаси боже, толстыми – горными.

Что касается научной базы, то, несмотря на сталинские разгромы и чистки, в Горном отчасти сохранилась старая школа профессуры – от академиков Келля Германа и Наливкина до профессоров Погребицкого, Нестерова, Шафрановского и многих других. Сохранились многолетние и даже вековые традиции горного дела, столь уважаемого и важного в Российской империи. Во дворе Горного нам показали самую настоящую шахту, построенную еще в XIX веке и точно отображавшую действующие шахты. Преподавательский корпус, где жили профессора и доценты, выходивший на 21-ю линию, носил старое название «офицерский». А сами наши профессора щеголяли в двубортных форменных мундирах «горных директоров» различных рангов, вплоть до генеральских, украшавших их мятые брюки синими адмиральскими лампасами.

В студенческих курилках с придыханием рассказывали о дореволюционной жизни института, в частности, о нашумевшей в свое время дуэли между тогдашними студентами Германом и

бароном Врангелем, которая случилась «из-за актрисы». Актрисой была еще здравствовавшая в 50-е годы заслуженная артистка Александринского театра Елизавета Тиме. Дуэль как будто кончилась бескровно, но разыгрался скандал, и, согласно легенде, барон Врангель вынужден был уйти из Горного и поступил учиться в военное заведение. Упорный же Герман стал нынешним академиком. А ведь, пожалуй, повернись дуэль иначе, – и история Гражданской войны могла бы быть иной.

О действительном разгроме профессуры Ленинградского горного института мы узнали уже позднее, после 53-го года, когда всплыли подробности «дела геологов», по которому пострадал, в частности, один из ведущих отечественных тектонистов профессор Тетяев.

С другой стороны, студенческая жизнь после школы показалась нам вольницей. Героические легенды складывались не только о прошлом института, но и о настоящем. Так, вроде еще в прошлом году, как снисходительно рассказывали старшекурсники, на кольце трамвая № 21, который в то время делал круг у самого подъезда института, состоялась историческая драка «горняков» с матросами. К матросам присоединились курсанты соседнего училища имени Фрунзе, и студентов начали сильно теснить. Тогда несколько десятков добровольцев с криком «наших бьют» помчались по коридорам института, распахивая подряд все двери попутных аудиторий, из которых, если верить вдохновенным рассказчикам, выбегали вместе со студентами и преподаватели. Равенство сил было восстановлено, и побоище удалось прекратить, только вызвав две пожарные команды и разделив враждующие толпы движущимися трамваями. Масса страшных историй, обраставших сексуально-питейно-героическими подробностями, была связана также со знаменитым студенческим общежитием на Малом, 40.

В ту пору студенты Горного лишь частью формировались из недавних десятиклассников. Значительную долю составляли вчерашние фронтовики и производственники, пришедшие с шахт и металлургических заводов. Они с презрением поглядывали на нас, послешкольную мелюзгу, не знающую настоящей жизни и мающуюся романтическими бреднями. Надо сказать, что, несмотря на частые запои и драки, ставшие в Горном довольно будничным явлением, эти великовозрастные, как мы считали, люди учились упорно и настойчиво, хотя им науки давались намного труднее, чем нам – вчерашним школьникам. До сих пор помню нашего старосту белоруса Дору Трофимовича, человека богатырского роста, с безукоризненной строевой выправкой и вставными золотыми зубами, всегда ходившего в новенькой

офицерской гимнастерке с белоснежным подворотничком, многочисленными орденскими планками и с полевой сумкой в руках. На войне он служил в охране Жукова, но рассказывать об этом не любил. Старостой в параллельной группе был также бывший армеец Кирилл Иванов – быстро ставший партийным лидером, человек с правильно красивым российским лицом и светлыми кудрями. Не помню уже от кого, может, от них пошла мода ходить на занятия не с портфелями, а с офицерскими полевыми сумками, в которых таскали мы наши несчастные конспекты. Атташе-кейсов, столь модных позже, тогда, конечно, не было и в помине. Нарядами родители нас тоже не баловали, поэтому обычной формой одежды на первых курсах были затертые лыжные костюмы и комбинированные курточки леншвейного незатейливого покроя.

Профессора и преподаватели наши тоже порой бывали странными. Так, читавший математику доцент Вербицкий, будучи искусным художником, изображая по ходу лекции на доске интеграл, вместо обычного штриха или звездочки мастерски пририсовывал под ним в качестве индекса поросенка и говорил: «Интеграл два поросенка» и так далее. Первую свою лекцию в начале второго курса он начал словами: «Итак, друзья, начинается длительный и неприятный перерыв между каникулами».

Практику по математике в нашей группе вел веселый и доброжелательный человек Семен Борисович Фридман, принимавший зачеты и экзамены обычно навеселе, благодаря приносимым нами же «маленьким». «У меня на первом курсе, – рассказывал он, – была одна студентка, которая прекрасно знала математику: она точно знала, что есть синусы, и смутно догадывалась, что должны быть и косинусы, но о тангенсах не слышала ничего».

Курс физики читал профессор Тер-Погосян, человек рассеянный и добрый. «Ваша фамилия Обложкина? – спросил он как-то на занятии мою однокурсницу. – У меня на втором курсе есть студент по фамилии Переплетов. Надо бы вас познакомить». «Городницкий, – сказал он мне на экзамене по механике, – почему вы меня можете поднять за волосы, а себя нет?» – «Вас тоже не могу», – неучтиво ответил я, покосившись на его лысый смуглый череп. «Пожалуй, вы правы, – грустно усмехнулся он, – давайте зачетную книжку». Практику по физике вел крошечного роста шарообразный, со злыми глазами доцент Звягин по прозвищу Молекула. Уверяли, что всем, кто выше его ростом, он больше тройки на экзаменах не ставит.

Профессор Салье, входивший, блестя глазами, в аудиторию в

своем изрядно потертом и лоснящемся «горнодиректорском мундире», в выражениях обычно не стеснялся и смело крыл «демагога и хама, незаконно захватившего пост министра геологии СССР Антропова».

Более же всего разных баек ходило вокруг члена-корреспондента Академии наук СССР Николая Келля, бывшего одно время ректором, но всегда одевавшегося чрезвычайно скромно. Рассказывали, в частности, историю, как во время учебной геодезической практики, которая проводилась после первого курса в Псковской области, в районе деревни Вышгород, бригада студентов долго возилась с мензульной съемкой. Когда все устали и обозлились, к ним подошел босоногий старичок в холщовой рубахе и соломенной шляпе и сказал: «Ребятки, может, лучше сделать так-то и так-то?» – «Да пошел ты, дед, – возмутились студенты, – знаешь куда? Что ты в этом можешь понимать?» И послали. И дед пошел. А на следующий день, явившись сдавать зачет по практике, они с ужасом увидели того деда, но уже в генеральском мундире, во главе комиссии.

Главным источником наших первокурсных мучений были, конечно, техническое черчение и начертательная геометрия. О, эти бессонные ночи над «эпюрами» и «листами»! Они одни способны на всю жизнь отбить охоту к любой технической специальности. А «теория машин и механизмов» – ТММ, которая расшифровывалась студентами – «тут моя могила». Преподаватели ее были не слишком либеральны. Так, доцент Филиппов во время сессии заключал пари со своими коллегами на две бутылки коньяка. Выигрывал тот, кто срежет больше сдающих.

«А что это у вас?» – спрашивал бывало доцент Фомин на зачете по теории машин и механизмов у робкой вчерашней десятиклассницы. «Маховичок», – жалобно пищала студентка. «Правильно, – улыбался экзаменатор. – А что он делает?» – «Вращается». – «Молодец, – поощрительно хмыкал Фомин. – А сколько он оборотов делает в минуту?» – «Сто двадцать». – «Умница, – окончательно расцветал экзаменатор. – А если его в красный цвет покрасить, с какой скоростью он будет вращаться?» – «Не знаю», – краснела девица. «Ну, идите, еще почитайте».

На пятом этаже лабораторного корпуса располагались большие чертежные аудитории, тесно уставленные кульманами и чертежными столами. Здесь было круглосуточно дымно, как в аду, горел свет и сгибали спины над чертежами злополучные хвостисты. Хотя курить здесь категорически запрещалось, на это никто решительно внимания не обращал. В коридоре перед

чертежными комнатами по сходной цене можно было сторговаться с умельцами, бравшимися за пару поллитровок выполнить любой чертеж. Прямо в чертежке часто принимались и зачеты, благо сама кафедра начертательной геометрии тоже располагалась на пятом этаже.

Немало проблем мне доставляла физкультура, которой в Горном уделялось особое внимание. Будучи с детства крайне неспортивным, еще в школе со страхом шарахаясь от брусьев или «козла», я, попав на общую физкультурную подготовку, испытывал изрядные муки всякий раз, когда требовалось выполнить какое-нибудь обязательное упражнение. Неприятности эти дошли до края, когда, пытаясь метнуть гранату, я чуть не попал ею в стоявшего неподалеку преподавателя. Не знаю, сколько бы еще мои мучения продолжались, если бы кто-то из однокурсников, уж не помню сейчас, кто именно, не дал мне умный совет – записаться в секцию штанги. Помню, вначале я страшно удивился, поскольку богатырским сложением не отличался ни до, ни после. «Это совершенно неважно, – заявил мой доброжелатель, – ты попробуй».

Секцией штанги руководил экс-чемпион Союза по борьбе и поднятию тяжестей с довольно громкой в прошлом спортивной фамилией. Весил он более ста пятидесяти килограммов и силой обладал неимоверной. Когда на остановке он ступал на подножку трамвая, вагон со скрипом кренился. Занятия штангой оказались и вправду совсем несложными. В наши обязанности входило чистить и красить гриф и диски да время от времени разучивать упражнения с небольшими нагрузками. Чаще всего члены секции сидели вокруг штанги и слушали захватывающие истории из мира большого спорта, которые с удовольствием рассказывал наш тренер – после того как дежурный возвращался с очередной бутылкой. Держа в руке налитый стакан, он поучал нас: «В штанге ведь что главное? Следите за мной. Главное – взять на грудь. Дальше – пойдет сама». Зачеты нам ставились автоматически, и я до сих пор благодарен своему тренеру за чувство юмора и избавление от мук.

Совершенно автономным государством в Горном была военная кафедра, располагавшаяся на шестом, последнем, этаже лабораторного корпуса. Командовал ею тогда генерал-майор Ефременко. Сначала кафедра готовила артиллеристов, и в первом этаже лабораторного корпуса долгое время стояла большая гаубица. При нас, однако, начали готовить уже не артиллеристов, а саперов, которые «ошибаются один раз в жизни». Военные занятия, проводившиеся всегда по четвергам, не были особо обременительными. Лекции по «общевойсковой подготовке»

читали красавцы-полковники, одетые в сияющую форму, с пестрыми орденскими планками. Особым красноречием, впрочем, они не отличались. Помню, один из них, рассказывая о «боевой славе русской пехоты», поведал нам о том, что на «Бородинском поле гвардейское каре Семеновского полка двенадцать раз отражало атаки французских керосинов». – «Не керосинов, а кирасиров», – робко поправил лектора один из моих однокашников, за что был с лекции изгнан. «У нас на кафедре – все дубы и все шумят», – заметил как-то молодой офицер.

На шестом этаже стоял огромный ящик, в котором был макет местности с рекой, высотами, населенным пунктом и тому подобными объектами. Здесь обычно проводились учебные занятия по тактике. Какая-то студенческая пара после одного из танцевальных вечеров избрала этот довольно уютный ящик для своих любовных утех, удобно устроившись на холмистом рельефе тактической местности. Однако, явно не рассчитав своих сил, подорванных сильными эмоциями, а возможно, и бутылкой портвейна, которая была прихвачена с собой для тактических игр, они крепко уснули. Разбудил их уже на следующее утро дежурный офицер, открывший ящик перед очередной учебной группой и обнаруживший обнявшихся любовников с пустой бутылкой в руках. На военной кафедре по этому замечательному случаю все занятия были отменены, а полковники и подполковники (ниже званий не было) в праздничном настроении отправились с санкции генерала в близлежащий ресторан «Балтика», чтобы отметить чрезвычайное происшествие. Взятая в плен военной кафедрой пара была милостиво отпущена на все четыре стороны.

На первом и втором курсах начались и специальные предметы – общая геология, минералогия и палеонтология, о которых до сих пор вспоминаю с интересом. Практикой по палеонтологии руководил добрейший Борис Васильевич Наливкин. На зачете надо было определить по внешнему виду тип окаменелости и назвать его по-латыни. Моему соседу Коле Золотокрылину достался отпечаток какого-то древнего папоротника, довольно характерный на вид. Коля, однако, все вертел его в руках и никак определить не мог. «Ну-с, – подошел к нему Наливкин, – что вы про это думаете?» – «Если это то, что я думаю, – ответил Коля, – то где же у него глаза?»

Наши представления о геофизике, с которой мы так опрометчиво связали свои жизни, были в те поры более чем скромные. Знали мы только, что если геолог изучает строение Земли по образцам пород, найденных на поверхности, то геофизика исследует ее глубинное устройство на основе

измерений разных физических полей – электрического, магнитного и других. Помню, как член-корреспондент Татаринов, читавший у нас курс по полезным ископаемым, на одной из своих лекций неожиданно дал довольно исчерпывающее определение геофизике как науке: «Геофизика подобна мини-юбке – она позволяет увидеть массу интересного, скрывая в то же время главный источник информации».

Помню, как уже на втором курсе мы собирались на «мальчишник», чтобы отпраздновать получение формы (тужурки и шинели офицерского образца с черными бархатными контрпогонами, украшенными медными литыми буквами «ЛГИ»). Мы, помню, чрезвычайно гордились своей формой. Особенно нас радовало, когда пьяные матросы на Невском, не разобравшись в непонятной форме, похожей на морскую, отдавали нам честь. На мальчишнике, куда принесли одновременно водку, ликеры и разные вина, пили все подряд, поскольку опыта в этом еще не имели. В результате новая форма изрядно пострадала, мать три дня отпаивала меня молоком, а я дал себе зарок «никогда в жизни не брать этой отравы в рот». Увы, как заметил Баратынский:

Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

С первым курсом связано также воспоминание о печальном завершении моей первой платонической любви, возникшей еще в эвакуации, в Омске, в 1945 году, и носившей в основном придуманный эпистолярный характер. Его героиня Таня Ильина, поступившая, в отличие от меня, на истфак ЛГУ, ныне профессор Санкт-Петербургского государственного университета, автор многих известных книг по истории искусств.

Для чего храню на антресолях
Патефон с затупленной иглою
И пластинок довоенных пачку?
Никогда я слушать их не буду.
Все они, согласно этикеткам,
Сделаны Апрелевским заводом.
Тот завод давно уже закрылся,
Но своим мне памятен названьем,
Так же, как и Баковский, наверно.
Я пытался как-то на досуге
Оживить его стальную душу,

И крутил весьма усердно ручку,
Чтобы завести его. Когда-то
Заводили так автомобили.
Но пружина, видимо, ослабла,
А чинить никто и не берется.
Впрочем мне достаточно названий
Песенок на выцветших конвертах:
Перечту – и снова зазвучали.
Сорок пятый. Лето. Чернолучье —
Пионерский лагерь возле Омска,
И песчаный пляж на диком бреге
Иртыша. Не первая любовь,
А скорее – первая влюбленность.
Мне двенадцать, ей – едва за десять,
И зовут, конечно же, Татьяной.
Поцелуи? Боже упаси!
Только разговоры или вздохи.
Лето сорок пятого. А значит
В Ленинград мне скоро возвращаться,
Ей же в Белоруссию. И письма
Шли шесть лет из Бреста в Ленинград
И обратно. Каждый адресат
Уверял другого в вечной дружбе,
Что с годами перейдет, быть может…
Помню, классе, кажется, в девятом,
Получил в письме я фотоснимок.
На крыльце сидит она. Коса
За плечо закинута, и грудь
Проступает явственно под блузкой.
Бешено заколотилось сердце,
И во рту внезапно пересохло.
Через пару лет она и вправду
Прикатила в Питер и учиться
Поступила в Университет
На истфак. Вот тут бы и расцвесть
Вновь эпистолярному роману!
Но ее тогда я познакомил
Со своим приятелем случайно.
Был я первокурсник желторотый, —
Он уже заканчивал второй,
И носил горняцкую фуражку
С узким козырьком а-ля Нахимов
И высокой бархатной тульею,
Черного же бархата погоны

С золоченым вензелем литым
И изящной синей окантовкой.
Надевал он темные очки,
И, общественной согласно мерке,
Приобрел мужской изрядный опыт,
Так как регулярно посещал
«Мраморный» – весьма известный зал
Танцевальный в Кировском ДК,
Где происходили то и дело
Громкие разборки из-за женщин
Между горняками (общежитье
Наше было рядом – Малый, сорок)
И курсантами морских училищ,
Чаще с преимуществом последних,
В те поры ходивших с палашами.
Мой же опыт равен был нулю.
В этом месте можно ставить точку,
Потому что старая пластинка
С хрипотцой утесовской лукавой
Мне некстати вдруг напоминает:
У меня есть сердце, а у сердца —
Песня, – а у этой песни тайна.
Тайна же достойна умолчанья, —
Да и патефон ведь неисправен.

Уже на втором курсе нашу специальность «геофизические методы разведки полезных ископаемых» перевели с геолого-разведочного на специально созданный геофизический факультет. По институту поползли таинственные слухи, что геофизиков будут зачислять на «совершенно секретную» специальность по поискам урана. Никакого понятия о ней мы, конечно, не имели, кроме того, что занимается ею совсем уже секретный Средмаш – Министерство среднего машиностроения под командой «сталинского наркома» Берии. Слухи эти, однако, довольно скоро приобрели вполне реальную основу. В число записавшихся попал и я. Нас пригласили в подвальное помещение, где за обшитой металлом дверью помещалось отделение «радиоактивной разведки», завели на нас обширнейшие анкеты и через некоторое время, приобщив к «форме номер два» и взяв подписки о неразглашении государственной тайны, зачислили на специальность «РФР» – геофизические методы поисков радиоактивных полезных ископаемых. Мы, идиоты, попавшие на это «избранное»

отделение, помню, еще радовались, совершенно не представляя, что нас ожидает в будущем.

Романтика секретности и государственной необходимости затуманивала наш разум. Особенно нам нравилось, что мы освобождались от обязательных для всех учебных воинских лагерей и получали офицерское звание «просто так». Здоровые и молодые, мы не задумывались всерьез о разрушительном действии радиации и на занятиях по технике безопасности беззаботно пошучивали. Тяжелое похмелье пришло гораздо позднее, уже после института, когда я узнал о безвременной смерти моих однокашников, попавших по окончании на престижную и высокооплачиваемую работу на урановые месторождения у нас и в Чехословакии. Пока же наша будущая специальность была неистощимым предметом различного рода сексуальных шуток. Мною даже была написана веселая песенка на мотив популярной тогда песни «Жил на свете золотоискатель» (слова которой, как выяснилось через много лет, принадлежат автору легендарной «Гренады» Михаилу Светлову), ставшая со временем трагикомическим гимном студентов нашей несчастной специальности:

На уран он жизнь свою истратил,
Много лет в горах его искал,
И от этой жизни в результате
Он свой громкий голос потерял.

Загрустил от этой он причины
И промолвил с горечью в словах:
«Я теперь уж больше не мужчина,
А всего лишь облако в штанах».

Сейчас, по прошествии многих лет, я не могу без ужаса петь пророческий последний куплет:

Он заплакал и пошел, рыдая,
Через реки, горы и поля,
И лежала перед ним большая,
Женщинами полная земля.

В 1997 году меня неожиданно пригласили на телевидение для участия в популярной тогда передаче «Старая квартира», которая на этот раз была посвящена 1955 году. Надо было вспомнить, что мы пели в том году и вообще в студенческие годы,

когда авторской песни как будто еще и в помине не было. Сцена при этом должна была изображать непринужденную студенческую вечеринку середины 50-х. Режиссер решил, что уместно будет сварить пунш, столь популярный в наше время. Когда я спичкой поджег спирт, налитый в кастрюлю, пламя вспыхнуло с такой силой, что горящий спирт выплеснулся наружу, и пришлось гасить начавшийся пожар. Что же касается песен, то с гитарой в руках я вспомнил несколько песен из тех лет, включая «Глобус», «Бригантину» и «Закури, дорогой, закури».

Вернувшись домой, я вдруг подумал, а что мы вообще пели в начале нашей студенческой жизни, на первом и втором курсах, еще не соприкоснувшись с обширным экспедиционным фольклором и зэковскими песнями? А пели мы то же, что и все – лирические песни «Ясной ночкою весенней при луне…» или «Над туманами, над туманами огни терриконов горят» и другую подобную дребедень. Память о недавней войне одаривала нас героическими песнями этой уходящей в прошлое эпохи: «На позицию девушка», «Темная ночь» и «Вечер на рейде». И в то же время причастность к студенческому братству давала нам возможность с удовольствием окунуться в древний песенный мир буршей и студентов, который не имел и не имеет срока давности.

С одинаковым усердием, собираясь на нехитрые наши вечеринки, где, как правило, кутежи ограничивались сухим вином, мы распевали традиционные студенческие песни наших предков – «Крамбамбули», «Там, где Крюков канал и Фонтанка-река словно брат и сестра обнимаются», «В гареме нежился султан». При этом обязательно соблюдалась каноническая форма исполнения каждой песни с соответственным позвякиванием бокалов, хоровыми вопросами и ответами типа «Да я не пью! – Врешь, пьешь!» и другой звуковой аранжировкой. Сюда же, конечно, относятся и неизменные песни типа «Жены» («Холостою жизнью я извелся»), «Кисы-Мурочки», «В пещере каменной нашли пол-литра водки», «Я иду по Уругваю» и тому подобные. Все эти песни считались безымянными и народными. Тем большим было мое удивление, когда я узнал, что одну из наиболее популярных песен того времени с широко известными строчками:

Так наливай сосед соседке —
Соседка любит пить вино.
Вино, вино, вино, вино —
Оно на радость нам дано, —

написал ленинградский поэт Дмитрий Генкин, старший брат ленинградского барда Александра Генкина. Интересно, что

блатной репертуар «Мурки» и других бытовавших в то время песен уголовного мира у нас не приживался.

Наряду с хоровыми лихими застольными песнями большой популярностью пользовались жестокие романсы и лирические песни из репертуара запрещенного тогда Петра Лещенко, «короля танго» композитора Оскара Строка и близкие к ним по духу. Сюда относились «Как блестят твои глаза», «Осень, прозрачное утро», «Журавли», «Я иду по далекой стране», «Зачем смеяться, если сердцу больно». Почти каждый из поющих, приобретший к тому времени свой собственный опыт первой (конечно, неудачной) любви, вкладывал в эти затертые строчки свой сокровенный смысл. Честно говоря, и сейчас, когда я вспоминаю строки этих душещипательных песен, они кажутся мне куда более содержательными, чем их современные аналоги в крикливом стиле рок-музыки. Тогда хоть не дергались и не выкрикивали. Однажды мне довелось посмотреть по телевидению программу, посвященную песням Лещенко. Выступал очень старый человек, его давний однокашник, и рассказал, что в начале своей артистической карьеры Лещенко был, оказывается, танцором-чечеточником. «Удивительно, что он начал писать песни, – сказал он, – когда человек танцует, у него короткое дыхание, а для песни нужно длинное». Вот в чем различие текстов рок-музыки и авторской песни, идущей от романса и народных песен, – в дыхании! Интересно, что песни пели с одинаковым удовольствием все или почти все. Тогда еще не было разделения на «мы» и «я», столь характерного для нынешнего времени.

Что пели мы в студенчестве своем,
В мальчишеском послевоенном мире?
Тех песен нет давно уже в помине,
И сами мы их тоже не поем.
Мы мыслили масштабами страны,
Не взрослые еще, но и не дети,
Таскали книги в полевом планшете —
Портфели были странны и смешны.
Что пели мы в студенчестве своем,
Когда, собрав нехитрые складчины,
По праздникам, а чаще без причины
К кому-нибудь заваливались в дом?
Питомцы коммуналок городских,
В отцовской щеголяли мы одежде,
И песни пели те, что пелись прежде,
Не ведая потребности в иных.
Мы пели, собираясь в тесный круг,

О сердце, не желающем покоя,
О юноше, погибшем за рекою,
О Сталине, который «лучший друг».
«Гаудеамус» пели и «Жену»,
И иногда, вина хвативши лишку,
Куплеты про штабного писаришку
И грозную прошедшую войну.
Как пелось нам бездумно и легко —
Не возвратить обратно этих лет нам.
Высоцкий в школу бегал на Каретном,
До Окуджавы было далеко.
Свирепствовали вьюги в феврале,
Эпохи старой истекали сроки,
И темный бог, рябой и невысокий,
Последний месяц доживал в Кремле.

На многолюдных первомайских и ноябрьских демонстрациях, где колонна Горного института с огромным транспарантом из тяжелого красного бархата, украшенным изображением орденов, шла сразу же за колонной Балтийского завода, дружно пели «шахтерскую» песню:

Славься шахтеров племя,
Славься шахтерский труд!
Мы обгоняем время,
Сталин – наш лучший друг!

На демонстрации (явка для комсомольцев была обязательной) шли охотно, без понуканий. У меня в столе до сих пор завалялась фотография 1952 года, где два «отличника-зубрилы», два образцовых комсомольца, добившиеся самой высокой чести – нести на ноябрьской демонстрации транспарант, описанный выше, стоят с бледными от волнения лицами, вцепившись потными руками в толстые, покрашенные пачкающей ладони краской древки, перед внушительной воронихинской колоннадой родного института. Один из них я, а второй – ушедший из жизни пару лет назад Костя Сергеев, член-корреспондент Академии наук и на протяжении четверти века бессменный директор Института морской геологии и геофизики на Дальнем Востоке.

Огромная колонна черных студенческих шинелей, расцвеченная женскими шубейками и пальто, картонными и фанерными изображениями терриконов и шахт, разноцветными

шарами и букетами из огромных бумажных цветов, полыхающая начищенной по этому случаю медью институтского духового оркестра, медленно двигалась вдоль набережной Невы от 21-й линии к мосту Лейтенанта Шмидта по влажной и скользкой василеостровской брусчатке. Справа от нас, на хмурой осенней Неве, под порывами промозглого ноябрьского ветра, раскачивались и дымили хищные эскадренные миноносцы, украшенные мокрыми флагами расцвечивания. Слева на панели толклась разношерстная публика, в которой шустро шныряли стайки шпаны в натянутых на уши «лондонских» кепках с «золотыми фиксами» из латуни во рту. Из открытых окон Высшего военно-морского училища имени Фрунзе махали руками курсанты, оставшиеся в этот праздничный день без увольнений. Справа, скрестив бронзовые руки на узкой адмиральской груди, смотрел под ноги идущим великий русский мореплаватель немецкий барон Иван Федорович Крузенштерн.

На углу 8-й линии, где на набережную, мерцая тусклой сталью, выскакивали скользкие, как змеи, трамвайные рельсы, колонна обычно останавливалась. Здесь в ряд стояли полуторки, открытые грузовики и фургоны с бортами, украшенными красным кумачом и словами «Сталину – слава». С них шла бойкая торговля водкой и нехитрой, но зато и недорогой закуской. Наиболее популярным видом бутербродов были так называемые «сестры Федоровы» – три кильки, положенные на ломоть черного хлеба. Через борта машин в наши протянутые руки легко вылетали баснословно дешевые в те времена «маленькие» и «мерзавчики». Если же в колонну попадала поллитровка, то она передавалась по шеренге слева направо. При этом каждый на ходу делал по глотку, а правофланговый выкидывал пустую бутылку. Еще вполне здравствующий тогда Верховный Главнокомандующий, «наш лучший друг», с огромного портрета, заслонявшего окна трех этажей на «Доме академиков» напротив въезда на мост Лейтенанта Шмидта, зорко смотрел прямо в глаза и в рот каждому из нас, чтобы никто не смел увернуться от обжигающего глотка водки и бодрого маршевого припева.

Время моей учебы в Горном институте совпало с драматическими событиями в истории страны. 53-й год начался «делом врачей». Помню морозный мартовский день, переполненный актовый зал института, хмурые мужские лица и заплаканные глаза женщин. Огромная мраморная статуя вождя возвышалась над залом, где выступавшие клялись в верности сталинскому пути и обращались к правительству с просьбой присвоить институту имя Сталина. На следующее утро мы, второкурсники, всей группой отправились в конец Московского

шоссе – тогда оно носило название проспект Сталина. Туда, где почти на выезде из города, около Средней Рогатки, стояли с обеих сторон проспекта бронзовые фигуры Ленина и Сталина. Путь был не близкий, на автобусе – метро еще в ту пору не было. С собою мы везли огромный венок, купленный на нищие студенческие стипендии. В полной тишине, сняв шапки, мы прислонили наш венок к заиндевелому мраморному основанию памятника. Умерший вождь равнодушно смотрел теперь уже не в глаза каждому, а поверх наших голов, в сторону Пулкова, в лиловую морозную мглу, пропитанную бензиновой гарью. Через несколько лет, после XX съезда, статую с постамента сняли. Взорам всех приезжих, едущих из аэропорта в город, открывалась странная картина: Ленин, показывающий на пустой постамент напротив. Через какое-то время исчез и постамент, а потом убрали и осиротевшего Ленина.

Неожиданные преображения памятников вождям в последующие годы видеть мне приходилось неоднократно. Помнится, в 70-м году в Царском Селе под Ленинградом, где жили тогда мои родители, открыли новую баню, а напротив ее входа установили памятник Ильичу с кепкой в руке. Ленин явно направлялся в баню, поскольку на постаменте были выбиты его слова: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Ситуация эта показалась городским властям несколько двусмысленной, и в одно прекрасное утро памятник неузнаваемо изменился. Надпись с постамента исчезла. Преобразился Ленин: ему была приделана борода, в правую руку вместо кепочки дан веник, а в левую – шайка. Великий вождь превратился в старика, идущего в баню. Этот монумент, однако, тоже простоял недолго и был снят после очередной идеологической инспекции.

В середине 70-х годов во время Международного геологического конгресса по Тихому океану, проходившего в Хабаровске, я попал на автобусную экскурсию по городу. В числе других достопримечательностей Хабаровска нам был показан огромный постамент из красного мрамора, на котором сиротливо стояла несоразмерно маленькая фигурка Владимира Ильича. Бойкая девица-экскурсовод пояснила нам: «На этом месте когда-то возвышался огромный памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому – покорителю края. После революции памятник был снят и на его место поставлен памятник Ленину. Посмотрите – какой несоразмерный монумент: весь Ленин с один сапог Муравьева-Амурского». В начале 90-х Ленина сняли и снова установили памятник Муравьеву-Амурскому.

С чувством горькой ностальгии по своему юношескому

ослеплению «светлыми идеями социализма» прихожу я в Москве к Дому художника, невдалеке от которого стоят и сидят свергнутые со своих постов в разных местах столицы Дзержинский, Калинин и Свердлов. У их ног лежит расколотый Ильич из роскошного красного мрамора. И на память приходит надпись, увиденная мною в 1965 году в волжском городе Самаре, тогда Куйбышеве, на мраморной мемориальной доске, висевшей по чьему-то недосмотру на одном из домов, а позднее снятой по указанию партийного начальства: «На этом месте в сентябре 1918 года во время белочешского мятежа толпой озверевших белогвардейцев были растерзаны последние честные борцы за коммунизм».

Что же касается упомянутой песни «про штабного писаришку», начинающейся строчками «Я был батальонный разведчик», которую мы, конечно, считали народной, то с ее автором, Алексеем Петровичем Охрименко, я познакомился только сорок лет спустя в 1992 году в Москве. Охрименко, автор «народной» песни про батальонного разведчика и не менее популярных песен, которые мы тоже распевали в студенческие годы, – «Венецианский мавр Отелло», «Ходит Гамлет с пистолетом» и «Великий российский писатель, граф Лев Николаич Толстой», родившийся в 1923 году, в 42-м девятнадцатилетним юнцом ушел на фронт, почти сразу же угодив в «Ржевскую мясорубку». Помните знаменитое стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом»? Но Алексею Охрименко везло. Он не погиб ни подо Ржевом, ни позднее под Витебском, хотя и перенес тяжелое ранение, а в 45-м закончил войну в Восточной Пруссии, под Кенигсбергом. После войны он стал журналистом. Работал в радиокомитете, в журнале «Советский Союз», в «Медицинской газете» и, наконец, в газете «Воздушный транспорт», откуда ушел на пенсию.

Самые знаменитые свои песни – «Батальонного разведчика», «Отелло», «Гамлета» и «Толстого» – Охрименко написал в соавторстве с друзьями Сергеем Кристи и Владимиром Шрейбергом. Мне довелось несколько раз выступать вместе с ним в Москве, Киеве и других городах. Он, несмотря на свой почтенный возраст, довольно сильно «закладывал», что, однако, не мешало ему всегда успешно выступать со своей старенькой семистрункой в руках, поскольку для аудитории он всегда был ожившим мифом. Охрименко рассказывал мне, что свои песни он пел в 50-е годы по писательским квартирам в Москве и Переделкине и мечтать не мог об их публикации или записи.

После ухода в 1993 году последнего из авторов этих песен (Владимир Шрейберг умер в 79-м, а Сергей Кристи – в 86-м), они снова растворяются в фольклоре и становятся поистине

народными.

Экспедиционные «геологические» песни я услышал несколько позднее. Первая моя производственная практика, открывшая начало экспедиционной жизни, состоялась в одной из поисковых партий так называемой «Восточной экспедиции». Так именовалась одна из экспедиций Первого Главного геолого-разведочного управления Министерства геологии, занимавшегося поисками урана. Работала она в Средней Азии совместно с Отделом специсследований Всесоюзного геологического института, располагавшегося в высоком старинном здании на Среднем проспекте Васильевского острова, неподалеку от Горного.

Еще с начала второго семестра на третьем курсе, за несколько месяцев до практики, в аудиториях обсуждались разные варианты экспедиций – от Магадана до Кавказа. Высокомерные старшекурсники, уже постоянно «приписанные» к полюбившимся им организациям, оценивающе, как на рынке работорговли, приглядывались к нашим однокурсницам, вербуя их в свои партии и не обращая никакого внимания на нашу бессильную ревность.

Более других в то время котировались две экспедиции. Первого Главка, – «Горная», работавшая в далекой и таинственной Туве, и «Восточная», работавшая в Средней Азии.

База партии, в которую мы попали на практику, располагалась в Душанбе (тогда – Сталинабаде), куда мы и отправились вчетвером с моими однокашниками, в длинную дорогу поездом с пересадкой в Москве. Помню, как расстроился мой отец, провожавший меня светлой июньской ночью на Московском вокзале, когда выяснилось, что все пассажиры общего вагона, абонированного для студентов Горного института, мертвецки пьяны, как сокрушался потом о выбранной мною профессии.

Поезд от Москвы до Сталинабада шел тогда около шести суток. Скромные наши студенческие финансы кончились примерно на третий день. Заядлый преферансист Саня Малявкин, взявший «общественную» пятерку и с надеждой на выигрыш отправленный в соседний вагон, тут же ее проиграл. Кто-то из сердобольных соседей посоветовал нам купить по пути в России мешок картошки, чтобы продать его в Средней Азии. Мы сдуру потратили последние рубли на эту картошку, но у нас уже и за Аралом никто ее почему-то не покупал. Сварить ее в условиях общего вагона не удалось, так что в Сталинабад мы прибыли голодные и одуревшие от жары. Что касается жары, то у меня на много лет осталось неизгладимое воспоминание от этого первого путешествия: в соседнем купейном вагоне на отрезке дороги

между Термезом и Каршами сидели голые офицеры, вытирая пот грязными полотенцами и, морщась, пили теплую водку.

В Сталинабаде нас в первый же вечер смертельно напоили разведенным спиртом и местным вином «Тайфи». Потом накормили, снабдили горными ботинками «на шипах», наскоро обучили работе с радиометрами и развезли на грузовиках в горы, в поисковые отряды. Так началась экспедиционная жизнь. Состояла она из изнурительных каждодневных маршрутов по горам Гиссарского хребта, целью которых было геологическое картирование и поиски урана. Ходили в маршруты по двое – геолог и геофизик с радиометром для поисков радиоактивных аномалий. Нередко нашими геологами были женщины. Мне доводилось довольно часто ходить в многодневные маршруты с начальницей нашего отряда Люсей Григорьевой, крепко сбитой крутобедрой дамой лет тридцати с пятым размером повсеместно. Поскольку все приходилось таскать на себе, то лишнего груза не брали. Брали, в частности, один спальный мешок на двоих. Ночью на перевалах температура понижалась до нуля, и, чтобы не замерзнуть, спали в этом мешке, крепко обнявшись. При этом никаких сексуальных позывов не возникало – во-первых, смертельно уставали за день, во-вторых, мне было девятнадцать, и тридцатилетняя Люся казалась мне весьма пожилой.

Был недоступен видевшийся рядом
Окрестных гор багряный окоем.
С Григорьевой, начальницей отряда,
Полмесяца мы прожили вдвоем.
Уран мы там искали или медь,
Не помню. По ночам на перевале
В одном мешке мы с ней в обнимку спали,
Чтобы друг друга в холод отогреть.
Свет гаснул постепенно, как в кино.
Во тьме шакалы выли, то и дело,
И, не мигая, нам вослед глядело
Ночного неба звездное окно.
Мне было девятнадцать, тридцать ей,
И для меня она было старуха.
Ее дыхание щекотало ухо,
Могучий жар струился из грудей.
Мне было девятнадцать, тридцать ей, —
Я был как первоклассник целомудрен.
Нам на рассвете ветер лица пудрил,
Окутывая снегом до бровей.
У каменистых склонов на груди

Рисунок гор обозначался слабо.
Кончался май. Все было впереди, —
«И женщины, и подвиги, и слава».

Превышения в день достигали двух-трех километров, да и карабкаться приходилось часто по почти отвесным склонам, цепляясь пальцами за обманчивые выступы скал. Вот где я хлебнул первого страха! Если геолог мог хоть немного помогать себе геологическим молотком, цепляясь им за скалы или выбивая ступеньки в дресве, то уж геофизик (то есть я) со своим громоздким и неуклюжим прибором, болтавшимся на груди и больно бившим при каждом очередном падении, был совершенно беспомощен. До сих пор помню, как хорошо было лезть вверх по сланцевым скалам с их плитчатой отдельностью, как бы создающей природные ступеньки, и как тяжело – по гранитам, с их округлыми – не зацепиться – поверхностями, покрытыми мелкой острой дресвой, в кровь ранящей руки. А грозные гюрзы и другие ядовитые змеи, притаившиеся в расселинах скал! А десятки скорпионов и фаланг, вылезавшие по ночам к палаткам на свет! А обманчивые ледовые фирны в ущельях, где только оступись – и засквозишь неведомо куда!

Работы по поискам урана проводились в обстановке сугубой секретности. Пикетажки, куда мы записывали показания радиометров, выдавались нам представителями «первого отдела» в виде строго прошитых и опечатанных тетрадок. Записи можно было вести только в них. Само слово «уран» в переговорах по радио и при переписке было строго запрещено – вместо него говорили «теллур». Пикетажки эти полагалось хранить во что бы то ни стало, за утерю – суд.

До сих пор помню чувство беспомощности, испытанное мною уже на другой год на том же Гиссарском хребте. Мы с моим геологом Костей Григорьевым удобно расположились на привал у ручья под редкой сенью низкорослой арчи, сняв с себя – он рюкзак с образцами, я – надоевший и раскалившийся на солнце радиометр. Не успели мы расслабиться, как раздалось грозное хрюканье, и по распадку прямо на нас понеслось несколько рослых кабанов. Уж не помню как, но практически молниеносно мы с Костей ухитрились вскарабкаться на самое высокое деревце, бросив все пожитки внизу. Семейство кабанов закружилось под нами, тыча в них розовые пятачки, трогательно контрастировавшие с внушительными клыками. И тут я, несмотря на жару, похолодел от ужаса, увидев, что мой «совсекретный» полевой дневник валяется внизу, и огромный секач – глава

семейства к нему внимательно принюхивается: не схарчить ли. Служебный долг и боязнь неминуемой посадки боролись во мне с вполне естественным животным страхом. Я с надеждой посмотрел на геолога, ожидая приказа, но он нахмурился и отвернулся. Тут я окончательно понял, что вниз ни за что не полезу. На мое счастье, потоптавшись под деревом и слегка унавозив «совсекретное» имущество, свинячье семейство неспешно отправилось дальше.

Через каждые несколько дней отрядный лагерь менял свое место. Никаких вертолетов в ту пору в каждодневном обиходе еще не было, и перебазировались с помощью вьючных лошадей, на которых грузили весь скарб – палатки, вьючные ящики и сумы. Рабочими и коноводами были местные таджики, нанимавшиеся на сезон. Были они все молодыми, непьющими и верующими. Все носили усы одинаковой формы – опущенные от углов рта вниз. Кто-то сказал мне, что такая форма усов считается в Таджикистане общепринятой «из-за Буденного». «Как это из-за Буденного?» – не понял я. И мне объяснили, что в годы коллективизации и «борьбы с басмачеством» по горам и долинам Таджикистана огнем и мечом прошелся легендарный маршал Семен Михайлович Буденный, посланный сюда насаждать советскую власть. Мне часто потом в маршрутах доводилось набредать на брошенные и разоренные кишлаки, где в безлюдных глинобитных домах шуршат обжившие их змеи. Так вот, таджики с тех пор закручивают усы концами вниз, потому что Буденный носил их концами вверх…

На сезонную работу в геологические партии они шли охотно, хотя не обходилось и без комических случаев. Помню, например, как пришел к нам старик из соседнего кишлака на Ходжи-Оби-Гарме. Целый день он сидел молча неподалеку от нашего лагеря и, цокая языком, разглядывал наши палатки и обшарпанный грузовичок, а потом пришел и принес заявление такого содержания: «Прошу принять меня на работу начальником охраны, начальником гаража или вообще каким-нибудь начальником».

По вечерам костров, как правило, не жгли, песен не пели и ложились рано – во-первых, вставали около пяти утра, чтобы начать маршрут не по жаре, а во-вторых, уставали смертельно, поначалу не столько от физической нагрузки (хотя и от нее, конечно), сколько от нервного напряжения. Несколько лет потом мне все снились сны, что я оступаюсь на скальном карнизе и падаю. И я просыпался в холодном поту.

Не менее рискованными оказывались и переходы с вьючными лошадьми. Перемещались по узким козьим тропам, над

скальными обрывами и ущельями, что чревато было ежеминутными неприятностями, особенно после дождей. Лошадей вьючили до отказа. Они, зная это, старались надувать животы, на которых затягивали подпругу. Полагалось поэтому резко ударить носком сапога лошадь в брюхо и сразу же после этого туго затянуть подпругу. Надежность вьюка проверялась тем, что полностью навьюченную лошадь прогоняли вскачь по ровному месту. Если вьюк не разваливался, он считался готовым. Сложной наукой оказалось и ведение лошади в поводу по узкой тропе или оврагу над пропастью или крутым склоном. Животное каждую минуту могло испугаться или оступиться, поэтому категорически запрещалось наматывать повод на руку. В то же время всегда надо было быть готовым разгрузить упавшую или испугавшуюся лошадь от вьюка, особенно съехавшего набок, не забывая в то же время постоянно успокаивать ее, чтобы она не начала биться и метаться.

В связи с этим вспоминается странная история, произошедшая на первой производственной практике. Мы, не помню уж зачем, приехали в Сталинабад и по пути обратно в горы заехали на ГАЗ-51 на рынок. Начальник партии вместе с шофером пошли закупать арбузы, а мы с Олегом (так звали моего товарища) остались стоять в тени машины на пыльной базарной площади. Одеты мы были в выгоревшие и драные ковбойки, сатиновые тренировочные штаны и войлочные широкополые шляпы, носившие почему-то название «мечта идиота». На ногах красовались изрядно поизносившиеся горные ботинки, подбитые на общий манер кусками автомобильного баллона, что, как утверждали знатоки, обеспечивало меньшее скольжение их на крутом склоне. По этому наряду, выделявшему нас из пестрохалатной и тюбетеечной толпы аборигенов, а также по начисто сгоревшим и облупленным от непривычного солнца носам опознать в нас геологов-практикантов было нетрудно.

К нам подошла цыганка, обликом своим сразу же напомнившая мне старуху Изергиль. Волосы ее были седыми с лиловым оттенком, глаза – в таких же темно-лилового цвета глазных впадинах – казались неподвижными и пугающими. Лилово-черным был и платок на ее голове. В это время в Сталинабаде дул «афганец», южный ветер, приносивший в город мелко взмученную пыль. Пыль эта, висевшая в воздухе, делала его полупрозрачным, поэтому все краски темнели и насыщались, как на театральной сцене при боковом освещении через фильтр. Старуха предложила нам погадать, но денег у нас не было, да и желания узнать судьбу тоже, поэтому, чтобы отвязаться, мы отдали ей случайно оставшийся рубль. Она явно оскорбилась и,

цепко схватив своими худыми пальцами Олега за запястье, стала гадать. И он, и я при этом впали в какое-то странное, до сих пор непонятное мне, оцепенение и покорно выслушали все, что она нам нашептала своей хриплой скороговоркой. «Кончишь учиться – большим начальником станешь, – сказала она Олегу. – Самую дорогую руду найдешь, там, где другой не найдет. Орден красный получишь и денег несметно. А потом в горах разобьешься. Еще тридцати тебе не будет, а разобьешься».

Я бы и не вспомнил после про старушечьи бредни, если бы не странность последовавших за этим событий. В 1957 году мы с Олегом окончили родной Горный институт и расстались навсегда. Он попал по распределению в Алтайскую экспедицию в Усть-Каменогорск, и я с ним больше не встречался. Через пару лет я узнал, что Олегу крупно повезло – в каком-то районе, уже забракованном как неперспективный предыдущими геологическими съемками, он совершенно неожиданно наткнулся на крупнейшее месторождение ртути. О нем писали в газетах. Олег вместе с другими был представлен сначала к ордену, а через год и к Государственной премии. Несколько позднее я узнал, что Министерство геологии, несмотря на его молодость, назначило Олега начальником большой экспедиции и заместителем начальника краевого геологического управления.

О дальнейшей его судьбе я узнал только в конце 60-х годов, когда сам уже полностью переключился на морскую геологию. За несколько дней до своего тридцатилетия, по случаю которого был уже заказан банкет в городском ресторане, Олег, будучи большим начальником, прилетал на вертолете инспектировать какую-то поисковую партию на Алтае. Работы партии ввиду наступления осени уже сворачивались, и она, как когда-то мы на Гиссаре, должна была выходить с караваном вьючных лошадей вниз. Погода была нелетная, и, не дождавшись вертолета и боясь опоздать на собственный юбилей, Олег решил отправиться пешком вместе со всеми. Уж никак не могу понять, с какой стати ему, крупному начальнику, вдруг вздумалось самому вести в поводу вьючную лошадь, да еще в нарушение самых элементарных правил безопасности, которым нас обучали еще в студенчестве, намотать на руку повод. На крутом и скользком склоне над обрывом лошадь оступилась и сорвалась в пропасть, унеся с собой Олега.

Первым моим начальником был старший инженер Сергей Максимов, здоровый рыжий верзила со звероподобной внешностью и весьма добрым сердцем, большую часть времени пребывавший в нетрезвом состоянии. Помню, с каким восхищенным ужасом мы, новички, смотрели на него, когда в

лагере партии на Анзобском перевале он на пари с каким-то другим алкашом за четыре поллитры съел сурка после того, как пришло предупреждение, что сурки могут быть носителями чумы. Никакой чумой Серега не заразился. Зато раз и навсегда приобрел авторитет человека безумной храбрости.

По вечерам собирались у костра и нередко пели песни. Гитара тогда еще не вошла в моду, поэтому пели просто так. Здесь впервые мне довелось услышать довольно много безымянных песен геологического фольклора, многие из которых я помню и пою до сих пор. В их числе прежде всего песня, автор которой до сих пор мне неизвестен:

Закури, дорогой, закури.
Завтра утром с восходом зари
Ты пойдешь по тайге опять
Молибдена руду искать.

Поскольку пели эту песню не в тайге, а на отрогах Памира, то слова «по тайге» обычно заменялись словами «по горам», а упоминание о Москве – соответствующим упоминанием о Ленинграде. Особенно полюбились мне в этой песне сентиментальные строчки:

Жизнь геолога – холод, вода,
Пролетит, не заметишь когда.
Только жить соберешься сполна —
На висках заблестит седина.

Кроме этой песни, часто пели:

Я смотрю на костер догорающий,
Гаснет розовый отблеск огня.
После трудного дня спят товарищи, —
Почему среди них нет тебя?

Пелись и другие песни, где речь неизменно шла о трудностях геологической жизни, скитаниях и разлуках, – «Дым костра создает уют», «Глобус» и тому подобное. От песен этих сладко ныло сердце, становилось жалко себя. В то же время они вселяли в нас гордость за свою романтическую профессию, уважение к своему образу жизни, столь непохожему на городское существование.

В связи с этим нельзя не вспомнить забавный диалог, случившийся на горной тропе, когда мы с моим геологом Светом Лесковым возвращались из маршрута в лагерь. Навстречу нам из-за поворота появилась беременная женщина, с трудом переставляющая ноги, стараясь не оступиться. За ней следом верхом на ишаке ехал бородатый таджик в полосатом халате и тюбетейке, широко разведя в стороны длинные ноги, чтобы не задевать землю. Поздоровавшись, мы спросили, куда они направляются. «Жену в родильный дом везем, – ответил он, – рожать пора. А ты кто будешь?» – обратился он к Лескову. «Инженер», – сказал Свет. «Плохой инженер, однако, – заявил наш собеседник. – Хороший инженер в городе живет, на заводе работает. Если в горы пошел, то плохой инженер». И, сокрушенно поцокав языком, отправился догонять жену.

Интересно, что в отличие от первокурсных студенческих компаний в экспедиции «лихих» студенческих песен и песен военного времени уже почти не пели, заменив их на «профессиональный» лирический репертуар. Под влиянием этих песен я и сам начал придумывать первые грустно-юмористические куплеты:

Исцарапанный весь и избитый,
Между диких обрывов и скал,
Притулившись на глыбе гранита,
Молодой геофизик страдал.

Что касается нашего тогдашнего отношения к опасностям, то к ним надо было привыкать как к неизменной детали нашего повседневного быта. Нам даже надбавку к зарплате платили за это – двадцать процентов «высокогорных», – как говорилось, «плата за страх». В 1955 году, в свой второй полевой сезон на Гиссарском хребте, мне довелось быть свидетелем гибели своего коллеги – двадцатипятилетнего геофизика Адольфа Образцова, насмерть разбившегося в маршруте. Истерзанное его тело, расклеванное орлами, долго не могли достать со дна ущелья. Эта первая в моей жизни безвременная смерть потрясла меня, и я тогда же написал об этом песню, где были такие слова:

Неспроста от утра до утра
Над ущельем кружили орлы:
Наш товарищ разбился вчера,
Оступившись у края скалы.
Возвращаются письма назад,
Телеграмма ушла в Ленинград.

Пусть тоску прогоняем мы прочь —
Нелегко нам уснуть в эту ночь.

Так песня памяти погибшего товарища стала моей первой экспедиционной песней. К сожалению, впоследствии таких песен стало больше. Песню эту, уже как безымянную, некоторое время пели в экспедициях, но потом почему-то пошел слух, что она приносит несчастье, что все, кто ее любит петь, рано или поздно разобьются. Мне по окончании Горного института в горах больше работать не доводилось, однако и сам я эту песню петь не люблю.

В 1956 году, на преддипломной практике в другом горном районе – на Тахталыкской гряде Тянь-Шаня, – мне впервые пришлось столкнуться с землетрясением. Палатки нашей партии стояли на травянистом склоне пологого предгорья. Помню, у кого-то из геологов был день рождения, и все изрядно выпили. Ночью нас разбудил испуганный Коля Золотокрылин: «Ребята, трясет». «Пить надо меньше, тогда трясти не будет», – сердито отреагировал начальник отряда. В этот момент произошел еще один вполне ощутимый толчок, и все враз умолкли, прислушиваясь к низкому гулу, долетавшему из дальнего ущелья. Нам, кажется, на склоне, поросшем травой, под полотняными крышами, ничего особенно не грозило, но всем стало как-то зябко. Утром выяснилось, что землетрясение разрушило мост через реку Нарын, и машина с продуктами к нам дойти не сможет. Всю следующую неделю, пока не наладили переправу, мы занимались тем, что распарывали бикфордовы шнуры для взрывных работ и кропотливо вытряхивали из них порох. Порохом этим набивали ружейные гильзы и стреляли горных куропаток – кекликов, поскольку больше есть было нечего.

Из странных мистических явлений, запомнившихся мне в студенческие годы по экспедициям на Гиссарском хребте, помню одно. Ясной лунной ночью, в полном безветрии, палатки наши стояли на плоском травянистом склоне на берегу узкой и бурной горной речушки, у самого подножия отвесных и неприступных гранитных скал. Напротив нас, на том берегу реки, – такой же травянистый склон, со всех сторон также замкнутый отвесными скалами. В отличие от нашего берега, вдоль которого шла узкая вьючная тропа, противоположный берег для людей был недоступен. Перед палатками стоял складной походный стол, на котором мирно горела свеча. Четверо геологов при свете огарка яростно сражались «в пульку».

Вдруг неожиданно и громко завыли обе наши собаки, а через несколько минут после этого прибежал рабочий Саид и стал

взволнованно и сбивчиво, забыв от испуга русские слова, что-то мне объяснять, все время показывая рукой в сторону противоположного берега. Мы пригляделись и вдруг увидели странную процессию – около десятка темных фигур, напоминавших средневековых монахов с накинутыми на голову капюшонами, спускались вниз по склону от нижнего края скальной гряды, направляясь в нашу сторону. Перед каждым из них колыхалось в такт их движениям бледно-голубое пламя, как будто каждый нес перед собой огромную свечу. И хотя за ревом реки и стуком швыряемых ею камней ничего разобрать было невозможно, мне показалось, что слышно монотонное пение. Как могли попасть люди в это неприступное место? Из путаных речей нашего проводника, требовавшего немедленно бежать, стало понятно наконец, что, по местному поверью, души умерших и не преданных земле бродят в лунные ночи по горам с непогашенным огнем и умерщвляют грешных людей своим прикосновением. Сидевшие вокруг стола так и застыли с картами в руках. Собаки продолжали выть. Никто был не в состоянии двинуться с места. Дойдя почти до реки, тени и огни исчезли. Я взглянул на часы. Все это продолжалось не более десяти минут. Саид, успокоившись, ушел, собаки замолчали, преферанс был продолжен, и о странном событии скоро забыли. До сих пор не могу понять, что это было – мираж? Массовая галлюцинация?

Что же касается памятных историй, то приключались, конечно, не только мрачные, но порой и смешные. В число методов поисков месторождений урана входил так называемый эманационный. Дело в том, что в процессе распада соединения урана могут образовывать радиоактивный газ – радон, а соединения тория – торон. Если месторождение урановой руды в коренных породах закрыто сверху чехлом осадков, то газ этот может проникать снизу в почвенный слой, создавая эманационный ареал. Поэтому на горных склонах, закрытых почвой, уран искали так: откачивали специальным насосом из шурфов в почве воздух в резиновые мешочки и затем отправляли их в Сталинабад, в лабораторию, на определение содержания торона или радона. При этом в качестве «резиновых мешочков» весьма успешно использовались обычные презервативы. В один прекрасный день они вдруг кончились, и меня вместе со «старшим», которым был тоже студент-практикант Гена Слонимский, учившийся когда-то со мной в одной школе, отправили за пополнением «резиновых мешочков» в Сталинабад, поскольку их отсутствие грозило срывом работ.

Мы с Геной, исполненные важностью нашей миссии, оседлали коней и поскакали вниз. «Девушка, нам, пожалуйста,

презервативы», – заявил Геннадий, осадивший своего Басмача у дверей центральной аптеки, где по случаю жаркого дня было безлюдно. «Сколько?» – спросила продавщица. «Две тысячи», – гордо сообщил Гена. Девушка всплеснула руками и скрылась за дверью с надписью «Заведующий». Через несколько минут оттуда появился старый еврей-провизор в серебряных очках. «В чем дело, Леночка?» – переспросил он и, наморщив лоб, посмотрел на нас поверх очков. «Лев Исаакович, они просят две тысячи!» – «Ну и что? – невозмутимо заметил провизор. – Отпустите, может быть, у них вечеринка…»

Месяцы, проведенные в горах, тяжелые маршруты на солнцепеке, скупой палаточный быт (хотя по нынешним временам он не был таким уж скупым – всегда были и фрукты, и арбузы, и свежая баранина) закалили наши городские нетренированные тела, укрепили уверенность в том, что профессию мы выбрали верно. Самое замечательное, как я понял уже значительно позднее, что за три года, которые я проработал на производственной практике в Средней Азии, сначала на Гиссарском хребте, а потом на Тахталыкской гряде Тянь-Шаня, никаких серьезных рудопроявлений урана мы так и не обнаружили, как ни старались. Зато запомнились на всю жизнь яркие крупные и близкие звезды над ночным хребтом, лунное мерцание соседних ледников, пронзительно-голубые краски мечетей и медресе, недолгое ощущение счастья, когда поднимаешься на недоступную, казалось бы, вершину и приятный холодок штатива на обожженном солнцем плече. Теперь, когда я вспоминаю это время, из памяти начисто выветриваются все невзгоды и неприятности, которых было, видимо, немало. Остаются только сожаление о невозможности вернуть эти первые ощущения страха, смешанного с постоянным восхищением многогранностью и богатством таинственной горной страны, и тоска по утраченному ныне собственному легкому и послушному телу, стремительно карабкавшемуся когда-то по отвесным кручам.

Запомнилось мне с тех пор и одно древнеперсидское изречение, выбитое на скальной стене: «В горах кто ходит медленно, тот ходит хорошо, а кто ходит хорошо, тот ходит быстро».

Глеб-гвардии Семеновского полка

Наш студенческий сборник сожгли в институтском дворе,
В допотопной котельной, согласно решенью парткома.
Стал наш блин стихотворный золы неоформленным комом
В год венгерских событий, на хмурой осенней заре.
Возле топкого края василеостровской земли,
Где готовились вместе в геологи мы и в поэты,
У гранитных причалов поскрипывали корабли,
И шуршала Нева – неопрятная мутная Лета.
Понимали не сразу мы, кто нам друзья и враги,
Но все явственней слышался птиц прилетающих гомон,
И редели потемки, и нам говорили: «Не ЛГИ»
Три латунные буквы, приклепанные к погонам.
Ветер Балтики свежей нам рифмы нашептывал, груб.
Нас манили руда и холодный арктический пояс.
Не с того ли и в шифрах учебных студенческих групп
Содержалось тогда это слово щемящее «поиск»?
Воронихинских портиков временный экипаж,
Мы держались друг друга, но каждый не знал себе равных.
Не учили нас стилю, и стиль был единственный наш:
«Ничего, кроме правды, клянусь, – ничего, кроме правды!»
Не забыть, как, сбежав от занятий унылых и жен,
У подножия сфинкса, над невскою черною льдиной,
Пили водку из яблока, вырезанного ножом,
И напиток нехитрый занюхивали сердцевиной.
Что еще я припомню об этой далекой поре,
Где портреты вождей и дотла разоренные церкви?
Наши ранние строки сожгли в институтском дворе
И развеяли пепел – я выше не знаю оценки.
И когда вспоминаю о времени первых потерь,
Где сознание наше себя обретало и крепло,
Не костры экспедиций стучатся мне в сердце теперь,
А прилипчивый запах холодного этого пепла.

Первой практике, знаменовавшей начало моей экспедиционной жизни, продолжавшейся впоследствии около сорока лет, предшествовало еще одно немаловажное событие – осенью 1953 года, при активном содействии Володи Британишского и Саши Гдалина, учившихся со мной на одном курсе, в Горном институте было организовано литературное

объединение. В качестве его руководителя, конечно же, приглашен был Глеб Сергеевич Семенов. В Горном выходила в то время многотиражка «Горняцкая правда», вокруг редакции которой группировались люди, интересующиеся литературой или уже пишущие. Главный редактор этой газеты Павел Иванович Мустель, ставший позднее ректором Горного института, оказал нам немалую поддержку, и наконец профком и комитет комсомола приняли соответствующее решение. Первые занятия «объединения», на которые собиралось вначале не более десяти человек, проходили в тесной комнатке редакции, но популярность ЛИТО стала быстро расти, и уже через месяц для каждого занятия приходилось заказывать в диспетчерской института специальную аудиторию. Мы с Володей в ту пору были уже третьекурсниками, и я, как один из организаторов, стал первым старостой ЛИТО.

Основу литобъединения составили начинающие поэты. В их число вошли геологи Геннадий Трофимов и Игорь Тупорылов, старше нас на курс, студенты-геологи 53-го года поступления Леонид Агеев и Олег Тарутин, наша сокурсница Лина Гольдман, студентка с нефтяной геофизики Лидия Гладкая. Несколько позднее в ЛИТО вошли первокурсники с геолого-разведочного факультета Елена Кумпан, Яков Виньковецкий, Эдурд Кутырев и Андрей Битов, писавший вначале, очень недолго, стихи, а затем переключившийся на прозу. Поначалу же проза была представлена Анатолием Кравчинским, в отличие от известного классика именовавшимся «Кравчинский-не-Степняк», Всеволодом Белоцерковским, быстро переметнувшимся в режиссеры, а позднее уже упомянутыми Битовым и Виньковецким.

Занятия велись примерно по той же схеме, что когда-то во Дворце пионеров. Контингент, однако, был иной, да и эпоха была уже совсем другая – умер Сталин, приближался XX съезд. Для нас, студентов Горного, выбравших себе, как мы были уверены, самую «земную» специальность, литературные увлечения были не абстрактными, а дополняющими суровую и горькую нашу действительность, не перемещением в отвлеченный от нее мир изящной словесности, но формой осмысления этой действительности и прежде всего попыткой мучительного прозрения от детски-просталинских иллюзий. Может быть, именно поэтому основным направлением в горняцком ЛИТО стало сугубо реалистическое, из-за чего мы довольно скоро получили полунасмешливое название «почвенники». В названии этом, однако, как я думаю сейчас, не было, по существу, ничего обидного, ибо оно довольно точно соответствовало реальности.

Наиболее яркими представителями этого направления были,

конечно, Леонид Агеев, Олег Тарутин и Володя Британишский. Несколько позднее к нам в ЛИТО пришли поэты из других объединений – Нина Королева, Глеб Горбовский и еще позднее – Александр Кушнер.

С самого начала «горняцкого объединения» или, как мы называли его в ту пору, «Глеб-гвардии Семеновского полка» в нем установился нетипичный в то время дух демократии, который, как я теперь понимаю, был определен в первую очередь Глебом Семеновым. На обсуждениях стихов, встречах с поэтами из других ЛИТО и просто в разговорах он все менее выглядел ментором, скорее – старшим товарищем. Чем далее, тем больше он незаметно становился как бы нашим ровесником и, возможно, сам чему-то учился. Ничего удивительного в этом не было – все как-то незаметно стали друг другу соперниками и учителями, тем более что круг доступного нам чтения был достаточно узок и о многом приходилось узнавать друг от друга.

В это время в Ленинграде существовало несколько групп молодых поэтов. Наиболее «официальным» было университетское объединение, которое состояло в основном из филологов. Сюда входили Майя Борисова, Илья Фоняков, Владимир Торопыгин, Валентин Горшков и некоторые другие. Большой популярностью пользовалось ЛИТО при Доме культуры трудовых резервов, которым руководил Давид Яковлевич Дар. Именно оттуда пришел Глеб Горбовский, там занимались в те годы Виктор Соснора, Алексей Ельянов и другие поэты и прозаики.

Наиболее близкая к рафинированному литературному слою группа создала (правда, несколько позднее) круг, который концентрировался вокруг Анны Андреевны Ахматовой. В него входили Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и, наконец, безвременно ушедший из жизни Иосиф Бродский. Они-то и называли нас «почвенниками». Особняком держались авангардисты – Уфлянд, Еремин и Виноградов. Существовало также литобъединение в Политехническом институте, видную роль в котором играл уже упомянутый мной поэт Виктор Берлин и на занятия которого ходили Александр Штейнберг, Борис Голлер и другие.

В 1954 году в актовом зале Политехнического института начались общегородские вечера студенческой поэзии, проходившие при огромном стечении народа. У меня много лет хранится «самиздатовский» сборник по материалам одного из таких вечеров с памятной надписью: «Талантливым горнякам от литобъединения Политехнического института». Там напечатаны стихи Валентина Горшкова, Виктора Берлина, Бориса Голлера и многих других. При всей непохожести отдельных авторов их

объединяют энергия и некая устремленность в завтра, которой, при всей несравнимости уровня нынешней гласности и дозволенности, сегодня нет.

Возвращаясь к нашему горняцкому ЛИТО, надо сказать, что его «идейными лидерами» в ту пору в действительности были Британишский, Агеев и Тарутин, а поэтическим – Глеб Горбовский.

Я вспоминаю вечера поэзии, на которых выходил Володя Британишский, худой, в заношенной горняцкой тужурке, и читал свои героические, по тем временам, стихи о вечере встречи в родной школе: «Обстановка совсем семейная – семьи тоже бывают лживые», или стихи о курсантах: «Не любитель я военщины, только хочется и мне, чтобы девушки и женщины уважали их вдвойне». Стихи эти, написанные в 56-м году, напечатаны были только в 90-м. Но уже тогда они ходили в списках, смело обличая всемогущий класс «аппаратчиков».

Острые и непримиримые стихи Британишского, как правило, вызывали бурную реакцию зала – сочувственную у одних и враждебную у других. За их распространение исключали из вузов. Помню, Борис Слуцкий подарил ему книжку с надписью: «Одному из лучших поэтов шестидесятых годов». В 58-м году вышла первая поэтическая книжка Британишского «Поиски», вызвавшая резкую доносительскую статью в «Ленинградской правде» с характерным названием «Снимите с пьедестала». В 56-м году Володя уехал работать в Тюменскую область, в Салехард. Потом в 60-м году переехал в Москву, где вышли две книги его стихов «Наташа» и «Пути сообщения». После этого его четырнадцать лет не печатали, мстя замалчиванием за недавнее поэтическое лидерство, за доверие не забывшей его аудитории и коллег по перу. Это многолетнее испытание забвением Владимир Британишский выдержал с честью: ни одной строки в угоду, «для власти, для ливреи».

Лишенный возможности печатать свои стихи, он полностью посвятил себя поэтическим переводам с польского, за короткое время освоив язык и став одним из ведущих переводчиков польской поэзии. Только в 80-м году вышла из печати его новая книга стихов «Открытое пространство», в 85-м – «Движение времени», а в 93-м – «Старые фотографии». В этой книге наиболее четко отразилась связь времен, эволюция, которую испытал автор за эти годы. На смену юному задору и темпераменту пришли потребность в анализе и модели мира. Не «сорванный голос», как написал о нем питерский критик Виктор Топоров, а иные поэтические и философские рубежи, другая система чувств и мыслей. На мой взгляд, голос у Владимира Британишского все

тот же – полный достоинства, начисто лишенный фальши и аффектаций, внешне сдержанный, но содержащий взрывчатый заряд. Не случайно поэтому его, уже полвека живущего в Москве, до сих пор относят к «поздним петербуржцам».

Леонид Агеев писал тогда же жесткие и горькие стихи о поэтах, погибших в 37-м:

Еще их тело сытое, хмельное,
Блаженствует. Не этому ли телу
С распоротою пулею спиною
Упасть, хрипя, под каменную стену?

Леониду Агееву не суждена была долгая жизнь. По окончании Горного института он работал в Первом Главном геологоуправлении в Ленинграде, выпустил несколько книг стихов, стал членом Союза писателей и время от времени, к сожалению, сильно пил. В последний раз мы с ним встречались в конце 80-х в Мурманске, куда приезжали выступать. В 1991 году он, сорвавшись дома со стремянки – куда за чем-то полез пьяный, – упал и разбился насмерть. Я тогда написал стихи, посвященные его памяти:

Снова провожаем мы друг друга,
Словно в институтские года,
В те края, где не стихает вьюга,
Реки несвободны ото льда.
В этот дом старинный на Покровке,
Помнится, в такой же вот мороз
Синий тортик вместо поллитровки
Кушнер по наивности принес.
За начало новых экспедиций
Стопку поминальную налей,
Трудновато будет возвратиться
Из далеких нынешних полей.
В том краю, где не бывает хлеба,
Как и встарь, без вилки и ножа,
Все мы соберемся возле Глеба,
Рюмки невесомые держа.
А пока что молча, без улыбки,
Вспоминаем посреди зимы
Тот квартал болотистый и зыбкий,
Где живали некогда и мы.
Где, гордясь горняцкою фуражкой,
По асфальту шел я, молодой,

И мерцала медленная Пряжка
Черной непрозрачною водой.

Один из ближайших друзей Леонида Агеева, учившийся с нами вместе, поэт и геолог Олег Тарутин, действительно долгое время жил рядом с рекой Пряжкой на углу Английского проспекта и улицы Декабристов, почти рядом с домом Блока на Пряжке. Позднее на стихи Олега Тарутина написал песни «Телепатия» и «Неандерталец» Александр Дулов. Окончив Горный институт, Олег через пару лет попал со мной вместе в Енисейскую экспедицию Научно-исследовательского института геологии Арктики, и мы с ним неоднократно встречались в Игарке. В экспедициях он написал немало стихов и даже одну песню «Стланики» на мотив известных тогда «Ландышей». Песня эта сразу же оказалась под запретом из-за крамольного куплета:

Если б в эти стланики-то
Вдруг попал Хрущев Никита,
Хоть в маршруте укороченном,
Доставали б чудака
Представители ЦК
Кириченко и Коротченко.

Олег Тарутин умер в 2000 году от рака. Стихи его, как правило вызывавшие у читателей и слушателей улыбку, самому ему порой доставляли весьма грустные минуты. Так его долго не хотели принимать в Ленинградское отделение Союза писателей, поскольку возглавлявший его в те годы поэт Александр Прокофьев, имя которого останется в истории не столько благодаря его стихам, сколько благодаря организованной им травле Иосифа Бродского, заподозрил в одном из юмористических стихотворений Олега намек на себя. Грузный краснолицый Прокофьев тогда только что завел себе молодую подругу и страшно разъярился, когда прочел стихи Тарутина:

Свинобатька бросил свиноматку, —
Ухожу, мол, к молодой свиньоре.
Свиноматку враз скрутило горе…
Он ушел, унес свою свинину.
К той другой, которая моложе.
Даже не взглянул на свиносына,
И на свинодочь, конечно, тоже.

Кстати о Прокофьеве. В 1969 году группу молодых ленинградских литераторов, в которую кроме меня входили Виктор Соснора, Олег Тарутин, Леонид Агеев, Александр Кушнер, Лев Гаврилов и другие, пригласили «на экскурсию» в «Большой дом» на Литейном, рядом с которым располагался Дом писателей. Дом, где располагалось Ленинградское управление КГБ, построенный в 30-е годы, и на самом деле большой и заметно возвышается над крышами соседних домов. Он хорошо виден из окон коференц-зала писательского дома, поэтому все писатели, выходя на трибуну, поневоле косились на него прежде, чем начать говорить. Встреча, на которую нас пригласили, по-видимому, была организована в рамках плановой «профилактической» промывки мозгов молодым авторам. В ее состав входили лекция о подрывной идеологической деятельности американской и других буржуазных разведок, ознакомление с образцами «антисоветской литературы» и экскурсия. Во время экскурсии в «Музей боевой славы ленинградских чекистов» я увидел на стене большой фотопортрет молодого Александра Прокофьева в кожанке и с маузером на бедре. «А это наш старый кадр, – предвосхитил мой недоуменный вопрос наш гид. – Александр Андреевич Прокофьев. В двадцатые годы направлен нами на литературную работу».

Что же касается поэтических открытий, то ими буквально потрясал молодой Глеб Горбовский, в стихах которого, казалось бы, обыденный мир вокруг нас преображался в таинственную страну:

Просеменила муха вдоль клеенки
И в блюдечко уткнулась хоботком.
Отравленная, умирать в сторонку
Отправилась на животе ползком.
Жаль мне муху – безрассудна муха,
Доконала муху Смерть-старуха.
Но прекрасен в блюдце мухомор —
Красный в белых крапинках убор.
Нет, конец у мухи не простой —
Отравилась муха красотой.

Только поэтический глаз Горбовского мог заметить очевидную вещь: «крокодилы ходят лежа». Холодом северного пространства дышали строки его стихов, привезенных из первых экспедиций, где он работал рабочим-взрывником:

Пустыня кончится обрывом

В необозримый океан.
Твой воротник стоит, как грива,
Твое шоссе – меридиан.

Тема отдельного разговора – песни Глеба Горбовского, ставшие целой эпохой в Ленинграде конца 50-х. Песни эти, написанные по большей части на расхожие мотивы, тут же распространялись и распевались не только нами, его друзьями, но и широким кругом людей, о нем никогда не слыхавших. Пожалуй, наиболее известной стала песня Горбовского, придуманная им на оригинальный мотив – «Когда качаются фонарики ночные». Мне неоднократно приходилось в самых разных местах до хрипоты спорить, доказывая авторство Глеба, с яростными сторонниками «древнего народного» происхождения этой песни. Совершенно очевидно, что песню эту написал поэт. Достаточно вспомнить великолепные строчки: «Смотрю, как кот в окно» или: «Я сам себя убил и выбросил за борт». Широкой популярностью пользовалась в 60-е годы в Ленинграде его песня о художниках:

На дива – на диване, на диване,
Мы лежим – художники.
У меня, у меня, да и у Вани
Протянулись ноженьки.

А мы в те годы с удовольствием дома и на улице распевали его песни о незадачливом постовом:

У помещенья «пиво-воды»
Стоял не пьяный постовой,
Слуга народа из народа,
Как говорится, парень свой.

Надо сказать, что сам Горбовский на гитаре не играл, песни свои пел только вместе со всеми а капелла и со сцены их не пел, кажется, никогда. Судьба, однако, сыграла с ним злую шутку. Излечившись путем многолетних и неоднократных героических усилий от хронического пьянства, Глеб Горбовский вместе с ним во многом избавился и от своего незаурядного поэтического таланта. Может быть, именно поэтому Глеб Яковлевич Горбовский всячески старается подчеркнуть свою «истинно русскую сущность» и печатает стихи с выразительными

строчками: «Они примазались к России, чтоб очернить ее лицо…» Читать это стыдно и грустно.

Возвратимся, однако, в Ленинградский горный институт конца 50-х и его славное литобъединение. Важным событием в нашей тогдашней жизни, как и в жизни нашего поколения, был XX съезд партии и доклад Хрущева, впервые открыто разоблачившего культ Сталина. Рухнул идол, завалив своими обломками все жизненное пространство. Надо было заново учиться жить. Это не могло не отразиться в стихах, которые мы писали.

После начала перестройки, весной 90-го года, в Ленинграде благодаря инициативе Майи Борисовой, безвременно ушедшей из жизни в 96-м, вышел стихотворный сборник «То время – эти голоса. Ленинград. Поэты «оттепели». В него вошли стихи Владимира Британишского, Глеба Горбовского, Леонида Агеева, Олега Тарутина, Александра Кушнера и других поэтов, связанных в те годы с ЛИТО Горного института. Посвящен этот сборник памяти умершей незадолго перед этим ленинградской поэтессы Татьяны Галушко, тоже имевшей отношение к Глебу Семенову. Перечитывая сегодня в этой книге наши старые стихи, пусть наивные с позиций сегодняшнего времени, я все-таки испытываю радость за них и за нас тогдашних. В 1956 году и думать было нельзя эти стихи напечатать. Ценой больших усилий на ротаторе Горного института был на правах рукописи выпущен тиражом триста экземпляров сборник стихов членов ЛИТО под редакцией Глеба Семенова, ставший теперь предметом зависти коллекционеров. Вместе с нашими стихами туда вошли также стихи студентов ЛГИ более старших поколений – Нины Островской, Бориса Рацера, Льва Куклина, Игоря Тупорылова. Из «литовцев» там – Игорь Трофимов, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Эдуард Кутырев, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Владимир Британишский и я.

Поскольку сборник разошелся моментально, решили сделать второй выпуск, существенно расширив круг авторов. Этот второй выпуск действительно вышел в 1957 году. Ему, однако, не повезло. В это время проходил первый Всемирный фестиваль молодежи, и цензура была особенно бдительна. Сборник попался кому-то на глаза и вызвал бурю. По категорическому указанию партийных властей партком института принял решение весь тираж сборника уничтожить, и он был сожжен в котельной института. Прямо как в Средние века. Чудом уцелело только несколько экземпляров. Уничтожение этого сборника, а также ряд доносов в разные инстанции, включая КГБ, привели к тому, что занятия ЛИТО Горного института в 57-м году были прекращены,

а Глеб Сергеевич Семенов из него изгнан.

Одним из поводов этого разгрома послужили, в частности, стихи Лидии Гладкой, посвященные происходившим тогда печально известным венгерским событиям:

Там алая кровь заливает асфальт,
Там русское «стой» – как немецкое «хальт»…

«Богема проклятая, – стучал на нас кулаком секретарь парткома института Олег Васильевич Литвиненко, – до прямой антисоветчины докатились!» Жалобы на ЛИТО в партком были и раньше, но они носили не слишком серьезный характер. Так, в 1955 году на одном из институтских партийных собраний секретарь парткома заявил, что стихи участников ЛИТО, публикуемые в газете «Горняцкая правда», разлагающе действуют на студентов. «Начитавшись этих стихов, – говорил он, – студенты, вместо того чтобы нормально учиться, начинают влюбляться, женятся. Тут же появляются дети, а мы не можем обеспечить их жилплощадью. И несчастные дети страдают по вине безответственных поэтов». Помню, как радовался Глеб Семенов такой высокой оценке нашей лирики.

На этот раз «наезд» был вполне серьезный. И хотя ЛИТО формально не закрыли, вместо Глеба Семенова из Союза писателей был приглашен руководить им Дмитрий Леваневский, хорошо известный своим приспособленчеством и стукачеством. Именно с его подачи архив поэтессы Ольги Берггольц сразу же после ее смерти был вывезен в «Большой дом» – ленинградское управление КГБ. На этом недолгий взлет ЛИТО Горного института закончился. Мы, питомцы Глеба Семенова, уже после окончания Горного, перебрались в его ЛИТО в Доме культуры имени Первой пятилетки, которое он вел в последующие годы. Там на занятия вместе с нами приходили Александр Кушнер, Яков Гордин, Вадим Халупович, Виктор Соснора, Анатолий Пикач, Майя Данини и многие другие, прочно вошедшие позднее в ленинградскую литературу.

Что касается Андрея Битова, то он впоследствии перешел из ЛИТО Горного института в ЛИТО при альманахе «Молодой Ленинград», который был в те годы единственным изданием, реально доступным для молодых авторов.

Несмотря на сравнительно недолгий срок существования (не более трех лет), ЛИТО в Горном институте сыграло значительную роль в жизни почти каждого из его участников, большая часть которых навсегда связали себя с литературой. Стали профессиональными литераторами Леонид Агеев, Олег Тарутин,

Андрей Битов, Нина Королева, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Владимир Британишский и некоторые другие – явление для технического вуза в известной степени уникальное.

Где-то году в 55-м я впервые, вместе с Кушнером, Тупорыловым и Британишским, участвовал в «конференции молодых авторов», организованной в ленинградском Союзе писателей. В семинаре, которым руководили Вадим Шефнер и Анатолий Чивилихин, рядом со мной сидел худенький курчавый юноша в солдатской форме с черными строительными погонами, перечеркнутыми ефрейторскими лычками. Это был москвич Сергей Артамонов, служивший под Ленинградом и писавший тогда стихи. Мы с ним быстро подружились, и я сразу же познакомил его с Семеновым и сосватал его в наше литобъединение. Отслужив, он вернулся в Москву, где я неоднократно бывал у него потом в доме в Кривоарбатском переулке. Он жил там вдвоем со своей бабушкой в старой московской коммуналке, в длинной и узкой, как щель, комнатушке, разделенной надвое огромным шкафом.

В этой комнате в ноябре 1961 года во время встречи с Иосифом Бродским я случайно познакомился с молодой московской поэтессой Анной Наль, ставшей позднее моей женой. Именно Сергей ввел меня в первый раз в дом Давида Самойлова, с которым был хорошо знаком. Писал он тогда стихи и очень неплохие рассказы, которые никто и нигде, конечно, не печатал. В 1973 году Сергей Артамонов эмигрировал во Францию. Теперь он живет недалеко от Парижа, в городке Медон. Много лет Сергей занимается резьбой по дереву, обнаружив безусловный талант скульптора. В 1998 году в Москве он устроил выставку в Музее архитектуры имени Щусева, которая прошла с большим успехом.

Помню, после семинара один из довольно именитых тогда ленинградских поэтов, чье имя внушало мне большое почтение, пригласил нескольких участников семинара, и меня в том числе, к себе домой. На столе стояла обильная водка, разговор шел о литературе, и я все ждал от известного поэта каких-нибудь мудрых слов, соответствующих моим о нем высоким представлениям. Он же, выпив, поглядел на меня туманным взглядом и сказал: «Форма у тебя красивая. На блядей, наверное, здорово действует».

Примерно в 54–55-м годах в нашем Горном пошла мода на студенческие спектакли. Был даже объявлен конкурс на лучший факультетский спектакль. Тут же возникли группы режиссеров, актеров и, конечно, в первую очередь, авторов. Главными сценаристами факультетского спектакля геологов были Леонид Агеев и Олег Тарутин, на нашем геофизическом факультете – мы

с Володей Британишским. Тарутин с Агеевым написали лихой текст в стихах, и спектакль с блеском прошел на институтской сцене, явно обеспечив себе первое место. Мало того, в отдельных героях легко угадывались пародийные черты их потенциальных соперников-геофизиков.

Я незадолго перед этим, под впечатлением экспедиций на Гиссар, написал цикл «мужественных», в духе своего любимого в те поры Киплинга, а на самом деле – довольно беспомощных и подражательных «Стихов о Гиссарском хребте», где всячески воспевал трудности экспедиционного быта и суровые мужские забавы. Поэтому герой агеевско-тарутинской пьесы, старшекурсник, рассказывающий небылицы робким первокурсникам, гордо заявлял:

Помню, было на Гиссаре…
От сапог подметки ели —
Аж язык распух во рту,
А последних три недели
Дотянули – на спирту.

Факультетский спектакль геологов пользовался громким успехом и явно претендовал на первое место в конкурсе. Надо было как-то, хотя бы в чем-нибудь обойти торжествовавших геологов. О том, чтобы написать стихотворный текст лучше, чем Агеев с Тарутиным, не могло быть даже речи. Тогда на заседании факультетского комсомольского бюро было решено написать специально для спектакля песни, которых у геологов не было, – чтобы выиграть конкурс. Тем более что недавно окончивший геофизический факультет молодой композитор Юрий Гурвич обещал написать музыку. Ответственным за тексты песен и их подготовку в спектакле был назначен я – Британишский в это время писал стихотворные репризы, описывая деканатский коридор:

Вот первокурсники-ягнята,
Какими были все когда-то,
На расписание толпой
Глядят с покорностью тупой.
Но, в расписание не глядя,
Шагает старшекурсник-дядя,
Он расписание давно
В сплошное превратил «окно».

Я исправно, к указанному мне сроку, сочинил требуемые тексты для песен, главной из которой в спектакле должен был стать «Геофизический вальс», и отправился к Гурвичу, бывшему в те поры зятем известного ленинградского писателя Юрия Германа. Потом я несколько раз звонил ему, но он все говорил, что песня еще не готова. Наконец, когда до спектакля оставалось всего два дня, я приехал к нему, и он выдал мне нотную запись, которую я, ввиду своей полной музыкальной безграмотности, прочесть, конечно, не мог. Я тут же помчался в Горный и вручил ноты нашей главной «солистке». Посмотрев их, она ударилась в слезы, решительно заявив, что такую сложную мелодию петь не в состоянии. А спектакль – послезавтра. Как же быть?

Разгневанный комсомольский секретарь заявил мне: «Ты эту кашу со своим Гурвичем заварил, ты и распутывай. Как хочешь и что хочешь делай, но чтобы назавтра песня была, а иначе – комсомольский билет положишь за срыв факультетского спектакля». Угроза по тем временам казалась мне нешуточной. Гурвич после моего отчаянного звонка к нему обиделся и, обвинив нас в «непонимании музыки», повесил трубку. Положение было критическое. Все, что мне оставалось, ценою бессонной ночи (очень не хотелось расставаться с комсомольским билетом – не зря, как-то выступая против меня на занятии ЛИТО в те годы, Британишский заявил: «Городницкий был когда-то комсоргом и никак не может этого забыть») попытаться придумать нехитрую мелодию песни.

Наутро я принес ее в институт, и певица петь песню согласилась. Так, впервые в своей жизни, я придумал мелодию для песни, хотя, по всей видимости, не придумал, а скорее слепил из обрывков мотивов, бывших у меня в то время на слуху. Получилась песня «Геофизический вальс»: «Снег на крышах темнеет и тает на исходе весеннего дня». Несколько обнаглев после этого, я придумал тут же еще одну песню «Сонные кони храпят без седла», а Володя Британишский, ревниво следивший за моими потугами, немедленно написал песню для сцены в общежитии:

Задумчиво встали походные кружки
На серой клеенке стола.
Совсем как в палатке, у нас в комнатушке
Не больно-то много тепла.

И мотив к ней он придумал довольно неплохой. В результате мы заняли в конкурсе первое место, и геологи были посрамлены. Правда, бдительная партийная цензура категорически

вычеркнула из нашего спектакля сцену застолья в студенческом общежитии на Малом, 40, где тамада провозглашал: «В Москве прошел XX съезд», а его сосед немедленно добавлял: «Пусть каждый выпьет и заест!» Так на четвертом курсе я начал «слагать песни». К числу самых первых относятся «Геофизический вальс» и упомянутая выше экспедиционная песня «Снова солнце зажгло ледники».

В том же 1956 году я первый раз в жизни получил «официальный» заказ на песню. В связи с подготовкой к празднованию в 1957 году юбилея города хор клуба профсоюзов «Трудовые резервы» решил исполнить «Гимн Великому городу» из известного балета Глиэра «Медный всадник». Надо было написать текст гимна. Узнав об этом, Глеб Сергеевич уговорил руководство клуба заказать текст мне. «Имей в виду, – сказал мне Семенов, – что дело это платное и денег у них много, так что проси как можно больше». Я пришел в клуб «Трудовые резервы» и на вопрос, сколько будет стоить текст гимна, зажмурившись от собственной наглости, попросил шестьсот рублей – сумму, как мне тогда казалось, непомерно высокую. Директор, к моему удивлению, радостно улыбнувшись, тут же поставил цифру в договор. «Дурень, – сокрушенно покачал головой Глеб Сергеевич, узнав об этом, – они же собирались тебе три тысячи заплатить». Тем не менее гонорар этот на многие годы стал моим самым большим литературным заработком.

Так нечаянно я стал в 56-м году автором «Ленинградского гимна», пополнив собой славные ряды «гимнюков». Гимн этот начинался словами:

Тебя поем мы, наш город величавый,
Рожденный в боях и дыму баррикад,
Твой каждый камень овеян славой,
Седой Петербург, Петроград, Ленинград.
Для мира ставший знаменем свободы,
На радость нам и недругам на страх,
Не волей царей, а волею народа
Ты гордо встал на невских берегах.

Много лет он исполнялся на разного рода официальных церемониях и при отправлении «Красной стрелы» от перрона Московского вокзала.

Помимо занятий в ЛИТО, которые обычно проходили раз в неделю, мы довольно часто собирались, читая друг другу стихи и обсуждая их или споря о прочитанном. Собирались обычно либо у Агеева на Покровке, где у него вместе с его женой Любой была

небольшая комната, либо у Олега Тарутина на углу Маклина и Декабристов. Застолья при этом были чисто символическими, главное – что читалось и говорилось, хотя, конечно, серьезные выпивки, особенно с участием Глеба Горбовского, тоже случались. Как-то в зимнюю пору мы с ним и с Агеевым распивали «маленькую» на невском льду, перед сфинксами, а поскольку стакана не было, то вырезали ножом рюмку из яблока. Вообще – умение выпить входило как бы в кодекс «горняцкого» бытия. Помню, как все смеялись над Сашей Кушнером, когда на мои проводы в экспедицию вместо общепринятой поллитры он принес торт, перевязанный голубой ленточкой.

У меня на старой и затертой допотопной бобине сохранился обрывок записи одного из тех давних сборищ, происходившего в тесной комнате моей коммуналки на Красной улице. Тогда, кажется, обсуждались мои стихи. Из общего нестройного гомона явственно выделялся голос Кушнера: «Так как постановили – считать это стихотворение плохим или хорошим?»

Встречи эти, с чтением, обсуждением и разговором, чаще всего уже без Глеба Семенова, стали традиционными. И после, когда все разъехались по разным краям и экспедициям, а вернувшись, уже отошли друг от друга, отсутствие этих сборищ сильно сказывалось. И еще одно: средой нашего литературного обитания всегда был Ленинград, его улицы, переулки, каналы, Васильевский вокруг Горного. Это вовсе не значит, конечно, что мы писали именно о городе – он просто всегда незримо присутствовал в самом дыхании нашем в те годы…

К середине 50-х относится также начало моей дружбы с братьями Штейнбергами, которые, хотя сами стихов и прозы не писали, сразу же оказались в самом центре литературной жизни. Старший – Генрих – учился в Горном на два курса после меня, где ухитрился закончить сразу два факультета – геолого-разведочный и геофизический. По окончании института он уехал на Камчатку, где провел много лет, став известным вулканологом. К нему в конце 60-х – начале 70-х годов регулярно ездили в гости и «работать» питерские друзья-литераторы, в том числе Андрей Битов, Глеб Горбовский и многие другие. Сам Генрих был и остался человеком фантастическим и таинственным. Еще учась в Горном институте он, согласно легенде, прыгал на пари с Ласточкина гнезда в Крыму, на Камчатке опускался в кратер действующего вулкана, усиленно тренировался для того, чтобы попасть в отряд космонавтов и даже вступил для этого в партию (но не помогло). Его однокашник Андрей Битов посвятил Штейнбергу целую повесть «Путешествие к другу детства».

В начале 70-х директор Института вулканологии, где работал

Генрих, С.А. Федотов, широко известный своими антисемитскими высказываниями, организовал настоящую травлю Штейнберга. Генриха обвинили в крупной растрате казенных денег, исключили из партии и отдали под суд. Уволенный с «волчьим паспортом», не имея возможности устроиться на работу по специальности, он довольно долго работал истопником в кочегарке, а изучение вулканов продолжал в свободное время и на свои средства. Позже, когда ложные обвинения с него были сняты, он перевелся работать на Сахалин в Институт морской геологии и геофизики и в Москву наезжал редко. Уже став доктором наук, академиком РАЕН и директором им же созданного Института вулканологии, он, однажды приехав ко мне домой, высыпал на стол из мешочка горсть каких-то кристаллов. Оказалось, что это – сернистый рений, редкометалльный минерал, впервые в мире найденный им в вулканических извержениях.

Младший, Александр, был в те поры студентом Политехнического института и немало усилий приложил к организации там студенческих вечеров поэзии. Окончив институт, он много лет работал в Государственном институте прикладной химии в Ленинграде, где занимался теорией взрыва (видимо, не только теорией, поскольку после одного эксперимента изрядно оглох). В начале 80-х Александр перебрался в Черноголовку – научный центр под Москвой, стал доктором наук, профессором, а в 90-е уехал работать в Калифорнийский университет в Беркли. Иногда братья объединяли свои научные усилия. Так они разработали оригинальную модель работы гейзеров на Камчатке и многое другое.

В студенческие годы, да и позднее, братья Штейнберги были знакомы и дружны практически со всеми известными в то время молодыми писателями, поэтами и художниками из упомянутых выше группировок. У их родителей – Анны Аркадьевны и Семена Исааковича – в большой квартире старого петербургского дома на Пушкинской улице, неподалеку от Московского вокзала, все время собирался разнообразный народ. Здесь можно было увидеть и уже упомянутых горняков (Глеб Горбовский обладал в этом доме личным правом сдавать пустые бутылки – в фонд следующих посиделок), и Иосифа Бродского, и Евгения Рейна, вернувшегося с Камчатки и читавшего с рычанием свои плотоядные стихи «люди ели мясо», и молодых тогда писателей: Сергея Вольфа, Владимира Кацнельсона (впоследствии ставшего Марамзиным), Игоря Ефимова с женой – поэтессой Мариной Рачко. За большим столом блистал острыми репликами Анатолий Найман, читал свои первые рассказы Андрей Битов, устраивали домашние вернисажи Олег Целков, Анатолий Зверев, Михаил

Кулаков, Яков Виньковецкий.

У одного из братьев, Генриха, была хотя небольшая, но своя комната, на стене которой красовался огромный портрет хозяина работы Михаила Кулакова. В комнату эту набивалось обычно несметное количество народа, сидевшего ночи напролет в густом табачном дыму. Поскольку дом располагался рядом с Московским вокзалом, он служил также постоянным местом ночлега для заезжих москвичей. Родители братьев сами с удовольствием принимали участие в застольях, чтобы выпить рюмку водки и послушать «современную молодежь». К этому времени Саша Штейнберг женился на Нине Королевой, Глеб Горбовский – на Лидии Гладкой, так что литературные общения переплелись с семейным бытом.

Уже после окончания Горного, ЛИТО клуба Первой пятилетки и наша компания дополнились молодыми поэтами – Яковом Гординым, Татьяной Галушко и Виктором Соснорой, поразившего всех удивительными стихами, и прежде всего своей поэмой «Слово о полку Игореве». Все они стали профессиональными литераторами. Трагически сложилась судьба талантливой Татьяны Галушко, умершей в самом расцвете творческих сил от рака, в 1988 году. В 1968 году она вместе с Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым и мною попала в знаменитый донос после вечера в Доме писателей, о котором я уже упоминал. О Татьяне там было сказано так: «Не раз уже читала со сцены Дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушко (Санасарян). Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию, за которой близка ее подлинная родина, и единственный живой человек спасает ее на нашей советской земле – это давно почивший, еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам».

Последние годы Татьяна работала в Пушкинском музее и Музее Некрасова. Темпераментная, нетерпимая ко всяческой фальши, с пышными черными волосами и низким сильным голосом, она всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью. Когда читаешь ее последние стихи, становится горько от несправедливости судьбы, отнявшей у нее возможность жить и писать. Примерно за год до смерти, уже зная безысходность своего диагноза, она написала в поэме «За все заплачено – не забудь»:

Теперь, когда смертный объявлен час,
Меня не догнать никому из вас,
Начальники жизни, политруки, —

Теперь это даже вам не с руки.

Мое последнее свидание с ней оказалось нечаянным. Осенью 1988 года я был в Таллине и поэтому не знал о ее смерти. В один из первых дней дождливого октября, оказавшись проездом на одни сутки в Ленинграде, откуда улетал вечером на юг, я отправился в Пушкин, на Казанское кладбище, навестить могилу родителей. Уже смеркалось, когда я вышел к безлюдному входу, вблизи которого стоит полуразрушенная старая часовня, построенная еще Кваренги и заросшая травой и кустарником. Неожиданно я заметил погребальный автобус у ворот и небольшую группу людей, прячущихся под зонтиками от дождя. Среди них я узнал Соснору, Кушнера и Майю Борисову. «Как хорошо, что ты приехал», – сказала Майя. Я, потрясенный случившимся, не стал ничего объяснять, но благодарен судьбе, которая вывела меня к кладбищенским воротам точно в назначенное время. Татьяну похоронили недалеко от входа, справа, среди старых надгробий XIX века с серыми массивными гранитными крестами и золочеными ятями на полустертых надписях, занесенных в осеннюю пору опавшей листвой.

Все не верится глазу – неужто
Там, где листья легли на гранит,
Поэтесса Татьяна Галушко
Под плитой запыленной лежит?
Разоряет осинники осень,
И становятся дали ясней.
Много лет уж, как в общем доносе
Упомянуты были мы с ней.
И заложены в памяти прочно,
В те поры поразившие всех,
Эти звонкие юные строчки,
Этот звонкий девчоночий смех.
Только рак в наше время не лечат,
И не стало Татьяны, увы.
Этих нет, а иные далече
От крутящейся мокрой листвы.
Сблизив даты разлук и свиданий,
Дышит стужею гиперборей
С перевалов Армении дальней,
От арктических ближних морей.
Не затем ли друзей мы хороним
На пороге грядущей зимы,
Чтобы в мире том потустороннем

Одинокими не были мы?

Виктор Соснора в 50-е годы служил в армии, недолго работал токарем. Помню пародию, написанную на ставшие уже знаменитыми его строчки из «Слова» Нонной Слепаковой:

И сказал Кончаку Гза —
Ты смотри, как идет фреза!
Мы понизим токаренку разряд —
Не платить же ему деньги зазря!

Стихи молодого Сосноры выделял из других и высоко ценил Николай Асеев, ходивший в то время в классиках. Несмотря на широкую известность Виктора как поэта, а начиная с конца 80-х и как прозаика, большая часть из написанного им долгое время оставалась ненапечатанной.

Яков Гордин, начинавший когда-то как поэт и работавший в те годы техником в геолого-разведочных экспедициях в Якутии, стал известным писателем и историком-исследователем, работы которого, посвященные Пушкину, декабристам, первой половине XIX века, вызывают не только литературный, но и серьезный научный интерес, прежде всего оригинальными концепциями автора. Он – автор либретто многих современных опер. Последние двадцать лет Гордин руководит в Питере журналом «Звезда».

В 1954 году, на вечере поэзии в Политехническом, я впервые познакомился с молодым поэтом Борисом Голлером, привлекшим меня вдохновенно-темпераментным исполнением своей поэмы «Красная капелла», посвященной одному из героев антинацистского движения Харро Шульце-Бойзену. Он (автор, конечно) женился на «горнячке» Лине Гольдман и тоже на какое-то время примкнул к нашей компании. Надо сказать, что со стихами он довольно скоро завязал и начал писать пьесы, которые, к великому сожалению, много лет никто не ставил. Одна из первых его пьес «Десять минут или вся жизнь» была посвящена трагической судьбе американского пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Мне эта пьеса страшно нравилась, особенно в его собственном темпераментном чтении. До сих пор я уверен, что Борис Голлер, имя которого много лет практически замалчивалось, – один из интереснейших наших драматургов. И это несмотря на то, что две или три его пьесы, поставленные в ленинградском Театре юного зрителя Зиновием Корогодским, «Матросы без моря» и «Вокруг площади», особого успеха не

имели. Надо сказать, что мнение мое не изменилось и в последние годы, когда Голлера долго не хотели принимать в Ленинграде в Союз писателей, и укрепилось после того, как я совсем недавно прочитал его большую драму о Грибоедове. В 90-е годы Борис Голлер переехал в Израиль, но несколько лет назад возвратился в Питер и снова порадовал читателей своей книгой «Возвращение в Михайловское».

Одной из многообещающих поэтесс в ЛИТО Горного института была во второй половине 50-х годов Лена Кумпан, ходившая тогда в неизменной финской шапочке, писавшая прекрасные лирические стихи и даже успевшая опубликовать одну книжку стихов «Горсти». Лена тоже выступала на упомянутом вечере в 1968 году в Доме писателя. О ней авторы доноса отозвались так: «И в такой «дикой» стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть, даже не имевшими человеческого обличия, вещает «поэтесса» Елена Кумпан. Она поднимается от этой «страшной» жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом». Справедливости ради, следует сказать, что к «великому еврейскому народу», куда причислили Лену ослепленные злобой доносчики, она никакого отношения не имела. Жила Лена вместе с сестрами-близняшками Ксаной и Верой и матерью в большой коммунальной квартире на 18-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами. В этой квартире мы тоже частенько собирались, особенно после занятий ЛИТО – благо, недалеко от Горного. Именно к этим сборищам в то время и относились ее шуточные строчки: «По копейке собирали – покупали «Саперави».

Окончив Горный институт, Лена какое-то время работала в институте «Гипроникель», однако геология ее не интересовала, и она пошла работать экскурсоводом по Ленинграду. Потом она вышла замуж за Глеба Сергеевича Семенова и вошла в круг старой ленинградской интеллигенции, центром которой были Лидия Яковлевна Гинзбург и Тамара Юрьевна Хмельницкая. Близки к этому кругу были также Виктор Андроникович Мануйлов, Дмитрий Евгеньевич Максимов и Ефим Григорьевич Эткинд. Стихи, однако, Лена перестала писать раз и навсегда, о чем можно только сожалеть. Через пару лет после смерти Глеба Семенова она вышла замуж за ученого-литературоведа Елизария Моисеевича Мелетинского, ныне тоже покойного, и переехала в Москву. Несколько лет назад она снова вернулась в Питер. Недавно вышла из печати книга ее воспоминаний.

Что касается «женской поэзии» глебовского ЛИТО, то в Горном в ней наряду с Леной ведущее место занимали уже

упомянутая Лидия Гладкая и Нина Королева. По окончании Горного мы неоднократно собирались в квартире Нины на Гаванской улице. Мне почему-то запомнилось сборище у нее 7 ноября 1967 года, в день 50-летнего юбилея Октябрьского переворота. Тогда, помню, власти решили, что надо бы повторить «исторический выстрел «Авроры». Носовая пушка «Авроры» была снова заряжена и на самом деле пальнула холостым выстрелом, но, видимо, плохо рассчитали заряд, поскольку во многих ближних домах на Английской набережной полетели стекла. Компания в тот вечер у Нины собралась шумная и большая. Я незадолго перед этим вернулся из очередного экспедиционного рейса на «Крузенштерне» и рассказывал про Бермудские острова, недоступную тогда «заграницу», для красочности довольно подробно остановившись на увеселительных заведениях, которые мы видели на самом деле только со стороны. Выслушав мой рассказ, питерский прозаик Сергей Вольф, уже успевший «принять», восторженно закричал: «Саня, вот это моя мечта – западные женщины. С ними можно сразу переходить к любви! Им не надо, как нашим дурам, сначала два часа толковать про Кафку и прочую лапшу на уши вешать». Примерно через полчаса пришла чешская журналистка Милена, приехавшая из Праги. Вольф тут же подсел к ней и, не отрывая вожделенных глаз от ее крутых коленок и могучих бедер, туго обтянутых модной тогда мини-юбкой, спросил дрожащим голосом: «Скажите, Милена, а вот вы, чехи, считаете Кафку своим национальным писателем?»

Выпито было тогда довольно много. Читали стихи, спорили. Под конец вечера начались танцы. В это время пришел какой-то запоздалый гость, знакомый Нины, только что приехавший из Москвы. Он никого из присутствующих не знал и несколько оробел, попав в шумную и разгульную компанию. Как раз в этот момент Инга Петкевич (кстати, весьма одаренный прозаик, написавшая в свое время серию прекрасных рассказов «Мы с Костиком» и многое другое), красивая и полная рыжеволосая женщина, сбросив мешавшие ей туфли, решила исполнить сольный танец на столе. Гость начал с тревогой оглядываться по сторонам и увидел одиноко сидевшего за столом Андрея Битова, который, ни на кого не обращая внимания, с меланхолическим видом поедал что-то из своей тарелки и показался затосковавшему пришельцу (возможно, из-за очков) единственным интеллигентным человеком среди этой пьяной богемы. «Простите, – доверительно шепнул он ему, – кто эта вульгарная рыжая баба?» – «Не обращайте внимания, – ответил Битов, не переставая есть, – это моя жена». Гость испуганно выскользнул в переднюю, оделся и ушел.

Позже Нина Королева вышла замуж за Сашу Штейнберга, и они переехали на Мойку в дом неподалеку от квартиры Пушкина, а еще позднее – в Москву.

В 1958 году в ДК имени Первой пятилетки я впервые услышал стихи молодой поэтессы Нонны Слепаковой. В конце октября 1959 года, вскоре после моего возвращения из экспедиции, мы случайно оказались с ней вместе в заваленном опавшими листьями пустовавшем Доме творчества писателей в Комарове, куда не в сезон давали льготные путевки молодым поэтам. Там же я познакомился с известным ленинградским литератором Кириллом Косцинским, которого примерно через год посадили, обвинив в антисоветской агитации. Нонне тогда только что исполнился двадцать один год. У нее были светлые коротко стриженные волосы и узкие зеленоватые глаза. Она, помнится, сильно переживала тогда какой-то свой неудачный роман, если не ошибаюсь, с неким Ефимом Славинским, из-за которого она, судя по ее собственным словам, пыталась покончить с собой. В то же время за ней усиленно ухаживал впоследствии безвременно погибший поэт Александр Морев, чуть ли не каждодневно наезжавший из Ленинграда. У нас неожиданно возник короткий, но бурный роман. Помню ее стихи, написанные тогда:

Вот видит Бог, как не хочу
При людях заливаться краской,
И снова к скользкому ключу
С тобой по очереди красться.
Чтобы вздыхало тяжело
В медалях осени Приморье,
Чтоб снова счастье подошло,
Короткое и не прямое.
Чтобы тебе вернуться вспять,
А мне на полустанках мокнуть,
Когда ты едешь целовать
Красивые литые локти
Своей жене, и по вихрам
Трепать ребенка полустрого,
Отдав меня сырым ветрам,
Отдав меня моим дорогам.
Я не хочу, да и нельзя,
Прийти к тебе, потрогать книги,
Из глаз твоих губами взять
Большие ягоды ресники,
Поверить твоему плечу,

Когда опять меня обидят.
Вот видит Бог, как не хочу, —
Но Бог, наверное, не видит.

Позже Нонна вышла замуж за искусствоведа и поэта Льва Мочалова. Ее стихи стали заметным явлением в ленинградской поэзии. Мы с ней в ту пору регулярно созванивались, и она часто читала мне по телефону свои новые стихи. Однажды она позвонила и стала читать новое стихотворение, начинавшееся строкой: «А жил ты где-то очень рядом». Там дальше была такая строфа:

А я сидела на скамейке,
Мальчишкам подставляла рот,
А дом твой знала только мельком, —
Там был трамвайный поворот.

«Стоп, – прервал я ее, – это не годится». – «Почему?» – удивленно спросила она. «А ты сама подумай, что ты написала». – «Городницкий, ты пошляк», – возмутилась она и бросила трубку. Через пару дней она снова позвонила мне и радостно сообщила: «Саня, ты был прав, я все переделала». – «Ну, читай, – сказал я, – все не надо, только эти строчки».

А я сидела на скамейке,
Мальчишек целовала в рот.

«Стоп, – снова остановил я ее, – это еще хуже». – «Ну, а теперь-то что?» – «А ты сама подумай». – «Городницкий, – закричала она, – ты сексуальный маньяк, ты патологический тип!» И снова бросила трубку. Больше она мне не звонила. А стихи потом были опубликованы в такой редакции:

А я сидела на скамейке
И целовалась у ворот,
А дом твой знала только мельком, —
Там был трамвайный поворот.

В конце 50-х Нонна начала писать песни и довольно успешно выступала с ними в Ленинградском доме писателей, аккомпанируя себе на гитаре. Песни эти отличались точностью

образной поэтической строки, глубокой неповторимой лирической интонацией. Помню такую ее песенку:

Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице темно, темно,
Свист милиции ночной, ночной,
Долетает к нам в окно, в окно.
Хорошо тебе со мной, со мной,
А на улице светло, светло,
А на улице пустой, пустой,
Дворник шаркает метлой, метлой.
А на улице пустой, пустой,
Час, наверное, шестой, шестой.
Как ты думаешь, любимый мой,
Не пора ли мне домой, домой?

Где-то в начале 60-х мы с Нонной решили «создать» нового поэта на манер Черубины де Габриак. Выбор пал на одну из ее подруг, очень красивую жгучую брюнетку Галю, учившуюся в Ленинградской консерватории по классу вокала. За два-три присеста мы с Нонной настряпали около десятка «ультралирических» стихов со строчками вроде: «Сколько в верности предательства, а в измене чистоты», и, снабдив Галю стихами, отправили ее в Дом имени Первой пятилетки к Глебу Семенову. Эффект, который она произвела на первом же занятии своей внешностью и стихами, особенно на мужскую часть объединения и прежде всего, на самого Глеба Сергеевича, был потрясающим. Мужчины наперебой прочили ей большое поэтическое будущее. Подборку стихов немедленно затребовал ленинградский молодежный журнал. К сожалению, артистических возможностей Гали хватило ненадолго, и она довольно быстро «раскололась», положив конец столь удачно начатой мистификации. Игра эта Нонне понравилась. Позднее она написала несколько стихотворений под именем своей подруги Галины Букаловой, в том числе известное стихотворение «Помяни поэта, дева», положенное на музыку Сергеем Никитиным.

Впоследствии Нонна Слепакова написала песни к спектаклю по Киплингу «Кошка, которая гуляет сама по себе», однако «своих» песен больше не пела.

Неповторимой особенностью поэтического таланта Слепаковой была склонность ее к иронии, граничащей с сарказмом, довольно успешно разработанной ею как литературный прием, использованный для ее озорных поэм. В этом она во многом предвосхитила нынешних постмодернистов.

Писала она не только стихи и песни, но и пьесы, прозу, в том числе автобиографический роман. Несколько лет руководила литературными объединениями и до последних дней была окружена молодежью, которая ее боготворила.

Характер у Нонны был непростой – мятежный и взрывчатый. Мы с ней нередко ссорились и даже на какое-то время расходились. По прошествии времени мы, однако, неизменно мирились.

На меня она написала немало весьма острых пародий. Пожалуй, удачнее всех оказалась ее полупричная пародия на моих «Атлантов»:

…Их тяжкий труд невесел —
Важней иных работ.
А вдруг однажды с чресел
И шкура упадет?
Кой-кто пустоголовый
Воскликнет: «О-ля-ля»,
И встанет гриб лиловый,
И кончит вся Земля.

На юбилейном вечере по поводу моего шестидесятилетия в 1993 году в Концертном зале у Финляндского вокзала она заявила: «Вот, считают, что Городницкому в жизни повезло, – его песни широко известны. А ведь на самом деле и ему не повезло, он – невостребованный серьезный поэт. И вообще, если бы собрали на эту сцену всех женщин, любивших Городницкого, она бы рухнула под их тяжестью».

Нонна Слепакова умерла от рака летом 1998 года на Петроградской стороне, где прожила всю свою жизнь. За несколько лет перед этим она перенесла тяжелый инсульт, но упорно продолжала работать и шутить. Большая последняя книга ее избранных стихов «Полоса отчуждения» вышла через три дня после ее смерти в Смоленске. Песни же, оставшиеся только в случайных записях, долгое время не были опубликованы. Мне с большим трудом удалось собрать ее плохие по качеству записи на бытовых магнитофонах и вместе с Наталией Аккуратовой и Львом Мочаловым выпустить диск с ее песнями. В последние годы благодаря поддержке Дмитрия Быкова и Александра Кушнера вышел трехтомник ее произведений и книга стихов.

Как мы ломились в открытые двери
В поисках слова!
Ссорились часто, друг другу не веря,

Ссорились снова.
Наших романов, случайных и многих,
Не сосчитаешь.
Знать не могли мы, что будет в итоге
Эта плита лишь.
Жизни недолгие сикось и накось
Шли бестолково.
Странно читать на плите эту надпись:
«Н. Слепакова».
Много ли зерен оставит потомкам
Сломанный колос.
Мне бы обратно вернуть этот тонкий
Яростный голос.
Слушать порой, как она матерится
После спиртного,
Ссориться с нею, и после мириться,
Ссориться снова.
Если бы вспять повернула природа
Землевращенье,
Я бы вторично вошел в эту воду,
Невозвращенец.
Чтобы за дальнею зыбкой границей
Века иного,
Ссориться с нею и после мириться,
Ссориться снова.

Интересно, что именно на рубеже 50–60-х годов, как раз в то время, когда в Москве появились песни Булата Окуджавы и Новеллы Матвеевой, ленинградские поэты тоже активно начали писать песни, хотя и недолго. Кроме песен Глеба Горбовского и Нонны Слепаковой широкой популярностью пользовались шуточные песенки Виктора Сосноры (их называли «фишки»). Неоднократно, собираясь в разного рода поэтических застольях, мы дружно распевали лихую песню Виктора:

Летел Литейный в сторону вокзала.
Я шел без денег и без башмаков,
И мне моя любимая сказала,
Что я окончусь между кабаков.
Пошел я круто – пока, пока,
Прямым маршрутом по кабакам.
Сижу и пиво желтое солю.
Официант, полбанки и салют!

Пытался придумывать песни и Леонид Агеев, но у него они почему-то не получались. Сочиняли песни и поэтесса Ирена Сергеева и брат Ефима Григорьевича Эткинда Марк, написавший в 60-е годы на мотив «Кирпичиков» песенку об израильско-египетском конфликте:

На Синайском том полуострове,
Где лежит государство Израйль,
Положение очень острое,
Потому что воинственный край.

Широкой популярностью в поэтических компаниях пользовалась в то время «блатная» песня:

Стою себе на Невском – держусь я за карман,
И вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан.
Он спрашивает тихо, куда б ему пойти,
Чтоб можно было лихо там время провести.

Как выяснилось после, песня эта была придумана вовсе не блатарями, а ссыльным литературоведом и переводчиком Ахиллом Григорьевичем Левинтоном, наиболее известная работа которого – «Генрих Гейне. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке» до сих пор не утратила своего научного значения.

Что касается песенных открытий того времени, то они связаны для меня в конце 50-х – начале 60-х годов с домом Руфи Александровны и Ильи Захаровича Серманов, живших тогда неподалеку от Нарвских ворот, а позднее эмигрировавших в Израиль. Илья Захарович тогда преподавал литературу и защитил докторскую по русской поэзии XVIII века. Руфь Александровна (ее девичья фамилия Зевина) была испанистом-переводчиком и писала рассказы под псевдонимом Зернова. Она успела в свое время принять участие в гражданской войне в Испании в 1935–1936 годах, получить там орден и потом отсидеть на Колыме. За Илью Захаровича она вышла замуж после освобождения. Сама Руня, как ее звали друзья, и ее дочь Ниночка, ставшая в те годы моим первым аккомпаниатором, прекрасно играли на гитаре и пели. Мне запомнилось одно из первых моих публичных выступлений в Ленинградском Дворце пионеров. После концерта рослая старшеклассница подошла к Ниночке и спросила: «А почему вы ему аккомпанируете? Вы что, лучше всех играете или вы ему кто?»

Именно в этом доме, где часто собирались ленинградские переводчики и писатели, я впервые услышал в исполнении Руни множество лагерных песен, вывезенных ею с Колымы. В их числе такие, например, как «Голубые снега», «Черные сухари», «По тундре, по широкой дороге» и многие другие. Песни эти потом я многократно слышал в тайге и тундре, в Туруханском крае и на Кольском, с разными текстовыми и интонационными вариантами в исполнении бывших и настоящих зэков. Но, пожалуй, именно Рунино исполнение до сих пор представляется мне наиболее точным.

Через Серманов мне довелось познакомиться в те годы со многими интересными людьми – от легендарного испанского матадора Луиса Мигеля Домингина до писателей и переводчиков Овадия Герцовича Савича, Фриды Абрамовны Вигдоровой и ее мужа Александра Борисовича Раскина, Норы Яковлевны Галь, только что переведшей любимого мною Экзюпери, и, наконец, безвременно умершей Натальи Григорьевны Долининой, замечательного педагога и литератора. Похоронена она на кладбище в Комарове, неподалеку от могилы Ахматовой, рядом со знаком памяти ее отца – крупнейшего специалиста по русской литературе XVIII века профессора Ленинградского государственного университета Григория Александровича Гуковского, арестованного в 1949 году в рамках «борьбы с космополитизмом» и умершего через год от сердечного приступа в возрасте всего сорока семи лет в московской тюрьме Лефортово.

Сейчас я думаю, почему именно «блатные» песни еще до появления стилизованных песен Высоцкого (написавшего их тоже, кстати, в духе времени) и «лагерных» песен Галича пользовались таким успехом в компаниях интеллигенции? Возможно, дело прежде всего в том, что страшная жизнь сталинских лагерей, откуда многие из них возвратились после хрущевской оттепели, подсознательное ощущение преступности всей авторитарной государственной системы, внутри которой существовали мы все, сближало нас с героями этих песен, тем более что в отличие от одесского «ядовского фольклора» начала 20-х годов речь в этих песнях шла, как правило, не об убийцах и налетчиках, а о заключенных. «Интеллигенция поет блатные песни», – метко подметил один из поэтов в то время.

Именно эти песни в те переломные годы в московских и ленинградских застольях были естественным продолжением «крамольных» разговоров и предтечами песен Галича, Высоцкого и Кима. Сейчас большинство этих песен забыто и, видимо, незаслуженно, поскольку они создавали точную доверительную обстановку общения. И еще одно. Примерно с середины 50-х и

далее, к 60-м, пение песен стало понемногу вытеснять чтение стихов, даже в поэтических компаниях. Так незаметно наступила пора «поющих 60-х».

Что же касается нас, тогдашних выпускников Горного института, то главным, навсегда объединившим нас, было то, что все мы с незначительной разницей в возрасте – от самых старших вроде меня и Британишского, до самых молодых – Битова или Кумпан, принадлежали к поколению недолгой хрущевской оттепели. Наше политическое и литературное самосознание стремительно совершенствовалось – начав еще в школе с соцреализма и «Краткого курса истории ВКП(б)», оно менялось по мере открытия Хемингуэя и Ремарка, Цветаевой и Мандельштама, первых документов о масштабах сталинских репрессий и песен заключенных.

Кроме того, что немаловажно, мы были молоды, полны неизрасходованной энергии, чувствовали себя нераздельной частью великого народа, победившего недавно фашизм в грозной войне, зацепившей наше детство. В нас еще устойчивы были иллюзии всеобщего братства и общности советских людей, не было еще армяно-азербайджанской резни на Кавказе, погромов в Оше, войны в Чечне, Абхазии и Южной Осетии. Смотря хлынувшие к нам через «железный занавес» западные фильмы, от Де Сантиса до Феллини, сравнивая себя с героями Хемингуэя и Ремарка, мы не считали тогда свое поколение потерянным, ибо еще верили в «комиссаров в пыльных шлемах». И были полны оптимизма.

Общение наше с Москвой в те годы было случайным и эпизодическим. Центром нашего мира неизменно был Питер. Поэтому мы не считали его «великим городом с областной судьбой». Напротив, он был нашей единственной столицей и началом отсчета в литературе, истории и жизни. И это несмотря на то, что именно Ленинград после разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», Ахматовой и Зощенко стал оплотом самой черной реакции в литературе. И все-таки именно тогда мы начали обретать собственный голос. Именно в это время начали вызревать в наших незрелых душах слабые ростки миропонимания, давшие всходы позднее. Замечательно, что ни позже, ни в наши дни почти никто из питомцев «Семеновского полка», и в первую очередь из «горняков», не стал приспособленцем и не писал «по указке». Несмотря на разную степень литературной одаренности, все остались людьми.

На материк

От злой тоски не матерись —
Сегодня ты без спирта пьян:
На материк, на материк
Идет последний караван.

Опять пурга, опять зима
Придет, метелями звеня.
Уйти в бега, сойти с ума
Теперь уж поздно для меня.

Здесь невеселые дела,
Здесь дышат горы горячо,
А память давняя легла
Зеленой тушью на плечо.

Я до весны, до корабля
Не доживу когда-нибудь.
Не пухом будет мне земля,
А камнем ляжет мне на грудь.

От злой тоски не матерись —
Сегодня ты без спирта пьян:
На материк, на материк
Ушел последний караван.

По случаю окончания Горного состоялся шумный выпускной банкет в снятой для этого столовой Свердловского райкома на Большом проспекте Васильевского острова. «Научный доклад в связи с защитой диплома» за столом делал староста одной из групп Олег Горбунов. «Поскольку оказалось, – вещал Олег, – что в Технологическом институте во время выпускного банкета был убит преподаватель, в качестве эксперимента решено пригласить сюда и преподавателей». Затем шло «геологическое» описание обеих наших групп. «Группа РФ-51—1, – продолжал Горбунов, – представляет собой плотную серую массу с редкой вкрапленностью долбежников. Группа РФ-51—2 характеризуется ярко окрашенными вторичными образованиями, именуемыми женским полом. Группы несогласно перекрываются одна другой, о чем свидетельствует большое количество заключенных браков». Действительно, на последних курсах многие, в том числе и я,

успели жениться на своих однокурсницах, что привело впоследствии к многочисленным разводам.

Вечер был шумный. Все предвещали друг другу великое будущее и большие открытия. Предстояло всеобщее расставание. В заказанной мне «оде», написанной в подражание великому образцу, были такие строчки:

Какие б ни качали нас глубины,
Куда бы новый ни увел маршрут,
Все те же мы – нам целый мир чужбина,
Отечество нам – Горный институт.

Мне было торжественно присвоено звание «горного инженера-геофизика» и вручены диплом с отличием, не дававший, однако, никаких реальных преимуществ, а также большой бронзовый овальный институтский знак, напоминающий дворницкую бляху. Распределили меня в Караганду, в «Степную» экспедицию Первого главка. Названия этих экспедиций «Степная», «Лесная» и другие, как понял я уже в недавние годы, подозрительно напоминали недобро известные названия «Степлаг», «Леслаг» и им подобные. Впрочем, ничего удивительного в этом не было – ведомство практически одно и то же.

На мое счастье, в Караганде не оказалось ни жилья для молодых специалистов, ни особой потребности в них, и я, получив свободный диплом и вернувшись в Питер, попал на работу в Научно-исследовательский институт геологии Арктики, располагавшийся на моей родной Мойке, неподалеку от бывшей школы, в районе все той же Новой Голландии. Меня взяли туда инженером-геофизиком по попутным поискам урана, которые в те годы, согласно строгому приказу министра геологии, велись во всех экспедициях при любой геологической съемке. Затем этот идиотский приказ отменили.

НИИГА, как сокращенно именовался институт, представлял собой в то время довольно своеобразную организацию, сравнительно недавно переведенную в Министерство геологии из системы Главсевморпути. Поэтому многие, особенно старые сотрудники, еще щеголяли в морской форме и в фуражках с голубым полярным флажком, тем более что экспедиции института работали по всей Арктике – на побережье от Мурманска до Певека и на островах Ледовитого океана. Директором института в те годы был Борис Васильевич Ткаченко, человек органической порядочности и доброты, немало способствовавший созданию и сохранению в институте здорового

психологического климата.

Его заместителем по науке был профессор Михаил Григорьевич Равич, человек со сложным характером, но одаренный и знающий геолог, немало времени и сил отдавший изучению Арктики и Антарктики и получивший в 70-е годы Государственную премию. Скончался он от неожиданного инфаркта в постели у любовницы в Вильнюсе, куда в последние годы зачастил читать лекции. На его похоронах новый директор Игорь Сергеевич Грамберг сказал: «Михаил Григорьевич умер как настоящий мужчина».

Порывистость и горячность Равича иногда приводили к курьезным ситуациям. Как-то в конце 50-х, приехав с инспекцией в нашу съемочную партию на Таймыр, он заприметил молодого смышленого паренька из зэков – Алеху, кашеварившего в нашем отряде. Голубые любознательные глаза и преданный серьезный вид Алехи приглянулись Равичу, и он решил привить пареньку любовь к геологии. Неделю подряд он, не жалея своего драгоценного профессорского времени, таскал Алеху в маршруты, терпеливо объясняя значение мудреных геологических терминов, обучая парня обращаться с компасом и картой, отбирать геологические образцы и на глаз «мордально» определять виды горных пород.

Ученик ему попался благодарный – он преданно смотрел в глаза своему наставнику и буквально впитывал знания. Уже на второй день специальным приказом по партии любознательный повар был переведен в техники с существенным повышением оклада. Сам Михаил Григорьевич, неоднократно ставя любознательность Алехи в пример всем другим геологам, с нетерпением ждал момента, когда тот начнет задавать вопросы. Наконец закончив, как он считал, первый курс введения в геологию и надиктовав своему прилежному ученику полтетради, Равич благосклонно произнес: «Ну, Алексей, спрашивай». И блаженно сощурился в предвкушении вопросов. «Михаил Григорьевич, – робко спросил Алеха, не отрывая от учителя своих преданных, все понимающих глаз, – что такое внематочная беременность?» На следующее утро он снова варил кашу.

Помню, как несколько лет спустя, выступая на ученом совете НИИГА с лекцией о своем участии в Антарктической экспедиции, Михаил Григорьевич рассказывал, как его из-за курчавых волос не хотели в Кейптауне пускать в бар для белых. «Тогда я достал советский паспорт, – сказал Равич, – и говорю: «Ай эм рашен». В уважительной тишине присутствовавших раздался ядовитый шепот одного из старейших геологов В.М. Лазуркина: «И тут соврал!»

Ученый совет в конце 1950-х годов состоял в основном из старых полярников, в число которых входили такие известные геологи, как Николай Николаевич Урванцев, в 1921 году открывший Норильское медно-никелевое месторождение и затем сидевший в лагере с конца 30-х до начала 50-х, доктора наук Атласов, Сакс, Марков – да и не только они. Среди молодежи господствовал стереотип поведения «старых полярников». Один, например, по фамилии Вакар, даже в Ленинграде ездил на работу летом на байдарке, лихо причаливая у самого подъезда института. Он, помнится, был также неистощимым изобретателем разного рода самодельного арктического снаряжения, именовавшегося по его имени «вакар-рубаха», «вакар-палатка» и так далее.

Однако главным достоинством истинного и заслуженного «северянина» считалась способность к выпивке. Так, старый полярник Емельянцев, например, записался как-то на теплоходную экскурсию на Ладогу, в течение которой пил, не выходя из каюты, а на вопрос – зачем поехал, ответил: «А на воздухе больше входит». Вспоминаю, как в первый год работы в институте, когда я поутру шел в свою комнату № 69 по коридору первого этажа, меня, чаще всего по понедельникам, останавливал весьма, как потом выяснилось, талантливый, но сильно в ту пору пьющий геолог Владимир Александрович Черепанов, который обычно стрелял у меня трешки на опохмелку. Появляясь, вяленый и бледный, как привидение, из-за шкафа с образцами и дохнув на меня страшнейшим перегаром, он доверительно шептал: «Мне сейчас, чтобы умереть, достаточно подпрыгнуть». Я тут же испуганно протягивал ему трешку.

Поначалу я попал в Енисейскую экспедицию, где в мои обязанности входило руководить попутными поисками урана при геологической съемке в правобережье низовьев Енисея, в районе Игарки и Норильска. Так летом 57-го года я впервые оказался на Крайнем Севере, с которым связан был потом более семнадцати лет. До сих пор помню чувство ни с чем не сравнимой гордости, когда я притащил домой выданное мне на институтском складе «полярное обмундирование», состоявшее из старой «восстановленной» цигейковой куртки, двух пар сапог – кирзовых и резиновых, – плащ-палатки и спального мешка. Предметом особой гордости был также настоящий кавалерийский карабин с двумя обоймами патронов. Дело в том, что по существовавшей тогда инструкции секретные материалы, а в число их входили все стотысячные карты, с которыми работали геологи при съемке в енисейской тайге, полагалось выдавать в Первом отделе института только вместе с оружием «для их охраны».

Устав от маршрута земного,
Во мраке вечерних минут,
Тебя вспоминаю я снова,
Арктический мой институт.
Еще не желая сдаваться,
Припомню, хотя и с трудом,
Тот старый на Мойке, сто двадцать
Покрашенный охрою дом.
Мы были задорные парни,
И каждый – судьбою любим.
Дышать не давал накомарник,
Плечо натирал карабин.
Веселой толпой оборванцев
Мы шли по течению рек.
Был с нами профессор Урванцев,
Седой и заслуженный зэк.
А если тонули и если
Другой обретали мы кров,
Нам пел погребальные песни
Пронзительный хор комаров.
Не сгинул в воде и не спился,
Тот опыт ловя налету,
Но вкус разведенного спирта
Доныне остался во рту.
И снова ревут перекаты,
Где лодку мотает поток,
Опять пробираюсь куда-то,
Сжимая в руке молоток,
О будущем не беспокоясь,
В том давнем счастливом году,
Когда убеждал меня компас,
Что верной дорогой иду.

Путь мой в первую полярную экспедицию оказался тернистым – я был послан «старшим» с группой сезонных рабочих, набранных в близлежащем к институту районе Покровки в основном из злостных алиментщиков, бичей и алкашей. Шесть дней мы ехали с ними плацкартным вагоном от Ленинграда до Красноярска, затем дней десять ждали парохода и еще примерно неделю плыли по Енисею до Игарки. Все это путешествие запомнилось мне как чудовищная непрерывная пьянка. Я, хотя и числился старшим, в силу своей неопытности и беспомощности, был совершенно не в силах с ней бороться, и она закончилась

сама собой, когда были наконец пропиты все деньги. Забавная история на пароходе произошла с двумя нашими молодыми геологами, которые познакомились с роскошной блондинкой, следовавшей в Дудинку к своему мужу в одноместной каюте люкс. Они на все свои последние деньги накупили коньяка и отправились к ней в каюту в надежде напоить ее. Где-то часа через два она брезгливо вытащила их бесчувственные тела из своей каюты со словами: «Ну и народ пошел – выпить толком не с кем. Пойду одна допивать». До сих пор помню, однако, суровую красоту енисейских берегов, которые мне довелось тогда увидеть впервые.

Вид тогдашней Игарки тоже поразил меня – она в те поры была построена целиком из дерева. Здесь был большой лесной порт и лесобиржа. Лес сюда сплавлялся по Енисею и обрабатывался, а потом продавался прямо на иностранные пароходы, заходившие в устье Енисея. Это несоответствие нищих деревянных барачных построек, праздничного пылания белого ночного июльского неба, отражавшегося в енисейской воде, и казавшихся непривычными здесь пароходов с итальянскими и греческими флагами поражало воображение, напоминало о Джеке Лондоне и Киплинге. Здесь все было из дерева – не только дома, но и мостовые, более похожие на огромные настланные полы. Именно это заставило меня в 1959 году написать песню об Игарке «Деревянные города»:

Укрыта льдом зеленая вода,
Летят на юг, перекликаясь, птицы.
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.

Над крышами картофельный дымок,
Висят на окнах синие метели.
Здесь для меня дрова, нарубленные впрок,
Здесь для меня постелены постели.

Шумят кругом дремучие леса,
И стали мне докучливы и странны
Моих товарищей нездешних голоса,
Их городов асфальтовые страны.

В тех странах в октябре – еще весна,
Плывет цветов замысловатый запах,
Но мне ни разу не привидится во снах
Туманный запад, неверный дальний запад.

Никто меня не вспоминает там,
Моей вдове совсем другое снится…
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы.

База нашей экспедиции располагалась на самом краю города, по южную сторону лесобиржи, вытянувшейся вдоль правого берега Енисея и окруженной высоким глухим забором со сторожевыми вышками. Там круглосуточно сновали высокие штабелепогрузчики, напоминающие марсианские треножники из Уэллса, перевозя пакеты досок от лесопильного комбината к причалам. Прямо за почерневшим от ветров и мороза и покосившимся на мерзлоте двухэтажным бревенчатым домом нашей экспедиции, недалеко от которого делал кольцо старенький игарский городской автобус, начиналась тундра. Перед окнами, на пологом берегу енисейской протоки, за которой день и ночь взревывали самолеты на аэродроме, догнивали брошенные здесь рыболовные сейнеры и какая-то старая, но, видно, ладно сколоченная норвежская зверобойная (как мне объяснили) шхуна с остатками латинских букв на покосившейся высокой рубке.

На летнее время, с началом навигации, по Енисею в Игарку завозили обычно несколько десятков тысяч вербованных мужчин и женщин для работы на лесосплаве, сортировке и погрузке леса. На все это время объявлялся сухой закон. До сих пор помню, как, придя в игарский военторг за одеколоном, я спросил, нет ли у них «Шипра». «Шипра» нет, – есть только «Кармен», – ответила продавщица. «Бери – не сомневайся, – толкнул меня локтем случившийся у прилавка работяга, – «Кармен» вкуснее».

Единственным местом, где продавали спиртное, недоступным, правда, для местных жителей, был клуб иностранных моряков, куда иностранные моряки, как правило, не ходили, и поэтому в нескольких «гостиных» клуба, за столами, заваленными агитационной литературой на английском языке, скучали подвыпившие гэбэшники. Центром клуба были бар, где «наливали все», и танцевальный зал, где плясали местные комсомольские активистки, «допущенные к иностранцам», и несколько проверенных органами профессионалок. Напротив интерклуба высилась высокая, надежно сложенная из отборных строевых бревен игарская тюрьма, также обнесенная высоким забором, построенная в конце 30-х – начале 40-х и служившая долгие годы местом пересылки.

В тюрьме этой оказалась довольно неплохая библиотека художественной литературы, сложившаяся из книг, отобранных у заключенных при шмонах. Помню, когда мы работали на реке Колю, то взяли во временное пользование в тюремной библиотеке целый вьючный ящик с книгами. Среди этих книг оказался, в частности, первый том из так и не изданного двухтомника Эдуарда Багрицкого, который был тогда моим любимым поэтом. В углу титульного листа книги сохранилась надпись: «Зелик Штейнман». Зная, что известный ленинградский критик Зелик Штейнман вернулся из лагерей в Ленинград, я зажилил эту книгу и привез ее в Питер. Придя на встречу с ним, чтобы вернуть книгу, я с горечью и сожалением услышал его страстную речь о том, что сажали правильно, что Сталин был гений, и тому подобное.

Уже позднее, в 1962 году, мне довелось быть свидетелем страшного пожара в Игарке, когда неизвестно от каких причин (говорили, что поджог) вдруг вспыхнула лесобиржа, а потом огонь перекинулся на город. Жаркий июль и небольшой ветер привели к тому, что буквально за несколько часов сгорело более половины города. Температура пламени была настолько высокой, что его не брала вода, моментально превращавшаяся в пар, и огонь потом гасили уже с вертолета, бросая специальные химические бомбы. Помню, как из обреченного огню интерклуба, под строгой охраной автоматчиков, вытаскивали ящики с коньяком и водкой и давили их трактором прямо на глазах у горюющих мужиков. Только тюрьму удалось отстоять от огня. Выстроившиеся цепочками с ведрами в руках зэки так упорно защищали свой «казенный дом», что огонь отступил. Более всего меня поразило, что никто даже не пытался бежать. Когда сейчас я слышу выкрики на коммунистических митингах о возвращении к старому строю и вижу, как много голосов, особенно в нищей и темной нашей глубинке, подается за коммунистов на выборах, мне постоянно вспоминается эта картина.

Я помню ясно: в шестьдесят втором
Горела деревянная Игарка.
Пакеты досок вспыхивали жарко —
Сухой июль не кончился добром.
Пылали порт, и город, и больница,
Валюта погибала на корню,
И было никому не подступиться
К лохматому и рыжему огню.
И, отданы милиции на откуп,
У интерклуба, около реки,

Давили трактора коньяк и водку,
И смахивали слезы мужики.
В огне кипело что-то и взрывалось,
Как карточные, рушились дома,
И лишь одна огню не поддавалась
Большая пересыльная тюрьма.
Горели рядом таможня и почта,
И только зэки медленно, с трудом,
Передавая ведра по цепочке,
Казенный свой отстаивали дом.
Как ни старалась золотая рота,
На полминуты пошатнулась власть.
Обугленные рухнули ворота,
Сторожевая вышка занялась.
И с вышки вниз спустившийся охранник,
Распространяя перегар и мат,
Рукав пожарный поправлял на кране,
Беспечно отложивши автомат.
За рухнувшей стеною лес и поле —
Шагни туда и растворись в дыму!
Но в этот миг решительный на волю
Бежать не захотелось никому.
Куда бежать? И этот лес зеленый,
И Енисей, мерцавший вдалеке,
Им виделись одной огромной зоной,
Граница у которой на замке.
Ревел огонь, перемещаясь ближе,
Пылали балки, яростно треща.
Дотла сгорели горсовет и биржа, —
Тюрьму же отстояли – сообща.
Когда я с оппонентами моими
Спор завожу о будущих веках,
Я вижу тундру в сумеречном дыме
И заключенных с ведрами в руках.

Что же касается интерклуба, то уже с первого года шустрые ленинградцы проторили туда дорогу, раздобыв какие-то липовые бумажки. Поэтому путешествие в интерклуб с его баром и нехитрыми танцевальными знакомствами, так же, как баня и кино, были мощным стимулом для экспедиционной молодежи, прозябавшей под комарами в тайге и тундре, хоть ненадолго выбраться «погулять» в Игарку. Забегая вперед, могу сказать, что, кроме интерклуба, танцы иногда организовывались в клубе

лесопильного комбината, доступного для всех. Поскольку мужское население Игарки значительно превышало по численности женское, то в клубе этом нередко вспыхивали драки.

Досталось там пару раз и нам, в 58-м году, когда местные парни, обиженные на своих подруг, явно отдававших предпочтение «питерским», решили сквитаться, легко определив нас по однотипным летным меховым курткам. Малочисленные экспедиционники вынуждены были организованно отступить, и мне бы уйти с ними! Но девушка, с которой я танцевал, шепнула: «Еще один танец, и уйдем вместе». Как только я получил в гардеробе свою куртку, моментально опознавшие врага и обрадованные легкой добычей аборигены тут же сбили меня с ног и начали избивать ногами. Первыми же ударами мне разбили нос и лоб, так что кровь залила глаза. «Абзац», – подумал я уныло, не успев толком испугаться. Поднявшись на четвереньки из последних сил, я каким-то звериным чутьем угадал, где выходная дверь. И с «низкого старта», ударив головой в живот загородившего выход парня, вывалился через выход на высокое деревянное крыльцо и засквозил вниз, бороздя окровавленным лицом по обледенелым ступеням. Никто из противников вслед за мной на мороз выскакивать не стал. Я вытер, как мог, разбитое лицо снегом и попытался встать на ноги, но от боли в правом подреберье тут же упал опять на четвереньки. Дама моя, конечно же, меня бросила. Предмет моей гордости, выданная мне недавно новая летная куртка, которая так меня подвела, была испачкана кровью и грязью, меховая шапка осталась в клубе победителям в качестве трофея. С трудом поднявшись на ноги, охая от боли и безуспешно стараясь унять кровь, обильно лившуюся из носа, я поплелся по скользкой и накатанной заснеженной деревянной мостовой, идущей под гору.

И тут я заметил, что навстречу мне, снизу вверх, так же, как я, скользя, падая и снова поднимаясь, движется человек в такой же куртке, громко выкрикивая бранные слова. Когда мы сблизились, я узнал в нем Олега Тарутина, хотя опознать его (видимо, так же, как и меня) было нелегко – часть его русой бороды была вырвана, под глазом чернел огромный фонарь. Выяснилось, что после первого столкновения, в котором Олегу тоже досталось, враждующие стороны договорились о прекращении драки при условии, что «наши» уйдут. Они действительно ушли, и уже на базе, где мои потерпевшие поражение земляки утешали себя разведенным спиртом, Олег вдруг вспомнил, что я вроде тоже был в клубе. Поскольку никто возвращаться туда за мной не захотел, он героически отправился выручать меня один. Читателям будет нетрудно представить

живописный вид двух избитых и грязных питерских поэтов, обнявших друг друга на морозной игарской улице, где «мостовые скрипят, как половицы».

Начало работы на Крайнем Севере ознаменовалось для меня первым общением с авиацией… Перед путешествием в Игарку мне ни разу не довелось ни на чем летать, поэтому первый мой в жизни воздушный полет состоялся в июне 1957 года, когда нас перевозили на биплане Ан-2, который летчики ласково называли «Аннушкой», на базу партии на реке Горбиачин.

Помню, когда в игарском аэропорту Полярный, расположенном на острове посреди Енисея, самолет оторвался от земли и накренился на правое крыло, делая разворот и мне больно придавили ногу поехавшие по металлическому полу вьючные ящики и какие-то седла, а в маленьком круглом иллюминаторе стремительно понеслись подо мной бревенчатые дома, штабели леса, вспыхнувшая ослепительным солнцем серая енисейская протока с дымящими посреди нее пароходами и, наконец, зеленые полосы тайги вперемешку с зеркальными осколками болот, я испытал острое чувство настоящего счастья и обретения своего главного места в жизни. Мне казалось – сбылась моя главная мальчишеская мечта о превращении в «настоящего мужчину», обживающего тайгу и обряженного в штормовку и резиновые сапоги с длинными голенищами. До этого, однако, было еще далековато.

«Тебя когда-нибудь в самолете укачивало?» – спросил меня второй пилот, вылезший из пилотской кабины, недоверчиво приглядываясь к моей физиономии. «Никогда!» – уверенно ответил я, тем более что это была чистейшая правда – меня действительно до этого ни разу не укачивало на самолете, поскольку я летел на нем впервые. «Молодец, – одобрительно хлопнул меня пилот по плечу, – а то нам тут еще «на сброс» надо залететь». «На сброс» – так называется доставка по воздуху груза в те места в тайге, где приземлиться самолет не может, поэтому все необходимое просто бросается в открытый люк с небольшой высоты на вираже, так, чтобы не разбилось и не потерялось. Мы в тот раз, как помню, доставляли «на сброс» овес для лошадей. Чтобы овес не рассыпался из лопнувшего мешка, в каждый мешок овес насыпали только наполовину, а потом завязывали его еще в один мешок. Кроме овса, бросали почту, палатки и спирт, налитый по этому случаю в резиновые грелки. Для каждого прицельного броска надо было делать по нескольку заходов. Потом бортмеханик швырял в распахнутый люк очередной мешок, машина вздрагивала, круто поднималась вверх и, опрокидываясь на крыло, стремительно шла на следующий заход.

До сих пор не помню, как мне удалось выжить в этой мучительной и непривычной для меня ситуации. Когда самолет наконец приземлился, я с трудом выполз из него и лег под крыло. «А говоришь, не укачивало», – неодобрительно покачал головой второй пилот.

Несмотря на неудачный первый опыт, к самолетам всех марок и к вертолетам я привык довольно быстро и укачиваться перестал. В те годы геологов на Крайнем Севере возили летчики Полярной авиации, независимого в ту пору ведомства, на котором еще лежал отсвет громкой славы покорения полюса и арктических перелетов Громова, Чкалова и Водопьянова. Для работы в Полярной авиации тогда действительно требовались высокая профессиональная подготовка, смелость и знание Севера. Почти все командиры машин, летавшие с нами, имели «право первой посадки» в незнакомом месте, были настоящими полярными асами и, уж конечно, личностями. В конце 50-х – начале 60-х годов мне немало пришлось летать с летчиками Полярной авиации и в Туруханском крае, и в районе Норильска, и в Амдерме, и в Косистом, и, наконец, на станцию «Северный полюс», при этом трижды с вынужденными посадками, и я всегда удивлялся их постоянному самообладанию и спокойному юмору даже в самых критических ситуациях.

Реальность таких критических ситуаций я вполне ощутил уже в 58-м году, когда на несколько дней, теперь уже не помню зачем, прилетел из тайги на базу в Игарку, и мне надо было отправляться назад, на реку Горбиачин, где работала наша партия. Меня, как договорились, должна была попутно забросить «Аннушка», летевшая потом дальше с грузом для оленеводов. Переправившись утром в аэропорт через енисейскую протоку, я разыскал командира машины и спросил, когда полетим. «Да часа через два – не раньше, – ответил он. – Еще пообедать успеешь». Успокоенный его ответом, я и впрямь пошел обедать в аэродромную столовую. Не успел я покончить с первым, как услышал за окном гул прогреваемого мотора. Схватив рюкзак, я выскочил наружу и увидел, как «мой» самолет выруливает на взлетную полосу. Я кинулся наперерез ему, размахивая руками. Увидев меня, командир засмеялся и через прозрачный колпак кабины показал мне дулю. Меня обдало песком и мелкими камушками, взвихрившимися от работы винта, и «Аннушка» взлетела. Обиженный и раздосадованный, я поплелся обратно, собираясь все высказать коварному командиру, когда самолет вернется. Выяснилось, однако, уже в диспетчерской, что командир ни при чем. Ему поменяли полетное задание в связи со срочным санрейсом, и дожидаться меня он не стал.

Примерно часа через два самолет должен был возвратиться. Однако он не вернулся ни через два часа, ни к вечеру. Все попытки вызвать его по радио были безрезультатны. Разбитый самолет с погибшим экипажем нашли только на третий день. У них, видимо, что-то случилось с рулем высоты. Все трое – оба пилота и бортмеханик – вцепились в штурвал, напрасно пытаясь выправить машину.

К 58-му году относится также мое первое знакомство с вертолетами, доставлявшими нас туда, где «Аннушка» сесть не могла. Надо прямо сказать, что полеты на них особого удовольствия не доставляли. Этому немало способствовало то, что в первый же год, почти на наших глазах, прямо в игарском аэропорту, разбился вертолет, у которого при взлете отломался винт. Сами летчики, чаще всего пересаженные на вертолет с самолета за какие-нибудь провинности, свои новые аппараты тоже недолюбливали. «На вертолете летать – все равно что тигрицу трахать, – говаривали они, – и опасно, и удовольствия мало». – «Мы на вертолетах людей не возим, – сказал мне как-то один из вертолетчиков, – возим только грузы и геологов».

С героической и бесшабашной вольницей полярных летчиков связано немало легенд и баек, ставших предметом настоящего северного эпоса, где правда неотличима от вымысла. Один из знаменитых полярных летчиков-героев конца 30-х годов, генерал Илья Павлович Мазурук, как-то рассказывал при мне такую историю. На исходе 41-го года, в самое тяжелое время, когда немцы были уже под Москвой, Московская группа особого назначения Полярной авиации (МОГОН) получила срочное и ответственное задание. Надо было перегнать из Аляски в Москву новую партию американских боевых самолетов для пополнения наших повыбитых ВВС. В состав группы особого назначения входили наши самые прославленные полярные летчики – Герои Советского Союза Водопьянов, Черевичный, Мазурук и другие, хорошо знавшие сложную полярную трассу. С трудом преодолев ураганные ветры и снежные заряды, к 31 декабря они добрались до Амдермы. До Москвы оставалось совсем немного. И тут, как назло, занепогодило. Внезапный циклон принес беспросветную пургу. Стало ясно, что до родной Москвы уже не добраться и Новый год придется встречать здесь. Это никого не радовало, помимо всего прочего, еще и потому, что все запасы спирта полностью вышли, так как все надеялись к Новому году вернуться домой.

Далее Мазурук описывает такую невеселую картину. За длинным праздничным столом летной столовой сидят, позванивая орденами, унылые героические полярные летчики. На

столе – множество самой разнообразной закуски – от соленой кеты до нежной американской тушенки, и при этом полное отсутствие хотя бы одной бутылки. Часы показывают одиннадцать вечера, а за столом царит мрачная тишина. Вдруг распахивается наружная дверь, и вместе с клубами снежного пара в помещение входит старый аэродромный механик дядя Вася, держа в руках большую трехлитровую бутыль с непонятной жидкостью красного цвета. «Дорогие наши сталинские соколы, – говорит дядя Вася нетвердым уже голосом, – не извольте погнушаться. Сам не знаю, что это такое – у себя в ремонтном балочке нашел». Таинственную красную жидкость тут же стали испытывать на запах. По запаху – вроде «она». Но ведь красная. Если бы зеленая или хотя бы синяя, как денатурат! Ведь известно, что красный цвет специально добавляют во все яды, чтобы их кто-нибудь сдуру не глотнул.

Пробовать жидкость никто не решался. Стрелки часов к этому моменту показывали уже половину двенадцатого. «Уважаемые герои, – снова заявил дядя Вася, – жизни ваши нужны товарищу Сталину и всей нашей стране для войны с фашистами. А я человек старый, одинокий, никому особенно не нужный. Разрешите за вас смерть принять!» С этими словами он налил себе полстакана зловещего красного зелья. Кое-кто фальшивым голосом стал было его отговаривать, но большинство трусливо промолчало, и дядя Вася со словами «За Родину, за Сталина» лихо опрокинул стакан. В напряженном ожидании прошло минут двадцать. Дядя Вася сидел за столом в полном здравии и наливал себе еще. Наконец – без десяти двенадцать – летчики не выдержали. Все налили себе и под далекий бой кремлевских курантов, прорывавшийся сквозь треск ночного эфира, выпили за Новый год и за победу. Оживление и веселый разговор, вспыхнувшие враз за столом, отвлекли общее внимание от дяди Васи. Вспомнили о нем только через полчаса, когда заметили, что за столом его нет. Обнаружили его под столом. Дядя Вася лежал на полу, хрипел и дергал ногами.

«И тут мы все как были, в одних гимнастерках, выскочили из-за стола и дернули стометровку в наш медпункт, в соседнюю избу, к нашему врачу. Нам, конечно, сразу же – рвотное и промывание желудка, потом опять то же самое, и так часа два. И вот лежим мы все трясущиеся и голые, а гимнастерки наши с орденами и золотыми звездами валяются на лавках. И вдруг вспомнил кто-то: а дядю Васю-то, старика, забыли! С трудом напялив обмундирование, поплелись назад, открыли дверь в столовую и увидели странную картину. За пустым столом сидит живой и здоровый дядя Вася, наливая себе очередной стакан». «А,

голубчики, явились, – язвительно заметил он, допивая таинственную жидкость. – Будете над стариком издеваться? Да вы не сумлевайтесь – спирт чистейший. Просто я в него для понту пачку красного стрептоцида опустил…»

Мой безвременно ушедший из жизни друг – автор песен и журналист Юрий Визбор, прилетавший в конце 50-х годов с каким-то журналистским заданием в район Тикси, тоже попал там как-то на сброс сена. «Для кого сбрасываете?» – поинтересовался Визбор, и словоохотливый бортмеханик популярно объяснил ему, что сено сбрасывают для мамонта. «Вы что, неужели не знаете? – изумился механик недоумению журналиста. – Ведь во всех газетах писали. В устье Лены недавно мамонтенка разморозили, Диму, и оживили. Теперь его в Москву надо переправлять, а в самолет он не помещается. Решили пустить его своим ходом. Вот мы по пути следования ему сено и бросаем». На самом деле, как потом оказалось, сено сбрасывали для лошадей в геологическую экспедицию.

Подобная привычка к веселой и дерзкой мистификации всегда подкупала меня в этих бескорыстных и смелых людях с психологией озорных мальчишек. Мне рассказывали о забавном случае, произошедшем в Антарктиде на станции «Восток». Прилетевший туда полярный экипаж закрепил по-штормовому машину и по случаю усилившейся пурги пошел выпивать. Когда все сидевшие за столом уже клевали носами, с центральной базы в Мирном пришла срочная радиограмма. Необходимо было сообщить в Москву на радио, проводятся ли в Антарктиде какие-нибудь спортивные соревнования. «Как же, проводятся, – сообщил в Мирный еще державшийся на ногах радист, глядя на уснувших летчиков и бодрствующего со стаканом в руке синоптика. – Эстафета четыре по сто… С прицепом». – «А кто победил?» – запросили из Мирного. «Наука. На втором месте – летчики», – сообщил в эфир радист и отключился. На следующий день московское радио передало в спортивных новостях: «Несмотря на трудные условия антарктической зимовки, советские полярники не теряют бодрости духа и регулярно проводят спортивные соревнования. Как нам только что сообщили по радио, на станции «Восток» вчера состоялись легкоатлетические соревнования – эстафета четыре по сто метров, с прицепом в виде саней. Первое место заняла команда синоптиков, на втором месте – летный состав».

Вспоминается в связи с этим еще одна история, случившаяся в 64-м году, когда я участвовал в полярной экспедиции в Северном Ледовитом океане. Работа наша заключалась в проведении магнитных и гравиметрических измерений на льду

моря Лаптевых. Самолет Ан-2 садился на льдину, из него выскакивали геофизики и проводили наблюдения, после чего самолет перелетал на следующую точку. Поскольку до берегового аэродрома лететь было далеко, то с целью экономии горючего и времени для ночевки выбиралась льдина понадежнее. Самолет ставился «на колодки», чтобы его не сорвало ветром, неподалеку от него воздвигалась утепленная палатка, и люди устраивались спать. В очередной раз, когда экипаж выбрал льдину и мы сели, пришла радиограмма из Косистого, что назавтра ожидается нелетная погода. По такому случаю экипаж наш решил «расслабиться». Притащив бачок с антиобледенителем и несколько банок тушенки, они изрядно загуляли. Часа через два весь летный состав – оба пилота и механик, исключая, пожалуй, радиста, – полностью отключился, уронив свои мужественные лица на шаткую поверхность складного стола. И в этот момент нас неожиданно вызвали с базы и дали команду срочно вылетать на материк, поскольку получено штормовое предупреждение и льдину может сломать.

Что делать? Слегка протрезвевший от чрезвычайной ситуации радист попытался растолкать сначала первого пилота, потом второго, но все его усилия были напрасны – оба они лыка не вязали. Только механик, которому долго терли лицо снегом, понемногу начал приходить в себя. Вместе с радистом они снова попытались оживить командира, но и второй заход успеха не имел. Тогда радист решился на крайнюю меру – он налил полный стакан спирта и с помощью механика с трудом влил этот спирт в командирский рот. «Что ты делаешь?» – испуганно закричал я. «Подожди, – ответил радист, – я его знаю, он сейчас очнется». Действительно, к моему немалому удивлению, минут через пять командир начал подавать признаки жизни. «Помогайте», – скомандовал нам радист. Мы подхватили командирское тело и, преодолевая усилившуюся вьюгу, поволокли его к самолету. С большим трудом мы упихали его в левое кресло и положили его негнущиеся пальцы на рукоятки штурвала. Вторая бригада тем временем срочно грузила в самолет наши пожитки и снимала растяжки и колодки, на которых была закреплена машина. Место второго пилота, лежавшего в грузовом отсеке, занял радист.

Самое поразительное, что, почувствовав под руками штурвал, командир мгновенно «включился» и, совершенно трезвым голосом отдав проверочные команды, врубил двигатель и взлетел, после чего немедленно уснул снова. «Ничего, – успокоил меня радист, – курс я знаю и до аэродрома машину доведу. Вот только для посадки снова придется его будить». Через час с небольшим полета мы добрались до Косистого. Перед посадкой

была повторена операция со спиртом, после чего первый пилот снова ожил. Несмотря на мой ужас и полную уверенность, что нам пришел конец, посадка была безукоризненной. Совершив посадку, однако, командир отключился уже окончательно, и из кабины его пришлось вытаскивать.

Под впечатлением от общения с полярными летчиками в 1959 году, во время весновки в Туруханском крае, на реке Колю, о которой речь пойдет ниже, я написал песенку, им посвященную:

Кожаные куртки, брошенные в угол,
Тряпкой занавешенное низкое окно.
Бродит за ангарами северная вьюга,
В маленькой гостинице пусто и темно.

Командир со штурманом мотив припомнят старый,
Голову рукою подопрет второй пилот,
Подтянувши струны старенькой гитары,
Следом бортмеханик им тихо подпоет.

Эту песню грустную позабыть пора нам, —
Наглухо моторы и сердца зачехлены.
Снова тянет с берега снегом и туманом,
Снова ночь нелетная даже для луны.

Лысые романтики, воздушные бродяги,
Наша жизнь – мальчишеские вечные года.
Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги,
Ты, метеослужба, нам счастья нагадай!

Солнце незакатное и теплый ветер с веста,
И штурвал послушный в стосковавшихся руках…
Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты,
В маленьких асфальтовых южных городках!

С песней этой в ту же осень произошла забавная история. Окончив полевые работы, мы летели домой в Ленинград через Туруханск, где застряли на несколько дней ввиду нелетной погоды – пришла ранняя полярная зима и замела Туруханск внезапной вьюгой. Оставалось только дожидаться. Настроение, однако, было приподнятое – после четырехмесячного сидения в тайге мы наконец возвращались домой в Ленинград, к чистому белью, к цивилизации, к родным и близким. Кроме того, мы были, конечно, уверены, что обнаруженные нами рудопроявления дадут начало новому Норильску.

Поздней метельной ночью мы почему-то решили зайти «на огонек» в дежурное помещение начальника туруханского аэропорта. Сам аэропорт представлял собой грунтовую взлетно-посадочную полосу, быстро раскисавшую под любым дождем, а здание аэропорта было обычной потемневшей и покосившейся на мерзлотной почве от времени избой. Начальник же аэропорта, судя по рассказам, был человеком далеко не заурядным. Мне уже довелось вскользь познакомиться с ним предыдущей весной в мае, когда, приходя к нему, я безуспешно выпрашивал у него вертолет для заброски на весновку, а он неизменно выставлял меня вон, точно указывая, куда именно я должен пойти. Меня еще тогда поразил его неизменно хмурый и похмельный вид, и я поинтересовался причинами такой постоянной мрачности. Причины, как выяснилось из рассказов, были серьезные.

Всего лишь год назад этот неприветливый и обрюзгший человек был майором военной авиации, пилотом первого класса и командовал где-то под Москвой эскадрильей тяжелых реактивных бомбардировщиков. Примерно через месяц ему должны были присвоить очередное воинское звание подполковника и назначить начальником штаба полка. Был он высок ростом, статен и широкоплеч и очень гордился личным сходством с «великим летчиком нашей эпохи» Валерием Павловичем Чкаловым. Именно это сходство его и подвело. Я вспоминаю, как уже где-то в 80-е годы в Центральном доме литераторов выступал писатель Марк Галлай, в прошлом летчик-испытатель, Герой Советского Союза, с воспоминаниями о своем учителе Чкалове. «Валерий Павлович, – сказал он, – был человеком большой личной храбрости». Помолчал и добавил: «Любил выражаться по-русски». Снова помолчал и еще добавил: «К женщинам относился конкретно».

Примерно такими же чертами отличался и наш герой. Всем известна нашумевшая в свое время, еще до войны, история, как Чкалов на пари со своими друзьями-летчиками пролетел на самолете под главным пролетом Троицкого моста над Невой в Ленинграде. И хотя он продемонстрировал не только полное свое бесстрашие, но и уникальное пилотское мастерство, его все же надолго уволили из авиации и летать запретили. Герой нашего рассказа, всерьез относясь к своему сходству с великим летчиком, решил во что бы то ни стало повторить чкаловский подвиг. А поскольку больших мостов через реки в Подмосковье не оказалось, то он на пари с такими же асами посадил свой тяжелый современный реактивный командирский бомбардировщик на Можайское шоссе, и посадил, как утверждают очевидцы, классно. Не успел он принять

поздравления и почать бутылку из трех ящиков выигранного им на пари коньяка, как дело о нем уже было передано командованию ВВС. К тому же еще совершенно некстати выяснилось, что по Можайскому шоссе пролегает трасса личных автомашин членов Политбюро. В итоге недолгого, но сурового разбирательства бывший командир эскадрильи был от командования отстранен, из майоров разжалован и из военной авиации навсегда уволен. Для исправления он послан был в Туруханск в Полярную авиацию, командовать аэродромом без права полетов. Потому-то и пребывал в перманентно хмуром состоянии.

Услышанная романтическая история только укрепила в нас желание немедленно пообщаться с начальником аэропорта, и мы, несмотря на поздний час, осторожно постучались к нему. В его полупустом кабинете, на огромном деревянном рубленом столе, за которым он сидел, подперев щеку кулаком, стоял селектор, соединявший его с аэродромными службами, пара телефонов и небольшой дюралевый бачок с упомянутым выше антиобледенителем. Антиобледенителем называется специальная жидкость, которая разбрызгивается на плоскости летящего самолета в северных широтах, чтобы они при полете в облаках и тумане не покрывались льдом и самолет не падал. Это сейчас, благодаря успехам химии, в аэропортах используют что-то такое, что можно только лить на плоскости, но в то отсталое время это был чистый спирт-ректификат.

Посидев с хозяином, встретившим нас с неожиданным радушием, минут двадцать, я решился показать ему свою песню про полярных летчиков, не сказав, конечно, что это моя, во избежание неожиданных последствий (я уже говорил, что он был человеком невычисляемым). Когда, немного пригубив антиобледенителя, я эту песню спел, он действительно совершил поступок довольно неожиданный. Включив селектор, он объявил по аэродрому боевую тревогу, и когда минут через пятнадцать в кабинет набились испуганные, заспанные и полуодетые люди, он нетвердым голосом приказал: «Немедленно проснуться, отложить все дела и начать разучивать новую песню».

На следующий день его сняли и с этой должности. В бумаге, посланной по его персональному делу в Главное управление Полярной авиации, значилось, что он, «грубо используя служебное положение, пытался принудить во внеслужебное время сотрудников и сотрудниц (это было подчеркнуто особо. – **А.Г.**) разучивать нецензурную песню неизвестного содержания». Понесенное им вторичное наказание не было, видимо, слишком долгим, уже через пару лет выяснилось, что он снова стал

летчиком, на этот раз уже в системе Полярной авиации. А поскольку летчик он был действительно классный, то дела его довольно скоро пошли в гору. К середине 60-х он уже стал начальником крупного авиапредприятия на северо-востоке, был награжден орденами и впоследствии с почетом ушел на пенсию.

А песня осталась на Крайнем Севере как безымянная. Впрочем, не совсем безымянная. Однажды мне довелось лететь самолетом из Мурманска в Москву. Седой командир корабля, с многочисленными орденскими планками на тужурке, идя по проходу между креслами, оглянулся на меня и спросил: «Простите, я не обознался? Это вы «Кожаные куртки» написали?» – «Я», – сознался я, смутившись. «Напишите мне что-нибудь на память. Это ведь наша песня». После этого я был приглашен в кабину, где и присутствовал при посадке. Песня эта, в числе четырех моих наиболее популярных по данным «всенародного» опроса песен вместе с песнями «Снег», «Перекаты» и «Атланты», вошла в первый диск «Песни нашего века», вышедший в Москве в 1998 году по инициативе Георгия Васильева и Алексея Иващенко.

Надо сказать, что на эту песню, как и на многие другие мои ранние песни, написано немало пародий. Вышло так, что значительную часть своей жизни я провел среди мужчин, на долгие месяцы оторванных от нормальных условий жизни, от родного дома и от женщин. Семнадцать лет на Крайнем Севере, потом более сорока лет в океане. Ну а поскольку народ, окружавший меня, – геологи, летчики, моряки, были в основном молодыми и достаточно задорными, то большинство пародий на мои песни носило ярко выраженный сексуально-питейный характер.

Одна из первых пародий была написана на песню «Кожаные куртки» моим коллегой и многолетним другом геологом Михаилом Константиновичем Ивановым, с которым я встретился впервые в 1958 году, когда, поняв, что уран искать в правобережье Енисея бесполезно, переквалифицировался на поиски медно-никелевого оруденения. Весной 1959 года нас вдвоем с Ивановым еще по апрельскому снегу выбросили вертолетом на весновку в район реки Колю, притока реки Северной, где предстояло провести детальное обследование выявленных там медно-никелевых рудопроявлений. Около двух месяцев мы с Михаилом прожили вдвоем в палатке, отрезанные от внешнего мира. Сначала мы выходили на лыжах осматривать обнажения, а потом, в мае, когда началось снеготаяние и лыжи стали непригодны, просто топили буржуйку и ожидали, пока сойдет снег. Он, увлекавшийся живописью, обычно вытаскивал на

солнце мольберт и краски, а я садился с тетрадкой писать стихи, в числе которых и была написана «Песня полярных летчиков». «Ну, и компания подобралась, – смеялся Михаил, – стишки, картинки, а кто геологией заниматься будет?» Питались мы выданным нам яичным порошком, китайскими консервами «Великая стена» и сухарями и читали по очереди единственную книгу, захваченную нами из Игарки из числа все тех же книг, полученных в тюремной библиотеке. Это был роман Ричарда Олдингтона «Все люди – враги». В этом весьма сентиментальном романе действие происходит в Великобритании в пору Первой Мировой войны. Герой романа, оставив свою подругу, отправляется воевать в Европу, а она за это время успевает ему изменить. Когда он возвращается, то, ничего ему не объясняя, она очень долго не подпускает его к себе, считая, что «должна морально очиститься», и причиняет ни в чем не повинному герою немалые страдания. Мне эта ситуация не понравилась, о чем я и заявил Михаилу. Он же, будучи поклонником Олдингтона, сердито ответил: «Да, да, Саша, твои ухватки мы знаем. Ты ведь высокой и чистой любви не понимаешь. Тебе надо, чтобы сразу в койку! Как это поется в твоей новой песне?» После чего он с ходу выдал пародию из двух строчек:

Кожаные брюки, брошенные в угол,
Юбкой занавешенное низкое окно.

Несколько позднее все тот же Иванов написал довольно едкую пародию на мою песню «Деревянные города», в которой продолжал обличать мою примитивную сексуальность:

В какой бы ни попал я уголок,
Мне разводить не надо канители:
Дровами, заготовленными впрок,
Ложатся дружно женщины в постели.

В той же пародии содержалась довольно верная, хотя и нелицеприятная, характеристика моих вокальных способностей:

А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как Городницкий.

Много лет спустя, в марте 1993 года, на мой шестидесятилетний юбилей московский автор и пародист Игорь

Михалев, намеренно использовав строчку из давней пародии Иванова: «Кожаные брюки, брошенные в угол…», написал новую пародию, точно отражающую мое нынешнее жалкое старческое состояние:

Кожаные брюки, брошенные в угол.
Ничего не видно в этой темноте.
Погоди немного, юная подруга, —
Руки ведь трясутся, и глаза не те.
Командир со штурманом ведь предупреждали,
И хирург нашептывал, мне пуская кровь:
Нынче это самое получится едва ли —
Выпитую флягу не наполнить вновь.
Кожаные брюки вновь на старом месте,
И в стакане челюсть бьется о края.
Ты чего пристала, школьница-невеста?
Отойди от дедушки, милая моя.

В 1991 году в Израиле в перерыве моего концерта ко мне подошел старый седой человек в пиджаке несмотря на жару, с большим числом советских орденских колодок и сказал: «Я старый полярный летчик, всю жизнь работал в Арктике, с фашистами воевал. Вашу песню полярных летчиков пою много лет. Думал, что народная. Теперь вот уже несколько лет сижу здесь. Уделите мне, пожалуйста, после концерта хоть полчаса, про Арктику вспомнить. А то ведь здесь поговорить не с кем…» (Смотрю, а у него из кармана пиджака выглядывает горлышко водочной бутылки.) Он горестно хмыкнул и произнес следующие исторические слова: «И кому нужна в Израиле Полярная авиация?»

В течение пяти лет, с 1957 по 1962 год, мне каждую весну доводилось летать из Питера в Игарку в начале полевого сезона. Несколько лет назад я вспомнил об этом, снова вылетая из Питера на Север.

Под крылом над спящим Ленинградом
Небо разгорается в дыму.
Мой сосед, со мной сидящий рядом,
Он куда летит и почему?

Осторожным удивленным глазом
Он в окно глядит на облака.
Он покуда не женат ни разу
И друзей не хоронил пока.

Снежного не покидал причала,
С черной не соседствовал бедой.
Он худой, носатый и курчавый, —
Я сутулый, лысый и седой.

Повидал пока он в жизни мало,
В дальний отправляясь перелет.
Ждет его на Мойке дома мама,
А меня никто уже не ждет.

Как бы жизнь свою построил, если
Все начать сначала, не пойму.
Мой двойник, сидящий рядом в кресле,
Он куда летит и почему?

Снова оказалось по пути нам,
Неразрывным связанным родством.
Я лечу на турбореактивном,
Он еще на старом – винтовом.

За окошком сгустки черной влаги
Превращает солнце в молоко.
Далеко лететь ему, бедняге, —
Мне уже – совсем недалеко.

Пропасти под облаками круты.
На востоке теплится рассвет.
Мы летим по одному маршруту
С разницею в пять десятков лет.

С тех давних северных экспедиций запомнился мне и еще один увлекательный и небезопасный способ путешествия – плавание по северным рекам на байдарках или надувных резиновых лодках, именуемых почему-то клиперботами. Реки были быстрые, порожистые, иногда непроходимые, с большим числом водопадов и перекатов, особенно в правобережье Енисея. Чтобы защитить тонкие резиновые борта от острых камней, их часто обвязывали снизу брезентом. Надувные лодки обычно состояли из трех и более отсеков, что, однако, не всегда давало гарантию безопасности на перекатах. Каждый раз, прежде чем проходить на плаву опасный участок на неведомой реке, полагалось тщательно осмотреть его с берега. Это, однако,

в тяжелом дневном переходе, под комарами, далеко не всегда выполнялось, так как требовало дополнительных усилий. Результатом были довольно частые в те годы несчастные случаи на воде, в том числе и с трагическим исходом. Но об этом – ниже.

По должности мне надлежало объезжать все полевые партии экспедиции, работающие в тайге и тундре (а было их восемь или десять), и проверять состояние аппаратуры для поисков урана, а также результаты самих поисков. Шел 57-й год. Помню, в одно прекрасное утро, находясь в одной из партий на реке Кулюмбе, я вдруг обнаружил, что все наши дозиметры вышли из строя – они зашкаливали при включении, показывая ураганную радиоактивность. Я, конечно, решил, что все приборы сломались, и немедленно сообщил об этом на базу экспедиции в Игарку. Туда, однако, уже пришли такие же сообщения из всех без исключения партий. Через день, когда мы поймали «вражий голос», оказалось, что дело вовсе не в приборах – просто наши рванули неподалеку, на Новой Земле, атомную бомбу – тогда с этим было просто. Больше недели, особенно после дождя, работать мы не могли из-за огромного радиоактивного фона.

Первым начальником Енисейской экспедиции при мне был Анатолий Васильевич Лоскутов. Мне пришлось довольно много в 57-м году пространствовать с ним по тайге, перебираясь, обычно с караваном оленей, в правобережье Енисея, из расположения одной партии в другую, где он проверял, как идет съемка, а я – состояние попутных поисков. Был он человек довольно интеллигентный и, видимо, неплохой геолог, но сильно пьющий. Он оказался хорошим рисовальщиком и, кажется, даже учился прежде в Мухинском.

В пути нас сопровождало два десятка вьючных оленей, которыми командовали эвенки – каюр Мишка Довендук и его жена Тоська с удивительно красивым и тонким лицом и безнадежно кривыми ногами. У Мишки Довендука брат был милиционером, и это, по твердому Мишкиному убеждению, давало ему безусловное право относить себя к высшему эшелону власти. Он поэтому никогда не расставался с красно-синей милицейской фуражкой, подаренной ему братом, и к другим каюрам относился свысока. Эту социальную спесь с Мишки, однако, постоянно сбивала его жена, непрерывно бранившая его день и ночь. За всю свою жизнь, ни до, ни после, я не слышал, чтобы женщина так отчаянно и беззастенчиво материлась. Обычно мы с Лоскутовым с утра уходили в маршрут, а каюры, сняв лагерь и навьючив оленей, должны были к вечеру переместить его на другое указанное на карте место. При вечерних поисках лагеря в незнакомой таежной местности мы с

Лоскутовым практически никогда не испытывали затруднений, так как уже метров за триста был отчетливо слышен пронзительный голос кричащей на мужа Тоськи, служивший нам безошибочным ориентиром. Иногда, хотя и довольно редко, своей постоянной руганью Тоська настолько донимала супруга, что он все-таки не выдерживал. В запасе против сварливой подруги у него всегда был один-единственный козырь. «А тебя, Тоська, солдат…!» – торжествующе выкрикивал он в самые критические моменты семейной перепалки, и Тоська на какое-то время действительно умолкала, все же испытывая, видимо, определенное смущение при упоминании о ее явном грехе, весьма, правда, недолгое.

В наших каюрах-эвенках, при всей детскости и неустройстве звериного их бытия, меня всегда привлекало чувство удивительного, недоступного нам, горожанам, единения с окружающей природой, ощущения себя частью ее. Живя, на наш взгляд, в грязи и нищете, в нечеловеческих условиях, напиваясь до бесчувствия спиртом или одеколоном, они в то же время смотрели на нас с мягким и снисходительным превосходством хозяев окружающего мира по отношению к недолгим и ничего не понимающим пришельцам. Они мирились с необходимостью нашего обязательного присутствия в их жизни, но вряд ли воспринимали нас всерьез.

Мне нравилось скупое и надежное архитектурное устройство их высокого чума, который можно было возвести на любом месте за несколько минут из жердей, оленьих шкур и веревок. Высокая острая крыша с отверстием в ней обеспечивала хорошую тягу, поэтому, когда в чуме разводили огонь, то дым весь уходил вверх, а тепло всегда оставалось, что мы особенно оценили в начале ранней полярной зимы, когда попытки согреться с помощью буржуек в наших тоненьких и моментально выдуваемых брезентовых палатках приводили только к их загоранию. Котел с едой кипел прямо здесь – в чуме, и не надо было выскакивать, чтобы поесть, наружу, под дождь или снег. Постоянным и неизменным источником их существования были олени – они ели оленину – свежую или вяленую, одевались с ног до головы в оленьи шкуры, спали на полу, застланном такими же шкурами, обеспечивавшими тепло и сухость, и даже чумы свои строили из оленьих шкур.

Природная незлобивость этих детей лесотундры, философский созерцательный склад ума располагали их к мягкому юмору. Рассказывали такой эпизод, случившийся в те годы в нашей Енисейской экспедиции. Вдоль таежной речушки по оленьей тропе медленно движется караван оленей. На передних

нартах сидит каюр эвенк и невозмутимо курит трубку. К этим же нартам привязаны, чтоб не упали, мертвецки пьяный начальник партии и вьючный ящик. На вторых нартах трясутся, так же надежно привязанные, мешок картошки, два рюкзака, палатка и пьяный геолог. Навстречу едет эвенк на нартах и тоже курит трубку. Поравнявшись со встречной нартой, он спрашивает у каюра: «Эй, мужик, куда едешь, чего везешь?» – «Экспедиция, – невозмутимо отвечает каюр, – всякий разный груз».

И в первый, и в последующие годы, когда мне довелось работать и жить с эвенками, меня всегда занимал незатейливый, но точный механизм негромких песен, которые они пели. Вот движутся неспешно по тайге нарты, я подремываю, а каюр сквозь зубы, не выпуская изо рта трубки, тихо напевает что-то односложное на непонятном мне языке. «Мишка, про что поешь?» – спрашиваю я у него. «Как про что? Про реку, – удивляется он, – вдоль реки, однако, едем». Проходит минут двадцать, а мотив песни как будто не меняется. «А теперь про что, все еще про реку?» – «Нет, однако, теперь про сосну – вон большая сосна показалась». Еще через полчаса в песне начинают вдруг появляться нотки повеселее. «Что, опять про сосну?» – «Совсем не про сосну, – терпеливо и снисходительно, как глупому ребенку, объясняет он мне. – Видишь, дым над лесом появился – чум, однако, близко». Эта нехитрая творческая манера – петь только о том, что видишь и знаешь, заимствованная у наших каюров, на долгие годы запала мне в сердце.

Что же касается оленей, то странные безропотные эти животные всегда вызывали мое удивление своим неизменным безмолвием в любых случаях жизни. Они даже умирали молча – только плакали. В жаркое летнее время они десятками гибли от «копытки». Пару раз случалось нарты с грузом таскать на себе. Зрелище молча умирающих оленей в первый год так поразило меня, что я написал какие-то весьма чувствительные стихи о нашей экспедиционной жизни, которые начинались так:

В болотах ложатся и гаснут олени —
Все меньше оленей в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?

Была там еще одна особо понравившаяся мне строчка: «Тревожными тонкими голосами кричат исступленные каюры». Вернувшись в Ленинград, я имел неосторожность показать эти стихи Нонне Слепаковой и заодно рассказал о поисках урана и тяготах экспедиционной жизни. Она немедленно откликнулась

пародией:

Хочу написать я о женских коленях —
Их было немало в моей судьбе.
Писать ли тебе о своих сомненьях,
Писать ли тебе?
Когда колотил молотком по каменьям
И партию вел в бурелом и буран,
До боли скучал я по женским коленям,
Но пагубно действует подлый уран.
Мы поняли – стать не придется отцами —
Мужьями не быть наступила пора.
Тревожными тонкими голосами
Кричат исступленные фраера.
И я подвываю, считаю оленей,
И слушаю тихо, как буря гремит.
Пишите мне письма, хозяйки коленей,
Мой адрес несложен: Игарка, Гранит.
Я к вам относился добротно, без лени,
Но чувствую я перемену в себе.
На что мне колени, чужие колени?
Все меньше коленей в моей судьбе.

Возвращаясь к многодневным нашим маршрутам с Лоскутовым, должен сказать, что благодаря им мне удалось освоить в первый же год все виды внутритаежного транспорта – от самолета и вертолета до оленей и надувной лодки. Маршруты эти закончились примерно через месяц, когда, пнув ногой последнюю пустую флягу из-под спирта, он улетел на центральную базу на Горбиачин. Там он запил уже серьезно. Выходя по утрам из своей палатки, чтобы осмотреть новые горные выработки – шурфы или канавы, которыми пытались вскрыть рудные тела, – он с трудом подходил к краю канавы и, брезгливо морщась, говорил: «Что это у вас? Долериты? Какая гадость!» И шел обратно похмеляться. На следующий год он был с позором из начальников изгнан, и на его место назначили пожилого и непьющего Михаила Никитовича Злобина, невысокого человека с крестьянским, иссеченным морщинами лицом, тихим голосом и цепким глазом. «Никель-то мы, конечно, не найдем, – говаривал он обычно. – И пес с ним, пес с ним! А вот копеечку государственную, копеечку-то сбережем. Это уж будьте спокойны!»

В 1958 году я, окончательно разочаровавшись в «попутных поисках урана», переквалифицировался на геологическую съемку,

а потом на магниторазведку при поисках медно-никелевых руд сначала в районе реки Горбиачин, а потом южнее, на реке Колю.

Оперативная связь базы экспедиции с полевыми партиями осуществлялась по радио. Каждый день в указанное время, обычно после маршрутов, в районе девяти вечера, все партии со своими позывными вызывались центральной рацией из Игарки, и передавались сообщения и почта. Если слышимость была плохая – работали ключом, если же хорошая, то пользовались просто микрофоном. Часто поэтому сугубо личные телеграммы, посланные из Ленинграда по телеграфному адресу – Игарка, Гранит, далее, – становились известными всем. Помню, например, как рабочий одной из партий получил от жены телеграмму такого содержания: «Вышла замуж, прошу развод, целую, Шура», а наш студент-дипломник из университета получил от любимой девушки такой ободряющий текст: «Коленька ура все в порядке ничего не будет целую Нина». С радиограммами этими вообще было много трагикомических историй. Так, в Ленинград из одной экспедиции, работавшей на Таймыре, была послана телеграмма, подписанная ее участниками: «Иванов, Поммер». На телеграфе заменили «Поммер» на «умер», и в Ленинграде семья ни в чем не повинного Иванова испытала нервный шок. Были и смешные истории: заместитель начальника нашей экспедиции, попав в Туруханск, прислал оттуда в Игарку телеграмму: «Пароходом выехать не могу думаю баржей». Ответ начальника гласил: «Думайте головой выезжайте чем хотите».

Из-за этого «телеграфного стиля» немало насмешек пришлось перенести и мне. Я в то время занимался уже магнитной съемкой. На базе экспедиции в Игарке стояла самодельная вариационная станция, которую обслуживала молоденькая девица Соня Коварженко, славившаяся своей наивностью и невинностью на всю экспедицию. Станция эта должна была работать бесперебойно, иначе все измерения в тайге оказались бы бракованными. Поэтому, уезжая в поле, я строго-настрого предупредил Соню: «Главное, чтобы не было никаких задержек в измерении вариаций, иначе мы в тайге будем работать впустую, понятно?» Каждый вечер, в строго установленное время, к чему уже все привыкли, Коварженко вызывала по радио Городницкого, и начиналась длительная передача вариаций: «Шесть ноль-ноль – двадцать шесть ноль пять – двадцать две» и так далее. Вдруг передачи эти прекратились, и на третий день, вместо ожидаемых данных о вариациях, пришла паническая телеграмма: «Саня, третий день задержки, что делать? Соня». Надо мной долго издевалась вся экспедиция.

Одним из моих первых начальников партии оказался старый

геолог Борис Борисович Мариенгоф, младший брат Анатолия Мариенгофа, того самого, который вместе с Есениным был когда-то основоположником имажинизма и написал книгу «Роман без вранья». Старший брат, судя по рассказам Бориса Борисовича, не слишком признавал младшего, который, несмотря на отсутствие высшего образования, обладал глубоким аналитическим умом и стремлением к философии. «Саня, – поучал он меня, – жене, конечно, можно изменять, но уж признаваться в этом ни в коем случае нельзя. Потому что если ты признаешься женщине, что был с другой, – это самое для нее оскорбительное. Поэтому всегда и все отрицай, несмотря даже на очевидные факты. Пусть она прямо с другой тебя в постели застанет, все равно говори – не было, тебе показалось – оптический обман. И рано или поздно она тебе все-таки поверит, потому что хочет верить. Понял? Значит, главный принцип такой – не верь своим глазам – верь моей совести».

«А теперь, – заявил он мне как-то, – я объясню тебе механизм власти. Вот, погляди, у меня двадцать работяг и двадцать пар сапог. Я им сапоги раздал, и они на меня плюют: я им не начальник, я – завхоз. А сейчас представь себе другую ситуацию: у меня двадцать рабочих и только десять пар сапог. Я уже начальник – я кому-то могу дать, а кому-то – нет, понял? В этом и есть главный принцип власти».

Его улыбающаяся, всегда небритая физиономия с мясистым горбатым носом, никак не гармонировавшая с неизменной морской фуражкой, с которой он никогда не расставался, казалась лукавой и плутоватой. Однажды, после какой-то крупной пьянки, он выстроил в шеренгу своих работяг, которые его обожали, вызвал из палатки меня и спросил заплетающимся языком: «Саня, скажи, а вот есть в Ленинграде такой поэт – Шефнер?» – «Ну, есть», – негромко ответил я, удивленный неожиданностью и неуместностью вопроса. «Громче говори, а вы, босяки, все слушайте, понятно?» – «Есть такой поэт, – уже громко выкрикнул я, ничего по-прежнему не понимая. «Хороший поэт?» – снова спросил Мариенгоф. «Ну, хороший, а что?» – «Нет, еще раз скажи, что хороший, а вы все слушайте!» – «Хороший!» – заорал я громко. «Так вот, – торжествующе заявил Борис Борисович, подняв вверх палец, – я у него в тридцать восьмом году в Ленинграде бабу увел!»

С тех позабывшихся времен я не видел Бориса Борисовича Мариенгофа более двадцати лет. Однако совершенно неожиданно в конце 80-х годов встретил его в переполненном вагоне ленинградского метро. «Привет, Саня! – окликнул он меня и, как будто продолжая прерванный только вчера разговор, сказал: – А я

все-таки этих сук обманул (он показал пальцем вверх) – у меня сын в Париж уехал!» И, улыбнувшись своей плутоватой улыбкой, сошел на следующей остановке.

Первый полевой сезон в Заполярье подарил мне также знакомство и дружбу с удивительным человеком – Анатолием Клещенко. Мне вспоминаются жаркий июльский день 1958 года, наполненный неотвязным гудением комаров на порожистой и стремительной таежной реке Горбиачин, в правобережье заполярного Енисея, и узкая заплатанная байдарка с двумя бородачами в накомарниках и видавших виды штормовках, выскочившая из-за поворота перед нашей стоянкой. Оба они оказались нашими земляками-ленинградцами, один, как и мы, геолог, Вадим Драгунов, а второй, невысокого роста, худощавый, с цепким внимательным взглядом и дымящей трубкой, назвался сезонным рабочим. Так произошло мое первое знакомство с Анатолием Клещенко, поэтом, писателем и охотником, человеком трудной и легендарной биографии, опубликовавшим свои первые стихи в 1937 году, принятым в Союз писателей в 39-м и осужденным на максимальный срок за антисталинские стихи в 40-м.

Анатолий Клещенко родился 14 марта 1921 года в деревне Поройки Ярославской области. Отец Толи – Дмитрий Андреевич – был «богомазом», реставрировал иконы в церквах города Мологи, ушедшего вместе с ними на дно Рыбинского водохранилища. Говорят, до сих пор в окрестных деревнях в некоторых домах висят иконы, написанные отцом Анатолия. В одиннадцать лет Толя решил убежать в Америку, но вместо этого в Молдавии попал в табор к цыганам и почти год кочевал вместе с ними, научился ходить на руках, делать сальто. Там же он в совершенстве изучил блатной жаргон, что немало помогло ему впоследствии в лагерях. После того как отец разыскал беглеца, он отвез его в Киево-Печерскую лавру, где обучил иконописному мастерству. Это тоже помогло и в лагере, и в последующей ссылке под Красноярском. Я помню, что стены в его последней квартире в Петропавловске-Камчатском были поначалу разрисованы им самим, но вмешался бдительный домовой комитет, и пришлось живопись со стен убрать.

Анатолий не получил высшего образования в молодости, но был упорным самоучкой, человеком редкого стремления к культуре и познанию. В его детском и юношеском воспитании большую роль сыграли известный литературовед Борис Иванович Каплан, расстрелянный в 1941 году, и его жена Софья Шахматова. Борис Иванович впервые был арестован еще в 34-м году, так что обстановка произвола и репрессий была знакома Толе с детства.

Его ранние поэтические публикации привлекли внимание Анны Ахматовой и Бориса Корнилова. Зверские пытки и избиения в подвалах печально знаменитого Большого дома на углу Литейной и Шпалерной не сломили девятнадцатилетнего юношу и не заставили его отречься от найденных у него при обыске самоубийственных стихов, в которых он непримиримо обличал сталинизм и самого Сталина:

Чтоб были любы мы твоим очам,
Ты честь и гордость в наших душах выжег,
Но все равно не спится по ночам
И под охраной пулеметных вышек.
Что ж, дыма не бывает без огня:
Не всех в тайге засыпали метели!
Жаль только – обойдутся без меня,
Когда придут поднять тебя с постели.

В темные и страшные времена, когда, не выдержав физических и нравственных мук в застенках, бывалые бойцы покорно подписывали заведомо ложные обвинения, отрекаясь от самих себя, Анатолий нашел в себе силы и на суде бесстрашно обличать сталинщину. Почему его не расстреляли? По чистой случайности – как раз в это время ненадолго была отменена смертная казнь. Вместо этого ему предстояло заживо сгнить в лагерях. Шестнадцать беспросветных лет провел он там, но не погиб, не сломался и не согнулся.

В лагере, в нечеловеческих условиях неволи и каторжного труда, состоялось его поэтическое и нравственное становление. Там он ухитрился написать несколько циклов стихов и поэму о своем любимом герое – Франсуа Вийоне. Выбор героя его поэмы – не случаен. Именно великий французский поэт, вынужденный общаться с судьями и палачами, давал Анатолию силы выжить в беспросветных потемках ГУЛАГа, и выжить достойно. Да и соседями его подчас оказывались весьма достойные люди – такие, например, как Василий Семенович Буняев – впоследствии автор многих учебников по французской и немецкой литературе, много лет проработавший заместителем главного редактора литературно-драматического вещания Всесоюзного радио.

Пройдя все круги лагерного ада, Клещенко не согнулся, не ожесточился, не озлобился. XX съезд и реабилитация в 1957 году вернули его в родной Ленинград. По ходатайству Анны Ахматовой, Бориса Лихарева и Анатолия Чивилихина его заново приняли в Союз писателей, поэтому до самой смерти в его документах значилось, что он член Союза не с 39-го, а с 57-го.

Приходилось все начинать с нуля. Стихи его не печатали. Известный поэт и переводчик китайской и корейской литературы Александр Ильич Гитович помог ему с переводами – надо было на что-то существовать. И тогда Анатолий начал писать прозу («Для денег», – как говорил он сам). Его переводы тибетских народных песен, сделанные в 1957 году, сразу же получили самую высокую оценку таких выдающихся востоковедов, как Л.Н. Гумилев и Б.И. Панкратов.

В последующие годы в Ленинграде одна за другой стали выходить из печати его повести: «Дело прекратить нельзя», «Распутица кончается в апреле», «Когда расходится туман», «Это случилось в тайге». А вот стихи практически не печатали. Слишком горькими и обличительными казались они осмотрительным редакторам «Эпохи застоя», подспудно замалчивавшей и обелявшей годы сталинских репрессий. Так появился писатель Анатолий Клещенко, а поэт как бы исчез. Анатолию, однако, было душно в городе, где, по существу, мало что изменилось. Все, кто сажал его, остались на своих местах. Будучи человеком прямым и бескомпромиссным, он не мог спокойно чокаться в ресторане Дома писателей с доносившими на него стукачами, в том числе с преуспевавшим поэтом Николаем Новоселовым, чей донос сыграл роковую роль в его судьбе. На лето Анатолий нанимался сезонным рабочим в геологическую экспедицию и уезжал в тайгу и тундру.

После нашего неожиданного знакомства на Горбиачине мы не раз встречались с Толей в Ленинграде и в Комарове, где он жил рядом с Анной Андреевной Ахматовой. В шумных геологических застольях, где все звали его просто Толя, всегда поражали его скромность, сосредоточенность и немногословность. По его простецкому виду, бороде и постоянной трубке, с которой он никогда не разлучался, все окружающие принимали его за типичного геолога. Даже Анатолий Найман, ночевавший у него в те годы в Комарове, в своей книге об Анне Ахматовой не назвал его имени среди поэтов – соседей Анны Андреевны по Комарову, а на недоуменный вопрос вдовы ответил: «Я думал, что он геолог». О стихах его, и прежде всего о лагерных стихах, не знали даже самые близкие приятели. Вряд ли он надеялся когда-нибудь их опубликовать. За этим обликом неизменно скромного и доброжелательного рубахи-парня трудно было распознать героя, обличавшего всесильного злодея, и поэта трагической судьбы.

В то время стали известны песни Александра Галича, и Анатолий один из первых зазвал его к себе и записал на магнитофон. Потом он как-то неожиданно исчез из Ленинграда, а через год выяснилось, что он навсегда покинул Питер,

завербовавшись на Камчатку в качестве инспектора охотхозяйства Елизовского района. Уход в тайгу был уходом от ненавистной ему жизни. Наша последняя встреча с ним состоялась в сентябре 1974 года в Петропавловске-Камчатском, куда я попал как участник Всесоюзной конференции по вулканологии, в его маленькой квартирке, напоминавшей старинное жилье настоящего охотника: чучела зверей и птиц между грубыми самодельными полками, заставленными книгами, медвежьи шкуры на полу и на стенах. Мы просидели тогда вдвоем целую ночь до утра, он читал мне свои стихи, агитировал махнуть с ним на Командоры, был полон сил и не всегда свойственного ему веселья. Договорились встретиться через полгода в родном Питере, куда он собирался вернуться. Однако судьба судила иначе. Через две недели после нашей встречи Анатолий отправился на последнюю (как он считал, перед возвращением) охоту. Охота эта действительно оказалась последней. Заброшенный на промысел вертолетом, Клещенко жестоко простудился и заболел двусторонним воспалением легких. Охотничья избушка оказалась разбитой. А тут еще, как назло, наступила нескончаемая пора ураганных ветров и ледяных ливневых дождей, столь частых осенью на Камчатке. Почти два штормовых ненастных месяца в безлюдной тайге, без помощи и медикаментов боролся он со смертью. В этом последнем беспощадном поединке снова проявились стойкость его характера, несгибаемое мужество перед лицом беды. Слабея от болезни, кашляя кровью, из последних сил он заставлял себя подниматься на работу и осмотр леса. Когда наконец прилетел вертолет, у него еще хватило сил забраться в кабину. Но было уже поздно…

В Ленинграде, в просторном и полутемном вестибюле Союза писателей на улице Воинова (ныне – Шпалерной), почти напротив места, где его когда-то пытали, я встретился с его гробом, привезенным с Камчатки. Прах его захоронили в Комарове, неподалеку от могилы Ахматовой. Он снова стал ее соседом, теперь уже навсегда.

Анатолий Клещенко прожил всего пятьдесят три года нелегкой и героической жизни. Лучшие его стихи лишь в перестроечные времена начали свой путь к читателю – горькие и непримиримые лагерные стихи, полная юношеского романтизма и сарказма поэма, посвященная его любимому герою и поэту – Франсуа Вийону, философская лирика последних лет.

Переехав в Москву в 1972 году и попадая в Питер только нечастыми наездами, я редко теперь бываю в Комарове и еще реже – на удаленном от станции кладбище, среди могил которого

прорастает все больше надгробных камней с близкими мне именами.

На Комаровском кладбище лесном,
Где дальний гром аукается с эхом,
Спят узники июльским легким сном,
Тень облака скользит по барельефам.
Густая ель склоняет ветки вниз
Над молотком меж строчек золоченых.
Спят рядом два геолога ученых —
Наливкины – Димитрий и Борис.
Мне вдруг Нева привидится вдали
За окнами и краны на причале.
Когда-то братья в Горном нам читали
Курс лекций по истории Земли:
«Бесследно литосферная плита
Уходит вниз, хребты и скалы сгрудив.
Все временно – рептилии и люди.
Что раньше них и после? – Пустота».
Переполняясь этой пустотой,
Минуя веток осторожный шорох,
Остановлюсь я молча над плитой
Владимира Ефимовича Шора.
И вспомню я, над тишиной могил
Услышав звон весеннего трамвая,
Как Шор в аудиторию входил,
Локтем протеза папку прижимая.
Он кафедрой заведовал тогда,
А я был первокурсником. Не в этом,
Однако, дело: в давние года
Он для меня был мэтром и поэтом.
Ему, превозмогая легкий страх,
Сдавал я переводы для зачета.
Мы говорили битый час о чем-то,
Да не о чем-то, помню – о стихах.
Везде, куда ни взглянешь невзначай,
Свидетели былых моих историй.
Вот Клещенко отважный Анатолий —
Мы в тундре с ним заваривали чай.
Что снится Толе – шмоны в лагерях?
С Ахматовой неспешная беседа?
В недолгой жизни много он изведал —
Лишь не изведал, что такое страх.
На поединок вызвавший судьбу,

С Камчатки, где искал он воздух чистый,
Метельной ночью, пасмурной и мглистой,
Сюда он прибыл в цинковом гробу.
Здесь жизнь моя под каждою плитой,
И не случайна эта встреча наша.
Привет тебе, Долинина Наташа, —
Давненько мы не виделись с тобой!
То книгу вспоминаю, то статью,
То мелкие житейские детали —
У города ночного на краю
Когда-то с нею мы стихи читали.
Где прежние ее ученики?
Вошла ли в них ее уроков сила?
Живут ли так, как их она учила,
Неискренней эпохе вопреки?
На этом месте солнечном, лесном,
В ахматовском зеленом пантеоне,
Меж валунов, на каменистом склоне,
Я вспоминаю о себе самом.
Блестит вдали озерная вода.
Своих питомцев окликает стая.
Еще я жив, но «часть меня большая»
Уже перемещается сюда.
И давний вспоминается мне стих
На Комаровском кладбище зеленом:
«Что делать мне? – Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих».

Полевой сезон 1959 года начался для меня с описанной выше весновки с Михаилом Ивановым. В конце мая к нам закинули вертолетом рабочих и техников, из Ленинграда прибыл второй геолог – Станислав Погребицкий, и начались поисковые работы на медно-никелевое оруденение, включавшие и магниторазведку, за которую отвечал я.

Не обошлось и без экзотики. Заместитель начальника экспедиции Петухов с первым же вертолетом прислал к нам нанятую им в Игарке на сезон повариху, шуструю чернявую девку с золотыми зубами и блатной татуировкой. Свою программу она объявила тут же у трапа вертолета, откуда выгрузилась, держа в руках большую гитару, перевязанную огромным розовым бантом: «Буду со всеми, а начну с начальства». Вечером того же дня начались первые неприятности. Мы с Мишей и Стасом мирно выпивали в своей палатке, как вдруг раздался истошный женский крик: «Помогите, насилуют!» Мы выскочили наружу. Крик повторился. Ориентируясь на него, в уже полной темноте, мы вышли на взлетную площадку, куда днем приземлился вертолет. Посреди площадки лежала Шурка (так звали нашу новую повариху), одна, совершенно одетая, и орала благим матом. «Насилуют!» – снова крикнула она, увидев нас, и захохотала. Выяснилось, что она пьяна в стельку и встать на ноги не может. «Значит, померещилось, – заявила она нам в ответ на нашу негодующую реакцию. – Уж и помечтать девушке нельзя!»

Первым объектом ее устремлений стал Миша Иванов, бывший тогда начальником нашей партии. У нас в палатке стоял старый ламповый приемник, на стенке которого были наклеены какие-то цветные женские головки, с обертки из-под немецкого туалетного мыла. Каждый вечер она повадилась приходить к нам, невыносимо надушенная. «Михаил Иванович, скажите, – это ваша жена? – кивала она на наклейки. – Какая красивая! А я, однако, вам больше подойду. Вы не смотрите, что я на вид такая худая – просто кость у меня тонкая, а с меня ведь не враз встанешь!» Потом она принималась закидывать ногу на ногу, и шелковая юбка, сползая, обнажала ее смуглое бедро с синей вытатуированной на нем надписью «Добро пожаловать» и указывающей вверх стрелкой. Несколько дней подряд мы ее успешно выставляли, но потом Иванов не вынес натиска и сбежал вместе со Стасом в недельный маршрут, оставив за старшего меня.

Тут уж настала тяжелая жизнь и для меня. По ночам я наглухо законопачивался в палатке, хотя и переселил туда своего приятеля геофизика Володю Юрина, чтобы не оставаться одному. Шурка обозлилась. По утрам, направляясь к большой армейской палатке, где располагался наш камбуз, на завтрак, я слышал, как она, разливая кашу, держит речь перед нашими проходчиками под их одобрительный смех: «Он что же думает, что если он образованный, то он могет от меня свой жидовский нос воротить? Не выйдет. Все равно я его уделаю!» Я разворачивался и шел обратно в палатку завтракать лежалым сухарем. На мое счастье,

через пару дней нашлись добровольцы, закрывшие собой эту амбразуру, и даже, как выяснилось позднее, довольно многочисленные, но неприятности на этом не кончились. «Александр Михайлович, – заявила она, явившись ко мне через пару дней, уже вполне серьезно, – вызывайте санрейс – мне свернули матку».

Ужас охватил меня при этих словах. Я понял, что я, взращенное в наивности городское чадо, прожившее всю жизнь с добропорядочными родителями, оказался теперь в дикой тайге среди грубых, безжалостных людей, где понимают только мат и даже женщины теряют человеческий облик! Первой мыслью было срочно послать радиограмму в Игарку и вызвать санрейс. Это, однако, тоже было делать боязно, потому что если вызов оказывался ложным, то меня ожидало строжайшее наказание. Слегка успокоившись и подумав, я все-таки решил, что если бы все было так, как она заявила, то навряд ли она явилась бы ко мне, подбоченясь и с папиросой в зубах. Оказалось, что она опять пошутила.

На следующий день, воспользовавшись правом старшего, я все-таки вызвал вертолет и приказал дрожащим голосом погрузить ее туда вместе с баулом и гитарой с бантом. Этим, однако, дело не кончилось – пока вертолетчики обедали у нас, она успела «признаться» одному из своих новоявленных хахалей, что у нее гонорея. Тот побледнел и кинулся в свою палатку. Когда настала пора отправлять вертолет, ко мне подошли девять (из двенадцати) наших мужчин и, переминаясь с ноги на ногу, заявили, пряча глаза: «Михалыч, отправляй нас тоже – значит, и у нас…» Всю бригаду загрузили в вертолет, выкинув из него ящики с образцами, и отправили в Игарку, сорвав все работы партии примерно на неделю. В Игарке, к счастью, выяснилось, что она снова пошутила. Тут же послали за Ивановым, и мы все наконец облегченно вздохнули. Я же все последующие годы, пока работал начальником партии, женщин больше в повара не брал…

Контингент наших техников и рабочих, набранных только на сезон еще в Питере, как уже я упоминал, состоял из людей случайных, и хотя, принимая на работу, требовали показать паспорт и с судимостями старались не брать, люди попадались всякие. На этом фоне выделялся Федор Васильевич Гусев, неизлечимый алкоголик, которого называли Федя, невысокого роста, плотный, с седыми кавалерийскими усами и цепким неприятным взглядом пустых и неотвязных глаз. Пил он при каждом удобном случае. Выпив, становился агрессивен и назойлив. Я как-то, понадеявшись на его фронтовое прошлое, назначил его было завхозом, но он при первой же поездке в

Игарку пропил все казенные деньги, да еще и продал нашим эвенкам-каюрам закупленный им для экспедиции фталазол, выдав его за противозачаточное средство. Ходил он в неизменном донельзя вытертом и лоснящемся пиджаке с орденом Красной Звезды. Всю войну, если верить ему, прошел «от звонка до звонка».

О карьере своей военной рассказывал так: «Был я сержантиком, был я лейтенантиком, был я и капитанишкой… Потом – опять сержантиком». Служил он поначалу в танковых частях, потом – в штрафбате. Говорить с интересом мог только о двух предметах, которые знал досконально, – о системах немецких танков и женских задницах. Вспоминая какую-нибудь свою давнюю знакомую в разговоре за столом, он вдруг заявлял: «Как же, помню, мы с ней были в хороших отношениях». Это означало, что он с ней спал. На мой недоуменный вопрос он удивленно возразил: «А вы что, считаете, что это плохие отношения?» Уважения ко мне он не испытывал решительно никакого, особенно после того, как, вспоминая каких-то своих фронтовых друзей, сказал: «Да какие они мне друзья – суки они, все меня продали потом. Я таких друзей полетанью мажу». Когда я спросил у него, что такое полетань, он заорал мне в лицо, что не может быть в тайге начальником человек, который не знает элементарных вещей, – такой начальник всех погубит, и это впрямь вызвало довольно долгое скептическое отношение ко мне со стороны наших работяг.

Был и еще один, Семен Иванович Зайцев, убивший в разное время пять человек и отсидевший «по мокрому делу» в разных лагерях лет пятнадцать, а потом досрочно освободившийся по сложной зачетной системе. По вечерам он подсаживался ко мне и вздыхал: «Эх, Александр, тут же скука смертная! Тут же только мы с вами двое – интеллигентные люди, не с кем слова сказать!»

К вопросам жизни и смерти, впрочем, относились довольно просто. Летом того же 59-го года к нам на Колю прислали огромного черного азербайджанца Ахмеда с его подругой Фаридой для промывки шлихов. Однажды вечером Фарида у костра поулыбалась мне несколько больше, чем, по мнению Ахмеда, это полагалось. На следующий день я вместе с его бригадой пошел с утра на шлихи вдоль берега Колю. Время было утреннее, прохладное, поэтому одет я был, как и все прочие, в ватник, а на спине болтался сзади полупустой рюкзак. Ахмед шел след в след по тропе за мной. Вдруг я почувствовал какое-то горячее прикосновение к левой лопатке. Ощущение было не столь болезненным, как неожиданным. Я обернулся и увидел Ахмеда, молча заносящего окровавленный нож для второго удара.

Поскольку в правой руке я нес лоток, то инстинктивно закрылся от удара свободной левой, поэтому нож пробил мне кисть левой руки между большим и указательным пальцаем. Подбежавшие сзади схватили Ахмеда за руки и отняли нож. Меня пришлось перевязывать, разорвав для этого мою же безнадежно испачканную кровью рубаху. Первый удар был нацелен точно под левую лопатку. Спасло меня только то, что ватник и свободно висевший полупустой рюкзак уменьшили глубину вхождения ножа, а случившаяся пряжка на лямке рюкзака повела втыкающееся лезвие выше. Так у меня и остались теперь на память два шрама – на левой руке и левой лопатке.

Несмотря на несколько экзотических ситуаций, возникавших в нашей партии, в целом этот длинный полугодовой полевой сезон на реке Колю остался в моей памяти как самый интересный. Жили мы втроем в одной палатке, и по вечерам за чаем обычно проходили долгие разговоры, заводилой которых неизменно был Стас Погребицкий, отличавшийся резким и острым умом, оригинальностью суждений и довольно сложным задиристым характером. Он тогда ходил в молодых геологических гениях и держал в страхе весь наш ученый совет, включая знаменитого первооткрывателя Норильского месторождения профессора Урванцева. Истинную суть его докладов, содержавших непривычные для геологов физические и математические модели, понимал разве что только академик Коржинский в Москве.

У Стаса была довольно неприятная привычка: в полемике или споре долго и пристально смотреть своему противнику в глаза неподвижным и немигающим взглядом. Выходя на ученом совете НИИГА, он говорил: «Ну что мы все впустую обсуждаем условия минерализации на пальцах? Давайте нарисуем простейшую трехкомпонентную схему». От него в испуге шарахались. «Вы тут все, – заявил он однажды со свойственной ему грубой прямотой, – малообразованные люди, и мне с вами обсуждать нечего».

Нас с Михаилом он тоже несколько раз прикладывал, не стесняясь в выражениях. В том году он прилетел позже нас в поле, поскольку должен был на ученом совете института защищать наш общий отчет по результатам полевых работ прошлого года, где соавторами были мы трое. Мы с Ивановым, помню, долго ждали от него телеграмму о результатах защиты и наконец получили такое сообщение: «Отчет защитил. По мнению рецензентов, вам следует заниматься палеодерьмологией». Несмотря на молодость (а было ему двадцать четыре), он уже был автором нескольких нашумевших статей. В долгие темные вечера в палатке на Колю велись длинные научные и ненаучные споры, в которых последнее слово всегда было за ним. Послушав однажды мои

стихи, он заявил в своей обычной манере: «Бросай немедленно геологию – все равно как геолог ты останешься говном». – «Почему это?» – спросил я обиженно. «Да потому, что стихи у тебя получаются хорошие, а две такие разные вещи человек хорошо делать не может».

Именно тогда я запомнил его фразу, взятую мною после на вооружение: «В науке лучше работать под заведомо ложную гипотезу, чем вообще под никакую». Недавно читая методическое наставление Российского фонда фундаментальных исследований при Президиуме Академии наук, я неожиданно обнаружил там эту фразу со ссылкой на мою первую книгу воспоминаний: «Как говорит грантодержатель РФФИ геолог проф. А.М. Городницкий, «лучше работать под заведомо ложную гипотезу, чем вообще под никакую», ибо только наличие гипотезы структурирует исследование и придает ему четкую направленность на выяснение закономерности».

Осенью и зимой 1959–1960 годов в Ленинграде мы втроем – Стас, Михаил и я – нередко отправлялись после работы в многочисленные тогда различного рода питейные заведения от «Щели» на Исаакиевской площади в здании «Астории» или забегаловки «У Петьки-кабатчика» на улице Печатников до ресторанов «Метрополь» и «Кавказский». Идейным вдохновителем этих загулов был все тот же Стас. Однажды, после посиделок в ресторане «Восточный», я вдруг вспомнил, что мне надо идти выступать со стихами в ДК имени Первой пятилетки, где тогда читали стихи поэты из объединения Семенова. Стас и Михаил тут же заявили, что стихи – это как раз то, чего им сейчас не хватает, и они должны обязательно идти вместе со мной. Михаил, посаженный мною в зрительный зал, начал тут же шуметь и требовать «немедленного выхода Городницкого», а отставший от нас Станислав заблудился и попал на другой этаж Дома культуры, где в точно таком же зале заканчивалась лекция по антирелигиозной пропаганде. «Так вот, – завершал свое выступление лектор, – теперь вы ясно видите, что бога нет». – «Неправда, – выкрикнул от дверей вошедший Стас, – Бог есть!». Его тут же забрали в милицию, где он пытался объяснить, что забирать его никак нельзя, поскольку у него «двойное пролетарское происхождение – он сын крестьянки и двух рабочих».

Другой раз, в Игарке, по окончании полевых работ, он в пьяном виде начал гоняться за начальником экспедиции Злобиным со стулом в руках. Вынужденный на следующий день написать объяснительную записку, он начал ее так: «В тот вечер, выпив скверного коньяку…» Вместе с тем работоспособности он

был нечеловеческой. Мог сутками пропадать на обнажении или сидеть за микроскопом. Жадно поглощал всю научную литературу, неизвестно где доставая оттиски статей, у нас не издававшихся. Неукротимый характер Стаса, широкий научный кругозор и безусловный талант исследователя предвещали ему блестящее будущее. Случилось, однако, иначе. В начале июля следующего, 60-го, года он погиб на реке Северной, неподалеку от того места, где стояли наши палатки на Колю.

В тот год мы с Ивановым остались в Ленинграде защищать отчет предыдущей экспедиции, а Станислав поехал на весновку с отрядом, чтобы осмотреть новые рудопроявления и наметить фронт разведочных работ. Помню, мы провожали его в мае в ресторане-поплавке на Петроградской, где немало было выпито шампанского и сказано заздравных тостов. Станислав улетел в Игарку, откуда еще по снегу высадился с отрядом в район среднего течения притока Нижней Тунгуски – реки Северная (старое эвенкийское название этой реки – Тымера, что по-русски значит Опасная). Здесь, примерно на сто пятнадцатом километре выше устья реки, они встали лагерем, чтобы, как только сойдет снег, начать осматривать близкие медно-никелевые рудопроявления и вскрывать их канавами и шурфами. Начальником партии был Стас – самый молодой в ней по возрасту. А дальше произошло следующее. Когда сошел снег, надо было кому-то отправляться вниз по течению реки Северной, чтобы посмотреть выходы коренных пород вдоль берега. Погребицкий вызвал для этого из Туруханска вертолет, но тот не пришел. Его ждали день, другой, третий. А время уходило. Наконец Стас психанул, приказал всем продолжать разведочные выработки на старом месте, а сам, погрузившись в резиновый «клиппербот» и взяв палатку и продукты на два-три дня, стал сплавляться по реке один, чем сразу нарушил одно из главных правил работы в тайге – никогда не ходить в одиночку. Приказать ему, однако, было некому – он был самый главный.

Река Северная в том месте, где стоял отряд Стаса, спокойно течет в пологих песчаных берегах, и шириной она метров около трехсот. А вот ниже, на сто первом километре от устья, где песчаники сменяются базальтами, она резко сужается и входит в глубокий базальтовый каньон с отвесными и скатанными – не зацепиться – стенами, и, пенясь, бурля, идет, набирая скорость, как лыжник на трамплине, к огромному порогу в нижней части ущелья с водосливом около десяти метров. Напротив водослива – отвесная скала, а под ним кипит, бешено крутясь, стремительный поток. Еще за год перед этим нам пришлось наблюдать, как входят в это проклятое место деревья, смытые половодьем. Из

водоворота они выскакивают на поверхность – как из лесопилки – с обломанными ветвями и ободранной корой.

Станислав прекрасно знал, что место это на плаву непроходимо, и, конечно, не собирался этого делать. Что стряслось – так и осталось навсегда загадкой. Может быть, он, слишком близко подойдя на лодке к каньону, не успел выгрести к берегу? Одет он был, ввиду холодного времени, в меховую куртку и сапоги с длинными голенищами. Рюкзак и геологический молоток были привязаны к борту лодки, которую с одним пробитым отсеком выкинуло на мелководье на отмель тремя километрами ниже по течению. Станислав же бесследно исчез. Судя по всему, он остался в этом каменном мешке под водоворотом. Таким же именно образом, спустя пару лет, на этом же месте погиб турист из Новосибирска.

В день, когда все это случилось, я прилетел из Питера в Туруханск. И уже на другой день, поскольку поиски с самолетов и вертолетов ничего не дали, я в составе группы из трех человек на двух резиновых лодках (в том числе и на его бывшей) отправился на поиски пропавшего без вести Стаса вдоль всей реки Северной – до самого ее устья. Не дай бог никому искать погибшего товарища, с которым недавно смеялся в аэропорту, провожая его, когда, увидев в бинокль труп собаки, лениво покачивающийся в речной заводи, устраиваешь за ним настоящую охоту. Медленно двигаясь вдоль берегов и обыскивая кусты, отмели, заросли речной травы и островки, мы перемещались к устью. На пути и сами попали пару раз в тяжелые пороги и, пропоров свои надувные лодки и утопив рацию, надолго застряли без связи с базой. Только на шестые сутки, выйдя наконец к Нижней Тунгуске и встретив там катер новосибирской экспедиции, мы включились с помощью их радиостанции в приемное время в эфир на нужной частоте, и я услышал радиопереговоры между заместителем начальника нашей экспедиции Петуховым, находившимся в Туруханске, и начальником Ушаковым, находившимся в Курейке. Из разговора было ясно, что каждый из собеседников винит другого в том, что «пропала без вести группа Городницкого», и снимает с себя ответственность.

Стаса Погребицкого так и не нашли. Памяти его посвящены написанные тогда стихи, напечатанные в моей первой книге «Атланты», и песни «За белым металлом» и «Перекаты». За долгие годы экспедиций на Крайнем Севере и в океане мне неоднократно приходилось терять товарищей, но эта ранняя гибель Стаса запомнилась мне на всю жизнь.

Первая песня, посвященная его памяти, стала потом чем-то вроде безымянного марша геологов, работавших на Крайнем

Севере:

В промозглой мгле – ледоход, ледолом.
По мерзлой земле мы идем за теплом:
За белым металлом, за синим углем,
За синим углем да за длинным рублем.

И карт не мусолить, и ночи без сна.
По нашей буссоли приходит весна.
И каша без соли пуста и постна,
И наша совесть – чиста и честна.

Ровесник плывет рыбакам в невода,
Ровесника гонит под камни вода.
А письма идут неизвестно куда,
А в доме, где ждут, неуместна беда.

И если тебе не пишу я с пути,
Не слишком, родная, об этом грусти:
На кой тебе черт получать от меня
Обманные вести вчерашнего дня?

В промозглой мгле – ледоход, ледолом.
По мерзлой земле мы идем за теплом:
За белым металлом, за синим углем,
За синим углем – не за длинным рублем!

Судьба второй песни, «Перекаты», тоже, конечно, безымянной, сложилась несколько иначе. В ней тоже речь шла о человеке, идущем по непроходимой реке:

Все перекаты да перекаты —
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты —
Плыву вперед по абрису.

А где-то бабы живут на свете,
Друзья сидят за водкою…
Владеют камни, владеет ветер
Моей дырявой лодкою.

К большой реке я наутро выйду,
Наутро лето кончится,
И подавать я не должен виду,

Что умирать не хочется.

И если есть там с тобою кто-то, —
Не стоит долго мучится:
Люблю тебя я до поворота,
А дальше – как получится.

Все перекаты да перекаты —
Послать бы их по адресу!
На это место уж нету карты —
Плыву вперед по абрису.

Однако наши туристы, народ молодой и жизнерадостный, быстро взяли ее на вооружение и разнесли по всей стране, как лихую развеселую песню. В начале 60-х годов столь любимый мною Марк Бернес, выступая по телевидению, заявил: «Сейчас среди молодежи пользуется большой популярностью песня, где есть такие слова: «Люблю тебя я до поворота, а дальше – как получится». Я против такой любви».

Несколько лет назад накануне Дня геолога (первое воскресенье апреля) меня пригласили выступить коллеги в Институт геологии и разработки горючих ископаемых. Прибыл я к ним около часу дня, и, хотя день был рабочим, обнаружил, что трезвых сотрудников осталось не так уж много. Когда я попытался войти в зал, где должно было состояться выступление, навстречу мне, дохнув на меня могучим перегаром и чуть не сбив меня с ног, вывалились два разгоряченных верзилы, торопившиеся продолжить праздник. Один из них, поддерживая приятеля, сказал: «Федя, может, останемся барда послушать?» – «А чего их слушать, дерьмо современное?» – удивился второй. «Давай лучше нашу споем». И они ушли по коридору, распевая: «Все перекаты да перекаты…»

В 2007 году я впервые попал в Иркутск, где у меня был авторский концерт в филармонии. Стояла ранняя осень. Большой зал филармонии был полон, но директор сокрушенно сказал мне: «Какие-то странные люди на вас пришли. Я их до этого никогда в филармонии не видел». Оказалось, что, узнав о моем приезде в Иркутск, множество геологов из окрестных полевых партий, с Байкала, из тайги приехали посмотреть на меня. Прибыли они на концерт, одетые совсем не театрально – в штормовках и полевом весьма потертом снаряжении. Кто-то даже на вездеходе приехал. В перерыве я вышел в фойе и услышал, как один здоровый бородач за моей спиной говорит другому: «Интересный

человек к нам приехал, он все наши песни знает».

Несчастный тот сезон 60-го года выдался самым, пожалуй, тяжелым и драматичным. Более месяца потратив на безуспешные поиски Погребицкого, мы не успевали выполнить до наступления осенней непогоды запланированных поисково-разведочных работ. Кончался сентябрь, когда, завершив наконец работы, мы с помощью оленей перетащили два десятка ящиков с образцами найденной нами руды в центральный лагерь на реке Колю и, отпустив каюров с оленями, вызвали самолет. На вид образцы были богаты никелем – сплошной металл! Но окончательный ответ о его содержании мог дать только спектральный анализ. Шел мелкий, сухой по-зимнему снежок. Прилетевший на второй день пилот сказал: «У меня строгий приказ – брать только людей. Все имущество бросайте до следующего года. Циклон идет». Как это – бросить имущество, которое на нас числится? Ящики с бесценными образцами, содержащими, как нам казалось, промышленные запасы никеля? Ведь это значит похоронить только что открытое месторождение, возможно – новый Норильск.

Жажда подвига и безответственность бродили в наших незрелых умах. И мы с Ивановым заявили своим коллегам: «Ящик с образцами – семьдесят килограммов, и человек – столько же. Мы двое ставим вместо себя ящики и остаемся ждать следующего рейса. Кто с нами?» Охотников таких набралось вместе с нами семь человек, тем более что лёту до Туруханска было всего не более получаса и пилот сказал, что постарается вернуться. Вернулся он, однако, только через месяц.

Этот месяц, проведенный в напрасном ожидании самолета, без продуктов, с вышедшей на второй день из строя рацией, в непроходимой замерзающей тайге, стал мне хорошей школой на всю последующую жизнь. Первое, что я окончательно усвоил тогда – это пустоту и лживость уже упомянутых мною наших детских иллюзий времен челюскинцев, бездумной уверенности в том, что «в нашей стране человеку не дадут погибнуть». Еще как дадут! Оказывается, авиаотряд в Туруханске связался с базой нашей экспедиции, где летчиков уверили, что продуктов у нас – минимум на два месяца, так что можно особенно не беспокоиться. А было их – на неделю. Но виновато было не начальство, а мы с Михаилом, забывшие о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ставить во имя сомнительных открытий и легкомысленных амбиций под угрозу жизни людей, за которых отвечаешь.

Больше всего мучились наши курильщики. Сначала они разбирали полы палаток и искали под ними старые окурки, потом

стали жарить на костре березовые листья и пытались их курить. Их нечеловеческие мучения навсегда отбили у меня охоту к курению. Лично у меня самые неприятные ощущения начались тогда, когда кончилась соль. А потом вообще все кончилось, и самое трудное было заставить себя и других каждый день расчищать площадку от снега в бесплодной надежде на прилет самолета. А снег все валил и валил…

Когда самолет все-таки сел, площадку уже давно никто не расчищал, а нас тащили волоком и долго потом откачивали в Туруханске. Примерно через месяц после этого, уже в Ленинграде, мой товарищ застал меня дома за обедом накануне планируемого у него на следующий день дружеского застолья. «Еды готовь побольше, еды», – заявил он жене, вернувшись домой.

Самое обидное, что в образцах, таких богатых с виду, на которые мы с Михаилом возлагали самые радужные надежды и из-за которых, не задумываясь, поставили на карту не только свои, но и чужие жизни, промышленных содержаний никеля не оказалось. Так невесело кончилась для меня детская романтика быстрых и героических открытий. Итогом же месячного голодания в осенней тайге стала песня «Черный хлеб»:

Я, таежной глушью заверченный,
От метелей совсем ослеп.
Недоверчиво, недоверчиво
Я гляжу на черный хлеб.

От его от высохшей корочки
Нескупая дрожит ладонь.
Разжигает огонь костерчики,
Поджигает пожар огонь.

Ты кусок в роток не тяни, браток,
Ты сперва погляди вокруг:
Может, тот кусок для тебя сберег
И не съел голодный друг.

Ты на части хлеб аккуратно режь:
Человек – что в ночи овраг.
Может, тот кусок, что ты сам не съешь,
Съест и станет сильным враг.

Снова путь неясен нам с вечера,
Снова утром буран свиреп.
Недоверчиво, недоверчиво

Я гляжу на черный хлеб.

Михаил Константинович Иванов, замечательный геолог и одаренный художник, умер в 1998 году, окончательно подорвав здоровье многолетними экспедициями, курением, приведшим к ампутации ног, и алкоголем, отвыкнуть от которого он так и не смог. Помню, в конце 60-х удалось показать пару раз его картины и рисунки по телевизору, однако потом все это как-то заглохло, да и сам он, занятый повседневной работой, уделить серьезное внимание своей живописи не мог. Михаил был человеком удивительно разносторонним – до того как поступить в Ленинградский университет на геологический факультет, он успел закончить еще и музыкальную школу по классу фортепиано. Помню, во время очередного нашего загула втроем у кого-то в доме, где был рояль, он сел за него и, к великому нашему удивлению, начал играть Шопена. Потом, неожиданно оборвав игру, заявил: «Ведь когда-то я любил тонкие и красивые вещи. А потом подружился с Городницким – и все!» У меня дома над письменным столом много лет висит карандашный портрет его работы, на котором он изобразил меня на описанной выше весновке в 1959 году, напоминая о нашей неразлучной когда-то троице.

Ностальгией позднею охвачен,
О своей задумавшись судьбе,
Вспоминаю реку Горбиачин,
Вспоминаю реку Кулюмбе,
Где когда-то мы сидели вместе
С экспедиционным багажом,
И скрипела банка желтой жести
Под тупым охотничьим ножом.
Комары над ухом пели тонко,
Перекат шумел невдалеке,
Плавилась китайскяя тушенка
В закопченном черном котелке.
На стене висит теперь кинжал сей,
Снятый с сыромятного ремня,
Я один на свете задержался
Из троих, сидевших у огня.
К темному прислушиваясь гуду,
Талым снегом спирт не разведу,
Никогда теперь уже не буду
В том незабываемом году,
Где в одежде латаной казенной,

Золоченом гнусе и пыли,
Мы шагали дружно к горизонту,
Небо отделяя от земли.

В последующие два года мне довелось руководить большой геофизической партией, которая работала на реке Сухарихе, неподалеку от Игарки, где были обнаружены медные и халькозин-борнитовые руды с редкометалльным оруденением, и надо было проследить рудные тела с помощью электроразведки для последующего разведочного бурения. Работы эти проводились по договору с Красноярским геологическим управлением и были хотя и тяжелыми, но привязанными к одному месту, так что прежней «съемочной» экспедиционной экзотики в них уже не было, а был жесткий производственный план да постоянная боязнь, что заданная тобой под геофизическую аномалию скважина не вскроет рудного тела. Не имея тогда опыта работ, я с наивностью школяра верил в могущество геофизики, как выяснилось позднее, совершенно напрасно.

Дуракам, однако, везет. В 1995 году мы вместе с Юлием Кимом были членами жюри на фестивале авторской песни в Норильске, где я не был более тридцати лет. Меня как почетного гостя пригласили в Норильскую комплексную геологическую экспедицию, где торжественно вручили образец медистого песчаника и показали бережно хранящийся в фондах мой давний отчет о работах Сухарихинской геофизической партии за 1962 год. Оказалось, что одна из заданных мной много лет назад скважин, видимо, «дуриком» вскрыла рудное тело. Так я неожиданно для себя попал в число первооткрывателей Игарского медно-рудного поля.

Экзотические события тем не менее все-таки случались. Неподалеку от нас, ниже по течению реки Сухарихи, стояла большая производственная разведочная партия Красноярского геологоуправления, в которой было около десятка геологов и шесть десятков буровиков, большей частью из бывших зэков, людей пьющих и отчаянных. Женщин у них в партии не было совсем, и поэтому, бывая у нас по-соседски в гостях, они, и прежде всего бригадир буровиков – огромного роста рыжий детина, которого все звали просто Федя, положили глаз на нашу лаборантку Нину Козлову, отличавшуюся высокой грудью, кокетливой улыбкой и пышными светлыми кудрями.

В конце августа во всех геологических партиях в те поры шумно и пьяно отмечали Всесоюзный день шахтера – собственного дня тогда у геологов еще не было. Как раз накануне

основной отряд геофизиков из нашей партии отбыл на соседнюю речку Гравийку, чтобы начинать там новый полигон. В старом лагере, кроме меня, остались только старик-повар, один молоденький практикант и Нина Козлова, занимавшаяся вычерчиванием какой-то отчетной карты. Мы не знали, что к нашим соседям по случаю праздника завезли самолетом из Игарки десять ящиков спирта. Вечером того же дня до нас донеслись беспорядочная ружейная пальба, рев тракторов, и в небо над лесом одна за другой взлетело несколько ракет. «Гуляют ребята», – равнодушно, хотя и не без зависти, произнес старик повар и, постукивая деревянной ногой, на которую сменил свою на каком-то лагерном лесоповале, отправился спать. Посреди ночи я неожиданно проснулся в своей маленькой холодной палатке от явственного рокота приближавшегося трактора. Выйдя из палатки и поеживаясь от предутреннего холода, я заметил в рассветных сумерках приближающийся трактор, к которому были прицеплены большие тракторные сани. На санях размахивала руками и орала что-то бессвязное пьяная орава. Увидев меня, все обрадовались и радостно засвистели. «Саня, – заорал появившийся из кабины трактора Федя, – ты не бойся нас, мы тебя не тронем! Только Нинку нам выдай – и все. А то мужички мои без баб сильно оголодали».

И тут, как назло, из-за моего плеча вынырнула неизвестно откуда возникшая Нинка. До нее явно дошел смысл сказанного. Она побледнела и затряслась. «Беги ты в лес куда-нибудь», – с досадой шепнул я ей, хотя, сказать по правде, и не уверен был, что от той оравы удастся убежать. Трактор тем временем опять неторопливо двинулся к нам. Что было делать? Выдать ее, а потом повеситься? Я кинулся в свою палатку, где около спальника валялся старый трехлинейный карабин, и, схватив его, судорожно запихнул в пустой магазин случившуюся неполную обойму с четырьмя патронами. Другой обоймы нигде обнаружить не удалось. Махнув рукой, я выскочил из палатки навстречу приближающемуся тракторному гулу.

Трактор и сани были уже метрах в ста пятидесяти. Увидев меня с карабином, Федя снова остановил трактор и крикнул: «Ты смотри не балуй, а то мы тебя самого, жидяра, враз пришьем. А Нинка все одно наша будет». Трактор опять затарахтел и двинулся в мою сторону. Тогда, ошалев от страха, но вспомнив неожиданно давние уроки военного дела, я залег прямо перед палаткой и дрожащими пальцами поставил планку прицела на 150 метров, наведя ходившую ходуном мушку на лобовое стекло тракторной кабины. Что теперь делать, неужели стрелять? И тут опять некстати появилась проклятая Нинка. Ее зареванный вид с

растекшейся от ресниц тушью был ужасен. Обезумев от страха, она кинулась ко мне и, обхватив руками, громко стала кричать от страха, мешая целиться. Бабахнул выстрел, и пуля пошла куда-то вверх. Трактор тем не менее остановился. «Ах, ты так, гад?! – крикнул снова вылезший Федя. – Ну, погоди. Пошли, ребя!» И вся ватага, человек пятнадцать, покинув сани, уверенно направилась в нашу сторону. «Беги», – яростно зашипел я на Нинку, и она, увидев вдруг мое перекошенное от страха лицо, ойкнув, скрылась куда-то.

Я залег снова. «Стой – стрелять буду!» – каким-то чужим казенным голосом неуверенно крикнул я идущим. «Только попробуй, сука», – широко осклабясь, ухмыльнулся Федя. И тут, когда до идущих, а шли они плотной кучей, нисколько меня не боясь, оставалось уже метров пятьдесят – не больше, я, вдруг успокоившись, старательно прицелился прямо в широкую Федину голову чуть пониже его неизменной, несмотря на лето, ушанки и, задержав дыхание, как учили, плавно нажал на спуск. Федя упал. Я даже поначалу думал, что убил его, но, как оказалось потом, пуля только чуть оцарапала кожу на голове и сбила ушанку, а упал он от испуга. Тут же залегли и все остальные и, громко матерясь, начали отползать к саням. Они-то ведь не знали, что у меня осталось только два патрона! «Ну, погоди! – заорал уже оправившийся Федя. – Мы сейчас к себе в лагерь за ружьями смотаемся и тебя, падла, изрешетим. А Нинка все одно наша будет!»

В редеющих уже утренних сумерках затарахтел отъезжающий трактор, волоча за собой сани с матерящимися хмельными пассажирами. Через полчаса, отыскав в кустах спрятавшуюся там Нинку, я немедленно отправил ее на Гравийку, в другой отряд, вместе с практикантом, напуганным не меньше меня, а мы с одноногим поваром остались в лагере.

Уже под вечер снова раздалось знакомое пыхтение трактора. Никакой вооруженной ружьями команды он, однако, не привез. «Саня, – заорал радостно «подстреленный» Федя, заблаговременно притормозив перед лагерем и выскочив из кабины, – не стреляй, мириться едем!» На тех же тракторных санях позвякивал ящик со спиртом, рядом стоял еще один с китайской свиной тушенкой «Великая стена». Вокруг ящиков сидели присмиревшие гуляки. По-видимому, бояться было нечего. «Прости, друг, – заявил, похмелившись, Федя, – черт попутал. Ты, главное, в голову не бери и шума из-за того не поднимай. Здесь у нас закон – тайга, медведь – хозяин, так что сами разберемся, понял?!»

Клены горбятся понуро,
Ветки бьются о стекло.
Что минуло, то минуло,
Устаканилось, прошло.
Я на север нелюдимый
Улетал, покуда мог,
Над дрейфующею льдиной
Зябкий теплил огонек.
Страх, под пьяным стоя дулом,
Не выказывал врагу,
Стал от тяжестей сутулым,
Спал на шкурах и снегу.
Ветки желтые рябины,
Спирта синего напалм.
Я палил из карабина, —
Слава Богу, не попал.
Я на рею, горд безмерно,
В качку лез, полунагой,
В припортовую таверну
Дверь распахивал ногой,
В океанские глубины
Погружался и всплывал,
А тогда из карабина,
Слава Богу, не попал.
Я искал лихие рифмы
И любил неверных жен,
Я коралловые рифы
Расковыривал ножом.
Звезд подводные рубины
Добывая, вспоминал,
Что, паля из карабина,
Слава Богу, не попал.
Облаков седая грива,
И осеннее пальто.
Я судьбе своей счастливой
Благодарен не за то,
Что подруг ласкал любимых,
Что не слишком век мой мал:
Что, паля из карабина,
Слава Богу, не попал.

Главной нашей утехой и отдыхом при работах на Сухарихе, впрочем, как и всегда при полевых работах на Севере, была,

конечно, баня. Не зря существуют старые геологические поговорки: «В Арктике грязь – стерильна» или «Хорошо себя чувствуешь после бани – особенно первые четыре месяца». Готовились к ней тщательнейшим образом. На берегу реки опытные умельцы складывали каменку из базальтовых валунов. При этом придирчиво разглядывали каждый камень – трещиноватых, «сырых», не брали. Камнями этими обкладывалась буржуйка, сверху заранее устанавливался деревянный каркас для палатки. Топилась буржуйка преимущественно березовыми дровами до такого состояния, чтобы каменная кладка раскалилась. После этого на каркас быстро натягивалась самая плотная брезентовая палатка, сверху еще и тент, чтобы тепло держалось. На раскаленную каменку плескалась первая шайка воды (чтобы дурной пар сошел), и баня была готова. Ставилась палатка у самой реки выходом к воде, так что можно было, распарившись до отказа и вытравив из своего измученного тела всю многодневную грязь и усталость вместе с волдырями от комаров и кровавыми расчесами от мошки, плюхнуться с первобытным радостным криком в ледяную речную воду, холод которой начинаешь ощущать только через минуту-другую, да и то как слабое и приятное покалывание, бодрящее и освежающее твое такое непривычно белое новорожденное тело.

Веники готовили заранее из молодого березняка. Их ошпаривали и вымачивали в душистом квасе, приготовленном из сухарных крошек. От этого над баней стоял свежий хлебный дух, вызывавший здоровый аппетит. Спирт по случаю бани также разводился и настаивался заранее, обычно на клюкве или поспевающей уже бруснике, а запивали его ледяной брусничной водой.

Парились основательно, в два или три захода. Сначала березовым веником, не стегая им по телу, а медленно нагоняя жгучее облачко пара и проходя им с мазохистскими стонами от пяток вдоль всей спины до самой макушки. Потом, отдохнув в спасительной прохладе воды, возвращались назад и ожесточенно хлестались вениками до той поры, пока тела из белых не становились медно-красными с бронзовым отливом. Профессионалы часто использовали, наряду с березовыми, пихтовые веники, утверждая, что только пихтовые иголки дают необходимый эффект, а старый полярник и поэтому профессиональный радикулитчик Коля Тимофеев, перед тем как париться «начисто», обмазывал себя специально для этого привезенным медом, уверяя, что если париться с медом, то «все поры вывернутся наружу, как перчатка».

Бане, устраивавшейся перед выходным днем, предшествовали

обычно специальные ловля рыбы и варка ухи, сначала из мелкой второсортной рыбы, а по второму разу, в том же бульоне, – из благородного хариуса – северной форели.

Поскольку партия наша на Сухарихе состояла практически из одних мужиков, то единственную нашу даму, упомянутую уже Нинку, которая сильного пара не выносила и мылась поэтому значительно позже, отправляли на другой край лагеря, а сами вольготно разгуливали нагишом, справедливо полагая, что в дикой тайге женщинам взяться неоткуда. Именно так однажды, в конце августа 1962 года, мы и блаженствовали, остужаясь после пара в мелководной Сухарихе, когда из-за близкого речного поворота, не более пятидесяти метров от нас, неожиданно выскочили две резиновые лодки, на которых явственно пестрели женские косынки. Встать из воды мы уже не могли, поэтому пришлось лежа объяснять столь внезапно возникшим гостям сложность ситуации, которая усугублялась тем, что лодки их могли плыть только вниз по течению, а обратно за поворот – нет, так что мы были вынуждены, замерзая, ждать до тех пор, пока они пристанут к берегу и удалятся из зоны видимости.

Так появился в нашем лагере «тематический отряд» Татьяны Стриженовой из Ленинградского нефтяного института в составе трех женщин и двух рабочих – контингент для Севера довольно нетипичный. О самой Стриженовой к тому времени в Туруханском крае ходили самые фантастические легенды. Говорили, например, что она на пари с геологами-мужчинами высосала без закуски через соску две поллитры, и ни один мужчина не то что превзойти, но даже повторить этот подвиг не смог. Легенда утверждала также, что в прошлом году она прыгала, опять же на пари, на резиновой лодке с Большого Кулюмбинского порога и выиграла два ящика водки, которые подарила своим работягам. Рассказывали также всякие небылицы о ее полном бесстрашии по отношению к любому начальству и различного рода сексуальных подвигах. Сама героиня мифов оказалась худощавой и черноволосой, цыганистого типа женщиной с постоянной папиросой в углу сильно накрашенного рта и большой пиратской золотой серьгой в левом ухе. Затянута она была в редкие еще в то время американские джинсы, заправленные в резиновые сапоги, и тельняшку с глубоким вырезом. На шее болтался свободно повязанный красный прозрачный платок – «андалузка». На голове красовалась широкополая шляпа сомбреро, а на правом бедре, на настоящем американском поясе-патронташе, отсвечивал черной вороненой сталью шестизарядный «кольт». Сопровождавшие девицы, явно подражая ей, обряжены были в аналогичные тельняшечки с

«андалузками» и широкополые шляпы. Только вот на бедрах у них вместо «кольтов» висели простые охотничьи ножи. Три розовые палатки пришельцев, к бурной радости нашего немногочисленного, но гостеприимного мужского коллектива, спустя полчаса были установлены внутри лагеря, между нашими – зелеными. Гостям была обеспечена баня, и развернулся могучий праздник, тем более что недостатка в спиртном не испытывали ни мы, ни гости. Польщенный явным вниманием столь легендарной личности, как Стриженова, я по наивности и представить себе не мог, что визит ее к нам совсем не «попутный», как она нам объяснила, а попросту я поставлен в план ее очередных подвигов. Это меня в ту пору, правда, вряд ли могло бы смутить.

На следующее утро над нашим лагерем начал кружиться неожиданно прилетевший из Игарки самолет, улетевший затем обратно, и стриженовские рабочие, вошедшие за ночь в большой дружеский контакт с нашими, пояснили, что это, судя по всему, прилетал ее муж, тоже геолог, грузин, да еще и страшно ревнивый, хотя, понимающе вздохнув, добавили они, о такой жене не позавидуешь. Сама Татьяна на эту воздушную инспекцию реагировала довольно равнодушно и тут же потащила меня в совместный маршрут.

На следующий день гости двинулись вниз к устью Сухарихи, где их должен был забрать катер, а вместе с ними отправился в Игарку и я, поскольку обещанный мне вертолет, как всегда, был отменен. К вечеру пришли на берег Енисея, где катера не оказалось. Поэтому поставили там палатки, выбрав место потише, так как поднялся сильный ветер, и устроились на ночлег. Пытались развести костер, но его сильно задувало порывами ветра, поэтому, согрев кое-как чайник, расползлись по спальникам в ожидании утра.

Утро встретило нас настоящим штормом. Палатки, хотя и стоявшие в укрытии за кустами на второй грядовой террасе, вздувались, как паруса, на ослабевших веревках, угрожая их оборвать. Такие случаи бывали нередко. Вспоминаю, как в 1957 году на Тянь-Шане, на Тахталыкской гряде, где я был на преддипломной практике, нас застал внезапно налетевший в сентябре шквал со снежным зарядом на высоте около трех тысяч, на перевале, где мы встали лагерем. Мы сидели вчетвером в палатке, надежно закрепив ее на распорках и привязав опорные колья к таким глыбам, которые ничем, кажется, сдвинуть было нельзя, и, напившись кофе, играли в карты. На столе уютно светила керосиновая лампа, создавая иллюзию домашнего уюта. Снаружи, правда, бушевал ветер и мела налетевшая метель, но

мы-то были внутри и чувствовали себя прекрасно. Вдруг палатка над нами напряглась и зазвенела, как натянутая струна, под необычно резким порывом ветра. С пушечным громом одновременно лопнули все четыре веревки, и наш еще минуту назад такой надежный дом, мелькнув, как ковер-самолет, и, махнув нам крылом на прощание, улетел в ближайшую пропасть. Повалилась, погаснув, лампа. Тонко зазвенело разбитое стекло. И посреди пустынного горного перевала, в полной темноте, под снегом и воющим ветром, остались сидеть четыре идиота с картами в руках.

Здесь, в устье Сухарихи, ветер тоже гулял вовсю, грозя сорвать и унести кокетливо-розовые польские палатки Татьяниного отряда. Они выгодно отличались от обычных наших, имевших грязно-зеленый цвет, тем, что мы утром всегда просыпались в зеленых сумерках, и каждое пробуждение встречало нас пасмурным днем, а в розовой палатке каждый новый день был солнечным независимо от погоды. Вместе с тем эти изящные, психологически продуманные туристские сооружения не были рассчитаны на полярную осеннюю погоду и бились на привязи, подобно европейским птицам, застигнутым внезапной сибирской осенью, при попытке улететь на юг.

Выбравшись из палатки, чтобы закрепить ее, мы увидели, что на Енисее гуляет настоящий шторм. Огромные серые волны, набегая из мутного снежного тумана, разбивались о прибрежные камни. В последующие годы мне много пришлось увидеть штормов и даже ураганов в океане, в том числе – осенних тайфунов вблизи Курильских островов и ураганов в юго-восточной части Тихого океана, на полюсе относительной недоступности. Никогда, однако, даже когда мы в 62-м году терпели бедствие на паруснике «Крузенштерн» в Северной Атлантике у берегов Канады и крен достиг критической величины, шторм не казался таким грозным, как на Енисее. Может быть, дело в том, что на судне ты не предоставлен самому себе и разделяешь общую, пусть неминуемую, судьбу, борешься вместе со всеми, действуешь по команде и никогда не чувствуешь себя одиноким? Здесь же ты оказываешься с грозной стихией один на один и можешь полагаться только на собственную твердость духа (если она у тебя есть) и незначительные физические силы.

Мне несколько раз приходилось попадать в переплет на воде. Один раз в 57-м году на осеннем Енисее, на моторке, когда заглох мотор и лодку начало заливать и топить, и все-таки, несмотря на наши жалкие потуги, вычерпать воду, потопило, хотя и недалеко от берега, и мы «выруливали» вдвоем с мотористом Геной

Седельниковым на пустой бочке из-под солярки.

Другой раз в том же году, уже на маленьком буксирном катере, который после хлипких байдарок показался мне непотопляемым дредноутом. Капитан и моторист, постоянно бившие себя в синие от татуировки груди и рассказывавшие чудовищные морские истории, видя мое детское любопытство, тут же предложили мне постоять на руле, объяснив нехитрое управление катером и повесив мне на шею бинокль, а сами пошли в кубрик допивать. Так я, польщенный доверием, и вел катер по хмурому сентябрьскому Енисею от Игарки до Туруханска, пока к концу суток не задремал за рулем и, перепутав спросонок белые бакены с красными и сойдя с фарватера, лихо посадил катер на мель, поломав перо руля. Сильной волной потерявший управление катер начало гулко бить о камни. Надо сказать, что реакция у экипажа, казалось бы, мертвецки спавшего в кубрике, уронив головы на стол и отпугивая редких комаров запахом перегара, была моментальной. Услышав первый гулкий удар по железу, они с криком «полундра» выскочили из кубрика наверх, причем сапоги у них уже были сняты…

Еще одно мое купание на лодке в шторм случилось в августе 1972 года, когда мы стояли на рейде в Обской губе на сухогрузе финской постройки типа «река-море», который перегоняли с караваном судов по трассе Северного морского пути из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Обская губа вблизи устья широка, как залив, да и погода в ней под осень переменчива. Мы ходили на мотоботе на берег, на ближайшее стойбище, закупать оленину, вернее, не закупать, а менять на спирт. Весь день мы пробыли на берегу и обратно на рейд возвращались уже в полной темноте, да еще налетевший внезапно западный ветер развел немалую волну. Моторист наш впотьмах, хотя судовые огни были видны ясно, перепутал подветренный и наветренный борта, шлюпку стукнуло набежавшей волной о борт прежде, чем успели передать с нее конец, накренило, и следующая волна перевернула ее. Все мы оказались в воде, холода которой (а была она градусов пять-шесть самое большее) я, например, совершенно не почувствовал, так же, как и страха. Все бодро поплыли к борту, стараясь ухватиться на гребне волны за скользкие деревянные ступеньки выброшенного штормтрапа. И хотя были мы все в куртках и сапогах, никогда в жизни мне не плавалось так легко. Нас извлекали по одному. Потом выловили и перевернутую шлюпку. Горячий душ и стакан спирта избавили меня от нервного шока и верной простуды.

Вернемся, однако, на берег Енисея в сентябрь 1962 года.

К середине дня, сквозь вой ветра и глухие удары набегающих волн, мы неожиданно услышали негромкое, но явное тарахтение движка. Шторм тем не менее не утихал. «Неужели катер?» – обрадовались Татьянины девицы. Это был, однако, не катер. Подлетая и снова пропадая среди свинцовых волн, с трудом борясь с волнением и ветром, со стороны Игарки к нашему берегу медленно перемещалась открытая дюралевая моторка, на которой съежились под зелеными, насквозь промокшими плащами два человека. Отважиться в такую погоду плыть по Енисею на плоскодонной дюральке, которая моментально переворачивается при первом же отказе ненадежного подвесного мотора, мог только сумасшедший. Примерно так оно и было, поскольку им оказался уже упомянутый встревоженный муж, невысокого роста курчавый человек с нервным и измученным лицом, больше похожий не на грузина, а на еврея, уж не знаю как уговоривший своего моториста отправиться с ним. Прибывших переодели, отогрели и накормили. К вечеру шторм начал стихать, но катера все не было, поэтому деваться все равно до следующего утра было некуда.

Ближе к ночи развели костер и выпили спирта, но, несмотря на шумные разговоры и смех, вокруг костра возникла какая-то странная напряженность, усиливавшаяся мрачным молчанием старавшегося не смотреть в мою сторону Володи (так звали супруга) и вызывающим поведением подчеркнуто не отпускавшей меня от себя Татьяны. Все ждали неминуемой развязки. У Володи на ремне болталась кобура с «наганом», у меня же вообще никакого оружия с собой не было. Да если бы и было, что толку? «Саня, спой что-нибудь», – попросила Татьяна, блеснув откровенно злым взглядом на мужа. Я, конечно, умом понимал остроту ситуации, но какой-то недобрый азарт вел меня, заставляя позабыть об осторожности и бездумно толкая на темное озорство. Пьяное бахвальство бродило в моей дурацкой голове. И я, вызывающе глядя на окружающих, громко запел услышанную незадолго перед этим в Москве отчаянную «женскую» песенку, написанную, как позже оказалось, Александром Дуловым:

Ой-ей-ей, я несчастная девчоночка,
Ой-ей-ей, вышла замуж без любви.
Ой-ей-ей, я нашла себе миленочка,
Ой-ей-ей, милый муж мой, не гневись,
Ах, зачем любила я,
Зачем стала целовать?
Хошь режь меня, хошь ешь меня,
Уйду к нему опять.

Мертвая тишина повисла вокруг костра, только головни негромко потрескивали. Володя поднял голову и без выражения посмотрел в мою сторону. «Может, пойдем лучше постреляем?» – спросил он тихо, ни к кому конкретно не обращаясь, но все сразу поняли, что речь идет обо мне. «А что – пошли. Патроны-то у тебя есть?» – откликнулся я, поднимаясь с места. Никто нас не отговаривал. Пьяный неостановимый азарт нес меня, как мутный поток. «Я облегчу твою задачу, – нахально улыбаясь, заявил я ему. – Сыграем в Вильгельма Телля. Спорим на две поллитры, что ты не собьешь у меня с головы из «нагана» с десяти шагов банку из-под тушенки». С этими словами я подхватил с земли опустошенную банку из желтой жести. Глаза у Володи вспыхнули. «А если промахнусь?» – так же тихо сказал он. «Тогда две поллитры с тебя», – засмеялся я.

Мы отошли метров за сто на полутемный берег. Я, пьяно покачиваясь, встал на прибрежную гальку и установил на темя пустую банку, придерживая ее левой рукой, подобно восточной женщине, несущей на голове кувшин. Володя, стоя в десяти шагах от меня и по-прежнему глядя в сторону, дрожащими пальцами расстегивал непослушную кобуру. Неподалеку за кустами все так же горел костер, и вокруг него продолжали неподвижно сидеть все, включая и Татьяну. Наконец он достал «наган», поднял голову и навел дуло прямо мне в лоб. «Не будет стрелять, – подумал я, чувствуя, как неожиданный горячий пот начинает заливать мне глаза, больно пощипывая их, – пугает».

В этот момент грянул выстрел, и пуля обожгла мне ухо. Не успел я схватить воздух пересохшим ртом, как у меня под ногой от второго выстрела взорвалась галька, раскровенив мне щеку отлетевшим осколком. «Сволочь!» – крикнул я, но мой противник меня не услышал. Зажмурив глаза и вытянув руку с «наганом» вперед, он начал безостановочно нажимать на спусковой крючок офицерского самовзвода, пока не расстрелял весь барабан. Тогда он бросил пустой «наган» в камни, закрыв лицо руками, медленно опустился на корточки, потом лег ничком на холодную гальку и заплакал. Я продолжал оцепенело стоять в дурацкой позе, держа банку на голове. Его увели и уложили в палатку. Наутро по стихшему Енисею пришел ожидаемый катер, доставивший нас в Игарку. Еще целый день потом я считал себя героем, а не подлецом…

Чем моложе, тем менее смерти боишься,
Потому что силен, потому что здоров.
И из дома опять убежать норовишь все

Под зеленый с поющими птицами кров.
И опасность пьянит нездоровым азартом,
Испытанием нервов: авось не помру.
Я сижу и считаю таблетки на завтра,
С бестелесной партнершей кончая игру.
Для чего был азарт этот в юности нужен,
Когда в ряске бездонной тонула нога?
Для чего я дразнил разъяренного мужа,
Вынимавшего пьяной рукою «наган»?
Для чего под волной, что ломала надстройки,
Закреплял я какую-то шлюпку, дурак?
Я сижу у стола, пожилой и нестойкий,
И поступков своих не пойму я никак.
Сколько лет еще будет испуг этот длиться,
На моем недалеком и зыбком пути?
И смеются на снимках веселые лица
Тех друзей, что не дожили до тридцати.

В 1962 году, начав регулярно плавать в океане, я расстался с Крайним Севером, возвратившись туда лишь ненадолго в 64-м году, когда участвовал в работах на дрейфующей станции «Северный полюс», где проводились геофизические наблюдения. Станция эта, СП-17, была организована для обеспечения аэромагнитных и гравиметрических съемок Северного Ледовитого океана, проводившихся тогда в обстановке настолько строгой секретности, что даже при вынужденной посадке на лед запрещалось объявлять «SOS». А случаи такие в нашей экспедиции случались. Чтобы произвести измерение силы тяжести, самолет должен был сесть на дрейфующую льдину. Пригодность льдины для посадки можно было оценить только с воздуха, то есть на глазок. Иногда случалось, однако, что льдина для посадки была непригодна. Выяснялось это, как правило, уже после того, как севший самолет вдруг начинал проваливаться под лед. Поскольку сначала проваливались только лыжи, а самолет еще какое-то время держался на поверхности льда на широких плоскостях, весь экипаж обычно успевал выгрузиться на лед и вытащить необходимое снаряжение и рацию. У меня до сих пор лежит в столе впечатляющий фотоснимок, на котором успели заснять хвост самолета, уходящего под лед. Я как-то спросил у своего приятеля-геофизика, который первым ухитрился открыть дверцу проваливающейся под лед «Аннушки», трудно ли было открыть дверь. «Открыть было нетрудно, – ответил он, – труднее было оторвать от двери руки, которые за нее схватились».

Быт на станции СП-17 был довольно своеобразный. Жили по трое или четверо в так называемых КАПШах – специальных утепленных палатках, обогреваемых обычными газовыми плитками на баллонах. Поскольку газ экономили, то зажигать его полагалось только вечером, когда ложились, и утром, когда поднимались на работу. Без газовой плитки температура в палатке менялась от нуля до минус двух (на дворе было около тридцати градусов мороза, да хорошо еще, если безветрие). Минут через десять-пятнадцать после того, как зажигались горелки, она поднималась до десяти-пятнадцати выше нуля. Этого было вполне достаточно, чтобы, раздевшись, забраться в спальный мешок из тяжелого и плотного собачьего меха, надежно предохранявший от холода. Кто ложился последним, гасил горелку на ночь. Самое неприятное предстояло утром, когда дежурный (а дежурили все по очереди) должен был первым вылезать голышом из теплого спального мешка в промерзшей за ночь палатке и, приплясывая от холода и дыша на пальцы, чтобы не ломать отсыревшие спички, зажигать газовые горелки. Остальные, нежась в теплых спальниках, ожидали, когда температура в палатке поднимется выше нуля. Приходилось также поочередно круглосуточно дежурить по лагерю, так как каждую минуту приютившая нас льдина могла дать трещину. Доставляли хлопоты и повадившиеся к нам белые медведи, оказавшиеся совсем не безобидными…

Льдину нашей дрейфующей станции начало ломать в конце апреля. Помню, когда меня с моим отрядом выгружали из Ан-12 на нее в начале марта, она казалась необъятным и надежным ледяным полем. Вместе с нами для заправки малых самолетов завезли много бочек с горючим, которые мы должны были катить на «склад». «Ну, что, выпьем по поводу прилета на Северный полюс? – предложил мне знакомый командир машины. – Зови своих хлопцев». «Хлопцы» мои, однако, отказались, ссылаясь на то, что им еще надо откатывать бочки с горючим. «Где ты таких чудаков набрал? – возмутился летчик. – Бочки им откатывать, эко дело! Мне вот перегруженную машину до Косистого тянуть, и то ничего!» И, захлопнув дверцу, улетел обиженный. В конце же апреля стало ясно, что льдину нашу надо срочно покидать, пока на нее еще может сесть большой самолет, и 30 апреля к нам прилетел Ли-2, чтобы с его помощью определить состояние льдины, решить, можно ли еще на ней оставаться или надо срочно лагерь ликвидировать. Поскольку был канун первомайских праздников и вопрос о ликвидации станции еще не был решен, из аэропорта Косистый, откуда прилетел самолет, к нам на лед были отправлены праздничные гостинцы, главным

образом спирт и шампанское из расчета по бутылке на человека. Все это было тут же роздано, однако, поскольку сразу стало ясно, что лагерь снимается и надо лететь на материк, решили отложить выпивку до берега и долгожданной бани. Только один из моих техников, пожилой уже человек, долго страдавший из-за сухого закона на станции, решил ничего не ждать, и, когда погрузка закончилась, его пришлось втаскивать в самолет. Тяжело нагруженная машина с трудом оторвалась от льда и, развернувшись, взяла курс на юг.

Когда мы взлетели, то, взглянув на родную нашу льдину, сразу поняли, что покидаем ее вовремя. Главные неприятности, однако, были еще впереди. Почти сразу же после взлета самолет вошел в плотные снеговые облака, и начался «слепой» полет. Минут примерно через сорок мы обратили внимание на замкнутость и озабоченность летчиков, переставших выходить из кабины. Я постучался к ним, и меня с неохотой впустили. «Что-то не в порядке?» – спросил я у командира. «Да обрастаем льдом понемногу, – невесело хмыкнул он, – еще так минут двадцать полетим – и падать можно». «А сколько лету до берега?» – с тревогой спросил я. «Не меньше часа».

Я вышел к своим. Хотя я и успокаивал их, сказав, что все нормально, они мне не поверили. Всем все было ясно. Машина медленно, но неуклонно теряла высоту. Взревывали моторы, переведенные на форсаж, самолет ненадолго поднимался вверх, но потом снижался снова. В салоне началась паника. Самый молодой геофизик, всегда веселый и остроумный, вдруг начал истерически кричать и требовать, чтобы мы «сели немедленно». Куда садиться? Под редеющим снизу ярусом туч явственно чернели воды Ледовитого океана. Я начал орать на своих сотрудников и стыдить их, ставя в пример летчиков, но это мало помогало, если не считать того, что, крича на них, я отвлекся от собственного страха. Народ понемногу примолк. Все с ужасом поглядывали в окна на приближающуюся хмарь воды, по которой плавали мелкие льдинки. Наконец, уже над самой водой, самолет, дотянув-таки до берега, не разворачиваясь, плюхнулся, точно выведенный штурманом, чуть ли не поперек посадочной полосы и, резко тормозя, остановился, накренясь набок. Выбравшись на дрожащих ногах наружу, мы увидели, что у нас разбито правое шасси. Трудно описать жалкое наше состояние, когда, бледные и трясущиеся, мы выгружали свое имущество из самолета. Единственным счастливцем оказался только наш нетерпеливый коллега, выпивший свой спирт и шампанское еще на льдине и мирно проспавший весь полет в своем кресле. «Ерунда, – заявил он на следующий день, похмелившись, – никуда

мы не падали. Все было в норме, нечего меня разыгрывать – я все отлично помню». Этот случай послужил мне хорошим уроком никогда не откладывать выпивку «на потом»…

В следующий раз я попал в Арктику уже в 72-м году, когда участвовал в уже упомянутом перегоне речных судов через все моря Ледовитого океана из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. На нашем жестяном суденышке «Морской-10» мне повезло за одну навигацию без аварий и зимовки во льдах пройти от Белого моря до Охотского через суровые льды пролива Вилькицкого и осенние тайфуны Берингова моря. Недели две мы стояли у острова Вайгач, в поселке Варнике, ожидая лучшей ледовой обстановки в проливах Новой Земли и любуясь недолгой и неповторимой красотой цветущей августовской тундры.

Много лет дома в Ленинграде, а потом в Москве я упорно продолжал хранить давно не нужное мне старое обмундирование из давних северных экспедиций. Мне жалко было расстаться с таким родным и надежным спальным мешком из собачьего меха, с литыми сапогами с длинными голенищами, летными меховыми куртками и такими же непродуваемыми штанами. В самом углу на антресолях лежали аккуратно сложенные подсумки с десятью снаряженными обоймами к кавалерийскому карабину и большая россыпь «сэкономленных» патронов к «нагану». Меня все время не покидало ощущение ностальгии по этим вещам, с которыми в юности связано было так много. Казалось, стоит снова обрядиться в «энцефалитный» костюм и сапоги с длинными голенищами, навесить на широкий офицерский пояс старый охотничий нож в черном кожаном чехле и горный компас в брезентовой кобуре – и снова станешь молодым, любопытным, ожидающим радостного события за каждым новым поворотом реки. Вещи, однако, понемногу обветшали. Меховые штаны и куртки были распороты для домашних ковриков, патроны утоплены, сапоги и ножи раздарены.

И все-таки что-то осталось. Потом тоже были экспедиции, по всем морям и океанам: на солнечные Гавайские острова, в далекую Новую Зеландию и в Бермудский треугольник, и на недоступное для человека океанское дно. Но эти экспедиции уже не вызывали у меня такой детской первозданной радости, как северные. Может быть, потому, что миновала молодость и притупилась острота восприятия нового. А может быть, потому еще, что именно Север, его суровые традиции, жесткая и непреложная система сложившихся там людских отношений, жизнь в маленьком, оторванном от нормальных условий мужском коллективе, где все надо делить поровну, где простителен страх, но непростительна ложь, заложил в моей неуверенной юношеской

душе основу нравственных критериев человеческого общежития.

Дело, однако, не только в этом. В те давние 50-е годы экспедиции в енисейское Заполярье открыли мне глаза еще и на другое. База нашей экспедиции в 1959–1960 годах располагалась в Курейке, где когда-то томился в ссылке Сталин. Над старой бревенчатой избой, в которой он жил, возвели огромный павильон из бетона со стеклянными стенами. От музея вниз к Енисею спускалась величественная лестница, увенчанная большими городскими фонарями. А над ней возвышалась гигантская статуя «великого вождя», хорошо видная издалека с Енисея. Пароходы, проплывающие мимо, должны были салютовать монументу гудками. Вид этого роскошного мемориального комплекса посреди окружающей нищеты производил странное впечатление. Уже после нас статую с пьедестала скинули, мемориальную избу вытащили трактором из павильона и разобрали, а бетонный остов музея так и остался.

О пребывании Сталина в Курейке местные жители поведали нам немало баек. Выяснилось, что этот шустрый молодой грузин, переехавший сюда из Туруханска, где он смертельно поссорился со Свердловым, тут же завел шашни с некоторыми местными девицами. Хорошо помню, как к нам на базу приходили какие-то алкаши, которые били себя в грудь, уверяя, что они побочные дети генералиссимуса, и требуя на этом основании денег на опохмелку. Наряду с этими визитами «детей лейтенанта Шмидта», весьма, правда, недолгими, мне запомнилась услышанная там история, достоверность которой остается на совести рассказчиков, о том, что местные мужики, которым не понравилось, что «ссыльный грузинец» испортил их дочерей, решили этого вредного человека утопить. Дело было зимой, и схваченного соблазнителя повели топить в прорубь на Енисей. Но исторические беды русского народа с тем всегда и связаны, что начатое дело никогда не доводится до конца. То ли прорубь оказалась слишком далеко, то ли мужики опохмеляться спешили, – так или иначе, но до проруби ссыльного не довели, а бросили его посреди Енисея – авось сам замерзнет, и пошли обратно допивать самогон. А напрасно! Ведь как написал в своем «Сандро из Чегема» Фазиль Искандер, если бы мальчик сказал отцу, куда все тот же спасшийся кавказец уже позднее погнал вьючных лошадей с награбленным им добром, то история нашей страны «могла бы пойти нижнечегемским путем, но она пошла верхнечегемским».

Я же, попав в Туруханский край, видел уже следы активной деятельности этого неутопленного вовремя вождя. Каждую весну, в половодье, мимо наших палаток по реке Сухарихе проплывали

десятки человеческих черепов и костей из размытых весенним паводком безымянных захоронений выше по течению, где догнивали остатки бараков и сторожевых вышек на месте бывших лагерей.

С желтого песчаного откоса,
Где прошла звериная тропа,
Половодье приносило кости,
Кисти рук, ключицы, черепа.
На свободу их из заключенья
Выносила мутная вода.
Мы стояли ниже по теченью
На реке Сухарихе тогда.
Запах тленья, приторный и сладкий,
Вниз распространялся по реке.
Поутру проснешься – у палатки
Скалит череп зубы на песке.
В лагерях на быстрых этих реках,
Где срока не меньше десяти,
По весне расстреливали зэков,
Чтобы летом новых завезти.
Мы со спиртом поднимали кружки,
Поминая этих доходяг.
С той поры мне объяснять не нужно,
Что такое сталинский ГУЛАГ.

А неподалеку от Курейки, на том же левом берегу Енисея, ниже по течению, вблизи от поселка Ермаково, там, где к Енисею должна была выходить, по замыслу «величайшего гения всех времен и народов», знаменитая «мертвая» железная дорога Салехард – Игарка, я видел ржавеющие в болотах десятки паровозов «ИС» («Иосиф Сталин»), завезенных сюда когда-то баржами из Красноярска. Дорогу эту строили на вечной мерзлоте, заранее зная, что держаться она на ней не сможет. Но обреченное это строительство затеяно было не для того, чтобы поезда ходили, а для того, чтобы умертвить сотни тысяч людей, и эта цель была успешно достигнута.

В 1995 году в Норильске нам с Юлием Кимом показывали только что открытый музей истории этого города, ставший, по существу, одним из первых музеев ГУЛАГа. В середине экспозиции стоит огромный чугунный крест, который, если смотреть сбоку, имеет форму вопросительного знака. Мэр города объяснил нам, что это – проект памятника безвинно погибшим, который должны были бы поставить на центральной площади, да

так и не решились. Людей сюда завозили летом, в навигацию, на пароходах. До следующего лета они должны были умереть от непосильной работы на лесоповале или в рудниках, от цинги и холода. Тех, кто не умирал сам, расстреливали по весне и завозили новых. Самым страшным временем поэтому в норильских и других северных лагерях была весна. Так в Туруханском крае и под Игаркой стала открываться для меня страшная изнанка сталинской империи.

Что же до истоков авторской песни, то именно в этих северных экспедициях я впервые столкнулся со странными песнями, которые пели наши рабочие, по большей части из бывших зэков. Некоторые из них я слышал позднее в доме Серманов, отсидевших на Колыме. Так я услышал впервые великие песни, созданные безымянными авторами в беспросветных потемках лагерей гулаговской империи: «Ванинский порт», «Голубые снега», «Черные сухари» («А на дворе хорошая погода. В окошко светит месяц голубой. А мне сидеть еще четыре года. Душа болит – так хочется домой»), «Бежит речка, да по песочку, бережок моет», «Идут на Север срока огромные, кого ни спросишь – у всех указ», и многие другие. Я не любил и до сих пор не люблю блатные песни, которыми иногда щеголяли мои приятели. Помню, как в 1965 году мы спорили об этом с Володей Высоцким в доме Евгения Клячкина в Питере. Я полностью согласен с Варламом Шаламовым в его оценке блатарей и не вижу никакой романтики в воровстве и бандитизме. Но песни зэков – это уже совсем другое.

Когда я вначале по наивности и неопытности интересовался, кто автор, мне с угрюмой усмешкой отвечали одно и то же: «Слова народные, автора скоро выпустят». И я перестал спрашивать. Песни эти пелись, конечно, не под гитару, а просто так, что называется, а капелла, – вечером у костра или прямо у палатки. К одному поющему понемногу неторопливо присоединялись другие. Каждый пел не для других, а как бы только для себя, неспешно вдумываясь в поющиеся слова. Незримая общность того, о чем говорилось в песне, объединяла поющих, и возникало подобие разговора и того странного точного взаимопонимания, которого я не встречал в других местах. Так я впервые понял, что песня может быть средством общения, выражением общего страдания, усталости, грусти. Оттого, что и жили вместе, и страдали.

Стихи здесь не котировались – они считались проявлением слабости, сентиментальности. Песня – совсем другое дело. Песню можно было петь везде и всегда. В Арктике песни пели все: рабочие после тяжелой работы на лесоповале под комарами и в

жару, летчики после утомительных дневных или ночных полетов со сложными посадками и дурной видимостью, геологи после изнурительного маршрута, пели все, глядя, не мигая, в желтое пламя вечернего костра. Песни были, конечно, разные, но тональность их, полное отсутствие бодрячества и фальши, точная психологическая правдивость иногда наивных, но всегда искренних слов были неизменны.

Именно там, на Севере, подражая этим услышанным песням, я начал уже всерьез придумывать какие-то нехитрые мотивы на собственные стихи и петь их у костра, не сообщая при этом своего авторства. Так были написаны «Снег», «Деревянные города», «Перекаты» и некоторые другие песни, также ставшие со временем безымянными. Песня «Снег» была написана после первого полевого сезона в Арктике в феврале 1958 года в Ленинграде. Посвящена она сестре Нины Королевой Лене Ошкадаровой, за которой я тогда вполне платонически ухаживал. Отсюда и «Петроградская сторона» и «Кос твоих светлая прядь».

Тихо по веткам шуршит снегопад,
Сучья трещат на огне.
В эти часы, когда все еще спят,
Что вспоминается мне?
Неба далекого просинь,
Давние письма домой…
В царстве чахоточных сосен
Быстро сменяется осень
Долгой полярной зимой.

Снег, снег, снег, снег,
Снег над палаткой кружится.
Вот и кончается наш краткий ночлег.
Снег, снег, снег, снег
Тихо на тундру ложится,
По берегам замерзающих рек
Снег, снег, снег.

Над Петроградской твоей стороной
Вьется веселый снежок,
Вспыхнет в ресницах звездой озорной,
Ляжет пушинкой у ног.
Тронул задумчивый иней
Кос твоих светлую прядь,
И над бульварами Линий
По-ленинградскому синий

Вечер спустился опять.

Снег, снег, снег, снег,
Снег за окошком кружится.
Он не коснется твоих сомкнутых век.
Снег, снег, снег, снег…
Что тебе, милая, снится?
Над тишиной замерзающих рек
Снег, снег, снег.

Долго ли сердце твое сберегу? —
Ветер поет на пути.
Через туманы, мороз и пургу
Мне до тебя не дойти.
Вспомни же, если взгрустнется,
Наших стоянок огни.
Вплавь и пешком – как придется —
Песня к тебе доберется
Даже в нелетные дни.

Снег, снег, снег, снег,
Снег над тайгою кружится.
Вьюга заносит следы наших саней.
Снег, снег, снег, снег…
Пусть тебе нынче приснится
Залитый солнцем вокзальный перрон
Завтрашних дней.

Помню, через пару дней после того, как она была написана, мы вместе с Леной Кумпан и Олегом Тарутиным ездили в Комарово кататься на лыжах. Я показал им эту песню, и она им понравилась. Через каждые полчаса мы сходили с лыжни и, встав в кружок, снова пели «Снег», пока они не выучили песню наизусть. Эта песня стала очень быстро распространяться. Позднее ее включил в свой репертуар Иосиф Кобзон и даже спел по телевизору в новогоднем «Голубом огоньке» 1966 года. Где-то году в 60-м ее опубликовала на своих страницах «Комсомольская правда», и я почти сразу же получил письмо из города Иванова от какой-то девушки, которая представилась как комсорг цеха и передовик производства и предложила завязать переписку. «Так приятно иметь талантливых друзей, – писала она, – и, может быть, со временем эта дружба перейдет в лю…» К письму была приложена ее маленькая паспортная фотография. «У меня нет под

рукой другой, – извинялась девица, – но в следующий раз я обязательно пришлю свой снимок в купальнике». Больше всего мне запомнился конец письма: «Извини, дорогой Саша, что, еще не будучи с тобой знакома, я сразу обращаюсь к тебе на «ты», но я считаю, что комсомольцы должны обо всем говорить друг другу прямо».

Несколько песен в те годы были написаны мною под прямым влиянием зэковских песен. В их числе «Полночное солнце», «Мокрое царство», «Перелетные ангелы» и «На материк».

Судьба последней песни довольно примечательна. Я написал ее в Туруханском крае в 1960 году. Уже на следующий год во время полевых работ после какого-то сабантуя наши работяги, выпив сваренной ими бражки и выданного мною спирта, запели «старые лагерные» песни и, к моему удивлению и радости, спели эту песню. Я был молод, глуп и тщеславен и немедленно заявил о своем авторстве. Вот этого-то, оказывается, и нельзя было делать. Все, что было мне сказано в ответ, практически на русский язык не переводится, а то, что переводится, может быть сведено к лаконичной форме: «Еще раз скажешь, что твоя, – замочим». Угроза была вовсе не шуточной – народ в тех краях подбирался серьезный. «Да за такую песню, – кричали они мне, – надо всю жизнь страдать в зоне! Чтобы фраер с материка да такую песню придумал? Наша песня, всегда была нашей, понял?» Нашлись даже очевидцы, которые «собственными ушами» слышали эту песню в 40-е годы в лагерях под Норильском.

Надо сказать, что по прошествии почти тридцати лет авторство этой песни все-таки было закреплено за мной представителями того самого контингента, который когда-то его оспаривал. Я получил письмо из лагеря, расположенного в Ленинградской области, где-то под Лугой. Письмо было подписано «членами общества книголюбов». «Дорогой Александр Моисеевич, – было написано в письме, – мы любим ваши песни, особенно песню «От злой тоски», которую считаем своей». В последней части письма следовали стандартные пожелания творческих успехов и счастья в личной жизни. А в конце было написано главное: «А ежели что, – примем как родного».

В 1992 году любимый мною артист Зиновий Гердт исполнил песню «На материк» по радио в программе «В нашу гавань заходили корабли», сообщив, что «автор песни сгинул в сталинских лагерях». Он тоже очень удивился, узнав о моем авторстве, несмотря на наше давнее знакомство.

В середине 80-х на Кольском полуострове, неподалеку от Мурманска, в поселке Заполярный, куда я приезжал в командировку на первую в мире скважину сверхглубокого

бурения, начальником которой много лет был Давид Миронович Губерман, старший брат моего друга поэта Игоря Губермана, в местной гостинице я познакомился с молодыми специалистами, инженерами и врачами, работавшими здесь около года. Узнав, что я геолог и интересуюсь песнями, написанными на Севере, они неожиданно предложили мне показать могилу мужика, который написал песню «На материк». Я очень удивился, но, конечно, немедленно согласился. На следующий день они подогнали к гостинице старый вездеход ГАЗ-47, и мы отправились в тундру. Примерно через час езды по трудной дороге мы прибыли в расположение бывшей «зоны» – несколько бараков, обнесенных уже сгнившим от сырых баренцевоморских ветров частоколом с покосившимися пулеметными вышками на углах. Эти «типовые» архитектурные сооружения мне доводилось встречать уже неоднократно в Туруханском крае и на Колыме. Неподалеку притулилось небольшое кладбище: два-три покосившихся креста и несколько безымянных камней. Подойдя к одному из безымянных камней, спутники мои сказали: «Ну вот, тут он и лежит. Здесь в зоне эту песню придумал, здесь его и прикончили». – «За что?» – наивно спросил я. «Как это – за что? За песню, конечно. Ну что ж, надо помянуть». С этими словами они начали разливать по кружкам привезенную с собой водку. Тут мне стало не по себе, – какие шутки, тут же реальный покойник лежит. «Подождите, – остановил их я, – а вы уверены, что здесь похоронен именно автор этой песни?» Они так разозлились, что даже перестали мне наливать и сердито спросили, на этот раз уже у меня: «Как, разве не Городницкий эту песню написал?» – «Да вроде Городницкий», – смутился я. «Ну вот видишь, – а ты сомневаешься. Шапку сними». Мы наполнили кружки и помянули безвременно погибшего автора. Потом сели в вездеход и уехали обратно в Заполярный. Моей фамилии, слава Богу, никто не спросил, а то могло стать одним безымянным камнем больше.

В 2005 году я вместе с Юлием Кимом выступал на фестивале политической песни на месте бывшего лагеря политзаключенных «Пермь-36», расположенного неподалеку от городка Чусового на реке Чусовой. Концерт проходил прямо на бывшей пилораме. После концерта ко мне подошел пожилой полковник МВД, сильно навеселе, держа в руках мою книжку. «Дайте мне, пожалуйста, автограф! Разве вы меня не помните? Ну, как же, – ведь вы у меня здесь сидели во втором бараке. Я же вас дважды от карцера спас! И песню «От злой тоски» вы здесь у меня написали!» – «Да я вообще не сидел!» – резко возразил я. «Что же мне теперь делать, – огорчился он, – а я про вас уже в своих воспоминаниях написал».

Ноют под вечер усталые кости.
Смотришь назад – и не видно ни зги.
Мы начинали не с кухонь московских,
С тундры скорее и чахлой тайги,
Где на заснеженной лесосеке,
Горькую брагу пригубив едва,
Песни гнусавили бывшие зэки,
Переиначивая слова.
Всякий поющий из разного теста:
Возраст иной, и кликуха, и срок.
Значит, строку изначального текста
Каждый исправить по своему мог.
Там не бывало подзвучки гитарной,
Климат не тот и закуска не та,
Но подпевали припев благодарно
Матом измученные уста.
И, обращаясь к навязчивой теме
Тех позабытых и проклятых лет,
Должен делить я соавторство с теми,
Кто еще есть, и кого уже нет.

В последние годы мне нередко приходится отвечать на вопрос, как я отношусь к тому, что имени моего по большей части не знают, а песни поют как безымянные. В качестве ответа на него, в подражание великим, я написал стихотворение с «оригинальным» названием «Памятник»:

Я обошел все континенты света,
А город мой все тот же с давних пор,
Там девочка, склонясь у парапета,
Рисует мост, решетку и собор.
Звенят трамваи, чаек заглушая,
Качает отражения вода.
А я умру, и «часть меня большая»
Не убежит от тлена никуда.
Моих стихов недолговечен срок.
Бессмертия мне не дали глаголы.
Негромкий, незапомнившийся голос
Сотрут с кассет, предпочитая рок.
Прошу другого у грядущих дней,
Иная мне нужна Господня милость, —
Чтобы одна из песен сохранилась,
Став общей, безымянной, не моей.
Чтобы в глухой таежной стороне,

У дымного костра или под крышей,
Ее бы пели, голос мой не слыша,
И ничего не зная обо мне.

Так проходили мои «северные университеты». Иногда по ночам я просыпаюсь от писка комаров или крика пролетающей над палаткой птицы, и мне кажется, что пора подниматься и идти в маршрут. Едкий запах густого белого дыма от брошенного в разгорающийся костер сухого ягеля щекочет мои ноздри, и в ушах снова негромко звучат протяжные и горькие северные песни.

Нам ночами июльскими не спать на сене,
Не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос.
Перелетные ангелы летят на север,
И их нежные крылья обжигает мороз.

Опускаются ангелы на крыши зданий,
И на храмах покинутых ночуют они,
А наутро снимаются в полет свой дальний,
Потому что коротки весенние дни.

И когда ветры теплые в лицо подуют
И от лени последней ты свой выронишь лом,
Это значит – навек твою башку седую
Осенит избавление лебединым крылом.

Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям,
Вы не врите, братишечки, про утраченный юг, —
Перелетные ангелы летят на север,
И тяжелые крылья над тундрой поют.

Паруса «Крузенштерна»

Расправлены вымпелы гордо,
Не жди меня скоро, жена,
Опять закипает у борта
Крутого посола волна.
Под северным солнцем неверным,
Под южных небес синевой,
Всегда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

И дома порою ночною,
Лишь только раскрою окно,
Опять на ветру надо мною
Тугое поет полотно.
И тесны домашние стены,
И душен домашний покой,
Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

Пусть чаек слепящие вспышки
Горят надо мной в вышине.
Мальчишки, мальчишки, мальчишки,
Пусть вечно завидуют мне.
И старость отступит, наверно,
Не властна она надо мной,
Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой.

«Самое главное – отпихнуть ногой берег», – говорил старший механик на экспедиционном океанографическом судне «Крузенштерн». И он был прав – стоит судну оторваться от причала, и все земные заботы, еще совсем недавно казавшиеся самыми главными, растворяются за кормой вместе с исчезающей в тумане полоской суши. Начинается новая жизнь…

Для любого моряка его первое судно так же незабываемо, как и первая любовь. Для меня таким судном стал парусник «Крузенштерн», на трап которого я впервые поднялся в 1961 году, в заметенном декабрьской вьюгой Балтийске. С этого времени начались мои океанские плавания, резко изменившие мою судьбу. За последующие сорок лет мне довелось плавать во всех океанах на самых разных судах – гражданских и военных, неоднократно

погружаться на дно в подводных обитаемых аппаратах, но память о моем первом судне осталась на всю жизнь. В отличие от меня оно не состарилось и до сих пор совершает кругосветные плавания, занимая призовые места в международных парусных регатах. Когда сейчас я вижу белоснежные паруса «Крузенштерна», то ощущаю острое чувство ностальгии по собственной, к сожалению, уже навсегда ушедшей молодости.

Если бы в 1960 году кто-нибудь сказал мне, сухопутному геологу, кормившему комаров в Туруханском крае, что через несколько месяцев я отправлюсь в плавание в Северную Атлантику на настоящем паруснике и навсегда после этого свяжу свою жизнь с океаном, я бы посчитал это глупой шуткой. Но еще в начале 61-го года в нашем отделе геофизики неожиданно появился новый сотрудник, Николай Николаевич Трубятчинский, уволенный в запас молодой худощавый и небольшого роста морской подполковник, жгучий и неимоверно энергичный брюнет с цыганскими усами. Он, как и многие другие офицеры, стал «жертвой женевского соглашения», одним из нескольких десятков тысяч офицеров, попавших под хрущевское сокращение начала 60-х. Вернувшись в родной Ленинград из Калининграда, где он служил, Николай Николаевич пришел в райком партии, который должен был его трудоустроить. Там ему предложили должность директора Сенного рынка. Это, безусловно, блестящее предложение неразумный Николай Николаевич отверг, а поскольку по образованию был гидрограф с геофизическим уклоном, пришел в отдел геофизики нашего института, где когда-то знали его отца, известного магнитолога, тоже Трубятчинского и тоже Николая Николаевича.

Отделом геофизики тогда руководила профессор Раиса Михайловна Деменицкая, женщина острого и не ортодоксального ума, необозримой честолюбивой фантазии и весьма неожиданных поступков, которая сама еще совсем недавно рассталась с морской формой Главсевморпути и нашивками капитана II ранга. Маленький, энергичный и подвижный, как черная ртуть, подполковник ей понравился, а еще больше понравилась идея попробовать наземную геофизику на судах военной гидрографии.

И вот я в составе первой геофизической группы из девяти человек под доблестной командой Николая Николаевича Трубятчинского оказался на борту одного из крупнейших в мире парусников – экспедиционного океанографического судна «Крузенштерн», того самого, верхушки мачт которого были когда-то постоянно видны из окна нашей комнаты на Мойке. Именно это судно было выделено морским начальством для постановки опытных геофизических работ в океане. В декабре 1961 года оно

отправлялось на полгода в Северную Атлантику для проведения там океанографических исследований по программе Гидрографического управления ВМФ. Так, хотя и с некоторым опозданием, сбылась моя школьная мечта попасть наконец в океан.

Забегая вперед, могу сказать, что на «Крузенштерне» было совершено немало крупных научных открытий. Так, в 1962 году с его борта впервые в мире было измерено электрическое поле Мирового океана, исследование которого играет сейчас огромную роль при решении целого ряда прикладных задач (в том числе – военно-морских) и о существовании которого до наших работ ничего не было известно. В том же 62-м году с этого судна была проведена первая магнитная съемка в океане с буксируемым датчиком, и мне довелось принимать в этом участие. До этого магнитное поле океана изучалось только только с судов, имевших деревянный корпус, – американской яхты «Карнеги» и советской шхуны «Заря». Наши же исследования на «Крузенштерне» положили начало массовому картированию магнитного поля океана с судов со стальным корпусом. Было много и других важных научных открытий: например, структура поля течений, соленость и температура воды в самом знаменитом океанском течении – Гольфстриме. Однако вернемся к началу этой истории.

Нет необходимости описывать длинную и нервную эпопею оформления визы для выезда в капстраны, необходимой для загранплавания в Атлантике, эпопею для меня тем более трудную, что я при всех своих анкетных недостатках оформлялся впервые, ни на что при этом особо не надеясь. Тем большей была нечаянная радость, когда я узнал, что меня «пропустили». Немало хлопот доставила мне и строжайшая медицинская комиссия и заполнение «медицинской книжки моряка», хотя я и был приятно польщен, когда врач-венеролог, бдительно осмотрев меня и проверив анализы, так же, как и другие, написал: «Годен». Главным источником неприятностей за более чем сорок лет прохождения разного рода медкомиссий для меня было (да и сейчас, конечно, осталось) артериальное давление, которое, даже если за полчаса до этого было нормальным, немедленно подскакивало при комиссионной проверке. Эффект этот, являющийся, видимо, следствием неизлечимой уже внутренней боязни «не быть, как все», приобрел характер постоянного нервного синдрома, весьма типичного для моего поколения. В связи с регулярным участием в рейсах мне много лет приходилось проходить обязательные медицинские комиссии. Несколько лет назад, уже в солидном возрасте, я опять проходил комиссию, в том числе и обязательного в этом случае венеролога.

Когда я вошел к врачу в кабинет, он сидел, не поднимая головы, и что-то писал. «Фамилия», – буркнул он. Я назвал. «Вензаболеваниями болели?» – «Пока нет». Он поднял голову, посмотрел на мою лысину и седину и, улыбнувшись, произнес: «А вы – оптимист».

Но вот, так или иначе, все рогатки чистилища, выездные и медицинские комиссии пройдены, и в морозный декабрьский день мы подогнали свои грузовики с оборудованием на пирс Балтийска, где у самого выходного маяка стоял великолепный четырехмачтовый барк «Крузенштерн», готовящийся к трудному походу в штормовую зимнюю Атлантику. «Крузенштерн» – один из трех крупнейших в мире немецких парусников, построенных в начале XX века специально для перевозки кофе и пряностей из Южной Америки в Европу. Дело в том, что кофе, чай и пряности не выносят запаха солярки, поэтому для их перевозки решено было построить гигантские парусники водоизмещением около семи тысяч тонн каждый. Это были нынешние «Крузенштерн», «Седов», стоявший здесь же, в Балтийске, неподалеку от нас и также собиравшийся в поход, и «Памир».

«Крузенштерн», спущенный на верфи в Бремерхафене в 1926 году, первоначально назывался «Падуя», о чем извещает латинская надпись на старой корабельной рынде. Судно действительно огромное для парусника – 114,5 метра в длину и 14 в ширину, водоизмещением 6400 тонн. Высота его мачт, изготовленных не из дерева, а стальных, достигает 56 метров от ватерлинии. Парусное вооружение состоит из 31 больших и малых парусов с общей площадью 3800 квадратных метров. Полвека назад на «Крузенштерне», кроме парусов, был еще не слишком мощный дизель, который годился только для маневров при подходе к берегу и «не выгребал» против сильного ветра. Собственно говоря, по замыслу создателей «Падуи», двигатель паруснику был не очень нужен, поскольку он относится к экстра-классу барков, которые получили название виндджаммеров – «выжимателей ветра». Полное косое и прямое парусное вооружение позволяет судну идти под любым ветром с достаточно большой скоростью. Так, выходя из Гамбурга в Атлантику, «Падуя» спускалась на юг до границы Северного тропика, где дуют ветры западных румбов, и, поставив все паруса, с крейсерской скоростью около 10 узлов шла к берегам Америки. Там, приняв груз кофе, парусник двигался обратно, примерно с той же скоростью, уже к югу от экватора. Эти широты раньше носили название «конских» – дело в том, что испанцы когда-то возили по пассатным зонам на своих парусниках в Новый Свет лошадей, так напугавших аборигенов.

«Падуя» и «Магдалена Виннен II» (так в Германии назывался барк «Седов») были переданы Советскому Союзу в 1946 году в счет репараций после Второй Мировой войны и приведены в Кронштадт, где простояли много лет, поскольку неясно было, на что их употребить. Тем более что на нашем флоте не было парусной команды, которая могла бы такие большие парусники освоить. Тем не менее в 1959–1961 годах команду подготовили, оба парусника отремонтировали, отодрав в каютах переборки красного дерева и другие ненужные советским морякам излишества, и приспособили их в качестве военных океанографических судов для научных работ в океане. Нынешнее имя, в честь знаменитого русского мореплавателя, тоже немецкого происхождения, адмирала Ивана (Иоганна) Федоровича Крузенштерна парусник получил в 46-м году. Несколько лет назад офицеры барка «Седов», приходившего в Питер, с грустью говорили мне, что судьбу судна во многом определяет его название. Так, Иван Крузенштерн сделал блестящую карьеру, совершил несколько кругосветных плаваний, стал полным адмиралом, а Георгий Седов – был неудачником, карьеры не сделал, дослужился лишь до старшего лейтенанта, до Северного полюса не дошел и был задушен собственными матросами. Возможно, поэтому кораблю, названному его именем, не слишком везет, и «Седов» долгие годы остается в тени своего более удачливого собрата.

С 1961 года «Крузенштерн» начал новую жизнь как экспедиционное океанографическое судно Гидрографического управления ВМФ. При нас в огромном носовом трюме, где прежде размещался груз, разделенном переборками, находились матросские кубрики. Главное достоинство «Крузенштерна», обеспечивающее его долголетие, – корпус. Известно, что срок средней «жизни» современного судна не превышает, как правило, двадцати лет. Причина этого – неостановимая коррозия стального корпуса химически агрессивной морской водой, которой не в силах противостоять никакая покраска. У «Крузенштерна» же стальной корпус при постройке был плотно обшит пробковым деревом, не допускающим контакта морской воды со сталью. Поэтому он не только плавает в океане более восьми десятков лет, но и до сих пор выигрывает призы на парусных гонках вроде трансатлантической регаты «The Tall Ships' Races» в 2000 году, где он был признан лучшим среди больших парусных судов класса «А» и занял второе место среди судов всех классов.

Судьба третьего парусника – «Памира», – оставшегося в ФРГ, сложилась более трагично. Он был после войны превращен в учебное судно и много лет плавал во всех океанах. В 1957 году,

недалеко от Азорских островов, имея на борту экипаж – 96 гардемаринов и 20 офицеров, «Памир» был застигнут внезапным ураганом, неся в этот момент полное парусное вооружение. Тогда еще не было приема карт погоды по телетайпу, и штормовое предупреждение на судне вовремя получено не было. Когда командир понял, что надвигается ураган, он приказал немедленно убрать паруса, но было уже поздно. Паруса, как говорят моряки, «обстенило», то есть прижало лобовым ветром к стеньгам. Небывалой силы шквал опрокинул парусник и перевернул его. Из всей команды чудом спаслись только два человека.

«Корабль к походу изготовить!» – рявкнул вдруг вслед за оглушительным звонком хриплый бас из висящего рядом со мной на переборке небольшого мышино-серого цвета динамика, и я от неожиданности дернул головой, как кот, которому внезапно подули в ухо. Над нашими головами глухо застучали по палубе тяжелые матросские ботинки. Вот уже неделю жили мы на корабле, а все никак не могли привыкнуть к принудительной трансляции – все казалось, что каждая команда, объявленная дежурным офицером, относится именно к тебе, и надо сломя голову мчаться куда-то и что-то немедленно исполнять.

Экипаж экспедиционного океанографического судна «Крузенштерн» (или «ЭОС» – по военно-морской аббревиатуре) состоял из 102 матросов и 18 офицеров, не считая нас – девяти прикомандированных. О нас, однако, разговор ниже. Судно, хоть и парусное (а возможно, именно поэтому), было по военной табели определено как «корабль первого ранга». Должность командира занимал капитан I ранга, должности его заместителей – капитаны II ранга, а командиры «боевых частей» были капитанами III ранга – так же, как на современном крейсере.

Главными людьми на «Крузенштерне» были боцмана – палубная команда, управлявшаяся с парусами. Командовал ими второй помощник – капитан III ранга Владимир Тимофеевич Роев, невысокий плотный человек, с курносым носом и озорными глазами, немного напоминавший обликом Фернанделя. Был он мастером спорта по яхтам, парусное дело любил фанатично и знал досконально. «Вот поймают меня в плен американцы, – пошучивал он в кают-компании, раскуривая трубку, – и начнут меня бить, пытать и выспрашивать про ракеты или подводные лодки, а я им – шиш. И скажут они, не добившись от меня показаний, – а ведь совсем неплохо держался этот русский! А что я им могу сказать, когда, кроме парусов, ничего не знаю?»

Именно Роев подробно познакомил меня с названием и назначением каждого паруса и каждой детали рангоута.

Оказалось, что барк – по-испански «корабль», означает в современном флоте парусник с полным прямым и косым парусным вооружением. Из четырех мачт «Крузенштерна», к каждой из которых прикреплена своя команда во главе с боцманом – командиром мачты, три несут прямое вооружение (фок и два грота), а третья – бизань – косое. Как музыка из детских сказок, звучали произносимые им названия носовых косых парусов «бом-кливер», «миддель-кливер», «кливер», «фор-стеньги-стаксель».

Вообще тайны звучных морских названий усваивались нами довольно просто: «Ударился? – Как называется?» Это относилось к высоким комингсам, о которые мы били ноги, спотыкаясь, к низким водонепроницаемым переборкам, о которые мы ударялись лбами, забывая вовремя пригибаться, к крутым и скользким трапам, где, только оступись, – и костей не соберешь, к фальшбортам и кнехтам, на которые не, дай бог, сесть. Когда я впервые услышал по трансляции грозный приказ: «Городницкому – срочно прибыть на шкафут», – с ударением на «и» в слове «прибыть», то долго бегал по судну и спрашивал помещение, где стоит шкаф. Оказалось, что шкафут – это носовая палуба между баком и спардеком, и никакого шкафа там нет.

«Пить чай на клотик» нас не посылали и «принести ведро пару» из машинного отделения тоже не требовали, поскольку прикомандированных штатских вообще поначалу на военном паруснике считали возмутительным недоразумением. Что же касается морских названий, то мне они понравились своим глубинным историческим смыслом и лаконизмом, идущим от древних немецких и голландских корней, привезенных из обучения в еще закладывающийся только комариный и болотистый Санкт-Питерс-Бурх молодым корабельным мастером Петром Алексеевым. Много раз потом мне доводилось наблюдать, как чугунные кнехты упорно держат наброшенные на них швартовы, упорные и молчаливые, как солдаты, как быстро закрепляется фал на нагеле, напоминающем вбитый гвоздь. А грозное слово «полундра» – короткий и выразительный перевод на русский выражения «фалл ундер» – бойся предмета, падающего сверху!

Привыкнув к этим словам, вошедшим в привычный каждодневный обиход, забываешь об их первоначальном смысле и слышать перестаешь. Для непривычного уха даже самые, казалось бы, понятные из них звучат необычно. Вспоминаю, как много лет спустя, в 76-м году, на судне «Дмитрий Менделеев», штормовавшем в осеннем Охотском море, одна девица пожаловалась мне: «Объявляют по радио – не поймешь ни слова –

задраить иллюминаторы на глухари! Сказали бы просто, по-русски, – закрыть круглые окошки на железяки!»

«Баковые – на бак, ютовые – на ют, – снова заклокотал над нашими головами бас в динамике. – По местам стоять, со швартов сниматься». Смысл этой команды, услышанной мною впервые в декабре 61-го в Балтийске и много раз слышанной за последующую четверть века, всегда поражал меня своей значительностью. Действительно, что случится, если баковые, не дай бог, пойдут по ошибке не на бак, а на ют, а ютовые – наоборот – на бак, и все перепутается? Но тогда, в первый раз, нам было не до тонкостей командной лексики – мы накинули куртки и выскочили наружу.

На промерзших булыжниках заснеженного пирса стоял небольшой матросский оркестр, зябнувший в куцых шинелишках, и самоотверженно дул в трубы коченеющими губами. Рядом с оркестром, приложив руки к вискам, стояло несколько офицеров во главе с адмиралом, стараясь не реагировать на пронзительный ветер, залеплявший глаза снегом. Поодаль махали руками немногочисленные жены. На открытом мостике «Крузенштерна» так же торжественно, в полной парадной форме, стояли командир экспедиции Петр Сергеевич Митрофанов, командир «Крузенштерна» капитан I ранга Власов и другие офицеры. Таких торжественных и парадных проводов мне видеть раньше не приходилось, и сердце мое преисполнилось гордости – вот что значит настоящий флот, настоящее океанское плавание! Впечатление было такое, что мы на судне Колумба плывем открывать Америку.

Торжественность момента, однако, была несколько нарушена. Маленький буксир, отчаянно дымя, начал отводить корму нашего судна от пирса, но швартовая команда зазевалась и не успела сбросить с причального фала один из кормовых концов, который начал опасно натягиваться, угрожая лопнуть и зацепить крутящихся неподалеку накрашенных девиц, машущих матросам на борту. «Уберите детей от концов», – громко скомандовал по радио с мостика не разглядевший их старпом. «Раньше надо было, – весело и громогласно откликнулся в мегафон командир береговой команды, – теперь их от концов за уши не оттянешь». Наконец швартовы были отданы, и, подталкиваемые двумя пыхтящими буксирами вдоль неширокого фарватера во льду, мы медленно двинулись от пирса мимо старой немецкой офицерской гостиницы с единственным в Балтийске рестораном «Золотой якорь», мимо старинного кирпичного маяка, установленного в порту Пиллау еще в прошлом веке, вдоль волнолома, к выходу из гавани, над которым висели свинцовые балтийские облака.

Жить мне довелось вдвоем с Николаем Николаевичем Трубятчинским в тесной каютке, расположенной в твиндеке, в самой центральной части судна. Преимущество расположения нашей каюты сразу же стало мне очевидно, как только мы вышли из гавани и нас стало немилосердно качать штормовой балтийской волной. Иллюминатора в каюте не было, его заменял так называемый бычий глаз – маленькое подслеповатое и почти не дававшее света отверстие в потолке, именуемом подволоком. На располагавшейся над нашими головами палубе, называемой шканцами, все время что-то громыхало, стучало и скрежетало. Убранство каюты было нехитрым – две койки с рундуками, шкафчик и небольшой стол, привинченный к полу (палубе). На стенах (переборках) красовались вентиляционная труба и уже упомянутый динамик принудительной трансляции. Небогатая обстановка этого помещения запомнилась мне хорошо, поскольку в этой первой своей каюте мне пришлось прожить более полугода. Однообразие ее серо-коричневого интерьера нарушалось только многочисленными и неистребимыми тараканами да нередкими визитами крыс.

За четыре десятилетия плаваний в океане мне довелось сменить немало судов и кают. Среди них были вполне современные и даже роскошные – с ванной, спальней и гостиной – как на «Витязе» или «Академике Келдыше». Однако настоящим «морским домом» для меня навсегда осталась эта сырая и холодная в стужу, неимоверно душная в жару каюта на «Крузенштерне». Конечно, на этом старом немецком паруснике никаких холодильных установок не было – эпоха кондиционеров еще не коснулась нашего судна. Поэтому, когда мы около двух месяцев работали в Карибском море в районе Гольфстрима, влажность в каюте была такая, что простыни приходилось сушить на верхней палубе на солнце. Не лучше обстояло дело и с питанием. На «Крузенштерне» не было никаких холодильников. Поэтому проблема свежего мяса решалась просто – в Балтийске перед выходом закупили десять живых свиней. На шкафуте, перед полубаком, была устроена специальная выгородка, где они мирно паслись, по мере того, как их поочередно ели. Называли их почему-то «БЧ-8». Мне эти свиньи запомнились надолго. Рядом с ними на шкафуте стояла смонтированная на автомашине ГАЗ-51, наша каротажная станция, на которой нам приходилось ежедневно работать. Уже в Балтике судно попало в сильный шторм. Состояние каждого из нас, впервые столкнувшегося с морской качкой, было, прямо скажем, не блестящее. Свиньи же, бывшие нашими соседями, тоже укачивались, и достаточно было в очередной раз взглянуть на их всегда покрытое нечистотами

лежбище, чтобы испытать новый приступ морской болезни.

Непрерывные шторма, которыми встретило нас Северное море, а потом и зимняя Северная Атлантика, где мы попали в «ревущие сороковые», были для нас суровым «морским крещением». По старому морскому закону, в штормовую погоду, чтобы команда не укачивалась, на палубу поднималась из трюма бочка с солеными огурцами и личному составу раздавалась настоящая тарань в жестяных запаянных банках. Гирлянды этой тарани висели у нас в каюте и в лаборатории. Небольшой перерыв в штормах наступил только тогда, когда мы вошли в Датские проливы.

Как сейчас вижу ясный декабрьский вечер, когда наш парусник медленно двигался Зундом, а вслед нам и навстречу – непрерывная, как автоколонна, вереница судов, украшенных флагами всех стран мира. Как тут не вспомнить героя «Баллады о трех котиколовах» Киплинга, героя, предсмертно плачущего о том, что не увидит огни, «по Зунду летящие в ночь!». Мостик на «Крузенштерне» открытый – от ветра, дождя и снега не защищен. Прямо перед ним, на спардеке, расположен такой же открытый штурвал, у которого несут вахту три моряка во главе со старшиной первой статьи Овчуховым. На мостике стоит старший помощник, капитан III ранга Виктор Васильевич Шишин, умерший от инфаркта в одном из рейсов несколько лет спустя. Рядом с ним – замполит. На берегу, плавно скользящем вдоль правого борта, над заснеженными холмами вдруг открываются башни старинного замка с островерхими зелеными крышами. Это замок Кронберг, знаменитый Эльсинор, где жил когда-то героический и несчастливый датский принц. Теперь в замке – наблюдательный пункт НАТО. «Овчухов, – слышу я с мостика голос замполита, – погляди-ка налево – видишь замок? Это Гамлета замок – ты Шекспира-то читал?» – «Так точно, товарищ капитан второго ранга, – четко откликается Овчухов. – Только, товарищ капитан второго ранга, вопросик к вам имеется, разрешите обратиться?» – «Обращайся», – снисходительно кивает замполит. «Почему замок в Дании стоит? Гамлет-то ведь вроде англичанин?» – «Эх, Овчухов, Овчухов, – сокрушенно качает головой замполит, – серый ты человек. Политграмоту надо знать. Англичане-то в Средние века, как и теперь, колонизаторы были, вот и наставили свои замки по всей Европе!»

Северная Атлантика встретила нас непрерывными зимними штормами. Почти две недели «Крузенштерн» и второй парусник – «Седов» с зарифленными парусами держались носом на волну. Укачались не только мы, но и большая часть экипажа, где было немало молодых моряков. Из-за сильной качки невозможно стало

варить борщ на камбузе, и обед раздавали сухим пайком. Мне запомнился «военный совет», когда командование судна и экспедиции призвало «на ковер» нашего синоптика капитан-лейтенанта Гену Дегтярева, требуя от него рекомендаций, куда держать курс, чтобы уйти от циклонов. Убегать, однако, судя по представленной Дегтяревым карте, было некуда. В ответ на резкую брань со стороны начальника экспедиции он заявил: «Осмелюсь напомнить, товарищ капитан первого ранга, что, по статистике Ллойда, от кораблекрушений ежегодно гибнет двадцать тысяч человек. Разрешите идти?»

Настоящий ураган прихватил нас уже у берегов Канады. Сила ветра превысила измеряемые пределы. На моих глазах в руках у матроса, измерявшего скорость ветра, оторвало от прибора крутящиеся «чашечки». Командир, не сходивший с мостика почти сутки, с лицом багровым, задубевшим от пронзительного ветра, уходил вниз, в медсанчасть, где была единственная ванная. Там, не раздеваясь, он спал в ней, поскольку спать в обычной койке не давала качка. Ударами волн смыло две шлюпки и порвало леера на правом борту. В вахтенном журнале от того времени сохранилась забавная запись, сделанная одним из молодых вахтенных офицеров: «02 часа 07 минут. Наблюдается резкое усиление ветра и высоты волны. Принимаю решение – разбудить командира экспедиции и спросить – что делать». Уже неподалеку от канадского берега стало ясно, что надо менять курс, чтобы парусник не вынесло на скалы. Для этого, однако, необходимо на какое-то время встать лагом к волне, что крайне рискованно, поскольку критический крен судна – около пятидесяти градусов. Все хорошо помнили историю с «Памиром». Другого выхода, между тем, не было. Всем было приказано надеть спасательные жилеты и покинуть внутренние помещения судна. Офицеры надели чистое белье и парадную форму. Только мы, штатские идиоты, впервые попавшие в океан, радовались этой морской экзотике, напоминавшей рассказы Станюковича, наивно полагая, по своей глупости, что все идет как положено.

Самое интересное, что, когда хриплый голос командира приказал по «спикеру» надеть спасательные жилеты, все немедленно перестали укачиваться. Наконец начали опасный поворот. Судно легло на левый борт, и крен достиг пятидесяти градусов. Десяток показавшихся бесконечными секунд – и судно со стоном и скрежетом выпрямилось. Не прошло и двух часов, как все снова стали укачиваться. Пожалуй, за все последующие годы плаваний в океане мне ни разу не довелось попадать в такую критическую ситуацию, как в этом первом рейсе в январе 62-го года. Ураганный шторм прихватил нас в тот раз и на обратном

пути, у самого входа в Английский канал, когда с левого борта уже был виден мерцающий маяк на мысе Лизард. Сильный, внезапно налетевший шквал не позволил убрать вовремя косые паруса в носовой части судна, и оно стало зарываться бушпритом в воду. Посылать туда людей было нельзя. Я видел, как все тот же Овчухов, широко расставив ноги и поддерживаемый двумя матросами за бока, расстреливал натянувшиеся фалы из автомата Калашникова, и паруса поочередно с пушечным громом улетали в ночь. Наконец, когда отстрелили последний парус – бом-кливер, – судно выпрямилось от носового дифферента и перестало черпать воду.

Значительно позднее, плавая на других, более современных судах, я понял высокую степень их безопасности по сравнению с парусником. На них, однако, никогда не возникало странного ощущения полета, которое охватывает только на палубе парусника, бесшумно движущегося в океане, чуть накренясь на один борт. Пароходы, толкаемые винтом, рассекают воду, как плуг пашню – парусник же, перемещаемый, как и волна, ветром, не режет воду, а скользит вместе с ней. И вместо постоянной неприятной вибрации палубы и стука машин – полная тишина, нарушаемая только негромким шелестом волны о борт и скрипом снастей рангоута.

Удивительной и романтичной казалась мне и специальная вахта, существовавшая на «Крузенштерне» и упраздненная за ненадобностью на современных судах с их прекрасным обзором из ходовой рубки и радиолокацией. На самой крайней верхней носовой палубе – полубаке, где висит медный корабельный колокол – рында, стоял вахтенный матрос – впередсмотрящий. Каждый час он должен был отбивать склянки – время до конца вахты и докладывать на мостик обо всех опасностях, которые он видит по курсу судна. «Горизонт чист, ходовые огни горят ясно», – слышался время от времени над палубами его голос. Одна из первых песен, написанных в 1962 году на «Крузенштерне», так и называлась «Впередсмотрящий».

Маяк далекий в темноте погас.
Ползет туман, и близок шквал летящий.
Не отводи от горизонта глаз,
Впередсмотрящий, впередсмотрящий.

Ты вспоминаешь серые глаза,
Ты хвалишься любовью настоящей, —
Смотри вперед и не смотри назад,
Впередсмотрящий, впередсмотрящий.

Нам бьют в лицо холодные дожди,
И ветер обжигает нас слепящий.
Скажи же нам, что ждет нас впереди,
Впередсмотрящий, впередсмотрящий.

Избавлен ты от тысячи забот,
Ночей бессонных и тоски щемящей, —
Ведь должен ты всегда смотреть вперед,
Впередсмотрящий, впередсмотрящий.

А чего стоили звучные команды, гремевшие по трансляции, когда судно выполняло какой-нибудь маневр: «Все наверх! На брассы, на правую, все реи бакштаг правого галса!» Ставя и убирая паруса, моряки палубной команды с удивительной легкостью взбирались по вантам на реи и салинги, ловко и уверенно перемещаясь на огромной высоте. Глядя на них, казалось, что дело это простое и легкое. Нам же, прикомандированным штатским, категорически запрещалось даже на метр отрываться от палубы. И все-таки проплавать полгода на паруснике и ни разу не подняться на мачту было выше моих сил. Плавали мы в это время в Карибском море, погода была тихая, и я решился попробовать свои силы. Командирский мостик на «Крузенштерне» расположен около первого грота. Поэтому для своих подвигов я выбрал второй грот, имея в виду, что вахтенные на мостике обычно смотрят вперед и назад не оглядываются.

Надев выпрошенный у боцманов страховой пояс с карабинчиком, я, оглядевшись по сторонам, начал понемногу подниматься по вантам и так довольно легко достиг марсовой площадки – метрах в двадцати пяти выше палубы. Этого, однако, мне показалось мало, и я решил добраться до салинга. От марсовой площадки вверх уже более узкие ванты, да и угол их был куда круче. Стараясь не смотреть вниз, я бодро двинулся вверх, но в какой-то момент, не удержавшись, все же бросил взгляд вниз и оцепенел. Где же судно? Подо мной расстилался необозримый синий океан, и только внизу, у самого основания мачты желтела какая-то узкая полоска. Голова моя закружилась. Вдруг ощутивший себя в пустоте, как муха, висящая на зыбкой паутине, я дрожащими руками пристегнул карабин страхового пояса к вантине и ухватился за нее обеими руками. Дальше рассказывал старпом: «Когда тебя снимали, – похохатывая, объяснял он, – то снимали втроем. Два моряка тебя страховали, чтобы ты с перепугу не свалился, а третий пальцы твои от вантин

отжимал». Третьим был все тот же старшина Овчухов, человек страшной физической силы. На пари он не просто гнул руками подкову, а разрывал ее на части. Это он пытался мои пальцы от вантин оторвать! «Но ничего у него не вышло, – продолжал старпом, – ты только головой мотал и мычал, а пальцы от вантины так и не отпускал. Пришлось Овчухову дать тебе легкий подзатыльник, чтобы ты отключился. Тут ты враз пальцы разжал, и тебя забрали». От «легкого» овчуховского подзатыльника месяца два у меня все не заживал кровоподтек на шее.

По вечерам на шканцах, на открытой палубе, крутили кино. Натягивался экран, и прямо под густой темнотой тропической ночи вспыхивал луч кинопроектора. Зрители сидели на банках, поставленных на палубе. А над нами мерно, в такт легкой судовой качке, раскачивались над черными реями яркие, непривычно близкие южные созвездия. Под свежим впечатлением от моего неудачного путешествия на салинг, сидя на банке и глядя на качающиеся созвездия, я начал придумывать пиратскую песню, к которой относится реплика моего друга Юрия Визбора: «У каждого уважающего себя автора есть хотя бы одна пиратская песня. Ну, а что касается Городницкого, то всем известно, что он сам – старый пират».

Пират, забудь о стороне родной,
Когда сигнал «К атаке!» донесется.
Поскрипывают мачты над волной,
На пенных гребнях вспыхивает солнце.
Земная неизвестна нам тоска
Под флагом со скрещенными костями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями!

Дрожите, лиссабонские купцы,
Свои жиры студеные трясите,
Дрожите, королевские дворцы
И скаредное лондонское Сити, —
На шумный праздник пушек и клинка
Мы явимся незваными гостями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями!

Вьет вымпела попутный ветерок.
Назло врагам живем мы, не старея.
И если в ясный солнечный денек
В последний раз запляшем мы на рее, —

Мы вас во сне ухватим за бока,
Мы к вам придем недобрыми вестями,
И никогда мы не умрем, пока
Качаются светила над снастями!

Через пять лет, в 1967 году, когда готовилась к изданию в Ленинграде первая книжка моих стихов «Атланты», редактор справедливо указал мне на то, что строчка, использованная мной для рефрена «И никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями», – синтаксически неверна. Песня, однако, уже пелась, и переделывать строчку было невозможно. Так она и осталась без изменений.

Помимо привыкания к трудностям морской жизни, много хлопот доставляло нам привыкание к жизни военно-морской, с ее жестким и часто тупым укладом, «боевой и политической подготовкой». Помню, в первые месяцы пребывания на судне я обратил внимание, как старательно матросы драят медяшку. «Не проще ли было бы заменить все эти медные поручни хромированными или никелированными?» – спросил я у старпома Шишина. «Нет, – ответил он, – матрос в море должен всегда быть занят. Все пиратские бунты оттого и происходили, что у людей появлялось свободное время». Он был прав. Когда, уже подружившись с нашими офицерами, я вдруг спрашивал, для чего нужно делать то или другое бессмысленное, на мой взгляд, дело, они с грустной улыбкой отвечали: «Чтобы служба медом не казалась». Они же объясняли мне, что если командир, отдав приказ, понимает, что приказал не то, что надо, он свой приказ все равно отменять не должен, иначе подорвет свой командирский авторитет.

Виктор Константинович Шишин, тогдашний старпом на «Крузенштерне» в звании капитана III ранга, был одним из первых моих морских наставников. Он терпеливо и доходчиво объяснял мне основные правила корабельной жизни и устройство судна. Невысокого роста, плотный, с седоватым ежиком густых волос, узкой щеточкой усов и озорными глазами, он как будто одновременно успевал повсюду, кого-то распекал, чем-то командовал. «Старпом – это собака на корабле, – объяснял он мне, – он должен все делать и всем командовать. Командир только в самый ответственный момент появляется на мостике, и то в белых перчатках». Мы с ним подружились. После возвращения я неоднократно бывал в его тесной квартирке в Кронштадте, где ютилась его семья. После 1966 года я потерял его из виду. Позднее мне рассказали, что он стал командиром

современного гидрографического судна и умер от неожиданного инфаркта в одном из рейсов.

Говорят, что умер мой старпом
В дальнем рейсе, в море Средиземном.
Пожелать такой кончины всем нам
Мог бы я во времени ином.
Говорят, что умер мой старпом,
От инфаркта умер, в одночасье.
Давние понятия о счастье
Сразу полетели кувырком.
Тот залив холодный подо льдом,
Дом казенный в стынущем Кронштадте,
Где когда-то пили на закате,
Нынче вспоминаются с трудом.
Не смотреть мне с ним на острова,
Спирт с водой не смешивать в стакане,
Не учить английские слова
Темной ночью в теплом океане,
Где поет о перемене мест
Парусов тугое оперенье,
И мерцает над бушпритом крест,
Наклоненный для благословенья.

Командиром «Крузенштерна» тогда был Павел Васильевич Власов, старый и, по-видимому, опытный моряк, «высших женских курсов» явно не кончавший, но владевший, как говорили наши офицеры, «тремя языками: строевым, матерным и русским со словарем». Помню, уже при возвращении в Балтийск, еще на рейде, к нам на борт прибыли таможенники для досмотра. Закончив свою работу, они пришли в кают-компанию на обед. Как раз в тот момент началась швартовка судна, и швартующий нас буксир, неудачно потянув за буксирный конец, чуть не вырвал носовой кнехт на полубаке. При этом с мостика по всей судовой трансляции раздался такой чудовищный мат Власова, что обедавшая таможенница поперхнулась супом, и пришлось вызывать врача. Помню, он попросил меня заняться с ним английским языком, тем более что ночные вахты наши совпадали. Дело это оказалось трудным, поскольку английские слова отскакивали от его уха, как горох от стенки. Тем не менее одно слово «эбаут» он запомнил сразу. «В нем что-то родное звучит», – объяснял он мне. И во всех случаях при встречах с англичанами говорил «эбаут». Спросят его, бывало, например, какова длина вашего судна – метров сто? Он отвечает: «Эбаут». Гости довольны,

кивают. «А сколько вы уже плаваете в океане, месяца четыре?» – «Эбаут», – отвечает он. И опять все в порядке. «Спасибо, Саня, – такое нужное слово ты мне сообщил! Но главное – в нем что-то родное звучит».

Примерно год спустя, во время второго похода на «Крузенштерне», мы зашли на английскую военно-морскую базу в Гибралтар, и командующий базой контр-адмирал сэр Томас Бест пригласил командира экспедиции и командиров судов, среди которых был и Власов, на званый обед, где роль переводчика пришлось играть мне. Когда подали черепаховый суп и лакеи, стоявшие сзади, налили какую-то прозрачную жидкость из графина в плоские бокалы, поставленные перед нами рядом с обычными рюмками и фужерами, Павел Васильевич, схватив своей крепкой волосатой рукой бокал, сказал: «Переведи – за мир и дружбу», и, крякнув, выпил. Адмирал начал что-то смущенно говорить по-английски. Смысл его слов, которые я переводить командиру не стал, состоял в том, что это не вино, а виноградный соус, который доливают в черепаховый суп.

В другой раз, в Центральной Атлантике, где вокруг судна все время сновали акулы, какой-то умник объяснил Власову, что капитан, который съест сердце акулы, становится бесстрашным на всю жизнь. Сразу же после этого началась настоящая кампания по ловле акул, к которой активно подключились наши офицеры. Наконец у какой-то отборной акулы было вынуто сердце, его то ли сварили, то ли поджарили, и вестовой на специальном блюде на глазах у всей команды понес его в командирский салон, куда были приглашены помощники и где на столе ожидала закуски бутылка «Столичной». Не прошло, однако, и пяти минут, как из салона выскочил командир с багровым лицом и кинулся к фальшборту. Зная, что его никогда не укачивает, я был немало удивлен его бурной реакцией на акулье сердце. Так ему и не удалось стать бесстрашным капитаном.

Вместе с тем он пару раз выручал меня из довольно критических ситуаций. Дело в том, что у меня почему-то с первых дней пребывания на «Крузенштерне» сразу же не сложились отношения с нашим замполитом. У замполита были свои непреложные правила. Он считал, например, что рядовые моряки и старшины могут читать только многотиражку Балтийского флота «Страж Балтики», где все изложено специально для них. А вот центральные газеты – «Правду» или «Известия» – они читать не должны, потому что могут кое-чего там и не понять. Поэтому центральные газеты должен им комментировать и объяснять он сам. Что касается офицеров, то они могут читать и центральные газеты самостоятельно. А вот вольнодумные издания вроде

«Литературной газеты» не имеет права читать уже никто, поскольку от них можно ждать разных идеологических диверсий.

С самых первых дней, как только мы появились на «Крузенштерне», наш замполит почему-то начал подозревать во мне опасного вольнодумца. Поводом для этого послужило мое явное сопротивление его приказу не появляться на верхней палубе без головного убора, а также покидать ее всякий раз, когда мы встречаемся с военными судами – «чтобы не нарушать строгого облика военного судна своим распущенным видом». Кроме того, я возражал, хотя и безуспешно, против необходимости сидеть каждый понедельник на занятиях по марксистской философии, наивно ссылаясь на законченный институтский курс этой науки. Конфликт с замполитом, чреватый для меня потерей загранвизы, еще обострился после того, как по его приказу судовая трансляция с утра до ночи беспрерывно на полную громкость передавала одни и те же, безумно всем надоевшие за полгода плавания песни с нескольких затертых пластинок. В начале книги я уже упоминал о совпадении его мнения о главном назначении радио с мнением моего покойного деда. Среди прочих была там одна особенно опостылевшая мне лирическая песня на слова Михаила Танича:

Девушки сидят на подоконнике,
Обнявшись, вполголоса поют.
Где-то их, наверно, ждут поклонники,
Ну и пусть немного подождут.

В конце песни говорится, что девушки ее «оборвут, не кончив, и со смехом побегут с ребятами в кино, и уходит песня грустным эхом через запотевшее окно». Песня эта, крутившаяся много раз на дню, обрыдла нам особенно, но замполиту она нравилась, и просьбы ставить ее пореже успеха не имели.

В тот день, по случаю женского праздника 8 Марта, обед в кают-компании, где мы, штатские, сидели в самом конце офицерского стола, был праздничным. Павел Васильевич по случаю праздника надел парадную тужурку с многочисленными орденами. Слева от него, как и положено, сидел замполит, справа – старпом. Подали борщ, и замполит налил себе полную тарелку. И тут, как назло, снова зазвучала эта несчастная песня. Я решил идти ва-банк. «Павел Васильевич, – громко спросил я через весь стол, – разрешите обратиться?» – «В чем дело?» – спросил он подозрительно. «Почему в День советских женщин у нас по радио поют такие идейно невыдержанные песни?» Офицеры, разговаривавшие за столом, отложили ложки и стали

прислушиваться. Замполит, кося на меня недобрым глазом, тем не менее набрал в рот полную ложку борща. Это-то его и подвело. «Ну, как же, – продолжал я, – вы послушайте, какие оскорбительные, пошлые слова про наших женщин звучат в той песне!» – «Какие?» – покосившись на набравшего в рот борщ замполита, снова спросил Власов. «А вот про них говорится, что они «оборвут, не кончив, и со смехом». Тут замполит от неожиданности и возмущения поперхнулся и весь свой борщ выдал на ордена парадной тужурки командира. Над столом повисла мертвая тишина. «За борт», – брезгливо отряхивая салфеткой ошметки капусты с лацканов, коротко бросил командир. «Его?» – с надеждой спросил оклемавшийся замполит. «Пластинку!» – рявкнул Власов и, поднявшись, вышел из кают-компании.

Замполит, однако, был человек опытный и злопамятный. До этого он служил в Клайпеде на базе подводных лодок, где любил разбирать персональные дела, связанные с супружескими изменами. «Что же это происходит, – заявил он как-то на партийном собрании. – Офицеры плавают в море, моряки с ихними женами спят, а политработники стоят в стороне? Так не пойдет. Мы должны к этому вопросу подключиться». В случае со мной он тоже ждал своего часа, и дождался. Поход наш уже перевалил за половину, когда московское радио вдруг передало мою песню «Снег» в исполнении артиста Юрия Пузырева. Примерно через день после этого ко мне явилась делегация от боцманской команды с просьбой написать «такую же хорошую песню про море, про то, как мы здесь всякие трудности переносим вдали от жен и подруг, но все-таки море любим больше». «Только, если можно, – сказал Овчухов, возглавлявший делегацию, – напишите попросту, по-матроссски, без всяких интеллигентских выкрутасов». И я, на свою беду, попробовал, написав шуточную матросскую песенку:

Ах, не ревнуй меня к девке зеленой,
А ты ревнуй меня к воде соленой.
Ах, не ревнуй меня к вдове дебелой,
А ты ревнуй меня к пене белой.
Закачает вода, завертит,
Все изменит в моей судьбе.
Зацелует вода до смерти,
Не отпустит меня к тебе.

Ах, не ревнуй меня к ласке дочерней,
А ты ревнуй меня к звезде вечерней.

Ах, не ревнуй меня к соседке Райке,
А ты ревнуй меня к серой чайке.
Только чайка крылом поманит,
И уйду от любви твоей.
Пусть сегодня она обманет, —
Завтра снова поверю ей.

Ах, не ревнуй меня к глазам лукавым,
А ты ревнуй меня к придонным травам.
Ах, не ревнуй меня к груди налитой,
А ты ревнуй меня к песне забытой.
Мне бы вовсе ее не слушать, —
Как услышу, дышать невмочь,
Снова песня источит душу
И из дома погонит прочь.

Морякам новая песня как будто понравилась. Во всяком случае, они ее тут же переписали и даже пару раз успели исполнить на баке вечерком под баян, на котором виртуозно играл старшина второй статьи, известный женский сердцеед Слава Агуреев. На следующий день, однако, начались неприятности. Распевавшие песню неожиданно получили по два наряда вне очереди, а сам текст песни у них был конфискован. Ко мне явился замполит и сказал: «Ну, когда мы в базу вернемся, с вами Особый отдел будет разбираться за ваши идеологические диверсии. А я все-таки хочу спросить, как это так – я дней и ночей не сплю, личный состав неустанно воспитываю в духе постоянной преданности и идейной чистоты, а вы взяли и мне его весь в один день морально разложили?» Я не на шутку испугался: «Чем же это я разложил?» – «Вы что, и вправду не понимаете или ваньку валяете? Это ваши слова?» – И он сунул мне под нос отобранную у Агуреева тетрадку, где под мою диктовку был записан текст песни. – «Мои». – «Ну вот, а еще отпираетесь, – сказал он с торжествующей улыбкой. – Вы тут ясно пишете, что у женщины есть грудь!» – «Ну и что?» – не понял я. «А то, что вы таким образом на секс намекаете. А для советского человека у женщины грудь в любви – не главное, главное – это моральный облик!» Сразу стало ясно, что общего языка мы с ним не найдем…

Дело, однако, было не в «сексуальной строчке». Главной крамолой для замполита были вовсе не тексты моих песен, а сам факт появления их на судне, который не вписывался в установленный им жесткий регламент постоянного заполнения матросских ушей произведениями могучей советской песенной

индустрии. Более всего его встревожило, что матросы эту песню (и другие мои песни) переписали, разучили и поют сами, даже не спросив у него на это разрешения. «Это что же, сегодня они ваши тексты переписывают, а завтра уже откровенно враждебные начнут петь!» За несколько дней перед этим он конфисковал у инженера из нашей группы Сергея Земскова большую бобину с песнями Булата Окуджавы и демонстративно кинул ее за борт. Судя по всему, он рад был бы то же самое немедленно сделать со мной. Так в масштабах нашего судна, как в капле воды, отобразилась ситуация с отношением бдительных партийных инстанций к авторской песне, в которой они сразу же уловили «чуждый голос».

В начале июня, когда «Крузенштерн» возвратился в Балтийск, замполит ухитрился внести историю со злополучной песней в свое политдонесение, которое попало на стол к тогдашнему начальнику политотдела Дважды Краснознаменного Балтийского флота вице-адмиралу товарищу Почупайло. Туда же шустрый замполит принес и отобранную у матросов магнитофонную пленку с записью той песни с просьбой прослушать для определения меры пресечения для автора, «разложившего личный состав». Начальник политотдела, как рассказывали мне потом случившиеся там офицеры, торопился в Калининград на футбол – команда балтийцев играла с каким-то сильным противником, но все-таки выслушать песню согласился. «Ну, что же – сказал он потом, надевая фуражку, – ничего особенного, правильная песня. Она показывает, что моряк должен любить море больше, чем бабу». И, уже выходя в дверь, обернулся и твердо закончил: «Разрешить!» Это мудрое решение определило не только судьбу песни, которая не стоила обсуждения в столь высоких инстанциях, но и судьбу автора, дав ему возможность плавать в океане и дальше.

За последующие тридцать лет плаваний в океане мне немало довелось иметь дел с замполитами или «первыми помощниками», как их называют в гражданском флоте. Бывали среди них и порядочные люди. Но уж сама природа этой совершенно ненужной на судне должности такова, что в лучшем случае обязывает человека к безделью, а в худшем – к соглядатайству и доносительству. Отдельные представители славной этой профессии ухитрялись успешно сочетать первое со вторым. Когда судно находится в рейсе несколько месяцев подряд, хуже всего на нем тому, кому делать нечего. Я помню, как мучился один из наших перпомов на судне «Академик Мстислав Келдыш», изнывая от вынужденного безделья. Стосковавшись по земле и оставленному им на берегу садовому участку, он устроил на

аварийном мостике над ходовой рубкой настоящую оранжерею, которой мог бы позавидовать самый взыскательный садовод.

Одним из самых порядочных первых помощников, встретившихся мне, был Николай Григорьевич Тур, долгие годы плававший на «Дмитрии Менделееве». О его щепетильности и деликатности ходили анекдоты. Помню, в одном из рейсов накануне дня 8 Марта мы готовили стенгазету, чтобы вывесить ее наутро в кают-компании. Часов в двенадцать вечера выяснилось, что надо срочно что-то нарисовать. Беспокойный и настырный заместитель начальника рейса, бывший к тому же еще и представителем партбюро института, настропалил Тура пойти и срочно поднять второго электромеханика – штатного судового художника. Перпом отправился к нему в каюту, но тут же вернулся, несколько сконфуженный. «Понимаете, я постучался к нему, а у него, оказывается, женщина. Я не решился их беспокоить», – смущенно объяснил он.

В этом первом плавании на борту «Крузенштерна» появилась еще одна песня – «Прощание с городом»:

Мне разлука с тобой знакома.
Как у времени ни проси,
Он горит у подъезда дома —
Неуютный огонь такси,
Чемодан мой несут родные,
И зеленый огонь погас.
И плывут твои мостовые,
Может, нынче в последний раз.

Мне не ждать у твоих вокзалов,
Не стоять на твоих мостах.
Видно, времени было мало
Мне прижиться в этих местах.
Как приехавший, как впервые,
Отвести не могу я глаз.
И плывут твои мостовые,
Может, нынче в последний раз.

Не вернуть уходящих суток
Ненадежной шумихой встреч,
Четких улиц твоих рисунок
От распада не уберечь.
Восстановят ли их живые,
Вспоминая погибших нас?..
И плывут твои мостовые,

Может, нынче в последний раз.

Песню я эту по возвращении на берег пару раз где-то спел, а потом начисто про нее забыл. Прошло много лет. В 1999 году мне в руки попал сборник песен, которые пели наши солдаты в Афганистане во время несчастной Афганской войны, и я с удивлением обнаружил там эту песню с пометкой «автор неизвестен».

Второй поход «Крузенштерна» зимой 1962–1963 годов был тоже нелегким. Новый, 1963-й встречали в океане. Поскольку на военном судне был строгий сухой закон, то, укрывшись в одной из дальних кают, раскачиваемой ночным штормом, пили спирт, разведенный наскоро в химической колбе. Спирт попахивал резиной, как всегда – свежеразведенный, и дымился, растворяясь в опресненной воде. Прямо с мостика после вахты, сменившись в момент прихода Нового года, в ноль часов, к нам попал лейтенант Володя Георгиев, замерзший, с окоченевшими руками и красным от ледяного ветра лицом. Ему налили спирта, и он, расчувствовавшись, начал предлагать тост «за тех, кто на земле», за наших жен, «которым сейчас труднее, чем нам, потому что у нас тут соблазнов никаких нет, а у них – сплошные соблазны». Тост этот, однако, мужской поддержки не получил, и Георгиеву пригрозили, что ему больше не нальют, если он и далее будет нести чушь. В результате этого спора в первый день Нового года я написал песню «За тех, кто на земле»:

Бушует ливень проливной,
Шумит волна во мгле.
Давайте выпьем в эту ночь
За тех, кто на земле.
Дымится разведенный спирт
В химическом стекле.
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.

За тех, кому стучит в окно
Серебряный восход,
За тех, кто нас давным-давно,
Наверное, не ждет.
И пусть начальство не скрипит,
Что мы навеселе, —
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.

Чтоб был веселым их досуг
Вдали от водных ям,
Чтоб никогда не знать разлук
Их завтрашним мужьям.
Не место для земных обид
У нас на корабле, —
Мы будем пить за тех, кто спит
Сегодня на земле.

В этом втором зимнем походе, в отличие от первого, когда мы проплавали полгода «без берега», заходы в иностранные порты все-таки были. Первым из них, и вообще в моей жизни, стал заход в порт Гамильтон, на Бермудские острова. Тогда мы еще мало что знали о зловещем Бермудском треугольнике и ничего особенно здесь не опасались. Наоборот, зеленые, залитые ласковым солнечным светом Бермудские острова, забитые респектабельными отдыхающими из всех стран мира, улыбающиеся женщины всех цветов и оттенков после месячного плавания в зимней штормовой Атлантике показались нам призрачным раем. К судну тут же подогнали два автобуса с девицами, однако наш бдительный замполит на борт их не допустил. «Как вы так долго обходитесь без женщин?» – удивлялись журналисты местных газет. Вид нашего парусника настолько восхитил губернатора Бермуд, дядю британской королевы, что он специально вызвал из Лондона киносъемочную группу, чтобы запечатлеть «Крузенштерн».

Поскольку во втором походе район работ был поюжнее, то и погода была получше. Когда пересекли Северный тропик, началась такая жара, что в каюте спать стало практически невозможно. Пришлось устраиваться на палубе, на шканцах или ботдеке. За несколько месяцев я привык, пробуждаясь, видеть над собой напряженные паруса и слышать успокаивающее негромкое поскрипывание рангоута. Так появилась песня «Паруса «Крузенштерна».

Песня эта первоначально была придумана на мой собственный мотив, но примерно через год композитор Владимир Струненко, живший в Мариуполе, в давние времена не слишком удачно переименованном в город Жданов, написал свою музыку на этот текст и послал песню на радиостанцию «Юность». За почти полстолетия песня «Паруса «Крузенштерна», постоянно прописанная на судне, обошла вместе с ним немало морей и океанов. Теперь, иногда вновь поднимаясь на борт «Крузенштерна» (сейчас знаменитый парусник – учебное судно

Балтийской академии рыбопромыслового флота), я неизменно убеждаюсь в том, что ее поет уже не первое поколение плавающих на нем курсантов. Из-за этой песни я навсегда зачислен в почетные члены экипажа «Крузенштерна», чем очень горжусь.

Я уже упоминал, что более трех месяцев во втором походе мы проработали в жарких тропических широтах Атлантики. Запасы пресной воды были скудными. Стопроцентная влажность и жара даже ночью не давали передышки. Горячий душ устраивался только раз в месяц (три человека под один рожок, не более чем на пять минут). Глаза, обожженные солнцем и разъеденные соленой водой, слезились от конъюнктивита. Постоянная солонина с томатной пастой и комбижиром корежила наши неопытные желудки. Все члены экипажа стосковались по твердой земле под ногами вместо валкой и скользкой палубы, по освежающему холоду вместо изнурительной тропической жары, по деревьям и снегу. И вот в самом начале апреля мы пришли в канадский порт Галифакс в Новой Шотландии. На заснеженном холмистом берегу стояли столь милые нашим стосковавшимся глазам березовые рощи, сменявшиеся сосняком. Я тогда еще мало поездил по миру и наивно полагал, что березы растут только в России. Уже потом выяснилось, что растут они по всему земному шару за редким исключением. Тогда же увиденный пейзаж настолько напомнил родное Подмосковье, что у всех защемило сердце. Тогда-то и появилась на судне грустная песенка «Над Канадой небо сине», начавшая сразу же существовать как бы отдельно:

Над Канадой, над Канадой
Солнце низкое садится.
Мне уснуть давно бы надо, —
Отчего же мне не спится?
Над Канадой небо сине,
Меж берез дожди косые…
Хоть похоже на Россию,
Только все же – не Россия.

На эту песню в разное время было написано немало пародий. Самая первая из них связана с печальным событием, случившимся в Северной Атлантике. Неподалеку от нас 10 апреля 1963 года трагически погибла американская атомная подводная лодка «Трешер». Оказавшись вблизи от места, где это случилось, мы узнали об этом сначала по радио, а потом в районе появился целый американский флот, ведущий поиски. Из сообщений по радио наше начальство поняло также, что поскольку лодка атомная, то в результате бедствия могло раздавить атомный

реактор, что создает радиоактивную угрозу. Надо было что-то срочно предпринимать. У нас на «Крузенштерне» где-то в боцманских кладовых гнили три положенных по штату старых и проржавевших от морского влажного воздуха радиометра, находившиеся на попечении одного из боцманов, числившегося «военным химиком». Попытка включить их и померить радиацию ничего не дала – дозиметры были неисправны. Вот тут-то командир Власов вспомнил обо мне. Дело в том, что я по военной специальности, приобретенной в институте, – инженер-радиометрист. Меня немедленно вызвали на мостик, где Власов, демонстрируя знание сразу всех трех языков, которыми владел, приказал: «Исправить, измерить и доложить».

Нельзя не отметить в связи с этим, что когда я впервые попал на военное судно, то четкость команд и докладов об исполнении, все охватывающий и предусматривающий корабельный распорядок, грозные кары за малейшее отклонение от указаний, создали у меня, новичка, обманчивую иллюзию, что уж на военном-то флоте в отличие от гражданки существует железный порядок. В 11 часов 15 минут, например, принудительная трансляция разносила по всем судовым помещениям такую команду: «Окончить корабельные работы – команде руки мыть», – чтобы никто не забыл вымыть руки, и только через десять минут после того: «Команде обедать».

Уже значительно позднее, отплавав на военных судах, я усвоил, что бардак там не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем на гражданских, поскольку правду начальству все докладывать, как правило, боятся, поэтому четко, по-военному приложив лапу к уху, рапортуют «есть», хотя и знают, что не только «нет», но даже и быть не может. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем того, как утяжеленное погонами и золотым шитьем начальство назначало сроки подготовки для выхода судов, зная наперед, что они нереальны, и подчиненные это отлично знали, но все молчали, опасаясь за свои звездочки. Приходилось только удивляться, как все-таки при таких порядках мы ухитрились выиграть Великую Отечественную войну. Остается предполагать, что у противника, несмотря на его хваленую немецкую педантичность, порядка было еще меньше.

Вооружившись тестером и паяльником и призвав на помощь весь свой прошлый опыт по ремонту радиометров, почерпнутый в основном в студенческие годы и в экспедициях в горы, я к концу дня с трудом собрал из трех отсыревших и ржавых радиометров один. Командир на мостике явно волновался. Сначала он каждые полчаса посылал ко мне вестового (телефона у нас в лаборатории не было), нетерпеливо поторапливавшего меня, потом он врубил

милую его сердцу судовую трансляцию и начал прямым текстом громко объяснять, что он думает обо мне и моих ближайших родственниках. Руки у меня тряслись. Нервозная обстановка, страх перед грозным начальством и боязнь не справиться привели к тому, что я второпях по ошибке неправильно припаял концы ампервольтметра. Поэтому, когда я включил прибор, чтобы опробовать его, индикатор сразу же зашкалил, сигнализируя о сильнейшей радиации (более 100 рентген/час). Холодный пот прошиб меня. Я хорошо помнил описанную выше недавнюю историю с испытанием атомной бомбы на Новой Земле, когда у нас под Игаркой вот так же точно зашкалило все радиометры. Сопевший за моей спиной вестовой испуганно охнул и помчался докладывать на мостик.

Не успел я опомниться, как по всему судну оглушительно загремели колокола громкого боя, возвещая боевую тревогу. Приказав наглухо задраить все водонепроницаемые переборки и почему-то раздать противогазы, которые в подобных ситуациях, как известно, не слишком эффективны, командир дал полный ход, уходя из опасного района атомного заражения. Через два часа был объявлен всеобщий аврал по дезактивации судна. Мыли и чистили все, безжалостно сжигая ветошь, которой тщательнейшим образом протиралось все оборудование и даже рангоут. Только к исходу суток аврал завершился, противогазы были сняты, и мне было предложено снова провести контрольные измерения. Вот тут-то я и обратил внимание на то, что стрелочный индикатор у меня включен наоборот. Когда я включил его правильно, перекинув минус и плюс, стало ясно, что тревога оказалась ложной. Я, однако, к этому времени уже хорошо усвоил военно-морские порядки и докладывать начальству не стал.

По возвращении в Ленинград я рассказал об этой трагикомической истории Нонне Слепаковой, и она тут же выдала на песню «Над Канадой» такую пародию:

Месяц на небо подвешен
Иностранно и картинно.
Где-то рядом гибнет «Трешер»,
Гибнет радиоактивно.
И нельзя назвать причину,
От которой вся кручина, —
Хоть похож я на мужчину,
Только все же – не мужчина.

В 1969 году, когда начались трения с коммунистическим

Китаем и произошли вооруженные пограничные столкновения на острове Даманский, замечательную пародию написал известный московский пародист Александр Борисович Раскин:

Над Пекином небо сине,
Меж трибун вожди косые.
Хоть похоже на Россию —
Слава Богу – не Россия.

А самую короткую пародию недавно придумал бард Леонид Сергеев: «Надька, надо, Надька, надо».

В походе 63-го года я подружился с капитан-лейтенантом Володей Мигучкиным, оказавшимся поклонником моих песен. Нередко, выпив изготовленного им самим с большим искусством «шила» (так называется разведенный спирт, настаиваемый обычно на каких-нибудь ингредиентах), он начинал неостановимо петь свою любимую песню: «На материк, на материк идет последний караван». Это служило привычным сигналом для всех, что Володя уже «в норме» и пора расходиться. Я, однако, по молодости и авторскому тщеславию, был весьма польщен такой явной привязанностью к моей песне и решил испытать ее пределы. «Володя, вот ты все говоришь, что песня эта гениальная, и что ты только за эту песню – друг мне до самой смерти». – «Ну и что – друг, конечно», – зарычал Мигучкин, прервав на минуту пение. «А вот тебе завтра скажет начальство, что Городницкий – враг народа, и ты лично должен его шлепнуть вот из этого пистолета – что ты будешь делать?» – расслабившись от «шила», легкомысленно спросил я и тут же пожалел об этом. Вопрос оказался жестоким. Мигучкин внезапно замолчал и, уставившись в угол, долго и мучительно морщил лоб, на котором выступил пот от непривычного напряжения. Потом, так же не глядя на меня, неожиданно трезвым голосом медленно и твердо сказал: «Если прикажут – конечно, шлепну, – и, виновато взглянув на меня и взмахнув отчаянно рукой, добавил: – Только запью потом!»

Уже по дороге из Атлантики домой «Крузенштерн» зашел в Гибралтар, и я впервые увидел знаменитые Геркулесовы столбы, отделявшие когда-то для древних греков Средиземное море от «истинного Понта» – Атлантики. Как раз в это время самый молодой из наших офицеров, уже упомянутый романтичный и наивный лейтенант Георгиев, получил радиограмму от жены, где она просила простить ее и объявляла, что уходит к другому. Среди офицеров «Крузенштерна» воцарился настоящий траур. На самого Володю было страшно смотреть. По совету судового врача

Виталия Ласкавого за ним приглядывали друзья, «чтобы чего не случилось». Неожиданная эта беда касалась каждого. У любого из 126 мужчин, находившихся на судне, оставалась дома жена или подруга.

За почти полувековое пребывание в экспедициях, в замкнутых мужских коллективах, на долгие месяцы оторванных от дома, – на Крайнем Севере и потом в океане, – мне неоднократно приходилось быть свидетелем немалого числа сердечных драм, разыгрывавшихся в итоге «столь долгого отсутствия» мужчин дома. По молодому недомыслию, полностью разделяя общее мнение окружавшей меня мужской среды, я привык относить это к ужасной изменчивой сущности женского характера, не дающей возможности им сохранить верность одному «отдельно взятому» мужчине. Это привело, в частности, к тому, что, плавая в океане, я написал немало стихов и песен «женоненавистнического» толка (к сожалению, как правило, не без оснований). Лишь значительно позднее я понял, что дело вовсе не в женщинах, а в существе любовных отношений, которые не допускают долгих разлук. «С любимыми не расставайтесь» – вот единственный надежный рецепт против измен.

Тогда же, стоя под Гибралтарской скалой и переживая по поводу злополучной радиограммы, мы вдруг вспомнили, что за много лет до нас и даже до нашей эры где-то здесь плавал легендарный Одиссей, который никак не мог вернуться на родную Итаку из-под стен разрушенной Трои, возможно, потому что с навигацией у древних греков было еще хуже, чем у нас. И у него были все основания волноваться по поводу супружеской верности его подруги, дом которой осаждали многочисленные женихи. Он, правда, судя по данным мифологии, нисколько не волновался, а по возвращении попросту перебил всех мужчин, которых застал на территории своего дома. Мы были лишены этой приятной возможности, поэтому нам оставалось только переживать. Одиссей тем не менее стал близким мне героем, и в результате появилась песня, названная так же, как Гибралтарский пролив назывался у древних греков «Геркулесовы столбы», заканчивавшаяся довольно наивным призывом:

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога,
У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей.
Меня оплакать не спеши, ты подожди немного,
И черных платьев не носи, и частых слез не сей.

Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы,
Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда.

У Геркулесовых столбов дельфины греют спины
И между двух материков огни несут суда.

Еще над черной глубиной морочит нас тревога
Вдали от царства твоего, от царства губ и рук.
Пускай пока моя родня тебя не судит строго,
Пускай на стенке повисит мой запыленный лук.

У Геркулесовых столбов лежит моя дорога.
Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь.
Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, —
И вина сладкие не пей, и женихам не верь!

Здесь же, в Гибралтаре, была написана еще одна, на этот раз уже «лихая» матросская песенка «Моряк, покрепче вяжи узлы», вполне в духе нашего тогдашнего настроения:

Моряк, покрепче вяжи узлы —
Беда идет по пятам.
Вода и ветер сегодня злы,
И зол, как черт, капитан.
Пусть волны вслед разевают рты,
Пусть стонет парус тугой —
О них навек позабудешь ты,
Когда придем мы домой.

Не верь подруге, а верь в вино,
Не жди от женщин добра:
Сегодня помнить им не дано
О том, что было вчера.
За длинный стол посади друзей
И песню громко запой, —
Еще от зависти лопнуть ей,
Когда придем мы домой.

Не плачь, моряк, о чужой земле,
Скользящей мимо бортов.
Пускай ладони твои в смоле,
Без пятен сердце зато.
Лицо закутай в холодный дым,
Водой соленой умой,
И снова станешь ты молодым,
Когда придем мы домой.

Покрепче, парень, вяжи узлы —
Беда идет по пятам.
Вода и ветер сегодня злы,
И зол, как черт, капитан.
И нет отсюда пути назад,
Как нет следа за кормой.
Никто не сможет тебе сказать,
Когда придем мы домой!

Сам черт не сможет тебе сказать,
Когда придем мы домой!

Песню эту, как выяснилось уже через много лет, любил петь Высоцкий, и ее авторство часто приписывается ему.

На берегу мне поведали, что неподалеку от Гибралтара, в Испании, есть небольшое, но ухоженное кладбище, где на серых плитах надгробий латинскими буквами выведены русские имена, и мне вспомнились наши летчики и танкисты, погибшие на войне за «республиканскую Испанию» в 1936 году. Несчастная эта война, закончившаяся полным поражением и последующим истреблением в сталинских лагерях и тюрьмах многих ее советских участников, была очень популярна в годы моего довоенного детства. Мне было неполных четыре года, когда я, как и все, с гордостью носил испаньолку – высокую пилотку с кисточкой спереди – точно такую же, как героические бойцы республиканской Испании. Возвратившись на судно, я написал песню «Испанская граница»:

У испанской границы пахнет боем быков —
Взбаламученной пылью и запекшейся кровью.
У испанской границы не найдешь земляков,
Кроме тех, что легли здесь, – серый крест в изголовье.

Каталонские лавры над бойцами шумят,
Где-то плачут над ними магаданские ели.
Спят комбриги полегших понапрасну бригад,
Трубачи озорные постареть не успели.

Эй, ребята, вставайте, – нынче время не спать!
На седые шинели пришивайте петлицы.
Вы бригаду под знамя соберите опять
У испанской границы, у испанской границы!

Но молчат комиссары в той земле ледяной,

Им в завьюженной тундре солнце жаркое снится.
И колымские ветры все поют надо мной
У испанской границы, у испанской границы.

Что делать, тогда, в начале 60-х, и я, как и другие, еще наивно верил в «комиссаров в пыльных шлемах»!

Весной следующего, 64-го года, в марте, я летел через Москву в Арктику для участия в экспедиции на Северный полюс, на станцию СП-17. Самолет Полярной авиации должен был доставить нас из подмосковного аэропорта Захарково, где тогда базировались самолеты Управления Полярной авиации, в Косистый, откуда нас забрасывали на льдину. Поскольку летел я на полюс, то, несмотря на теплый московский май, одет был соответственно в унты, меховые брюки и выданный нам толстый водолазный свитер. Кроме того, нам в обязательном порядке выдавали револьвер, без которого нельзя было возить с собой секретные аэрофотоснимки, необходимые для работы, поэтому сзади у меня болтался офицерский «наган»-самовзвод в желтой кожаной кобуре. Сдать его в камеру хранения, положив в рюкзак, я побоялся – вдруг сопрут, а ездить с ним в московском метро тоже было не слишком удобно – меня дважды забирали в милицию и требовали документы.

Деваться мне было некуда, и во второй половине дня я приехал в гости к переводчику-испанисту Овадию Герцевичу Савичу, жившему в большом писательском доме поблизости от метро «Аэропорт». Увидев мое экзотическое экспедиционное одеяние и кобуру, Савич вдруг припомнил, что когда их отправляли в Испанию в 36-м году (а он был там вместе с Ильей Эренбургом и работал переводчиком в советском посольстве), то им тоже выдавали такие же свитера и «наганы». Как раз в тот день в дом пришли несколько стариков из числа участников войны в Испании, выживших чудом после репрессий и ссылок сталинских лет. Незадолго перед этим, в связи с годовщиной гражданской войны в Испании, всем ветеранам ее была выдана памятная медаль на красной треугольной планке. Собралось их с такими медалями у Савича всего четверо или пятеро – больные, измученные старики, чудом выжившие в потемках ГУЛАГа. Пили присланное Савичу знаменитым чилийским поэтом Пабло Нерудой настоящее испанское вино – малагу, в непрозрачной густоте которой, дробясь, поглощается солнечный луч. Я рассказал о кладбище в Испании, и Савич попросил меня показать песню, которую я и спел неуверенным голосом, робея перед седыми ветеранами испанской войны. Тем большими были

мои смущения и растерянность, когда я увидел на их глазах слезы.

Уже в третьем походе «Крузенштерна» в Северную Атлантику, когда мы заходили в Касабланку и опять в Гибралтар, после долгого плавания в открытом океане без заходов, мне почему-то с особенной четкостью вспомнился вдруг Эрмитаж, куда любил меня водить отец. Я попробовал написать стихи об атлантах, тем более что мы совсем недавно отплыли от Геркулесовых столбов:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди,
Где без питья и хлеба,
Забытые в веках,
Атланты держат небо
На каменных руках.

Держать его, махину —
Не мед со стороны.
Напряжены их спины,
Колени сведены.
Их тяжкая работа
Важней иных работ:
Из них ослабни кто-то —
И небо упадет.

Во тьме заплачут вдовы,
Повыгорят поля,
И встанет гриб лиловый,
И кончится Земля.
А небо год от года
Все давит тяжелей,
Дрожит оно от гуда
Ракетных кораблей.

Стоят они, ребята,
Точеные тела, —
Поставлены когда-то,
А смена не пришла.
Их свет дневной не радует,
Им ночью не до сна.
Их красоту снарядами
Уродует война.

Стоят они, навеки
Уперши лбы в беду,
Не боги – человеки,
Привычные к труду.
И жить еще надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках.

Написанные стихи, однако, мне не понравились – что-то мешало читать их как стихи. Я их отложил, а потом и вовсе забыл про них. Где-то примерно через месяц, перебирая старые бумажки у себя в каюте, я вдруг натолкнулся на них и собирался было выкинуть, как вдруг неожиданно для себя стал мурлыкать первую строчку на внезапно появившуюся нехитрую мелодию. Так получилась песня «Атланты».

Это неуловимое, но всегда ощущаемое различие между стихами, которые можно только читать, и стихами, которые обязательно надо петь, а читать с листа нельзя, до сих пор является предметом спора о стиховой правомочности авторской песни. Мне и самому многое здесь неясно – можно ли считать стихами те, что обязательно надо петь, или нельзя? Яростные дискуссии вокруг песен Высоцкого, Галича и даже Окуджавы, которым ревнители «чистого стихосложения» решительно отказывают в литературной принадлежности, с течением времени не стихают. Мне же представляется, что главное все-таки не в форме записи, а в том, чтобы строчки эти хотелось бы потом читать или слушать, а что именно – читать с листа или слушать с голоса или компакт-диска, – не так уж важно…

Что же касается «Атлантов», то песня эта, получившая широкое распространение, в 1967 году, без моего участия и неожиданно для меня, заняла первое место во Всесоюзном конкурсе на лучшую песню для советской молодежи, стала чем-то вроде моей визитной карточки, объектом многочисленных пародий. Много лет ее поют на самых разных слетах и фестивалях авторской песни, как правило, в заключение, и при этом нередко еще встают. Последнее не слишком радовало меня, поскольку в памяти моей живы еще партийные гимны, под которые все вставали. Но в августе 1991 года, в дни неудавшегося путча, когда у Белого дома мы, безоружные, хором пели эту песню под дождем, ожидая танковой атаки, я понял, что она еще не состарилась и не ушла в официоз. В последние годы эта песня

стала неофициальным гимном моего родного Питера.

В 65-м году, после возвращения из третьего похода на «Крузенштерне», молодежная редакция ленинградского телевидения, которой руководила тогда талантливая радиожурналистка Галина Позднякова, пригласила меня с морскими песнями для участия в передаче. По этому случаю с «Крузенштерна», стоявшего тогда в Кронштадте, были откомандированы в Ленинград для участия в передаче трое моряков – с гитарой и аккордеоном. Поселились они в квартире Нины Королевой, уезжавшей куда-то в это время, и по флотской привычке навели в квартире такую чистоту, что Нина после возвращения не узнала свой дом. «Нельзя ли их еще раз пригласить? – спрашивала она у меня. – Они мне вычистили до блеска все старые кастрюли и даже окна помыли!»

На телевидении же я впервые столкнулся с новыми для меня проблемами. «Вы – автор музыки? – строго спросила у меня дама – музыкальный редактор, прослушав запись песни «Над Канадой небо сине». – У вас там на шестом такте доминанта наступает на субдоминанту». Я очень испугался, поскольку не понял ни одного слова.

Миновало более трех десятков лет. Летом 1996 года, когда отмечалось трехсотлетие Российского флота, мне вдруг позвонили из «Всероссийской молодежной лиги» и пригласили в Питер на торжественную встречу парусника «Крузенштерн», возвращавшегося с калининградскими курсантами на борту из кругосветного плавания. Трудно описать словами мои чувства и ностальгические эмоции, когда солнечным августовским утром я стоял в толпе встречающих на Английской набережной на Неве, куда (именно на то же место, где он стоял в мои школьные годы!) должен был пришвартоваться «Крузенштерн». Наконец над корпусами судоремонтного завода показались верхушки мачт, а сразу после этого из-за поворота показался знакомый бушприт с наядой на форштевне. Оркестр, ослепительно блестя медными трубами, грянул встречный марш. Почетный караул покачнул свои игрушечные карабины и сделал «равнение налево». Адмиралы, а их на этот раз набралось немало, неспешно потянули руки к золоту своих козырьков. Яростно защелкали затворы фотоаппаратов. Телеоператоры припали к видоискателям своих камер. Женщины вынули надушенные платки. На паруснике, корпус которого был теперь выкрашен в черный цвет с белыми полосами на бортах, были подняты праздничные флаги расцвечивания. На реях мачт, широко расставив ноги, застыли курсанты в парадной черно-белой форме.

Сердце мое защемило, и в носу подозрительно защекотало.

Я вспомнил наш первый зимний отход из Балтийска во вьюжном и морозном декабре 1961 года. На минуту показалось, что это не они, а я сам, моя глупая и наивная салажная юность, упрямо верящая в чудеса и приключения, возвращается из океана, открыв свою Америку. Господи, мы уже состарились, прежние мои командиры, тогда еще молодые и веселые, давно уже отправились в бессрочный поход.

Командиров моих не услышу родной матерок:
Бессловесны теперь, они в пятом плывут океане.

Давно нет в живых ни командира экспедиции Петра Сергеевича Митрофанова, ни грозного старпома Виктора Степановича Шишина, ни судового врача Виталия Ивановича Ласкавого. А это сверкающее свежей краской и манящее изяществом своих обводов судно так же молодо, как его нынешний экипаж, который тоже состарится быстрее, чем оно.

Протокол торжественной встречи судна завершался моим выступлением, которое было устроено на верхней палубе, где разместились и экипаж, и встречающие. Кроме того, громкоговорители («колокольчики») были выведены на набережную, куда собралось довольно много народа поглазеть на диковинный парусник. Мы вместе с Мишей Кане, аккомпанировавшим мне на гитаре, стояли на краю спардека, спиной к фок-мачте. Перед нами, прямо на палубе, сидели загорелые мальчишки с синими гюйсами. А за нашими спинами, над Николаевским мостом и Василеостровской набережной, ярко вспыхивали в косых лучах солнца белоснежные невские чайки.

Не знаю, как они мне, а я им в этот момент завидовал. Вечером в офицерской кают-компании был учинен банкет для питерского и морского начальства. Много говорилось и еще больше пилось, и я с грустью смотрел на незнакомые лица и поневоле отметил, что из первого поколения «крузенштерновцев» не осталось уже никого. Помню, уже поздно вечером я возвращался с борта «Крузенштерна» пешком через Николаевский мост на Васильевский и много раз оборачивался на его ярко иллюминированные мачты, горевшие на темном фоне ночных домов. Если перед смертью мне доведется вспоминать счастливые моменты в минувшей жизни, то этот я вспомню одним из первых.

Летом 1998 года я неожиданно снова попал на «Крузенштерн». В Лиссабоне состоялась всемирная выставка «ЭКСПО-98» под девизом «Океаны – наследие будущего». Мои друзья, связанные с Министерством рыбного хозяйства, пригласили меня вместе с женой в Лиссабон на выставку. К этой

выставке была приурочена всемирная регата парусных судов, в которой принимал участие и «Крузенштерн», выигравший первое место. По приглашению капитана Олега Константиновича Седова мы, в качестве почетных гостей, прошли на судне три дня от Лиссабона до испанского порта Виго.

Нынешний полностью переоборудованный «Крузенштерн» мало напоминает то старое и запущенное судно с малосильным двигателем и без рефрижераторных установок, на котором когда-то ходил я. Он полностью перестроен, снабжен современным двигателем, новой навигационной техникой, учебными классами. Теперь на нем постоянно плавают даже «коммерческие пассажиры» – иностранные туристы (их называют «тренизы»), с удовольствием изучающие парусное дело и с энтузиазмом взбирающиеся на ванты и латающие старые паруса. За каждый день пребывания на судне и возможность нести флотскую службу они платят звонкой валютой, что позволило переоснастить судно и обеспечить его всем необходимым, не ожидая нищенских бюджетных подачек.

В сентябре 2000 года судьба подарила мне еще одну встречу с «Крузенштерном». По приглашению оргкомитета Грушинского фестиваля я вместе с группой бардов попал в Германию в Бремерсхафен, где состоялся всемирный фестиваль парусных судов. Более захватывающего зрелища я в жизни не видел – сотни сияющих свежей краской по-праздничному нарядных парусников под флагами всех стран мира, атакуемые толпами туристов, теснились вдоль длинных причалов, вывесив разноцветные флаги расцвечивания. Только на второй день нам удалось разыскать «Крузенштерн», стоявший на отдаленном причале. Он только что вернулся, одержав очередную победу в парусной регате, где разыгралась неожиданная драма. Когда судно уже приближалось к финишу, намного опережая своих соперников, радист принял сообщение «SOS», – на польской баркентине с тридцатиметровой мачты упала на палубу двадцатилетняя девушка. Состояние ее было очень тяжелым – многочисленные переломы, большая потеря крови, а на польском судне не было ни врача, ни лекарств. Капитан-наставник Геннадий Коломенский без колебаний сошел с дистанции для спасения девушки, после чего «Крузенштерн» вернулся на дистанцию и выиграл гонки! Следует заметить, что сигнал бедствия был принят не только русским парусником. Шедший за ним польский барк «Дар молодежи» также услышал сигнал «SOS», однако никак на него не прореагировал, боясь упустить призовое место.

Вечером следующего дня мы устроили на «Крузенштерне» праздничный концерт для экипажа, состоящего в основном из

курсантов. При этом не обошлось без курьезов. В битком набитом курсантами кубрике любимый публикой бард Леонид Сергеев, автор весьма популярных шуточных песен, пел известную песню о двух тараканах. Когда он дошел до строчки: «Один таракан, что зовется Геннадий», в кубрике раздался взрыв смеха и аплодисментов, весьма озадачивший автора. Когда же он спел «Второй таракан, что зовется Серега», аудитория устроила ему такие овации, что песню пришлось прервать. Я в то же время обратил внимание на то, что сидевшие рядом со мной капитан-наставник и старпом покраснели и отвернулись. Оказалось, что первого зовут Геннадий Васильевич, а второго – Сергей Петрович.

Возвращаясь к давним временам первых походов на «Крузенштерне», нельзя не вспомнить еще одну колоритную фигуру – полковника Михаила Михайловича Казанского. Старый моряк, боевой офицер, командовавший ледовой службой на Балтике в годы блокады и разжалованный в качестве «стрелочника» после гибели во время артиллерийского обстрела вице-адмирала В.П. Дрозда, одаренный океанолог, человек неистребимого жизнелюбия и мальчишеского азарта – это он, будучи начальником гидрографической экспедиции, первым рискнул поддержать в 1961 году наше новое и во многом сомнительное начинание. Плотная борцовская фигура в черной морской тужурке с четырьмя рядами боевых, а не за выслугу, орденов. Непокорный, не редеющий, а лишь поседевший, короткий ежик-вихор «под бокс». Не по возрасту озорные светлые глаза дворового хулигана. Он всегда был источником веселой и непобедимой энергии для окружающих. Мне довелось плавать с ним в 67-м году на Балтике, на учебном военном гидрографическом судне «Компас», и потом на Черном море, на судне «Горизонт». Каждое утро, пока мы стояли в Севастополе (Казанскому тогда было за пятьдесят), он переплывал Корабельную бухту, вызывая зависть у молодых офицеров. Он в ту пору уже преподавал в высшем отечественном военно-морском учебном заведении – Военно-морской академии, где и я, с его подачи, одно время вел курс морской магнитометрии.

Помню, после первого занятия он и его друг капитан I ранга Николай Иванович Егоров, доктор географических наук, тоже немало сил отдавший океанологии, подошли ко мне и сказали: «Надо бы отметить – все-таки первое занятие». – «А где?» – спросил я. «Ну как где, мы люди флотские – привычные. Пойдем, возьмем коньячку, лимончик и зайдем куда-нибудь в садик или в парадное». Мы отправились в ближайший гастроном у Черной речки и купили коньяк. «Тут в садике холодно, – сказал Егоров, – пойдем лучше на проспект Смирнова, тут неподалеку, зайдем в

кафе, возьмем кофе и с ним вместе выпьем». Кафе на проспекте Смирнова оказалось закрытым. «Ну, тогда зайдем вот хоть в это парадное, – сказал на этот раз уже Казанский, – не на улице же пить». Мы зашли в парадное. «Да как-то неудобно здесь, – произнес Егоров, – прямо внизу у двери. Поднимемся хоть на второй этаж, что ли». Мы поднялись на второй этаж. «Ну, теперь можно, – сказал Казанский, – только вот из горла как-то пить нехорошо. Что мы, алкаши, что ли? Давайте в любую квартиру позвоним – хоть стаканчик попросим». – «А удобно?» – засомневался я. «Чего ж неудобного – два полковника, люди солидные – не может быть, чтобы стаканчик не дали», – с этими словами Казанский позвонил в дверь, она распахнулась… и мы очутились в квартире Егорова, где ожидал специально по этому случаю накрытый стол.

Жена Михаила Михайловича Казанского Александра Александровна в самом начале нашего знакомства сказала мне как-то: «Я хотела бы, чтобы вы и другие ученики Михаила Михайловича приходили к нему не только, когда он вам нужен, но и потом». Не знаю, как другие, но всякий раз, бывая в Питере, я звонил ему и приходил в старый дом близ Среднего проспекта на Съездовской линии моего родного Васильевского, где в запущенной коммунальной квартире, в узкой комнате, напоминающей щель, с высоким окном, выходящим на шумную проезжую часть, жили, не желая замечать нищеты и невзгод, два гордых и несгибаемых пожилых и заслуженных человека, всю свою жизнь отдавших другим. На высоком пыльном шкафу среди убогой комнатной обстановки красовался, растопырив шипы, атлантический «морской еж» – диадон. В 1994 году Михаила Михайловича не стало.

Несколько лет назад скоропостижно ушел из жизни другой замечательный капитан «Крузенштерна» – Олег Константинович Седов. Он умер от сердечной недостаточности, прожив всего пятидесят два года.

…Выпьем стоя за капитанов
Позабытых сегодня лет,
Что ушли, в неизвестность канув, —
Те далече, а этих нет.
Над эскадрою капитанской
Сине-белый распустит флаг
Михаил Михалыч Казанский,
Что волне не подставит лаг.
Будет снова в моей каюте
Колыхаться зеленый мрак,

Встанут ютовые на юте,
Встанут баковые на бак.
И опять через шквал и темень
К проблесковым огням таверн
Поплывет обрусевший немец,
Нестареющий «Крузенштерн».
Я и он – инородцы оба,
Но хотя и на разный лад,
Мы России верны до гроба,
«До бушлата», – как говорят.
От колючих ветров ослепнув,
Начинивший пространством кровь,
Объявляю своей последней
Эту юношескую любовь.
Мы увидимся снова скоро.
Ничего, что на этот раз
От моста Николы Морского
Это судно уйдет без нас.
В гуде ветра и птичьем писке,
Свой земной завершая путь,
Мы в последнем порту приписки
Соберемся когда-нибудь,
Чтобы вместе из этой гавани,
По монетке зажав во рту,
Выйти вновь в бессрочное плаванье
На высоком его борту.

С чувством острой ностальгии перебираю я в памяти забытые дни моих первых океанских плаваний на «Крузенштерне», которые переменили всю мою жизнь. Уже в 63-м году я «завязал» с сухопутными экспедициями и твердо связал свою работу с океаном. Этому немало способствовало и то, что сам Научно-исследовательский институт геологии Арктики тоже понемногу изживал свою сухопутную специфику и все больше переходил на шельфовые моря. Не случайно в начале 80-х старый тот институт свое существование прекратил, а на его месте возникла новая организация – Севморгеология, позднее переименованная во Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана, начало которой, по существу, положили наши первые плавания.

Несколько лет назад мне довелось принимать участие в конференции, посвященной истории отечественной океанологии. Конференция проходила в Калининграде в Музее Мирового

океана. Музей этот уникальный. Его центром является легендарное океанографическое судно «Витязь», 1939 года постройки, на котором было совершено немало научных открытий. На морских картах есть подводная гора имени «Витязя», разлом имени «Витязя», самая глубокая впадина в океане, в Мариинском желобе, глубиной свыше одиннадцати тысяч метров, где впервые были обнаружены признаки жизни. Именно на этом судне биологами был открыт на океанском дне неизвестный ранее тип морских беспозвоночных существ – погонфор. «Витязь» был настоящим плавучим институтом. Он бросал якорь в бухтах островов Океании и Антарктиды, у берегов Южной Америки и в таинственном «Бермудском треугольнике». Теперь в его бывших каютах и лабораториях размещены музейные экспозиции. В одной из кают, например, сидит восковая фигура знаменитого океанографа и полярного исследователя вице-адмирала Степана Осиповича Макарова, создателя первого «Витязя». В трюме – восковая фигура «космонавта подводного мира» Жака-Ива Кусто. Поскольку я много лет назад плавал на «Витязе», то, приезжая в Калининград, обычно живу не в гостинице, а в своей бывшей каюте, неподалеку от этих «восковых персон».

В завершение конференции по традиции был устроен банкет. После застолья мы с коллегами вышли на палубу «Витязя», освещенную лунным светом, и кто-то из них сказал мне в шутку: «А ты не хотел бы, когда тебя не станет, так же, как Макаров, остаться в своей каюте?» От такого предложения меня охватил страх, и я даже протрезвел. Через пару дней, однако, вспомнив эту историю, я написал песню, которая называется «Пожелание»:

Когда, путь закончив трудный,
Стану немощным и старым,
Бесполезный для науки,
Попаду в небесный трал,
Дайте место мне на судне,
На котором прежде плавал,
И гитару дайте в руки,
На которой я играл.

Дайте в руки мне гитару,
Позолоченные струны,
Чтобы, жизнь начав сначала,
Стал я снова молодой.
И, рожден кассетой старой,
Зазвучит мой голос юный

У знакомого причала
Над балтийскою водой.

Будут плыть по водной ртути
Теплоходы или яхты,
Мимо судна в ровном беге
Проплывая стороной,
Буду я сидеть в каюте
На своей бессрочной вахте,
Над чужой рекою Прегель,
К морю синему спиной.

Буду в праздничном прикиде,
Позабывший про амуры,
Я смотреть потомкам в лица,
Ничего не говоря.
И, наверное, при виде
Восковой моей фигуры
Будут юноши стремиться
В отдаленные моря.

Пусть над палубою влажной
Маяки горят в тумане
И ласкает снова уши
Чаек сумеречный смех,
Потому что очень важно,
Чтобы плавать в океане,
Отпихнуть ногою сушу,
Как говаривал стармех.

На письменном столе в моей московской никуда не плывущей квартире, окна которой выходят на шумный Ленинский проспект, пылится крашенный шаровой краской большой автономный компас со спиртовой картушкой, подаренный мне в базе подводных лодок Лиинахамари на Кольском полуострове военными моряками и вселяющий обманчивую надежду, что плавание еще продолжается. В дальнем ящике стола много лет бережно хранятся вместе со значками участника экспедиций на Северный полюс военно-морской значок «За дальний поход», врученный мне, как и всем членам экипажа, еще в 62-м году, и особо ценимый мною бронзовый жетон «За походы на «Крузенштерне». На жетоне, слегка накренясь, летит вперед парусник, напрягая паруса. И я вспоминаю ласковое

прикосновение горячей пахнущей сосновой смолой палубы к босым ступням, созвездие Южного Креста, немного наклоненное над ночным океаном как бы для благословения, негромкие звуки баяна на юте, где курят отдыхающие после вахты матросы, мерцающие светила, раскачивающиеся над головой в черной сетке снастей, и соленые офицерские байки. И мне на память приходят предостерегающие слова старого римлянина: «Если парус теряет ветер, он становится обыкновенной тканью».

Жена французского посла

Мне не Тани снятся и не Гали,
Не поля родные, не леса, —
В Сенегале, братцы, в Сенегале
Я такие видел чудеса!
Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы
Плеск волны, мерцание весла,
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.

Хоть французский я не понимаю
И она по-русски – ни фига,
Но как высока грудь ее нагая,
Как нага высокая нога!
Не нужны теперь другие бабы —
Всю мне душу Африка свела:
Крокодилы, пальмы, баобабы
И жена французского посла.

Дорогие братья и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Все мне сон один и тот же снится,
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье
Все сжигает он меня дотла, —
В нем постель, распахнутая настежь,
И жена французского посла!

Летом 1966 года я отправился с геофизической группой из порта Находка на работы в Охотское море и Пенжинскую губу на борту старого гидрографического судна «Охотск», переоборудованного из бывшего минного заградителя. Это был старый угольный пароход, донельзя грязный, населенный полчищами крыс и тараканов, к которым приходилось привыкать так же, как когда-то в тундре к комарам.

Двухмесячные работы в осеннем Охотском море, с его неожиданными ветрами и туманами, с сильными – более пяти узлов – приливно-отливными течениями в Пенжинской губе оказались нелегкими. Зато навсегда запомнились неповторимые по красоте скалистые охотоморские берега с их причудливыми очертаниями, живописные острова, привлекавшие некогда

мореплавателей, путина в поселке Усть-Пенжина, где икру свежего посола ели из кастрюли столовыми ложками, нерпы и тюлени, высовывавшие любопытные морды у самого судна, особенно на стоянках, когда с палубы раздавались звуки музыки, огромные крабы, которых ловили прямо на рейде Магадана в Нагаевской бухте. Не зря это море когда-то назвали Охотским. Не меньшее впечатление произвели на нас, новичков, попавших сюда впервые, и местные нравы.

Меня вместе с геофизиком Мишей Серяковым поселили в узкую, как щель, каюту, где были две койки, располагавшиеся одна над другой. Миша, как более молодой, влез на верхнюю койку, а мне досталась нижняя, чему я, однако, радовался недолго. Соседнюю каюту занимал третий механик, койка которого крепилась на одном кронштейне с моей. Поскольку переборки на судне были старые и расшатанные, любое движение койки соседа вызывало соответственное, как на качелях, движение моей. Первую неделю, пока мы следовали из Находки в Охотское море, все было относительно спокойно. Но в Охотском море третий механик, на мою беду, завел неожиданно бурный роман с судовой врачихой, разбитной шатенкой, изнывавшей от полного безделья. С вахты он сменялся в полночь, и где-то начиная с половины первого, едва я успевал заснуть, меня будил ритмичный и громкий скрип и такое же ритмичное хождение вверх-вниз моего ветхого ложа. Я пытался предложить Михаилу поменяться, но он наотрез отказался, так что я вынужден был переместиться с тюфячком прямо на палубу.

Вторую половину экспедиции мне довелось проплавать на другом судне – «Румб», поменьше размерами, но более современном. В конце августа мы зашли заправиться водой и топливом на остров Спафарьева, где располагался крабозавод, на котором работало несколько сот вербованных женщин. Было раннее утро, когда мы подошли к безлюдному пирсу. Двое заспанных работяг приняли наши швартовые. Я стоял на правом крыле мостика, неподалеку от командира, капитана III ранга Мишкина, когда мы заметили три странные, одинаковые с виду, но разной величины, как матрешки, фигуры, медленно двигавшиеся вдоль пирса к борту судна. Когда они приблизились, оказалось, что это женщины, одетые совершенно одинаково – в резиновые сапоги, ватники и теплые, серого цвета, головные платки. «Эй, командир! – неожиданно сильным и низким голосом крикнула самая высокая из них. – Я предзавкома местного. Девочки у нас тут целый месяц света белого не видят, на путине вкалывают, а мужиков нет. Так что я тебе предлагаю всех своих морячков уволить прямо сейчас до завтра, а мы по такому случаю

выходной объявим».

Командир Мишкин был человеком решительным и настоящим боевым офицером, способным быстро принимать решения в критической обстановке. «Отдать носовой», – скомандовал он упавшим голосом. И мы пошли обратно в море без воды и топлива. «Да, Саня, – делился он со мной, – вовремя спохватились. Ты что, у меня весь экипаж двадцать два человека – на части же разорвут!» Я в ту пору плохо знал местные порядки и не сразу понял его тревогу. Уже позднее, на рейде Шикотана, я видел, как на старый пароход «Азия» сеткой с плашкоута грузили вдрабадан пьяных вербованных женщин, матерящихся и орущих пьяные песни, и понял озабоченность командира Мишкина.

В последующие годы мне приходилось несколько раз попадать на Сахалин и Курилы в путину, на плавучие и наземные рыбозаводы, где я насмотрелся на каторжную работу по обработке рыбы, работу, которой мужчины не выдерживают, поэтому на нее берут только женщин. С красными, закоченевшими от ледяной воды руками, по двенадцать часов в день (такая смена) они должны отделять большим ножом голову рыбы от тушки, рискуя отрубить себе пальцы. А ночью – короткий сон в своей грязной казарме, не дающий отдыха. Культуры и развлечений – никаких: работа, работа, работа. Смертельно усталые от постылого однообразного труда и дикого быта, за пару месяцев они способны потерять не только женский, но вообще человеческий облик.

Что же касается пребывания женщин на судах, то сам факт их присутствия на судне, да еще под хоть и гидрографическим, «вспомогательным», но все же военно-морским флагом, с позиций военного начальства, был постоянным ЧП. За ними круглосуточно велось негласное наблюдение, жили они в отдельном отсеке (назывался он «змеюшник»), и общаться с ними можно было только на людях. Согласно бдительным указаниям замполита, зайдя к женщине в каюту (или если она вошла к тебе в каюту), закрывать дверь ни в коем случае было нельзя – не на ключ, конечно, упаси боже, а просто плотно прикрывать. В противном случае замполит отсчитывал пять минут и записывал нарушителю аморалку.

Несмотря на эти «антисанитарные» условия, корабельные романы все-таки случались. На судах экспедиции шепотом рассказывали легенду про одну настырную пару, которую, заподозрив в аморалке, усиленно опекал замполит, не давая им уединиться. Они его все же перехитрили – достав у мотористов «мастер» (дежурный ключ, открывающий замок в любой

корабельной каюте), дожидались, когда замполит отправится в кино, и устраивались в его каюте.

Нельзя не признать, что присутствие женщин на кораблях, долгое время находящихся в плавании, представляет собой известную проблему. Мне за почти три десятилетия плавания на самых различных судах довелось быть свидетелем многочисленных драматических ситуаций, возникающих в длительных океанских рейсах, когда на сотню и более мужчин приходится всего несколько женщин, а «моральный кодекс строителей коммунизма» перестает срабатывать уже на третий день после выхода из родного порта. Помню, как, сокрушаясь, матерился старый боцман на «Охотске», глядя на живописные курточки наших сотрудниц: «До чего флот довели, это же подумать только. Вот в старое-то время – императрица в Севастополе свой флот посетила и на флагманский корабль к Ушакову изволила лично ступить. Так потом боцман с целой командой все за ней мыли и чистили, поскольку хоть и императрица, а все ж таки баба. Так то царица была, а это что? Тьфу, да и только…»

Иначе реагировали на появление женщин вербованные работяги, в основном из бывших зэков, которых везли в Пенжинскую губу на какую-то стройку. Жили они на «Охотске» в огромном трюме в районе носовой палубы, куда вел большой люк, плохо различимый в темноте. Поскольку женщин разместили в носовых каютах, хитроумные умельцы из вербованных сняли крышку люка и закрыли его брезентом, рассчитывая, что в вечерних сумерках какая-нибудь красотка ступит на этот обманчивый брезент и провалится прямо к ним в трюм, как в медвежью яму. Каково же было их разочарование, когда вместо женской добычи в один прекрасный вечер к ним провалился большой рыжий и толстый техник Лева Фишман!

Что касается офицеров, и корабельных, и гидрографов, то появление стайки молодых женщин на судах означало для них просвет в унылой и безрадостной службе, сплошь заполненной «боевой и политической подготовкой». Начались яростные ухаживания, несколько сдерживаемые внешне необходимостью конспирации от всеведущих замполитов. Романы эти часто приводили к трагикомическим конфликтам. Так, на втором нашем судне «Румб» старпом – высокий и красивый капитан-лейтенант, оставивший во Владивостоке жену с двумя детьми, а на судне «официально» живший с судовой врачихой, вдруг увлекся одной из наших дам, хорошенькой и пухленькой чертежницей Ирочкой, обладательницей прекрасных наивных серых глаз и кукольных ресниц. Кипящая ревностью докторша

однажды ночью, застав своего изменчивого старпома на месте преступления как раз в тот момент, когда он украдкой выводил Ирочку из своей каюты, кинулась на него и, явно использовав профессиональные хирургические навыки, так исполосовала ему лицо своими острыми наманикюренными ногтями, что старпом был уложен в лазарет и через несколько дней сдан в Магадан в больницу, откуда на судно уже не вернулся.

Позднее, плавая на гражданских академических судах, где женщин было уже гораздо больше, да и условия были более вольные, я насмотрелся на множество авантюрных ситуаций, которые, как правило, кончались «бескровно». Так, один из самых талантливых наших и молодых капитанов, человек вполне интеллигентный и начитанный, прекрасный штурман, в каждом очередном рейсе заводил новую возлюбленную, как правило, из числа буфетчиц. Кончилось это тем, что жена его, живущая в Калининграде, которой доброжелатели все донесли, устроила скандал, да еще вполне по-советски – с помощью парткома. Припертый к стенке партией, женой и предприимчивой любовницей, несчастный капитан, спасая свою загранвизу и должность, вынужден был развестись и жениться на буфетчице, которую, конечно, тут же уволили с судна. В результате, став официальной женой, она потеряла возможность плавать с ним вместе и осталась, как все жены, на берегу, а он через полгода завел себе новую буфетчицу.

Обычно же, по неписаному закону, на академических судах на период рейсов, длящихся в среднем около четырех месяцев, романы возникали между экипажем – с одной стороны и «наукой» – с другой. Это в равной степени относилось к недолговечным любовным связям офицеров с дамами из науки и каютных номерных или буфетчиц с научными сотрудниками, то есть с «чужими». Романы эти, расцветая пышным цветом где-то к исходу первого месяца («Имей в виду, – поучал меня мой приятель – второй штурман на «Дмитрии Менделееве», – у нас женщин разбирают прямо на трапе»), заканчивались обычно в последнем порту захода, где надлежало тратить накопленную за рейс валюту и приходила пора вспоминать о покупках, заказанных семьями, ожидающими на суше. Не все женщины, однако, мирились с этим – некоторые довольно ощутимо мстили своим коварным избранникам, обещавшим по возвращении «жениться». Так, в 77-м году на нашем судне «Академик Курчатов», флагмане экспедиционного флота Академии наук, вернувшемся из длинного океанского рейса, произошел конфликт между каютной номерной и вторым штурманом, добившимся ее благосклонности обещанием жениться и, как выяснилось,

оказавшимся женатым. Месть оскорбленной подруги была чисто женской. В Калининграде к штурману на судно приехала встречавшая его жена. Не успела она еще толком обнять долгожданного мужа и взглянуть на привезенные зарубежные подарки, как в дверь каюты постучали. «Извините, – сказала вошедшая номерная, – я забыла здесь свои вещи». С этими словами она достала из-под подушки у штурмана свою комбинацию и ушла…

Помню, впервые столкнувшись с системой «корабельных романов» в третьем рейсе академического судна «Дмитрий Менделеев», в Северной Атлантике, я даже настрочил по этому поводу душещипательные стишки, которые переписывались в тетрадки нашими сентиментальными судовыми дамами:

Тускнеет море голубое.
Недолго петь теперь гитарам.
Все корабельные любови
Кончаются за Гибралтаром.
Там спешно допивают кубки
Совместной грусти и веселья
И вспоминают про покупки,
Своим назначенные семьям.
Там, у порога близкой суши,
Ни сердце, ни постель, не делят,
От грешных дел очистив душу
До возвращенья за неделю.
Ты не думай об этом, подруга, пока что:
Не любовь нас толкнула друг к другу, а качка.
Меньше трети нам лунного круга до дома.
Ты не думай об этом, подруга, не думай.
Нас качает в луче и не помнит про сроки
Наш кораблик, наш Ноев ковчег одиноких,
И пустынное солнце приходит с востока.
Подожди же, – не ссорься со мною жестоко.
Еще не время хмурить брови,
К привычкам возвращаясь старым.
Все корабельные любови
Окончатся за Гибралтаром.

Женщины «из науки» в океанских рейсах, как правило, расцветали. С одной стороны, они оказывались свободными от каждодневного унылого быта, порабощающего их на суше, – необходимости кормить и ублажать мужей, лечить и воспитывать детей, таскать огромные авоськи с продуктами, стоять во

всевозможных очередях. С другой – будучи всегда в меньшинстве, они становились предметом поклонения и ухаживания почти всего мужского состава экспедиции, причем ухаживания эти, как правило, мало зависели от степени женской красоты.

Интересную эволюцию довелось мне наблюдать за много лет плаваний. Почти всегда скромные и робкие девицы, впервые ступая на палубу судна, сильно страдали от качки. Но постепенно, обвыкнув в новой обстановке, приучаясь мало-помалу пить вино или курить, а также теряя понемногу первоначальную неприступность, они, как правило, укачиваться переставали. Вместе с тем, по окончании рейса, вынужденные снова вернуться на берег в свои семьи и убогий советский быт, они были особенно несчастны, не понимая, почему вот только что они были в центре мужского внимания – и вдруг все неожиданно кончилось. Так, девочка, взятая прихотливым режиссером из своего родного девятого «А» в кино чуть ли не на главную роль, плачет горькими слезами, потому что картина уже отснята и ей, уже привыкшей быть героиней, надо снова возвращаться в свою постылую прежнюю жизнь.

Суровым испытанием для несчастных наших женщин, привыкших к клиническому отсутствию в отечественных магазинах хороших товаров, в первую очередь одежды, галантереи и парфюмерии, и впервые попавших за рубеж, становилась первая встреча с западными (или восточными) магазинами с их фантастическим для советского человека изобилием. В 1976 году в экспедиции на судне «Дмитрий Менделеев» впервые принимала участие молодая аспирантка Вера Бань, ранее почти никуда не выезжавшая из своего родного Геленджика и за границей, конечно, не бывавшая. Была она натурой довольно эмоциональной, легко переходящей от веселости к печали. У нас даже частушку про нее сочинили: «Если плачет Вера Бань, это значит: дело – дрянь».

В этом рейсе мы зашли в Токио, и Вера впервые в жизни, в составе моей «тройки», попала в один из самых крупных в мире универсальных магазинов «Мицукоши» в самом центре Токио – в Гинзе. Когда мы вошли в огромный зал первого этажа, откуда бесшумные эскалаторы подняли нас на второй, и перед Вериными глазами открылись галереи с сотнями ярко высвеченных разнообразных женских вещей – шуб, купальников, сверкающих всеми огнями радуги украшений, мерцающего нежными будуарными цветами белья, искрящихся от искусной подсветки флаконов с всевозможными духами – она вдруг замерла на месте с застывшей на лице улыбкой и потеряла дар речи. Минут пять она простояла, не отвечая на мои оклики, а когда я тронул ее за

плечо – «пошли», – она оказалась не в состоянии двинуться. С большим трудом мы усадили ее в ближнее кресло. Еще несколько минут она молча продолжала улыбаться. Потом молчание сменилось вдруг бурными слезами и рыданием – у Веры случился нервный шок. Думаю, что большинству советских женщин понять Верино потрясение нетрудно…

Что же касается «корабельных» женщин – каютных номерных, поваров, буфетчиц, – то их контингент, как правило, формировался из сельских или провинциальных девчонок, соблазнившихся на «заграницу» и морскую экзотику. Большинство из них собиралось поплавать «пару годиков», а потом, накопив деньжат, вернуться домой, выйти замуж, найти себе какую-нибудь «земную» профессию. Да и работа на судне представлялась им поначалу несложной: действительно, чего там – полы мыть да пыль вытирать два раза в день. Однако проходили год за годом, и втянувшись в свою неблагодарную и совсем не легкую работу, накупив на валютные гроши тряпок в заграничном порту и мечтая о новых, отвыкнув от сурового земного быта, на готовых корабельных харчах, спаиваемые и соблазняемые моряками, мало-помалу превращаясь из робких и застенчивых девушек в развращенных и циничных «морских волчиц», несчастные эти женщины уже не находили в себе сил вернуться назад, на сушу. Тяжелая и грязная работа, многодневная качка, вино и мужчины, отсутствие реальных перспектив в завтрашнем дне преждевременно старили их, и они возвращались на сушу больными, разбитыми и одинокими.

Ни на одном из судов мира, кроме советских, нельзя было встретить женщин в штате команды. Помню, как удивлялись иностранцы, попавшие на наши суда, присутствию на них женщин. Одно время мы по наивности даже гордились этим явным доказательством их равноправия в стране «развитого социализма». Только после долгих лет плаваний я понял, что это «равноправие» ничуть не лучше того, которое дает им право на тяжелую неженскую работу по рытью канав или укладке железнодорожных шпал, работу, от которой отказываются мужчины.

Несколько слов о качке, которой часто пугают новичков. Проблема качки и привыкания к ней кажется мне сильно преувеличенной. Может быть, дело отчасти в том, что этому неприятному ощущению много внимания уделяли писатели, плававшие мало или попадавшие в море впервые. Более сорока лет проплавав в морях и океанах, я понял, что «прикачиваются» со временем почти все, а если человек все-таки не может привыкнуть к качке – значит, он болен, у него не в порядке

вестибулярный аппарат. Это, кстати, совершенно не зависит от степени его героизма или других личных достоинств. Согласно легенде, например, знаменитый адмирал Нельсон всю жизнь страдал от качки, и возле него на капитанском мостике постоянно дежурил матрос с ведром. Знавал я и современных капитанов, не переносивших качку, но упорно продолжавших плавать. Многое, конечно, зависит здесь от нервов. Я уже вспоминал, как на нашем «Крузенштерне» укачивались почти все, пока не было объявлено, что судно терпит бедствие. Надев спасжилеты, все немедленно укачиваться перестали и начали снова охать только после того, как опасность миновала. Мне кажется, что пьющие люди от качки вообще страдать не должны, потому что это ощущение близко к тяжкому похмелью, а человек опытный знает, что от этого не умирают. Если же признаками качки, как гласит судовая шутка, являются повышенный аппетит и отвращение к работе, тогда укачиваются все.

Что касается личных воспоминаний о качке, то меня всерьез укачивало дважды – первый раз во время первого полета на Ан-2 в 1957 году под Игаркой и второй раз – в 1967 году на Черном море, на маленьком гидрографическом судне «Компас», трое суток штормовавшем где-то неподалеку от Босфора. Этому, правда, немало способствовало то, что в стекло наглухо задраенного иллюминатора в нашем кубрике все время ударяла туша дохлого дельфина.

Кстати, самые неприятные шторма из всех, которые мне довелось видеть, чаще всего приходились как раз на Черное море. Крутая и короткая морская волна и опасная близость берегов создавали здесь порой критические ситуации, похуже океанских. Так, в 1967 году мне пришлось участвовать в проведении практики по морской геофизике в Черном море на небольшом судне «Московский Университет». Судно это, построенное в Германии по проекту военного тральщика, имело довольно оригинальную историю. Построено оно было в начале 30-х годов как правительственная яхта персонально для тогдашнего правителя Латвии Ульманиса. Когда немцы захватили Латвию, на яхту положил глаз «наци номер два» Герман Геринг. После войны же, захваченная в качестве трофея, она была доставлена на Черное море и стала личной яхтой «Величайшего гения всех времен и народов». Назвали ее «Рион». Большим достоинством этого судна была необычно высокая скорость хода, дававшая возможность владельцам быстро выбраться из любой неожиданной ситуации. Сам Сталин, впрочем, на яхте побывал всего один или два раза. Рассказывают, что когда великий вождь прибыл на борт, он высказал желание выйти в море, и капитан не

посмел возразить ему, хотя получил накануне штормовое предупреждение. Как только «Рион» покинул Ялту, он тут же попал в нешуточную качку. Укачались все – и охрана, и соратники. Не укачался только Сталин. Он сидел у себя в каюте с непроницаемым лицом и курил трубку. Когда судно пришвартовалось обратно к ялтинскому причалу, он вызвал к себе вывернутого наизнанку пожелтевшего Берию и сказал негромко: «Надо бы присмотреться к этому капитану». И капитана не стало…

Что касается нас, то мы, стоя в Севастополе, тоже получили штормовое предупреждение. Оно было тем более существенно для бывшей яхты Сталина, что судно это было не килевым, а плоскодонным, и, согласно правилам Морского Регистра, могло плавать только при волнении не свыше пяти баллон. В этом недолгом черноморском плавании я уговорил принять участие моего давнего одноклассника и однокашника по Горному институту Саню Малявкина, который в то время занимался аэромагнитной съемкой в Арктике и немало времени налетал на разных самолетах в суровых условиях Ледовитого океана. «Поехали со мной – отдохнешь, – агитировал я его. – Это тебе не безрадостное Заполярье. Синее море, белый пароход – как у Бендера. Сухое вино, Ялта, Севастополь, девочки». Уговаривать его долго не пришлось, тем более, что в море он, как оказалось, до этого не ходил никогда.

Руководитель практики улетел из Севастополя в Москву на Международный геологический конгресс. Оставшись за старшего, я немедленно потребовал от капитана выхода в море для проведения гидромагнитной съемки в Евпаторийском заливе, неподалеку от мыса Тарханкут, мотивируя свое предложение тем, что сводки обычно врут. Он неожиданно согласился, хотя капитаном был опытным, хорошо изучившим капризы черноморских «бора».

Не успели мы дойти до Каркинитского залива, как налетел сильнейший шквал, разогнавший волну до девяти баллон. Мы немедленно встали «носом на волну» и стояли так целую ночь, пока на следующий день не уткнулись в спасительный порт – Одессу.

Всю ночь старенькое судно раскачивалось и скрипело под яростными ударами осатаневших волн. В ходовой рубке вылетели стекла, трюм начало заливать. Часа в два ночи, выбравшись из каюты в твиндеке (кстати, бывшей каюты Берия, с интерьером из красного дерева и зеркалом), где мы помещались вдвоем с Саней Малявкиным, я с трудом добрался до капитанского мостика. Там бессменно стоял хмурый и расстроенный капитан, тревожно

прислушиваясь к скрипу переборок, глухому стуку ненадежной, за давностью лет и отсутствием ухода, судовой машины и неожиданному визгливому взревыванию вдруг выброшенного из воды единственного винта. «Ну, ты меня и втравил, – сказал он мне, устало выматерившись, – я сам такой шторм второй раз в жизни вижу». От этого заявления мне стало не по себе, однако поворачивать назад и подставлять лаг волне мы уже не могли. Самое забавное, что еще в хорошую погоду мы успели вытравить за корму гондолу для магнитных измерений на кабеле длиной около двухсот метров, и выбрать его теперь не было никакой возможности. Оставалось полагаться на судьбу и надеяться, что кабель не оборвется и не намотается на винт.

Проведя около двух часов на мостике вместе с капитаном в этих невеселых раздумьях, я, цепляясь, как обезьяна, за поручни, отправился в нелегкий обратный путь. Когда я достиг нашей каюты, по палубе которой уже гуляла вода, то застал там бодрствующего Малявкина, который сидел на своей койке, поджав босые ноги, своей позой и отчаянным выражением лица напоминая княжну Тараканову на знаменитой картине Флавицкого и нервно курил. «Синее море… сухое вино… девочки… – яростно зашипел он, увидев меня. – Куда ты меня привез? Я летчик, я могу бояться две минуты, ну, пять, от силы – десять. А целую ночь – это уже бардак!» Саша Малявкин не утонул в море и не погиб при авиакатастрофе, хотя провел в небе немногим меньше времени, чем на земле. Вернувшись из Антарктической экспедиции, где впервые выполнил аэромагнитную съемку Антарктиды, он сгорел за несколько месяцев от неожиданного рака легких, не дожив до пятидесяти лет.

Вспоминая о сильной качке, не могу снова не вернуться мыслями в штормовое Охотское море, в октябре 1966 года, где после «Охотска» и «Румба» я попал на маленькое гидрографическое суденышко ГС-42, под которое был приспособлен обычный рыболовный траулер-«логгер». Жили мы втроем в носовом кубрике. Для того, чтобы добраться до кормы, где располагались ходовая рубка, камбуз и все другие помещения, надо было пройти по открытой палубе. Поэтому, когда, выйдя из залива Шелихова, мы неожиданно попали в жестокий шторм, то четверо суток, не имея возможности выйти на палубу, по которой свободно раскатывали свинцовые волны, и наглухо задраив кап носового кубрика, сидели безвылазно, ломая на четыре части ржавые плесневелые сухари. Состояние судна было довольно тревожным – нас грозило снести к скалистым берегам залива, а старый двигатель дышал на ладан. Не укачивался решительно

никто – только есть все время хотелось.

Такое же пренебрежение к сильнейшей качке, и в том же самом осеннем штормовом Охотском море, испытали я и мои спутники шесть лет спустя, в 1972 году, когда пересекали его на тонкостенном суденышке типа «река-море», перегоняемом из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Суда эти не рассчитаны на морские шторма, поэтому мы рассчитывали пересечь открытую часть Охотского моря и спрятаться за Сахалин по хорошей погоде. Нам, однако, не повезло, и на самой середине моря нас прихватил серьезный шторм. Да вдобавок еще на втором таком же суденышке отказал двигатель, и нам пришлось брать его на буксир. Бегая по обледеневшей палубе, обдирая в кровь об ржавые швартовые концы замерзшие руки в рваных брезентовых рукавицах, никто из участников этой эпопеи, даже новички, совершенно не замечали качки и были озабочены, так же как и капитан, только критическим углом крена.

Привычка же к качке и постоянное ожидание ее проявляются еще долгое время после возвращения на берег, когда стараешься бессознательно не ставить чашку на край стола в своем никуда не плывущем доме…

В октябре 1966 года, вернувшись из охотноморского рейса в Ленинград, я попал в состав группы «творческой молодежи», направленной от Ленинградского обкома ВЛКСМ на три недели в Польшу – Варшаву, Лодзь, Краков и Вроцлав. В группу нашу входило человек пятнадцать, в том числе несколько актеров ленинградских театров, молодые литераторы, весьма популярный и еще молодой в те годы эстрадный композитор Александр Колкер со своей женой, тоже известной эстрадной певицей Марией Пахоменко, Феликс Нафтульев и мой близкий в то время приятель, режиссер Ленинградского театра имени Ленинского комсомола Анатолий Силин. Для меня эта поездка была первым открытием Польши, которую в ту пору я знал только по знаменитым фильмам Вайды, Мунка и Кавалеровича и стихам польских поэтов в переводах Слуцкого. С поездкой нам повезло: в Варшаве мы попали в «Повшехный театр» Адама Ханушкевича и другие современные и поэтому непривычные для нас театры. Во Вроцлаве познакомились и успели выпить вина с известным актером Збигневом Цибульским, буквально за неделю до его безвременной и трагической гибели, в Лодзи – посмотреть на киностудии более десятка недоступных для нас в Союзе фильмов, в том числе «Восемь с половиной» Феллини, «Дрожь» и «Птицы» Хичкока и многие другие, в Кракове – познакомиться с сокровищами Вавельского королевского замка.

Польша не разочаровала моих «книжных» ожиданий – она

оказалась именно такой, какой ее можно было себе представить – «самой маленькой из великих наций», – нищей, гордой до чванливости и непорабощенной страной. Я познакомился в Варшаве с прекрасным поэтом Витеславом Дабровским и его женой Иреной Левандовской, которые показали мне польскую столицу. У Витеслава на левой руке не хватало двух пальцев, потерянных во время Варшавского восстания 1944 года, когда ему было четырнадцать лет. Он пробирался по узким люкам из канализационных труб наверх там, где взрослый пролезть не мог, и кидал гранаты в немецкие танки. «Мы вас, советских, ненавидим, – говорил он мне, – но немцев мы ненавидим еще больше. Такова уж печальная участь нашей малой страны, зажатой между двумя этими хищными гигантами».

Помню, тогда он перевел на польский понравившуюся ему песню «Испанская граница», тут же, кстати, запрещенную для публикации и исполнения польской цензурой. В начале 80-х, уже в пору «Солидарности», Витеслав Дабровский неожиданно погиб при странных обстоятельствах. Именно Витек показал мне осенью 66-го года страшную тюрьму Павиак, где немцы уничтожали польских патриотов, памятник Мордухаю Анилевичу на месте безнадежного и героического восстания в Варшавском гетто, поднятого не из надежды спастись, а только для того, чтобы подороже продать свою жизнь, умереть с оружием в руках. С горечью рассказывал Витек о том, что прежде чем вступить в бой с немцами, еврейские повстанцы должны были перебить внутреннюю охрану юденрата, состоявшую тоже из евреев, продавшихся немцам только за то, что их убьют в последнюю очередь. О том, как подпольная польская организация Армия Крайова, готовившая свое восстание против немцев, отказала «жидам» в помощи оружием; как, когда полыхало с четырех сторон подожженное немцами гетто, поляки с усмешкой говорили: «Клопы горят».

Усмехаться варшавянам было недолго. Через несколько месяцев генерал Бур-Комаровский поднял свое восстание Армии Крайовой против немцев, надеясь на помощь советских войск, уже стоявших на правом берегу Вислы в ожидании приказа Сталина штурмовать. Приказа, однако, не последовало. Великий полководец дал немцам подавить варшавское восстание, как его участники дали тем же немцам уничтожить восставших евреев, и только после того Варшава была взята советскими войсками.

Поляки, живя в нужде и недостатке, первым делом восстановили древнюю часть разрушенной Варшавы – Старо Място, а социалистическое правительство установило памятник сражающейся Варшаве – летящая полуповерженная женщина,

отбивающаяся мечом. «У нас в каждом монументе свой смысл, – говорил мне Витек. – Если стоит – значит, король или полководец, вот как Сигизмунд в Старом Мясте. Если сидит – значит, мудрец или ученый, – видел памятник Копернику? Ну а если лежит – махнул он рукой в сторону монумента Варшавы, – значит, блядь».

И все-таки самое тяжелое и незабываемое впечатление на меня произвели лагеря уничтожения – Треблинка и Освенцим. Не берусь описывать увиденное, тем более что в Освенцим мы попали в День поминовения, когда повсюду горели поминальные свечи, – у входов в бараки, у ворот газовых камер, у каждой железной тележки, на которых вывозили когда-то трупы в крематорий. А эти горы детских туфелек, или кисточек для бритья, или женских волос, предназначенных для набивания тюфяков! «Арбайт махт фрай», – прочел я на железных воротах лагеря и невольно вспомнил о наших лагерях, на воротах которых красовались сталинские слова, что труд в нашей стране «дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Там, в Польше, я написал песни про Освенцим и Треблинку.

Над проселками листья – как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб недожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи – так вовсе нигде не лежат.

А евреи по небу серым облачком реют.
Их могил не отыщешь, кусая губу:
Ведь евреи мудрее, ведь евреи хитрее, —
Ближе к Богу пролезли в дымовую трубу.

И ни камня, ни песни от жидов не осталось,
Только ботиков детских игрушечный ряд.
Что бы с ними ни сталось, не испытывай жалость,
Ты послушай-ка лучше, что про них говорят.

А над шляхами листья – как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб недожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи – так вовсе нигде не лежат.

В Треблинке, где немцы убили и сожгли в печах более восьмисот тысяч евреев, я узнал, что уже в конце войны, когда в концлагере вспыхнуло восстание и евреи, перебив охрану, разбежались, большая часть их была выдана немцам поляками,

у которых они пытались найти убежище. Уходя, немцы все взорвали – печи, бараки, газовые камеры. И эти обломки вместе с сотнями местных валунов были поставлены на попа на склоне горы, образовав коллективный памятник почти миллиону замученных людей.

…Порою ночною
Все снится мне сон:
Дрожит подо мною
Товарный вагон,
И тонко, как дети,
Кричат поезда,
И желтая светит
На небе звезда.

Еврейские погромы в Польше учинялись и после войны, уже в 1947 году. А через несколько лет, уже после смерти Сталина, правительство Владислава Гомулки насильно выдворило из страны всех евреев. Не случайно пришедший ему на смену Эдвард Герек заявил как-то на заседании политбюро правящей Польской объединенной рабочей партии: «Мы напрасно выдворили из страны евреев. Теперь, в трудное время, не с кем посоветоваться и не на кого свалить вину».

Уже в конце ноября, после возвращения из Польши, я попал в «несезон» на две недели в Репино, в Дом творчества композиторов. Мне нужно было закончить работу над рукописью первой книжки стихов «Атланты», принятой к печати ленинградским отделением издательства «Советский писатель». Помню, как поразила меня поначалу «роскошь» просторных композиторских апартаментов – каждый занимал отдельный коттедж из трех комнат, с роялем в центральной. «А почему кровати сдвоенные?» – наивно спросил я у сестры-хозяйки, отпиравшей мой домик. «Это на случай, если к вам захочет приехать жена или соавтор», – ответила она. Действительно, в столовой я увидел объявление: «Желающие поставить на питание своих жен (или соавторов) должны внести заранее деньги из расчетов пять рублей за сутки». Пожилая официантка жаловалась: «Наши композиторы музыки не любят. Они, как в столовую войдут, так сразу музыку по радио выключают. Да и как ее любить, когда они ее сами пишут?»

Соседний со мною домик занимал режиссер кинохроники Адольф Иосифович Минкин, симпатичный седой и грузный человек. Он страдал стенокардией и поэтому имел привычку заедать коньяк валидолом. Однажды ночью его прихватило

всерьез, и я вызвал «Скорую». Врач «Скорой помощи», старая еврейка явно пенсионного возраста, сделала ему какие-то уколы и, вернув к жизни, села заполнять карточку. «Фамилия», – строго спросила она. «Минкин», – ответил мой сосед слабым голосом. «Имя и отчество?» – «Адольф Иосифович». Докторша отложила ручку и долго с удивлением рассматривала больного, которого только что обследовала. «Молодой человек, – сказала она наконец. – Вам что, мало чего-нибудь одного?!!»

Первая книжка моих стихов «Атланты» вышла весной 1967 года в издательстве «Советский писатель». Вошли туда стихи, написанные в основном в экспедициях, и песни, значительная часть которых уже была к тому времени известна. Мне пришлось изрядно повоевать с редактором Александром Рубашкиным, показавшимся мне тогда придирчивым и недоброжелательным. Только через несколько лет, перечитав опубликованные в книжке стихи, я понял, что он был снисходительным и крайне доброжелательным ко мне, поскольку стихи-то по большей части были слабенькие и печатать их не следовало. Сейчас вид этой книги вызывает у меня чувство стыда. Слава богу, что тираж был маленький. Что же касается Рубашкина, то много лет спустя, в 1998 году именно он, как член правления питерской писательской организации, одним из первых выступил с предложением выдвинуть мою кандидатуру на соискание только что учрежденной Государственной премии имени Булата Окуджавы.

Помню, когда книжка была уже в работе, меня неожиданно пригласили выступать с песнями на ленинградское телевидение. Рубашкин, которому я не замедлил радостно похвастаться, к большому моему удивлению, крайне отрицательно прореагировал на это и стал уговаривать меня отказаться. «Понимаете, – начнутся звонки, письма в редакцию, – кому-то не понравится, а у вас – книжка в печати. Как бы чего не вышло. Подождите, пока книга выйдет, а там уж выступайте где хотите». И в этом он оказался прав.

Укрыл былые даты
Забвения снежок.
Был первый мой редактор
Ко мне ужасно строг.
Тяжелое светило
Садилось на залив,
И думал я, что был он
Ко мне несправедлив,
Когда, забыв про жалость,

Твердил он, что плохи
Мои, как мне казалось,
Прекрасные стихи.
Уже не вспомню, так-то
Убогих этих строк.
Был первый мой редактор
Ко мне ужасно строг.
Из Дома книги выйдя,
Той давнею порой,
Его я ненавидел,
Сомнительный герой.
Но, сопоставив факты,
Усвоил я вполне,
Что первый мой редактор
Был милостив ко мне,
Когда меня спасал он
В далекие года
От полного провала,
От горького стыда.
Метет метель в полсилы
Над зимнею Невой.
Скажу ему спасибо,
Покуда он живой.

Оформил книжку молодой талантливый художник Лев Авидон. Цензура несколько порезвилась над стихами, так что все слова типа «водка», «бог» и тому подобные из книжки были изъяты. Будучи в те поры человеком тщеславным и, пожалуй, маломысленным, я сильно радовался выходу первой «книги стихов». Лишь значительно позднее понял, что радоваться было особенно нечему, поскольку, опубликовав посредственные стихи, я на много лет сильно испортил себе литературную репутацию.

В конце 1967 года я закончил кандидатскую диссертацию на тему «Магниторазведка и электроразведка при изучении морского дна», а поскольку в моем родном Научно-исследовательском институте геологии Арктики ученого совета по защите не было, то диссертация моя весной 68-го была принята к защите на кафедре геофизических методов исследования земной коры геологического факультета МГУ, которой тогда руководил один из создателей отечественной разведочной геофизики Всеволод Владимирович Федынский. Кафедра эта была в то время ведущей в области геофизических методов, так что я сильно побаивался ее маститых сотрудников. Надо сказать, что дурную службу здесь

сослужила моя песенная «популярность». Так, один из тогдашних профессоров кафедры Роман Филиппович Володарский, поинтересовавшись, зачем я появился на кафедре, сказал: «Это который песенки пишет? И вы что, думаете, у него может быть хорошая работа? Наверняка барахло какое-нибудь».

Оппонировать диссертацию согласился известный геофизик профессор Александр Александрович Огильви, представитель старинного шотландского рода, заброшенный в Россию прихотливой судьбой. Далекий предок профессора, военный моряк в конце XVIII века из британского Королевского флота был принят на русскую службу, участвовал в нескольких баталиях с шведским флотом в Финском заливе, в том числе в знаменитих Гогландском и Выборгском сражениях. За храбрость капитан-лейтенант Огильви был награжден золотой шпагой и назначен командиром трофейного шведского фрегата. В отставку этот «морской волк» вышел, дослужившись до чина полного адмирала, уже при Николае I, отдав службе в Российском флоте целых полвека. Его потомок – профессор Огильви, автор фундаментального труда «Разведочная геофизика», – внимательно прочитал мою диссертацию, и она ему понравилась. «Ваша диссертация весьма экзотична, – заявил он мне, – я берусь ее оппонировать». В тот же день на кафедре его молодые сотрудницы рассказали ему, что Городницкий – «еще пишет песни и стихи». Он расстроился и сказал: «Не может быть, ведь я читал его работу – видно, что человек серьезный!»

Диссертация моя была по тем временам закрытой (и даже поначалу должна была защищаться в Ленинграде, в Военно-морской академии, но там очередь была большая), поэтому народу на заседании ученого совета, кроме его «допущенных» членов, было мало. Тем не менее я заметил довольно большую группу студентов «закрытой» радиоактивной специальности, никакого отношения к теме диссертации не имевших. По окончании защиты я спросил их, почему они пришли, и староста группы, очень красивая девушка, смутившись, ответила: «Мы надеялись, что в конце вы все-таки что-нибудь споете».

Защита диссертации первоначально планировалась на февраль 1968 года. Но как раз перед этим моя песня «Атланты» заняла первое место на Всесоюзном конкурсе, и мне неожиданно предложили принять участие в поездке во Францию на зимние Олимпийские игры 68-го года в Гренобле. Я решил, что если Париж стоил мессы, то уж диссертации и подавно, и, не задумываясь, отложил защиту на май.

Кроме поездки во Францию, 1968 год запомнился мне еще одним весьма знаменательным событием. За несколько дней до

отъезда в Париж, 30 января, в Ленинградском доме писателей состоялся литературный вечер, посвященный незадолго перед этим вышедшему из печати очередному литературному альманаху «Молодой Ленинград». На этом вечере выступали молодые поэты и прозаики, чьи стихи и рассказы были напечатаны в альманахе, среди которых были Татьяна Галушко, Сергей Довлатов, Елена Кумпан, Иосиф Бродский, Владимир Марамзин, Валерий Попов и я. Оказалось, пока я разгуливал по Греноблю, орал: «Шайбу, шайбу!» – нашим славным хоккеистам, выигравшим олимпийское «золото» в игре с канадцами, и любовался утренним Парижем с Монмартрского холма, в моем родном Питере разыгрался грандиозный скандал, связанный с упомянутым вечером.

Группка воинствующих черносотенцев из литобъединения «Россия» при Ленинградском обкоме Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в составе председателя этого «патриотического объединения» некоего В. Щербакова и членов В. Смирнова и Н. Утехина, присутствовавшая на вечере, написала довольно обширный донос в три весьма солидные организации сразу: в обком ВЛКСМ, Ленинградский обком партии и ЦК КПСС. В доносе выражалось «законное возмущение» услышанными на вечере идейно-чуждыми стихами и «попустительством руководства ленинградской писательской организации антисоветской и сионистской пропаганде», которую пытались вести выступавшие. По мнению авторов этого мерзкого документа, «30 января в Ленинградском доме писателей произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг».

Выше я уже цитировал отрывки из доноса, касавшиеся Татьяны Галушко и Елены Кумпан. Про меня там было написано следующее: «А. Городницкий сделал «открытие», что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да суеверной экзотики, ничего не было».

Больше всего досталось Бродскому: «Заключил выступление известный по газетным фельетонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы – русские люди, которых он иносказательно называет «собаками». Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.

Подведя итоги, нужно сказать, что каждое выступление

сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих.

Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями. Поэтому мы требуем:

1. Ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга.

2. Полного пересмотра состава руководства Комиссии по работе с молодежью ЛО СП РСФСР.

3. Пересмотра состава редколлегии альманаха «Молодой Ленинград», который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними «молодых литераторов».

Почти все эти требования были неукоснительно выполнены. Два небольших стихотворения Иосифа Бродского, напечатанные в злополучном номере «Молодого Ленинграда», на долгие годы так и остались его единственной публикацией на родине. В июне 1972 года он был насильственно отправлен во вторую, на этот раз уже бессрочную, ссылку – не в деревню Норинское болотистого Коношского района Архангельской области, а за рубеж.

Татьяне Галушко было отказано в публикации уже сданной в издательство книги и возвращены подборки стихов из альманахов и журналов. Мне также была возвращена из издательства рукопись второй книжки стихотворений и отказано в приеме в Союз писателей. Кроме того, наши имена были внесены в «черный список» ленинградского радио и телевидения, а как выяснилось позднее, и в «черные списки» московских издательств и журналов…

Сразу же по возвращении из Франции меня вызвали в Ленинградский обком комсомола к тогдашнему первому секретарю А.П. Тупикину. Поскольку именно Ленинградский обком комсомола санкционировал мою поездку, то им, по всей видимости, изрядно досталось за то, что послали «не того». От меня потребовали предъявления «крамольных» стихов и песен – видимо, для представления в «компетентные инстанции», и я был подвергнут грозной проработке. В числе стихов, прочитанных мною на вечере, были опубликованные позднее стихи «Петровские войны» и песня «Монолог маршала»:

Я – маршал, посылающий на бой
Своих ушастых стриженных мальчишек.

Идут сейчас веселою гурьбой,
А завтра станут памятников тише.
В огонь полки гоню перед собой
Я – маршал, посылающий на бой.

Надо сказать, что в конце 60-х годов идеологический нажим на молодых ленинградских авторов вообще заметно усилился. Короткая хрущевская оттепель сменилась устойчивыми брежневскими холодами. Мы, молодые ленинградские авторы, были зарегистрированы в Комиссии по работе с молодыми литераторами при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, функции которой были далеко не однозначны. Достаточно сказать, что секретарь этой комиссии в 60-е годы Е.В. Воеводин, который по своему положению практически осуществлял ее решения, предъявил во время инспирированного судилища над Бродским бездоказательные и клеветнические обвинения против него, что сыграло не последнюю роль в жестокой расправе над поэтом. Еще тогда, в 64-м, большая группа молодых ленинградских литераторов, и я в том числе, обратилась в эту комиссию с коллективным письмом, справедливо обвиняя Воеводина в подлоге и лжесвидетельстве.

Стихи мои после скандального вечера в Доме писателей в Питере сразу же перестали печатать. Попадая наездами в Москву, я несколько раз, по совету друзей, пытался пристроить свои стихи и песни в редакции московских литературных журналов, но и здесь эффект был нулевой. В августе 1968 года журнал «Юность» опубликовал зубодробительную рецензию на моих «Атлантов», которую написал шустрый ленинградский критик Владимир Соловьев. Статья называлась «Всадник, скачущий позади». Самое забавное, что редакцию после этого, как выяснилось позднее, завалили возмущенными письмами мои доброжелатели, и «Юность» неожиданно для меня напечатала подборку моих стихов. Это, однако, было исключением из общего правила. Я же, еще ничего не зная о «черном списке», о котором мне только в 1972 году по-дружески поведал заведующий отделом поэзии журнала «Москва» Анатолий Парпара, продолжал наивно посещать редакции.

Поворотную роль в моей судьбе сыграл 1970 год, когда после четырехлетнего перерыва я снова попал в большую зарубежную океанологическую экспедицию в Северную Атлантику, на этот раз уже не на военном судне, а на научно-исследовательском судне Института океанологии имени П.П. Ширшова Академии наук СССР «Дмитрий Менделеев», и познакомился в этой экспедиции с

Игорем Михайловичем Белоусовым, руководившим там геофизическим отрядом.

Попал я в этот рейс случайно, в состав магнитной группы, с подачи моего приятеля – магнитчика из Института океанологии Толи Шрейдера. Вместе с ним и другим геофизиком, Жорой Валяшко, мы довольно дружно проплавали все четыре месяца. Наш начальник, Игорь Михайлович, своей опекой нам особенно не досаждал и в магнитные дела не вникал, предоставляя полную свободу действий. Не по годам грузный, любитель вкусно поесть и выпить, бывший, как выяснилось, морской офицер, переквалифицировавшийся в геоморфолога и защитивший кандидатскую диссертацию, Белоусов обладал совершенно уникальной доброжелательностью, сочетавшейся с не менее редким оптимизмом. Память у него была удивительная, особенно на диковинные экзотические географические названия, которых он знал множество. «Это что, – заявил он, когда я как-то раз выразил ему свое восхищение диапазоном его географических и литературных познаний. – Я тебя познакомлю с моей московской бандой, особенно с Эйдельманом и Смилгой – вот это люди!» Именно от него я услышал впервые историю о нестандартной «лицейской» дружбе, связывающей уже долгие годы выпускников их класса 110-й арбатской школы, и восторженные рассказы о его друзьях, из которых выделял он троих – историка Натана Эйдельмана, физика-теоретика Вольдемара Смилгу и хирурга и писателя Юлия Крелина…

После долгих лет плаваний на «Крузенштерне» и других судах военной гидрографии с их суровой мужской обстановкой и системой постоянных запретов, попав на комфортабельное академическое судно, которым командовал весьма колоритный и интеллигентный капитан Михаил Васильевич Соболевский, где официально выдавалось в тропиках сухое вино и регулярно устраивались разного рода вечера – от вечеров филармонической музыки в салоне начальника рейса, академика Бреховских, до еженедельных танцев на верхней палубе с участием многочисленных женщин, я несколько растерялся.

Вообще быт на академических судах поначалу показался мне довольно своеобразным. На день рождения, например, по выданной замполитом записке можно было приобрести в судовом ларьке вино, водку или коньяк. Помню, как торжественно и вполне открыто отмечали в марте 1971 года посреди океана мой день рождения. Приглашенная в числе гостей буфетчица Галя, сразу же с дня рождения отправившаяся мыть посуду, перебила довольно много тарелок. Празднование продолжалось почти сутки, так как на смену одним гостям, уходившим на вахту,

немедленно являлись другие, сменившиеся с вахты.

В те годы дело с выпивкой на гражданских академических судах, где на борту часто находились и иностранные ученые, обстояло довольно вольно. Помню, уже позднее, в 1982 году, в первом рейсе нового «Витязя» замполит, пришедший сюда с нефтеналивного флота, где строго-настрого запрещалось употребление спиртных напитков, никак не мог привыкнуть к тому, что пьянки с участием иностранцев на борту проводятся вполне официально и называются научными контактами. Другой, сменивший его на этой должности, пришел на флот из МВД. В конце танцевальных вечеров он объявлял по трансляции: «Товарищи, танцы кончились – все по камерам!»

Наиболее серьезные выпивки, как правило, были приурочены к выходу в рейс и возвращению в родной порт. Вспоминается в связи с этим один весьма характерный случай, когда судно «Академик Курчатов» вернулось в Калининград из очередного рейса. Руководитель одного из научных отрядов, видный специалист по гидрооптике океана, известный своей приверженностью к Бахусу не меньше, чем научными работами, крепко отметив накануне возвращение домой, мертвецки пьяный мирно почивал в своей каюте. Атмосфера и порядок в каюте, куда ни свежий воздух, ни дневной свет не попадали, так как даже иллюминатор был задраен на броняшку, были соответственными. Неожиданно распахнулась входная дверь, и в каюту вместе с дежурным по кораблю вошла группа калининградских пионеров во главе с роскошной пионервожатой, которых привели на экскурсию знакомиться с «флагманом советского научного флота». Дежурный повернул выключатель, и задохнувшиеся пионеры с ужасом уставились на объедки на столе и пустые бутылки, валявшиеся на полу вперемешку с предметами мужского туалета. «Михаил Николаевич, – отчаянно затряс дежурный за плечо полумертвого хозяина, – проснитесь. Пионеры очень хотят узнать, как распространяется свет в водной толще океана. Михаил Николаевич, вы слышите меня? Как распространяется свет в океане?» Михаил Николаевич с усилием оторвал от подушки больную голову со спутанными волосами и, мученически приоткрыв глаза, пробормотал: «Очень фуево».

По части добывания в иностранных портах дешевой выпивки и в экипаже, и в «науке» порой попадались подлинные специалисты, закупавшие за бесценок спирт в аптеках. Так, кажется, в 31-м рейсе «Дмитрия Менделеева» с подачи какого-то ушлого моториста вся команда накупила в Монтевидео в аптеке спирт, названный ею «Синий крест», поскольку на этикетке красовался голубой крест. Знатоки испанского языка уверяли,

что, судя по надписи, спирт этот предназначен для обмывания покойников, но их никто не слушал, и пойло было успешно «оприходовано» в связи со встречей Нового 1984 года.

В другом рейсе на судне «Академик Курчатов» один из научных сотрудников, не слишком отягощенный знанием иностранных языков, в любом порту захода, а заходили тогда в Перу, Венесуэлу и на Канары, сойдя с судна, прямо направлялся в аптеку, где произносил одну и ту же специально заученную фразу: «Алкоголь натурель уно литро плиз». Ему вручали бутыль спирта, и он, вполне удовлетворенный, уходил.

Вспоминаю в связи с последним, как еще во время походов на «Крузенштерне» я посоветовал нашим матросам в Гибралтаре, заходившим без гроша в кармане в английские магазины, на вопрос продавца: «Чего вы хотите?» отвечать по-русски: «На фиг». Поначалу они смущались, но были поражены, когда услышав энергичное словцо, продавец неизменно улыбался и оставлял их в покое, поскольку выражение это созвучно английскому «ничего».

Что же касается необходимости хотя бы элементарного знания языка той страны, куда попадаешь, то ее мы вполне оценили в 74-м году на Канарских островах. Истомленные дневной жарой и полным отсутствием общественных туалетов, мы брели через центральный сквер Лас-Пальмоса и вдруг увидели знакомое заведение, на одном из входов которого было написано по-испански: «Сеньорас». Вся наша мужская «тройка» дружно устремились вовнутрь, где нас встретил испуганный женский визг. Растерянные и обескураженные, мы выскочили наружу и повернули за угол к другому входу. Там красовалась надпись: «Кабальерос»…

Через несколько дней наш «Дмитрий Менделеев» встретился в Атлантике с другим судном Института океанологии «Академик Курчатов». В нашем рейсе участвовала синоптик Нина Романова, муж которой Юра, тоже синоптик, находился в это время на «Курчатове» в составе аналогичного отряда. Плавать жене и мужу на одном судне категорически запрещалось, видимо, из опасения, что они могут вместе сбежать в каком-нибудь иностранном порту. Пока суда лежали в дрейфе, Нину на глазах всей любопытствующей экспедиции возили на пару часов на шлюпке «на побывку» к мужу. Когда шлюпка возвращалась обратно, бедная путешественница сидела, опустив глаза и краснея. «Ну, как?» – кричали ей с борта подвыпившие моряки. Вечером того же дня в кают-компании были устроены танцы, и Нина, когда партнер пытался обнять ее потеснее, возмущенно отстраняясь, говорила: «Что вы, что вы, я только что от мужа».

Поскольку женщин на научных судах всегда было

значительно меньше, чем мужчин, то почти каждая из них с самого начала рейса становилась предметом ухаживаний. «Женщин разбирают уже на трапе», – шутил наш третий штурман. Помню, одна тихая и скромная научная сотрудница Ира по вечерам, когда спадала жара, как и многие, отправлялась на верхнюю палубу делать гимнастику. Выходила она, как правило, позднее всех и усердно делала множество разных упражнений. Наблюдавший ее упорные занятия вахтенный матрос Михаил Ночневный, видя, как она изнуряет себя упражнениями, жалостливо глядя на нее, спросил: «Что, еще не пристроилась?»

Серьезным испытанием для наших закрепощенных домашним бытом и закомплексованных советских женщин в портах заходов явилось знакомство с западным сексом на экранах зарубежного кино. Оно, как правило, производило на них оглушительное впечатление. Помню, одна из наших миловидных научных сотрудниц Наташа, видный геоморфолог, впервые посмотрев в Антверпене секс-фильм «Глубокое горло», от волнения потеряла голос и целый месяц после этого говорила шепотом. Другая молоденькая двадцатилетняя девица, работавшая до этого в Геленджике секретаршей у директора южного отделения нашего института и впервые попавшая за рубеж, в греческом порту Пирей всю свою небольшую валюту потратила не на тряпки и косметику, как все остальные женщины, а на билеты в секс-кинотеатры. Ее большие серые глаза были полны восторженного ужаса.

Справедливости ради следует заметить, что и на многих советских мужчин зрелище это производило с непривычки сильное впечатление. Помню, в порту Реджо-ди-Калабрия в Италии один из наших технарей, уже пожилой человек, в прошлом командир подводной лодки и, конечно, партиец, которого на борту все уважительно звали Палыч, вернувшись из увольнения, заявился ко мне с початой поллитрой и, разлив ее по стаканам, сказал с обидой: «Вот, Саня, – всю жизнь, оказывается, зря прожил: ничего такого никогда не видел и не знал. А жалко!»

Конечно, формально посещение кинотеатров с секс-фильмами запрещалось, но запреты эти, как правило, нарушались. Помню, в 1974 году, в 11-м рейсе «Дмитрия Менделеева», во время стоянки в Сиднее, часов в десять вечера, когда увольнение в город, разрешенное обычно только на светлое время суток, уже закончилось, заместитель начальника рейса, бывший одновременно представителем институтского партбюро на судне, и первый помощник потащили меня в качестве переводчика на берег смотреть секс-фильм «Австралия после полуночи». Около двух часов, усадив меня в середине, они мучили меня постоянными требованиями синхронного перевода,

хотя события, происходившие на экране, ни в каком решительно переводе не нуждались. «А что он ей сейчас сказал?» – ежеминутно интересовались мои наэлектризованные соседи. «А она ему?» Когда свет наконец зажегся, выяснилось, что в зале находится еще одна «тройка» с нашего судна: две буфетчицы из кают-компании в сопровождении судового механика. Увидев помполита, они тут же растворились в толпе.

Уже поздно вечером, когда мы возвратились на судно, в дверь моей каюты постучали. Вошли обе девицы, Таня и Галя, встретившиеся нам в кино, и поставили на столик бутылку «Столичной», которая сама по себе была на судне крайним дефицитом. Судя по румянцу на их лицах, перед этим они уже успели выпить. «Александр Михайлович, – заявила Галя, – мы вот с вами вместе в кино были. Но мы английского не знаем, поэтому не все поняли. Вы не могли бы нам кое-что перевести и объяснить?» – «А почему же вы вдвоем пришли?» – неловко попытался пошутить я. «Как почему? – совершенно серьезно ответили они. – Там же все время – две женщины с мужчиной».

Несколько позднее, в 1977 году, в 24-м рейсе судна «Академик Курчатов», работавшего в Атлантике и заходившего на Канарские острова, в моем отряде произошло ЧП – двое моих сотрудников сильно выпили во время увольнения в Лас-Пальмасе, за что и они, и я получили изрядный нагоняй. Уже на пути в Калининград мы зашли в шведский порт Гетеборг. Накануне, когда решался вопрос об увольнениях, меня вызвал к себе в каюту первый помощник. Время было позднее. Судно раскачивалось и скрипело от внезапно налетевшего североморского шторма. «Мы вот тут посоветовались с партбюро и решили этих двоих, что в Лас-Пальмасе напились, дать тебе в «тройку». Вот ты сам теперь с ними ходи и за них отвечай, поскольку ты у них начальник отряда». – «Да что мне с ними делать? – возразил я. – Они же все свои деньги пропили». – «Ну, и что?» – «Как что – мы ведь в Швецию заходим и хотели на какой-нибудь секс-фильм сходить». – «Это ты мне, первому помощнику, такое говоришь? Ты что, разве не знаешь, что ходить на секс-фильмы запрещено?» – «Запрещено! Сам-то небось ходил?» – «Я – другое дело, я – политработник! Мне потом с людьми надо беседовать, разоблачать там и все такое. Мне положено по работе». – «Ну, и мне положено. Я ведь, как ты знаешь, член Союза писателей. Это ведь самый что ни есть идеологический фронт. Мне потом дома тоже выступать придется и на всякие вопросы отвечать. Ты что думаешь, мне поверит кто-нибудь, что я секс-фильмов не видел?» Перпом задумался. «Пожалуй, ты прав, – вздохнул он, – тебе можно. Только всем подряд не рассказывай».

Согласно строжайшей инструкции, советские граждане в зарубежном порту могли ходить только по трое; не вчетвером и не вдвоем, а именно втроем. Мне неоднократно объясняли, что цифра три не случайна, а тщательно и всесторонне продумана. Если моряки пойдут вдвоем, то они могут, например, сговориться и совершить самые непредвиденные нарушения – от посещения борделя до покупки запрещенных предметов. Втроем же договориться труднее. В свою очередь, если один из двоих решил сбежать, то другой в одиночку его удержать не сможет, а вот вдвоем, пожалуй, изловят. Опять же, если в группе трое, то старший успевает смотреть за двумя своими подопечными, а вот когда четверо, то за всеми враз и не уследишь. Не про нас ли писал великий русский классик: «Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутит». Гоголь попал в точку. Выдумали «тройку» обкомы и политуправления, которые шутить не любили.

Утверждение старших групп в рейсах каждый раз представляло собой в известной степени священнодействие. Списки эти долго согласовывались с «уполномоченными товарищами», утверждались на партбюро и вывешивались на доске объявлений перед заходом в иностранный порт. Право формировать «тройки» долгое время было исключительной прерогативой первых помощников и представителей кружка «хочу все знать». В последние годы, правда, «тройки» формировались начальниками отрядов и служб, но утверждались и корректировались только перпомом.

На следующий день четыре боевые «тройки» отправились в Гетеборге на поиски главного секс-кинотеатра. Нашим Сусаниным был добрейший и милейший геофизик Саша Гольмшток, который не испытывал ни малейшего желания тратить деньги на секс-шоу, но, на беду свою, уже бывавший ранее в Гетеборге и знавший, где находится кино. Павший жертвой собственной доброты, он, так же, как и другие, покорно заплатил 15 крон (деньги весьма в нашем положении немалые) за входной билет. Уже минут через сорок, однако, он сильно затосковал от скуки и опрометчиво покинул зал, шепнув, что покурит пока на улице у выхода. Когда мы примерно через час вышли, Саша находился в состоянии полной ярости, что для него, человека спокойного и доброжелательного, обычно было несвойственно. Оказывается, за то время, которое он нас ждал, почти все наши советские «тройки» подходили к кинотеатру, с большим вниманием изучая картинки у входа, поскольку денег на билеты у них не было. И каждый раз они натыкались на

Гольмштока, который совершенно очевидно грубо нарушал инструкцию по поведению советских граждан в иностранном порту: во-первых, трется возле секс-кинотеатра и ни на шаг от него не отходит, а во-вторых – один, без своей «тройки». Попытка Саши, осознавшего свою ошибку, вернуться в зрительный зал оказалась бесплодной: надо было снова платить 15 крон, а уйти он не мог, так как действительно боялся отстать от своей «тройки».

Бывали и другие случаи. Так в 1983 году в Копенгагене, в одном из аналогичных кинотеатров, когда наша «тройка» собиралась уже уходить, прямо рядом со мной, перегородив нам дорогу к выходу, плюхнулась на сиденье вместе со своим спутником только что заскочившая в зал здоровенная деваха, обдавшая нас густым духом спиртного. На второй минуте из их оживленного диалога с ее кавалером (а чего стесняться, ведь кругом чурки нерусские, все равно ни черта не понимают) выяснилось, что они – члены экипажа теплохода «Абхазия», который пришел в порт с немецкими туристами на борту. Едва усевшись, соседка моя, используя все доступные ей богатства родного языка, начала энергично комментировать все, происходящее на экране. «Вася, да разве ж это французская любовь, – загудела она прямо над моим ухом, – она ж его держит неправильно! Подожди, вернемся на судно вечером, я тебе покажу, как это надо делать!» Поддавший Вася блаженно зажмурился в предвкушении обещанного. Мои спутники справа от меня тоже беспокойно заерзали. «Вася, глянь, – не унималась моя соседка. – Да разве ж это любовь втроем? Они же на него не так садятся! Нет уж, погоди. Я вот Люську из нижнего буфета к тебе в каюту приведу, мы тебе с ней устроим!» Это уже было слишком. Вася, кажется, уже был в полной отключке. Кивнув моим коллегам, мол, пора двигаться, я тихо сказал ей: «Простите, можно пройти?» Пьяная ухмылка на ее лице мгновенно сменилась выражением внезапного ужаса. Схватив в свои могучие объятия несчастного Васю, она моментально испарилась, оставив только легкий запах спиртного. Путь к выходу был свободен.

Все эти истории, однако, происходили позднее. Тогда же, в 1970 году, в первом рейсе на академическом судне мой трусливый, хорошо отлаженный стереотип поведения забитого и запуганного советского гражданина за рубежом претерпевал острый кризис. Этому немало способствовал Игорь Белоусов, бывший, кстати сказать, в ту пору секретарем парткома Института океанологии. Именно он выступал инициатором многочисленных культурно-массовых мероприятий самого разного рода – от шахматного турнира (он был страстным

шахматистом) до конкурса на лучшую песню об Атлантиде, о котором речь пойдет ниже.

В шахматном турнире Игорь, претендовавший на первое место, потерпел сокрушительное поражение от второго механика. Тогда он придумал неожиданный розыгрыш. Центром возникшего «заговора» стала синоптик Клара Войтова, самая красивая женщина на судне, похожая на таитянку, за которой весь рейс весьма активно, элегантно и, кажется, совершенно безуспешно ухаживал наш блестящий капитан. Помню, во всяком случае, что в день 8 Марта я по заданию все того же Белоусова придумывал персональные стихотворные поздравления всем женщинам экспедиции – для стенгазеты. Красавице Кларе были посвящены такие вирши:

Ах, у Клары ну и чары,
Кто от них не умирал?
Говорят, что Карл у Клары
От любви украл коралл.

Не успели вывесить стенгазету, как в конце второй строки, после вопроса «кто от них не умирал», кто-то написал карандашом – «капитан». Справедливости ради следует сказать, что и сам Игорь весьма симпатизировал Кларе. По вечерам она выходила на верхний мостик, названный сачкодромом, и делала там гимнастику, включая «мостик». С завистью смотревший на ее акробатические этюды Игорь как-то спросил Клару: «Ну, хоть в конце рейса вы поцелуете меня на прощание?» – «Конечно, – ответила она, – если вы сумеете мостик сделать». Для толстяка Игоря это была задача непосильная. Я тут же, помнится, написал на него эпиграмму на мотив песни «Мой костер в тумане светит»:

В знак симпатий наших личных,
Пред разлукою в порту,
Вместо способов обычных
Мы простимся «на мосту».

Одним из главных украшений Клары были густые и длинные черные волосы, сыгравшие не последнюю роль в описываемой истории. Дело в том, что Клара немного играла в шахматы. Коварный план Белоусова состоял в том, чтобы заставить проиграть своего удачливого противника не кому-нибудь, а именно женщине, что особенно обидно для мужчины, да еще и моряка. С этой целью против второго механика выставили Клару,

неожиданно пожелавшую принять участие в турнире. Клара явилась на игру в открытом ярком платье, глубоко обнажавшем полные обольстительные плечи и шоколадного цвета спину. Кажется, одного этого было достаточно для любого мужчины, чтобы сдаться немедленно. Ее роскошные волосы были собраны в большой тугой узел сзади. Никто из окружающих не мог и подозревать, что под этой пышной прической скрывается портативное корабельное переговорное устройство, которое обычно используется при швартовке или для связи со шлюпкой у борта. В соседней каюте, за такой же шахматной доской, точно дублирующей положение фигур, сидел целый шахматный совет во главе с Белоусовым, обсуждавший каждый ход и дававший команду Кларе.

Поначалу все шло блестяще. Второй механик, высокий и серьезный мужчина, признанный лидер шахматного чемпионата, первокатегорник по шахматам, после нескольких же ходов вдруг начал понемногу проигрывать. И кому, какой-то смазливой девчонке. Чемпион начал нервничать и «зевнул» ладью. Огромное число болельщиков набилось в кают-компанию на этот неслыханный поединок. Это-то и погубило весь замысел. Увидев такое большое количество мужчин, Клара по инстинктивной женской привычке стала поправлять прическу и нечаянно нажала на кнопку приемника. Связь прервалась, и покрасневший от напряжения второй механик сумел свести партию к ничьей.

Меня Игорь уговорил провести серию вечеров-концертов, посвященных авторской песне. После военных судов, на которых песни Окуджавы, Галича, Высоцкого и Кима были намертво запрещены, это казалось удивительным. Помогали мне в этих вечерах второй штурман Володя Черкасс, прекрасный гитарист, и химик Галина Сычкова – исполнительница авторских песен. Песни мои, которые он прежде не слышал, ему понравились, и он стал постоянно интересоваться, не написал ли я чего-нибудь нового. Мы в это время, отработав в центральной части Атлантики, шли на заход на Малые Антилы, на остров Гваделупа…

Помню, в холодной и голодной мужской послевоенной школе – в пятом и шестом классах – мы все поголовно занимались собиранием марок. Теперь мальчишки марками так не увлекаются. Почему мы с такой страстью их тогда собирали? Не потому ли, что нас подсознательно манили, притягивали к себе сказочные, недоступные для нас края, изображенные на этих маленьких бумажных квадратиках? Ниагарский водопад, дирижабль, летящий над полюсом. Стройные и величественные африканские жирафы, антарктические пингвины и розовые

фламинго. Наши неискушенные мальчишеские сердца переполнялись многокрасочным разнообразием и полнотой недоступного для нас мира. Помню, что по наиболее высокой таксе обмена среди опытных филателистов в то время шли марки серии «Французские доминионы», из которых самыми ценными были марки «страны Гваделупа» (я тогда еще и не подозревал, что это остров в Западной Атлантике).

В рейсе в мои основные обязанности, помимо прочего, входило нести вахту на магнитометре, работавшем круглосуточно. Вахта моя ночью была с нуля до четырех часов утра. Примерно минут за пятнадцать до конца вахты мне в кормовую лабораторию, где стояла наша аппаратура (а оттуда ничего не видно – даже иллюминаторы задраены наглухо, поскольку работает аппаратура, охлаждаемая от перегрева кондиционерами), позвонили с мостика, и голос вахтенного штурмана Володи Черкасса произнес: «Саня, хочешь на Гваделупу взглянуть? Выходи на палубу – остров на горизонте». Я поднялся на мокрую от утренней росы кормовую палубу и заглянул вперед за надстройку. Плотные утренние сумерки одевали все пространство вокруг серым сырым фоном, не позволяя отличить воду от неба. И только далеко впереди с левого борта, на скорее угадываемой, чем различимой глазом границе двух этих необъятных стихий, едва заметно мерцала цепочка зыбких огней – остров на горизонте. Мне вспомнились нетопленая послевоенная школа на Мойке, крики балтийских чаек, круживших за высокими пыльными окнами нашего класса, над старыми кирпичными воротами Новой Голландии, и бережно заложенные в тетрадку марки с трудно различимыми французскими названиями. Смешанное чувство радости и грусти охватило меня – радости от реального осуществления наивной школьной мечты и грусти от невозвратной утраты того головокружительного мальчишеского ожидания непременного чуда наутро. На следующий день я показал Игорю новую песню «Остров Гваделупа»:

Такие, брат, дела… Такие, брат, дела —
Давно уже вокруг смеются над тобою.
Горька и весела, пора твоя прошла,
И партию сдавать пора уже без боя.
На палубе ночной постой и помолчи.
Мечтать под сорок лет – по меньшей мере, глупо.
Над темною водой огни горят в ночи —
Там встретит поутру нас остров Гваделупа.

Пусть годы с головы дерут за прядью прядь,
Пусть грустно оттого, что без толку влюбляться, —
Не страшно потерять уменье удивлять,
Страшнее – потерять уменье удивляться.
И, возвратясь в края обыденной земли,
Обыденной любви, обыденного супа,
Страшнее – позабыть, что где-то есть вдали
Наветренный пролив и остров Гваделупа.

Так пусть же даст нам Бог, за все грехи грозя,
До самой смерти быть солидными не слишком,
Чтоб взрослым было нам завидовать нельзя,
Чтоб можно было нам завидовать мальчишкам.
И будут сниться сны нам в комнатной пыли
Последние года, отмеренные скупо,
И будут миновать ночные корабли
Наветренный пролив и остров Гваделупа.

Поскольку песня Игорю понравилась, я тут же ее ему посвятил. К вечеру следующего дня мы уже разгуливали по крутым улочкам города Пуант-а-Питр. Шли мы вчетвером, впереди более подвижные и шустрые мы с Валяшко и Шрейдером, а сзади, тяжело отдуваясь, Игорь Белоусов в парусиновом костюме и широкополой шляпе. Путь наш в городок пролегал через «веселые кварталы». У гостеприимно открытых дверей «домиков для любви» стояли или сидели в соблазнительных позах живописно раздетые мулатки и креолки всех мастей – от черного кофе до молока. Надо сказать, что на нас троих, глянув в нашу сторону опытным оценивающим глазом, они никакого внимания не обратили. Зато появление Игоря произвело на них самое внушительное впечатление – клиент на вид солидный. «Эй, босс, – оживились они, – кам хиа». – «Потом, потом», – смущенно промямлил Игорь и бросился догонять нас.

К середине второго дня неожиданно выяснилось, что на остров Гваделупа мы зашли незаконно, поскольку на нем находится французская военно-морская база. Местные власти прибыли на борт с требованием в течение двух часов покинуть порт. В противном случае судну грозил арест. Что было делать? Весь экипаж и научный состав, кроме вахтенных, был уволен в город до семи часов вечера, а на часах было половина первого дня. Вот тут кто-то подсказал капитану Соболевскому, что в городке Пуант-а-Питр – всего один кинотеатр, и в кинотеатре этом идет один-единственный фильм «Я – лесбиянка», смотреть

который замполит категорически запретил. Посыльный с судна, с трудом договорившись с контролерами, проник в зал. Примерно через полчаса все уволенные в город были уже на борту, и судно покинуло негостеприимную гавань.

Закончив второй этап работ, уже в апреле 1970 года, наше судно зашло в порт Дакар, столицу Республики Сенегал. В первый же день захода мы вдвоем со Шрейдером отправились бродить по шумному африканскому городу, где за нами немедленно увязался черный мальчишка – чистильщик сапог. Сколько мы от него ни отбивались, он упрямо продолжал нас преследовать. Пока мы лакомились мороженым в кафе, он, незаметно подкравшись под столом, ухитрился начистить одну белую кремовую туфлю Анатолия черной ваксой и тут же стал требовать плату, угрожая позвать полицейского. С большим трудом мы от него отвязались. К концу дня мы купили по дешевке у какого-то подозрительного черного старика два тамтама, а вернувшись на борт, узнали, что купили мы его в районе, где живут прокаженные. Выбросить купленные тамтамы нам было жалко, поэтому мы ограничились тем, что помыли их горячей водой с раствором марганцовки. Судовой врач окончательно успокоил нас, заявив, что инкубационный период у проказы – около двадцати лет. Сейчас один из этих барабанов висит на стенке у меня дома уже сорок лет, так что можно считать, что пронесло.

На следующий день на судно прибыл советский посол в Сенегале, от которого мы узнали, что на третий день нашей стоянки в Дакаре приходится национальный праздник республики – День независимости, в честь которого должны состояться военно-морской парад и спортивные празднества, включающие гонку пирог и другие соревнования.

В день праздника капитан приказал спустить судовой катер, на который в число избранных, за широкой спиной Белоусова, попал и я. Подняв красный государственный флаг, катер смело двинулся в самый центр гавани, где проходил парад военного флота Республики Сенегал, состоявшего из нескольких списанных во Франции старых тральщиков и одного эсминца. На океанском берегу были установлены трибуны, на которых разместились правительство во главе с тогдашним президентом Сенегала Леопольдом Седаром Сенгором (кстати, известным французским поэтом и философом, членом Французской академии), дипкорпус и множество приглашенных гостей. В честь праздника состоялась показательная высадка десанта на воду. Черные парашютисты бодро выпрыгивали из двух больших транспортных самолетов, неспешно пролетавших вдоль берега. Упав на воду, они ловко раскрывали свои надувные плотики и ожидали подбирающий их

катер. Пара парашютистов, видно, плохо рассчитав, вместо моря засквозила в сторону суши, и главный распорядитель махнул рукой – этих можно не подбирать. Вот как раз в этот момент я и увидел жену французского посла.

Она стояла на центральной трибуне, неподалеку от президента Сенгора, рядом со своим мужем – Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Сенегале, под небольшим французским триколором. Увидел я ее в подзорную трубу, данную мне капитаном, с расстояния минимум три кабельтова. Все, что я успел разглядеть, – это белое длинное платье и широкую белую шляпу, за которой развевался тонкий газовый шарф. Что касается нашего посла, стоявшего на той же трибуне, то он, увидев, что мы затесались почти в строй сенегальских военных кораблей, довольно выразительно погрозил нам кулаком. Лежа на животе, я с трудом выбрал руками маленький катерный якорь, и мы отправились восвояси.

Настроение, однако, было праздничным, и, вернувшись на судно, мы решили отметить День независимости Сенегала. Надо сказать, что на всех советских судах, попавших в тропическую зону океана, тогда выдавали сухое вино, которое называлось «тропическое довольствие». Еще Колумб по пути в Америку заметил, что в тропиках пресная вода в деревянных бочонках начинает гнить. И только смешанное с водой бактерицидное сухое вино возвращает ей питьевые свойства. Вернувшись из Голландии, Петр I издал специальный указ, который предписывал выдачу всем членам экипажа судна, попавшего в тропическую зону океана, по стакану сухого вина в день. Указ этот, дошедший до наших дней, пытались, правда, отменить при Горбачеве, но ненадолго. И каждый раз, когда судно пересекало Северный тропик, чего все члены экипажа ожидали с явным нетерпением, по сто раз спрашивая штурманов, скоро ли, звучала по «спикеру» долгожданная команда, и все судовое население бежало в продуктовый ларек, где каждому бесплатно выдавалась бутылка вина на три дня. При этом на доску приказов и объявлений вывешивался приказ капитана, где было сказано следующее: «Категорически запрещается накапливать сухое вино с целью опьянения».

По случаю национального праздника Сенегала мы решили больше ничего не накапливать, тем более что, кроме сухого вина у меня был спирт, а у Белоусова – коньяк. Вечером того же дня, прикончив вместе с Игорем Белоусовым и другими коллегами бутылку терпкого непрозрачно-красного сенегальского вина, я придумал на свою голову озорную песню о жене французского посла, чей светлый образ некоторое время витал в моем

нетрезвом воображении.

Песня немедленно распространилась по судну, а капитан со старпомом даже заключили пари на ящик коньяка, дойдет ли эта песня за месяц через всю страну от Калининграда, куда мы возвращались, до Владивостока, куда оба они после возвращения должны были вылететь к себе домой (судно было владивостокской приписки). Действительно, через месяц после прихода я получил от капитана Соболевского телеграмму из Владивостока с приглашением участвовать в распитии выигранного им коньяка, поскольку песня дошла.

Не могу не отметить, что все свои песни я до этого писал в связи с конкретными событиями, поскольку начисто лишен творческого воображения, и песни мои всегда были формой дневниковой записи. Так песня «Снег» написана после экспедиции на Крайний Север, а песня «Над Канадой небо сине…» после захода в порт Галифакс. Песня про жену французского посла, пожалуй, единственное исключение, которое принесло мне немало неприятностей.

Неприятности эти начались не сразу, а примерно через год, но продолжались много лет. Из их длинного ряда вспомню только два эпизода. Один из них датируется концом 1982 года, когда я уже жил в Москве и выступал накануне Нового года на вечере московских студентов в концертном зале Библиотеки имени Ленина напротив Кремля. В числе многочисленных заявок на песни в записках чаще всего фигурировала песня «про жену французского посла». «Все равно мы ее знаем наизусть», – писали авторы записок. Обычно я эту песню на концертах не пел. Тут же, под влиянием многократных заявок, притупив обычную бдительность и расслабившись, я ее спел под бурные овации всего зала, и, как немедленно выяснилось, – совершенно напрасно, поскольку, как известно, в нашей стране скорость стука значительно превышает скорость звука. Уже 3 января мне домой последовал звонок из Бюро пропаганды художественной литературы при Московском отделении Союза писателей СССР со строгой просьбой немедленно явиться к ним. Оказалось, что туда уже пришел донос на меня, составленный «группой сотрудников библиотеки».

В доносе отмечалось, что я в «правительственном зале» (почему он правительственный? Потому что напротив Кремля?) разлагал студенческую молодежь тем, что пел «откровенно сексуальную» песню, в которой «высмеивались и представлялись в неправильном свете жены советских дипломатических работников за рубежом». Услышав это обвинение, я не на шутку загрустил. «Так что вы там пели? – спросила меня строгим

голосом старой девы самая пожилая дама – старший референт. – Про жену советского посла?» – «Не советского, а французского», – робко возразил я. «Ах, французского? Ну это уже полегче. Ну-ка, спойте нам, пожалуйста». И я без всякого аккомпанемента и без особого удовольствия, осипшим от новогодних застолий голосом спел им эту песню. Народ за столами заметно оживился. «Ну ладно, – сказала пожилая дама, и в ее металлическом голосе зазвучали смягчающие нотки. – Идите. Только больше этого, пожалуйста, не пойте».

Вторая, вернее, первая история, связанная с этой песней, произошла в моем родном Ленинграде в 1971 году на следующий год после ее написания, когда мне понадобилось снова оформлять визу за рубеж для следующего плавания. Самым главным документом, представляемым для оформления визы, как хорошо известно людям моего поколения, была характеристика, подписанная так называемым «треугольником», который значительно страшнее Бермудского (дирекция института, партком и местком). Инструкция эта составлялась по строго канонической форме. Чтобы проверяющий ее чиновник не тратил зря время на ее изучение, в правый верхний угол выносились главные сведения о представляемом.

Про меня, например, было написано так: «Характеристика. Составлена на: Городницкого Александра Моисеевича, беспартийного еврея 1933 года рождения». Ясно, что при таких беспросветных исходных данных дальше можно не читать, а сразу надо откладывать личное дело в сторону. Кстати, после моего развода много лет, уже в Москве, из одной моей характеристики в другую неизменно перекочевывала фраза: «В 1971 году А.М. Городницкий разведен. Обстоятельства развода партбюро известны (! – **А.Г.**) и не могут являться препятствием для оформления за границу». Вот как – все должно быть известно до самых личных деталей! Кроме того, в каждой характеристике обязательно должна была содержаться стандартная фраза: «Морально устойчив, политически грамотен, в быту скромен. Семья дружная». Если хоть что-нибудь из вышеперечисленного не указано или указано не строго в соответствии с упомянутыми выражениями, то характеристику можно было не подавать – все равно не пропустят.

Документы на каждого проходили четыре строжайшие инстанции – сначала институт, потом характеристику утверждают на выездной комиссии райкома партии. Мне неоднократно приходилось бывать на этих комиссиях и робко отвечать на дурацкие вопросы тупых «теток в исполкомовской одежде», упоенных своей неограниченной властью. Помню, как-то в нашем

Октябрьском районе во время очередного оформления в загранрейс меня представлял комиссии секретарь нашего парткома, мой приятель Володя Мельницкий. Когда я уже ответил довольно успешно на все вопросы о текущей политике и тому подобных вещах (знание которых было мне совершенно необходимо для магнитных измерений в море), Володя на вопрос, увлекается ли чем-нибудь его подзащитный, кроме науки, видимо, решив мне польстить, заявил, что Городницкий пишет стихи и песни.

Лица членов высокой комиссии, явно склонявшейся к положительному решению, омрачились. Мне предложено было выйти за дверь, а секретарю парткома остаться. Как он рассказал мне потом, его начали подробно расспрашивать, что именно я пишу, нет ли у меня, помимо «общеизвестных» песен, каких-нибудь песен «для себя», которые я пою в кругу близких друзей и которые «не соответствуют». «Да зачем он вообще эти самые песни пишет? – с сожалением спросил доброжелательный старичок с двумя колодками орденов. – Ведь вроде положительный человек, научный работник, и все вроде бы в порядке». Остальные также сокрушенно закрутили головами. Характеристику мне все-таки утвердили. «Они меня спросили, какие я твои песни знаю, – улыбнулся Мельницкий, – а я, как назло, только одну и помню – «От злой тоски не матерись», – так что я уж ничего им цитировать не стал».

После райкомовского утверждения, изрядно отлежавшись, характеристики и все документы шли на тщательную проверку в КГБ и только после этого передавались в специальную выездную комиссию обкома партии. Вся эта процедура обычно занимала минимум четыре месяца. Интересно, что все многочисленные и, как правило, высокооплачиваемые чиновники, явные и тайные, стоявшие (вернее сидевшие) у этого длинного конвейера, обычно были более склонны не пропустить, чем пропустить. Дело в том, что ответственность они несли только в том случае, если вдруг ненароком пропускали не того, кого надо, и возникали какие-нибудь ЧП. За срыв же важных научных командировок, чрезвычайно дорогостоящих океанографических экспедиций и других работ за рубежом все эти инстанции никакой решительно ответственности не несли.

Я прекрасно помню, например, как в 1974 году наше судно «Дмитрий Менделеев», уже полностью снаряженное для выхода в экспедицию, около месяца простояло в порту, ожидая из Москвы «шифровку» с фамилиями участников экспедиции, «допущенных к рейсу». Сведения эти, видимо, были настолько секретными, что о том, чтобы передать их по телефону или телеграфу, не могло

быть и речи. Убытки, понесенные в результате этого простоя, исчислялись сотнями тысяч рублей, не считая валюты, но это решительно никого не волновало: карман ведь не свой – государственный.

Так вот, на следующий год после появления злополучной песни про жену французского посла, когда мне снова понадобилось оформлять документы в очередной рейс, меня вызвал к себе тогдашний секретарь партбюро Борис Христофорович Егиазаров, известный геолог, профессор и доктор наук, седой и красивый невысокий армянин с орлиным носом и густыми бровями, обликом своим напоминавший графа Калиостро. Когда я прибыл к нему в комнату партбюро, где он был в одиночестве, он запер дверь на ключ, предварительно почему-то выглянув в коридор. «У нас с тобой будет суровый мужской разговор, – объявил он мне. – У меня тут на подписи лежит твоя характеристика в рейс, так вот, ты мне прямо скажи, что у тебя с ней было». Удивленный и встревоженный этим неожиданным вопросом, я сел на стул и стал морщить лоб. «Да нет, ты не о том думаешь, – облегчил мои мучительные экскурсы в недавнее прошлое секретарь, – я тебя не про всех твоих баб спрашиваю, – партию это совершенно не интересует. Я спрашиваю конкретно про жену французского посла». Я облегченно вздохнул и с улыбкой, хотя, как оказалось, радоваться было рано, хорошо заученным тоном первого ученика сказал: «Борис Христофорович, ну что может быть у простого советского человека с женой буржуазного посла?»

«Ты мне лапшу на уши не вешай, – строго обрезал меня секретарь, – и политграмоту мне не читай – я ее сам кому хочешь прочитаю, – мне за это деньги платят. Ты мне прямо говори – было или нет!» – «Да с чего вы взяли, что у меня с ней что-то было?» – возмутился я. «Как это с чего? Мне тут твою песню принесли, и я ее внимательно изучил. И понял, что такую песню просто так не напишешь, там такие есть строчки, что явно с натуры написано. Так что не крути мне голову и признавайся. Давай договоримся по-мужски: ты сознаешься и рассказываешь мне некоторые детали, а я тебе сразу же подписываю характеристику. Зря упираешься, зря, – ведь ты уже в песне и так все рассказал, остается только чистосердечно подтвердить, тебе же легче будет. Имей в виду: если ты честно обо всем расскажешь, дальше меня это не пойдет, и характеристику я тебе подпишу, даю тебе честное слово. Пойми, Саня, я же тебе добра желаю. Скажу тебе честно, я бы и сам не устоял, – французская женщина, жена посла… Такой случай может только раз в жизни выпасть. Всякое бывает. Но советский человек, даже если раз оступился,

должен стразу же покаяться. Потому что, раз ты сознался, значит, ты перед нами полностью разоружился и тебе опять можно доверять». – «Перед кем это перед вами?» – не понял я. «Как это перед кем? Перед партией, конечно!» Тут я понял, что дело принимает вполне серьезный оборот, и не ошибся.

Целый час, не жалея сил, он пытался не мытьем так катаньем вынуть из меня признание в любострастных действиях с женой французского посла. Я держался с мужеством обреченного. Собеседник мой измучил меня и изрядно измучился сам. Лоб у него взмок от возбуждения. Он снял пиджак и повесил его на спинку своего секретарского стула. «Ну, хорошо, – сказал он, – в конце концов, есть и другая сторона вопроса. Я ведь не только партийный секретарь, но еще и мужчина. Мне просто интересно знать – правда ли, что у французских женщин все не так, как у наших, а на порядок лучше? Да ты не сомневайся, я никому ничего не скажу!» Я уныло стоял на своем.

«Послушай, – потеряв терпение, закричал он, – мало того, что я просто мужчина, – я еще и армянин! Ты думаешь, если ты еврей, то ты мужчина? Армянин как мужчина – это еврей со знаком качества, понял? Ну какое же качество, если я не знаю, как устроены французские женщины? Да мне просто профессионально необходимо знать, правда ли, что во Франции женщины не такие, как наши табуретки, ну?» Я упорно молчал. «Хорошо, – сказал он (по мере того, как волнение его нарастало, в его голосе все явственнее проступал кавказский акцент), – никому не веришь, да? Партии родной не веришь, мне как мужчине не веришь. Хорошо, смотри, раз ты такой недоверчивый». С этими словами он протянул руку к телефонной трубке и снял ее с рычагов. «Видишь, я снял трубку с телефона, – в таком положении она уже ничего не записывает. Сознавайся!» Я так испугался, что замолк, кажется, навеки.

Поняв, что толку от меня не добиться, он снова надел пиджак, повязал галстук и, глядя мимо меня куда-то в пространство, называя меня почему-то в третьем лице и явно подражая интонациям великого вождя, произнес: «Неоткровенен Городницкий перед партией, скрывает факты. Уходи. Ничего я тебе не подпишу!» Расстроенный, вышел я из партбюро и побрел по коридору. В конце коридора он неожиданно догнал меня, нагнулся к моему уху и прошептал: «Молодец, я бы тоже не сознался!» И подписал характеристику.

История со злополучной песней на этом, однако, не закончилась. Мой приятель писатель и литературовед Юрий Карякин, в 1973 году побывав во Вьетнаме, услышал, как там ее поют наши подвыпившие монтажники. Песню, как оказалось,

быстро перевели на английский. В 1974 году в Новой Зеландии, в Веллингтоне, к нам на борт сел новозеландский ученый профессор Киблуайт (его тут же прозвали на судне «Белый Кибель»). На первом же дружеском застолье он спел эту песню по-английски и очень удивился, что я автор.

Одноклассник и приятель Игоря Белоусова профессор физики Владимир Семенович Фридкин написал целый рассказ «Новые подробности о жене французского посла», к которому мы вернемся несколько позднее. Другой наш общий приятель, известный писатель и врач, к сожалению, несколько лет назад ушедший из жизни, Юлий Крелин, в свое время опубликовал в литературном еженедельнике «Алфавит» целую статью, где подробно обсуждается, как следует правильно петь: «Как нага высокая нога» или «Как нога высокая нага».

Лет десять назад мои коллеги по Институту океанологии принесли мне показать переводную американскую книжонку, автора которой я так и не запомнил. На протяжении всего повествования подробно живописуются любовные утехи героя и героини, которые в короткие промежутки отдыха ходят в гости. И вот в гостях ее бойфренд (его зовут Стив) неожиданно ее удивляет. Он садится к фортепиано и начинает играть и петь какую-то песню на неизвестном языке. На недоуменные вопросы он отвечает примерно следующее: «У меня был друг – русский летчик. Его сбили во Вьетнаме, и с тех пор он остался жить в свободном мире и много ездил по всему свету. В этой песне, которую он сам придумал, описана история его бурного романа с женой французского посла в Сенегале. У них был с ней такой секс, после которого все женщины стали ему безразличны». Так, спустя много лет, через американскую бульварную литературу, ко мне неожиданно вернулась моя старая песня.

Одноклассник Натана Эйдельмана, упомянутый выше Владимир Фридкин, будучи при этом весьма одаренным литератором, так же, как и его прославленный однокашник, много лет занимался Пушкиным и даже написал книжки «Ненайденный дневник Пушкина», «Дорога на Черную речку», «Из зарубежной пушкинианы». В отличие от Натана он был «выездным» и много раз выезжал с лекциями в разные европейские страны. Однажды он должен был в очередной раз поехать в Италию, в Рим, и Тоник попросил его снять на видео комнаты в особняке, принадлежавшем прежде подруге Пушкина Зинаиде Волконской. Оказалось, что в этом особняке сейчас располагается английское посольство и нужно специальное разрешение для съемки. Выяснилось, что жена у посла – русская, и Володя получил не только разрешение на съемку, но и

приглашение на ужин. Ужинали втроем: английский посол с супругой и Володя. Посол, высокий и белокурый мужчина, настоящий лорд, по-русски не понимал, поэтому беседу поддерживала его жена. Из беседы выяснилось, что в Италии они недавно, а перед этим много лет жили в Сенегале, где ее супруг также возглавлял британскую дипломатическую миссию. «Что вы говорите! – воскликнул Фридкин. – А у меня есть приятель, который написал песню о Сенегале!» «Ну-ка, спойте», – попросила жена посла. И Володя Фридкин, который поет еще хуже меня, прямо за посольским столом спел им эту песню (видимо, они ему там не только чай наливали). Жена посла перевела своему супругу песню на английский, и величественный и молчаливый до этого английский лорд начал вдруг что-то быстро и взволнованно говорить своей жене. «Мой муж очень интересуется, – перевела она, – в каком году ваш приятель был в Сенегале». Услышав ответ, она сказала: «Ну, конечно, это, видимо, Женевьева Легран. Правда, ей тогда было уже за сорок, но она была еще очень хороша». Этот рассказ Володя Фридкин опубликовал в 99-м году в своей книге «Дорога на Черную речку» под названием «Жена английского посла».

Песня эта тоже послужила предметом многочисленных пародий. Первая из них, написанная на мотив другой моей песни «Атлантида», появилась в том же рейсе и принадлежит «безымянному автору» (подозреваю Клару):

Атлантических волн паутина,
И страницы несчитаных лент.
Кто мне скажет, что я не мужчина,
Кто мне скажет, что я импотент?
Протянув умоляюще руки,
Отдавались мне тут же без слов
Бабы с судна, и бабы с науки,
И жена одного из послов.

Известный московский автор Владимир Туриянский также прошелся по мне пародией:

В баобабах мало древесины,
Много дыма, минимум тепла.
Мне милей родимые осины,
Чем жена французского посла.

Где-то в конце 80-х мне довелось возвращаться с лыж из

Подмосковья на электричке, набитой студентами-лыжниками, бодро распевавшими разные песни. Спели они в числе прочих и «Жену французского посла», но в довольно странной редакции. То ли они рифму мою не поняли, то ли молодежь у нас пошла такая, но последний куплет песни они поют так:

Дорогие братья и сестрицы,
Что такое сделалось со мной?
Все мне сон один и тот же снится,
Широкоэкранный и цветной.
И в жару, и в стужу, и в ненастье,
Все сжигает он меня дотла.
В нем постель распахнутая, Настя,
И жена французского посла.

В 2005 году на моем авторском вечере в театре «Школа современной пьесы» на Трубной площади в Москве, в конце первого отделения на сцену неожиданно поднялся чернокожий красавец, держа в руках огромный тамтам, и на хорошем русском языке произнес: «По поручению Его Превосходительства, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сенегал в России я имею честь вручить господину Городницкому этот тамтам в знак уважения за то, что в России впервые за всю ее историю написана песню о Сенегале».

Что же касается Игоря Белоусова, то, несмотря на внешнюю мягкость характера и доброжелательность, порой он бывал непреклонен. Помню, в самом конце рейса, уже по пути домой, мы зашли в Гибралтар, бывший в то время портом беспошлинной торговли, где все участники рейса обычно «отоваривали» свою убогую валюту, выдаваемую формально для «культурного отдыха на берегу». Надо сказать, что нигде мне не было так стыдно за свою великую державу, как в жалких третьесортных лавчонках Гибралтара и Лас-Пальмаса, Сингапура и Токио, где пронырливые торговцы, по большей части индусы или поляки, ловко ориентируясь на советский спрос, держат специальные «русские» магазины, в которых по более дешевым ценам продают самую разнообразную третьесортицу – от джинсов из подгнившей ткани, зонтиков и презервативов до магнитофонов и видеосистем, через месяц или раньше выходящих из строя. Моряков и рыбаков наших это, однако, нисколько не волнует, так как все барахло приобретается здесь для немедленной перепродажи дома.

До сих пор помню чувство жгучего стыда, испытанного мною в 1968 году в Париже в каком-то «польском» магазине, куда нас привел гид и где «золотые чемпионки» Олимпийских игр на

глазах у откровенно потешавшихся над нами продавцов жадно вырывали друг у друга из рук какие-то нейлоновые шубы и более интимные предметы женского туалета. А похмельные оравы матерящихся рыбаков с продубленными соленым ветром лицами и алчными глазами, торопливо волокущие к причалу огромные узлы и свертки с коврами и пальто-болоньями! Игорь в такие лавочки, как правило, не ходил, несмотря на откровенное неудовольствие его жены, и приобретал в основном памятные раритеты – маски, раковины и другую местную экзотику.

На этот раз мы собрались с ним на экскурсию в знаменитую карстовую пещеру Святого Михаила в Гибралтарской скале, где во время Второй Мировой войны размещался британский госпиталь, а затем, ввиду уникальной внутренней акустики, устроен всемирно известный филармонический зал. Игорь зашел за мной, и мы совсем уже было собрались идти, как вдруг ему на глаза попался листочек с первой строфой песни «Донской монастырь». Я начал набрасывать ее накануне, но конец все никак не получался. Игорь взял листок со стола и прочел вслух:

А в Донском монастыре зимнее убранство.
Спит в Донском монастыре русское дворянство.

«А где продолжение?» – спросил Игорь. «Да вот, вечером попробую что-нибудь придумать», – ответил я. «Зачем же вечером, лучше прямо сейчас», – с улыбкой заявил Игорь и с неожиданной для его грузного тела быстротой выскочил из каюты. Не успел я опомниться, как в замочной скважине щелкнул ключ, запирающий дверь снаружи. «Ты что, с ума сошел? – возмутился я. – Время увольнения пропадает!» – «А ты его зря и не трать! Садись и быстренько пиши. Как докончишь, сразу звонишь мне, и мы немедленно идем на берег». Ни брань, ни увещевания мои на него никакого действия не оказали. В увольнение, однако, хотелось, и я скрепя сердце сел за стол. Не знаю уж как по части художественного уровня, но, во всяком случае, формально примерно через полчаса песня была дописана, и Игорь, ознакомившись с текстом, милостиво взял меня на берег.

Во время этого захода в Гибралтар руководитель наших гравиметристов Владимир Александрович Тулин, в те поры еще изрядно выпивавший, за немалые деньги купил в какой-то лавке древностей большой старинный и тяжелый двуручный рыцарский меч (как его уверил продавец – меч Дон Кихота). Довольный и раскрасневшийся, он приволок его на судно, но Игорь тут же сильно охладил его восторги по поводу этой замечательной покупки, напомнив счастливому владельцу «меча Дон Кихота»,

что ввоз холодного оружия в нашу страну таможенными властями категорически запрещен. «Да ты что, это же музейная вещь», – слабо сопротивлялся Тулин. «Ничего себе музейная, – смеялся Белоусов, – по башке стукнешь – и все. Холодное оружие это, вот что».

На бедного Тулина было жалко смотреть. Вернуть меч обратно он, конечно, не мог. Поэтому, когда «Дмитрий Менделеев» подходил к родному Калининграду, он попытался спрятать его под диван в своей каюте. «Ну уж это последнее дело, – донимал его Игорь. – Первое, что делает любой таможенник, войдя в каюту, – он немедленно заглядывает под диван». (Это, кстати, общеизвестная истина. Аналогичная история несколько лет спустя произошла с Булатом Окуджавой, но уже в поезде). Затравленный Тулин, цепляясь огромным мечом за комингсы и узкие ступеньки крутых трапов, потащил его прятать в свою гравиметрическую лабораторию, в один из длинных аппаратурных ящиков. «Молодец, это ты талантливо придумал, – похвалил его Игорь. – Это же намеренное укрытие контрабанды. Минимум пять лет без взаимности!» Убитый Тулин, гремя ржавым куском железа на все судно, обреченно поволок его обратно в каюту. Нет необходимости упоминать, что таможенники, озабоченные «товарными вещами», порнографией и «антисоветской» литературой, на злосчастный меч даже и не взглянули…

Третий рейс «Дмитрия Менделеева» и дружба с Игорем Белоусовым определили перемену в моей дальнейшей жизни. Втянувшись мало-помалу в строгий уклад корабельной жизни с ее четко расписанным временным режимом, непререкаемой иерархией, столь отличной от суши, полным отсутствием бытовых проблем, постоянным знанием того, где находишься и куда плывешь (недаром каждое утро вахтенный штурман объявлял по судовой трансляции координаты судна и погоду, как ни странно, это очень успокаивает нервы), я полюбил ее и начал болезненно переживать долгие перерывы между плаваниями с неустройством и неопределенностью сухопутной жизни с ее неожиданными невзгодами, которым в отличие от морских всегда приходится противостоять в одиночку.

Более всего я не любил (и до сих пор не люблю) неприглядный вид корабельных помещений на другой день после долгожданного возвращения в родной порт, – покинутые замусоренные каюты, торопливо убегающие на берег люди, безвозвратное разрушение еще совсем недавно спаянного общей жизнью недолгого братства. Каждый раз при этом ощутимо кончался какой-то кусочек жизни, уже неповторимый. Зато каким

знакомым праздником казалось начало любого рейса, сулившего каждый раз новые открытия в окружающем мире и в себе самом. Проплавав сорок лет в океане, я не помню ни одного неудачного рейса. Как мудро сказал известный морской геолог академик Александр Петрович Лисицын: «Каждая экспедиция обречена на успех».

Бросался в глаза в первые дни после возвращения в Калининград или Владивосток и разительный контраст родной страны с заграницей, нищий и дикий уклад нашей жизни с пустыми магазинами, лживыми лозунгами, полуголодным и озлобленным населением. Правда, через некоторое время, привыкнув, перестаешь это замечать. Помню, в учебнике химии написано, кажется, про сероводород, что, если ты перестаешь ощущать его запах, значит, ты уже отравлен. То же всякий раз происходило и с нами. И все-таки интересно, образовали бы декабристы тайные общества, если бы не попали перед этим вместе с армией в Европу и не увидели, что можно жить иначе?

Вернемся, однако, к Игорю Белоусову. Именно он подкинул мне идею перебраться на работу в Москву, в Институт океанологии имени П.П. Ширшова, тем более что для переезда в Москву к тому времени у меня были и весьма серьезные личные причины. Игорь в ту пору был секретарем парткома института, фигурой в административной иерархии весьма значительной, и без особого труда договорился с директором института Андреем Сергеевичем Мониным. Справедливости ради следует отметить, что согласие Монина на мой перевод в Институт океанологии было связано вовсе не с моими научными заслугами, а прежде всего с песенной популярностью, так как сам Монин любил и прекрасно знал поэзию, очень неплохо рисовал.

После «менделеевского» рейса случались, однако, события и менее радостные. Осенью 71-го года у меня на работе в Ленинграде раздался телефонный звонок. «С вами говорит сотрудник Комитета государственной безопасности Сергеев, – сказал голос в трубке. – Прошу вас зайти в удобное для вас время в районный отдел, в комнату номер пять, для беседы». Радости от этого звонка, будучи достойным сыном своей страны, я не испытал никакой и в назначенное время явился в пыльную комнату в бесконечных коридорах Октябрьского райисполкома на углу Садовой и Майорова, где двое неприметной наружности людей в штатском со скучающим видом играли в шахматы. Один из них, по-видимому Сергеев, уединился со мной в одной из комнат и, явно получая удовлетворение от моего плохо скрытого волнения, начал длинную серию многочисленных опросов, обнаруживая довольно большие познания в моей скромной

биографии. Понять, что ему нужно, было совершенно невозможно. Потом он, как бы вскользь, спросил меня, что я думаю о своем коллеге по институту Никите Стожарове, с которым в предыдущем рейсе мы жили в одной каюте и у которого были какие-то трудности при оформлении визы из-за тетки в Финляндии. Минут через тридцать он очень вежливо попрощался и отпустил меня. Я наивно обрадовался, что на этом все и кончилось.

Однако примерно через неделю тот же Сергеев (если это была его действительная фамилия) позвонил и снова предложил встретиться. «У нас в помещении неудобно, – сказал он, – давайте встретимся неподалеку, на Садовой, у ворот Юсуповского сада». В условленное время у ворот вместе с Сергеевым меня ждал еще один человек, назвавшийся Владимиром Николаевичем. Вопросы, заданные мне на этот раз, касались уже моих литературных дел, где я печатаюсь, не жалуюсь ли, что меня притесняют и не принимают в Союз писателей. «Имейте в виду, мы можем вам оказать весьма эффективную помощь, – сказал Владимир Николаевич, – нам нужны талантливые литераторы. Вы ведь небось считаете, что мы люди неначитанные. Так вот, смею вас уверить, что у нас в Комитете такая библиотека современной литературы, которой может позавидовать даже Публичка. И все книги современных поэтов и прозаиков у нас тоже есть, и читаем мы их довольно внимательно».

После этого он неожиданно спросил, знаком ли я с поэтом Николаем Брауном. Я не сразу понял вопрос и вспомнил, что года два назад звонил Николаю Леопольдовичу Брауну по его домашнему телефону. Он тогда взялся рецензировать для издательства «Советский писатель» рукопись моей книжки стихов и действительно дал весьма положительную рецензию, хотя знакомы мы с ним почти не были. Моих собеседников, как выяснилось, интересовал не сам Николай Браун, а его сын, входивший, судя по их словам, в какой-то «антисоветский кружок». Закончив разговор о Брауне, Владимир Николаевич, который, очевидно, был главным чином, сказал, мельком глянув на меня: «Вы должны помочь нашим органам знать как можно больше о той среде литераторов и научных работников, в которой вы живете и работаете. Поэтому в условленное время и в условленных местах вы будете впредь рассказывать мне и другим нашим сотрудникам обо всех разговорах, свидетелем которых вы окажетесь. Нас интересует конкретно – кто и что сказал, понятно?»

Ужас охватил меня. Я понял наконец – что меня попросту вербуют в стукачи. «Но почему же именно я? У меня много своей

работы, я не могу», – робко промямлил я. «Партия учит нас опираться в получении информации только на достойных, заслуживающих доверия людей, – сурово отрезал Владимир Николаевич. – Вы что, себя таковым не считаете? Значит, у вас есть что скрывать? И потом, что значит «не могу»? Вы что же, отказываетесь помогать нашим славным органам в борьбе против шпионажа и идеологических диверсий?» – «Да нет, что вы! – испугался я. – Если бы я узнал о каком-то шпионском замысле или диверсии, я сам бы немедленно пришел к вам, я счел бы своим гражданским долгом…» – «Вот и считайте своим гражданским долгом и приходите к нам, – усмехнулся моим детским трепыханиям Владимир Николаевич. – И потом, почему обязательно надо сообщать о людях только плохое? Можно ведь и хорошее – нас интересует все!» – «Нет, нет, я не могу, я не справлюсь», – трясущимися губами лепетал я. «Превосходно справитесь, – подхватил Сергеев. – Значит, так, вот вам мой телефон, через пару дней позвоните. Если сами не позвоните, я вам позвоню». И, не слушая больше моего трусливого отнекивания, они покинули меня.

Я остался сидеть на садовой скамейке. Вокруг меня с веселыми криками бегали дети. Неподалеку раздавались звуки оркестра. На солнечных вечерних дорожках ярко вспыхивали первые осенние кленовые листья. Я же сидел убитый. Жизнь кончилась. Не ранее чем минут через двадцать я справился с внезапным сердцебиением и уныло поплелся домой. Несколько ночей подряд я не мог уснуть, а забывшись беспокойной дремотой, просыпался от страшных видений. То мне снилось, что я стал осведомителем, а все вокруг смотрят на меня с презрением и показывают пальцем. То, наоборот, за мной приезжал «воронок», и три дюжих охранника волокли меня по каменному полу, ударяя лицом о ступеньки. Сергееву я звонить не стал. Примерно через неделю он позвонил сам и елейным голосом передал привет от Владимира Николаевича. Еще через два дня он позвонил снова и осведомился, не пора ли нам встретиться. «Нет, – дрожащим голосом сказал я ему, – если вы в чем-то обвиняете меня, то арестуйте, а так мы больше встречаться не будем». – «Ну что вы, Александр Моисеевич, – рассмеялся он в трубку. – За что же вас арестовывать? А вот если вы все-таки не хотите с нами встречаться больше, то пеняйте потом на себя».

Через неделю он звонил еще и спрашивал, что передать Владимиру Николаевичу. Я снова отказался встретиться. «Дело ваше, – спокойно сказал Сергеев, – но мы с вами еще встретимся». На этом звонки прекратились, но я еще примерно полгода шарахался от телефонной трубки. Самое удивительное, что

спустя несколько дней после нашей последней встречи из моей головы начисто выветрилась память о внешнем облике и Сергеева, и Владимира Николаевича: как они выглядели, во что были одеты. Хотя во время самой этой встречи мне казалось, что я их запомню навсегда. Обтекаемость их внешности, полное отсутствие каких-то особых примет, за что бы зацепиться глазу, по прошествии времени стали внушать мысль как бы о некоей нереальности этого события или принадлежности их к потустороннему миру. И еще одно – разговаривая со мной, они почти никогда не смотрели в глаза, всегда куда-то в сторону. Может быть, именно поэтому и лица их мне совершенно не запомнились. Память же об этой истории осталась как дурной сон на всю жизнь. Помню, когда я прочитал рассказ Фазиля Искандера, в котором от лица героя излагалось, как его вербовали в стукачи, меня поразило удивительное сходство с моей собственной историей. Видимо, стереотипы вербовки, рекомендованные в этом ведомстве, были примерно одинаковыми…

Визу в загранрейсы в 1971 году мне все-таки закрыли и снова открыли только после переезда в Москву, спустя три года. Формально причину лишения визы в отделе кадров объясняли недавним разводом. Приятель же мой, попавший как-то в компанию с подвыпившими гэбэшниками, «курировавшими» наш институт, на вопрос обо мне в ответ услышал: «За ним много чего есть».

Нельзя не вспомнить, кстати, что Игорь Белоусов в это время, еще до моего перехода в его институт, приложил поистине героические усилия, чтобы помочь мне получить отобранную визу и взять с собой в рейс «Дмитрия Менделеева» к берегам далекой Океании. С его подачи директор института Монин написал специальное письмо в выездную комиссию Ленинградского обкома партии, на которое высокая комиссия даже не сочла нужным ответить. Игорь, однако, на этом не успокоился и отправился к всемогущему Ивану Дмитриевичу Папанину, всемирно прославленному полярнику, контр-адмиралу, дважды Герою Советского Союза, доктору географических наук и прочая, и прочая, и прочая, руководившему тогда Отделом морских экспедиционных исследований Академии наук. Папанин был многолетним другом отца Игоря, известного полярного капитана Михаила Прокопьевича Белоусова, командовавшего в 30-е годы ледоколом «Иосиф Сталин». Пробившись к Папанину на прием, Игорь подробно живописал все мои достоинства, рассказал историю с неудачей монинского письма и попросил Ивана Дмитриевича позвонить по «вертушке» в Ленинград и

договориться с обкомом. Надо отдать должное Ивану Дмитриевичу Папанину, несмотря на свою наигранную за многие годы простоватость и нарочитый «матросский матерок» (хотя в молодости на флоте он в основном не плавал, а работал в ЧК), человек он был в высшей степени умный и непростой, величайший политик и дипломат. За дела, заведомо безнадежные, не брался никогда. Поэтому, дав Игорю полностью выговориться, он широко улыбнулся, топорща маленькую щеточку седых усов над верхней губой, и заявил: «Игорь, я отца твоего любил и тебя люблю. Пошел на…» – «Да нет, вы не поняли», – продолжал горячиться Игорь. – «Ты что, плохо меня слышишь? – удивился Иван Дмитриевич. – Так я тебе еще раз повторяю: я отца твоего, покойника, любил и тебя люблю. Пошел на…» И Игорь пошел, куда его послали, а «Дмитрий Менделеев» пошел в свой 6-й рейс без меня.

Немало стараний приложил по возвращении в Москву Игорь и к тому, чтобы подружить меня со своей «бандой». С самого начала он чуть не испортил все дело, так как пытался с восторженными комментариями напевать своим язвительным друзьям Смилге и Крелину мои песни, не имея ни голоса, ни слуха. Как они сами признавались позднее, песни эти вызвали у них откровенное отвращение. Судьбе же было угодно, чтобы мы по-настоящему познакомились уже у Игорева гроба.

Игорь Михайлович Белоусов, моряк и ученый, фантазер и мечтатель, сибарит и добряк, любивший вкусную еду и шахматы, но более всего на свете – своих друзей, один из немногих на земле людей, умевший по-детски радоваться их успехам, в июне 72-го года умер от внезапного разрыва сердца. Скончался он в больнице у своего друга Юлия Крелина, у него на руках, в возрасте сорока двух лет, всего за две недели до начала организованной им полярной экспедиции в Северный Ледовитый океан на перегонных судах, куда мы все с ним вместе собирались.

Последнее время он усиленно занимался гимнастикой, бегал по утрам, стараясь сбросить вес. Помню, примерно за пару недель до смерти, когда я уже работал в его институте, он подошел ко мне и показал свою только что сделанную для обмена партийных билетов фотографию, заявив: «Смотри, какой должна быть партийная харя!» Мой приятель Леша Сузюмов, работавший с Игорем раньше, узнав, что он согласился стать секретарем парткома института, спросил у него: «Игорь Михайлович, зачем вам это надо?» Игорь ответил: «Кто-то ведь должен защищать институт от этой райкомовской сволочи».

Игорь умер, как выяснилось, от врожденного фамильного заболевания – сужения аорты. Примерно в таком же возрасте и

так же ушли из жизни его отец Михаил Прокопьевич и брат отца – подполковник.

Мы везли гроб с телом Игоря из Люблино, где в здании института, помещавшегося тогда в Дурасовском дворце, состоялась гражданская панихида, в крематорий Донского монастыря. Длинная вереница автомашин, возглавляемая гаишной машиной с сиреной и мигалкой, которую специально выделил Люблинский райком, тянулась по ухабистой дороге через Текстильщики. От тряски погребального автобуса крышка гроба все время съезжала, открывая ноги Игоря в огромных штиблетах на толстой микропористой подошве. Сидевшие вокруг гроба друзья не скрывали слез. Урну с прахом Игоря захоронили на Новодевичьем, в могиле отца. Его квартира в Доме полярника на Суворовском, ныне Никитском бульваре, еще недавно шумная и многолюдная, опустела. Вдове Игоря пришлось переезжать в другую, меньшую квартиру, а в эту вселился популярный писатель, автор легендарного «нордически стойкого» Штирлица, Юлиан Семенов. Докторская диссертация Игоря, о которой было немало разговоров, так и осталась незащищенной.

Более десяти лет спустя, уже в 31-м рейсе все того же судна «Дмитрий Менделеев», мы открыли по данным геомагнитной съемки в Центральной котловине Индийского океана, между разломами Индира и Индрани, новый разлом. Я предложил назвать его разломом Игоря Белоусова и именно так и поименовал в своих статьях. Дальше, однако, дело не пошло. Высокие инстанции это предложение не поддержали: с какой стати? – не академик, не герой – простой кандидат наук. Так и не оставил Игорь своего имени на любимой им географической карте, о чем мечтал когда-то в юности. Остались только память в сердцах его пока живущих друзей, да еще, пожалуй, строчка из любимой им песни, написанной в том незабываемом рейсе и ему посвященной: «Не страшно потерять уменье удивлять – страшнее потерять уменье удивляться»…

Чистые пруды

Все, что будет со мной, знаю я наперед,
Не ищу я себе провожатых.
А на Чистых прудах лебедь белый плывет,
Отвлекая вагоновожатых.

На бульварных скамейках галдит малышня,
На бульварных скамейках – разлуки.
Ты забудь про меня, ты забудь про меня,
Не заламывай тонкие руки.

Я смеюсь пузырем на осеннем дожде,
Надо мной – городское движенье.
Все круги по воде, все круги по воде
Разгоняют мое отраженье.

Все, чем стал я на этой земле знаменит, —
Темень губ твоих, горестно сжатых…
А на Чистых прудах лед коньками звенит,
Отвлекая вагоновожатых.

Переезд из Ленинграда в Москву был для меня мучительным. Даже когда меняешь что-нибудь одно – работу, семью или место, где живешь, – долго не можешь привыкнуть к новому. Мне же пришлось поменять все сразу. Из родного своего Института геологии Арктики, где я к тому времени руководил лабораторией морской геофизики, я попал в Институт океанологии на должность старшего научного сотрудника не в научные отделы, где мест не было, а в административную группу «Координационного центра стран-членов Совета экономической взаимопомощи».

Игорь Белоусов рассчитывал через полгода перевести меня к себе – в отдел геофизики и тектоники океанического дна, но его внезапная смерть поломала эти планы. Ни о какой геологии и геофизике в координационном центре не могло быть и речи. В обязанности мои входили обслуга приезжающих из соцстран ученых, а также составление и переписывание бесконечных бумажек и мертворожденных планов совместных работ и совещаний. Эта бессмысленная бумажная служба с первых же дней вызвала у меня непреодолимое отвращение. Профессор Глеб Борисович Удинцев, руководивший в то время отделом геофизики

и тектоники океанического дна, как оказалось, весьма неприязненно относился к Игорю и ясно дал мне понять, что на перевод мой в его отдел я рассчитывать не могу. Что было делать? Уезжать несолоно хлебавши обратно в Ленинград? Я и в самом деле начал всерьез подумывать об этом и даже договорился с дирекцией своего бывшего института о возвращении. Однако осенью 72-го года я познакомился с Олегом Георгиевичем Сорохтиным, готовившим тогда к защите докторскую диссертацию и увлекавшимся идеями тектоники литосферных плит, который согласился взять меня на работу в свою группу. С большим трудом, благодаря активной поддержке Сорохтина и благорасположению грозного директора Монина, мне удалось наконец расстаться с Координационным центром и перейти в группу тектоники литосферных плит, преобразованную позднее в лабораторию.

Олегу Сорохтину я обязан не только служебным переводом, но и многим другим. Будучи человеком, фанатично увлеченным современной геологической концепцией формирования и эволюции нашей планеты, геофизик с широким кругозором и дерзкой поэтической фантазией, он сумел обратить в свою, тогда еще довольно крамольную, веру своих ближайших сотрудников, в том числе и меня. До встречи с ним я считал себя специалистом по магнитному полю, и мне этого вполне хватало. В дебри глобальной геологии и тектоники я не вникал, считая это излишним. «Чем вы занимаетесь?» – спросил он у меня при первой встрече и, узнав, что магнитным полем, скептически улыбнулся: «У американцев, да и у всех других зарубежных ученых, нет такого понятия – магнитчик, сейсмик, электроразведчик. Есть одно понятие – геофизик. Ведь Земля – физическое тело, и, чтобы изучать ее, надо свободно владеть не одним, а несколькими геофизическими методами сразу. Иначе ничего не выйдет».

Сам Олег, сейсмик по образованию, да еще с «аппаратурным» уклоном, довольно свободно разбирался в физике Земли, теории геофизических полей, геологии и геохимии, не говоря уже о магнитном и гравитационном полях, сейсмике, тепловом потоке и так далее. Именно Сорохтин сделал меня убежденным сторонником новой глобальной теории – тектоники литосферных плит, основывающейся на идеях дрейфа континентов.

Согласно основным положениям теории тектоники литосферных плит, верхняя жесткая кристаллическая оболочка Земли – литосфера, подстилаемая снизу частично расплавленным веществом астеносферы, состоит из отдельных плит, которые могут перемещаться по астеносфере на большие расстояния – в

десятки тысяч километров. Там, где конвективные течения глубинного вещества в недрах нашей планеты идут вверх, плиты расходятся (как например, в Атлантике), возникают рифтовые зоны и срединноокеанские хребты. Происходит раскрытие океана, и континенты, Африка и Европа с одной стороны и Северная и Южная Америка – с другой, отодвигаются друг от друга. Там, где конвективные течения идут вниз, например, вдоль Курильских островов и побережья Камчатки, плиты наоборот сближаются, сталкиваются, пододвигаются одна под другую. Процесс этот сопровождается землетрясениями, вулканическими извержениями и другими геологическими катаклизмами, приводящими иногда к катастрофам, уносящим тысячи человеческих жизней и разрушающим города. Когда два материка сходятся вместе, то разделяющий их океан «закрывается», а сами континенты, сталкиваясь своими краями, образуют в пограничной зоне высокие горные системы, такие как Альпы и Гималаи. С этими процессами тесно связано образование полезных ископаемых, и прежде всего – нефти и газа. Сейчас считают, что нефтяные месторождения могут образовываться при поддвиге одной плиты под другую в осадочной толще края надвигающейся плиты.

Однако в начале 70-х годов концепция эта, уже получившая всеобщее признание на Западе, у нас считалась еретической. Вся «старая гвардия» отечественной геологической науки во главе с членом-корреспондентом В.В. Белоусовым, возглавлявшим Международный геофизический комитет, Академия наук, Министерство геологии, Московский государственный университет стеной встали против этого «буржуазного направления». В свете этого нельзя не отдать должное Андрею Сергеевичу Монину, который, будучи одним из ведущих ученых в области математики и физики, не только сам активно включился в разработку математической модели конвекции, приводящей к дрейфу континентов, но и не побоялся организовать у себя в институте специальную лабораторию «тектоники плит». В то время это было все равно что поднять красный флаг на броненосце «Потемкин» в 1905 году. Вот в эту лабораторию мне и повезло попасть.

Нельзя не отметить при этом, что характер у Монина был крутой, вспыльчивый. Трудясь помногу сам, он требовал такой же отдачи от других, поэтому работать с ним, а тем более под его началом, было совсем непросто. Я помню, как, тяжело отдуваясь и хватаясь за сердце, выходил из директорского кабинета его заместитель по Южному отделению в Геленджике Яков Петрович Маловицкий. «Саня, – сказал он мне, вытирая платком пот со

лба, – с Мониным же невозможно работать! Он требует от своих сотрудников мировых открытий, и при этом – каждый день!»

Сам Яков Петрович, один из ведущих ученых в области морской геологии и геофизики, прекрасный организатор, позже ушел из нашего института и стал большим начальником в Министерстве нефтяной промышленности – генеральным директором объединения «Союзморгео», помещавшегося в Мурманске. Помню, как, сидя у меня на кухне в Москве, он вызывал по телефону такси, чтобы доехать до аэропорта: «Саня, мне главное – до аэропорта добраться и в Мурманск улететь. А там я уже начальник, понял?»

В те поры для морских ведомств в Министерствах геологии и нефти была введена морская форма, но с какими-то довольно странными геологическими и совершенно не морскими атрибутами вроде молоточков и буровых вышек на рукавах и петлицах. Несмотря на огромное количество «золота», форма эта на непосвященных производила неоднозначное впечатление.

Вспоминаю, как мы вместе с Маловицким несколько лет спустя в гостях у нашего общего приятеля Сергея Александровича Ушакова, тоже, к сожалению, ушедшего из жизни, отмечали присвоение хозяину дома профессорского звания. Кончилось спиртное, и я предложил сходить в ближайший магазин за бутылкой коньяка. «Я с тобой, – заявил Маловицкий, натягивая на свои необъятные плечи расшитый золотом мундир штатского адмирала с депутатским значком на лацкане. – Мне без очереди дадут». С этими словами он нахлобучил на голову гигантскую фуражку с золоченым «крабом», обнимавшим изображение буровой вышки, и мы отправились. Очередь в винном отделе действительно оказалась большой. «Девушка, бутылку коньяка», – сиплым начальственным тоном произнес Яков Петрович, успешно растолкав своей грузной позолоченной фигурой толпу алкашей у прилавка. Неопрятного вида продавщица с испитым лицом окинула хмурым похмельным взглядом непонятную форму и неожиданно изрекла: «Гражданин, мы в спецодежде не обслуживаем!»

Что же касается тектоники литосферных плит, то ее идеи увлекли меня своей ясностью и удивительной согласованностью как с законами физики, так и с многочисленными геологическими фактами, до этого казавшимися грудой разрозненных сведений, никак между собой не связанных. Планета наша, представлявшаяся до этого неодушевленной неорганикой, оказалась подобием живого организма.

С увлеченностью, сильно подхлестнутой почти годовым отрывом от науки, я взялся за работу. Приходилось в сорок лет

переучиваться заново, осваивая азы физики Земли, гравиметрии, геотермии, тектоники, вулканизма, палеомагнетизма и так далее. Мне часто вспоминались слова моего друга, безвременно погибшего в 1960 году талантливого геолога Станислава Погребицкого: «В науке лучше работать под заведомо ложную идею, чем вообще под никакую».

Одной из наиболее характерных особенностей моих собратьев-геофизиков, да, видимо, и моей, взращенной в нас за долгие годы, было скупердяйское дрожание над полученными экспериментальными данными или какой-нибудь третьесортной идейкой. Общение с Олегом полностью изменило эти мещанские представления. Он щедро расшвыривал идеи, которых у него было всегда великое множество, как будто совершенно не заботясь о собственном авторстве.

Именно он впервые открыл мне глаза на то, что любой собранный экспериментальный материал – карта, разрез, результаты лабораторных анализов, – не одухотворенный ведущей идеей, мертв. Наше стремление участвовать во все новых съемках в океане он поддерживал далеко не всегда. «Надо ли тратить свои силы на получение нового материала, когда так много необработанного и необдуманного старого?» Когда я, споря с ним, говорил о практической пользе, о полезных ископаемых, он отмахивался: «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория».

Забегая вперед, должен сказать, что немалую роль в становлении моего еще не оперившегося тогда научного самосознания сыграл другой замечательный ученый – Лев Павлович Зоненшайн, один из ведущих тектонистов мира, с которым мне посчастливилось работать вместе во второй половине 70-х годов.

В истории науки, как и в истории искусства, время от времени вдруг вспыхивают, озаряя окружающих, имена людей, которые, кажется, самим Богом были призваны к яростному познанию окружающего мира, жизнь которых была подвижнически посвящена любимому делу. «Одна, но пламенная страсть», – как писал Лермонтов. Именно Лермонтов почему-то и вспоминается мне, когда я думаю о Льве Павловиче Зоненшайне, хотя он ушел из жизни уже за шестьдесят, и никто его как будто не травил и не убивал. Вспоминается потому, видимо, что поэтическая легкость его геологического таланта и те потенциальные творческие возможности, которые были в нем сокрыты, заставляют нас, его современников, только горестно разводить руками после его безвременной кончины. Сколько бы он мог еще сделать, открыть! Какие карты построить, какие книги

написать! Подобное горестное ощущение возникло у меня в свое время после внезапного известия о гибели Высоцкого.

Познакомились мы с ним в 1975 году, когда он пришел к нам в отдел из Министерства геологии. Тогда наш уже упомянутый выше директор Монин собирал группу ученых для развития идей теории тектоники литосферных плит, в ту пору, как я упоминал, революционной и в нашей стране – полузапрещенной. К этому времени Лев Павлович уже был широко известен как один из ведущих отечественных геологов, крупный специалист по тектонике Монголии и ряда восточных областей Союза. Мне посчастливилось вместе с ним и, конечно, под его идейным руководством составлять реконструкции положения континентов и океанов в фанерозое (время явной жизни на Земле) – от 570 миллионов лет тому назад до нашего времени.

В этой большой работе, требовавшей анализа огромного количества геологических, палеомагнитных и палеоклиматических материалов, в мою задачу входило обобщение палеомагнитных данных и создание палеомагнитной основы для реконструкций континентов в основные периоды истории Земли, а Лев Павлович работал с геологическими и палеоклиматическими материалами.

Институт наш тогда ютился еще в Люблине, в старом запущенном дворце конца XVIII века, некогда принадлежавшем вельможе павловских времен, известному московскому богачу и оригиналу Николаю Алексеевичу Дурасову. Став командором ордена мальтийских рыцарей, Павел I пожаловал звание мальтийского рыцаря своему любимцу, и тот построил свой дворец в форме мальтийского креста. Места во дворце, несмотря на его былое великолепие, было мало. Поэтому работали мы дома у Зоненшайна, на тесной кухне маленькой двухкомнатной квартиры в хрущевской пятиэтажке, неподалеку от метро «Каховская».

В те годы компьютеров у нас не было и в помине, поэтому все построения проводились вручную на старом школьном глобусе, который под конец был так обшарпан, что на нем было уже невозможно различать широты. Сами континенты при этом выпиливались лобзиком из пластинок плексигласа. Чтобы придать им кривизну, в соответствии с поверхностью глобуса, плексовые пластинки приходилось долго нагревать над паром, обжигая себе руки.

Надо сказать, что для «изготовления континентов», кроме непослушного плекса, мы старались использовать все, что попадалось под руку, – от раскуроченных кухонных кастрюль до консервных банок. Только через пару лет, с появлением

компьютерных программ, мы стали работать цивилизованно – на ЭВМ.

С первого дня работы Лев поразил меня глубиной своих поистине энциклопедических знаний в геологии, причем не только по самым разным регионам нашей страны или Центральной Азии, где он работал, но и по любой области мира. Это был буквально живой банк геологических данных, подобно тому как Натан Эйдельман был примерно таким же «банком» данных исторических. Наряду с уникальной памятью, всех, кто с ним работал, поражала его нечеловеческая работоспособность. Будучи «жаворонком», он поднимался с рассветом и работать был готов, кажется, круглосуточно. Тянуть с ним в паре было невероятно трудно, тем более что он и от партнеров своих требовал такой же преданности работе и результативности. Кстати, и ходил он весьма лихо. Мне довелось как-то в Геленджике попасть с ним вместе на прогулку в горы, и я с большим трудом поспевал за ним, хотя и сам за много лет геологических экспедиций привык к длительным пешим переходам.

Самое для меня удивительное, что при всей своей постоянной занятости Лев Павлович ухитрялся каким-то непонятным образом прочитывать последние литературные новинки и быть в курсе всех сколько-нибудь заметных событий в искусстве и общественной жизни, хотя, конечно, и не без активной помощи его жены Ирины. С этой точки зрения он был не ученым сухарем, озабоченным лишь доскональными знаниями в своей области, а по-настоящему культурным человеком. При этом он обладал безошибочным вкусом в литературе, живописи и театре, остро и болезненно реагировал на любую фальшь и был несгибаем, когда речь заходила о любой форме идейного компромисса с собственной совестью. В августе 91-го он не мог не быть на баррикадах у Белого дома.

В итоге нашей совместной работы в 1976 году мы с Зоненшайном построили серию карт – реконструкций взаимного расположения континентов и океанов на поверхности нашей планеты от раннего кембрия до наших дней. Получилось пять древних глобусов с интервалами около ста миллионов лет, по которым можно было проследить дрейф континентов, раскрытие и закрытие древних океанов. Составленные реконструкции позволили, в частности, сделать вывод о том, что все складчатые пояса и горные хребты возникли по большей части из-за столкновения материков при закрытии древних океанов. Удалось также показать, что образование и распад гигантского сверхконтинента Пангеи в истории нашей планеты происходили

неоднократно со средним интервалом около восьмисот миллионов лет.

Согласно нашим реконструкциям, около двухсот миллионов лет назад, в Юрскую эпоху, между северными континентами – Европой, Азией и южными – Африкой, Индией и Австралией располагался огромный океан Тетис, соединявший Палеотмхий океан с начинавшим раскрываться Атлантическим. После раскола Гондваны и движения южных континентов на север Тетис начал уменьшаться в размерах и закрываться. На его северном краю в результате сближения Африки и Евразии возник гигантский пояс островных дуг с огнедышащими вулканами, протянувшийся от Юго-Восточной Европы до Гималаев и давший богатейшие месторождения золота, олова, вольфрама, полиметаллов. В кайнозойскую эру океан Тетис почти полностью закрылся и Африка неотвратимо надвинулась на Европу, сминая ее южную часть. Так образовались Альпы. Этот натиск Африканской плиты продолжается и в наши дни: частые землетрясения сотрясают незаживший шов между Африкой и Европой, время от времени возобновляются извержения вулканов в Италии. Только узкая полоска Тетиса осталась незакрытой – это Средиземное и Черное моря. Незаживший шов, граница между Африканской и Евразиатской плитами, протягивается и к западу от Гибралтарского пролива, уже в Атлантике, до самых Азорских островов. Здесь она проходит по Азоро-Гибралтарской зоне разломов.

В том же 76-м году наши реконструкции были опубликованы в журналах «Природа» и «Геотектоника», а позднее в издательстве «Наука» вышла наша совместная книга «Реконструкции материков в фанерозое».

Новая глобальная теория была поначалу в штыки принята нашей официальной наукой. Сталинский колхозный строй не мог не породить Трофима Лысенко. И не только в одной биологии. Идеологическое обоснование существовавшего долгие годы тоталитарного режима требовало жесткого единоверия во всех областях науки – от математики до истории. Аналогичная ситуация сложилась и в геологии. Возрождение теории дрейфа континетов, предложенной впервые великим немецким ученым Альфредом Вегенером в 1912 году, на основе тектоники литосферных плит вызвало резкую критику со стороны Академии наук и главных чиновников от науки. Ее, так же как некогда кибернетику, сразу же объявили «буржуазной лженаукой». Приверженцам этой теории в те годы не давали защищать диссертации, выбрасывали их статьи из научных изданий, старались не пускать за рубеж на международные конференции.

Сейчас это кажется странным: факты есть факты, при чем тут идеология? А при том, что новые идеи полностью подрывали основы старой «фиксистской» теории о неподвижности континентов и океанов, на основе которой в нашей стране уже была создана картина размещения полезных ископаемых – угля, нефти, алмазов, металлов и так далее. За все это уже были получены звания, должности и премии. Зачем же пересматривать? Взорвать такое крепкое здание «советской геологической науки» было практически невозможно. В результате в 70–80-е годы, имея довольно сильный научный флот, мы практически проиграли нашим американским коллегам Мировой океан. Пока мы искореняли очередную буржуазную лженауку, они резко вырвались вперед как в области морских глубоководных исследований, так и в области строения верхних оболочек нашей планеты. Проиграли мы не только морально. Мы могли бы и раньше знать, что такие окраинные моря, как Охотское, Берингово, а также наши арктические моря имеют ураганные запасы нефти. И сама суша России состоит из отдельных платформ, микроплит, складчатых областей, образованных в результате закрытия древних океанов. Это знание дает ключ к новым законам образования нефти, руд, алмазов, которые нашли даже в Карелии. Мы об этом долгие годы по вине высоких начальников и чиновников от науки не подозревали. Дело дошло до того, что при Брежневе власти отказались принимать участие в международном проекте глубоководного бурения дна Мирового океана. В результате всего этого наша страна очень много потеряла и материально, и морально, на десятилетия отстав от мировой геологической науки.

Сразу же после выхода из печати нашей с Зоненшайном книжки о дрейфе континентов один из ревностных охранителей старой «фиксистской» теории тут же настрочил на нас объемистый донос с политической подоплекой и послал его в Президиум Академии наук. В этой замечательной бумаге авторы книги обвинялись в «низкопоклонстве перед буржуазной наукой и попытке обмануть простых советских людей». Подчеркивалось также нерусское звучание наших фамилий. Вот отрывок из этого вопиюще безграмотного документа: «Эти ваши ученые отстаивают и доказывают реакционное воззрение господ мобилистов» (далее – цитата из Ленина). «Авторов не устраивает марксизм-ленинизм, и они ищут опору в других теориях. Это очевидно из их отбора палеополюсов. Видимо, эта теория господ Городницкого и Зоненшайна больше устраивает, но она не устраивает всех советских людей, всех людей труда». Донос был всерьез направлен к нам в институт с визой академика-секретаря

нашего отделения Л.М. Бреховских, и мы с Зоненшайном вынуждены были писать подробную объяснительную записку.

Вспоминаю, как пару лет спустя мы вместе с Л.П. Зоненшайном и нашим общим другом и коллегой М.И. Кузьминым (сейчас он академик и до недавнего времени возглавлял Институт геохимии в Иркутске) принимали участие в работе Всесоюзной школы по морской геологии в Геленджике. Жили мы втроем в тесном номере гостиницы, когда выяснилось, что в Тбилиси в эти самые дни тоже проходит какая-то важная тектоническая конференция, где Лев Павлович должен делать доклад. Он тут же собрался и поехал на аэродром, и мы с Михаилом остались вдвоем.

Как раз на следующий день на нашей школе состоялось пленарное заседание, посвященное проблемам глобальной тектоники, на котором были поставлены доклады именитых московских ученых, в которых резко осуждалась теория тектоники литосферных плит. Соответственно этому приняло разгромный характер и обсуждение докладов в прениях. Мы с Михаилом, будучи тогда еще кандидатами, пытались защищаться, однако успеха у научной аудитории не имели – не та весовая категория. Отсутствие нашего лидера – Зоненшайна – сыграло свою роковую роль. Расстроенные, мы пошли вечером в гости, где с помощью крепких напитков попытались снять нервный стресс и укрепить свое красноречие.

Когда поздно ночью мы возвратились к себе в гостиницу и зажгли свет в номере, то обнаружили там Льва Павловича, который уже спал, утомленный трудным перелетом туда и обратно. Мы с Михаилом, конечно, тут же его разбудили и наперебой начали энергично объяснять, как нас сегодня разгромили на заседании и как нехорошо поступил Зоненшайн, предательски покинувший нас одних на растерзание научным противникам. Лева, сев на кровати, внимательно слушал наш весьма эмоциональный, но сбивчивый рассказ, испуганно хлопая спросонок своими красивыми длинными ресницами, пока взгляд его не упал на недопитую бутылку «Столичной», торчавшую у Кузьмина из кармана пиджака. «А вы все пьете, негодяи, – неожиданно закричал он на нас, – всю тектонику плит пропили!» Сам Лев Павлович, как я заметил, пил крайне мало, да и то по необходимости.

Одной из главных черт Зоненшайна была его изначальная доброжелательность. К нему мог обратиться любой геолог из самой глубокой провинции за консультацией и за помощью, и он ни разу не отказал никому, несмотря на постоянную загруженность работой. Сколько диссертаций помог он написать!

Обращает на себя внимание, что большая часть книг и статей Зоненшайна написано в соавторстве, ибо он был крайне щепетилен, пользуясь чужим трудом или материалами. Однако всегда главным автором был он.

Будучи однолюбом в науке, он буквально жил работой, занимавшей всю его жизнь без остатка, как будто чувствовал, что времени ему отпущено мало. Даже прикованный к постели неизлечимой болезнью, и здесь, в России, и в США, куда поехал на послеоперационное лечение, он до самого последнего момента старался работать, не давая себе пощады. Бездельников не любил, утверждая при этом, что есть две категории бездельников: одни просто ничего не делают, а другие при этом создают видимость кипучей деятельности.

Справедливости ради следует сказать, что его собственный научный путь был весьма тернистым. Мягкий, отзывчивый в быту, в научных спорах он был непримирим, чем нажил себе немало недоброжелателей. Мне еще в 1985 году довелось быть свидетелем его абсолютного научного авторитета среди зарубежных ученых. В том году в Праге состоялась очередная Ассамблея Всемирной ассоциации магнитологов, где у Льва Павловича было запланировано несколько докладов, в том числе и наш совместный доклад о реконструкциях материков в докембрии.

В ассамблее принимало участие множество знаменитых ученых из разных стран мира, имена которых были известны мне только по их работам. «Надо бы подойти к ним, представиться», – волновался я. «Не надо, – спокойно отрезал Зоненшайн, – сами придут». Он оказался прав – они все явились на его доклад и толпились вокруг, задавая вопросы и наперебой предлагая сотрудничество. К сожалению, как это нередко у нас бывает, его зарубежный научный рейтинг значительно опередил его широкое признание в отечественных научных кругах. Высокие слова в его адрес и научные почести несколько запоздали.

И еще одно неоценимое достоинство было для него характерно – он был блестящим научным оппонентом. От его беспощадной критики рассыпались в один миг с большим трудом возведенные и, казалось бы, несокрушимые научные зиккураты. Мне неоднократно приходилось с ним спорить, и каждый раз он виртуозно клал меня на лопатки, как олимпийский чемпион неумелого новичка. В то же время, если работа выдерживала его критику, с ней можно было смело выходить на любой уровень – другие оппоненты были уже не страшны.

Лев Павлович оставил после себя немало монографий, посвященных геодинамике Земли, ее геологической истории.

Одна из его последних книг «Тектоника плит СССР» вышла в США незадолго до его смерти. Когда-то, в 1981 году, в день его рождения, я написал на своей книжечке стихов, подаренной ему:

Не суждено нам умереть
В век общего веселья:
Меня по пьянке будут петь,
Тебя – читать с похмелья.

С горестным чувством вспоминаю я теперь эти строки, когда перелистываю его книги и думаю о тех, что так и не были написаны.

Вернемся, однако, в начало 70-х. В самом начале моей работы в Институте океанологии, в конце июля 1972 года, сразу же после неожиданной смерти Игоря Белоусова я попал в организованную им экспедицию по морям Ледовитого океана. Идея Игоря состояла в том, чтобы пройти по всей трассе великого Северного морского пути на речных судах, караван которых ежегодно перегоняли из Архангельска в дальневосточные моря. Было договорено, что специальный геофизический отряд будет вести попутные работы на борту одного из перегоняемых судов. В состав отряда, который Игорь должен был возглавить сам, он планировал включить своих друзей – Валю Смилгу и Натана Эйдельмана. В полярный рейс, однако, нам пришлось отправиться уже без него.

По-архангельски холодным августовским днем мы вшестером погрузились на борт транспортного суденышка типа «река – море», построенного в Финляндии. Его надлежало перегнать в составе каравана таких же судов из Архангельска в Николаевск-на-Амуре. Перегоном судов по трассе Северного морского пути занималась тогда «Экспедиция Спецморпроводок Севморпути», помещавшаяся в Ленинграде. Перегон этот требовал от экипажей особенной выучки и сноровки. С одной стороны, капитанам и штурманам надо было разбираться в сложной речной навигации, непривычной для моряков. С другой – на речных судах, не рассчитанных на морские шторма и ледовую обстановку, необходимо было пройти по трассе вдоль всего побережья Ледовитого океана, где и ледокольным пароходам со специальной ледовой обшивкой плавать далеко не безопасно.

Народ в перегонной экспедиции, возглавляемой старым полярником Наяновым, подбирался довольно лихой. Капитаном на нашем теплоходе был Владимир Малышев, примерно за год до этого плававший по перегонной трассе вместе с писателем Виктором Конецким, посвятившим этому рейсу свою повесть

«Соленый лед».

Следует сказать, что с самим Виктором Конецким, чьи морские рассказы и повести пользуются неизменной популярностью среди моряков, мне довелось познакомиться только в конце 80-х в Доме творчества писателей в Пицунде. Изящно сложенный, худощавый и пасмурный человек в сером пиджачке разительно отличался от могучего облика просоленного ветрами всех океанов морского волка. Кстати, именно в Пицунде произошло тогда одно комическое событие, связанное с упомянутой выше «штатской морской формой». В Доме творчества был огромный столовый зал со стенами, украшенными мозаиками, изображавшими сочные кавказские пейзажи. Несколько сот отдыхающих заполняли его во время обеда, оживленно беседуя за своими столами. Вдруг шум стих, и все повернули головы к входу. Я обернулся следом за другими и увидел, что в зал вошел, даже не вошел, а как бы величественно вплыл огромного роста адмирал в белой ослепительной тужурке с золотыми рукавами и разноцветными орденскими колодками. Держа в левой руке морскую фуражку с высокой тульей и белоснежным верхом, он, не глядя ни на кого, но явно довольный произведенным эффектом, медленно, как на параде, прошествовал к своему столику с гордо поднятой головой и так же, не глядя ни на кого, сел. «Виктор Викторович, – негромко сообщил я Конецкому, поедавшему свой винегрет по соседству, – смотрите, адмирал». Конецкий поднял голову и вдруг, бросив вилку, встал и мелкими шажками пошел к адмиральскому столику. Небольшого роста, вровень с сидящим адмиралом, стремительно сосредоточенный, он походил на торпедный катер, атакующий огромный транспорт противника. Не дойдя до цели нескольких шагов, он круто развернулся и так же быстро пошел обратно, презрительным шепотом бросив мне на ходу: «Говна-то, адмирал, – речной директор!» И сел, довольный, доедать винегрет.

Возвратимся, однако, в арктические моря. Группу нашу вместо Игоря возглавлял начальник отдела кадров института Владимир Михайлович с весьма нетипичной в те времена для начальника отдела кадров фамилией Гринберг. «Не только единственный в стране начальник отдела кадров с такой фамилией, но и единственный Гринберг, который по паспорту осетин», – говаривал он. Натан Эйдельман в рейс пойти не смог, и единственным из Игоревых друзей, принявших участие в экспедиции, оказался Смилга.

Помню, как, прибыв в Архангельск, где нас, приехавших раньше, несколько дней не селили в гостиницу «Двина», он

заявился прямо к директору гостиницы в старом ватнике и шляпе, заросший седоватой щетиной. «Смотрите, до какого состояния довели интеллигентного человека», – заявил он ошарашенному директору, после чего нас всех немедленно поселили в люкс. Используя его опыт, примерно такую же операцию мы провели и по окончании экспедиции, уже в Хабаровске, ухитрившись выбить номер в интуристовской гостинице для «академика Гринберга».

Двухмесячный рейс из Архангельска в Николаевск-на-Амуре, несмотря на все трудности и даже опасности, связанные с ним, особенно ледовая проводка в проливе Вилькицкого, где наше утлое суденышко затирало льдами, вспоминается до сих пор как один из самых интересных и стоит любого из зарубежных рейсов. Плоские берега Баренцева и Карского морей, скалистые берега Охотоморья, пронзительные желтые закаты острова Вайгач и безмолвная «цветомузыка» полярного сияния в Чукотском море.

Пушечный гром ломающихся льдин, их визжащий, надрывающий сердце скрежет о тоненькие борта, когда мы все в спасательных жилетах, с пластырями и брусьями наготове, чтобы заделать пробоину, стоим на расписанных постах и ждем – авось пронесет. А бесконечная работа по обкалыванию льда с палубы, чтобы судно не перевернулось в шторм! А вечно окровавленные ладони, которые не спасти от ржавой стали швартового троса никакими брезентовыми рукавицами! Поскольку экипаж на судне был только половинного состава, то нас всех использовали на общесудовых авралах и работах.

По мере нашего движения на восток пришлось заходить на острова Колгуев и Вайгач, в Амдерму, на Диксон и другие точки побережья, отстаиваясь то от шторма, то от ледовых полей. Около двух недель наше суденышко «Морской-10» простояло вместе с другими судами на рейде у острова Вайгач, ожидая улучшения ледовой обстановки в проливах Новой Земли. Была короткая полоса ненадежного северного лета – середина августа. На Вайгаче цвела тундра. Неожиданное для сурового и безжизненного северного ландшафта с его черно-белой графикой, буйство красок недолгого цветения хрупких, но непобедимых полярных трав и ягеля так поразило меня, что я, кажется впервые в жизни, испытал острое чувство зависти к художникам. Только их талант позволяет запечатлеть и увековечить этот странный и неповторимый миг, когда под лучом полярного солнца вдруг вспыхивают желтыми, золотыми и алыми цветами недолговечные ковры летней тундры. Когда я теперь думаю о красотах многочисленных островов, на которых мне посчастливилось побывать, я вспоминаю не знаменитый пляж Вайкики на Гавайях, непохожий на летящую бабочку остров Гваделупа и не сказочный

остров Маврикий – «ключ от Индийского океана», а цветущую тундру на арктическом острове Вайгач. Во время этой стоянки я «на нервной почве» написал стихи «Тени тундры», к которым актер Ленинградского Театра Ленинского комсомола Юрий Хохликов придумал мелодию. Получилась песня.

…Я повторять готов, живущий трудно,
Что мир устроен празднично и мудро.
Да, мир устроен празднично и мудро,
Пока могу я видеть каждый день
Тень облака, плывущего над тундрой,
Тень птицы, пролетающей над тундрой,
И тень оленя, что бежит по тундре,
А рядом с ними – собственную тень.

Навсегда врезались в память и скалистые отвесные берега Берингова пролива, разделяющего два сумрачных материка – Евразию и Америку. Прямо над нашим судном, как мне показалось, проплыл в сумеречном тумане на нависшей над водой скале огромный черный каменный крест, который водружен здесь в память Семена Дежнева «со товарищи». До сих пор помню неуловимую смену красок волн в проливе, где свинцово-стальные воды Ледовитого океана понемногу сменяются зелеными тихоокеанскими.

Неповторимая красота цветущей тундры стала, однако, не единственным воспоминанием об острове Вайгач. Мы нашли там обгоревшие остатки гниющих бревен, мотки ржавой колючей проволоки и разбитые взрывами базальтовые глыбы. Местные жители, ненцы, которых переселили сюда с Новой Земли, где в 50-е годы был организован полигон для испытаний атомной бомбы, рассказали нам, что здесь в 30-е годы был огромный концлагерь. Заключенные, обреченные на верную погибель, подняли восстание. Согласно легенде, когда об этом доложили Сталину с предложением послать карательный отряд, он сказал: «Зачем посылать людей? Лучше испытать новые бомбометатели наших бомбардировщиков». Бомбометатели испытали, уничтожив все живое на острове, включая охрану.

О доме не горюй, о женщинах не плачь
И песню позабытую не пой.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач
Меж старою и Новою Землей.

Здесь в час, когда в полет уходят летуны

И стелются упряжки по земле,
Я медную руду копаю для страны,
Чтоб жили все в уюте и тепле.

То звезды надо мной, то солнца красный мяч,
И жизнь моя, как остров, коротка.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач,
Где виден материк издалека.

Забудь про полосу удач и неудач
И письма бесполезные не шли.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач,
Где держит непогода корабли.

О доме не горюй, о женщинах не плачь
И песню позабытую не пой.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач
Меж старою и Новою Землей.

В этом рейсе нам повезло. Мы ухитрились за одну навигацию, без аварий и вынужденной зимовки во льдах, проскочить всю трассу Северного морского пути, что, как оказалось, бывает нечасто. В самом тяжелом в ледовом отношении месте – проливе Вилькицкого, между полуостровом Таймыр и Северной Землей, нас проводил атомный ледокол «Ленин», тогдашний флагман ледокольного флота. Своим мощным корпусом он пробивал узкий фарватер в массивном ледовом поле, который буквально через несколько минут полностью забивался глыбами ломаного льда. Поэтому надо было идти сразу же за ним. Это, однако, тоже небезопасно. Стоя на правом крыле мостика во время проводки, я хорошо видел, как из-под мощных винтов ледокола вылетают, бешено вращаясь, гигантские ледяные глыбы и несутся к нам, гонимые кильватерной струей. Один удар такой ледяной чушки – и наш тоненький борт, совершенно не рассчитанный на льды, пробьет насквозь.

Неподалеку от меня в ходовой рубке стоят бледные капитан и рулевой, руки которого судорожно сжимают ручки машинного телеграфа – то «малый вперед», то «стоп». Страшно идти навстречу этим стремительным ледовым глыбам! А с ледокола командир проводки по радио громовым голосом на весь караван прямым российским текстом говорит все, что он думает о самом капитане, о его ближайших родственниках, обо всех, кто с ним на одном борту. «Полный вперед! – гремит его приказ во всех

динамиках. – Ты что, здесь зимовать собрался?» Действительно, всего несколько минут нерешительности – и недолгий фарватер снова заполняется льдом. Ледоколу надо возвращаться и начинать все сначала. А за нашей кормой густо дымят и нетерпеливо сигналят другие суда каравана, которые начинает затирать сходящимися ледяными полями. И идти опасно, и останавливаться нельзя!

В полярной экспедиции мы проводили попутные гидромагнитные и сейсмоакустические работы, а также эхолотный промер. Вольдемара Петровича Смилгу, которого сразу же полюбила наша весьма разношерстная команда, наполовину набранная из алиментщиков и алкашей, списанных с других судов, посадили на вахту на эхолот. К своим служебным обязанностям он относился весьма философски.

Помню, как-то я поднялся в эхолотную во время его вахты и обнаружил, что эхолот выключен, а вахтенного нет. Возмущенный, я помчался вниз и обнаружил Смилгу в его каюте, где он возлежал небритый на сколоченном для него топчане в окружении таких же небритых и неряшливо одетых личностей из команды, благоговейно внимавших его словам. «Так вот, все вы теперь ясно видите, что каждый из нас – всего лишь мышь перед лицом Господа», – услышал я его тихий и как бы потусторонний голос, когда распахивал дверь. «Валька, скотина, ты что же делаешь? – заорал я, ворвавшись в каюту. – Эхолот же стоит. Марш на вахту!» В этот миг я внезапно почувствовал, что какая-то сила, сдавив мне горло воротом моей куртки, отрывает меня от палубы. «Заткнись, сука, – услышал я яростный шепот огромного мотористa, схватившего меня сзади за ворот гигантской волосатой лапищей. – Не мешай – человек мыслит!»

Каюта моя находилась рядом с каютой старшего механика, молодого парня, который заочно учился в каком-то техническом вузе. Смилга, как доктор физ. – мат. наук, взялся готовить его к экзаменам по физике и математике. Поскольку переборка была тонкой и весьма звукопроницаемой, я оказывался невольным свидетелем этих почти ежевечерних занятий. Начинались они, как и полагается, с проверки «домашнего задания», которая длилась, однако, не дольше, чем минут пятнадцать. После этого раздавалось характерное звяканье и бульканье, после чего разговор, заметно оживляясь, обретал тематику, бесконечно далекую как от физики, так и от математики. Когда в Тикси, откуда Смилга вынужден был вылететь в Москву (поскольку его отпуск кончился и ему надо было срочно возвращаться на работу), место репетитора занял другой наш коллега – Саша Иоффе, кандидат физико-математических наук, в прошлом

ученик Смилги, он был немало удивлен, что за месяц ежедневных занятий пройдено так мало.

Капитан наш, Малышев, любил учинять многочисленные учебные тревоги – особенно водяную и противопожарную. Тогда мне это казалось капитанской блажью, но теперь, по здравом размышлении, я полагаю, что он был прав. Смилга, согласно аварийному расписанию, состоял при нем вестовым. По его собственному утверждению, при сигнале тревоги он должен был птицей взлетать на капитанский мостик и «преданно смотреть капитану в глаза», что он исправно и делал. Почему-то однажды во время пожарной тревоги он оказался на корме, где был «условный пожар в районе фекальной цистерны» и куда, согласно расписанию, устремился я с топором в руках. Смилга утверждает, что, увидев мои «безумно выкаченные глаза» и топор в руках, он кинулся бежать от меня, уверенный, что я гонюсь за ним.

Наибольшую славу Смилге в экспедиции, однако, принес шахматный матч. Заняв безусловное первое место в корабельном шахматном турнире, он взялся на пари (в заклад были поставлены две поллитры) играть одновременно партии на двух досках против наиболее сильных шахматистов – капитана и первого помощника. По условиям пари проигравший должен был также влезть под стол в кают-компании, лаять по-собачьи и громко кричать: «Прости, дяденька, я дурак, больше не буду!» Главной особенностью этого необычного турнира было то, что Смилга должен был играть, не глядя на обе шахматные доски, сидя к ним спиной, да еще и с завязанными глазами. Смотреть на этот уникальный турнир собрались все участники экспедиции. Противники Вольдемара Петровича поначалу были почти уверены в своей победе. Однако, к всеобщему удивлению, медленно, но верно, держа в уме расположение фигур на двух досках сразу, Смилга прижимал и того, и другого.

Сначала сдался первый помощник. Капитан еще какое-то время безуспешно пытался свести дело к ничьей, но Смилга, развязавшийся со второй доской, неумолимо принудил и его к сдаче в безнадежном положении. Выполняя суровые условия поединка, капитан безропотно влез под стол и кричал что положено. Перпом же, выставив проигранную водку, лезть под стол отказывался, ссылаясь на то, что он подорвет этим свой партийный авторитет. «Лезь, сука, – заорал, побагровев, уже побывавший под столом капитан, – утоплю!» Пришлось и первому помощнику карабкаться на четвереньках под стол и лаять по-собачьи.

Провожая нас в полярную экспедицию, друзья и приятели наказывали нам привезти в качестве сувенира одну весьма

своеобразную костяную часть тела моржа, которую, как они были уверены, легко можно было обменять на любом стойбище на водку. Нигде, однако, куда бы мы ни заходили, сделать нам этого не удавалось. Помню, как раз в проливе Вилькицкого, во время очередной ледовой проводки, когда мы все стояли, расписанные по водяной тревоге, радист принес мне такую радиограмму от моего приятеля Олега Николаева из Геленджика: «Привет вам Арктике суровой мечтаю получить моржовый». Замерзший и злой, я тут же заскочил в радиорубку и отправил ему ответ: «Пока что нам не до моржа, живем, за собственный дрожа».

Больше всего расстраивался отсутствием моржовых сувениров Смилга, пообещавший непременно привезти хотя бы один такой экспонат в свой Курчатовский институт. Уже на рейде, неподалеку от Тикси, где мы должны были его высаживать, в самый разгар прощальной вечеринки вышедший на палубу Смилга вдруг заметил какого-то любопытного моржа, высунувшего свою усатую морду неподалеку от судна. Вольдемар Петрович немедленно кинулся в каюту, схватил поллитру и выбежал на палубу. Находясь, по-видимому, в состоянии некоторого аффекта, он начал, размахивая руками и показывая бутылку моржу, предлагать ему взаимовыгодный обмен. Заинтересованный морж подплыл уже почти к самому борту. Но тут из морских глубин неожиданно вынырнула его разгневанная подруга. Дав супругу мощный подзатыльник, она решительно увлекла его за собой в глубину, негодующе фыркнув напоследок в сторону Смилги.

Ведомый ледоколами через ледовые поля, изрядно поредевший караван (часть судов отстала в попутных портах из-за аварий, а часть ушла на Обь и на Енисей) упорно двигался на восток. Не по этому ли мрачному маршруту возили когда-то безвинно осужденных на Колыму и Чукотку? Размышляя об этом, я написал песенку «На восток», которая особенно понравилась Смилге. Взяв ее на вооружение на борту нашего судна «Морской-10», он уже не расставался с ней на берегу. Особенно ему понравился припев: «А птицы все на юг, а люди все на юг – мы одни лишь на восток». По уверениям его жены, как только он начинал петь «про птиц», следовало срочно забирать его из-за стола.

Словно вороны, чайки каркают
На пороге злой зимы.
За Печорою – море Карское,
После – устье Колымы.
Мне бы кружечку в руки пенную

Да тараньки тонкий бок…
А птицы все – на юг, а люди все – на юг,
А мы одни лишь – на восток.

Льдина встречная глухо стукнется
За железною стеной.
Острова кругом, как преступники,
Цепью скованы одной.
Лучше с Машкою влез бы в сено я,
Подобрав побольше стог…
А птицы все – на юг, а люди все – на юг,
Мы одни лишь – на восток.

Ох, и дурни мы, ох, и лапти мы,
И куда же это мы?
Море Карское, море Лаптевых,
После – устье Колымы.
Не давайте мне всю вселенную,
Дайте солнце на часок.
А птицы все – на юг, а люди все – на юг,
Мы одни лишь – на восток.

Выйдя в Берингово море, где нам уже не угрожали льды, мы зашли для отдыха и мелкого ремонта в бухту Наталии. Согласно лоции, в этой бухте располагались крабозавод и рыбозавод. Уже войдя в бухту, мы заметили многочисленные костры на берегу. В бинокль можно было разглядеть, что местное население, как оказалось, сплошь состоящее из женщин, радостно приветствует приближение трех наших судов. Как раз в этот момент пришел по радио приказ начальника экспедиции: «Во изменение первого приказа в бухту Наталии не заходить, заходить в бухту Святого Павла. Шлюпок не спускать». Осторожное начальство решило избежать контактов судовых экипажей с вербованными женщинами. Так мы и остались без крабов и без рыбы. По этому поводу была написана грустная песенка про бухту Наталии.

В распадках крутых непротаявший лед —
Зимы отпечатки.
Над бухтой Наталии рыбозавод
У края Камчатки.
Как рыбы, плывут косяки облаков,
Над бухтой клубятся.
Четыреста женщин – и нет мужиков,
Откуда им взяться?

И жаркие зыблются сны до утра
Над бабьей печалью,
Что где-то с добычей идут сейнера
На бухту Наталию.
На склонах во мхах, как огни маяков,
Костры задымятся…
Ведь нету в поселке своих мужиков —
Откуда им взяться?

По судну волна океанская бьет
Сильнее свинчатки.
Над бухтой Наталии рыбозавод
У края Камчатки.
Там гор в океан золотые края
Уходят, не тая.
Прощай, дорогая подруга моя,
Наталья, Наталья!

Уже на последнем этапе перегона, после захода в Петропавловск-Камчатский, где милиция забрала нашего моториста, учинившего пьяную драку в ресторане «Вулкан», когда мы пересекали Охотское море, направляясь к устью Амура, неожиданно пришло штормовое предупреждение. Надвигался осенний тайфун, как обычно носивший одно из нежных женских имен. Деваться нам было некуда. Под защиту берега мы убежать не успевали, так как находились в самой середине моря. В то же время судно наше «река – море» никак не рассчитано было на борьбу с океанскими тайфунами. Оставалось вставать «носом на волну» и ждать своей участи. Ко мне пришел Володя Гринберг, держа в руках заветную поллитровку: «Вот, для дня рождения берег, да боюсь, что не придется. Давай сейчас разопьем, а то жалко, если пропадет».

В довершение всех неприятностей на втором судне такого же типа, следовавшем за нами, отказал двигатель. Надо было брать его на буксир в самый разгар шторма. Был объявлен аврал. Надо сказать, что трехчасовая возня с заводом в шторм буксирного конца (который через полчаса лопнул, и все пришлось начинать сначала), небезопасная и грязная работа на захлестываемой волнами палубе полностью отвлекли нас от печальных и панических мыслей. Еще через два часа починили наконец двигатель на втором судне, и мы благополучно отштормовали, пока тайфун не пронесся дальше. Помню, как поразила меня

после этого повесть Георгия Владимова «Три минуты молчания», где описывается аналогичная ситуация: в критическом положении вдруг оказывается, что другому еще хуже и надо срочно ему помочь, забываешь на время о своей беде, и становится легче.

По возвращении в Москву осенью 72-го мне снова пришлось приступить к постылым бумажным делам в Координационном центре. Помню, как раз в это время в Москве состоялось совещание руководителей морских институтов стран-членов Совета экономической взаимопомощи. Мне было поручено встречать и опекать представителя ГДР доктора Оскара Мильке – высокого и статного арийца с голубыми глазами и густыми, слегка тронутыми сединой волосами. На банкете, посвященном окончанию совещания, который состоялся в столовой Дома ученых на Кропоткинской, мы оказались с ним за столом рядом.

Во главе стола сидел замдиректора, пожилой вальяжный красавец Андрей Аркадьевич Аксенов, время от времени провозглашавший разного рода официальные тосты. Мы же с доктором Мильке сидели довольно далеко, и надо было как-то общаться. Общение это было несколько затруднено тем, что ни по-русски, ни по-английски уважаемый доктор как будто не понимал, а мои познания в немецком языке, который я учил когда-то в школе, ограничивались фразой из учебника пятого класса «Анна унд Марта баден». Тем не менее, по мере роста числа тостов, провозглашенных Аксеновым, языковой барьер понемногу начал разрушаться.

Я попал за банкетный стол прямо с работы, голодный. Поэтому, когда подали бифштекс, по извечной своей привычке совершенно автоматически съел сначала гарнир, оставив мясо «для кайфа» на потом. Вдруг я заметил, что доктор Мильке с удивлением смотрит на мои действия и спрашивает: «Варум?» На обломках немецкого, английского и русского языков я начал объяснять ему, что я ленинградец, что детство мое пришлось на голодные военные годы и что поэтому мясо для меня на всю жизнь – деликатес, который я оставляю на потом. Он, видимо, отлично все понял. Наполнив не рюмки, а фужеры водкой из новой бутылки, он вдруг хлопнул меня по плечу со всей арийской мощью и радостно закричал на весь стол, явно передразнивая мои беспомощные англо-немецко-русские слова: «Ин зис кейс вир зинд бразерс дас ист фюр руссише – земляки». «Потому что, – продолжил он уже на русском языке, – я как раз есть воевал Ленинградский фронт!»

Переезд в Москву осложнил и мои литературные дела. В конце 71-го года в Ленинграде, в издательстве «Лениздат», вышла вторая книжка моих стихов, «Новая Голландия», во многом

благодаря помощи и поддержке Нины Александровны Чечулиной, работавшей тогда редактором в отделе поэзии. В начале 72-го года я сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись третьей книжки. К этому времени я снова подал документы на прием в Союз писателей.

Помню, как давший мне рекомендацию известный ленинградский поэт Вадим Шефнер сказал, горестно вздохнув: «Саша, у вас плохие рекомендации. С такими рекомендациями в Союз могут не принять». – «Почему?» – удивился я. «Ну, как же – рекомендации трех евреев». – «Почему трех?» – «Всех трех, – продолжал Шефнер, – Слуцкий, Самойлов и я». – «Но ведь вы же – не еврей!» – «Да, да, конечно, – я швед. Но кто это знает? Фамилия-то – Шефнер». Светловолосый и голубоглазый Вадим Сергеевич Шефнер вел свой род от шведского полковника, взятого когда-то в плен в битве под Полтавой. Дед Вадима Сергеевича – Алексей Карлович Шефнер, командуя транспортом «Маньчжур», стал участником основания Владивостока. В 1860 году с этого транспорта в бухте Золотой Рог был высажен отряд солдат во главе с прапорщиком Комаровым, основавший порт. Имя Шефнера носит северный входной мыс в бухту Находка. Сам Вадим Сергеевич еще в 1967 году, когда в Ленинграде вышла первая книжечка моих стихов и песен «Атланты», написал о ней весьма сочувственную заметку в «Ленинградской правде», чем немало поддержал меня.

В Союз писателей меня все-таки приняли осенью 72-го года, уже после переезда в Москву. В связи с этим меня вызвал к себе генерал КГБ В.Н. Ильин, возглавлявший тогда московскую писательскую организацию, и предупредил, что меня поставят здесь на учет только в том случае, если дам подписку, что никаких жилищных претензий к московской писательской организации я иметь не буду. «Мы вас сюда не звали и жилье вам давать не обязаны», – заявил он.

ЦДЛ. Сложный круг воспоминаний связывает меня с этой короткой трехбуквенной аббревиатурой, практически никогда не требовавшей расшифровки и разворота в несклепистое и малопонятное название Центральный дом литераторов. Каких литераторов? Оказывается, только тех, кто мог предъявить при входе членский билет Союза писателей СССР, ярко-красную (чтобы не усомнились в партийной принадлежности) книжицу с золотым орденом Ленина, напоминающую гэбэшное удостоверение. Значит, и не литераторов это дом, а только тех, кто «в законе» – членов ССП. Совсем другое дело ЦДЛ – символ бурной и таинственной литературной жизни 60-х годов, подлинный ее центр, манивший нас, провинциальных питерских

юнцов, своей недоступностью.

Помню отчетливо, хотя прошло немало лет, как был потрясен я, робкий неофит, обманным путем с большими сложностями проведенный в первый раз в шумное, витающее в густых облаках табачного дыма кафе с цветными стенами, исписанными многочисленными шаржами и автографами литературных знаменитостей. Какими небожителями казались мне вальяжно сидевшие за столиками этой современной «Бродячей собаки» ее законные обитатели, как жадно вдыхал я губительный и нетрезвый воздух «истинной поэзии». Тщеславное сознание своей пусть случайной и недолгой причастности к этому недоступному для простых смертных храму литературы кружило голову и застилало глаза, перед которыми на низкой сводчатой стене чернела надпись: «Здесь однажды ел тушенку и увидел Евтушенку».

И как не закружиться голове? Живые (тогда еще живые) классики, известные до этого только по портретам, сидели совсем рядом и под звон рюмок обсуждали свои таинственные литературные дела. В те годы первый этаж Цэдээла, духовным центром которого оставались кафе и ресторан, на самом деле был постоянно действующим литературным клубом. Его завсегдатаи как бы поселились здесь на многие годы, сбежав от семейных неурядиц и домашнего неустройства. Здесь обсуждали стихи и прозу, заключали и расторгали договора, сколачивали и развивали коалиции, женились и разводились.

Многие знаменитые, но, как правило, безденежные посетители, такие, например, как Светлов или Самойлов, пользовались в ресторане неограниченным питейным кредитом. За столики садились только «к своим», не смешиваясь с «чужими». Это разделение по столикам и компаниям задолго до нынешних баталий заложило основы неизбежного раскола писательского союза.

А сколько доносов было рождено здесь из пьяной откровенности подвыпивших собеседников и собственных проницательных домыслов! Никак не меньше, чем стихов или рассказов. Поговаривали, что многие столики в ресторане оборудованы подслушивающими устройствами, однако я в этом сомневаюсь – гораздо дешевле и эффективней было использовать обширный штат литературных стукачей, буквально наводнявших эти стены. Если опубликовать подробности многолетней работы тайной службы ЦДЛ, это могло бы стать основой целой серии остросюжетных детективов.

На фоне бесшабашной с виду и драматичной по существу цэдээловской жизни возникали и ломались чьи-то литературные,

и не только литературные, судьбы. Достаточно вспомнить трагическую гибель талантливого поэта Юрия Смирнова, выброшенного за двери как якобы пьяного во время сердечного приступа и замерзшего на решетке запертого выхода на улице Воровского.

С цэдээловским рестораном связано немало баек и легенд, в том числе и смешных. Ныне покойный писатель Борис Ласкин рассказывал мне, как в начале 80-х он зашел днем в ресторан пообедать. Народу было немного, но в углу за большим столом гуляла какая-то компания, оглашая высокие резные стены зала весьма затейливой неформальной лексикой (как выяснилось позднее, друзья провожали за рубеж Юза Алешковского). Некоторое время Ласкин пытался не обращать на них внимания, но, когда лексика стала уж слишком неформальной и громкой, позвал метрдотеля и сказал: «Послушайте, что происходит? Я, писатель Ласкин, пришел в свой клуб отдохнуть и пообедать после напряженной творческой работы. Я устал, почему я должен терпеть этот пьяный мат?» Мэтр подошел к разгулявшейся компании и пытался их урезонить. Как только он удалился, из-за веселого стола выскочил Юз Алешковский и нетвердыми мелкими шажками засеменил к столику Ласкина. Подойдя к нему вплотную, он оказался ростом ниже, чем сидящий гигант Ласкин, служивший когда-то в кавалерии. Это, однако, Алешковского нисколько не смутило. Он долго, засунув руки в карманы, раскачивался, глядя на Ласкина белыми от презрения глазами, и наконец произнес с издевкой: «И что это ты такое написал, что ты так устал?»

Что касается второго этажа с его зрительным залом, то он связан для меня прежде всего с поэтическими выступлениями Тарковского, Окуджавы, но более всего с авторскими вечерами любимого мною Давида Самойлова, на которые собиралась, кажется, вся Москва. Его неповторимый глуховатый, но иногда неожиданно звонкий голос, по-пушкински прозрачные строки, насыщенные музыкальной гармонией, создавали удивительное силовое поле, завораживающее слушателей. Каждый его вечер в ЦДЛ превращался в настоящий поэтический праздник, столь редкий в этом зале, помнившем и всеобщее верноподданное поношение Пастернака, и погромные речи Асташвили.

Тогда, в начале 70-х, мы с женой пристрастились постоянно ходить на вечера в мемориальный Музей А.С. Пушкина на Кропоткинской улице и в мемориальный Музей А.И. Герцена на Сивцевом Вражке, благо оба эти музея были недалеко от нашего дома. В те годы Музеем А.С. Пушкина на Кропоткинской руководил Александр Зиновьевич Крейн. Вместе со своим

заместителем Анной Соломоновной Фрумкиной он организовал регулярный цикл литературных вечеров и научных чтений, так или иначе связанных с пушкинской тематикой. Здесь выступали с докладами Натан Эйдельман, Валентин Непомнящий, Вадим Вацура и другие ведущие пушкинисты. Читали Пушкина многочисленные актеры – Дмитрий Журавлев, Яков Смоленский, Александр Кутепов, Михаил Козаков, Василий Лановой, Антонина Кузнецова и другие. Устраивались также музыкальные вечера и авторские вечера Давида Самойлова и других поэтов. Небольшой зал в ветхом старом московском особняке, рассчитанный человек на сто – не более, как правило, набивался битком, что вызывало постоянную тревогу Крейна и пожарных. За годы здесь сложилась своя постоянная аудитория. На стене маленького зрительного зала, амфитеатром спускавшегося к крошечной сцене, висел большой автопортрет юного Пушкина, нарисованный пером, который освещался прожекторным лучом. Казалось, что светлый образ юного гения постоянно витает над сидящими в зале.

Не успел я переехать в Москву, как в Ленинграде тут же выкинули из планов издательства мою третью книжку. «Вы теперь москвич – вот там и печатайтесь». В Москве меня, однако, никто печатать не собирался. Единственным журналом, взявшим у меня стихи, оказался научно-популярный журнал «Химия и жизнь», бывший в те годы одним из наиболее либеральных и независимых изданий. Молодой и дружный коллектив его редакторов и сотрудников ухитрился превратить его в один из самых читаемых и популярных журналов в плане не только научном, но и литературном, за что позднее поплатился. Несмотря на гонения, в самые черные брежневские времена Владимир Станцо, ставший впоследствии главным редактором журнала и рано ушедший из жизни, Вера Черникова и другие сотрудники сделали этот журнал настоящим оплотом авторской песни. Они упорно печатали подборки стихов и песен молодых авторов, организовывали их выступления у себя в редакции и во время поездок по стране.

Хождение по другим редакциям в ту пору не принесло мне ничего, кроме унижений и гадкого чувства устойчивого отвращения к себе и своим жалким стихам. Лучом света в этом темном царстве оказалась хорошенькая девушка, работавшая тогда в отделе поэзии журнала «Знамя», взявшая у меня пару стихотворений, написанных в арктическом перегонном рейсе, – известный ныне литературовед, критик и публицист Наталья Иванова.

Кстати сказать, за несколько лет до этого я уже побывал в этой редакции в маленьком доме на Тверском бульваре, рядом со знаменитым булгаковским «Массолитом», где ныне помещается

Литинститут. Тогдашний завотделом, хмурый человек с острым астеническим подбородком, похожий на волка, внимательно и неприязненно оглядев меня с ног до головы, достал из стола рукопись моих стихов и песен и с неожиданным раздражением, брезгливо двумя пальцами потряхивая страницы, начал агрессивно кричать о графоманах, лезущих в русскую литературу со своими пошлыми песенками. От крика этого я растерялся и, несмотря на пиетет к журналу и его редактору, выхватил, не дослушав, рукопись и, хлопнув дверью, ушел. «Ты что делаешь?» – догнал меня заходивший со мной вместе мой тогдашний приятель Сергей Артамонов. «Да пошел он… – отмахнулся я. – А что это за тип?» – «Ну как же, – с уважением объяснил Артамонов, – это один из учеников Слуцкого, Станислав Куняев».

Только через полгода после переезда в Москву, когда мои друзья, актеры театра «Современник» Людмила Иванова и Валентин Никулин, познакомили меня с редактором отдела поэзии издательства «Советский писатель» Виктором Сергеевичем Фогельсоном, с именем которого были связаны издания таких поэтов, как Слуцкий, Самойлов и другие, мне удалось отдать в редакцию «Советского писателя» рукопись новой книги. Ей, однако, суждено было пролежать там двенадцать лет. Сам Фогельсон, денно и нощно занятый работой и отягощенный многочисленными рукописями, относился ко мне хотя и снисходительно, но безо всякого энтузиазма. «Может быть, мне пойти на прием к заведующему редакцией?» – робко спрашивал я у него. «К Егору-то? Ни в коем случае, – решительно обрывал он меня. – Во-первых, он Окуджаву терпеть не может, а ты тоже песни пишешь. А во-вторых, он только нос твой увидит и вообще тебя никогда печатать не будет».

Каждый год в течение своей жизни в Москве я, как член московской писательской организации, регулярно получал письменное приглашение сдать стихи в «День поэзии» и исправно, каждый год, отвозил их, как было указано, секретарю объединения поэтов, наивно надеясь хоть раз увидеть их напечатанными. Простодушные надежды эти оказались напрасными. Позднее умные люди объяснили мне, что посылать или отдавать стихи «просто так» – бесполезно. Надо давать их в руки «своим людям» в редколлегии с твердым наказом следить на всех этапах прохождения, чтобы не выкинули. Уровень стихов при этом роли не играет. Несколько избалованный отсталой ленинградской этикой и «художественным цензом», я был изрядно обескуражен этим открытием. Подборки моих стихов в то время по старой памяти продолжали печатать только ленинградские журналы.

Уже в конце 70-х годов, когда моя рукопись давно и безнадежно пылилась в одном из шкафов на третьем этаже издательства «Советский писатель», где помещался отдел русской советской поэзии, кто-то из доброжелателей посоветовал мне отнести новую рукопись стихов в издательство «Современник». Заведующий отделом поэзии, на стол которого я положил папку с рукописью, даже не раскрыл ее. «У вас, – заявил он, – мы стихи для публикаций брать не будем». – «Не имеете права, – возмутился я, – я член Союза». – «Оставляйте, дело ваше, – сказал он скучным голосом. – Все равно толку не будет». Он был прав. Дав рукописи отлежаться положенное время, он позвонил одному из московских поэтов, известному в те поры своими антисемитскими высказываниями. «Саша, – сказал он, – тут надо одного еврея завалить. Нужна крепкая отрицательная рецензия. Возьмешься?» – «Возьмусь, пожалуй, – ответил тот. – А как фамилия?» Услышав фамилию, Саша писать требуемую рецензию все-таки отказался. Не потому, однако, что питал повышенное уважение к моей писанине, а скорее убоявшись, что это станет известно в кругу общих знакомых.

Редактора это нисколько не смутило. Дав рукописи полежать еще, он без труда нашел другого желающего. Интересуясь судьбой своей рукописи и ничего в те поры не зная об активной работе редактора, я попросил было знакомого поэта, написавшего положительную внутреннюю рецензию на рукопись моей книжки в издательстве «Советский писатель», узнать, как обстоят мои дела в «Современнике», и по возможности помочь, взяв стихи на рецензию. «А ты какую рецензию писать собираешься? – ухмыльнулся редактор. – Положительную? Нет, нам это не подойдет».

Наконец уже в январе 1984 года я получил очень вежливое письмо на бланке издательства «Современник»:

«Уважаемый Александр Моисеевич!

Редакция русской советской поэзии направила рукопись Ваших стихов «След в океане» рецензенту издательства члену СП СССР А. Николаеву.

В редакции внимательно познакомились со стихами, содержавшимися в рукописи, и в целом согласились с рецензентом: к сожалению, многие произведения не выдерживают издательского конкурса. Критерии «Современника», предъявляемые им к издающимся книгам, весьма жестки, они еще более возросли после постановлений Ноябрьского и Июньского пленумов ЦК КПСС.

Возвращаем Вам Вашу рукопись «След в океане» с рецензией А. Николаева и редакторским заключением.

С уважением, заведующий редакцией русской советской поэзии Л. Дубаев».

Именно в 70-е годы, практически лишенный возможности печатать свои стихи и песни, испытывая острую необходимость в постоянном контакте с аудиторией, я начал чаще выступать с песнями и стихами. Здесь, в связи с переездом в Москву, тоже возникли некоторые проблемы.

Не научившись смолоду играть на гитаре, я все годы постоянно испытывал трудности с аккомпанементом. В Ленинграде в последние годы мне довольно успешно аккомпанировал мой давний друг – исполнитель авторских песен Михаил Кане. В Москве же я оказался без аккомпаниатора. Правда, на самых ответственных концертах мне время от времени помогал своей великолепной гитарой Сергей Никитин, но ведь у него свои выступления! Первые годы после переезда в Москву мне приходилось перебиваться случайной помощью самых разных гитаристов. Одна дама в Питере в то время неодобрительно сказала в мой адрес: «Известно, что в каждом городе Советского Союза у Городницкого по бабе и по аккомпаниатору».

В 1977 году на весеннем слете московского КСП я познакомился с одаренным музыкантом и исполнителем Михаилом Столяром, с которым мне довелось выступать немало лет. Он не только превосходно владел гитарой, но и давал примитивным и часто банальным мелодиям моих песен неожиданную и подчас виртуозную музыкальную аранжировку. Некоторые музыкальные разработки аккомпанемента, сделанные им для таких песен, как, например, «Меж Москвой и Ленинградом», «В городе Понта-Дельгада», «Романс Чарноты» или «Воздухоплавательный парк», как мне кажется, представляют интерес сами по себе. Последние двадцать лет мне помогает своей превосходной гитарой Александр Костромин. Стоя рядом с ним на сцене, я всегда чувствую себя защищенным, несмотря на полное отсутствие у меня вокальных данных.

В начале 70-х годов меня как-то пригласили выступать в Московский педагогический институт имени Крупской. Аудитория сплошь состояла из девиц, весьма, кстати, привлекательных. Роскошного вида ведущая вышла на сцену и торжественно объявила: «Дорогие друзья, у нас в гостях поэт Городецкий». Раздались жидкие хлопки. Что мне было делать? Выйдя на сцену, я сказал: «К сожалению, я должен вас расстроить, – поэт Городецкий умер. Давайте почтим его память вставанием». Все огорченно поднялись со своих мест, полагая, что вечер отменяется. «Садитесь, пожалуйста, – продолжил я. – Дело в том, что умер он, прожив восемьдесят три года, уже стариком.

Был одним из организаторов знаменитого «Цеха поэтов» в начале века, известным акмеистом, современником Блока и Гумилева. А моя фамилия – Городницкий, и я жив». Обрадованная аудитория долго хлопала, и вечер вошел в колею.

В те годы в официальном песенном искусстве безраздельно властвовали пахмутовы, гребенниковы и добронравовы. Про Александру Пахмутову, которая была невелика ростом, рассказывали, что на одном из правительственных банкетов, сидя за высоким столом, она подняла бокал и заявила: «Предлагаю выпить за нашу славную коммунистическую партию! А за партию надо пить стоя». И вдруг исчезла под столом. Оказалось, что она просто встала на ноги.

Большого труда стоило мне, особенно в первый год после переезда, притерпеться к самой Москве после, как оказалось, такого тихого и провинциального Ленинграда. Жили мы в узкой комнатушке, в коммуналке, на седьмом этаже старого дома на улице Вахтангова, где помещалось Щукинское театральное училище, выходившего торцом на шумный Калининский проспект – «вставную челюсть Москвы». Шумный, многолюдный, вечно грохочущий город, в самой середине которого я неожиданно оказался, неотступно тяготил своим постоянным присутствием. Раздражало поначалу решительно все – горбатые и кривые улочки с разношерстными домами, выводящие путника неизвестно куда, и почему-то бегущая сломя голову толпа на улицах, и московский неряшливый говор с мягким «г», и сами хамоватые и шумные москвичи, так непохожие на вежливых и немногословных ленинградцев.

После просторной Невы, Финского залива и многочисленных ленинградских каналов казалось совершенно противоестественным, как такой гигантский город может жить без воды – с одной только грязной и узкой Москвой-рекой. Особенно остро это ощущалось в невыносимо жаркие летние дни, когда в центре города нечем было дышать от бензиновой гари и приходилось искать спасения в жалких, заросших тиной переделкинских прудах или грязных речушках, где воды по пояс. Дело было, однако, не только в этом. К моему удивлению, сам темп работы и жизни в Москве оказался гораздо интенсивнее, нежели в Ленинграде. Немалого труда стоило приспособиться к этому. Ностальгическая печаль грызла меня, почти не отпуская. Не реже раза в месяц я старался под тем или иным предлогом попасть в Ленинград, где уже на перроне Московского вокзала жадно хватал ртом его сырой и дымный канцерогенный воздух. Поистине, «и дым Отечества нам сладок и приятен».

Время, однако, шло, и постепенно, приезжая в родной Питер,

я понемногу начинал замечать то, чего раньше, взглядом изнутри, мне видно не было. Мои земляки-ленинградцы оказались в массе беднее одеты, выглядели хмурыми и замученными, стройные улицы и гранитные набережные – донельзя забитыми грязью и мусором. Любимые с детства гордые фасады дворцов с их осыпавшейся штукатуркой и потрескавшейся старой краской напоминали прохудившуюся одежду промотавшегося дворянина.

Пожалуй, ни в одном другом городе Союза не встречал я таких по-нищенски жалких новостроек, как в Купчине или на Гражданке. С болью признавался себе, что «губернаторская власть – хуже царской». Почти все – наука, литература – за редким лишь исключением, театры, – все ветшало, становилось второсортным, обрастало трудно смываемым налетом российской провинциальности. Оставалась, пожалуй, незыблемой одна великая архитектура, одухотворенная великим прошлым.

В эти годы трудного привыкания к Москве, когда не слишком ладились дела на работе, не писались и не печатались стихи, единственной отдушиной, помогавшей жить, были наши друзья и знакомые. В дом наш, находившийся неподалеку от Центрального дома литераторов, да и вообще в самом центре Москвы, почти каждый вечер забредали какие-нибудь гости, не оставляя ни времени, ни места для печальных размышлений. «Макромир – ужасен, но микромир – прекрасен», – как любил говаривать Натан Эйдельман.

В тесной нашей комнатушке пересекались три круга приятельского общения. К первому относились друзья и знакомые, объединенные домом поэта Давида Самойлова в Опалихе – от Фазиля Искандера, бывшего вместе с Самойловым свидетелями при моей второй женитьбе, и Лидии и Эдуарда Графовых до Володи Лукина, нынешнего уполномоченного по правам человека в России. Второй круг состоял в основном из питомцев 110-й школы, друзей и однокашников Игоря Белоусова. Больше всего мы подружились с тремя его близкими друзьями – уже упомянутыми Валей Смилгой, Натаном Эйдельманом и Юлием Крелиным. Третий круг, пересекавшийся с первым и вторым, формировался из «поющих» приятелей – Виктора Берковского, Сергея и Татьяны Никитиных, Юры Визбора и других бардов.

При этом был еще четвертый круг, связанный с домом писательницы Лидии Борисовны Либединской. Мое знакомство и последующая многолетняя дружба с Лидией Борисовной Либединской начались в далеком 1963 году. С квартирой Либединской в старом писательском доме в Лаврушинском переулке напротив Третьяковской галереи и с ее дачей в

Переделкине связаны для меня воспоминания о многих незаурядных людях, бывавших там. В ее гостеприимном доме перебывало, перегостевало не одно поколение замечательных писателей, поэтов, художников и артистов – от Михаила Светлова, Даниила Гранина и художника Иосифа Игина, оставившего замечательную галерею портретов-шаржей, прежде всего своего друга – Светлова, до Александра Иванова и чтецов Александра Кутепова и Якова Смоленского. Не рискую писать об этом подробно, поскольку сама Лидия Борисовна гораздо лучше меня написала о своих гостях в книге «Зеленая лампа» и других книгах. Замечу только, что сама она многие годы обладала удивительным талантом притяжения к себе самых разных незаурядных людей, собиравшихся за ее столом. Не случайно у нее в доме хранится скатерть с автографами, отразившими целую эпоху нашей литературы.

Традиционные застолья в этом доме, приуроченные к Новому году, Пасхе и другим праздникам, всегда носили торжественный, почти ритуальный характер. Хозяйка неизменно величественно сидела во главе стола, места за которым, по степени близости к ней, распределялись не менее строго, чем в боярской думе. Дом этот многие годы был не просто литературным салоном, а центральным культурным московским клубом. Наряду со взрослыми, регулярно устраивались и шумные детские праздники с кукольными спектаклями, фантами и обязательными подарками.

Сама Лидия Борисовна, приходящаяся внучатой племянницей Льву Николаевичу Толстому, вместе с безусловным литературным талантом и голубой дворянской кровью унаследовала еще и решительный нордический характер, который время от времени проявлялся в самых разных ситуациях. Однажды она побила сумочкой милицейского чина, пытавшегося не пустить ее на Новодевичье кладбище, где похоронен ее муж – классик советской литературы Юрий Николаевич Либединский. Скандал с трудом удалось замять благодаря активному вмешательству одного из секретарей Союза писателей, генерала КГБ Ильина, благоволившего к Лидии Борисовне.

В другой раз в ресторане ЦДЛ в обеденное время к ней подошел упомянутый выше Станислав Куняев, ставший к тому времени одним из признанных лидеров литературной «черной сотни» и главным редактором журнала «Наш современник». «Лидия Борисовна, – обратился он к ней, – нам бы надо с вами обязательно поговорить. Мы должны быть вместе, – ведь у вас такие предки!» По свидетельству очевидцев, Либединская, не поворачиваясь к нему и не отрываясь от супа, сказала: «Не о чем

нам с вами говорить. Мои предки таких, как вы, на конюшне пороли».

Стойкость и несгибаемость ее характера в полной мере проявились в драматическом для семьи 1979 году, когда по заведомо сфабрикованному в КГБ «уголовному» делу посадили мужа Таты замечательного поэта Игоря Губермана. Я ездил с ней вместе на судебный процесс в подмосковный Дмитров и хорошо помню, с каким спокойствием и достоинством она держалась, поддерживая измотанного следствием исхудавшего Игоря и подавая наглядный пример всем членам своей многочисленной семьи. Пожалуй, единственный раз выражение ее лица показалось растерянным, когда она пришла в фотоателье сниматься для поездки за рубеж. Фотограф сказал ей: «Слушайте, почему у вас такое испуганное выражение лица? Вы ведь едете туда, а не оттуда».

Позднее мне довелось прогуливаться вместе с Лидией Борисовной по старым кварталам Иерусалима, где она подолгу гостила у своих дочерей и внуков, главным образом в доме Игоря и Таты, и я видел, как окружали ее кидавшиеся к ней наперебой арабские торговцы, сразу распознававшие в ней серьезного клиента. «Теща перемещается по Иерусалиму со средней скоростью пятьдесят шекелей в час», – шутил Игорь.

Литературным центром на долгие года стала и дача Лидии Борисовны в Переделкине. Помню, Анатолий Рыбаков впервые читал там отрывки из глав еще не завершенных «Детей Арбата». Там читали свои стихи Давид Самойлов, Александр Межиров и многие другие поэты. В конце 60-х годов, когда я, еще живя в Ленинграде, приезжал в Москву в командировки, мне нередко предоставлялось убежище на этой даче. Особенно запомнилась мне ранняя весна в еще по-зимнему пустом Переделкине в 1969 году. Тогда художник Иосиф Игин готовил к изданию книгу рисунков «Улыбка Светлова», и вся дача была завешана шаржами на Светлова.

Позабудьте свои городские привычки, —
В шуме улиц капель не слышна.
Отложите дела – и скорей к электричке:
В Переделкино входит весна.
Там зеленые воды в канавах проснулись,
Снег последний к оврагам приник.
На фанерных дощечках названия улиц —
Как заглавия давние книг.

Здесь, тропинкой бредя, задеваешь щекою

Паутины беззвучную нить.
И лежит Пастернак над закатным покоем,
И веселая церковь звонит.
А в безлюдных садах и на улицах мглистых
Над дыханием влажной земли
Молча жгут сторожа прошлогодние листья —
Миновавшей весны корабли.

И на даче пустой, где не хочешь, а пей-ка
Непонятные горькие сны,
Заскрипит в темноте под ногами ступенька,
И Светлов подмигнет со стены.
И поверить нельзя невозможности Бога
В ранний час, когда верба красна.
И на заячьих лапках, как в сердце – тревога,
В Переделкино входит весна.

Много сил и внимания отдавала Лидия Борисовна пропаганде русской литературы, постоянно участвуя в писательских поездках по Союзу от Калининграда до Владивостока, безотказно выступая в Домах культуры и библиотеках. Без нее не мог обойтись ни один пушкинский праздник в Болдине или Михайловском, толстовский в Ясной Поляне и блоковский в Шахматове. Она была самой желанной ведущей на литературных вечерах в ЦДЛ, Пушкинском музее и в Центральном доме работников искусств. Ее появление на сцене в роли ведущей было своеобразной гарантией высокого литературного уровня проводимого мероприятия.

Ушла она из жизни неожиданно и легко, смертью праведницы, – легла с книгой в руках и не проснулась. С ее уходом в 2006 году осиротел не только ее знаменитый дом, но и вся литературная Москва, порвалась связь между поколениями. Зияющая пустота возникла не только в современной, но и в классической русской литературе, полномочным и чрезвычайным послом которой она была в наше сложное время.

Одна из дочерей Либединской, Тата, была давней подругой и однокашницей моей жены Анны. Еще в конце 60-х годов мы познакомили Тату с нашим московским приятелем, уже упомянутым Игорем Губерманом, за которого она вскоре вышла замуж. Знакомство это, насколько помню, состоялось во время совместной поездки для купания на канал имени Москвы, где Игорь на глазах Таты самоотверженно кидался в воду со всех бетонных конструкций на берегу, нисколько не стесняясь своего

купального костюма, преобразованного с помощью английских булавок в плавки из обычных трусов. Об Игоре, ставшем теперь известным поэтом, надо рассказать отдельно.

Впервые я встретился с Игорем Губерманом осенью 62-го года в квартире общих знакомых, в огромном доме на Большой Бронной улице, где жила со своим мужем переводчица Галя Андреева, наша давняя приятельница. Некрасивое на первый взгляд лицо Игоря, с крупным изогнутым носом и ярко выраженными семитскими чертами, уже через полчаса общения с его обладателем казалось обаятельным и прекрасным. Завораживающие, постоянно чему-то смеющиеся глаза, не признающая никаких преград контактность и шутливый, независимо от степени серьезности или даже трагизма темы, стиль разговора сразу же подкупали любого собеседника. О собеседницах нечего и говорить. Однако более всего при первом же знакомстве поразили меня стихи Игоря – короткие, ни на что не похожие, шуточные, как поначалу мне показалось, четверостишия или восьмистишия. Выяснилось, что некоторые из них я уже слышал раньше, но думал, что они «народные». Например, такие:

Из комсомольского актива
Ушел в пассив еще один —
В кармане для презерватива
Теперь ношу валокордин.

Так я впервые познакомился с его стихами…

Сам Игорь любит вспоминать о том, что свои знаменитые четверостишия он якобы начал писать всерьез в середине 60-х в Ленинграде, гостя в моем тогдашнем доме на проспекте Космонавтов. Семейство мое жило на даче. Игорь с утра до поздней ночи мотался по друзьям и знакомым, где часто оставался и на ночлег. Поэтому мы с ним переписывались короткими стихотворными записками. Уходя утром на работу, я, например, оставлял ему такое послание:

Подожди меня с работы.
В доме есть паштет и шпроты.
Весь коньяк не выпей сам —
Я вернусь к восьми часам.

Вернувшись к указанному времени, я не застал Игоря, но в ответ на мою записку он оставил сразу четыре. Первая была

подсунута под открытую мною для него банку шпрот:

Взмахнула смерть бесшумным взмахом крыл —
Сальери шпроты Моцарту открыл.

Вторая обнаружилась под пустой банкой из-под паштета:

Милый Саша, тет-а-тет, —
На фига тебе паштет?

Третья была прижата к подоконнику опустошенной бутылкой коньяка:

Мне надоело в Ленинграде.
Хочу к жене, устал от б…
Хозяин, половой маньяк,
Задернув шторы, пьет коньяк.

Наконец, четвертая лежала на тахте:

Поваливши на лежанку,
Здесь еврей имел славянку.
Днем подобные славянки
Для арабов строят танки.

Стихи эти и шутки вполне соответствовали духу наших тогдашних развлечений. Весьма характерен в этом отношении диалог, который нередко цитировал Игорь, вспоминая те времена. Дело в том, что Губерман тогда собирал в Ленинграде материал для своей научно-популярной книги «Чудеса и трагедии черного ящика», в связи с чем постоянно навещал разных ученых, у некоторых из которых, ввиду своей уникальной контактности, нередко оставался ночевать после изрядного застолья. Наутро с одним из них, в состоянии клинического похмелья, состоялся якобы такой разговор. «Скажите, коллега, – обратился Игорь к хозяину, осторожно вглядываясь в его измученное лицо. – Что бы вы сейчас предпочли – хорошую девочку или двести граммов водки?» – «Простите, коллега, – ответил хозяин. – Могу ли я быть с вами вполне откровенным?» – «Конечно», – вежливо улыбнулся Игорь. «Тогда хотя бы – сто пятьдесят».

Если же говорить серьезно, то поэзия Игоря Губермана – явление во многом уникальное. В его емких четверостишиях,

которые он сам называет «дацзыбао», удивительным образом сочетаются лаконизм японской танки, трагически-веселое Зазеркалье обэриутов и афористичная сочность русской частушки.

Стихотворчество для него прежде всего игра, скоморошина, где под веселой, нарочито смеющейся личиной можно спрятать умное и горькое лицо. Традиция эта «горьким словом моим посмеюся», ставшая классической в отечественной прозе – от Гоголя до Зощенко и нашедшая яркое отображение в авторской песне 60-х годов – от Галича до Высоцкого и Кима, достаточно редко появлялась в поэзии со времен Козьмы Пруткова и разгромленных Сталиным обэриутов.

Далеко не каждый человек обладает чувством юмора. Стихи Губермана могут служить своеобразным тестом, разделяющим людей на две противоположные категории.

Возможно, именно поэтому острые, легко запоминающиеся четверостишия практически не оставляют читателей или слушателей равнодушными – или их активно принимают, или так же активно не принимают. Помню, как более двадцати лет назад один из лучших наших поэтов, Давид Самойлов, бывший фронтовик и человек весьма смелый, выгнал Игоря со своего поэтического семинара, расценив прочитанные им стихи как провокацию. Этому немало способствовал присутствовавший на семинаре знаменитый диссидент и литератор Анатолий Якобсон, который, услышав первое же прочитанное Игорем четверостишие, закричал: «Давид Самуилович, гоните его в шею, – это провокатор!» Справедливости ради следует сказать, что именно Давид Самойлов прописал потом опального Игоря Губермана в своем доме в Пярну после его возвращения из заключения в начале 80-х годов.

Родившись в Москве в 1936 году и закончив технический вуз, Игорь Губерман сменил много профессий – от журналиста до химика-электрика. Он автор нескольких научно-популярных книг, получивших известность в 70-е годы. Но, пожалуй, главным в его литературном творчестве были и остаются эти самые «дацзыбао», которые он с необычайной легкостью придумывал всегда и везде. Много лет он разбрасывал их вокруг себя, дарил близким и полузнакомым людям, совершенно не заботясь о дальнейшей судьбе и даже просто сохранности своих стихов и вряд ли видя в них предмет серьезной литературы. Эти короткие, смешные и едкие четверостишия, постоянно сопровождая автора в его нелегком жизненном пути и чем-то заменяя ему дневник, давали вполне реальную психологическую возможность не принимать всерьез окружающий уродливый социальный мир, где

властвовали человеконенавистнические и откровенно лживые законы.

Шутовской колпак с бубенчиками, чей звон иногда оказывался погребальным, по самим условиям этой придуманной им игры, позволял выламываться из жестких рамок унылой и фальшивой действительности «страны развитого социализма».

У меня до сих пор лежит на полке его упомянутая выше научно-популярная книга «Чудеса и трагедии Черного ящика», сплошь исписанная от руки его четверостишиями. Такими, например:

Я государство вижу статуей —
Большой мужчина, полный властности.
Под фиговым листочком спрятан
Огромный орган безопасности.

Или:

Вожди милее нам втройне,
Когда они уже в стене.

Или:

За все на еврея найдется судья —
За живость, за ум, за сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя,
За то, что она промахнулась.

Игра эта, однако, оказалась далеко не безопасной. Не будучи нигде напечатаны, его стихи ходили в списках или в изустном переложении по всей нашей огромной стране в течение «застойных» лет – как своеобразное проявление современного фольклора. Мне, например, в 70-е годы неоднократно читали самые разные «дацзыбао» Игоря то в Киеве, то в Челябинске, то в Петропавловске-Камчатском. Острая и беспощадная политическая сатира его легко запоминающихся строк не могла не обратить на себя самое пристальное внимание «литературоведов в штатском». Не об этом ли написал он сам в своих насмешливо-трагических строчках?

От Павлика Морозова внучат
Повсюду народилось без него, —

Вокруг меня ровесники стучат —
Один на всех, и все на одного.

Характерной особенностью стихов Игоря Губермана, вызвавшей особенно резкую реакцию всех охранительных учреждений, явилось то, что в них впервые получило свой голос русское еврейство, еще с послевоенного времени и «дела врачей» обреченное на вынужденное молчание. Утвержденный еще Сталиным государственный антисемитизм, хотя, конечно, и ханжески отрицаемый властями, начало которому было положено печально известной борьбой с «космополитами», особо пышным цветом расцвел в годы брежневского правления. Если раньше били «космополитов», то теперь «сионистов», понимая под этими терминами, придуманными для «отмазки» от западной прессы, все тех же евреев. Именно эта многолетняя пропаганда, нагнетавшая истерию «борьбы с сионизмом», создала реальную базу для разнузданного параноического антисемитизма организаций типа «РНЕ» и их «литературных» вдохновителей. Не об этом ли писал Губерман в одном из своих пророческих четверостиший:

Дух старый, но свежеприлипчивый,
Когда воцарится везде,
То красный, сходя на коричневый,
Обяжет нас к желтой звезде.

Или:

Царь-колокол не звонит поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети!
И ясно, что евреи виноваты, —
Осталось только летопись найти!

Еще в конце 60-х, наблюдая начало эмиграции евреев из страны, он с горечью написал:

Евреи продолжают разъезжаться
Под свист и улюлюканье народа,
И скоро вся семья цветущих наций
Останется семьею без урода.

И все-таки при всем том стихи Игоря Губермана – явление прежде всего российской поэзии. В строках его, казалось бы, самых саркастических стихов без труда просматривается наивная неистребимая любовь к неласковой своей Родине, невозможность существования вне ее.

Принявший участие в диссидентском движении 70-х годов, Губерман, видимо, отчетливо сознавал, чем рискует. Не зря написал он в то время:

Когда страна – одна семья,
Все по любви живут и ладят.
Скажи мне, кто твой друг, и я
Скажу, когда тебя посадят.

Будучи человеком азартным и страстным, в силу своей неистребимой доброжелательности и контактности, чрезвычайно доверчивый к малознакомым людям, еще и став, на свою беду, при этом собирателем икон, он быстро оказался жертвой сфабрикованного в 1979 году уголовного дела. На самом деле КГБ пытался, оказав давление на Губермана, получить от него показания на известного диссидента, ученого-математика, редактора подпольного журнала «Евреи в СССР» Виктора Браиловского, но Игорь, вопреки чаяниям обрабатывавших его гэбэшников, «не раскололся», за что и поплатился. Стараниями следствия, которое контролировалось КГБ, были найдены два отбывавших наказание уголовника, которые за обещание скостить срок показали, что якобы продавали Губерману заведомо краденые иконы. Я присутствовал на суде в подмосковном городе Дмитрове и видел, как героически вел себя Игорь. Исход суда был предопределен наперед. Игорь получил пять лет лагерей. Выходя из зала суда, он с улыбкой сказал своему расстроенному адвокату: «Спасибо. Вы меня почти убедили в моей невиновности».

И я сказал себе – держись,
Господь суров, но прав:
Нельзя прожить в России жизнь,
В тюрьме не побывав.

Именно в заключении проявились мужественность и стойкость характера Игоря Губермана, столь отличного от его улыбчивого веселого облика. В нечеловечески трудных условиях принудработ и карцеров он ухитрился написать десятки новых

«дацзыбао» (хотя прекрасно сознавал, что будет, если их обнаружат при шмоне) и собрать материал для первой книги автобиографической прозы «Прогулки вокруг барака».

Вот что пишет по этому поводу сам автор в предисловии к одному из зарубежных изданий своих стихов: «Во время следствия, тянувшегося очень долго, ибо расследовать было заведомо нечего, я усердно писал стихи. То же самое делал я, странствуя по этапам из одной тюрьмы в другую, покуда, как замечательно сказано классиком, я приближался к месту своего назначения. Это доставляло мне удовольствие куда большее, чем занятие тем же самым на воле. Только вот хранить эти клочки бумаги было невероятно трудно. Гораздо труднее, чем исписывать. Кроме обязательного обыска при поступлении в каждую тюрьму, а часто и при выезде из них, были еще десятки обысков: плановых, по случаю, по подозрению, по доносу, просто приуроченных к празднику.

Почему именно 8 Марта, 1 Мая и 7 Ноября заключенные особенно опасны, я понять и дознаться так и не сумел, но в праздники нас всех и камеры непременно обыскивали. К этому еще следует добавить обыски в вагонах на этапе. Тем не менее мне удалось сохранить и переправить большую часть написанного в тюрьмах и по дорогам между тюрьмами. Сохранить стихи эти мне хотелось не только из-за естественного для автора заблуждения относительно их качества, но и от яростного желания доказать, что никогда и никому не удастся довести человека до заданного состояния опущенности, безволия, апатии и покорного прозябания в дозволенных рамках. Очень многие, часто совсем неожиданные люди помогали мне, никогда не спрашивая, что они прячут».

Отбыв срок наказания и вернувшись в Москву в 1984 году, Игорь Губерман пытался вновь заняться литературным трудом, писал сценарии научно-популярных фильмов, начал работу над книгой прозы о семье художника Бруни. Въезд в Москву для него был воспрещен, и он жил в Малоярославце, на «сто первом километре», по поводу чего написал «шуточные» стихи:

> За городом такая красота!
> На воздухе я счастлив беспредельно:
> Сбылась моя давнишняя мечта —
> Любить свою семью и жить отдельно.

Длилось это, однако, недолго. Время от времени ему неизменно напоминали, что он «под колпаком». А через три года его вызвали и объявили, что Министерство внутренних дел

приняло решение о его выезде. Вновь, уже в который раз, сработала тупая и неумолимая машина, выбрасывающая российских литераторов за рубеж.

Теперь Игорь Губерман живет в Израиле.

Живется ему там по-разному, о чем подробнее будет рассказано ниже. Не без грусти написал он мне в одном из писем:

Варясь в густой еврейской каше,
Я остаюсь угрюм и тих.
Кругом кишат сплошные наши,
Но мало подлинно своих.

Прочитав эти строки, я вдруг вспомнил, как в конце 60-х в моем родном Питере, где-то на Таврической улице, около двенадцати ночи Игорь, выйдя вместе со мной из гостей, прыгал по тротуару на одной ноге, громко распевая песню:

Норильск не порт и не курорт —
Это лагерь, стеной огороженный.
Там бьют жидов у кромки льдов,
А потом заедают мороженым.

Пение это внезапно было прервано милицейским свистом. Подошедший постовой потребовал от нас штраф за то, что мы нарушаем покой граждан после нуля часов, но, услышав, что речь идет о жидах, сказал: «Ладно, пойте, только потихоньку». Наши лица он в темноте не разглядел.

В последние годы у Губермана за рубежом и в России вышло немало книг стихов и прозы, из которой наиболее интересной представляется уже упомянутая книга «Прогулки вокруг барака», поражающая трагизмом своей жестокой документальности и неистребимым оптимизмом автора.

И хотя Игорь теперь – гражданин Израиля, его лучшие стихи остались в России. Чаще всего как безымянный народный фольклор, без имени их автора. Грустные и смешные, добрые и непримиримые, полные горьких раздумий и жизнелюбия, они могут жить подлинной жизнью только внутри российской действительности, их породившей.

Что же касается его романа, посвященного жизни и мученической смерти художника и поэта Николая Александровича Бруни, «Штрихи к портрету», то роман этот, так же как и повесть «Прогулки вокруг барака», во многом автобиографичен. Написан он уже в начале 80-х годов, после

возвращения Игоря из лагерей и сибирской ссылки. В одном из героев романа, писателе Илье Рубине, собирающем материал для книги о Николае Бруни, расстрелянном в лагере в Ухте в конце 30-х годов, без труда угадываются черты автора. Не говоря уже о знаменитых «дацзыбао», которые сочиняет и щедро читает Рубин.

Повествование охватывает все поколения узников – от первых соловецких лагерей до середины 80-х, от последних тщательно уничтожаемых представителей русской дворянской интеллигенции, к которой принадлежал сам Николай Бруни, до убитого гэбэшниками в парадном психиатра из сегодняшних дней, разоблачавшего преступления советской психиатрии. Написанная в начале 80-х, когда многие ужасающие факты лагерной жизни еще не были широко известны, книга Губермана не потеряла со временем своего фактологического и литературного интереса, даже после знаменитых «Колымских рассказов» Варлама Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына. В романе исподволь просматривается неистребимая жизнерадостность автора, дающая усмешливую окраску, казалось бы, безысходно трагическим сюжетам. Именно эта тональность – смех через трагическую маску – так же отличает от других Губермана-прозаика, как и Губермана-поэта.

Летом 1973 года в Коктебеле мне довелось познакомиться с вдовой Максимилиана Волошина – Марией Степановной, незадолго до ее смерти. Мы с ней несколько раз поднимались на гору к могиле Волошина, и она рассказывала еще не опубликованные в те годы истории о его несостоявшейся дуэли с Гумилевым, о письме, которое он написал во врангелевскую контрразведку, чтобы вызволить арестованного Мандельштама. По просьбе благоволившей ко мне Марии Степановны мне даже посчастливилось петь свои песни в высокой мастерской Волошина для небольшого круга пожилых людей, еще помнивших недолгий Серебряный век российской поэзии. При этом на гитаре мне аккомпанировал Виктор Фогельсон.

Помнится, тем же летом поэт Юрий Ряшенцев познакомил меня с заместителем директора Центрального дома работников искусств Петром Семеновичем Фрединым, невысоким бодрым старичком с густым бобриком коротко стриженных седых волос и энергичной походкой. Выяснилось, что Петр Семенович, которому в то время исполнилось уже восемьдесят четыре года, – личность в известной степени легендарная. Еще до революции он был одним из известнейших одесских шансонье, пел на свадьбе у Бени Крика («Ну, таки, не у Бени Крика, а у Мойши Япончика, но вы ведь понимаете, что это одно и то же лицо!»), вел дружбу с Ядовым, автором знаменитой «Мурки», и был всеобщим

любимцем одесситов. Юра представил меня ему как одного из ведущих современных бардов. «Это вот вы один из тех, которые современные? – прищурившись, спросил Петр Семенович, скептически оглядев меня. – Что, они все такие же паршивенькие? Нет, нет, молодой человек, вы, пожалуйста, не обижайтесь, я думаю, что вы не хуже тех, других, которых я не видел. Но ведь, если разобраться, что вы можете? Вас что, кто-нибудь знает или любит? Вас уважает кто-нибудь, как уважали меня в старое время? Думаю, что нет. Вот когда я в Одессе ехал со свадьбы Бени Крика, то меня везли на фаэтоне с зажженными фонарями, а на подножках слева и справа стояли налетчики в черных масках и с «наганами», чтобы меня, не дай бог, никто не обидел. Так меня уважали, потому что я был народный певец. Вы можете на это пожаловаться?»

Я упрашивал Петра Семеновича спеть что-нибудь из своего репертуара. Он долго отнекивался, но наконец сдался и спел пару своих старых песен. Одна из песен была посвящена любовной теме. Автор описывал свою любовь к весьма толстой даме, с которой у него ничего не вышло, а потом он полюбил тощую. На фоне довольно пошлого и банального текста мне в память запали две поистине замечательные строчки:

Целовал без всякой злости
Эти кожи, эти кости.

В конце 30-х Петр Семенович был посажен, как и многие, по ложному доносу и около пятнадцати лет отсидел в Колымских лагерях. Только его несокрушимый оптимизм и твердый характер да оказавшееся богатырским здоровье помогли ему выжить в этих нечеловеческих условиях. «На допросах меня били палкой по голове, – рассказывал он, – и требовали, чтобы я сознался, что я – резидент итальянской разведки. Я сначала никак не мог понять, что такое – резидент. Я думал, что резиденция – это дом такой, дворец, где живет высокий гость. А меня все били и кричали, чтобы я не валял дурака и сознавался. И знаете, у них таки были к тому основания». – «Какие основания? – спросил я. – Вы что, были в Италии?» – «Да нет, конечно, не был». – «Может быть, у вас какие-нибудь родственники в Италии?» – «Не морочьте мне голову, неужели я, по-вашему, похож на человека, у которого могут быть родственники в Италии?» – «Так какие же основания у них были?» – удивился я. «Дело в том, что когда я в двадцать первом году был в Житомире, то целые сутки жил в гостинице с названием «Италия»…

История прижизненной реабилитации Петра Семеновича

была не менее трогательной. «Меня вызвал к себе очень симпатичный молодой полковник КГБ, – улыбаясь, продолжал он свое повествование, – и сказал: «Петр Семенович, выяснилось, что мы зря продержали вас пятнадцать лет в лагерях. Только я очень вас прошу, не держите зла за это на советскую власть». – «И что вы ему ответили?» – «Я ему ответил: «Товарищ полковник, ну как я могу держать зло на советскую власть? При какой другой власти бедный местечковый еврей мог бы стать резидентом итальянской разведки?»

Острова в океане

И вблизи, и вдали – все вода да вода.
Плыть в широтах любых нам, вздыхая о ком-то.
Ах, питомцы Земли, как мы рады, когда
На локаторе вспыхнет мерцающий контур!
Над крутыми волнами в ненастные дни,
И в тропический штиль, и в полярном тумане
Нас своими огнями все манят они,
Острова в океане, острова в океане.

К ночи сменится ветер, наступит прилив.
Мы вернемся на судно для вахт и авралов,
Пару сломанных веток с собой прихватив
И стеклянный рисунок погибших кораллов.
И забудем мы их, как случайный музей,
Как цветное кино на вчерашнем экране, —
Те места, где своих мы теряем друзей, —
Острова в океане, острова в океане.

А за бортом темно. Только россыпь огней
На далеких хребтах, проплывающих мимо.
Так ведется давно – с незапамятных дней.
И останется так до скончания мира.
Не спеши же мне вдруг говорить про любовь —
Между нами нельзя сократить расстояний,
Потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой —
Острова в океане, острова в океане.

Осенью 1973 года мне снова открыли визу в загранрейсы, и началась полоса почти ежегодных океанских экспедиций в самые разные районы Мирового океана. В последующие десять лет мне довелось плавать во всех океанах, высаживаться на берега многочисленных островов от Северной Атлантики до Антарктиды, опускаться на океанское дно в обитаемых подводных аппаратах.

Больше всего мне пришлось ходить в те годы на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев». В 1973–1976 годах мне довелось четырежды побывать в Австралии и дважды – в Новой Зеландии.

Первое же знакомство с Австралией, так непохожей на европейские страны, сразу показывает, что вы попали на другой

материк, почти на другую планету. Все – вверх ногами: жаркий север и холодный юг. Солнце светит с севера. Единственное хищное существо на всем континенте (не считая крокодилов) – дикая собака динго, да и та завезена европейцами. Помню, как поразило нас, когда мы обнаружили, что в городе Сиднее существует пивопровод. Поворачиваешь кран, и прямо в твоем доме из крана течет превосходное пиво! Не забывай только платить по счетчику.

В порту Аделаида нам, как и положено, раздали паспорта перед увольнением. Прибывший на судно советский консул, однако, сказал, что паспорта с собой брать не надо. «Как не надо? – не понял перпом. – А как же я смогу удостоверить, что я – это я?» – «Очень просто – скажете», – улыбнулся консул. Нас, советских людей, страшно поразило, что, оказывается, можно жить без паспортов, и, как выяснилось, довольно неплохо. В Австралии удивляло многое. Удивляли черные страусы эму и кенгуру, свободно разгуливающие в эвкалиптовых парках в пригородах Мельбурна и Аделаиды. Удивила в воскресный день демонстрация женщин в Сиднее, во главе которой две здоровенные девахи несли транспарант: «Свободу лесбийской любви». «У вас что, запрещена лесбийская любовь?» – недоуменно спросил я у нашего австралийского коллеги. «Нет, конечно», – ответил он. «Чего же они требуют в таком случае?» – «Заключения законных браков».

В первое же увольнение в Сиднее мы с моим приятелем Олегом Николаевым, страстным собирателем морских раковин, отправились на роскошный городской пляж с тонким жемчужным песком и, несколько удивленные тем, что никто не купается при такой теплой воде, немедленно бросились в нее. Мы уже доплыли до буйков, когда заметили, что по берегу бежит какой-то человек, который машет нам руками и кричит: «Шакс, шакс!» Оказалось, что купание в этот день настрого запрещено – близко к берегу подошли акулы. Когда до нас дошел смысл его криков, мы изо всех сил устремились к берегу. Надо сказать, что, несмотря на испуг, плыли мы довольно медленно, так как выгребали только одной рукой. Второй каждый оберегал самое дорогое и уязвимое место.

С Олегом Николаевым, напоминавшим обликом известного киноактера Евгения Моргунова, могучим с виду, грузным здоровяком, несколько лет спустя безвременно ушедшим из жизни после мучительной тяжелой болезни, я жил тогда в одной каюте на самой нижней палубе в кормовой части судна, где ютился судовой «пролетариат». Отсек этот назывался «на дне». Олег, имевший явную склонность к выпивке, почти каждый день

придумывал очередные поводы для этого, пока я наконец не взбунтовался, наотрез отказавшись от такой жизни. Тем временем «Дмитрий Менделеев» вплотную подошел к Антарктическому материку, и начались высадки на шлюпках на припайный лед.

Вернувшись на судно после очередной шлюпочной экспедиции, Олег приволок в каюту изумрудно-зеленый, пахнущий свежестью кусок антарктического льда и, накрошив его в литровую банку, начал наливать в нее спирт. «Что ты делаешь? – возмутился я. – Опять пить? Не буду!» – «Саня, – взмолился Олег, – но ведь мы настоящим антарктическим льдом спирт разведем. Такого напитка никто еще не пробовал!» Спорить было бесполезно.

В связи с этим вспоминается история, поведанная мне одним из участников первой советской антарктической экспедиции. На дизель-электроходе «Обь», направлявшемся к берегам Южного полюса, один из участников экспедиции долго и безуспешно ухаживал за одной из судовых девиц, никак не поддававшейся его настойчивым притязаниям. Наконец, когда судно пришло в Антарктиду и научный состав высаживался, он уговорил ее съездить на берег и там неожиданно объявил своей неприступной избраннице, что если она прямо сейчас в наскоро поставленной палатке отдастся ему, то будет первой в истории человечества женщиной, которая занималась любовью в Антарктиде. Это обеспечило ему немедленный успех.

Вернемся, однако, в Австралию. Через два дня, рано утром, я проснулся от запаха цветов, струящегося в открытый иллюминатор. Наше судно медленно втягивалось в бухту порта Хобарт на острове Тасмания. Нигде и никогда более не видел я такой первозданной природы, эндемичного, как у Конан Дойля, мира и счастливых людей, совершенно непричастных к нашим европейским проблемам, не говоря уже, конечно, о российских.

Не меньшее впечатление оставила и Новая Зеландия, небольшая и чистенькая «овечья» страна, благословенные задворки беспокойного мира. Помню, как сокрушалась приехавшая на судно молоденькая жена нашего пресс-атташе: «Я думала, Володя меня действительно за границу везет. А здесь такая скукота – прямо как у нас. Одно название, что Новая Зеландия». В Веллингтоне я неожиданно встретился с собственной песней про Канаду, правда, уже переведенной на английский язык и записанной на пластинку в исполнении джазового трио под названием «Sanset in Kanada».

Местные корреспонденты, побывавшие на «Менделееве», сокрушенно писали, что, судя по всему, в России плохо с белой мукой, так как русские на борту вынуждены питаться черным

хлебом. Одновременно представители советского посольства бережно грузили в свои «Холдены» и «Форды» буханки черняшки, чтобы потом порадовать своих домочадцев…

В том же 74-м году, в 12-м рейсе «Дмитрия Менделеева», я впервые попал в Токио, один из крупнейших городов мира, поразивший меня своей принадлежностью уже, пожалуй, не к XX, а к XXI веку. Я долго вспоминал, где я уже видел этот гигантский мегаполис, рассчитанный не столько на людей, сколько на автомобили, и вдруг узнал его. Видел я его на экране в фильме Андрея Тарковского «Солярис», снятом по фантастической повести Станислава Лема, где изображается город будущего.

В 1976 году, уже в 16-м рейсе «Дмитрия Менделеева», снова заходившего и в Австралию, и Новую Зеландию, мне посчастливилось попасть на острова Тасманова моря Норфолк и Лорд-Хау, а также антарктические острова Кемпбэлл и Маккуори. На острове Маккуори, где живут пингвины и морские слоны, нам не повезло. У самого берега, не защищенного от открытой океанской волны, неожиданно перевернулась резиновая лодка, доставлявшая нас на берег (мотобот не мог подойти к береговым камням вплотную), и мы вместе с руководителем геоморфологов Александром Васильевичем Живаго оказались в воде.

С непостижимой скоростью вскочив на ноги, мы побежали от следующего океанского вала. Бодрость наша подстегивалась тем, что температура воды была около девяти градусов. На берегу нам на помощь пришли австралийские полярники, приложившие все усилия, чтобы не дать нам простудиться. В ответ на их заботы мы пригласили их на судно. Оттуда они уехали уже далеко за полночь, лихо распевая песни, размахивая подаренным им красным флагом и сильно рискуя не отыскать в темноте свой родной остров.

Случались в этом рейсе истории и трагические. На острове Норфолк в первый день нового года, 1 января, неожиданно утонул во время прибрежного купания тридцатидвухлетний моторист с нашего судна Юрий Пересторонин. Мне впервые пришлось наблюдать мрачный и торжественный погребальный обряд морских похорон в открытом океане, при котором, после недолгой прощальной панихиды, тело, зашитое в саван, с привязанным к ногам колосником опускают в море. Теплоход делает прощальный круг с долгим прощальным гудком, и в воду бросают венки.

Помню, перед выходом в 16-й рейс в 1976 году, когда «Дмитрий Менделеев», полностью снаряженный для экспедиции, стоял у причала во Владивостоке, стало известно, что в город каким-то агитпоездом прибыла бригада писателей из Москвы с

Аркадием Стругацким, одним из знаменитых братьев, книгами которых зачитывалось наше, да и не только наше поколение. Поскольку я с ним был знаком, судовая общественность тут же решила с моей помощью привезти его на судно для встречи. Я выяснил, что живет он в гостинице «Владивосток», и, созвонившись, договорился о его приезде на следующий день, благо судно стояло почти напротив.

В указанное время народ собрался в кают-компании, однако писатель не прибыл. Я поехал в гостиницу и с сожалением констатировал, что прибыть он уже не в состоянии, так как с утра его перехватили и напоили. На следующий день я сам с утра поехал за ним. Выяснилось, что на первом этаже гостиницы размещается бар, мимо которого ни один из приехавших писателей пройти утром не способен. Ценой неимоверных усилий мне удалось протащить Аркадия с помощью его друга писателя и переводчика Мариана Ткачева мимо бара к выходу, мотивируя наши действия тем, что в каюте капитана уже накрыт стол.

Вечером того же дня мы вместе со Стругацким должны были выступать во Владивостокском доме ученых. Зал был набит битком. Мы с Аркадием сидели на сцене вместе с устроительницей Евгенией Александровной, женой тогдашнего президента Дальневосточного научного центра Андрея Петровича Капицы. Стругацкого встретили бурными аплодисментами. Как раз было время, когда знаменитые романы братьев Стругацких «Сказка о тройке», «Обитаемый остров» и другие были у нас под запретом и публиковались либо за рубежом, либо в провинциальных журналах по недосмотру местных властей (например, в журнале «Байкал»). Аудитория слушала его, затаив дыхание, пришла масса записок. В одной из них был вопрос: «Уважаемый Аркадий Натанович, где можно прочесть полностью ваш роман «Обитаемый остров»?» – «Как где? – удивился ободренный безусловным успехом и раскрасневшийся Стругацкий. – Журнал «Грани», издательство «Посев», Мюнхен, – очень рекомендую». В зале наступила тишина. Вопросов больше не последовало. Часть людей из первых рядов, боязливо озираясь, начала пробираться к выходу. «Слушай, что ты говоришь? – шепнул я Стругацкому, видя, как занервничала наша ведущая. – Ты что, с ума сошел?» – «А пусть они не задают дурацких вопросов», – с безмятежной улыбкой ответил он.

В последующие годы мне довелось быть в приятельстве с Аркадием Натановичем до самой его безвременной смерти, и я никогда не переставал удивляться его таланту художника и философа, моментально схватывающего и связывающего вместе самые разные стороны мироздания. Его внезапный уход из

жизни – огромная потеря не только для отечественной, но и для мировой литературы. Все называют братьев Стругацких писателями-фантастами, однако они прежде всего художники, воплотившие в условной ситуации фантастических романов то, что не смогли бы опубликовать в реалистической фабуле. В этом они сродни Брэдбери и Кларку или, например, Окуджаве, который вряд ли может считаться «историческим писателем». Просто их герои вынуждены перемещаться во времени назад или вперед. Отсюда и острая социальная актуальность их романов в нашей чуткой к любой крамоле читательской аудитории, и гонения на них.

Жил Аркадий неподалеку от меня на Юго-Западе, напротив магазина «Польская мода» и странного вида пивного бара «Ракушка», унылого сооружения из грязно-серого, распавшегося на блоки бетона, более напоминающего бомбоубежище или общественный туалет. Теперь, проходя мимо этого опустевшего и заброшенного бывшего бара, я вспоминаю, как в романе Стругацких «Хромая судьба» один из фантастических посетителей продал там автору «Партитуру труб Страшного Суда», и сердце мое сжимается холодом.

Помню, с каким увлечением работал он над сценарием фильма «Сталкер», вдохновленный возможностью сотрудничать с гениальным Андреем Тарковским, которого высоко ценил. Он же повел нас на премьеру этого фильма, рассказав по дороге драматическую историю о том, что после съемок первого варианта фильма «Пикник на обочине» вся отснятая пленка оказалась бракованной. Пришлось все начинать сначала, а деньги на съемки уже были потрачены. Тогда и решено было делать новый сценарий «Сталкера», по новой идее Тарковского, пленившей Аркадия.

Что же касается его литературных вкусов, то были они довольно нестандартными. Где-то в конце 70-х в Москву приехал Александр Кушнер, и я, пригласив его домой, решил позвать и Аркадия, чтобы познакомить моего любимого поэта с не менее любимым писателем. Из этого, однако, ничего не получилось. Оба сидели надутые и мрачные, явно не понравившись друг другу. Послушав стихи Кушнера, Стругацкий заявил, что его любимый поэт Андрей Вознесенский, а Кушнер сказал, что не любит фантастики и литературой ее не считает. Оба ушли, почему-то обиженные на меня.

В 1978–1979 годах, в 21-м и 23-м рейсах «Дмитрия Менделеева» мне довелось много плавать в северной части Тихого океана – от Токио до Сан-Франциско – и дважды заходить на Гавайские острова. Забавный случай произошел с нами в

Гонолулу в 1978 году. «Тройка» наша во главе с начальником нашего магнитного отряда Иваном Ивановичем Беляевым, страстным фотографом, отправилась под вечер поглазеть на «местный колорит».

Надо сказать, что выходы в город в одной «тройке» с Иваном Ивановичем всегда отличались от обычных. Фанатичный фото– и кинолюбитель, Иван Иванович постоянно таскал с собой минимум два фотоаппарата – для слайдов и для черно-белой пленки, киноаппарат и, кроме того, всевозможные насадные объективы и разного рода штативы и экспонометры. Объемистое это имущество грузилось в специальный саквояж, который носили все по очереди. Сам Иван Иванович, обвешанный тремя аппаратами, два из которых он постоянно держал в руках, шустро перебирая своими худыми ногами в белых тропических шортах, обычно стремительно вырывался вперед, стараясь углядеть какой-нибудь живописный кадр. Мы с моим приятелем Лешей Сузюмовым еле за ним поспевали. Так было и на этот раз. Уже стало темнеть, когда мы добрались до припортовой части Гонолулу – так называемого «Китайского города», где располагались многочисленные секс-шопы, кинотеатры, ночные бары со стрип-шоу и другие сомнительные заведения. Иван Иванович, как обычно, шел впереди. Вдруг из ближайшей подворотни выскочило какое-то лохматое существо, как оказалось, женщина, либо пьяная, либо под кайфом, и с криком «секс-секс» бросилось на Ивана Ивановича, намертво вцепившись худыми пальцами в самое его мужское сердце. От неожиданности, а возможно, и от боли, Иван Иванович вскрикнул. Руки его, однако, были заняты фотоаппаратами, и он оказался совершенно беззащитен.

Женщина, не отпуская, потащила его за собой в калитку – и он пошел (а что он мог еще сделать?). Мы бросились за ним. «О'кей», – заулыбалась женщина, увидев нас и радуясь большому заработку. «Аппараты возьмите!» – страдальческим голосом крикнул Иван Иванович. Мы с Алексеем подхватили у него аппараты, и он начал отчаянно отдираться обеими освободившимися руками. Поняв, что добыча буквально ускользает из рук, женщина в свою очередь яростно закричала. На ее крик немедленно появились еще два или три таких же лохматых видения. Выдернув из ее цепких рук Ивана Ивановича, мы позорно бежали до самого судна, лишь пару раз остановившись, чтобы перевести дух. Примерно неделю лечил он кровоподтеки и царапины, ставшие результатом этого внезапного нападения.

В том же 21-м рейсе мне впервые посчастливилось принять

участие в одном из первых погружений на океанское дно в обитаемом подводном аппарате, незадолго до этого построенном по заявке нашего института в Канаде. В свое первое погружение я попал случайно, дуриком. Прибывшие на борт «Дмитрия Менделеева» лихие наши подводные пилоты во главе с Анатолием Сагалевичем и Александром Подражанским, уже набравшие немалый опыт погружений на «Пайсисах» на озере Байкал, любили петь песни под гитару, в том числе и мои. Толя Сагалевич и сам писал песни. Подружившись со мной, Сагалевич и Подражанский начали требовать, чтобы я написал для них песню подводного пилота. В ответ я им объяснил, что умею писать только «с натуры». «Возьмете в погружение – напишу, а нет – так ничего не получится».

Это было время, когда специализированных судов-носителей подводных аппаратов еще не было и канадский «Пискес» (в переводе с латинского – «рыба»), который у нас почему-то назывался «Пайсис», опускался прямо с борта «Дмитрия Менделеева». Мне с большим трудом удалось попасть в число научных наблюдателей. Уже опытные подводные пилоты Александр Подражанский, Анатолий Сагалевич и Владимир Кузин относились к нам, новичкам, покровительственно и несколько насмешливо. Еще бы – у них за плечами были многочисленные погружения у берегов Канады и на Байкале. Об этом писали все газеты. Они были настоящими героями, подводными «волками», а мы – робкими «чечако». Впрочем, Сагалевич, например, остается таким «волком» и до сих пор, хотя ему уже за семьдесят. Как главный пилот глубоководного обитаемого аппарата он совершил более трехсот погружений, в том числе два на глубины свыше шести километров, в общей сложности проведя под водой более четырех тысяч часов. На рубеже веков, возглавляемый им коллектив подводных исследователей, на уникальных аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» провел в водах Северной Атлантики серию глубоководных киносъемок, позволивших знаменитому голливудскому режиссеру Джеймсу Кэмерону создать «оскароносный» фильм «Титаник», а также документальные ленты о легендарном лайнере и потопленном британцами в 1941 году флагмане немецкого флота линкоре «Бисмарк», лежащем на глубине 4700 метров. В 2008 году Анатолий был удостоен звания Героя России за погружение на глубину более четырех километров в точке географического Северного полюса.

Однако все это будет спустя много лет, а в конце 70-х погружения на подводных обитаемых аппаратах в Мировом океане только начинались. Аппараты, не имевшие специальных

помещений на судах, стояли просто на верхней палубе, что не улучшало их состояния. Иногда поэтому возникали отказы разных систем.

Инструктируя нас, пилоты строго предупреждали, что в обязанности подводного наблюдателя входит прежде всего следить за неполадками в электросети (короткое замыкание может привести к пожару – так уже погиб один американский экипаж), за герметичностью обитаемого отсека (водяная тревога) и за системой очистки отсека от углекислого газа. Обо всех нарушениях надо срочно докладывать командиру. Мы должны также научиться управлять аппаратом, чтобы «в случае, если два других члена экипажа выйдут из строя, обеспечить его всплытие». Мой главный наставник Саша Подражанский после очередного сеанса обучения управлению аппаратом, в процессе которого он показывал, «как надо отжимать пальцы трупа от рычагов управления, чтобы получить к ним доступ в случае аварии», когда мы оба полностью одурели от невыносимой духоты в отсеке стоявшего на солнцепеке «Пайсиса», сказал: «Ну, это-то вряд ли понадобится: в случае чего ты первый загнешься». И улыбнулся: «Ну что, нагнал на тебя страху? Пойдем лучше выпьем».

«Во время первого погружения, – говорят пилоты, – от наблюдателя проку мало – он обалдевает». Действительно, в это время находишься в состоянии, «близком к эйфории». Я как-то спросил одного из наших солидных ученых, первый раз в жизни участвовавшего в погружениях, о его впечатлениях. «Понимаешь, – ответил он мне, – когда задраили люк и аппарат стал погружаться и все вокруг как-то странно заскрипело и закачалось, я подумал: «Господи, и зачем я сюда залез, чего мне в жизни не хватало?» – «Молодец, что не врешь, – засмеялся я, – со мной в первый момент было то же самое».

Запомнив предостережения пилотов, во время первого погружения на «Пайсисе» в Тихом океане, на атолле Хермит, я старался ни в коем случае не показывать своего волнения и в то же время внимательно следить за всем, что грозит аварийной ситуацией.

И вот люк задраен. Командир Подражанский включает микрофон подводного телефона: «Менделеев», я «Пайсис». Прошу разрешить погружение». В ответ слышится: «Пайсис», я «Менделеев». Погружение разрешаю». Солнечный свет в иллюминаторе начинает гаснуть. Аппарат поскрипывает. Вплотную приникаю к стеклу иллюминатора. Мелкие пузыри воздуха стремительно проносятся кверху. Рядом с ними медленно перемещаются вверх большие белые хлопья, похожие на снег. «Саша, почему они всплывают?» – спросил я у командира. И он

насмешливо ответил: «Это планктон. Не он всплывает, а мы погружаемся».

Помнится, мы уже легли на грунт на склоне океанского вулкана на глубине четырехсот метров, и я только начал, про все позабыв, увлеченно диктовать на магнитофон первые наблюдения, как вдруг мне на спину что-то капнуло. Я поднял голову, и в лицо мне брызнула вода. Вглядевшись, я, несмотря на жару, похолодел: от крышки люка в верхней части отсека медленно змеились струйки. «Саша, вода!» – окликнул я командира, казалось бы, спокойным, но, как выяснилось, сдавленным голосом. «Не бери в голову», – ответил он, не оборачиваясь и не отрывая рук от рычагов управления. Оказалось, что при погружении подводный аппарат попадает из теплых верхних слоев океанской воды в нижние – холодные. Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода. Новичков об этом не всегда предупреждают – то ли по забывчивости, то ли чтобы испытать их «на прочность».

Мое первое погружение положило начало новой жизни, дав старт удивительной серии подводных погружений в разных океанах на всех видах подводных аппаратов – «Пайсисе», «Аргусе» и, наконец, «Мире».

Следует сказать, что обещанную песню подводного пилота я после первого же погружения написал, пораженный сходством планктона со снежными хлопьями:

Не пиши тревожных писем мне,
Не зови немедленно назад:
В океанской темной глубине
Нас несет подводный аппарат.
Я плыву беззвучно, как во сне,
Надо мною – ни буев, ни вех.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

Говорил тебе я много раз:
Ты важней всего в моей судьбе,
Но важны не менее сейчас
Кислород, насос и ЦГБ, —
Чтоб звенел серебряный твой смех,
Чтобы день весенний не померк.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

Это значит, в норме все пока,
Как и быть, конечно же, должно,
И поднимем снова мы бокал,
И прокрутим новое кино.
Если б жизнь иную дали мне,
Я б ее, наверное, отверг.
За окном планктон идет, как снег, —
Это значит, мы всплываем вверх.

Пилотам песня понравилась, и они взяли ее на вооружение, дружно распевая на всех своих многочисленных вечеринках. А вот директору института Монину она пришлась не по душе. «Это трусливая песня, – со свойственной ему безапелляционностью заявил он, прослушав ее. – Они радуются тому, что всплывают. А настоящие подводники должны радоваться, когда погружаются». Не знаю, как «настоящие подводники», а я каждый раз радовался очередному всплытию не меньше, чем погружению. Судя по тому, что и у самих пилотов любимый тост гласит: «Чтобы число всплытий равнялось числу погружений», они тоже ближе к моему, а к не директорскому мнению.

Одно из погружений на дно запомнилось мне более других. В 1986 году в рейсе научно-исследовательского судна «Витязь» на аппарате «Аргус» мне пришлось погружаться на склоны подводных гор Тирренского моря. У «Аргуса» есть манипулятор – механическая рука, которой можно брать пробы грунта или отдельно лежащие камни. А вот взять образец породы из коренного залегания, оторвать его от скалы эта рука не может – силенок мало. Поэтому группа наших умельцев во главе с инженером Игорем Ракитиным сконструировала небольшое буровое устройство, приводящееся в действие аккумуляторами «Аргуса». С его помощью можно было пробурить прямо в твердой породе небольшую скважину длиной до двадцати сантиметров, да еще и взять керн диаметром полтора сантиметра. Устройство это успешно испытали на палубе, пробурив каменную глыбу и получив керн. Однако пилоты наши этой новой технике обрадовались не слишком. Ведь если бур заклинит, «Аргус» встанет на мертвый якорь и не сможет оторваться от дна! Чтобы избежать этой опасности, Ракитин придумал специальное приспособление: аппарат снабжался двумя опорными штангами, которые могли выдвигаться. Если бур заклинивало, аппарат опирался на боковые штанги, вся система отстреливалась, и можно было всплывать. Систему эту поставили на аппарат и испытали прямо на палубе – все работало прекрасно. В первое

погружение с бурением отправились два пилота – Виталий Булыга и Александр Горлов, а также я. Дело было на подводном хребте Барони в Средиземном море. Опустившись на дно, мы долго выбирали удобный участок скальной породы для первого бурения. Наконец нашли и начали бурить. Красноватый дымок завихрился из-под бура, медленно, с усилием входящего в породу. Все как будто шло прекрасно, но тут аппарат качнулся, и сверло моментально заклинило. Пытались освободить его обратным вращением, но из этого ничего не вышло. «Жалко, – сказал Булыга, – придется отстреливать. И как раз в этот момент я увидел, что выпущенные нами штанги висят в воде и до дна не достают. Поверхность скалы оказалась неровной, и как мы ни старались дотянуться штангами до твердой опоры, чтобы освободить бур, намертво приковавший нас ко дну, ничего из этого не получалось. Доложили о случившемся наверх. А толку-то что? Чем они могут нам помочь? Кстати, у американцев и канадцев подводные обитаемые аппараты в море работали только попарно: один погружался на дно, а второй в полной готовности дежурил на борту судна. Если с первым случалась авария, второй немедленно шел ему на помощь. А с «Аргуса» и спроса не было – он у нас имелся в единственном числе, так что спасать его экипаж было некому, рассчитывать приходится только на самих себя.

Около получаса пилоты упорно раскачивали заякоренный аппарат и пытались обратным вращением вытащить бур из скалы. Муть, взвихрившаяся при движении винтов от илистого дна, залепила иллюминаторы. Скала, однако, держала нас прочно. Мы взмокли и приуныли. Не зимовать же здесь! Тем более что запаса кислорода хватает только на тридцать шесть часов, и больше этого времени гостить на дне как-то не хотелось. «Может, попробуем вперед бурить?» – робко спросил я хмурого Булыгу. «Ты что – чокнулся?» – яростно прошипел он и послал меня довольно далеко, куда даже при всем желании из застрявшего на дне аппарата я отправиться не мог. Однако минут через десять, когда пилотский гнев остыл, а альтернативных вариантов спасения не возникло и терять, похоже, было уже нечего, Саша Горлов начал бурить вперед. К огромному нашему (и прежде всего моему) удивлению и радости, минут через десять бур неожиданно освободился, и мы оторвались от дна.

Самое примечательное в этой истории, что когда мы возвратились на борт «Витязя», то обнаружили, что в буровом устройстве остался приличный керн, выбуренный из скальной породы. Так, пожалуй, впервые у нас было проведено бурение дна с подводного обитаемого аппарата. Что же касается Ракитина, то он, довольно невозмутимо выслушав наши весьма эмоциональные

замечания по поводу надежности его системы, через пару дней довел ее до кондиции, так что при последующем бурении никаких аварийных ситуаций на дне уже не возникало.

В 1977 году на другом судне, «Академик Курчатов», мы отправились в геолого-геофизическую экспедицию с Ю.П. Непрочновым в Северную Атлантику и юго-восточную часть Тихого океана для изучения глубинных разломов океанского дна. В этом трудном рейсе нам впервые удалось получить сведения о строении одной из самых больших трещин в океанской коре – разломе Элтанин, расположенном в юго-восточной части Тихого океана, на полюсе относительной недоступности, где шторм девять баллов – нормальная погода.

По пути мы заходили на солнечные Азорские острова. До сих пор помню маленький городок Понта-Дельгада на зеленом острове Сан-Мигел, прилепившийся на склоне одного из величественных вулканов.

В городе Понта-Дельгада
Нет магазинов роскошных,
Гор синеватые глыбы
Тают в окрестном тумане.
В городе Понта-Дельгада
Девочка смотрит в окошко,
Красной огромною рыбой
Солнце плывет в океане.

В городе Понта-Дельгада,
Там, где сегодня пишу я,
Плющ донжуаном зеленым
Одолевает балконы.
Трели выводит цикада,
Улицы лезут по склонам,
Явственен в уличном шуме
Цокот медлительный конный.

Спят под лесами вулканы,
Как беспокойные дети.
Подняли жесткие канны
Красные свечи соцветий.
Ах, это все существует
Вот уже восемь столетий —
Юбки метут мостовую,
Трогает жалюзи ветер.

Если опять я устану
От ежедневной погони,
Сон мне приснится знакомый —
Ночи короткой награда:
Хлопают черные ставни,
Цокают звонкие кони
В городе Понта-Дельгада,
В городе Понта-Дельгада.

Надолго запомнились мне гниющая вода в порту Кальяо у берега Перу, над которой с криками кружатся сотни пеликанов, маленький безлюдный остров Кокос в Тихом океане, сплошь заросший «дождевым лесом» и усеянный кокосовыми орехами. Более всего запомнился, однако, Панамский канал, соединяющий два великих океана, по которому судно наше двигалось много часов, перепрыгивая снизу вверх по водяным ступенькам шлюзов. В связи с этим вспоминается история, рассказанная мне когда-то Игорем Белоусовым о его первом прохождении Панамского канала. Они со Смилгой набрали «изысканных напитков» и устроились в каюте Белоусова перед большим квадратным окном, чтобы посмотреть на Панамский канал. Поскольку судно еще стояло в заливе, в ожидании своей очереди входить в канал, они решили для начала выпить по стаканчику. Когда они снова посмотрели в окно, то опять увидели океан. Выяснилось, что канал давно прошли.

Уже на обратном пути судно зашло в Лас-Пальмас и в шведский порт Гетеборг. Здесь, в порту, у причала стоит старинный памятник погибшим морякам – бронзовая, позеленевшая от времени, фигура женщины. Подняв фонарь в правой руке, она мучительно и безнадежно всматривается в морскую даль.

Огромное, незабываемое впечатление после описанных плаваний осталось у меня от коралловых атоллов в Океании и Полинезии. В те годы добыча кораллов на безлюдных коралловых островах Тихого океана еще не была запрещена, поэтому каждое такое посещение превращалось в настоящую добычу кораллов и раковин. После захода на коралловые атоллы на судне долго нечем было дышать – во всех лабораториях и даже каютах стояла нестерпимая вонь гниющих кораллов, упорно обороняемых их владельцами. Не случайно возникла судовая пословица «свой коралл не пахнет».

Судовое начальство, как правило, боролось с кораллами на судне. Создавались специальные комиссии, которые, обнаружив

кораллы в служебных помещениях судна, беспощадно выбрасывали их за борт. Обнаружить их наличие было сравнительно нетрудно – по отвратительному запаху гниения. У нас в магнитной лаборатории тоже отгнивали кораллы в полиэтиленовых баках с морской водой, спрятанных в шкафах. Выглянув из двери лаборатории, я неожиданно увидел, что по судовому коридору в нашу сторону направляется комиссия. Что было делать? Решение надо было принимать немедленно. Достав с полки бутылку с бензином, я пролил ее перед входом в лабораторию. Зажимая носы от резкого запаха бензина и браня мою неосторожность, комиссия торопливо проследовала мимо наших дверей, уподобившись стае сбитых со следа ищеек.

Дело, однако, не только в кораллах. Когда плывешь, медленно перебирая ластами и опустив лицо в маске в прозрачную воду, над коралловыми рифами, тебя охватывает ощущение непередаваемого счастья от созерцания солнечного и многокрасочного мира, медленно скользящего под тобой, как земля под летящим ангелом. Красными, зелеными, голубыми цветами мерцают коралловые рощи, между которыми порхают серебряные стайки рыб. Ярко-малиновыми, лиловыми и синими бархатными красками вспыхивают распахнутые тридакны. Лучи ослепительного солнца, преломляясь в бирюзе прозрачной воды, вдруг выхватывают из мягких сумерек то ползущего бочком краба в розовом панцире, то лунно-молочную устричную раковину, то белоснежный коралловый песок.

При добыче кораллов плавать приходилось в кедах, тренировочном костюме и перчатках, потому что от коралловых царапин остаются долго не заживающие ранки. На руке висит на веревке фомка для отламывания кораллов. При этом постоянно надо следить, нет ли поблизости акул. Помню, как на атолле Хермит в Южно-Гвинейском море, подплыв к борту кораллового рифа, я сдуру сунул фомку в какое-то отверстие. Оттуда немедленно высунулась отвратительная змеиная морда с кривыми зубами и горящими зелеными глазами. Мурена! От страха я так растерялся, что пару секунд тупо и неподвижно смотрел на нее, как кролик на удава. Потом, опомнившись, рванулся прочь со скоростью атакующего торпедного катера. К счастью, мурена меня не преследовала.

Не менее опасны и тридакны, столь красивые с виду. Стоит только дотронуться до этого моллюска, и массивные белоснежные створки раковины захлопнутся, а разжать их невозможно даже ломом. Это не раз приводило к гибели аквалангистов, попавших в гигантские подводные капканы.

Что касается акул, то они доставляли нам больше всего

неприятностей. Дело в том, что измерения магнитного поля в океане, которыми я обычно занимался в экспедициях, производятся прибором, датчик которого буксируется на немагнитном кабеле за судном, на расстоянии не меньше трехсот метров (чтобы избежать влияния железного судового корпуса). Герметичная гондола с датчиком, которую первоначально красили в яркие белые или красные цвета, напоминает большую рыбу. Акулы поэтому часто их атакуют и откусывают. Если учесть, что каждый прибор стоит очень дорого и чаще всего изготовляется в институте ценой большого труда в количестве двух-трех экспериментальных макетов, легко понять наше расстройство при каждом таком случае.

Не раз и не два я предъявлял «аварийной комиссии» обрывки немагнитого буксировочного кабеля с обломками акульих зубов, чтобы списать дорогой откушенный ею магнитометр. Наконец в каких-то японских статьях я прочел, что акула в воде не видит черных и темно-зеленых предметов. Помню, как потешались надо мной мои коллеги, когда я, сидя на кормовой палубе, упорно перекрашивал наши красивые бело-красные гондолы в грязно-зеленый цвет. Как ни странно, это помогло. Атаки акул на нашу аппаратуру прекратились. Команда надо мной подшучивала. В судовой стенгазете была даже помещена карикатура, на которой я был изображен с обрывком кабеля в руках. Ниже красовалась такая подпись:

Спасу нет от произвола
Посреди нейтральных вод:
Съел магнитную гондолу
Немагнитный кашалот.

Забавная история произошла в 23-м рейсе «Дмитрия Менделеева» в 1979 году во время нашего захода в Сан-Франциско, где заранее по радио на борт была приглашена группа ведущих ученых из американской геологической службы. Не успели мы пришвартоваться к причалу, как на борт явился встревоженный консул и объявил нам, что резко возросла напряженность между СССР и США, что мы «накануне второго кубинского кризиса» и что лучше всего нам как можно скорее убраться отсюда подобру-поздорову, пока нас не интернировали. Попытки нашего начальника Ю.П. Непрочнова сказать, что мы планируем прием для американских ученых, вызвали только раздражение: «Какие там ученые! Никто к вам не приедет. Смотрите, чтобы вас бомбами не закидали!» Непрочнов загрустил, однако к приему мы на всякий случай приготовились,

хотя и не очень надеялись. Тем не менее ровно в восемь вечера перед самым бортом затормозило более десятка машин, и вся американская группа прибыла к нам в полном составе.

Глава геологической службы, высокий и стройный седой геофизик с мировым именем, провозгласив первый официальный тост за гостей, заявил, поднявшись над столом, на чистом русском языке: «Этот слюнтяй Картер и его убогая администрация пытались нам запретить общаться с вами из-за каких-то своих очередных политических махинаций. В связи с этим считаю своим долгом заявить вам, что мы – прежде всего люди науки. Поэтому мы срать хотели (я правильно сказал по-русски?) на наше правительство. Надеюсь, вы точно так же относитесь к своему», – закончил он, обращаясь к Непрочнову. Тот, скромно промолчав, вежливо улыбнулся, и все дружно выпили…

В июне 1982 года я защитил докторскую диссертацию на тему «Строение океанской литосферы и формирование подводных гор». В основу ее легли палеомагнитные реконструкции океанов и континентов геологического прошлого Земли от шестисот миллионов лет до нашего времени, впервые рассчитанная карта мощности твердой оболочки нашей планеты – литосферы в океанских областях и результаты изучения вулканических подводных гор в океане. Экспериментальную основу работы составили материалы по геофизике и геологии, собранные в шестнадцати океанских рейсах за годы плаваний. В 1985 году в издательстве «Наука» в Москве вышла моя монография под тем же названием.

Хотя счет на защите диссертации был «сухим», не обошлось без казусов. Так, один из старейших геологов доктор наук Дивдериани, встретив меня в лифте за несколько дней до защиты, критически оглядел мою затертую джинсовую куртку и сказал: «Надеюсь, вы не вздумаете в таком виде выходить на докторскую защиту. А не то вам черных шаров накидают за неуважение к ученому совету». Пришлось надевать не только костюм, но и не любимый мною галстук. Кстати, о галстуке. Я действительно почему-то всю жизнь старался его избегать, за исключением протокольных событий, требующих его обязательного наличия. Так, в июне 1999 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где президент Ельцин вручал мне премию имени Булата Окуджавы, я оказался, пожалуй, единственным из всех присутствующих мужчин без галстука. Примерно за год до этого, в апреле 1998 года, на общем собрании Российской академии естественных наук в актовом зале Московского государственного университета мне вручали Синий крест Академии наук, и я по этому случаю был в костюме с галстуком и

академическим значком. Вечером того же дня мне пришлось выступать на литературном вечере в Доме композиторов, где я получил такую записку: «Я видел вас при Хрущеве, я видел вас при Брежневе и Горбачеве, но впервые вижу вас при галстуке».

Накануне защиты мы долго беседовали с Левой Зоненшайном. Поскольку главным предметом работы было строение литосферы, то, естественно, обсуждали, что такое литосфера. После долгого обсуждения согласились на том, что корректного геологического определения этот термин не имеет. Тем не менее самым первым из заданных мне после доклада вопросов был вопрос коварного Левы: «Что такое литосфера в вашем понимании?» Он же на банкете уже после защиты, поднимая первый бокал, заявил: «Хорошо быть эстрадником. Городницкий привык все время стоять на сцене с микрофоном. Другой бы терялся, отвечая на вопросы, а этого нахала ничем не собьешь. Да и кто захочет быть Дантесом?»

На самой защите ко мне подсел профессор Григорий Исаакович Баренблатт, один из крупнейших физиков-теоретиков, член Академии наук США, «злой мальчик» нашего ученого совета, известный своими уничтожающими выступлениями, и, саркастически улыбаясь, шепнул: «Я бы, конечно, с удовольствием кинул вам черный шар. Но если в урне окажется только один бюллетень против, то всем сразу станет ясно, что это мой, и моя дочь просто выгонит меня из дому. Она, видите ли, ваша поклонница. Поэтому я вынужден голосовать за. Он же, когда зачитывали отзыв виднейшего нашего магнитолога Аркадия Моисеевича Карасика, в котором справедливо отмечались многочисленные стилистические погрешности текста, ядовито сказал председателю ученого совета Монину: «Обратите внимание, Андрей Сергеевич, как один инородец упрекает другого в плохом знании русского языка».

Сам Аркадий Моисеевич Карасик, талантливейший ученый, один из первых отечественных магнитологов, положивший начало российской школе морской магнитометрии, несколько лет спустя скоропостижно скончался от внезапно обнаружившегося у него рака желудка. Его научные таланты, уникальная начитанность и каторжная работоспособность сочетались с блестящим и тонким остроумием. Недаром именно он был всегда бессменным тамадой и автором многочисленных капустников на геологических конференциях и симпозиумах, прежде всего на традиционных Школах по морской геологии и геофизике, проводившихся в осеннее время в Геленджике, в Южном отделении нашего института. Мы с ним не раз схватывались в научной полемике, и он, как правило, одерживал верх, подчас уличая меня в

недостаточном знании предмета спора.

До последних дней он был главным координатором всех морских магнитных работ в нашей стране. Уже после его смерти мне рассказали, что, узнав о своем диагнозе, он обратился к Галине Николаевне Петровой, возглавлявшей комитет по геомагнетизму при президиуме Академии наук, и попросил, чтобы рабочую группу по геомагнитным исследованиям океанов после него возглавил я.

Когда-то давно, еще в Ленинграде, где мы с ним жили в одном кооперативном геологическом доме на проспекте Космонавтов, и у него только что родился сын, я написал ему поздравительные шуточные стихи:

Наш Карасик – молодчина,
Это знают стар и мал.
Он прекрасен как мужчина,
Что недавно доказал.
Он хребты открыл на Норде
Под сплошным покровом льда,
Получил за это орден
И не носит никогда.
Он китов собой украсит.
Все мы – кильки рядом с ним.
А фамилия «Карасик» —
Это просто – псевдоним.

С тех пор миновало почти тридцать лет, в течение которых мне довелось тщательно заниматься природой земного магнитного поля и даже написать несколько книг на эту тему, одна из которых вышла в 1996 году в США. Не могу не признаться в связи с этим, что природу геомагнитного поля, казавшуюся мне в молодости простой и понятной, постичь мне так и не удается. В последние годы мне приходится регулярно читать лекции о геомагнитном поле для геофизиков старших курсов на геологическом факультете в МГУ и Международном университете в Дубне. Свою первую лекцию я обычно начинаю с вопроса к студентам: «Как устроено магнитное поле Земли?» Многие тянут руки и охотно объясняют мне общеизвестную модель магнитного динамо, описанную в учебниках. Я после этого подробно разъясняю некорректность этой устаревшей модели, противоречащей теории конвективных течений в глубинах нашей планеты. «А как же устроено магнитное поле Земли, профессор?» – робко спрашивают студенты. «Не знаю», – честно отвечаю я, вызывая, как правило, оживление в аудитории.

К сожалению, такова участь многих понятий в современной науке.

Завершая экскурс в науки о Земле, не могу не вспомнить еще одного замечательного человека, одного из крупнейших мировых ученых, академика Александра Леонидовича Яншина, с которым познакомился впервые в 1974 году на Камчатке, где Яншин руководил очередным конгрессом по вулканологии. Там, помнится, произошел забавный инцидент. В конце конгресса была организована уникальная экскурсия – облет камчатских вулканов на небольшом реактивном самолете Як-40. Поскольку мест в самолете было немного, то в него допускали только видных ученых – академиков, профессоров, докторов наук. Меня, в ту пору скромного кандидата наук, протащил за собой наш директор – Андрей Сергеевич Монин, сунув мне в руки свой фотоаппарат и поручив снимать вулканы из окошка самолета. Все как будто складывалось поначалу неплохо – я как раз занял последнее свободное место. И вдруг, когда уже задраивали дверь, на аэродром приехал еще какой-то академик. Стало ясно, что мне надо выходить. И тут, когда я сконфуженно встал со своего места, жена Яншина, красавица Фидан, неизменно всюду его сопровождавшая, вдруг громко заявила, обращаясь к нему: «Саша, ты как хочешь, а я без Городницкого не полечу». В итоге я остался в самолете, а академик – на аэродроме.

Родившийся в 1911 году, упорный и талантливый самоучка, человек с удивительной волей и работоспособностью, Яншин стал ученым с мировым именем, пройдя через все жизненные испытания. А их было немало. Еще молодым, в тридцатипятилетнем возрасте, он упал в глубокий шурф шахты и чудом остался жив, хотя и оказался покалеченным. Ему грозила инвалидность, но он ее осилил. В течение многих лет он боролся с диабетом, что не помешало ему постоянно работать в дальних экспедициях на Южном Урале, в Средней Азии и в Сибири, завести молодую и красивую жену, стать академиком, вице-президентом Академии наук СССР, признанным многолетним лидером советской геологической школы, видным тектонистом. Он одним из первых признал новую теорию тектоники литосферных плит. Его энергия и сила характера поражали: уже в преклонном возрасте, с плохим зрением, передвигаясь только с помощью палки, нуждаясь в постоянных уколах, он смело отправлялся в поездки в Китай, Индию, Америку или еще на какой-нибудь край света.

Помню, в начале 1982 года, незадолго до защиты докторской, я приезжал со своей работой к нему в Академгородок Новосибирска, где он был тогда директором Геологического

института. «А почему не в стихах?» – спросил он меня, когда открыл объемистый том моей диссертации. Мне сразу вспомнились знаменитые трактаты Салернской медицины, написанные в стихах. Уже позднее я узнал, что в Средние века научные работы во многих университетах Европы должны были представляться для защиты в стихотворной форме.

В 1991 году, когда в Свердловске вышел мой первый сборник избранных стихов и песен «Перелетные ангелы», я послал их ему по почте. В то время, став вице-президентом Академии наук, он уже жил в Москве, но попасть к нему на личный прием было непросто. Примерно через неделю я получил от него большое письмо с благодарственными словами и подробным обсуждением прочитанных стихов. «Дорогой Саша, – писал он, – я не спал всю ночь, читая Вашу книгу, и поэтому счел необходимым написать Вам это письмо». Я был взволнован и растроган этим поступком настоящего русского интеллигента, каким он в действительности и был. Александр Леонидович Яншин умер на рубеже тысячелетий, в конце 1999 года. На его похороны в осеннюю Москву съехались геологи со всей России и из всех бывших республик СССР. Была долгая и торжественная панихида в старом дворце президиума РАН, потом похороны на Введенском кладбище, потом многолюдный официальный поминальный обед в новом здании президиума РАН. Когда я наблюдал величавый и неспешный ход траурной церемонии, мне на память невольно приходили похороны британской королевы Виктории на рубеже XX века, красочно описанные у Голсуорси. С уходом Яншина кончилась целая эпоха. Он, так же как Дмитрий Сергеевич Лихачев, был одним из последних реликтовых представителей вымершей русской интеллигенции, оказавшейся невостребованной в век циничных прагматиков и пиарщиков.

В ноябре 1983 года, снова вместе с Ю.П. Непрочновым, я попал в новый рейс «Дмитрия Менделеева», следовавшего через три океана, из Калининграда во Владивосток, по маршруту Копенгаген – Монтевидео – остров Маврикий – Коломбо – Сингапур – Владивосток. Новый, 84-й год мы встречали в Уругвае. Помню, как в десятом классе и на первом курсе Горного института мы охотно распевали весьма популярную в то время песенку про сказочный Уругвай: «Я иду по Уругваю, ночь – хоть выколи глаза».

Когда судно выходило из порта Монтевидео по мутным водам залива в устье Ла-Платы, я обратил внимание на большой черный крест, торчащий прямо из воды. Штурман объяснил мне, что это не крест, а верхушка мачты печально знаменитого в годы Второй Мировой войны немецкого «карманного линкора» «Адмирал граф

Шпее», наводившего когда-то ужас на дорогах Атлантики, нападая на беззащитные гражданские суда. Линкор был затоплен здесь собственной командой в 39-м году после долгого и кровопролитного морского боя. Мне снова вспомнились послевоенный голодный Ленинград, холодные стены нашего нетопленого класса и лихая мальчишеская песенка про недоступный и таинственный Уругвай. Так появилась, как продолжение этой, моя песня «Я иду по Уругваю»:

Я иду по Уругваю,
Ночь – хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса».

Над цветущею долиной,
Где не меркнет синева,
Этой песенки старинной
Мне припомнились слова.

Я иду по Уругваю,
Где так жарко в январе,
Про бомбежки вспоминаю,
Про сугробы на дворе.

Мне над мутною Ла-Платой
Вспоминаются дрова,
Год далекий сорок пятый,
Наш отважный пятый «А».

Малолетки и верзилы
Пели песню наравне.
Побывать нам не светило
В этой сказочной стране.

Я иду по Уругваю,
В субтропическом раю,
Головой седой киваю,
Сам с собою говорю.

Попугаев пестрых перья,
Океана мерный гул…
Но линкор немецкий «Шпее»
Здесь на рейде затонул.

И напомнит, так же страшен,
Бывшей мачты черный крест,
Что на шарике на нашем
Не бывает дальних мест.
Я иду по Уругваю
В годы прошлые, назад,
Вспоминаю, вспоминаю,
Вспоминаю Ленинград…

«Я иду по Уругваю,
Ночь – хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса».

Обогнув мыс Доброй Надежды, по пути, проложенному когда-то Баурджедом и Васко да Гамой, мы вышли в непривычно ласковый и сказочно-голубой Индийский океан, так непохожий на суровую штормовую Атлантику и неспокойный Тихий океан. Потом, конечно, начались такие же шторма, как и в других океанах. Но именно под влиянием этого первого впечатления в одну из тихих лунных ночей сама собой написалась на вахте песенка «Индийский океан».

Тучи светлый листок у луны на мерцающем диске.
Вдоль по лунной дорожке неспешно кораблик плывет.
Мы плывем на восток голубым океаном Индийским
Вдоль тропических бархатных благословенных широт.
Пусть, напомнив про дом, догоняют меня телеграммы,
Пусть за дальним столом обо мне вспоминают друзья, —
Если в доме моем разыграется новая драма,
В этой драме, наверно, не буду участвовать я.

Луч локатора сонный кружится на темном экране.
От тебя в стороне и от собственной жизни вдали
Я плыву, невесомый, в Индийском ночном океане,
Навсегда оторвавшись от скованной стужей земли.
Завтра в сумраке алом поднимется солнце на осте,
До тебя донося обо мне запоздалую весть.
Здесь жемчужин – навалом, как в песне Индийского гостя,
И алмазов в пещерах – конечно же, тоже не счесть.

Пусть в последний мой час не гремит надо мной канонада,

Пусть потом новоселы мое обживают жилье,
Я живу только раз – мне бессмертия даром не надо,
Потому что бессмертие – то же, что небытие.
Жаль, подруга моя, что тебе я не сделался близким.
Слез напрасно не трать – позабудешь меня без труда.
Ты представь, будто я голубым океаном Индийским
Уплываю опять в никуда, в никуда, в никуда.

На Цейлоне в мою каюту вселился шумный и жизнерадостный кинорежиссер Савва Кулиш, автор легендарного фильма о разведчиках «Мертвый сезон», грузноватый, неистребимый весельчак с запорожскими усами. Его появление на борту (он собирал материал для нового фильма) сразу же внесло заметное разнообразие в наш унылый и скупой быт, не только для женщин, наперебой старавшихся обратить на себя его внимание, но и для мужчин. Большой любитель разного рода розыгрышей, это он пустил по судну слух, что дубленки, накупленные всеми без исключения участниками экспедиции еще в Монтевидео, обязательно надо проветривать и сушить на солнце, иначе они сгниют. Надо было видеть, как население «Дмитрия Менделеева» наперебой начало вывешивать свои шубы на всех палубах, в результате чего судно стало напоминать плавучий комиссионный магазин.

Именно Савва организовал и поставил грандиозное шоу в связи с праздником 8 Марта. Помню, уже поздно ночью, изрядно выпив, мы вышли с ним на крыло капитанского мостика подышать. В черной тропической влажной ночи с левого борта ярко вспыхивали береговые огни наплывавшего на нас Сингапура. «Саня, ночь-то какая! – мечтательно вздохнул Савва. – Были бы крылья – полетели бы сейчас под этими звездами на таинственный берег!» – «Тройками?» – скептически спросил я. Савва махнул рукой и ушел в каюту.

Дружба наша, завязавшаяся в экспедиции, продолжалась много лет. В 2001 году Саввы не стало. Он был одним из главных мэтров отечественного кинематографа, воспитал целое поколение учеников.

Осенью того же 1984 года в Москве в издательстве «Советский писатель» вышла, наконец, третья книжка моих стихов «Берег», рукопись которой пролежала там около шестнадцати лет. Выходу ее в немалой степени помог занявший пост главного редактора Игорь Михайлович Бузылев, спустя несколько лет безвременно ушедший из жизни от неожиданного рака. Мы успели с ним подружиться, но дружба эта была,

к сожалению, недолгой. Познакомились мы с ним на вечере издательства, куда меня пригласили выступать с песнями. За столом выяснилось, что «От злой тоски не матерись» – его любимая песня, и он никак не мог поверить, что я – ее автор. Книгу поставили в план, но и она подверглась строжайшей цензуре: на дворе стоял 84-й год. Помню, как мой редактор Виктор Фогельсон, критически перечитывая стихотворение «Пасынки России», где упоминался среди прочих «пасынков» художник Левитан, заявил: «Левитана надо убрать – слишком много евреев». – «То есть как?» – растерялся я. «Очень просто, – ты еврей, я тоже, а тут еще и Левитан. В общем, так, – поскольку тебя и меня заменить невозможно, придется убирать Левитана». Так вместо «художника Левитана» в строке возник «архитектор Монферран».

…Глаз разрез восточный узкий,
Тонкий локон на виске.
Хан Темир, посланник русский,
Переводит Монтескье.
От полей вдали ледовых
Обласкал его Людовик,
Но, читая Монтескье,
Он вздыхает о Москве.

…Громко всхрапывают кони,
Дым костра и звон оков.
Жизнь и честь свою полковник
Отдает за мужиков.
Что ему до их лишений?
На его немецкой шее,
Любопытных веселя,
Пляшет русская петля.

…Зодчий Карл Иваныч Росси,
И художник Левитан,
Как ответить, если спросят,
Кто вы были меж славян?
Кто вы, пасынки России,
Неродные имена,
Что и кровь свою, и силы
Отдавали ей сполна?
Тюрки, немцы или греки?
Из каких вы родом стран?
Имена теряют реки,

Образуя океан.

Возвращаясь мысленно назад, думаю, что те долгие годы, которые рукопись лежала в издательстве, пошли ей на пользу, дав возможность убрать многие слабые стихи и заменить их более поздними. Пока я был молод, мне казалось, что у меня хватит стихов на десяток книг. Гораздо позднее я осознал, что с трудом могу набрать стихи в лучшем случае на одну очень небольшую книжку.

С января 1979 года мы с женой начали ездить в зимнее время в Дом творчества писателей в Малеевке, бывшей помещичьей усадьбе, располагавшейся неподалеку от Рузы. Основал эту усадьбу в конце XIX века весьма состоятельный человек, вложивший все свое состояние в издательскую деятельность, Вукол Михайлович Лавров. Будучи издателем одного из самых влиятельных журналов того времени «Русская мысль», он в то же время приобрел широкую литературную известность, переведя на русский язык таких классиков польской литературы, как Г. Сенкевич, Э. Ожешко, Б. Прус. В гостях у Лаврова в Малеевской усадьбе нередко бывали В. Дорошевич и Д. Мамин-Сибиряк. Здесь же неподалеку на даче жили в начале XX века В. Гиляровский и главный редактор «Русской мысли» профессор В. Гольцев, ставший одним из основателей кадетской партии. Тесно связана Малеевка также с творчеством А.П. Чехова. Многие исследователи его творчества считают, что история «Дома с мезонином» прямо навеяна пребыванием Чехова в Малеевке. В малеевских архивах сохранилась частично изданная переписка Чехова с Лавровым и Гольцевым, где, кроме литературных проблем, нередко обсуждаются вопросы, связанные с освоением малеевских угодий.

После революции бывшее имение Лаврова получило «охранную грамоту» от новой власти, и здесь в 20-е годы разместилась писательская коммуна, преобразованная позднее в Дом творчества писателей. В 30-е годы дом этот стал своеобразным писательским клубом. О нем вспоминают в своих книгах Фраерман, Паустовский, Миндлин, Гайдар. Здесь работали Михаил Пришвин, Корнелий Зелинский, Мариэтта Шагинян, Самуил Маршак, Юрий Нагибин, Чингиз Айтматов, Ирина Грекова и многие другие, любили отдыхать великая актриса Фаина Раневская, выдающийся астрофизик Иосиф Шкловский.

Для меня, связанного с необходимостью ежедневно ходить в институт, этот месяц зимнего отпуска в Малеевке, с одной стороны, был единственной возможностью систематической

литературной работы, для которой в рабочие дни не оставалось ни времени, ни сил, с другой – позволял целыми днями ходить на лыжах, к чему я пристрастился еще на Крайнем Севере. После суматошной Москвы с ее бешеным ритмом жизни, напоминающим танец с саблями из балета «Гаянэ», неспешное малеевское существование с четким распорядком дня, похожим на корабельный, заснеженные поля и березовые леса вокруг, а главное – тишина, господствующая здесь, – все, казалось бы, располагало к отдыху, спокойному чтению и несуетной работе. Оглядываясь назад, с удивлением замечаю, что эти «малеевские сидения» продолжались более двенадцати лет, и многое за последние годы написано там.

Когда мы с женой впервые появились в Малеевке, здесь уже тоже, конечно, были свои старожилы, от Александра Галича, Фазиля Искандера до Юрия Карякина и Виктора Конецкого. С последними связано немало баек и легенд. Так, в конце 70-х, вырвавшись в Москву, Карякин и Конецкий загуляли в ресторане ЦДЛ. Изловившая их там жена Карякина Ирина впихнула их в такси и сунула водителю три червонца (немалые по тем временам деньги) со строгим наказом – не останавливаться до самой Малеевки. Не успели они отъехать от улицы Герцена, как Юрий Федорович Карякин обратился к шоферу: «Слушай, шеф, отсюда до Малеевки – четвертной. Тебе никакой выгоды. Давай так договоримся: два червонца тебе, а один нам, и высади нас на первом перекрестке». Водитель, однако, оказался принципиальным и дверцы не открыл.

Многие писатели и переводчики постоянно жили и работали в те годы в Малеевке. Среди них Фазиль Искандер, Юрий Давыдов, Инна Каринцева, Морис Ваксмахер, Юрий Карякин, Лидия Либединская и многие другие. Каждый, как правило, приезжал с большим объемом работы и устраивался здесь основательно, по-домашнему. Карякин, например, привозил с собой турецкую феску, которую неизменно надевал дома, и огромный, тогда еще в диковинку, заварной чайник с яркими расписными узорами. В зимнее время он щеголял в огромных валенках и с отпущенной им бородой напоминал лесника. Из тех времен запомнился весьма характерный диалог двух поэтов, встретившихся на тропинке перед главным корпусом: «Ну что, Вася, все пьешь?» – «Да ты что, давно завязал. Гоню нетленку».

С горечью вспоминаю прекрасного писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, с которым впервые познакомился в Малеевке, уже полюбив его повести «Сашка» и «Отпуск по ранению». В его талантливой прозе, так же как и в прозе Виктора Некрасова и Василя Быкова, снова ожила жесткая правда

Отечественной войны. Он, помнится, сильно пил, часто был в подавленном настроении. Уже позднее я узнал, что он покончил с собой в дни драматических событий октября 1993 года.

В конце 70-х годов традиционными были походы через речку Вертушинку в поселок напротив малеевского дома, где располагалась дача Гали Балтер, вдовы писателя Бориса Балтера, похороненного на малеевском кладбище. В ее доме регулярно собирались писатели, поэты и художники, из которых мне более других запомнился Борис Биргер, выставлявший там свои работы.

Само место, где располагалась Малеевка, неподалеку от Москвы-реки, считалось почему-то не очень полезным для здоровья, особенно для сердечников и гипертоников. Поговаривали о том, что дело в заболоченных подзолистых почвах, в еловых и осиновых лесах, растущих в округе. Так или иначе, помню, что именно в Малеевке все время снились какие-то странные, часто тягостные сны.

Округа малеевской усадьбы в те поры была еще относительно безлюдной. В зимнее время любители лыжных прогулок обычно отправлялись разными маршрутами, – либо по «малому кругу» через Воронцово поле, длительностью примерно в два часа, либо по «большому кругу», включавшему путь вдоль высоковольтной линии и выход к Москве-реке. Оба маршрута за долгие годы были изучены нами наизусть. В лыжных прогулках участвовали, как правило, все.

Помню, как неторопливо и величаво передвигался на лыжах, не сгибая колени, Фазиль Искандер, высоко подняв голову в горской папахе и гордо поворачивая ее то влево, то вправо. Теперь незаселенных лесов вокруг малеевского дома почти не осталось – со всех сторон путь лыжникам перегородили обнесенные забором участки настоящих и будущих дач.

Прошли годы. Вымерли и разъехались многие знаменитые завсегдатаи малеевского Дома творчества. Да и сам этот дом, некогда роскошный и ухоженный, обветшал и обнищал, приходя постепенно в полную негодность. В главном здании малеевского дома, перестроенном из старинного барского особняка в стиле русского классицизма, с камероновскими фирменными вензелями над главной лестницей, поначалу размещались роскошные старинные мебельные гарнитуры, среди которых выделялся своей массивностью огромных размеров буфет темного дуба. С течением времени вся эта старинная мебель мало-помалу разворовывалась и исчезала бесследно. Писались многочисленные жалобы в правление Литфонда, одного директора сменял другой, но воровство неизменно продолжалось. В конце концов исчез и гигантский буфет, непонятно как

вывезенный. Возможно, стараясь замести следы расхищения, правление Литфонда затеяло чрезвычайно дорогостоящий капитальный ремонт в здании, в итоге которого были полностью уничтожены следы старинного интерьера.

Стены столового зала и вестибюля оказались украшенными бездарными барельефами, изображавшими то якобы писателя, сидящего на скамейке с дурацким вдохновенным видом, то уродливых женщин, несущих на голове сосуд. Более десятка сделанных по специальному заказу безумно дорогих и аляповатых люстр и настенных мозаик завершили эту безрадостную картину.

Второй гордостью Малеевки была уникальная библиотека, собиравшаяся еще с дореволюционных времен, где можно было найти почти все, что нужно для работы. В последний год нашего приезда и ее тоже начали понемногу расхищать, несмотря на яростное сопротивление заведующей, Людмилы Федоровны Галенкиной – немолодой и больной женщины, отдавшей созданию и хранению библиотеки более сорока лет, а потом бескорыстно и безнадежно боровшейся с хитрым и всемогущим руководством. Сейчас, в век «рыночных отношений», Малеевке пришел конец – ворочавший когда-то огромными неподконтрольными деньгами, а затем «неожиданно обнищавший» Литфонд продал ее за бесценок удачливым бизнесменам. При новых хозяевах несколько лет назад Дом творчества «Малеевка» погиб под ковшом экскаватора. А жаль – целая эпоха несчастной нашей литературы связана с этим местом.

Хрустальная люстра в большой и безлюдной столовой,
Раскрытая книга над аляповатым карнизом.
Дом творчества был здесь – какое нелепое слово, —
Оно постепенно становится анахронизмом.
Не пишет никто здесь теперь ни романы, ни стансы,
За нас перед вечностью слово пытаясь замолвить.
Из пишущей братии в доме сегодня остался
Лишь с орденом Ленина гипсовый Серафимович.
Мне жалко советской распавшейся литературы,
Окошек пустых обветшалого этого дома,
Своих сочинений, что в школе написаны сдуру,
Героев Фадеева или же «Тихого Дона».
Печальные боги минувшей поры исполинской,
Которые голову с юных морочили лет нам!
«Титло литератора, – сказывал как-то Белинский, —
Важней, чем мундиры и блеск мишуры эполетной».
Никто их сегодня не знает уже и не ценит.
Умолкли машинки, стучавшие здесь вечерами.

И стол заседаний темнеет на брошенной сцене,
Как пыльное капище в древнем языческом храме.

Песни нашего века

Песни нашего века
Припоминаю вдруг.
Старой гитары дека,
Сердце щемящий звук.
Громко рокочут струны
Времени вопреки.
В зале немного юных,
Больше же – старики.

Песни нашего века
Мы не услышим впредь.
Скоро их будет некому
С нами уже запеть.
Многое это даст ли
В будущие века?
Звезды уже погасли,
Свет их идет пока.

С ними, не зная фальши,
Мы свою жизнь прошли.
Вот они чуть подальше,
Вот уж они вдали.
В будущем неуместны,
В небе они парят,
Словно ушли оркестры
И завершен парад.

Песни нашего века.
Гаснет закат в дыму.
Барды нашего века
Смолкли по одному.
Пусть молодые встанут
В их поредевший строй.
Выпавшую гитару
Пусть подберет другой.

«Авторская песня», «самодеятельная песня», «поющие поэты», «барды» и «менестрели» – какие только названия не находили для того странного на первый взгляд творческого направления, которое, возникнув в конце 1950-х годов, на исходе короткой и

ненадежной «хрущевской оттепели», начало набирать неожиданно силу в 60-е. Раньше в советском обществе все было просто и понятно: композитор писал музыку для песни, поэт придумывал на эту музыку стихи. Так создавалась песня, которая потом в исполнении профессионального певца (или певицы, или, что еще лучше, хора) звучала с эстрады, кино– или телеэкрана, по радио или с пластинки, а народ радостно эту песню подхватывал. При этом официальное песенное искусство, превратившееся к этому времени в могучую социалистическую индустрию, предусматривало для потребляющей массы довольно широкий ассортимент – от «В буднях великих строек» или «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин» до «Ясной ночкою весенней при луне» или «Мишка, Мишка, где твоя улыбка».

Партия и правительство всегда зорко следили, чтобы в голодной и бесправной стране все время звучали бодрые песни. Кропотливым трудом нескольких поколений большого отряда композиторов и поэтов был создан своего рода огромный цитатник на все случаи жизни. В стране, еще не дожившей до «развитого социализма», в песенной области уже настойчиво осуществлялся «коммунистический» принцип распределения – «каждому по потребностям». И все это – при обязательном преобладании в музыкальной и словесной доминанте маршевого ритма. Вся страна должна была неуклонно маршировать, как единая колонна. «Шаг влево и шаг вправо» расценивались как попытка к бегству. Помню, в конце 70-х худсовет ленинградского телевидения зарубил мою песню «Наводнение», написанную для телефильма. Основанием для запрета послужила каноническая резолюция: «Вызывает неконтролируемые ассоциации». Понятно? Любые, порой самые, казалось бы, невинные отступления от этого вызывали немедленную грозную реакцию. Так еще с начала 30-х годов были объявлены «буржуазно-мещанскими» и практически запрещены лирические песни Оскара Строка в исполнении Петра Лещенко, по которым сейчас вспоминают эту эпоху; в 40—50-е осуждению подвергся Марк Бернес – за «излишне» задушевную интонацию.

В середине 60-х официальное «песенное пространство» было занято, с одной стороны, псевдонародной «русской песней», наиболее ярко представленной любимицей Политбюро Людмилой Зыкиной, с другой – «советской лирической песней», где успешно подвизался обаятельный Иосиф Кобзон. Настоящее предприятие организовали Александра Пахмутова со своими соавторами Гребенниковым и Добронравовым, буквально оккупировав всю конъюнктурную тематику – от целины до космоса. И вдруг весь этот гигантский государственный, отлаженный десятилетиями

песенный конвейер, где все роли были четко расписаны и закреплены, начал давать сбои, а потом и вовсе затормозился где-то к середине 60-х.

Вместо предусмотренных Музгизом, худсоветами и Главлитом песен, тиражирование которых не только не сократилось, но даже возросло, на тесных московских и ленинградских кухнях блочных хрущевских домов, у дымных костров геологических экспедиций и в только что возникших тогда студенческих строительных отрядах технари, студенты, рабочие, интеллигенция стали распевать какие-то странные песни под гитару: «Неистов и упрям, гори, огонь, гори», «Из окон корочкой несет поджаристой», а альпинисты – «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой». При этом все смешалось – запели вчерашние слушатели, не обращая внимания на свои вокальные данные. И совсем не то, что пели вчера. Так неожиданно песня стала средством общения людей. Исчезло «цеховое» разделение. Авторами новых песен неожиданно стали литераторы, геологи, актеры, учителя. Например, выпускники МГПИ имени Ленина Юрий Визбор, Ада Якушева, Юлий Ким, литератор Булат Окуджава, драматург и киносценарист Александр Галич, актер Владимир Высоцкий, поэтесса Новелла Матвеева и другие. Так в противовес официозному песенному искусству возникло второе песенное направление, основанное на несложном гитарном сопровождении. Главным в авторской песне была не музыка, которая, как правило, достаточно проста, а стихи.

Сами слова «авторская песня», кажется, придумал Владимир Высоцкий, чтобы подчеркнуть, что в этой песне все делает один и тот же человек: сам придумывает стихи и мелодию, сам поет. В 1963 году Алла Гербер опубликовала в «Юности» статью, в которой авторы этих песен назывались бардами и менестрелями, и слово «барды» осталось, хотя оно и не очень точно. Что же касается официальной прессы, и прежде всего комсомольской печати, которая приняла новое направление в штыки, то она сразу же присвоила этой песне снисходительное название «самодеятельная», решительно отказав этим унижающим термином авторам в какой бы то ни было профессиональности. Как будто можно назвать Булата Окуджаву или Новеллу Матвееву «самодеятельными поэтами», а Владимира Высоцкого или Юлия Кима «самодеятельными исполнителями».

Основоположником авторской песни обычно считают Булата Окуджаву, и для 60-х годов это, пожалуй, верно. Но если мы заглянем подальше, в нашу раннюю историю и даже в античные времена, то немедленно убедимся, что авторская песня существовала всегда. Задолго до появления печатных станков и

даже письменности. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. Возможно, самым древним автором, упомянутым в литературе, а значит, и первым основоположником авторской песни, был библейский царь Давид. При этом изустное творчество неизменно было связано со струнными инструментами – арфой, гуслями, сазом, гитарой. Музыкальное сопровождение древних авторов было, видимо, несложным. Нехитрое струнное звучание не претендовало на оригинальную мелодию, а скорее создавало музыкальный фон для повествования, силовое поле, заставляющее слушателей быть внимательными.

Что касается нашей отечественной истории, то одним из прародителей авторской песни можно считать легендарного Баяна или не менее легендарного Садко. Вот уж этот-то, по-видимому, был и впрямь самодеятельным автором, так как по основной своей профессии работал в системе Внешторга Древнего Новгорода, а песни сочинял явно «идейно невыдержанные», что и привело, если верить былинам, однажды к тому, что реакционная боярская администрация вытолкала его с пира взашей.

В последнее время появилось немало работ, авторы которых связывают литературные истоки авторской песни с русским романсом, с именами Михаила Кузмина, Александра Вертинского, Аполлона Григорьева, Дениса Давыдова и других русских поэтов. В воспоминаниях знаменитой подруги Пушкина Анны Петровны Керн есть фраза: «Пушкин, прогуливаясь со мной по окрестностям Тригорского, напевал мне свои стихи на собственные мелодии своим сильным и звучным голосом». Вот и получается, что основоположником авторской песни в России был Пушкин.

Если все это так, если авторская песня возникла еще в ранней истории человечества, возможно, еще до существования письменности, как же получилось, что она вновь появилась в нашей стране в середине XX века? Ну, Средние века – это понятно: из-за низкого уровня письменности, отсутствия радио, телевидения, печати, единственной формой песенного общения было изустное. Но теперь-то все это есть! В том-то и дело, что в 60-е и 70-е годы, которые теперь называют «Эпохой застоя», все эти могучие средства, находящиеся под строгим контролем государства и партийной бюрократии, для настоящего искусства оказались наглухо закрыты. И народ, со свойственной ему изобретательностью, снова вернулся к средневековым формам общения. Правда, не совсем. С появлением и развитием магнитофонной техники в нашей стране наряду с «самиздатом» появился «магнитофониздат». Так что сам факт появления

авторской песни в затхлые брежневские времена, после того как «наш дорогой Никита Сергеевич» успел напоследок изрядно погромить изобразительное искусство и печатную поэзию, уже был крамольным. Он свидетельствовал о большом непорядке в «датском королевстве». И это было сразу же правильно понято ревнивыми хранителями идейной чистоты нашего искусства, исходившими из принципа, метко сформулированного в одной из сатирических песен Юлия Кима:

А как у нас по курсу искусства?
Рады стараться, Боже, ЦК храни!

Действительно, с самого момента своего появления авторская песня постоянно запрещалась и многократно предавалась анафеме с высоких трибун и в печати. Следует отметить, однако, что и в наше время жанр этот возник не на пустом месте, а во многом унаследовал традиции романса, как классического, так и городского. Уже упоминалось, что предтечей авторской песни в кино стал Марк Бернес, а на эстраде – Оскар Строк, Вадим Козин и Петр Лещенко.

Что же касается конца 50-х, то важным событием для Москвы, послужившим стимулом для появления авторской песни в СССР, явился приезд в 1956 году знаменитого французского киноактера и шансонье Ива Монтана. Исполнявшиеся им песни сразу же буквально облетели всю страну и вызвали массу подражаний. Булат Окуджава не раз говорил, что именно приезд Монтана в Москву побудил его взяться за гитару.

И все-таки главную роль в возникновении авторской песни в наши дни сыграла знаменитая российская песенная ментальность. Помню, еще в годы войны я видел фильм «Военная тайна», посвященный изобретению знаменитой «Катюши». Там старый и опытный немецкий разведчик, наставляя молодого шпиона, которого должны под видом русского закинуть в наш тыл, говорит ему: «Русские – натура хитрая и ленивая, – любят пить и петь». Не знаю, как по части питья, но уж пение на Руси всегда было в моде. Рассказывают, что кто-то из друзей Сергея Есенина, возможно Анатолий Мариенгоф, как-то сказал ему за столом: «Сережа, зачем ты песни пишешь? Пиши лучше стихи. Стихи у тебя замечательные, а песни – пошлые». На что Есенин, поставив на стол стакан с недопитой водкой, заявил: «В России, чтобы тебя знали, надо песни писать. А то так Пастернаком и помрешь».

Возникновение в 60-е годы нового песенного жанра на границе литературы и музыки, начало эпохи авторской песни, как

правило, связывают прежде всего с именем Булата Окуджавы, наиболее значительного поэта из авторов «первого поколения». Его творчество произвело подлинную революцию в песне и стихах, уничтожив «железный занавес» между ними, что не раз приводило в ярость ревнителей «чистой поэзии» и «чистой песни». Дело, однако, не только в этом. А еще и в том, что его песни привили молодежи, и не только молодежи, новый (или утраченный задолго до нас старый) тип самосознания – любовь и уважение к личности.

Не менее важным событием в 60-е явилось рождение такого крупного мастера авторской песни, как Александр Галич. В отличие от лирических песенных монологов Булата Окуджавы песни Александра Галича, почти всегда персонифицированные, имели острый драматургический театральный сюжет. Сочный язык улиц противостоял в них с издевательски подчеркнутой канцелярской, безжизненной речью тупой аппаратной олигархии. Именно поэтому многие считают Галича предтечей Владимира Высоцкого. Наконец, горькие, патетические, высокие в своем трагизме песни: «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Уходят друзья», «Памяти Пастернака», «Облака». Именно это «второе искусство» сделало Александра Галича уникальным, неповторимым поэтом и как результат этого привело к необратимому крушению его житейского благополучия, исключению из Союза советских писателей, изгнанию из страны и трагической смерти на чужбине в 1977 году. Только после перестройки песни его, долгие годы уничтожавшиеся как крамольные, вернулись на Родину, но вернулись, увы, с большим запозданием.

Несколько позднее, примерно с середины 60-х, в «интеллигентскую» авторскую песню бурно ворвался хриплый и громкий голос Владимира Высоцкого. На первых порах нарочито надрывная манера его исполнения, «блатная» тематика ранних песен, полуцыганская нарочитая аффектация и примитивные мелодии создавали впечатление чего-то вторичного, узнаваемого. Но стихи… Я помню, как поразили меня неожиданно своей удивительной поэтической точностью строки одной из его «блатных» песен: «Казалось мне, кругом – сплошная ночь, тем более что так оно и было».

Когда думаешь о характерных особенностях того странного жанра, от которого много лет весьма старательно и успешно отпихивались как поэты, так и композиторы «в законе», и который получил не слишком точное название «авторская песня» (как будто бывают песни без авторов), и вспоминаешь о наследии безвременно ушедших из жизни ведущих его художников –

Окуджавы, Галича и, конечно, Высоцкого, можно попытаться сформулировать, в чем же неповторимая индивидуальность каждого из них, столь непохожих один на другого. Мне представляется, что она прежде всего в личности автора, в его особенной интонации, подделать которую невозможно.

Высоцкий был истинно народным поэтом, свободно, как воздухом, дышавшим всем многообразием безграничных богатств российской словесности – от сказочного фольклора и высокого штиля до мусорного и сочного языка улицы. В его песенных стихах нет ни одной натужной искусственной строки. Все поется, как говорится – легко и естественно, сложнейшие диалоги персонажей с их яркой сленговой речью, изысканные дактилические и четырехсложные рифмы, свидетельствующие о высоком поэтическом мастерстве автора:

Я сказал – я вот он весь,
Ты же меня спас в порту,
Но, говорю, загвоздка есть,
Русский я по паспорту…

Или:

Взял у отца на станции
Погоны, словно цацки, я,
А из эвакуации
Толпой валили штатские.

Или:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались привередливые —
И дожить не успел, мне допеть не успеть.

Становление поэта происходило стремительно, как будто он догадывался о своем раннем уходе. В коротких песенных текстах (а песня длинной быть не может) он с мастерством истинного художника ухитрялся отобразить целую эпоху: от трагичных и героических лет войны («Штрафные батальоны», «Песня о звездах», «В госпитале») до современных ему дней («История болезни», «Мишка Шифман», «Разговор у телевизора»).

Впервые я встретился с Владимиром Высоцким в январе

1965 года за сценой Центрального лектория в Политехническом музее в Москве, где мы вместе выступали в каком-то альманахе. Когда я подошел к нему, он, как мне показалось, хмуро взглянул на меня и неожиданно спросил: «Вы что, еврей, что ли?» – «Да, ну и что?» – ощетинился я, неприятно пораженный таким приемом. Тут он вдруг улыбнулся и, протянув мне руку, произнес: «Очень приятно, я имею прямое отношение к этой нации».

Несколько лет назад мне позвонили из культурного центра-музея Высоцкого на Таганке: «Мы отыскали магнитофонную запись вашей встречи с Владимиром Семеновичем в 1965 году в Ленинграде на квартире у Евгения Клячкина. К сожалению, на записи есть только песни, а от разговора только обрывки. Не можете ли вы вспомнить, о чем с ним беседовали?» Действительно, в те далекие времена, в век громоздких и старых катушечных магнитофонов системы «Яуза», магнитофонная пленка была большим дефицитом. Ее бережно экономили и включали магнитофон в застольях и компаниях только на песни, а когда начинался «треп», выключали. Нельзя не вспомнить в связи с этим, что в те поры в Москве, попав в дом к одному из известнейших тогда собирателей авторских песен («магнитофонщику»), я обратил внимание, что пленку он не экономит. Магнитофон у него не выключался весь вечер и записывал не только песни, но и все застольные разговоры. Это послужило поводом к подозрению, что хозяин дома стукач и работает на КГБ. Оказалось – правда. «Да нет, не помню, конечно, – столько лет прошло», – ответил я. «Как же так, вы с самим Высоцким разговаривали и не помните о чем?!»

Кое-что на самом деле запомнилось. Весной 65-го года, несмотря на яростное сопротивление ленинградского обкома партии и его тогдашнего босса Василия Сергеевича Толстикова, Театр на Таганке приехал на гастроли в Ленинград. Спектакли игрались на сцене Дома культуры имени Первой пятилетки на углу улицы Декабристов и Крюкова канала. Привезли они свои уже знаменитые постановки «Добрый человек из Сезуана», «Живые и павшие» и премьеру «Жизнь Галилея», где главную роль играл Высоцкий. Мне его исполнение не понравилось. Я представлял себе Галилея маститым средневековым ученым с благородной сединой, величественным европейским обликом и неторопливыми движениями, а увидел на сцене совершенно непохожего курносого молодого парня, не очень даже загримированного, который хриплым полублатным голосом «прихватывал» инквизиторов.

Обо всем этом я и заявил беззастенчиво Володе, с которым встретился на следующий день в доме у Жени Клячкина.

Значительно позднее я понял, что актер Высоцкий тем-то и отличался от большинства других актеров, что черты своей неповторимой личности вкладывал в сценические образы. Поэтому-то Галилей-Высоцкий, Гамлет-Высоцкий и Жеглов-Высоцкий это – Высоцкий-Галилей, Высоцкий-Гамлет и Высоцкий-Жеглов. Но уже тогда я это подсознательно почувствовал, поскольку через несколько дней написал две песни, посвященные Высоцкому в роли Галилея, – «Галилей» и «Антигалилей»:

Отрекись, Галилей, отрекись
От науки ради науки!
Нечем взять художнику кисть,
Если каты отрубят руки,
Нечем гладить бокал с вином
И подруги бедро крутое.
А заслугу признать виной
Для тебя ничего не стоит.

Пусть потомки тебя бранят
За невинную эту подлость, —
Тяжелей не видеть закат,
Чем под актом поставить подпись,
Тяжелей не слышать реки,
Чем испачкать в пыли колено.
Отрекись, Галилей, отрекись, —
Что изменится во Вселенной?

Ах, поэты и мудрецы,
Мы моральный несем убыток
В час, когда святые отцы
Волокут нас к станкам для пыток.
Отрекись глупцам вопреки, —
Кто из умных тебя осудит?
Отрекись, Галилей, отрекись,
Нам от этого легче будет.

Разговор за столом коснулся также и блатного уклона песен Высоцкого в то время («Рецидивист», «Я был душой дурного общества», «Уголовный кодекс» и других). Я разделял (и сейчас разделяю) позицию почитаемого мною Варлама Шаламова, что вся так называемая романтика блатного мира – вещь дутая и фальшивая, что блатари на самом деле – нелюди, и попенял Володе, что он во всю силу своего таланта умножает романтику блатарей своими песнями. Он, смеясь, вяло отшучивался. Это

было время, когда люди, набившие оскомину на приторно-сладкой лживой лирике советских песенников, охотно распевали блатные и полублатные песни, в которых им слышался хоть какой-нибудь воздух свободы, пусть и воровской. «Интеллигенция поет блатные песни», – сказал об этой поре один из поэтов. Время показало, однако, что Высоцкий был прав, интуитивно, сразу же найдя верный тон и имидж для своих ранних песен в стране, где несколько миллионов прошли лагеря, а гимном народа стала его знаменитая «Банька по-белому».

Блатные аксессуары разговора, блатная надрывная канва его первых песен сразу сделали их автора народным героем, хулиганом, бунтарем. Если хулиган Маяковского, покрасовавшись перед девушкой, довольно быстро стал правофланговым запевалой, ассенизатором и водовозом властей, то Высоцкий остался независимым до самой смерти, не соблазнившись ни на «ласку» первых лиц страны, ни на «сладкую» зарубежную жизнь с Мариной Влади.

Как поэт он фактически создал новый язык, смело введя в литературу все многообразие диалектов и сленгов улицы и подворотен. Ввел просто и грубо, не сюсюкая, как некоторые псевдоноваторы над каждым словечком, а естественно разговаривая на нем о сложнейших вещах. Не случайно поэтому его сразу же записали «в свои» и окопные фронтовики, и лагерные зэки, что столько легенд возникло вокруг его имени и биографии. Голос и облик Владимира Высоцкого вошли в плоть и кровь народа, стали его неотъемлемой частью раз и навсегда.

Обращает при этом внимание, что в галерее песенных персонажей Высоцкого главную роль играют вовсе не воры и бандиты как таковые, а скорее герои, бесстрашно принимающие бой и выигрывающие в сложных обстоятельствах. Здесь и летчики, и пехотинцы, и альпинисты, и подводники, и спортсмены, и золотоискатели, и даже милиционеры (знаменитый Жеглов). И все это – точное психологическое воплощение русского народного сознания.

Помню, на той же встрече у Жени мы договорились снова встретиться назавтра, чтобы посидеть и попеть друг другу новые песни (в театре в тот день был выходной), однако минут через пятнадцать Володе позвонила какая-то Нинка, и он назначил ей свидание на то же самое время. «Ребята, извините, – смущенно пояснил он нам, – никак не могу такой случай упустить». И, махнув рукой, сокрушенно добавил: «Ну и дела же с этой Нинкою!»

В ту пору мне пришлось выступать вместе с Володей в Ленинграде в помещении какого-то Дома пионеров. Я выступал в

первом отделении, Высоцкий – во втором. Зал был переполнен. В конце вечера Володю много раз вызывали петь на бис. Он несколько раз вышел, но зал не успокаивался. Минут пять упорно и ритмично хлопали, топали ногами. Мы стояли за занавесом у края сцены. Зал продолжал шуметь. «Ну, выйди, спой», – сказал я Володе. Он неожиданно круто обернулся ко мне, и меня испугало его лицо, вдруг осунувшееся, постаревшее, с желтой кожей и запавшими глазами. «Ну, ладно, эти не понимают, – яростно прохрипел он мне, – но ты-то свой, ты должен понять. Да я сдохну, если еще одну спою!» Как же выкладывался он уже тогда, сжигая свои силы без остатка!

Весной 66-го года, во время служебной командировки в Москву, я позвонил ему домой. «Хорошо, что дозвонился, – обрадовался он. – У нас как раз сегодня премьера в театре – «Десять дней, которые потрясли мир». Билет, правда, я тебе дать не могу, потому что все билеты отдали для делегатов Двадцать третьего съезда, но это неважно, я тебя все равно проведу. Значит, слушай. Мы стоим, одетые матросами, с винтовками, как перед Смольным, у входа в театр – вместо контролеров, и все входящие накалывают свои билеты нам на штыки. Понял? Возьми любую бумажку и наколи мне на штык. Я стою у самых левых дверей. Только не перепутай – там у нас сегодня все стоят мордатые». Когда я накалывал пустую бумажку на штык его «трехлинейки», он подмигнул мне и шепнул: «После спектакля не убегай – поедем ко мне». Это был, по существу, единственный раз, когда мы просидели с ним у него дома всю ночь. Жил он тогда со своей первой женой Людмилой в районе Черемушек, недалеко от Ленинского проспекта. Пели песни, разговаривали. Помню, уже тогда он отказывался от налитой рюмки, а когда я начал подначивать его, чтобы он все-таки выпил, грустно сказал: «Погоди, Саня, и ты еще доживешь до того, что будешь отказываться».

Каким только гонениям не подвергался Владимир Высоцкий при жизни! В июне 68-го года, когда официальная пресса начала активно атаковать авторскую песню, газета «Советская Россия», бывшая верным оплотом реакции, опубликовала статью «О чем поет Высоцкий». Надо заметить, что Володя мужественно переносил все издевательства и травлю, хотя именно это во многом подточило его сердце и приблизило безвременную гибель. На потоки клеветы он ответил гордыми строчками:

Не волнуйтесь – я не уехал,
И не надейтесь – я не уеду.

О внезапной смерти Высоцкого я узнал в Литве, в Друскининкае, из передачи Би-би-си. Признаться, поначалу я не поверил – слишком много ходило о Высоцком самых фантастических слухов, – наутро пошел звонить в Москву. Оказалось – правда. В конце сентября, после возвращения в столицу, я отправился на Ваганьковское кладбище, на могилу Володи. Был сухой и ясный сентябрьский день. На дорожках кладбища жгли сухие листья. Ослепительно блестел купол кладбищенской часовни. У могилы, заваленной цветами, теснилась неизменная толпа. Я впервые в жизни попал на Ваганьково, и, может быть, именно поэтому мне показалось удивительным, что неподалеку от могилы Высоцкого оказалась могила другого русского поэта, так же, как и он, безвременно и трагически ушедшего из жизни, совершенно, казалось бы, непохожего на Володю и чем-то неуловимо похожего, – Сергея Есенина. Теперь рядом с ними лежит и Булат Окуджава.

На Ваганьковом горят сухие листья.
Купола блестят на солнце – больно глазу.
Приходи сюда и молча помолись ты,
Даже если не молился ты ни разу.

Облаков плывет небесная отара
Над сторожкой милицейскою унылой,
И застыла одинокая гитара,
Как собака над хозяйскою могилой.

Ветви черные раскачивают ветры
Над прозрачной неподвижною водою,
И ушедшие безвременно поэты
Улыбаются улыбкой молодою.

Их земля теперь связала воедино,
Опоила их, как водкою, дурманом.
Запах вянущих цветов и запах дыма —
Все проходит в этом мире безымянном.

На Ваганьковом горят сухие листья.
За стеной звенит трамвай из дальней дали.
Приходи сюда и молча помолись ты —
Это осень наступает не твоя ли?

Говорить о наследии Высоцкого сложно. Огромный масштаб его поэтического таланта и личности, неповторимая органика

слияния его хриплого голоса с жестким существом песен обрекают на заведомую неудачу все бесплодные попытки подражателей. Такой голос подделать невозможно. Он был и остается единственным. Теперь, спустя десятилетия со дня смерти Высоцкого, его, можно сказать, канонизировали. Все, что он написал, без разбора превратили в ширпотреб. Поставили ему безвкусные памятники. В музее его имени проводятся научные конференции, материалы которых издаются (это, не в пример прочему, отрадное явление, – Высоцкого надо изучать). На этот раз его противники атакуют поэта с другой стороны, пытаясь опошлить его творчество и облик в глазах потомков через беспредельную канонизацию. Хочется надеяться, что после своей безвременной смерти Владимир Высоцкий вынесет и это испытание, как мужественно выносил при жизни запреты и непризнание. Его яростные песни, по которым историки будут опознавать нашу эпоху, будут жить и в наступившем тысячелетии. Не случайно именно ему принадлежат слова: «Без народа, для которого я пишу, меня нет».

Юлий Ким. Упоминание этого имени сразу же вызывает улыбку. Действительно, в авторской песне, стремительно взлетевшей в 60-е годы, Юлий Ким – явление уникальное и исключительное. Его недостаточно «читать с листа» или слышать голос на магнитофонной кассете или пластинке – его обязательно надо видеть. Этот удивительный человек один воплотил в себе целый театр – с автором, музыкантом, режиссером и многочисленным и талантливым актерским коллективом. В его яркой разнообразной труппе есть Пьеро и Арлекины, герои и героини, карикатурные и отвратительные персонажи – бюрократы, «аппаратчики», пьяницы, подхалимы, уже знакомые нам по сказкам и старинным книгам герои классических произведений, получивших в песнях Кима вторую жизнь. Рыболовы и пираты, гусары и кавалергарды, школяры и комедианты, неунывающий и непримиримый Тиль и грустный Петрушка, романтичный мошенник Остап Бендер и хамоватый гегемон Присыпкин – все они теснятся на сцене, перевоплощаясь в этого небольшого, заряженного гремучей песенной ртутью человека с гитарой в руках. Несмотря на все их многообразие, в каждом из героев виден неповторимый почерк, яркая индивидуальность создавшего их автора – Юлия Кима.

В далекие 60-е, когда я еще не был знаком с Кимом, я услышал его ранние песни в исполнении Юрия Визбора на одном из концертов в Ленинграде. Представляя песни Кима со сцены, Визбор сказал: «Юлий Ким окончил Московский государственный педагогический институт имени Ленина в

Москве. Работает школьным учителем на Камчатке. И чем хуже ему приходится, тем более веселые песни он пишет. Так что веселых песен у него много».

Вслед за короткой и ненадежной «хрущевской оттепелью» началась длительная пора «брежневских заморозков». Волею обстоятельств, а также в силу прямоты души и непримиримости ко лжи, после возвращения в Москву Юлий Ким оказался близок к узкому кругу тех самоотверженных интеллигентов, которых раньше называли диссидентами, а сейчас – предтечами перестройки. Его выгнали с работы, запретили преподавать. Оставшийся практически без средств существования, с так же лишенной работы женой и маленькой дочерью на руках, он пытался писать песни для театральных постановок, но само имя его, попавшее в «черные списки», отпугивало режиссеров. Тогда-то и появился «автор песен Ю. Михайлов». Имя это быстро прижилось на экранах кино и телевидения. Чего стоят, например, тут же подхваченные зрителями песни из кинофильма «Бумбараш» или телевизионного фильма «Обыкновенное чудо»? Немногие, однако, знают, что сценический псевдоним «Ю. Михайлов» был взят Юлием Кимом не просто «для пущей важности» (как написано на конверте его первой пластинки), а не от хорошей жизни.

До сих пор, услышав неожиданно хорошую песню в телефильме или в радиоспектакле, особенно стилизованную под другие времена, я думаю: «Наверное, Ким». Он обладает удивительным музыкальным слухом к звучанию слов в их родном контексте, чутким ухом пересмешника. В «Эпоху застоя», которой, казалось, не будет конца, Юлий Ким писал не только за «Ю. Михайлова», но и за себя. Это были едкие, горькие, обличительные песни, где улыбчивые театральные маски были сброшены. Такие, например, как песня «Четырнадцати лет пацан попал в тюрьму», посвященная его тестю Петру Якиру, или беспощадная по своей точности песня, где отражена попытка брежневско-сусловской администрации незаметно, шаг за шагом, снова втащить на опустевший пьедестал статую «величайшего гения всех времен и народов»:

А как у нас по линии марксизма? —
Ленин – гений, Сталин покамест нет.

Именно колючие песни Кима в те времена, вместе с песнями Галича, легли в основу «магнитофониздата», крамольного не менее, чем «самиздат». Прошли годы, а число веселых песен у Юлия Кима не уменьшилось. Хотя на смену официальным

гонениям пришло как будто достойное признание. (Хорошо, что при жизни, это у нас бывает редко – достаточно вспомнить Высоцкого или Галича.) Вышли многочисленные диски с его песнями и книги со стихами, прозой и пьесами. Пьесу «Ной и его сыновья» поставил Московский драматический театр имени К.С. Станиславского. Ставятся и другие спектакли по его пьесам. Пьесу «Бумбараш» поставил театр Олега Табакова. Елена Камбурова сделала превосходный моноспектакль по его песням. В 2002 году Ким перевел на русский язык мюзикл «Нотр-Дам де Пари» и стал автором русской версии сценария этого популярного шоу.

Кима, однако, не купишь. Острота и непримиримость его сатиры остаются прежними. Когда-то, много лет назад, от имени одного из своих литературных героев Юлий Ким написал песню с таким припевом: «Белеет мой парус, такой одинокий, на фоне стальных кораблей». Пожелаем этому парусу попутного ветра в наши грозящие штормовыми прогнозами дни, – он указывает нам верный курс.

Нельзя себе представить эпоху «поющих 60-х» и без Михаила Анчарова, о котором в последнее время незаслуженно забыли. С Анчаровым и с его песнями я впервые познакомился в 63-м году во время очередной командировки в Москву. Через каких-то знакомых я случайно попал на одно из частых в те поры песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Г.И. Петровского, председателя большевистской фракции Государственной думы, в печально известный «Дом на набережной», населенный зловещими тенями убивавших и убиенных. «Ну, где этот ваш мальчик из Ленинграда?» – услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженный мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.

Из всех его песен тогда я знал только приписываемую ему, ставшую уже народной «От Москвы до Шанси», а в этот вечер я впервые услышал другие, сразу же полюбившиеся мне песни «МАЗы», «Органист», «Тихо капает вода – кап, кап» и многие другие. Яростная экспрессия этих песен на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает часто оттого, что глаза были раньше обожжены), и его рассказов о парашютно-десантных войсках, где он вроде бы служил в конце войны, произвели на меня сильнейшее впечатление.

Сам Анчаров только начинал тогда свое литературное поприще, считал себя прежде всего художником, жил в писательском доме в Лаврушинском переулке, в квартире своей

тогдашней жены Джои Афиногеновой, был, как выяснилось, скор на выпивку и кулак и писал песни, с которыми довольно часто выступал. У него была удивительно обаятельная, уже утраченная ныне, «цыганская» темпераментная манера исполнения. В сочетании с сильным низким, «подлинно мужским» голосом она придавала особый колорит его песням. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века.

В последующие годы Анчаров стал модным писателем. Ему начали наперебой заказывать сценарии телефильмов. Инсценировки по его произведениям охотно ставили московские театры. Песни были заброшены – он полностью ушел в прозу и драматургию. Но прошли годы, и вспыхнувший на какое-то время интерес к писателю Анчарову утих, и о нем мало-помалу забыли, взошли на литературном небосводе другие имена. И стало ясно, что, может быть, именно песни, написанные Михаилом Анчаровым в 50—60-е годы, в самом начале его, казалось бы, такой успешной литературной карьеры, одни только и воплотили в полной мере творческий и личностный талант художника, еще не зависевший в то время от железных тисков худсоветов и издательств.

Песни Анчарова не умозрительны, не «книжны», они написаны не «человеком со стороны». Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще несчастной нашей городской жизни, внутри ее радостей и страданий, любви и ненависти. Все это обеспечивает незаслуженно забытым песням Михаила Анчарова долгое существование. В одной из его старых песен есть такие слова: «Мы бескровной войны чемпионы». Если знаменитый «гамбургский счет» Виктора Шкловского применить к авторской песне, то можно с уверенностью сказать, что одним из чемпионов этой бескровной борьбы за людские души и сердца, борьбы, которая все еще продолжается, был и остается Михаил Анчаров.

Когда песни гитарной начало
Вспоминаю в сегодняшнем дне,
Михаил Леонидыч Анчаров
Обязательно вспомнится мне.
Литератор, художник и воин, —
Все пути ему были даны,
И витал над его головою
Грозный отблеск недавней войны.
Был он вспыльчив и вздорен порою,
Зная силу в своих кулаках,
И гитару цыганского кроя,

Как невесту качал на руках.
Ах, мужские смертельные чары, —
Не уехать от них, не уйти.
Михаил Леонидыч Анчаров
Многих женщин сгубил на пути.
Лабиринтом запутывал тропы
Непролазный самшитовый лес.
Напрягали упругие стропы
Парашюты, что приняли вес.
И в жару, и в январскую вьюгу
Било время навылет и влет,
И не шли наши кони по кругу,
А вперед убегали, вперед.
Миновала эпоха прелюдий.
Годы мчатся стремительно вскачь,
Шепчут на ухо старые люди,
Что гэбэшник он был и стукач.
Нас по-разному слава венчала,
Но любой засыхает венок.
Михаил Леонидыч Анчаров,
Навсегда он теперь одинок.
Но сквозь времени злые гримасы
Снова песню его узнаю,
Там, где стынут тяжелые МАЗы
Возле неба, на самом краю.

В те же 60-е годы песни неожиданно начали писать и поэты, ранее писавшие только стихи. Возникновение этого, видимо, было следствием потребности более полного самовыражения, непосредственного авторского контакта с аудиторией. Наиболее ярко это выразилось в песнях Новеллы Матвеевой, создавшей в них удивительный акварельный гриновский мир добрых и грустных сказок («Страна Дельфиния», «Капитаны») или нежной и глубокой лирики («Окраины», «Любви моей ты боялся зря»). Негромкая, завораживающая задушевная интонация ее песен – полная противоположность громовому звучанию Высоцкого или Галича – была как кислород в безвоздушном пространстве той эпохи, порождала в поющих надежду на алые паруса на хмуром и пасмурном горизонте.

Помнится, в 1974 году, впервые попав на борту научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» в Австралию, в Мельбурн, и сойдя на берег, я обратил внимание на небольшой остров, темневший на горизонте напротив порта. Я спросил у

своего спутника, как он называется. «Остров Кенгуру», – ответил он. Я вздрогнул от неожиданности, поскольку всерьез полагал, что имя это, как и «Страна Дельфиния», – сказочная выдумка из любимой мною песни Новеллы Матвеевой. Так удивился бы человек, которому вдруг показали реальный Лисс или Зурбаган.

Оглядываясь назад, не могу не признаться, что именно подобные сине-зеленым акварелям, пахнущие морской солью и солнцем, нагревшим палубные доски, песни Новеллы Матвеевой заставили меня в свое время навсегда связать свою судьбу с океаном. Мне нестерпимо захотелось увидеть и ощутить наяву так ярко нарисованный ею шумный и многокрасочный мир, где:

Двумя клинками сшиблись два теченья, —
Пустился в пляску ящик от сигар,
И, как король в пурпурном облаченье,
При свете топки красен кочегар.

Те неизвестные страны, где:

… по прибрежью дружною парою
Ходят рядком какаду с кукабаррою,
А за утесами там носом к носу мы
Можем столкнуться порой с утконосами.

Я не случайно вспомнил о Лиссе и Зурбагане, потому что когда я перечитываю стихи и слушаю песни Новеллы Матвеевой, то мне на память прежде всего приходит Александр Грин, всемогущий и беспомощный сказочник, так же, как и Новелла Матвеева, не избалованный реальной жизнью. Помню, в начале 60-х годов, когда я впервые услышал ее солнечные сказочные песни, я почему-то решил, что такие песни может писать только очень счастливый человек, некое зеленоглазое подобие Фрези Грант. Попав в первый раз в дом к Новелле Матвеевой и увидев чудовищный быт ее огромной неприютной коммуналки на Беговой улице с окнами, выходящими на железнодорожное полотно и Ваганьковское кладбище, я был потрясен. Каким могучим воображением художника, каким человеческим мужеством и оптимизмом должен обладать автор, придумавший свой сказочный мир в такой обстановке!

А над Москвою небо невесомое,
В снегу деревья с головы до пят,
И у Ваганькова трамваи сонные,

Как лошади усталые, стоят.

Встречаемый сварливою соседкою,
Вхожу к тебе, досаду затая.
Мне не гнездом покажется, а клеткою
Несолнечная комната твоя.

А ты поешь беспомощно и тоненько,
И, в мире проживающий ином,
Я с твоего пытаюсь подоконника
Дельфинию увидеть за окном.

Слова, как листья, яркие и ломкие,
Кружатся, опадая с высоты,
А за окном твоим заводы громкие
И тихие могильные кресты.

Но суеты постылой переулочной
Идешь ты мимо, царственно слепа.
Далекий путь твой до ближайшей булочной
Таинственен, как горная тропа.

И музыкою полно воскресение,
И голуби ворчат над головой,
И поездов ночных ручьи весенние
Струятся вдоль платформы Беговой.

А над Москвою небо невесомое,
В снегу деревья с головы до пят,
И у Ваганькова трамваи сонные,
Как лошади усталые, стоят.

Важным самостоятельным направлением в авторской песне 60-х стало туристско-альпинистское. Это не случайно. Техническая и гуманитарная интеллигенция, нынешние и недавние студенты рвались в трудные походы на неприступные вершины и в тайгу, чтобы хотя бы на время уйти от сложных проблем и фальши городской жизни, почувствовать себя настоящими мужчинами, прикоснуться к истинным, неискаженным ценностям человеческих отношений – любви, дружбе, – испытанным трудными условиями и опасностями. Возможно, поэтому крупным песенным центром в Москве в те времена стал Московский педагогический институт имени

Ленина, где учились тогда Ада Якушева, Юрий Визбор, Юлий Ким, Юрий Ряшенцев и другие широко известные позднее поэты и авторы песен.

Именно там еще с конца 50-х годов зазвучали сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по всей стране песни Юрия Визбора, рождая снежную лавину подражаний. Популярность этого человека при жизни, оборвавшейся в 1984 году, когда Юрию едва исполнилось пятьдесят, поистине была фантастической, и вовсе не потому только, что Визбор был еще и талантливым киноактером, сыгравшим, в частности, роль Бормана в «Семнадцати мгновениях весны». Его песни «Лыжи у печки стоят», «По судну «Кострома» стучит вода», «Серега Санин», «На плато Расвумчорр не приходит весна», «Мы стояли с пилотом ледовой проводки», «Волейбол на Сретенке» и многие другие создали подлинную романтику этой совсем неромантичной эпохи.

Визбор – певец мужества в трудных условиях, истинной доблести, несмотря ни на что, столь немодного в наш прагматичный век мужского рыцарства. Атрибуты его героя – скала над ледяной пропастью – «вот это для мужчин – рюкзак и ледоруб», кабина взлетающего самолета – «пошел на взлет наш самолет», отсек подводной лодки – «наша серая подлодка в себя вобрала якоря», завьюженный перевал, где «бульдозеру нужно мужское плечо». Когда слушаешь эти песни сейчас, в начале нового века, сердцем овладевает острая ностальгия по собственной юности.

Я был знаком и дружил с Юрой более двадцати лет, с 1961 года. До сих пор помню распахнутые по-летнему окна в доме на Неглинной улице – угол Кузнецкого Моста, где в огромной коммунальной квартире, на одной лестничной площадке с управлением культуры, жили такие молодые тогда Юра и Ада, сразу одарившие меня счастливым игом своих песен. Начинались 60-е годы – время надежд, горячих споров, стихов и песен. И, пожалуй, комната Юры и Ады, где кипели яростные дискуссии, беспрерывно звенела гитара, собирались друзья и друзья друзей, была одним из песенных центров столицы и всей нашей страны. Во всяком случае, такой она казалась тогда мне – ленинградцу.

С первой же встречи Визбор поразил меня богатством и многогранностью своей натуры. Автор песен, журналист, литератор, спортсмен, художник, обаятельнейший и талантливый собеседник, он повсюду сразу же становился центром компании, ее энергетическим источником. Как всем по-настоящему талантливым людям, ему была свойственна творческая щедрость

и нечастая способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням. Именно от него я услышал впервые песни Юлия Кима, Геннадия Шпаликова и многих других, в ту пору еще неизвестных мне авторов. До сих пор многие песни, и не только Юрины, я слышу как бы его голосом. В том числе и свои ранние.

Мне кажется, что феномен личности и песенного творчества Юрия Визбора достоин самого серьезного изучения. Многообразие талантов буквально разрывало его на части. Блестящий журналист, впервые придумавший «репортажи с гитарой в руках», одаренный прозаик, незаурядный художник, талантливый и обаятельный артист во всех своих проявлениях – от киноэкрана до застольной беседы, альпинист и горнолыжник, всю полноту своей не умещавшейся в рамках одного жанра натуры он более всего реализовал в своих песнях.

Он не был диссидентом, хотя некоторые его песни вроде «Технолога Петухова» или «Что ж вы ботик потопили?» и запрещались. Он был членом КПСС, но именно партийные власти, когда он умер, отказали ему в официальной панихиде. Он не писал политизированной сатиры. Темы его песен вечны: любовь, разлука, измена, трудности настоящей «мужской жизни», горы, лыжи, стоящие у печки, ледоколы во льду, Север, океан. Песни его «для всех». Они не вызывают сложных «неконтролируемых ассоциаций», не требуют высокой интеллектуальной подготовки. Но именно эти, казалось бы, нехитрые и тривиальные ценности оказались наиболее долговечными и привлекательными, перешагнув через рубеж тысячелетий из 60-х годов в наше сумрачное время с разгулом насилия и стяжательства.

Я хорошо помню Грушинские фестивали самодеятельной песни на Волге, под Самарой, собиравшие тогда более ста тысяч человек. Стотысячная толпа сидела на горе, у подножия которой на волжской протоке была оборудована сцена-плот в форме гитары. Грифом гитары был трап, по которому на сцену поднимались выступающие. Паруса яхт с другой стороны плота образовывали задник этой плавучей сцены. Конкурсные концерты длились, как правило, до глубокой ночи. А после этого – еще концерт членов жюри, в которое входили, конечно, тоже авторы песен: Сергей и Татьяна Никитины, Виктор Берковский, Дмитрий Сухарев, Александр Дулов и другие. Восхождение каждого из них по трапу на плот-гитару сопровождалось дружными аплодисментами. Но когда на сцену поднимался Юрий Визбор, вся гора, погруженная в темноту, вспыхивала тысячами фонариков и взрывалась ураганом аплодисментов. И ураган этот долго не стихал. Таких оваций стотысячной аудитории, самой большой в нашей стране, а может быть, и на всей планете, не знал

никто.

На этих фестивалях, где мы с Юрой попеременно возглавляли жюри, не обходилось порой без курьезных историй. Как раз в то время вышел телефильм «Семнадцать мгновений весны», где Визбор сыграл роль Бормана и немало гордился, когда его узнавали на улице. Я помню по-июльски жаркий день фестиваля. Мы с Юрой в одних плавках идем по тропке к берегу, а вслед нам и навстречу в таких же купальных нарядах друг за другом гуськом движутся сотни молодых людей. Прямо за нами идет стайка молоденьких девушек, и вдруг одна из них, самая хорошенькая, на которую Визбор скосил глаза, говорит подруге: «Смотри, Маша, как мужик на Бормана похож». – «Да что ты, Нина, – отвечает вторая, – ну нисколечко не похож!» Юра расстроился, покраснел и буркнул сердито: «Саня, ну что за идиотка! Это я-то не похож на Бормана!»

Выйдя на берег и искупавшись, мы сели в тенек, и Юра взял в руки гитару. Вокруг сразу же образовался молчаливый кружок слушателей. А надо сказать, что как раз в это самое время на поляне фестиваля вовсю работало «предварительное жюри», проводя отбор авторов и исполнителей на заключительный конкурсный концерт. Мы с Юрой, как почетные гости и руководители Большого жюри, от этой изнурительной работы были освобождены. Послушав пару Юриных песен, один из слушателей произнес: «Слушай, парень, чего ты здесь просто так поешь? Ты иди покажись в жюри – тебя обязательно на конкурс пропустят».

Кажется, тогда на берегу Волги мы с Юрой и сочинили вместе шуточную песню с придуманным им припевом: «Омск, Томск, Москва, Чита, Челябинск». В другой раз нам была выдана байдарка, на которой мы вдвоем катались по живописным волжским протокам. День был воскресный, и все островки были усеяны загорающими телами. Мы никак не могли наладиться вместе грести, и Юра, старый «ас» гребного спорта (каковым он себя считал), все время угнетал меня едкими замечаниями. Вдруг мы заметили, что с соседнего уединенного островочка усиленно машут две загорающие там девицы. «Меня опознали, – самодовольно улыбнулся Визбор, – давай подгребем». Подплыв поближе, мы обнаружили двух совершенно незнакомых, весьма привлекательных, но уже сильно навеселе бабенок, одна из которых громко заявила: «Зинка, себе я оставлю этого толстого. А ты с чернявым забирай вторую поллитру и греби вон на тот островок». Услышав это, мы с Юрой, не сговариваясь, рванули в два весла от берега. Уже почти на середине Волги Визбор сказал: «А ведь неплохо гребем. Чего я к тебе придирался?»

На каждом Грушинском фестивале традиционно устраивались футбольные матчи: «Сборная Куйбышева» против «Сборной гостей». В этих матчах Юра принимал обязательное участие, играя, как правило, в нападении. «Смотри, сам Визбор играет». Но однажды, получив удачный пас, Юра стремительно помчался по правому краю и, легко миновав защиту, напрямую вышел к воротам. Тут уж было не до почтения. «Лысого держи, лысого», – заревела толпа.

Характер Юрия не был простым. Он любил первенствовать и никакого соперничества решительно не признавал. Когда на общем концерте кому-то другому (как ему казалось) хлопали больше, он краснел и сердился, хотя старался не подавать вида. Правда, случалось это нечасто.

В те годы, когда сам я еще редко выступал со своими песнями, он в своих концертах довольно часто их пел. Один из его биографов – Роллан Шипов – отмечал, что по частоте исполнения у него на втором месте были песни Ады Якушевой, а на третьем – мои. По этой причине некоторые из моих старых песен – «Кожаные куртки», «Деревянные города» да и некоторые другие – часто приписывали Визбору.

В связи с этим вспоминается история, произошедшая со мной в начале 77-го года на борту научно-исследовательского судна «Академик Курчатов», пересекавшего Атлантический океан. Мне в каюту неожиданно позвонил начальник радиостанции и сказал: «Ну-ка иди скорей в радиорубку, тут тебя Би-би-си передает…» Не слишком обрадовавшись этой новости, я все же пошел в радиорубку. Когда я туда вошел, то увидел, что там уже сидят капитан, первый помощник и еще один член экспедиции «в штатском», которого в команде называли Федя – Лохматое Ухо. Из динамика несся мой голос, поющий песню. Все присутствующие обратили на меня свои безучастные взоры – так смотрят на дорогого покойника. Сесть никто не предложил. Наконец песня кончилась, и диктор произнес: «Радиостанция Би-би-си закончила очередную передачу из цикла «Русский магнитофониздат»: поэты-певцы, преследуемые Советским правительством…» Взгляд первого помощника, устремленный на меня, приобрел большевистскую жесткость и непримиримость к врагам Рейха. «Вы только что прослушали, – продолжал диктор, – песню Юрия Визбора «Чистые пруды» в исполнении автора…» Я сказал: «Слышали? До свиданья». И ушел.

Помню, году в 64-м Юрий Визбор приехал в Ленинград в командировку от журнала «Кругозор» вместе со своим талантливым приятелем – фоторепортером Виктором Сакком. Появился первый очерк о ленинградских бардах, в том числе и

обо мне. Сохранилась гибкая пластиночка, где Визбор сам исполняет мою песню «Над Канадой небо сине», сообщив перед этим слушателям, что делает это вместо автора потому, что «Городницкий, как всегда, между двумя морями, и его погрубевшие руки что-то неважно управляются с гитарой». Справедливости ради надо отметить, что мои «погрубевшие руки» до сих пор с гитарой справляются плохо…

Радиограмму о смерти Юры в сентябре 1984 года я получил на борту «Витязя», который в это время стоял в порту греческого города Пирей, и наша бортовая радиостанция работала только на прием. Это неожиданное трагическое известие было ударом не только для меня, но и почти для всех участников экспедиции. Вечером того же дня мы собрались, тесно набившись в моей довольно-таки просторной каюте – научные сотрудники, моряки, водолазы, механики. Всю ночь пели Юрины песни – их знали все. За переборкой мерно поскрипывали швартовые концы, гудели суда в ночном порту. В распахнутом окне над темными Афинами тускло светила одинокая звезда Парфенона. Только на третий день, когда вышли в море, заработал передатчик. Мы послали радиограммы соболезнования и отдали Юре последние почести, имитировав обряд морских похорон – в море бросают венок, и пароход делает прощальный круг вокруг него с протяжным гудком. Наблюдая эту невеселую картину, я подумал: «Ему бы это понравилось».

Юра любил море. И не только море: суровую и непокорную Арктику, неприступные и постоянно манящие горы, необъятные просторы Пятого океана. Его привлекала не только экзотика, хотя и это было. В первую очередь его привлекали люди, вступающие в единоборство со стихией и с собой, проявления их душевных качеств на границе человеческих возможностей.

Прошло почти тридцать лет со времени его безвременного ухода, а песни Юрия Визбора, не в пример песням других ушедших в прошлое авторов, все поют и поют, и интерес к ним не ослабевает. И не только на вечерах в киноконцертных залах «Россия» или «Крокус Сити Холл» в день его рождения 20 июня, которые стали традиционными, но и просто по стране, – в туристских походах, в экспедициях, на фестивалях. Визбор был и остается самым «поющимся» автором из всех «шестидесятников», – в этом его удивительный феномен.

В одной из его давних песен, написанной еще в молодые годы, есть такие строчки:

Спокойно, дружище, спокойно!
У нас еще все впереди.

Они поистине оказались пророческими. Песням Юрия Визбора, у которых все еще впереди, суждена долгая и славная жизнь. Они никогда не состарятся, пока существуют горы и океан, пока девчонка, заслонившись рукой от вечернего света, с любопытством смотрит на встречный ледокол, пока остаются на земле бескорыстная дружба и светлая любовь, мужская доблесть и радостное чувство удивления красотой окружающего мира.

На мой пятидесятилетний юбилей в давнем 1983 году Юра принес мне в подарок сине-белый военно-морской флаг, на котором было написано: «Старшему матросу А. Городницкому от матроса Ю. Визбора». Я спросил у него: «А почему же старшему?» «А я тебя моложе, – ответил он, – на полгода. Дольше проживу». И засмеялся. Таким вечно молодым он и остается…

Нам с годами ближе
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога.
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки,
На плато полночном
Снежная пурга.

Что же, неужели
Прожит век недлинный?
С этим примириться
Все же не могу.
Как мы песни пели
В доме на Неглинной
И на летнем чистом
Волжском берегу!

Мы болезни лечим,
Мы не верим в бредни,
В суматохе буден
Тянем день за днем.
Но тому не легче,
Кто уйдет последним, —
Ведь заплакать будет
Некому о нем.

Нас не вспомнят в избранном —
Мы писали плохо.

Нет печальней участи
Первых петухов.
Вместе с Юрой Визбором
Кончилась эпоха —
Время нашей юности,
Песен и стихов.

Нам с годами ближе
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога.
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки,
На плато полночном
Снежная пурга.

Какие только песенные открытия не совершались нами в 60-е годы! Казалось иногда, что, придя в гости, на день рождения или просто так, люди только для того и собирались, чтобы не поговорить, не потанцевать, а именно – попеть. Каждая новая песня, «авторская», была радостью. Здесь и тонкие лирические песни Ады Якушевой («Синие сугробы» или «В речке Каменной»), и полные мужской силы песни столь много обещавшего тогда Михаила Анчарова, и знаменитое «Бабье лето» Игоря Кохановского, об авторстве которого я узнал только через много лет, когда мы с ним оказались соседями по дому.

Что касается моего родного Питера, то там в это время инженеры и учителя дружно распевали лихие куплеты песни «Когда качаются фонарики ночные», сочиненной уже упомянутым выше поэтом Глебом Горбовским и долгие годы считавшейся «народной». Несколько позднее начали придумывать песни на свои стихи и прочие ленинградские поэты и прозаики: Виктор Соснора, Сергей Вольф, Ирена Сергеева и другие. О лирических песнях Нонны Слепаковой, появившихся примерно в то же время, мы уже вспоминали. Сейчас, по прошествии полувека, когда все это стало историей, хотелось бы хотя бы отчасти восстановить справедливость, напомнив, в частности, что авторские песни рождались в ту пору не только на московских кухнях, но и на ленинградских, и заметный вклад в это внесли питерские поэты.

В это же самое время ленинградские студенты и туристы пели в турпоходах и просто дома песни механика Валентина Вихорева («Лето уходит на юг»), молодого физика Бориса Полоскина («Ты идешь то тайгой, то болотами»), инженера-

строителя Евгения Клячкина («Ни страны, ни погоста» на стихи Бродского), тренера по фигурному катанию Юрия Кукина («Париж», «Город») и многие другие.

Я вспоминаю, как 25 мая 1965 года в переполненном зале Дворца культуры имени Кирова на Васильевском острове, где проходил заключительный концерт Первого ленинградского конкурса самодеятельной песни, на сцену вышел молодой человек с пышноволосой курчавой головой и, смущенно улыбаясь, представился как «тренер по фигурному катанию». Потом он взял гитару и запел:

А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

Так сразу, одним махом, вошел в авторскую песню Юрий Кукин, без которого нельзя теперь представить ни авторскую песню незабвенных 60-х, ни нашу тогдашнюю ленинградскую жизнь. Песни его с удивительной быстротой стали распространяться по всей стране. Эта популярность не была сродни шумной эстрадной популярности некоторых современных бардов, покоряющих многотысячные дворцы спорта. Песни Кукина негромко пелись у дымных костров геологических экспедиций, в тайге и среди болот, где он кормил комаров наравне со всеми. Так они обрели свою подлинность, доверительность разговора, задушевную интонацию, мягкий, едва ощутимый юмор.

Лирический герой Юрия Кукина далек от суперменства, он не кичится своей страстью к путешествиям и тяготам экспедиционной жизни, в нем нет ничего показного. Наоборот, он как бы просит извинения за органическую неспособность жить атрибутами мещанского уюта, наблюдать восходы с закатами из окна и «колера» – на выставках. Для него «берег не место для встречи, а скорее – начало пути». Несмотря на внешнюю мягкость разговора, полное отсутствие поучающего назидательного тона, восклицательных знаков в строке, эта жизненная позиция Кукина – чрезвычайно тверда.

Юрий Кукин обладал несомненной поэтической одаренностью, хотя стихи в его песнях не всегда равноценны, они часто поражают своей удивительной точностью и образностью:

И что кролик – всего только кролик,
А король, он и голый – король.

Или:

Горы головы в землю упрятали,
Обхватив их руками дорог.

Любимые герои песен Кукина – сказочник, канатоходец, волшебник и, наконец, клоун – персонажи, несущие людям добро и улыбку, избавляющие их от грусти и уныния:

Если же внезапно истинную грусть
Как-нибудь случайным жестом обнаружу,
Я подпрыгну вверх, и я перевернусь,
И тогда опять вам буду нужен.

За обликом клоуна в этой, одной из лучших песен Юрия Кукина, легко угадывается сам автор с его бескорыстной добротой и грустной улыбкой. Песни Юрия Кукина, приглашающие собеседника путешествовать во времени и пространстве, зовущие в реальный мир тайги и не-реальный мир сказок, которые переплетаются, – подобие золотого ключика, открывающего добрую волшебную страну, «рай забытого детского сна». В этом секрет их долговечности и жизнеспособности, их неистребимой романтики в наше, увы, прагматическое время.

Юры не стало в июле 2011 года. В последние годы он кабально много выступал и мало писал. Как он сам признавался, он не мог писать не от души, а «по заказу». Но пока существуют люди, молодые и старые, видящие мир «закутанным в цветной туман» и готовые ехать за этим туманом, песни Юрия Кукина будут жить.

В этот период, где-то в середине 60-х, у авторской песни стало закладываться и другое направление – появилась целая плеяда молодых самодеятельных композиторов, как правило, начисто лишенных музыкального образования, которые стали придумывать под гитару мелодии на полюбившиеся им стихи. Так в рамках «авторской песни» возникло еще одно альтернативное направление – «второе искусство» в песенной музыке. Не случайно самое, пожалуй, точное определение авторской песни, данное В. Альтшуллером, формулируется как «музыкальное интонирование русской поэтической речи». Наиболее яркими представителями этого направления стали доцент Московского института стали и сплавов Виктор Берковский, автор знаменитой в те годы песни «Гренада» на стихи Михаила Светлова, «поющие физики» Сергей и Татьяна

Никитины, создавшие целую песенную антологию русской советской и мировой поэзии, доктор химических наук Александр Дулов, автор прекрасных песен на стихи Николая Гумилева, Мориса Карема, Александра Кушнера и других поэтов, и некоторые другие авторы.

Несмотря на жестокую (и, как правило, необъективную) критику со стороны «композиторов в законе», песни, созданные этими представителями технической интеллигенции, быстро запоминались, подхватывались и в короткое время становились известными по всей стране, хотя никаких записей ни на радио, ни на фирме «Мелодия» в те поры не было и даже быть не могло.

В Питере признанным лидером среди самодеятельных композиторов стал инженер-строитель Евгений Клячкин. Один из крупнейших композиторов XX века Альфред Шнитке, когда говорил об авторской песне, всегда выделял Клячкина и отмечал, что из всех авторов он обладает самыми высокими музыкальными талантами. Действительно, мелодии Евгения Клячкина ни на что не похожи и совершенно оригинальны. Его песни всегда можно узнать по композиторскому почерку. Судьба Евгения Клячкина, к сожалению, сложилась трагически. В 1990 году он покинул Ленинград и уехал в Израиль, где в июле 94-го года погиб при купании в Средиземном море.

В целом в моем родном Ленинграде авторская песня в конце 50-х – начале 60-х годов появилась и развивалась как бы отдельно от Москвы. Одним из основных ее истоков, кроме уже перечисленных, были «геологические» (именно геологические, а не туристские) песни, изустно переносившиеся в многочисленных экспедициях ленинградских геологических организаций – таких, как Всесоюзный геологический институт, мой родной Горный институт, Институт геологии Арктики и других.

Общественный интерес к авторской песне в Питере стал заметно проявляться уже в начале 60-х. Мало-помалу появился круг активных любителей этого жанра, который весной 1965 года провел первый городской конкурс авторов и исполнителей. Мне вместе с Окуджавой довелось участвовать в работе жюри этого конкурса. Именно на этом конкурсе впервые и заявил о себе совершенно неизвестный до того Юрий Кукин, вызвавший бурные аплодисменты всего зала.

Рождение авторской песни в Ленинграде связано с клубом «Восток», который нашел себе пристанище в Доме культуры работников пищевой промышленности, разместившемся в старинном дворянском особняке неподалеку от «Пяти углов» на улице Правды, 10. Запущенный этот особняк, выстроенный в

ложноклассическом стиле, с флигелями, украшенными лепными карнизами, охватывавшими с двух сторон небольшой дворик, в центре которого чернела тяжеловесная и чужеродная здесь статуя Ильича в широких мешковатых брюках (сейчас статую убрали), на долгие годы и даже десятилетия стал крупнейшим центром авторской песни в стране. Иногда я думаю, почему это началось именно в ДК работников пищевой промышленности? Не потому ли, что духовная пища в удушливую «Эпоху застоя» была не менее нужна, чем хлеб?

Основу клуба составила группа молодых ленинградских авторов, в число которых вошли Евгений Клячкин, Борис Полоскин, Валентин Вихорев, Валерий Сачковский, Юрий Кукин, Валентин Глазанов, исполнители авторских песен Виталий Сейнов и Михаил Кане и некоторые другие. К ним примкнули первые активисты клуба – Наталья Смирнова, Ирина Кострец, Вера Бордюк и другие. Назван был клуб – «Восток» – по имени первого космического корабля, на котором Юрий Гагарин поднялся с Земли в космос.

Интересно, что этот первый песенный клуб, родившийся в кафе «Восток» в декабре 1961 года, вовсе не был «клубом самодеятельной песни» в общепринятом его понимании – он объединял прежде всего авторов и исполнителей, а не только любителей этого жанра. И не только ленинградцев – участие в концертах и в работе клуба принимали приезжавший часто сюда из Москвы вместе с Театром на Таганке и отдельно от него Владимир Высоцкий, быстро подружившиеся с клубом Михаил Анчаров, Ада Якушева и Юрий Визбор. Так что можно считать, что в середине 60-х ленинградский клуб «Восток» стал основным центром авторской и самодеятельной песни.

Поначалу встречи устраивались в молодежном кафе «Восток», на первом этаже дворца, в первый понедельник каждого месяца, но число желающих сразу же оказалось во много раз больше числа посадочных мест, а эпизодические концерты в Малом зале Дома культуры также не спасали положения. Тогда, с осени 1965 года, под яростным натиском любителей песни и совета кафе «Восток» администрация ДК начала проведение цикла абонементных концертов под общим названием «Молодость, песня, гитара» в большом зале ДК, вмещавшем около 900 человек, хотя и этого вскоре стало мало. Так начались знаменитые абонементные концерты клуба «Восток», которому в 2011 году исполнилось пятьдесят лет.

Вечера эти не были обычными концертами. Скорее это были дискуссионные клубы, где яростно обсуждались и сами исполнявшиеся песни, и все многочисленные, в том числе и

острейшие проблемы, с ними связанные. Наряду с авторами и исполнителями песен, из которых сразу же выделился своим мощным голосом Виталий Сейнов, здесь многократно выступали ведущие питерские поэты – Леонид Агеев, Олег Тарутин, Глеб Горбовский, Майя Борисова, Нонна Слепакова, Вячеслав Лейкин и другие. Часто гостями клуба становились и артисты, приехавшие в Ленинград на гастроли. Так по инициативе одного из авторов, Валентина Глазанова, на сцене «Востока» не раз выступали артисты театра «Современник», и в первую очередь Валентин Никулин, ставший одним из первых среди актеров исполнителем авторской песни, и Людмила Иванова, широко известная и как автор песен. Часто бывали здесь и ленинградские артисты, прежде всего из ТЮЗа (Виктор Федоров, Александр Хочинский) и Театра Ленинского комсомола (Юрий Хохликов, Владимир Тыкке). Выступали здесь и именитые московские поэты Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Римма Казакова.

Параллельно с клубом «Восток» в Питере в те годы был создан клуб бардов на Петроградской во Дворце культуры имени Ленсовета. Долгие годы его бессменным руководителем была Анна Ильинична Яшунская. В этом клубе занимались многие известные питерские поэты и авторы песен. В их числе известный поэт, уехавший в Израиль и умерший несколько лет назад Михаил Генделев, популярный эстрадный бард Александр Розенбаум. На занятиях клуба неоднократно бывал Иосиф Бродский. Сама Анна Ильинична, по профессии врач-травматолог, всю свою недолгую жизнь беззаветно отдала авторской песне, постоянно участвуя в жюри разнообразных фестивалей, поддерживая и пестуя молодых авторов. В 2004 году она умерла от неожиданного рака.

Переулка тропка узкая,
Петроградские края,
Где ты, Анечка Яшунская,
Юность дальняя моя?
Ах, друзья-«шестидесятники»,
Позабытые дела,
Были с вами мы – десантники,
Да подмога не пришла.

Все других растила, славила,
Все чужой ценила стих
И на память нам оставила
Пару песенок своих.

Поседевшая и мудрая,
Как старуха Изергиль.
Над рекою Невкой мутною
Вьется солнечная пыль.

Мы живем сегодня иначе
Меж забот своих и дел,
Потому что без Ильиничны
Этот город опустел.
И дубов сырые остовы
Обживает воронье
В шуме Каменного острова,
Где не встретим мы ее.

Там, где к Каменноостровскому
Прислоняется Большой,
В небе светится полоскою
Что-то схожее с душой.
Ах, друзья-«шестидесятники»,
Отгоревшие дотла,
Были с вами мы – десантники,
Да подмога не пришла.

В 1967 году Ленинградская студия научно-популярных фильмов решила снять фильм об авторской песне. Режиссером его был Слава Чаплин, живущий ныне в Израиле. Съемки шли прямо на концертах клуба «Восток». Снимали выступающих, реакцию зала, реплики. Фильм был назван «Срочно требуется песня». На экране были показаны баталии между «профессионалами» и самодеятельными авторами, резкая критика в адрес самодеятельной песни, с которой выступали композиторы и музыковеды. Так, известный музыковед Энтелис сравнивал эти песни с модным в то время шлягером «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» и утверждал, что не пройдет и года, как песни эти будут полностью забыты. В этом, поистине историческом фильме можно увидеть и услышать молоденького Владимира Высоцкого, поющего свою знаменитую песню «Но парус – порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь» и комментирующего уровень текстов «профессиональной» эстрадной песни: «Есть, например, песня, которая начинается так: «На тебе сошелся клином белый свет». Строчка эта повторяется три раза. И два автора текста!» Булат Окуджава поет «Надежды маленький оркестрик» и тут же заявляет, что песен больше писать не

намерен.

В 1968 году официальная пресса начала массированное наступление на авторскую песню. Сигналом для нее, своеобразным «залпом Авроры», послужила упомянутая выше статья в газете «Советская Россия», направленная против Высоцкого. Вслед за ней последовали другие статьи и заметки. Народный артист Сурен Кочарян выступил в газете «Правда» с целым «подвалом», где писал об авторах самодеятельных песен. «Музыка здесь и не ночевала, – писал он. – Бренчанье, иного слова и не подберешь, на гитаре – на двух-трех аккордах. Почти полное отсутствие голоса». И далее: «Песни эти, до удивления похожие друг на друга, отличаются между собой лишь степенью убожества мысли, вариациями махрово-блатных выражений. Характерно полное отсутствие воображения, фантазии. Если же они и присутствуют, то весьма дурного тона».

Привычно восприняв выступления печати как команду, клубы и Дворцы культуры отказались предоставлять свои помещения для «бардов и менестрелей». Пошли запреты на конкурсы и фестивали. Наконец, чтобы поставить последнюю точку в безоговорочном разгроме самодеятельной песни и окончательно решить этот вопрос, газета «Известия» заказала большую разгромную статью одному из ведущих советских композиторов – многократному лауреату Ленинских и Государственных премий, депутату Верховного Совета СССР, автору популярнейших в народе песен Василию Павловичу Соловьеву-Седому, жившему тогда на своей даче в Комарове.

Активисты клуба «Восток» прознали об этом и решили обязательно встретиться с Соловьевым-Седым и постараться отговорить его писать эту статью. Всеобщим решением отговаривать должен был я. Встреча состоялась в жаркий июльский день в Комарове, на литфондовской даче, где раньше жила Ахматова, а в тот год – ленинградский поэт Лев Друзкин с женой, позднее выехавшие в ФРГ. Василия Павловича, дача которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора о самодеятельной песне. Помимо хозяев и меня, в кабинете было еще несколько человек, в том числе ведущий вечеров в клубе «Восток» кандидат искусствоведения, музыковед Владимир Фрумкин и ленинградский историк и драматург Даниил Альшиц. По случаю предстоящего разговора на стол было выставлено сухое вино. Все ждали именитого гостя. Наконец, тяжело отдуваясь, появился покрасневший от жары Соловьев-Седой в летнем полотняном костюме и тюбетейке. На присутствующих он даже не взглянул, а бросив взгляд на стол, произнес: «Водки нет – разговора не будет» и, вытирая платком со лба обильный

пот, развернулся на выход. Его с трудом уговорили обождать. Побежали за водкой.

Так или иначе, разговор все-таки состоялся. Вели его в основном Фрумкин, Соловьев-Седой и я. В течение без малого трех часов я рассказывал Соловьеву-Седому об авторской песне, пел, как мог, фрагменты из песен Анчарова, Кима, Визбора, Высоцкого, Горбовского, Новеллы Матвеевой и других, рассказывал о клубе «Восток», пытался объяснить, что именем композитора хотят воспользоваться для удушения движения самодеятельной песни. Он внимательно слушал и проявил даже неожиданный для меня интерес, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо знает об этом направлении. Когда же я упомянул имя Александра Галича, он неожиданно сказал: «Ну, про Сашу ты мне ничего не говори – это мой автор. Мы с ним работаем». – «Как?» – удивился теперь я. «Да ты что, разве не знаешь?» – спросил Василий Павлович. Оказалось, что песня Соловьева-Седого «Протрубили трубачи тревогу», которую еще в институте мы распевали по команде старшины на строевой подготовке, написана на слова Александра Галича.

Встреча наша оказалась бесполезной. Несмотря на заверения Соловьева-Седого в поддержке авторской песни, 15 ноября 1968 года все в той же газете «Советская Россия» появилась его статья «Модно – не значит современно», направленная против нее. Однако «закрыть» авторскую песню не удалось.

Что же касается ленинградского клуба «Восток», то он с годами стал превращаться в концертный зал авторской песни. Уехал навсегда в Соединенные Штаты Владимир Фрумкин. Разбрелись кто куда авторы первого поколения. Одни завязали с песнями, другие, наоборот, стали эстрадными выступальщиками. Отбыл в Израиль Евгений Клячкин. Но осталась память о недолгом ренессансе 60-х годов и собственной наивной молодости.

Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что именно вторая половина 60-х и 70-е годы, прежде всего в Москве, были временем максимального взлета авторской песни, подхваченной мощной волной движения самодеятельной песни, быстро распространившегося по всей огромной стране. Именно в это время резко усилившаяся бездуховность и фальшь «Эпохи застоя», отразившаяся прежде всего в стремительной деградации песенного искусства и доморощенной и убогой нашей эстрады, заставила молодежь, особенно чуткую ко всякой неправде и двоедушию, искать для самовыражения собственные слова и мелодии.

Именно тогда, в 68-м году, на берегу Волги, неподалеку от

Самары, зажглись первые костры ежегодного фестиваля самодеятельной песни, посвященного памяти Валерия Грушина, куйбышевского студента, погибшего при спасении детей на таежной реке, зазвенели гитары, зазвучали голоса молодых авторов. Лето за летом в первые субботу и воскресенье июля за одну ночь, как в сказке, возникал шумный палаточный город, вмещавший иногда более ста тысяч жителей, и снова исчезал до следующего года. Но исчезал не бесследно: оставались в памяти песни, услышанные здесь, оставалась память в душе каждого, кто посидел у одного из этих бесчисленных костров, хлебнул пахнущего дымом чая из закопченной кружки, увидел десятки микрофонов, привязанных к удилищам, протянутым над головами поближе к поющему. Именно этот, никем особо не афишируемый, а потом и попросту запрещенный песенный праздник стягивал сюда, в самое сердце России, десятки тысяч юношей и девушек из разных областей страны – от Бреста до Петропавловска-Камчатского.

После распада Советского Союза, в эпоху «лихих девяностых», авторская песня потеряла свое былое значение. Из некогда крамольного направления она стала как бы искусством ретро. Несмотря на продолжающийся интерес, фестивали самодеятельной песни, теперь вполне разрешенные, как правило, не открывают ничего интересного по части новых авторов и превращаются в песенные тусовки. На радио и телевидение под маркой авторской песни хлынул поток откровенной пошлости и бездарщины.

В конце прошлого века в своих интервью Булат Окуджава неоднократно подчеркивал, что авторская песня 60-х годов умерла раз и навсегда, что родилась она на московских кухнях и была своеобразным творческим протестом московской пишущей интеллигенции, сродни тогда же возникшему и раздавленному позднее Андроповым диссидентскому движению. Это можно считать справедливым только в том случае, если свести все движение авторской и самодеятельной песни лишь к творчеству ведущей «московской группы» – Окуджавы, Галича, Кима, Анчарова и в известной степени Высоцкого. Несмотря на их определяющий вклад в развитие авторской песни в 60-е, одно их творчество не в состоянии исчерпать всего многообразия массового песенного движения, вдруг родившегося на рубеже 50—60-х годов. Булат Окуджава прав, если брать в расчет всего-то неширокий круг московской интеллигенции, однако, кроме интеллигенции, был еще многомиллионный обманутый и угнетенный народ, который начал обретать свой собственный голос. Не только на московских кухнях родилась авторская песня,

а в «чистом поле» на тяжелом подневольном труде и в дальнем изнурительном походе, на Воркуте и Колыме, в свинцовых потемках ГУЛАГа, где остались безымянными песни сгинувших авторов – «Идут на север срока огромные» или «Черные сухари». Так что не на кухнях ей и кончаться.

Вспоминаю, что около семи вечера 20 августа 1991 года, когда я стоял в цепи защитников Белого дома у Горбатого моста и передавал из рук в руки камни для баррикады, а по радио в очередной раз объявили об опасности штурма, ко мне подошел какой-то паренек и, внимательно посмотрев на меня, сказал: «Александр Моисеевич, это вы? Можно я встану рядом с вами?» Большего комплимента как автор я в жизни не получал.

Тот странный литературно-песенный жанр, возникший в советском обществе в период недолгой «оттепели», многократно запрещавшийся властями и наряду с «самиздатом» породивший «магнитофониздат», предаваемый анафеме виднейшими поэтами и композиторами «в законе» за непрофессиональность, который получил не слишком точное название авторской песни, невозвратно уходит из сегодняшней жизни и становится историей. Казалось бы, на первый взгляд все как раз наоборот, массовыми тиражами выпущены посмертно диски и книги столь одиозных некогда песен Галича, Высоцкого, Окуджавы и других авторов первого поколения. Вышедшая из подполья многотысячная армия каэспэшников, уже не боясь строгих партийных и гэбэшных запретов, регулярно собирает свои шумные фестивали по всей стране – от Курска до Челябинска и Норильска. Снова полны концертные залы в Москве, Петербурге и других городах. Вышло даже учебное пособие по авторской песне для средней школы, написанное профессором Владимиром Новиковым. И все же что-то неуловимо изменилось. Главный в нашей стране фестиваль авторской песни памяти Валерия Грушина, также запрещавшийся ранее, который еще недавно собирал на берегу Волги под Самарой более двухсот пятидесяти тысяч участников, сейчас распался на два противоборствующих фестиваля, разделившего их участников из-за финансовых споров между «хозяйствующими субъектами». Смотреть на это грустно.

Как писали когда-то Ильф и Петров, автомобиль вначале изобрел пешеход, но про это быстро забыли. Рождение авторской песни связано было прежде всего с исполнением стихов под гитарный аккомпанемент, ее главными характерными чертами были поэтическая строка и доверительная задушевная интонация, сразу отличавшие ее от лживой и пошловатой официальной эстрады. Вот этого-то теперь почти и не осталось. С перемещением авторской песни от кухонных застолий и

таежных костров на концертные эстрады на смену тихоголосым авторам, не слишком умело владеющим гитарой, быстро пришли солисты, дуэты и ансамбли, с профессиональными голосами и инструментами. То, что по инерции и недомыслию сегодня еще называют авторской песней, давно уже, по существу, срослось с эстрадой, отличаясь от нее, пожалуй, только более низким исполнительским уровнем, и интегрируется в беспощадную рыночную систему шоу-бизнеса.

В течение ряда лет мне довелось постоянно принимать участие в работе жюри самых разных конкурсов и фестивалей самодеятельной песни, и я не мог не обратить внимание, как необратимо меняется состав их участников. Все больше исполнителей и ансамблей, часто очень хороших. Все меньше поэтов, придумывающих мелодии на свои стихи, а уж хороших и того меньше. Не из кого выбирать. И дело не только и не столько в их физическом отсутствии – вряд ли Россия оскудела талантами, сколько в невостребованности. Прежде всего изменилась сама эпоха, невозвратно уйдя вперед от наивных 60-х. Страна стала другой. Исчезла столь привлекательная запретность яростных обличительных песен Галича и Высоцкого, да и сами герои и антигерои этих песен переместились во вчера и стали предметом истории. Не потому ли так быстро забыли Галича?

Однако в глубочайшем кризисе не только бардовская, но и вся песенная культура в целом. Когда-то, в советское время, у нас была неплохая школа композиторов и поэтов-песенников, действительно понимавших, что такое лирика. Разве можно забыть, например, гениальную песню на стихи Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату»? Сейчас ничего подобного не существует. Зато появился так называемый русский криминальный шансон, который по сути своей – и не русский, и не шансон. Как правило, это псевдоблатная агрессивная пошлятина на грани фола. Мой друг поэт Игорь Губерман, знающий о колючей проволоке не с чужих слов, называет ее кратко: «Фальшак!» Такое впечатление, что кому-то хочется приучить слушателей к романтике грабежей и воровства. Это очень опасно.

Не так давно я предлагал руководству одного из федеральных телеканалов сделать программу, посвященную авторской песне. Мое предложение было отклонено с очень интересным обоснованием: «Авторская песня – это же духовняк! Духовняк не берем. Неформат».

То, что раздается сегодня с многочисленных эстрад под громкие звуки гитар под эгидой авторской песни, тоже уже другая культура. Можно спорить, лучше она или хуже, но она

другая и к литературе никакого отношения не имеет. Поэзия – дело тихое и интимное. Она так же отличается от эстрады, как любовь от секса. Можно прекрасно петь и оркестровать песни, но никакие децибелы, никакая аранжировка и режиссура не искупят убогости текста, как поэтической, так и смысловой. Совсем не гитарный аккомпанемент, а именно поэтическая строка является, по моему мнению, главной отличительной особенностью авторской песни. Она может звучать и под фортепиано (Вертинский, Кузмин), и под другие инструменты. Да и ведущие авторы поколения, положившего начало этому жанру, – Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Юрий Визбор, Ада Якушева, Михаил Анчаров, Юрий Кукин и другие – прежде всего талантливые поэты.

Справедливости ради следует заметить, что в последние годы отмечается все же появление среди молодых авторов одаренных профессиональных поэтов, что внушает некоторую надежду на будущее. Можно назвать Александра Левина, Александра Щербину, Григория Данского, Ольгу Чикину, Татьяну Фокееву, Ксению Полтеву и некоторых других. Так что не следует преувеличивать нынешний кризис авторской песни – время покажет. Лично я думаю, что, как не раз было в многовековой истории народной песни, за падением последует новый взлет.

В 2001 году в Москве при активном участии ведущих авторов Георгия Васильева, Алексея Иващенко, Сергея Никитина, Виктора Берковского и других был создан песенный проект «Песни нашего века». Хор из ведущих авторов под художественным руководством сначала Сергея Никитина, а позднее Виктора Берковского исполнял классику авторской песни – Окуджаву, Высоцкого, Кима, Берковского, Клячкина и других. За минувшие десять лет этот ансамбль приобрел огромную популярность, выступая как в России, так и за рубежом и вернув во многом утраченный интерес к авторской песне. За эти годы менялся состав поющих, но высокий художественный уровень, как самих отбираемых песен, так и исполнительского мастерства, всегда оставался неизменным. Мне неоднократно доводилось выступать с ними как в России, так и за рубежом.

Помню, еще где-то в начале 90-х годов Булат Окуджава сказал мне: «Как все поменялось вокруг. Ведь когда-то мы были в авангарде, а теперь все наоборот. Мы в арьергарде». Справедливость его слов за последние годы стала очевидной. При распаде единого политического, экономического и культурного пространства на просторах бывшего Советского Союза авторская песня из неподцензурного и крамольного искусства 60-х

превратилась в одно из последних немногих средств объединения людей, борьбы за души следующего поколения, разъедаемые наркотиками, национализмом и криминалом. Если раньше ее основой было свободное дыхание в несвободной стране, атака лживого авторитарного строя, то теперь она старается отстоять те немногие духовные ценности, которые еще сохранились в людских душах.

Несмотря на то что первое поколение поющих «шестидесятников» навсегда осталось в прошлом веке, а на смену ему так и не пришла новая поэтическая когорта поющих поэтов, потребность в песне осталась. Не случайно каждый год, так же как и прежде, собирают тысячи участников многочисленные фестивали в России и за рубежом. Пока есть потребность петь вместе, пока существует не поддающееся разрушению единое песенное пространство, остается надежда на будущее.

За линией рампы

По контракту, а чаще приватно,
Над холодной водою Невы,
Много лет я писал для театра,
Но писал понапрасну, увы.
В ту эпоху расцвета Союза,
Подгоняя к мелодии стих,
Для Ленкома писал, и для ТЮЗа,
И для многих театров иных.
Молодой, потому и не зоркий,
Режиссерский блюдя интерес,
То романсы, то песни, то зонги
Сочинял я для будущих пьес.
Худсовет и Горком Комсомола
В стародавние эти года,
В этих песнях искали крамолу
И ее находили всегда.
Никогда я тех песен не слышал,
Потому что опять и опять
Переклеивали афиши,
Чтобы автора песен убрать.
Все травой покрывается буйной,
И захлопнута в прошлое дверь.
Этих песенок чертова уйма
У меня накопилась теперь.
Нынче ставятся пьесы другие.
Но когда раскисаю совсем,
Донимает меня ностальгия
По спектаклям беспесенным тем.

На все заготовлены штампы,
Их выучит школьник любой
И только за линией рампы
Еще существует любовь…

1966

«Театр» – неизменный трепет охватывает меня при этом слове, возвращая в довоенные детские времена. Где-то году в 36-м родители впервые взяли меня, трехлетнего, в Мариинский театр на оперу «Сказка о царе Салтане». До сих пор помню свой восторженный страх и ощущение причастности к таинству, когда в полутемном еще зале, где опущен тяжелый занавес перед недоступной глазу сценой, раздаются негромкие и поэтому тоже таинственные звуки настраиваемых инструментов. И хотя я наизусть, конечно, знал к тому времени пушкинскую сказку, сердце сладко сжималось в предощущении грядущего чуда и праздничных и в то же время пугающих неожиданностей. Да и сам театр бывшей «Императорской оперы» с зеленым бархатом и тускло мерцающей позолотой лож, величественными, как гофмейстеры, капельдинерами, мягкими ковровыми дорожками, по которым не идешь, а неслышно и медленно, словно во сне, летишь, ослепительно зеркальным паркетом и высокими дверями фойе, раз и навсегда запечатлелся в моем воображении как храм всемогущего Бога, дворец самого высокого правителя на Земле – искусства.

До этого я бывал уже с отцом в Эрмитаже, Зимнем дворце и в Царском, но те дворцы были пустые, никем, кроме музейных экспонатов, не населенные, сами как бы из прошлого и нежилые, в чьих огромных зеркалах отражаются только испуганные лица случайных посетителей. Этот же дворец был живой, до отказа набитый праздничной публикой (тогда еще в театры старались одеться понаряднее), наполненный музыкой и светом, с огнистым пыланием электрических свечей в тяжелых старинных люстрах. Я ощущал себя Золушкой на балу. Помню свои долгие и безутешные слезы, когда в первую же блокадную зиму Мариинский был разрушен прямым попаданием бомбы. Глядя на черные руины под снегом, я навсегда, как мне казалось, прощался с этим сказочным миром.

В 45-м году, уже после возвращения из сибирской эвакуации, я снова попал с отцом в только что восстановленный Мариинский на оперу «Князь Игорь». И то же восторженно-религиозное чувство охватило меня. Так же незыблемо, как и перед войной,

висели тяжелые портьеры занавеса, невозмутимо мерцало золото, таинственно звучали приглушенные скрипки. И я понял, что все спасено, что жизнь вернулась. До сих пор более всех других опер люблю «Князя Игоря». И не столько за половецкие пляски, сколько за то незабываемое ощущение возвращения к настоящей жизни после голода и неистребимого холода блокады, бесконечных болезней и унизительных тягот омской эвакуации и главного страха – не вернуться в Ленинград. Вероятно, именно с этого времени мне больше всего в театре нравится недолгий и таинственный момент перед началом спектакля.

В классе шестом-седьмом, начав посещать абонементные концерты в Ленинградской филармонии и привязавшись к симфонической музыке, я несколько охладел к «прикладной» музыке оперы с ее вычурными и замедленными страстями, тем более что к этому времени сильно увлекся драматическим театром, чему немало способствовало мое открытие Большого драматического на Фонтанке с еще молодой тогда труппой. Однако понятие «театр» неизменно вызывает у меня зрительный образ Мариинского оперного. Тогда он назывался «Театром оперы и балета имени Сергея Мироновича Кирова». Потому, вероятно, что злодейски убиенный ленинградский наместник весьма благоволил к балеринам.

Мое нищее мальчишеское воображение поражал в те годы и другой «академический» театр – Государственный театр драмы имени А.С. Пушкина, или Александринский, как называли его по старинке. Здание театра было возведено специально для Императорской драмы еще в середине XIX века знаменитым Карло ди Джованни Росси (в годы «борьбы с космополитизмом и иностранщиной» его, также как и при царе, именовали Карлом Ивановичем). Здесь, в отличие от Мариинского зеленого бархата, царил пурпур с золотом. При взгляде с балкона галерки дух захватывало от высоты. Да и труппу возглавляли артисты, чьим фамилиям предшествовали длинные перечни титулов и званий – заслуженный, народный, орденоносец, лауреат Сталинской премии, и прочая, и прочая, и прочая. Но и без всяких титулов публика бурными овациями встречала появление на сцене «живьем» известных всей стране актеров, лица которых до мельчайшей черточки изучили мы на экранах нетопленых кинотеатров, в сотый раз с неизменным волнением пересматривая «Александра Невского», «Петра Первого» или «Ивана Грозного».

Оглядываясь назад и ностальгически вспоминая эти первые свои мальчишеские фильмы, с удивлением и горечью обнаруживаю, что именно они в гораздо большей степени, чем все

остальное, подсознательно заложили в податливые души моего поколения цепкие семена имперского сознания, чьи живучие корни нелегко вырвать и теперь. Да и как не заложить! Такие замечательные художники, как Эйзенштейн и Пудовкин, такие замечательные актеры, как Черкасов и Симонов! Да и кроме них, на сцене Александринки блистали в те поры такие звезды, как Толубеев, Скоробогатов, Корчагина-Александровская, Меркурьев, Александр Борисов и многие другие. Странно, но факт: в те времена – начало и середина 50-х годов, – вспоминаемые большинством из нас чаще всего с неприязнью и страхом, в условиях, казалось бы, полнейшей несвободы и гонений существовали и в Москве, и в Ленинграде прекрасные, в высшей степени профессиональные театры старой школы, о которых люди моего возраста вспоминают теперь вздыхая.

В Театре комедии, например, располагавшемся прямо напротив Александринского, на другой стороне Невского, сразу за Елисеевским магазином, царствовал неподражаемый режиссер и художник Николай Павлович Акимов.

Покойный отец моей второй жены Анатолий Миронович Наль был в Москве известным театральным режиссером. Приехав в Москву в девятнадцатом году из Ташкента, из известной театральной студии А.А. Рустайкиса, он поступил в Третью студию МХАТа, где учился у Евгения Багратионовича Вахтангова и Михаила Александровича Чехова. Одновременно он успешно дебютировал как поэт. Его первая книга стихов «Стансы» вышла в Москве в 1924 году с предисловием Михаила Кузмина. Позднее он стал актером и режиссером только что образованного Вахтанговского театра. Первой женой Анатолия Мироновича была известная в тридцатые годы актриса Лариса Орочка, которая была значительно старше его, что, однако, не помешало ей оставить мужа и выйти снова замуж за еще более молодого человека. После этого Анатолий Миронович женился вторично на актрисе Нине Ивановне Сундаревой, которая была моложе него на шестнадцать лет.

Когда в 1949 году началась кампания по «борьбе с космополитизмом», Анатолий Миронович оставил Москву и «затерялся в глубинке». В последующие годы Наль был художественным руководителем русского театра в Армении, театра Тихоокеанского флота в Советской Гавани. По возвращении в Москву он стал зачинателем первого телевизионного театра, преподавал в Щукинском театральном училище. В числе его учеников известные актеры нескольких поколений – от Владимира Этуша и Якова Смоленского до Елены Соловей.

Моя жена Анна родилась в сентябре 1942 года в Омске, куда тогда переехал в эвакуацию из Москвы Вахтанговский театр. У нас дома на стене красуются молодые портреты моего покойного тестя и тещи работы Николая Акимова, с которым они когда-то дружили. С ними соседствуют рисунки известного актера и режиссера Михаила Чехова, карандашные наброски задников к вахтанговской постановке «Сирано де Бержерака» работы знаменитого театрального художника В.Ф. Рындина, акварельные рисунки знаменитого Юрия Александровича Завадского и еще какие-то театральные картинки.

Вернемся, однако, в послевоенный Питер. В те годы в акимовском театре ставили Ибсена, Пристли и Ануя. До шварцевской «Тени» было еще не близко. Труппу украшали такие замечательные мастера старого поколения, как Вениаминов и Колесов, Панков и Юнгер, Дмитриев, Зарубина и молодой Олег Борисов. Однако главной любовью моих школьных и студенческих лет неизменно оставался Большой драматический театр на Фонтанке, знаменитый БДТ. Его незабвенная старая гвардия во главе с еще молодым тогда Георгием Александровичем Товстоноговым: Полицеймако, Казико, Лариков, Ольхина, Шарко, Стржельчик, Копелян, Трофимов, Луспекаев, Лебедев, Гай, позднее Басилашвили, Юрский, Лавров и многие другие.

Пьесы, конечно, ставились тогда всякие – от вполне конъюнктурных типа «Русский вопрос» и «Четвертый» Константина Симонова или лавреневского «Разлома» до «Цены» или «Воспоминания о четырех понедельниках» Артура Миллера и, наконец, любимого мною «Эзопа» Гильерме Фидегейро. Но какие неизменно блестящие сценические образы, какая мертвая тишина в переполненном зале! До сих пор с замиранием сердца вспоминаю неподражаемые рокочущие нотки великолепного баса Полицеймако в роли Годуна или Эзопа. С тех пор минуло много лет, однако и сегодня я не могу преодолеть мистического чувства зрительского преклонения перед актером, стоящим на подмостках. Приятельские и даже дружеские отношения здесь нисколько не помогают. Сколько ни пей вместе водки и ни хлопай друг друга по плечу, как снисходительно ни взирай на жалкое похмельное состояние своего приятеля, стоит ему выйти на сцену и, борясь с мучительной головной болью, приготовиться к первой реплике, и тонкая линия рампы непреодолимой границей тут же разделяет вас. Она оставляет тебя внизу, в темном переполненном зале, где все лица неразличимо одинаковы, а лик твоего недавнего собутыльника и друга, который только что сетовал тебе на измену жены и безденежье,

выхватывается вдруг из мрака лучом прожектора, пущенным нетвердой рукой осветителя, и причисляется к лику святых.

И голос, прекрасный громовой его голос, безвозвратно утратив хнычущие застольные нотки, неспешно разворачивается где-то в ночном поднебесье балконов, чтобы через минуту грянуть выстрелом прямо тебе в сердце. Олег Даль и Владимир Высоцкий, Валентин Никулин и Михаил Козаков, Ефим Копелян и Владимир Рецептер, да мало ли кто еще. Дело не в их именах и даже не в них самих, а в Боге, одарившем их уникальным даром, и подобно осветителю, выхватившем их лица из житейской темноты.

Всегда завидую актеру,
Когда в застолье с ним сижу,
Его презрительному взору,
Его хмельному куражу.
Словоохотлив и раскован,
Граненой стопкою влеком,
Он речь свою весьма рисково
Пересыпает матерком.
Самоуверен он и в целом
Умом, похоже, не глубок.
Но вот выходит он на сцену,
И для меня он снова Бог.
Он беден и одет фигово,
И непригляден он на вид,
Но вот он напрягает голос,
И я в восторге, неофит.
Мне сердце сковывает зависть,
И не поделать ничего,
И жалок я, сидящий в зале,
Перед могуществом его.
И снова он – персона грата,
Живущий в сказочном раю,
А я тут с ним запанибрата
Беседую и водку пью.
Он будет пить вино и граппу,
Набивший на халяву рот,
Пока сценическая рампа
Нас снова врозь не разведет.

Нет, не зря бытует старый театральный анекдот, связанный, как и множество других, с именем замечательной актрисы ушедшей эпохи Александры Александровны Яблочкиной. «Александра Александровна, вы слышали? – наша молодая

актриса Леночка замуж выходит». – «Какое счастье! За кого же, за актера?» – «Нет, не за актера». – «Тогда за режиссера?» – «Нет, и не за режиссера». – «Ну, тогда хотя бы за рабочего сцены или осветителя?» – «Нет, Александра Александровна». – «Какой ужас! Неужели из публики?!»

В незыблемости этой старой театральной иерархии я убедился на собственном примере. В 1980 году в Москве, где я уже к тому времени прочно обосновался, торжественно отмечалось восьмидесятилетие старого вахтанговца, замечательного актера и педагога, заслуженного артиста СССР Дмитрия Николаевича Журавлева, особо прославившегося своим уникальным чтением пушкинских стихов. У каждого талантливого чтеца – свой Пушкин. Пушкин Журавлева – восторженный, влюбчивый, солнечный романтический юноша, постоянно поражающийся и радующийся праздничности и многообразию окружающего мира. Дмитрий Николаевич много лет дружил с отцом моей жены, соседствуя с его семьей в старом доме на улице Вахтангова, где размещается Щукинское театральное училище. Унаследовав эту дружбу, мы также подружились с его дочерьми – Машей и Натальей.

Юбилейный вечер, на который нас с женой, конечно, пригласили, проходил в мемориальном Музее А.С. Пушкина в Хрущевском переулке. Узнав, что меня включили в список выступающих, я заблаговременно написал подобающую этому торжественному событию поздравительную оду, которую и зачитал со сцены под одобрительные аплодисменты небольшого переполненного зала. По окончании официальных поздравлений и концерта нас пригласили за сцену на небольшое застолье, где присутствовали старые и именитые вахтанговские актеры. Мы примостились в конце стола, и я был немало польщен этим приглашением в «круг избранных», наивно приписывая это своей поэтической известности. Длилось это, однако, недолго. «А кто этот молодой человек?» – неожиданно и громко спросил, указав на меня пальцем возглавлявший стол Владимир Этуш. «Это зять Анатолия Мироновича», – ответили ему. «А, ну тогда ничего, – милостиво улыбнулся Этуш, – пусть сидит».

Знакомство мое с актерской жизнью началось где-то, кажется, в конце 50-х годов, когда я подружился с молодыми актерами Ленинградского ТЮЗа, руководимого тогда Зиновием Яковлевичем Корогодским, – Виктором Федоровым и Александром Хочинским. Виктор прекрасно владел гитарой, и они вместе с Сашей делали концертную программу из бардовских песен, куда включили несколько моих. Я, пожалуй, впервые тогда услышал свои песни со стороны в

профессиональном исполнении. Надо сказать, что за долгие годы у меня сложилось твердое предубеждение против исполнения авторской песни профессиональными солистами эстрады или певцами. Даже при их искреннем желании спеть как можно лучше и ближе к авторскому варианту из этого, как правило, ничего решительно не получается. Мешают либо безвкусная и трескучая «профессиональная» инструментальная и вокальная аранжировка, либо совершенно неуместные мимика и жестикуляция, либо, наконец, желание «оттенить» голосом наиболее «эмоциональные» места в песне. Слов, которые они поют, солисты эти как бы не слышат (о рифмах и ритме уже и говорить не приходится). Слышат они только свой собственный любимый голос. Им ничего не стоит поэтому пропустить слово или переставить его. «Какая разница? – искренне удивляются они. – Это ведь не так уж важно». И главное даже не в текстовых ошибках и неряшливости, а в неистребимой интонационной фальши эстрадного исполнения, генетически укоренившейся в нашей советской эстраде за десятилетия лжи и притворства.

Мне, например, неоднократно довелось быть свидетелем, как вполне незаурядный и неглупый артист Ленконцерта Альфред Тальковский, с сильным и красивым голосом, всей душой любящий Высоцкого, Галича и Окуджаву, сидя за столом или у костра, пел их песни хорошо и точно, безо всякой аффектации. Стоило ему, однако, надеть концертные туфли и костюм и выйти на сцену, как он преображался. Грудь у него выгибалась колесом, руки сами расходились в стороны вверх на «патетических» строчках, а лицо и голос неостановимо начинали «изображать». Сколько он с собой ни воевал, этого «синдрома сцены» преодолеть не мог. Что же говорить о других? Справедливости ради следует заметить, что в последние годы, после того как он сам начал писать песни и стал постоянным участником разного рода песенных фестивалей, он и чужие песни поет более естественно.

Помню, как при первом нашем знакомстве в начале 60-х буквально плакала Новелла Матвеева, жалуясь на то, что не в состоянии запретить петь свои песни вполне одаренной эстрадной артистке Кире Смирновой. Мне самому, кстати сказать, песни Новеллы Матвеевой в исполнении Киры Смирновой поначалу нравились, а авторское исполнение – не очень. Но уже буквально на второй раз, прослушав песни в исполнении Новеллы, я уже не мог их воспринимать ни в чьем другом исполнении. Да и сам я, услышав впервые в 62-м году в Северной Атлантике во время плавания на «Крузенштерне» по радио свой «Снег» в прекрасном профессиональном исполнении Иосифа

Кобзона, поначалу расстроился, хотя и был, видимо, не прав. Во всяком случае, по прошествии полувека я снова услышал эту песню в его записи, и она мне понравилась.

Другое дело – драматические актеры. Воспитанные на звучащей литературе, они генетически способны понимать и чувствовать каждую строку поющихся стихов. Отсюда их бережное отношение к слову и его звучанию. Кроме того, они приучены петь под гитару, что тоже немаловажно. Наконец, драма, в отличие от эстрады с ее ширпотребом на случайную и невзыскательную публику, учит мере скупого, но точного сценического рисунка без фальшивой аффектации и перебора. Артисты драмы, в отличие от эстрадных, приученных петь что попало, как правило, обладают литературным вкусом и поют только то, что им самим нравится. Поэтому я люблю, когда поют драматические актеры.

В свете этого представляется неслучайным тот факт, что многие профессиональные драматические артисты сами стали литераторами и авторами песен. Не говоря уже о Владимире Высоцком, в их число вошли такие известные актеры, как Леонид Филатов, Владимир Рецептер, Вениамин Смехов, Людмила Иванова, Михаил Козаков и многие другие. Это перетекание из одной смежной области искусства в другую еще раз показало, что многие, подчас неожиданные открытия совершаются в наши дни на стыке не только смежных наук, но и творческих профессий. Еще в Ленинграде в конце 60-х, подружившись с Владимиром Рецептером, я отчетливо замечал, как его знаменитый в те поры моноспектакль по «Гамлету» буквально подталкивал его к собственным стихам:

И кончился Шекспир, который классика,
И начался Шекспир, который жизнь.

В начале 70-х Володя пригласил меня на свою премьеру пушкинского «Разговора книгопродавца и поэта». Усадив меня на заранее указанное место в десятом ряду, он весь спектакль с текстами от книгопродавца к поэту обращался ко мне. Я краснел и вздрагивал. Мне казалось, что на меня оборачиваются.

Помню, поздним летним вечером, спускаясь по ступенькам в подземный переход на станции метро «Невский проспект», я неожиданно встретил поднимавшихся мне навстречу двух знакомых актрис Ленинградского драматического театра – Женю Власову и Аллу Михайлову. Одна из них несла в правой руке тяжелый мужской портфель, а другая, в левой, – мужскую шляпу. А между ними, крепко подхваченный под мышки, волочился

носками ботинок по ступеням, уронив вниз лысую голову с редкими прямыми волосами, какой-то маленький человечек. Увидев меня, мои приятельницы радостно развели руками, отчего отпущенный ими спутник упал, негромко и глухо ударившись лысиной о ступеньку. «Что вы делаете?» – испуганно заорал я. «Как что? – широко улыбнувшись и дохнув на меня коньячным перегаром, ответили они. – Роланчика в Москву провожаем». Они перевернули вверх лицом неподвижно лежавшего на ступеньках человека, и я с ужасом узнал в нем Ролана Быкова.

В середине 60-х из Москвы в Ленинград приехал близкий приятель Елены Кумпан молодой режиссер Анатолий Силин, поначалу, как и мы, получивший геологическое образование, а затем бросивший геологию и пошедший осветителем к Б.И. Равенских в Московский театр драмы имени А. С. Пушкина (он его называл театром имени Дантеса). Высокого роста, шумный и контактный, с живыми насмешливыми глазами и огромной черной бородой, заглушающий всех своим громовым голосом, он сразу же стал душой литературных и театральных компаний. Надо признать, что с его прямотой и веселым сквернословием он внес струю свежего мусорного московского ветра в наши «петербургские» сборища с их филармоническими беседами и церемонными «ахами» об утраченном Серебряном веке. Взятый на договора режиссером в Ленинградский Театр Ленинского комсомола, Анатолий довольно быстро стал своим не только в самых разнообразных театральных и околотеатральных кругах, но и в обкоме комсомола.

В то время в Ленинграде Г.А. Товстоногов на сцене Театра Ленинского комсомола блестяще поставил спектакль «Зримая песня», куда наряду с несколькими песнями Булата Окуджавы вошла и одна моя песня «Под стенами Бреста», которую исполняли актеры Юрий Хохликов и Виктор Костецкий. Несколько позже они вдвоем сделали целую концертную программу по моим песням. Юра Хохликов и сам писал песни, в том числе и довольно интересные. Я до сих пор, например, помню его прекрасную песню «Там по утрам грачиные базары». Уже позднее, в 1972 году, он придумал мелодию к моему стихотворению «Тени тундры», и получилась песня, которая так теперь и существует с его мелодией.

Толя Силин, окрыленный успехом товстоноговской постановки и модой на авторскую песню, решил поставить в конце 1967 года на сцене Дворца культуры имени Ленсовета на Петроградской спектакль по моим песням силами актеров Театра Ленинского комсомола. В спектакле были заняты многие ведущие артисты театра. «Меня» играл Виктор Костецкий. Автором и

режиссером-постановщиком спектакля, конечно же, был сам Силин. Полностью доверившись ему, я не был ни на одной репетиции, вполне удовлетворенный его насмешливыми громовыми заявлениями: «Да что ты в этом смыслишь? Только испортишь мне все».

В день спектакля огромный зрительный зал Дворца был набит битком. Меня Силин запихнул в директорскую ложу, дав распорядителям строгий наказ: до конца действа на сцену не выпускать. А на сцене творилось что-то невообразимое. Спектакль состоял из трех актов. В начале первого акта на вращающемся кругу перед задниками, изображавшими Крайний Север, тундру и тайгу, выезжала, сидя за столом с непрерывно звонящим телефоном, здоровенная деваха Люня Елисеева, игравшая мою секретаршу, отвечающую на постоянные телефонные звонки. Звонили исключительно мужчины: «Срочно по делу», «Старый друг из Игарки», «Летчик Полярной авиации, мы с ним летали вместе и даже падали», «Геологи из Норильска». «Нет его, нет, – отвечала всем секретарша. – Как где? В очередной экспедиции, в Арктике». Так начинался каждый акт.

В начале второго акта декорациями служили разного рода западные рекламы с обнаженными женщинами и объявления, мигающие разноцветными лампочками, а по телефону звонили уже не мужские, а женские голоса: «Как кто спрашивает? Старая знакомая», «Давняя подруга», «Я по работе, вы ничего такого не думайте», «Я только на один день приехала, мне надо обязательно с ним встретиться». «Нет его, нет, – по-прежнему терпеливо отвечала Елисеева. – Как где? В очередном плавании, конечно».

В третьем акте раздавались бесчисленные звонки от представителей организаций и клубов с приглашением выступить, а усталая секретарша раздраженно отвечала: «Да нет же его, нет, не звоните! Нет, не в экспедиции, нет, не в плавании. Как где? На каком-нибудь концерте поет, конечно, что он еще теперь делает?»

Мои многочисленные экспедиционные байки, рассказанные в дружеском застолье, Силин безжалостно вынес на сцену. В истории с песней «Ах, не ревнуй меня к девке зеленой» угнетавший меня перед этим замполит, которого играл прекрасный актер Сергей Иванов, после получения от адмирала разрешения на эту песню, сам выстраивал матросов и лично дирижировал ее исполнением. На фоне колючей проволоки и сторожевых вышек Юрий Хохликов отлично пел запрещенную тогда «Испанскую границу». Исполнение лихой песни «Моряк, покрепче вяжи узлы» сопровождалось умопомрачительным

твистом, который откалывали четыре тщательно отобранные Силиным девицы в черных колготках и туго обтягивающих тельняшках. Уж этот-то номер Толя поставил с большим знанием дела. Недаром он любил цитировать фразу, сказанную как-то его наставником Б.И. Равенских: «Если я не пересплю с актрисой, играющей Джульетту, откуда я знаю, как должен вести себя Ромео?»

В целом же весь спектакль великолепно провалился. Исполнение артистами каждой очередной песни зал встречал дружным свистом и топотом и требовал «самого». Меня, однако, держали крепко. Надо отдать должное профессиональному мужеству актеров, которые в такой «антисанитарной» обстановке ухитрились доиграть спектакль до конца. По окончании спектакля я на ватных, подгибающихся ногах, держась то за сердце, то за опущенный занавес, выбрался на сцену и чужим дрожащим голосом заявил, что ко всему увиденному никакого отношения не имею. Я испытывал жгучий, непреодолимый стыд и перед зрителями, вынужденными два с половиной часа смотреть этот лихой и беспардонный винегрет, и перед усталыми актерами, репетировавшими по вечерам в недолгое свое свободное время, и перед собратьями по перу, не слишком, видимо, поверившими моим горячим заверениям в непричастности. Так или иначе, история эта на всю жизнь отбила мне охоту делаться героем театральных постановок.

Что же касается Толи Силина, то за годы его работы в Ленинграде, несмотря на грандиозные замыслы и интересные заявки, ему так ничего серьезного поставить и не удалось. Вернувшись в Москву, он руководил молодежными студиями, преподавал в Щукинском. Ученики его обожали. Именно для его антивоенных спектаклей, поставленных в конце 60-х в Доме культуры Московского авиационного института, я написал песни «Американских подводников» и «Американских летчиков», позднее взятые на вооружение нашими подводниками и летчиками. Толя вступил в партию и вместо театральных спектаклей начал ставить разного рода комсомольские и партийные фестивали, парады и съезды. Уже в 80-е годы за постановку то ли Всемирного фестиваля молодежи, то ли Олимпийских игр в Москве он стал лауреатом Государственной премии. Одно время он увлекался идеей уличных театров и даже писал об этом.

Переехав в 1972 году в Москву, я практически перестал постоянно общаться с питерской актерской компанией, вызывающей теперь острые ностальгические воспоминания. Теперь она распалась – люди состарились, разъехались, стали

понемногу умирать. Ушел из жизни Сергей Иванов. В 1993 году на моем юбилейном вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала выступал Саша Хочинский, ставший одним из ведущих актеров Питера. Да и не только Питера. Чего стоит, например, его замечательная актерская работа в любимом мною фильме «Бумбараш» с песнями Юлия Кима и Владимира Дашкевича, где он прекрасно играет цыгана и замечательно поет в дуэте с Валерием Золотухиным! На юбилейном вечере Саша пел песню собственного сочинения, написанную на мои стихи, – «Не разбирай баррикады у Белого дома». В марте 1998 года мы должны были с ним вместе выступать в том же зале на вечере, посвященном юбилею Александра Володина, но он на вечер не пришел. Несколько часов спустя выяснилось, что он внезапно умер, упав на улице, от неожиданного сердечного приступа. В 2000 году после тяжелой болезни скончался Юрий Хохликов.

Где-то с середины 60-х я впервые начал писать песни для театра. Начало этому положил молодой в те поры ленинградский режиссер Владимир Воробьев, поставивший в Театре Ленинского комсомола спектакль по повести Анджея Брихта «Дансинг в ставке Гитлера», опубликованной незадолго перед этим в журнале «Иностранная литература». Сложность моей задачи в этом спектакле состояла в том, что я должен был писать «рыбу» на заданные довольно сложные ритмические мотивы современных западных песен, в основном в стиле рок. С большим трудом и напряжением я слепил какие-то тексты, по десятку раз прокручивая на магнитофоне записи мелодий, и понял, что занятие это мне не по силам. Песни, однако, были написаны, и спектакль с большим успехом шел целый сезон, собирая аншлаги, пока в один прекрасный день не выяснилось, что «социалистический» писатель Анджей Брихт стал невозвращенцем и живет теперь на «враждебном Западе». Спектакль, конечно, тут же сняли.

Вообще с авторами пьес мне не везло с самого начала. Ранним летом 1968 года весьма популярный когда-то Андрей Петрович Тутышкин (кто не помнит его фильм «Свадьба в Малиновке»?), незадолго перед этим назначенный главным режиссером Театра Ленинского комсомола, решил поставить спектакль по повести молодого писателя Владимира Войновича «Два товарища», напечатанной в «Новом мире», еще сохранявшем свою «твардовскую» независимость. Мне были заказаны песни к спектаклю. Помню жаркий июльский день и огромный, но душный кабинет главного режиссера, куда я явился показать Андрею Петровичу только что написанную для будущего спектакля песню «Друзья и враги». В это время знаменитая и

недолгая «пражская весна», разбудоражившая весь соцлагерь, уже не давала покоя Суслову и другим высокопоставленным идеологам.

Выслушав мою песню, Тутышкин, бывший, как выяснилось, хроническим сердечником, немедленно проглотил таблетку нитроглицерина, вытер вспотевшую лысину большим фуляровым платком и, с неожиданной для своего большого и грузного тела быстротой выскочив из-за старинного еще «департаментского» стола с резными дубовыми украшениями, начал махать на меня платком и выкрикивать тонким женским голосом: «Вы что, совсем рехнулись? Что вы мне тут понаписали? Хотите, чтобы у нас было как в Чехословакии? Не позволю!» Песня, естественно, была тут же забракована, я как автор – тоже. До ввода наших войск в Чехословакию оставалось чуть более месяца.

Наших пыльных дворов мечтатели,
Вспоминаю вас я,
По игре в футбол – неприятели
И по партам – друзья.
Но не знаю я тем не менее,
От каких же шагов
Начинается разделение
На друзей и врагов.

Все мальчишками были близки мы —
По плечу и на «ты».
Под гранитными обелисками
Догорают цветы…
Что же ты, мое поколение,
Не сносило голов?
Опоздало ты с разделением
На друзей и врагов!

А зелененький шарик крутится,
Молодым не до сна.
А на улице вновь распутицу
Затевает весна.
Обнажают реки весенние
Рубежи берегов.
Начинается разделение
На друзей и врагов.

Где-то примерно в то же время Владимир Воробьев, ставший впоследствии главным режиссером Ленинградского театра

музкомедии, предложил мне написать песню к планировавшейся им тогда постановке спектакля «Бег» по обожаемому мною Булгакову. Я тут же с большой радостью написал песню «Романс Чарноты», которая, однако, в спектакль тоже не попала. И не только в спектакль. Даже будучи уже через много лет, в 1984 году, опубликована в моей третьей книге стихов «Берег», вышедшей в Москве в издательстве «Советский писатель», песня эта была «исправлена» недремлющей цензурой. Тоскующий по утраченной России генерал Чарнота поет:

Не лучше ли с «Чекой»
Мне было бы спознаться, —
К родной земле щекой
В последний раз прижаться?

Бдительный редактор переделал «крамольные» строки так:

Не лучше ли с чекой
Гранатною спознаться?

Тогда же, в конце 60-х, я написал пару песен для спектакля по пьесе Алексея Толстого «Заговор императрицы», о Распутине, которую должен был ставить главный режиссер Ленинградского драматического театра Я.С. Хамармер. Надо ли повторяться, что песни мои в спектакль не вошли?

В 1972 году на студии «Ленфильм» был запланирован кинофильм о Петре I, приуроченный к трехсотлетию со дня его рождения. Поначалу предполагалось отмечать это событие как всенародный праздник. Еще бы – великий преобразователь России, основатель города на Неве! Мне была заказана песня для исторического кинофильма, которую, по замыслу режиссера, поют строители петровского флота – крепостные мужики. Прочитав сценарий, я тут же написал песню, однако режиссеру она не понравилась. «Унылая песня, упаднические, – заявил он. – Такая песня не годится, придется написать другую. Чтобы попусту время не тратить и бумагу не изводить, послушай внимательно, что мне надо, а еще лучше – запиши. Значит, так, – первые титры фильма идут на фоне мачт. За кадром – стук топора. Устье Невы. Начало восемнадцатого века. Ты должен написать песню строителей Российского флота, то есть, как ты сам должен понять, русскую народную песню начала восемнадцатого века. Песня эта у меня главная, идет через весь фильм, поэтому в ней надо точно отобразить все, что мне нужно. Вот это обязательно

запиши, а то забудешь.

Во-первых, в песне надо отразить технологию строительства парусного флота. Как – это уже твои проблемы. Во-вторых, – заявил режиссер, критически оглядев меня, – флот строили православные мужики, а не басурманы вроде тебя. Значит, что-то надо сказать и про это: мягко, но положительно. В-третьих, строили-то ведь крепостные. Значит, надо показать тяжкий гнет крепостничества во всей его неприглядности. А в-четвертых – самое главное. Я вот тут твой первый вариант послушал – он унылый, да и другие твои песни какие-то минорные. Честно говоря, я не уверен, что ты вообще с этой задачей справишься. Так вот, песня должна быть не минорная, а лихая, озорная, хулиганская, чтобы каждому сразу стало ясно, что придумали ее настоящие живые мужики в восемнадцатом веке, а не дохлый интеллигент в двадцатом, понял? Но это еще не все. Через озорство и разухабистость песни на полном серьезе должны просматриваться национальное самосознание и гордость народа, впервые выходящего на морской простор. Да, чуть не забыл! Ведь была война со Швецией, тоже не забудь отобразить!»

Я ушел от требовательного режиссера в унылом настроении, будучи совершенно уверен, что такого числа поставленных им условий в одной короткой песне мне никак не выполнить. Песня ведь должна быть короткой, а, чтобы набить ее таким количеством информации, никаких мегабайт не хватит. Мало-помалу, однако, сам увлекшись собственной стилизацией, я все-таки слепил «русскую народную песню начала XVIII века» с лихим припевом:

Православный глянь-ка
С берега народ,
Погляди, как Ванька
По морю плывет.

Но тут, как назло, документы о всенародном праздновании трехсотлетия со дня рождения Петра Великого попали на утверждение к «самому» генеральному секретарю Л.И. Брежневу. «Поставили меня в неловкое положение, – прошепелявил генсек, удивленно подняв кустистые брови. – Не доложили, что Петр, оказывается, был царь. Ну а раз царь, значит тиран, эксплуататор». И всенародный праздник отменили, а заодно – и фильм. Вместо него к славной годовщине была экранизирована известная оперетта «Табачный капитан». А песня так и осталась с той поры на долгие годы как беспризорная и невостребованная «русская народная песня начала XVIII века».

Прошли годы и даже десятилетия. Поменялась власть. И весной 1996 года меня неожиданно срочно вызвали из Москвы в мой родной Питер в связи с празднованием трехсотлетия основания Российского флота. Как раз к этому времени питерская фирма «Мелодия» выпустила приуроченный к этой торжественной дате альбом моих морских песен под названием «Моряк, покрепче вяжи узлы», где была записана и эта песня. И не просто записана под гитару. Творческой фантазией и стараниями талантливого звукорежиссера Виктора Динова и моего друга и неизменного питерского аккомпаниатора Михаила Кане песня эта превратилась в настоящий музыкальный спектакль. В ней лихо звучали и балалайки, и флейта, и барабан, и русские народные темы «Ах, вы, сени мои сени». Стреляла настоящая пушка. Явственно слышался звук открываемой бутылки. А в конце песни, где речь шла уже о «национальной гордости народа, впервые выходящего на морской простор», грозно и победно громыхали медные трубы.

Главное торжественное заседание и праздничный концерт после военно-морского парада на Неве происходили в самом большом в Питере киноконцертном зале «Октябрьский» на Лиговке, неподалеку от Московского вокзала. Зал, вмещавший около четырех тысяч человек, был набит битком. Первым с приветственным словом выступил тогдашний премьер Черномырдин. Вторым – главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Громов. Третьим – петербургский губернатор Яковлев. Четвертым на сцену выпихнули меня. Выяснилось, что за триста лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвященной строительству русского флота. А дальше было вот что. Стоя на огромной сцене, мы с Михаилом Кане, державшим в руках гитару, старательно пели в отключенные микрофоны. А в десятках мощных динамиков оглушительно гремела на весь зал фонограмма записи с описанным выше многочисленным музыкальным и пушечным сопровождением. Кроме того, по указанию главного режиссера всего праздничного действа, во время исполнения песни за нашими спинами на гигантском белом заднике сцены, как на экране, демонстрировались с выключенным звуком кадры из старого кинофильма «Петр Первый», где русские берут на абордаж шведский фрегат при Гангуте. Эффект был потрясающий.

Мы – народ артельный,
Дружим с топором.
В роще корабельной
Сосны подберем.

Православный, глянь-ка
С берега, народ,
Погляди, как Ванька
По морю плывет.

Осенюсь с зарею
Знаменьем Христа,
Высмолю смолою
Крепкие борта.
Православный, глянь-ка
С берега, народ,
Погляди, как Ванька
По морю плывет.

Девку с голой грудью
Я изображу.
Медную орудью
Туго заряжу.
Ты, мортира, грянь-ка
Над пучиной вод,
Расскажи, как Ванька
По морю плывет.

Тешилась над нами
Барская лоза,
Били нас кнутами,
Брали в железа.
Ты, боярин, глянь-ка
От своих ворот,
Как холоп твой Ванька
По морю плывет.

Море – наша сила,
Море – наша жисть.
Веселись, Россия, —
Швеция, держись!
Иноземный, глянь-ка
С берега, народ, —
Мимо русский Ванька
По морю плывет!

Сейчас, оглядываясь назад, я с удивлением замечаю, что на протяжении многих лет, сколько раз ни пытался я писать песни

для театра и кино, никогда из этого ничего не получалось. Как правило, все песни безоговорочно отвергались заказчиками, тем более что я, не в пример опытным авторам, не заботясь о предварительном заключении договора, писал обычно песни, полагаясь на достаточность устной договоренности с режиссером и радуясь самой возможности работать для театра.

Кроме того, в отличие от таких блестящих авторов, работающих для театра и кино, как, например, Юлий Ким, с его чутким музыкальным ухом пересмешника и завидным талантом буквально перевоплощаться в сценического героя, я всегда писал песни, сколько ни старался этого избежать, как бы от себя, но поставленного в ситуацию героя. А это совсем не одно и то же. В результате у меня набралось за эти годы столько песен, не вошедших в разные спектакли, что из них можно составить целый концерт. И все-таки я благодарен всем режиссерам, заказавшим когда-то мне песни и отказавшимся от них, за саму возможность прикоснуться к волшебному миру театра, ощутить свою причастность к нему.

Кажется, единственным театром, действительно использовавшим написанные мною песни для спектакля, не считая Владивостокского ТЮЗа, режиссер которого Александр Белинский взял в свое время несколько моих песен для своей постановки, стал Ленинградский молодежный театр на Фонтанке. Возник он в 1980 году на основе театральной студии, существовавшей при Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Возглавил его руководитель студии, весьма талантливый режиссер со сложным и неуживчивым характером Владимир Малыщицкий. Знакомство мое с этим театром началось в том же году, когда я случайно, благодаря моей тогдашней знакомой Алле Михайловне Решкиной, попал на спектакль по повести Александра Кондратьева «Отпуск по ранению», поставленный Малыщицким. Мне понравились и сам спектакль, и скупая строгая обстановка театрального зала с подмостками посередине наподобие шекспировского «Глобуса», и нищенский реквизит, и молодые вдохновенные актеры, среди которых выделялась яркой индивидуальностью Нина Усатова. Наконец, сам Малыщицкий, вечно воюющий с кем-то и чем-то молодой режиссер с фанатичным блеском глаз, запавших на желтом от постоянного недосыпания лице. Поэтому, когда я получил от Малыщицкого предложение написать песни для его нового спектакля по повести любимого мною исторического писателя Юрия Давыдова «На скаковом поле возле бойни», посвященной трагической судьбе народовольцев, казненных в Одессе в конце XIX века, то

немедленно согласился.

Инсценировку по повести, получившую название «Если иначе нельзя», сделал мой давний приятель по литобъединению Глеба Семенова талантливый ленинградский литератор и историк Яков Гордин. Главный герой пьесы, вполне реальная личность, Дмитрий Лизогуб, знатный потомственный украинский дворянин, погибает на виселице вместе с другими членами партии «Народная воля» за то, что отдает им свое огромное состояние. Вешает его палач Иван Фролов, тот самый, который незадолго перед этим повесил Софью Перовскую и Андрея Желябова. А утверждает («конфирмует») смертный приговор старый друг родителей Лизогуба, выдающийся русский военный инженер, герой обороны Севастополя и взятия Плевны, генерал-губернатор Одессы граф Эдуард Иванович Тотлебен.

Мне довелось написать семь песен для этого спектакля, три из которых поются от лица Лизогуба. Только через год, когда спектакль уже был поставлен, я узнал, прочитав биографию Дмитрия Лизогуба, что он и в самом деле писал песни. Среди песен, написанных мною от лица Лизогуба, была песня «О губернаторской власти», весьма актуальная в 1981 году для Ленинграда, где самовластно правил тогда печально известный Григорий Васильевич Романов – вдохновитель и организатор бездарного и преступного строительства ленинградской дамбы. Во время спектакля Малыщицкий посадил группы актеров в разные места зрительного зала, и когда на сцене звучал припев:

Губернаторская власть – хуже царской,
Губернаторская власть – хуже царской,
Губернаторская власть – хуже царской, —
До царя далеко, до Бога высоко, —

он как бы подхватывался в зале. Эффект был большой – и зрители, и актеры прекрасно понимали, о чем идет речь. Еще живой тогда Г.С. Семенов, придя на спектакль, недовольно заметил, что не следует дразнить власти и провоцировать их на репрессии. Времена действительно были суровые: охотники за ведьмами в каждой, даже самой невинной строке старались найти потаенный смысл. Помню, в 1972 году я написал песню «Наводнение» для телефильма «Три ненастных дня», где излагалась какая-то вполне заурядная детективная история на фоне ленинградского наводнения. Песню должен был петь Саша Хочинский, игравший в этом фильме. Худсовет объединения «Экран», однако, песню зарубил с такой формулой обвинения: «Вызывает неконтролируемые ассоциации».

Что мы только за век свой не видели,
Городские привычные жители:
И чужие в ночи истребители,
И разрушенный бомбою дом.
Но в ненастную пору осеннюю
Может в город прийти наводнение,
И суровое это явление
Переносим мы все же с трудом.

Забываем не слишком ли скоро мы
За делами и за разговорами,
За домашними плотными шторами,
Что неслышной бывает беда,
Что – какой бы ни век, ни эпоха вам,
Все равно – хорошо или плохо вам, —
По Садовым, Сенным и Гороховым
Заливает подвалы вода?

Прекратим же ненужные прения,
Наберемся побольше терпения,
И ученых досужие мнения
В строгом сердце своем зачеркнем.
Пусть твердят, что напрасны волнения,
Знаем все мы давно тем не менее,
Что бедою грозит наводнение,
Если вдруг позабудут о нем.

Что мы только за век свой не видели,
Ленинграда усталые жители!
Спим тревожно мы в нашей обители,
Репродуктор включив перед сном,
Потому что порою осеннею
Может в город прийти наводнение,
И суровое это явление
Переносим мы все же с трудом.

Мы внезапного ждем объявления, —
Твердо помнит мое поколение:
Обернется бедой наводнение,
Если вдруг позабудут о нем.

Тем не менее спектакль «Если иначе нельзя» с моими зонгами вполне благополучно просуществовал два театральных сезона.

Песня же о губернаторской власти получила довольно большой резонанс в некоторых советских «губерниях», возможно, из-за «неконтролируемых ассоциаций».

Поздно ночью мы возвращались из театра в одном такси с драматургом Борисом Голлером. «Вот для кого попало песни пишешь, – с неожиданной обидой заявил он, – а вот нет чтобы для моих гениальных пьес что-нибудь написать!» – «Да нет, что ты, – смутился я, – давай попробуем». – «Старик, – оживился он, – у меня сейчас как раз Корогодский пьесу о декабристах ставит. Только не о них самих, а о братьях, кадетах там, гардемаринах разных, которые на Сенатскую выйти не смогли, а были рядом. Я и пьесу так назвал – «Вокруг площади». Ты меня понял?» Вдохновленный этим ночным разговором, я на следующий же день придумал песню «Около площади», которую Корогодский на дух не принял, возможно также из-за «неконтролируемых ассоциаций».

Время ненастное, ветер неласковый,
Хмурь ленинградская.
Площадь Сенатская, площадь Сенатская,
Площадь Сенатская.
Цокали, цокали, цокали, цокали,
Цокали лошади
Около, около, около, около,
Около площади.

Мысли горячие, мысли отважные,
Мысли преступные.
Вот она – рядом, доступная каждому
И – недоступная.
Днями-неделями выйти не смели мы, —
Время нас не щадит.
Вот и остались мы, вот и состарились
Около площади.

Так и проходят меж пьяной беседою,
Домом и службою
Судьбы пропавшие, песни неспетые,
Жизни ненужные…
Цокали, цокали, цокали, цокали,
Цокали лошади
Около, около, около, около,
Около площади.

В связи с этим вспоминается другая история, связанная с Корогодским, относящаяся уже к году 84-му, когда, оказавшись в Питере вместе с моим другом известным историком Натаном Эйдельманом, я попал за компанию с ним в ТЮЗ на премьеру пьесы Семена Злотникова «Два пуделя». Сюжет пьесы я не упомню, так как собачки, выведенные на сцену, были самые настоящие, живые, и публику более всего волновало, задерут они ногу или нет. По завершении премьеры за широкой спиной Эйдельмана я попал в кабинет главного режиссера, где Зиновий Яковлевич Корогодский в честь именитого московского историка широким жестом извлек из шкафа бутылку армянского коньяка. «Не хочет Городницкий с нами работать, – разливая коньяк по рюмкам, с деланой обидой пожаловался он Эйдельману, – ни разу для нас ничего не написал». – «А что вы сейчас ставите?» – поинтересовался я. «Как что? Новый спектакль о народовольцах и убийстве Александра Второго». – «Послушайте, – вскинулся вдруг Эйдельман, – да ведь у него же есть превосходная песня специально для вас. Ну-ка, Саня, спой». И я сдуру прямо в кабинете спел незадолго перед этим написанную песню «Ах, зачем вы убили Александра Второго?». Корогодский преобразился. Улыбка на его лице сменилась выражением сильнейшей тревоги. «Это провокация! – неожиданно закричал он, заламывая руки. – У меня вот тут, – стал он тыкать острым пальцем в угол, – и тут, и сверху, всюду подслушивающие устройства! Меня подсиживают все время, меня снять хотят, и ты туда же?» Коньяк со стола немедленно исчез, и недовольный Эйдельман заявил мне: «Больше тебя с собой в приличное общество брать не буду». Вскоре после этого Корогодского действительно подсидели, но уже не из-за песен.

Ах, зачем вы убили
Александра Второго?
Пали снежные крылья
на булыжник багровый.
В полном трауре свита
спешит к изголовью.
Кровь народа открыта
государевой кровью.

Ненавистники знати,
вы хотели того ли?
Не сумели понять вы
Народа и Воли.
Он в подобной заботе

нуждался едва ли, —
Вас и на эшафоте
мужики проклинали.

Бросьте браунинг ржавый,
было б знать до поры вам:
Не разрушить державы
неожиданным взрывом.
Может снег этот сонный
лишь медленно таять.
Не спешите же, Соня,
метальщиков ставить.

Как пошло, так и вышло:
неустройства и войны,
Пулеметные вышки
и крики конвойных,
Туча черная пыли
над колонной суровой…
Ах, зачем вы убили
Александра Второго?

Что же касается Молодежного театра, то взбодренные успехом спектакля «Если иначе нельзя» Владимир Малыщицкий и его тогдашний завлит Саша Ласкин решили сделать спектакль с зонгами по нашумевшему в то еще вполне застойное время роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Я в ту пору этим романом был очень увлечен и тут же принялся писать песни для нового спектакля. Всего были написаны три – песня о Буранном полустанке, песня манкурта и песня о дороге, которая, по режиссерской идее, должна была стать заглавной. Все как будто шло хорошо. Песни, одобренные режиссером и завлитом, уже были записаны на фонограмму для звучания в спектакле, определен был день премьеры, и по всему городу были расклеены афиши нового спектакля с указанием: «Песни Александра Городницкого». Однако буквально за неделю до премьеры Малыщицкий и Ласкин начали прятаться от меня, афиши в городе были спешно заменены другими уже без моей фамилии, а песни из спектакля были выброшены без каких бы то ни было внятных объяснений. Театр кивал на цензуру, цензура – на театр. Поскольку были сняты все песни, а не только «Песня о дороге», которую можно было упрекнуть в «идейной невыдержанности», причины этого так и остались для меня загадкой. Саму же «Песню

о дороге» действительно долгое время нигде не публиковали. Начиналась она такими строчками:

Небеса ли виной или местная власть, —
От какой, непонятно, причины,
Мы куда бы ни шли – нам туда не попасть
Ни при жизни, ни после кончины.

Услышав ее как-то случайно в застолье, тогдашний замдиректора по режиму нашего Института океанологии, полковник КГБ, дружески похлопав меня по плечу, сказал с улыбкой: «Правильно, Саня, песню твою запретили, – она с душком». Вообще, с замами по режиму мне везло почти так же, как и с авторами пьес. Буквально через год новый наш «режимник», тоже, конечно, полковник, – коренастый и плотный, с густыми вьющимися волосами, низким лбом римлянина и густым румянцем постоянно пьющего человека, вызвал меня к себе в кабинет. Закрыв за мной тяжелую бронированную дверь, он достал из такого же бронированного сейфа толстую папку с какой-то перепиской. На одной из бумаг в правом верхнем углу красовался гриф «Совершенно секретно». Рядом с папкой он неожиданно положил извлеченный из того же сейфа уже знакомый мне номер красочного журнала «Наука в СССР», печатавшегося на четырех языках и рассчитанного на заграницу. Как раз в этом номере были опубликованы две мои научно-популярные статьи и стихи. В числе опубликованных было стихотворение «След в океане»:

В ночи Венера надо мной
Горит, как дальнее окошко.
Смотрю назад, где за кормой
Кружится водяная крошка.
Там пенный след вскипает, крут,
На дне бездонного колодца,
А через несколько минут
Волна волной перечеркнется.
С водою сдвинется вода,
Сотрет затейливый рисунок, —
Как будто вовсе никогда
Ее не вспарывало судно.
Ученые немало лет
Гадают за закрытой дверью,
Как обнаружить этот след,
Чтоб лодку выследить, как зверя.

Среди безбрежной синевы
Их ожидают неудачи,
Поскольку нет следа, увы,
И нет решения задачи.
И ты, плывущий меж светил,
Недолог на своей орбите,
Как этот путь, что прочертил
По небосводу истребитель,
Как облаков холодный дым,
Что завивается, как вата,
Как струйка пенная воды,
Что называется «кильватер».
События недолгих лет
Мелькнут, как лента на экране,
И ты пройдешь, как этот след
В невозмутимом океане.

«Вот, полюбуйтесь, это ведь ваши стихи?» – сунул он мне под нос раскрытый журнал. На открытой странице жирным красным карандашом были подчеркнуты несколько строк из этого стихотворения. «Так вот, – внушительно произнес мой собеседник, налюбовавшись моим недоумением и похлопав короткопалой рукой по папке с документами. – Из-за этой вашей публикации уже полгода ведется специальная переписка между ВПК, КГБ и Академией наук. Поскольку вы являетесь сотрудником Института океанологии, то прочитавший ваши стихи по этим строчкам может догадаться, что в нашем институте ведутся закрытые работы по обнаружению подводных лодок по их турбулентному следу. А это уже – разглашение государственной тайны. Понимаете, какие последствия это должно иметь для вас?»

Я побледнел. «Однако, – продолжал полковник, – тщательная проверка вашего досье показала, что вы к таким работам никогда доступа не имели и ознакомиться с этими строгорежимными материалами не могли. Как же вы ухитрились так точно сформулировать задачу, да еще в стихах?» – «Это просто случайное совпадение, – залепетал я. – Вот ведь Жюль Верн еще в девятнадцатом веке сколько всего разного напридумывал наперед и очень точно». – «Ну что же, – без тени улыбки произнес мой собеседник, – мы и товарища Жюля Верна привлекли бы к ответу, попади он к нам. В общем, так. Решено в отношении вас ограничиться пока профилактической беседой. А вы идите, но впредь на скользкие и опасные темы стихи не пишите».

Что же касается Владимира Малыщицкого, то он был все же

из театра изгнан и долгие годы перебивался работой с полусамодеятельными театральными коллективами в Ленинградской области. Я встретился с ним снова в 2008 году, когда тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко милостиво предоставила его театральному коллективу помещение для студии – бывший кинотеатр «Луч» на улице Восстания, неподалеку от станции метро «Чернышевская». Володя сильно постарел, осунулся и сгорбился, но характер его остался, как прежде, несгибаемым. В своем крошечном театрике с деревянными лавками на три ряда он успешно ставил «Вишневый сад», «Плач по Грибоедову» и другие спектакли. Я и понятия не имел, что он в это время уже был смертельно болен. Встрече со мной он обрадовался и тут же заказал мне песни для своей будущей новой постановки по пьесе А.Н. Островского «Горячее сердце». Я написал для спектакля четыре заказанные Володей песни, но уже назначенная премьера не состоялась. В день премьеры на сцене стоял открытый гроб с главным режиссером. Владимира Малыщицкого не стало. Так неудачи с песнями к спектаклям продолжают преследовать меня до самого последнего времени.

В «перестроечную пору», в 87-м году, меня изловил в Ленинграде мой старый знакомый артист Театра Ленинского комсомола Владимир Тыкке, ставший впоследствии руководителем этого театра, переименованного теперь в «Балтийский Дом». «Как здорово, что я тебя нашел, – обрадовался он. – Ты можешь завтра приехать к нам в театр? Очень срочное дело. Мы тут одну пьесу ставим современную, прямо по факту. Пьеса уже готова, ставить должен я. Ты можешь срочно написать песню для нее?» Я пожал плечами. «Да нет, говорю тебе, это уже верняк, нынче не старые времена. Я сам ставлю, понял? Да и дело-то благородное. Действительно, засудили невинного человека – он партийную мафию в своем городе разоблачил во главе с самим секретарем горкома. Его, конечно, посадили, из партии исключили, жена от него ушла. Об этом Юрий Щекочихин в «Литературке» вот такую статью написал! А в пьесе действие происходит в вагоне поезда, идущего в Москву, в котором едет выпущенный из лагеря герой. И оказывается, что в этом же вагоне едет все городское начальство, а главное, засудивший его прокурор, которых вызывают в Москву на разбирательство. Возьмешься? Только вот очень срочно надо, буквально на той неделе. Послезавтра обязательно позвоню». Через день для спектакля «Следствие» была написана песня «Что снится ночью прокурору»:

Что снится ночью прокурору?
Что снится ночью прокурору,
Когда полуночную штору
Качает слабым ветерком?
Не выносить из дома сору,
Не выносить из дома сору,
Не выносить из дома сору
Ему советует горком.

До Тыкке, однако, я так и не дозвонился – он исчез бесследно. Не лучше обстояли дела и с песнями, которые я пытался писать для радиоспектаклей. Помню, как в 1983 году меня попросили написать песню для радиоспектакля по любимому мною роману Роберта Льюиса Стивенсона «Черная стрела». Действие там происходит во второй половине XV века в Англии, знаменитая война Алой и Белой розы за британский престол. Я принес песню на радио. Они ее послушали и говорят: «Значит, так, для вашего же блага: вы нам эту песню не приносили, и мы ее не слышали». «Почему?» – удивился я. «Вы что, сами не понимаете? Тут же прямой намек на Леонида Ильича, который уже в преклонном возрасте и болен. Забирайте вашу песню и уходите».

Прошло пятнадцать лет. Строй поменялся – демократия и все такое. Снова ставят радиоспектакль по Стивенсону, уже другие совершенно люди на другой студии. «Мы слышали, что у вас есть песня к спектаклю. Не дадите нам?» – «Могу дать. Только ее уже однажды запрещали как «идеологически невыдержанную». – «Ну, что вы, сейчас другие времена, – свобода слова и все можно. Приносите». Принес. Они ее послушали и говорят: «Вы что, с ума сошли? Что вы нам принесли? Действительно, Борис Николаевич уже немолод и со здоровьем проблемы. Но мало того, у вас в песне еще и прямой намек на Чеченскую войну, и выборы в Думу». – «Да ведь это Англия, пятнадцатый век! При чем тут Борис Николаевич?» – «Вы нас, видимо, за дураков принимаете, – обиделись они, – забирайте вашу песню и уходите». Так эта песня и не вошла никуда, хотя речь там действительно идет только о войне Алой и Белой розы:

Окрестности в пожаре
Пылают за окном.
Король наш старый Гарри
Подвинулся умом.
На нивах опаленных
Зерна не соберешь —

Летят отряды конных,
Вытаптывая рожь.
К чему страдать – трудиться, —
Все пущено на слом.
Не дай вам бог родиться
При Генрихе Шестом!

В 1967-м в Ленинграде начались впервые гастроли знаменитого тогда театра «Современник». К этому времени относится мое первое знакомство с актерами этого театра, переживавшего тогда пору своего расцвета, прежде всего с Валентином Никулиным и Людмилой Ивановой. Иванова, прекрасная характерная актриса, писала сама песни, пользовавшиеся в конце 60-х годов довольно широкой популярностью. Некоторые из них, например «Ты живешь в другом городе» и «Ниточка», вошли в эстрадные программы. Их пели Гелена Великанова и другие популярные эстрадные артистки. Муж ее Валентин Миляев, физик и доктор наук, тоже писал песни, часто весьма недурные, например песню о Дон-Кихоте, где были такие понравившиеся мне строчки:

Он тихо едет мимо стен
И кровель, слабо освещенных.
Как много есть неотомщенных,
А отомщенных нет совсем.

Одна из его песен «Весеннее танго» в 1998 году вошла в первый диск проекта «Песни нашего века».

Во время гастролей «Современника» в Ленинграде мы часто собирались после спектаклей в доме нашего общего приятеля, тоже физика и доктора наук, известного ленинградского автора песен Валентина Глазанова, жившего тогда на Выборгской стороне неподалеку от кинотеатра «Гигант» и площади Калинина, где в 45-м году вешали пленных немцев. Дом его, несмотря на многочисленную семью, был открыт всем входящим в любое время дня и ночи. В нем все время спали, пили или пели заблудшие московские артисты или питерские барды. Немалая заслуга в этом жены Валентина, Натальи, отличавшейся редким гостеприимством и сердобольностью. Валентин Никулин, Олег Даль, Людмила Иванова и многие другие актеры часто по нескольку дней жили здесь как дома, особенно в периоды психологического или финансового кризиса. Сам Валентин, фанатично влюбленный в театр, написал немало песен,

посвященных Олегу Далю, Валентину Никулину и другим своим тогдашним друзьям. Кстати, именно ему я и обязан своим знакомством с ними. Было это незадолго перед трагической гибелью Даля, уже и тогда пившего безудержно.

Из актеров «Современника» более других еще с конца 60-х я подружился с Валентином Никулиным, запомнившимся мне по страшной роли Смердякова в фильме «Братья Карамазовы». Его вечно худое и часто небритое лицо хронического язвенника буквально преображалось, когда он читал стихи. А знал он их великое множество – от Вильяма Шекспира и Бориса Пастернака до Антонио Мачадо в прекрасных переводах Ильи Эренбурга. Пел он тоже своеобразно, под фортепьяно, немного под Вертинского, с большими иногда затянутыми паузами и порой с излишней аффектацией, но всегда – превосходно. Именно он впервые спел со сцены «запретную» песню, написанную мною в 1966 году в Польше в Освенциме:

Над проселками листья – как дорожные знаки,
К югу тянутся птицы, и хлеб недожат.
И лежат под камнями москали и поляки,
А евреи – так вовсе нигде не лежат.

Как-то он несколько дней прожил у меня в Ленинграде, снимаясь на «Ленфильме» в кинокартине «Баллада о Беринге и его друзьях». Играл он ученого-ботаника, участвующего в многострадальной беринговской экспедиции, и поэтому более месяца не должен был бриться. В результате Валентин оброс весьма неопрятной худой и рыжей бородой, что вместе с редкими торчащими изо рта зубами и седоватой шевелюрой вид ему придавало весьма страхолюдный. Как раз в это время он узнал, что мать моего тогдашнего аккомпаниатора Олега Шмойлова работает районным прокурором, и воспылал чисто актерской идеей поехать вместе с ней на очередной допрос в Кресты, чтобы взглянуть на эту печально известную тюрьму. Посидев какое-то время в показанной ему камере, он соскучился и решил выйти покурить в коридор. Однако, как только вышел из камеры, где находились его спутники, тут же начисто забыл ее номер. Некоторое время он безуспешно пытался стучать в совершенно одинаковые железные двери с «намордниками», пока появившийся откуда-то тюремный надзиратель, увидев его типично уголовный облик, не цыкнул на него: «Ну, ты, курва, я тебе еще вчера сказал парашу вынести, марш в камеру!» И влепил увесистую оплеуху. Мать Олега около двух часов искала пропавшего Никулина по всем «Крестам». Выйдя наконец из

тюремных ворот, он, втянув голову, без оглядки бежал до самого метро.

В 1987 году в Доме творчества писателей в Пицунде я познакомился со сценаристом Семеном Лунгиным, широко известным по сценарию к знаменитому фильму Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд», и его женой – переводчицей Лилианной Лунгиной, учившейся когда-то в одном классе с Давидом Самойловым. Незадолго до этого в Москве вышла из печати повесть замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника» в переводе Лилианны Лунгиной, и Семен решил сделать на основе повести либретто музыкального спектакля для Центрального детского театра в Москве. Мне, по договору с театром, с подачи Семена Лунгина, были заказаны тексты песен для спектакля. Для создания музыки к песням была приглашена специальная дама-композитор. Я прочел детскую повесть в превосходном переводе Лунгиной, и она мне чрезвычайно понравилась. В феврале 1988 года, сидя в Малеевке и внимательно изучив книжку Астрид Линдгрен и сценарий Лунгина, я тут же написал пять песен к этому спектаклю. Увы, и им не суждено было прозвучать со сцены. Спектакль этот, уже включенный в годовой план театра, так и не состоялся, а песни пополнили и без того уже объемистый список моих невостребованных театральных песен, став для меня теперь своеобразной памятью о замечательной супружеской паре Лунгиных.

Впрочем, одна из написанных тогда песен «Марш серых гномов» приобрела самостоятельно некоторую популярность. Дело в том, что действие сказочной повести происходит в сказочном скандинавском лесу. Ну а раз лес сказочный, то там обитают разного рода неприятные и даже страшные существа, например хищные птицы друды со стальными клювами, которые охотятся на людей. Но самый опасный вид нечисти – это так называемые серые гномы. Они не имеют ничего общего с добрыми и мудрыми толкиеновскими гномами. Это совсем другая популяция. Днем они незаметно прячутся где-то в кустах и оживают только ночью, когда они собираются в большие стаи и подкарауливают одиноких путников в самых глухих участках леса, чтобы напасть на них всем скопом. А дальше происходит вот что. Если ты их не боишься, они остаются маленькими, серыми и безвредными. Но если ты их начинаешь бояться (а они это чувствуют на расстоянии), то сразу вырастают пропорционально твоему страху и становятся агрессивными – могут зацарапать, закусать, выпить кровь. И, с одной стороны, надо как бы их не бояться, и тогда все обойдется, а с другой – как же их не бояться,

если ты один, их много, а лес глухой и безлюдный? В их мрачном марше нечаянным образом отразились некоторые нотки, созвучные нашим «национал-патриотам». В этом я окончательно убедился, когда на каком-то вечере получил записку такого содержания: «Погоди, жидовская морда, мы к власти придем – тебя первого за ноги повесим». И подпись: «Серые гномы».

…Мы – борцы-энтузиасты.
Человек – наш враг, и – баста!
Словно волки мы зубасты,
Ядовиты, как оса.
За отечество радея,
Изведем его, злодея.
Наша главная идея:
Бей людей – спасай леса!

В середине 90-х годов я познакомился с замечательным артистом Юрием Никулиным. Оказалось, что песня про жену французского посла очень ему нравится, и он пригласил меня к себе на Цветной бульвар, в старое здание Московского цирка, директором которого он тогда был. По этому поводу была организована съемка телеканалом РЕН ТВ, и мы вдвоем с Никулиным, прямо в его кабинете, под гитару Михаила Столяра лихо исполнили эту песню перед телекамерами, предварительно подкрепив свои силы рюмкой коньяка. Не успели мы допеть песню, как в кабинете раздался резкий телефонный звонок. Никулин снял трубку со стоящего на столе аппарата в форме собаки, и, по мере того как он слушал, лицо его все больше мрачнело. «Как из посольства?» – переспросил он. «Какие неприятности? Ну вот, – обратился он ко мне, – уже настучали. Сейчас забирать приедут». Я не сразу догадался, что это розыгрыш. Он подарил мне на память свою знаменитую книжку анекдотов, из которой тут же рассказал мне один: «Саня, знаешь, какая разница между киллером и еврейской мамой? С киллером можно договориться». Через пару лет и его не стало.

В 2000 году я приехал в Питер на вечер, посвященный шестидесятилетнему юбилею моего давнего друга замечательного актера и режиссера Владимира Рецептера, на котором он попросил меня быть ведущим. Вечер проходил в старинном особняке на Фонтанке, неподалеку от Аничкова дворца. Присутствовал весь состав Большого драматического театра имени Товстоногова. Было по-праздничному шумно, зачитывались правительственные телеграммы, был разыгран капустник. Сам Володя читал смешной отрывок из своей прозы

«Прощай, БДТ!», где описывались приключения труппы на первых гастролях в Японии, связанные с приобретением японских ковров. Уже на фуршете за столом рядом со мной оказалась шумная и энергичная худощавая женщина со следами былой красоты на потраченном гримом лице. Когда она заговорила, попросив налить ей водки, я тут же понял, что это Нина Ольхина, немедленно опознав ее неповторимый серебряный голос, запомнившийся мне на долгие года. Моя любимая актриса из старого БДТ, в которую я был по-мальчишески влюблен много лет, еще с седьмого класса. Господи, как она была хороша в 57-м году в тунике Клеи в спектакле «Эзоп» по пьесе Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград», когда закидывала назад голову с тяжелой кладкой золотых волос, демонстрируя онемевшему залу свою беломраморную шею, и, педалируя низкие ноты страстной любовницы, говорила: «Ксанф, ступай и выпей море!»

Я никогда прежде не видел ее вблизи, только с галерки, доступной на скудную студенческую стипендию, жадно прижав к глазам взятый в гардеробе жалкий театральный биноклик, никогда не дававший нужной резкости.

Нина Ольхина, снившаяся мне по ночам в неожиданных юношеских снах. Нина Ольхина, чей голос озвучивал для меня мои первые стихи, и они обманчиво казались лучше, чем были на самом деле. Нина Ольхина, к которой я за все годы, даже в горняцкой форме с золочеными вензелями контрпогон, так и не осмелился подойти с букетиком бледных ленинградских цветочков, справедливо полагая, что она – небожительница, а я – «из публики»…

И сладкая ностальгия по первой школьной театральной любви и утраченной жизни влажной и теплой болью охватила мое сердце.

Остров Израиль

Дорога в Израиль. Летя самолетом «Эль Аля»
И глядя в окно, как плывут под окном облака,
За пару часов осознать успеваешь едва ли,
Как эта дорога на деле была нелегка.
Ее пролагали терпение, труд и отвага,
Мечты вековые избавить народ от беды,
Туда, где сияют цветами еврейского флага
Цвет белого камня и синей прозрачной воды.

Дорога в Израиль идет по российской глубинке,
В болотах Полесья, по краю украинских сел,
И через музеи Освенцима или Треблинки,
Где туфельки тех, кто когда-то туда не дошел.
Дорога в Израиль в потемках теряется где-то.
Там женские крики и трупы на черном снегу,
И розовый дым над варшавским пылающим гетто,
Которое дорого жизнь продавало врагу.

Дорога в Израиль идет через горные кручи,
По жаркой пустыне, где вязнут колеса в песке,
И через улыбки счастливых смеющихся внучек,
Что песни поют на забытом тобой языке.
Дорога в Израиль идет через поиски Бога,
По братским могилам погибших в неравном бою.
На свете одна существует такая дорога,
И все-таки каждый туда выбирает свою.

Мой сын от первого брака, Владимир Городницкий, в 1987 году уехал из Ленинграда в Израиль. Теперь он Зеев. В Израиле у меня сейчас три внучки, три правнучки и один правнук. И еще не вечер. Сын мой – санитарный врач, работает в системе здравоохранения и по мере своих сил борется с бактериями. Уехал он по религиозным убеждениям и живет теперь в Иерусалиме, в религиозном районе Рамот-Гимель. Религиозным он стал еще в Ленинграде, учась в институте. Для меня это в свое время было полной неожиданностью и большим источником переживаний. Полагаю, однако, что каждый человек вправе искать счастья и Бога там, где он его находит. И каждый вправе строить свою жизнь по собственным законам, особенно если он жил хотя бы несколько десятилетий в Советском Союзе с

его неприкрытым государственным и «народным» антисемитизмом, где единственной формой диссидентства для еврейской молодежи в конце 70-х годов было ощущение себя верующим, религиозным евреем.

Подпирая щеку рукой,
От житейских устав невзгод,
Я на снимок гляжу с тоской,
А на снимке двадцатый год.
Над местечком клубится пыль,
Облетает вишневый цвет.
Мою маму зовут Рахиль,
Моей маме двенадцать лет.

Под зеленым ковром травы
Моя мама теперь лежит.
Ей защитой не стал, увы,
Ненадежный Давидов щит.
И кого из своих родных
Ненароком ни назову,
Кто стареет в краях иных,
Кто убитый лежит во рву.

Завершая урочный бег,
Солнце плавится за горой.
Двадцать первый тревожный век
Начинает свой год второй.
Выгорает седой ковыль,
Старый город во мглу одет.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.

Пусть поет ей весенний хор,
Пусть минует ее слеза.
И глядят на меня в упор
Юной мамы моей глаза.
Отпусти нам, Господь, грехи
И детей упаси от бед.
Мою внучку зовут Рахиль,
Моей внучке двенадцать лет.

Впервые мы с женой попали в Израиль в 1990 году, когда поехали в гости к сыну. Летели мы из Москвы польской авиакомпанией «ЛОТ» вместе с огромной группой эмигрантов,

которые тогда массово выезжали из СССР. Еще в Москве, в Шереметьево-2, откуда мы вылетали через Варшаву в Тель-Авив, мы, поначалу не разобравшись, по ошибке встали в хвост длиннющей очереди в таможенный контроль, которую, как выяснилось, занимают за несколько дней до вылета те, кто выезжает на ПМЖ. Все их вещи тщательно обыскивались и перетряхивались, и отбиралось все, что можно отобрать. Это, однако, не было последним испытанием. Уже после взлета вздохнувшие с облегчением эмигранты, с надеждой всматривавшиеся в окно самолета, еще не знали, что и тот жалкий багаж, который прошел таможенный досмотр, будет по пути ограблен. Грабили все: грузчики «Аэрофлота» при погрузке в Москве, грузчики и сотрудники польского «ЛОТа» при пересадке в Варшаве. Грабили не тайком по мелочам, а явно, разрезая ножом кожаные чемоданы или воруя их целиком, намеренно уродуя те вещи, которые не украли, откровенно наслаждаясь своей безнаказанностью. Да и как не грабить? Во-первых, евреи, а во-вторых – люди совершенно беззащитные, ничьи граждане, вроде военнопленных, – с грабителей спрашивать некому. Этот наглый грабеж был прекращен только после вмешательства посла Израиля в Польше, моего друга Мирона Гордона.

В Варшаве в самолет села группа израильских школьников, в голубых спортивных костюмах с могендовидом на спине, которые возвращались с каникул из Бельгии. Они были развязные, шумные, сидели друг у друга на голове, бегали по салону и вообще всячески игнорировали все правила приличия и нормального поведения в самолете. Девчонки мазали губы только что купленной помадой и примеряли кофточки ужасающих расцветок, мальчишки орали и пили пиво. Совершенно неуправляемая какая-то банда. Они очень раздражали пассажиров, в том числе и меня. Но, как только мы прошли облачный фронт, прозвучала команда «пристегнуть ремни» и под крылом самолета замелькали ярко-голубое Средиземное море и израильский берег с ослепительно-белыми постройками, они, как по команде, подобрались, встали и запели гимн. И тут я, неожиданно для себя, заплакал. Не знаю, что со мной произошло. Это на каком-то генетическом уровне. Я был не одинок. Сидевшая перед нами пожилая чета – кавказские евреи, эмигрировавшие из Тбилиси и больше похожие на старых грузинских князей, нахмурили седые брови и прижали к глазам платки. Грузная многодетная мамаша из Черновцов начала громко всхлипывать, закрывая лицо руками. Чувства эти нетрудно понять. Помимо торжественности момента первого свидания с землей предков, для эмигрантов из Союза, летевших с нами, прибытие в Израиль

означало тогда окончание тех унижений и прямого грабежа, которым они подвергались у себя дома и по пути. За последующие годы мне довелось много раз бывать в Израиле, но до сих пор помню первое открытие этой страны.

В Иерусалиме, в здании на углу улицы Штрауса, в начале 90-х годов работал русский культурный центр. Именно здесь прошли мои первые авторские вечера в Израиле, с которыми было связано немало довольно забавных ситуаций. Самый первый мой вечер в 1991 году вел мой друг Игорь Губерман, который представил меня странным образом. Он сказал: «Вот, Городницкий, песни, стихи, это вы все знаете. Я вам сейчас скажу то, чего вы вообще не знаете. Так вот, слушайте меня внимательно. Городницкий – первый еврей в мире и пока единственный, который погружался в океане на глубину четыре с половиной километра». В зале раздались бурные аплодисменты. На следующий день некоторые иерусалимские русскоязычные газеты вышли с моей фотографией и подписью «Наш Гагарин». Я страшно обозлился, позвонил Игорю Губерману и с употреблением столь любезной его сердцу неформальной лексики сказал все, что я о нем думаю. Он сказал: «Старик, что ты злишься? Ты проверь!»

Действительно, я тогда участвовал в погружениях на всех типах подводных аппаратов, которые были на вооружении в нашем Институте океанологии. И в 1988 году в Северной Атлантике погружался на довольно большую глубину – четыре с половиной километра. Уже вернувшись в Россию, в своем родном институте, я разыскал документы, чтобы узнать национальность погружавшихся. Среди них были канадцы, американцы, немцы, ну и, конечно, великий француз Жак-Ив Кусто, кстати, известный антисемит. Но евреев как будто не было. Был, правда, канадец с подозрительной фамилией Фишер, но он оказался немцем. Я уже выходил в финал, когда вспомнил, что на моем первом погружении вторым пилотом был Саша Подражанский, как и я, Александр Моисеевич. Я прибежал в отдел кадров, выпросил его личное дело, дрожащими руками развернул анкету. Слава Богу, не годится, мама – русская. Так я остался первым евреем в мире, погружавшимся в океане на большие глубины на подводном аппарате. Но, как сказал на моем пятидесятилетнем юбилее мой друг, замечательный писатель Фазиль Искандер, с рюмкой в руках: «Это не считая утопленников…»

Встречаясь с аудиторией в разных городах – Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, – я все время испытывал то же ощущение, что и приезжавший в Израиль незадолго до меня Юлий Ким, который, внимательно посмотрев со сцены в зал, заявил: «Мне кажется, что я уже перед вами однажды выступал».

В пустыне Негев, в городе Арад, я неожиданно встретился со своим давним начальником – бравым когда-то морским подполковником Николаем Николаевичем Трубятчинским, под началом которого я проплавал немало лет в Атлантике на военном паруснике «Крузенштерн». Николай Николаевич происходит из заслуженного морского рода. Все Трубятчинские служили на флоте, и почти все были Николаи Николаевичи. Сюда он перебрался из Мурманска, где руководил крупной морской геофизической экспедицией, вслед за своей еврейской женой, женщиной энергичной, шумной и лишенной комплексов. Теперь бывший моряк сидел, вздыхая, у окна, за которым пылала в закате пустыня Негев, и вспоминал прошлое. После встречи с ним появилась песня:

Подполковник Трубятчинский, бывший сосед по каюте,
С кем делили сухарь и крутые встречали шторма,
Не качаться нам впредь в корабельном суровом уюте,
Где скрипят переборки и к небу взлетает корма.
Опрокинем стакан, чтобы сердце зазря не болело.
Не кляните судьбу, обо всем не судите сплеча!
В зазеркалье у вас все читается справа налево, —
В иудейской пустыне нашли вы последний причал.

Подполковник Трубятчинский – в прошлом надежда России —
Он сидит у окна, и в глазах его черных – тоска.
Позади океан, ядовитой пропитанный синью,
Впереди океан обожженного солнцем песка.
Подполковник Трубятчинский, что вам мои утешенья —
Где бы ни жили мы и какое б ни пили вино,
Мы – один экипаж, все мы жертвы кораблекрушенья,
Наше старое судно ушло невозвратно на дно.

Подполковник Трубятчинский, моря соленого житель,
Как попасть вы смогли в этот город безводный Арад?
Надевайте погоны, цепляйте медали на китель
И – равненье на флаг, – наступает последний парад!..
Возвращение в рай, а скорее – изгнанье из рая,
Где ночные метели и вышки покинутых зон…
Подтянувши ремень, обживает он остров Израиль —
Наших новых времен, наших новых морей Робинзон.

Я пел эту песню на концерте в Беэр-Шеве, а Николай Николаевич сидел в первом ряду и плакал. Несколько лет назад

его не стало.

Привыкший за долгое время жизни к российско-обывательскому стереотипу «еврейской внешности», уже в первые дни в Иерусалиме, выйдя на центральную улицу Яфф, я поразился многообразию лиц и одежды шумной и жизнерадостной толпы, до отказа наполнившей узкие тротуары, спешащей куда-то на автобусах и автомашинах. Здесь можно было увидеть всех – от ортодоксальных хасидов в их круглых меховых «форменных» шапках и черных чулках, как на картинах Рембрандта, и арабов в ярких бурнусах до современных хипарей в заношенных донельзя шортах. «Володя, – растерянно обратился я к сыну, откровенно потешавшемуся над моим замешательством, – это что, все евреи?» – «Конечно», – засмеялся он. «Нет, погоди, ну, эти-то в черных лапсердаках, понятно, но вот эти здоровые и белобрысые, в ковбойках?» – «Евреи». – «Ну ладно, допустим, но уж эти восточные красотки из «Тысячи и одной ночи», типично гаремные женщины?» – «А это тайманки – еврейки из Йемена». – «Ну вот эти-то, наконец, негры», – обрадовался я, увидев на противоположной стороне улицы нескольких здоровенных парней шоколадного цвета с курносыми и приплюснутыми африканскими носами, обряженных в хаки и алые береты, с американскими автоматическими винтовками «М-16» через плечо. «Ничего подобного, – видишь, у одного из них кипа на голове? Это африканские евреи – фалашим». За этим последовала небольшая лекция о том, что знаменитая царица Савская, возглавлявшая когда-то «правительственную делегацию» к легендарному царю Соломону, возвратилась к себе в родную Эфиопию слегка беременной от израильского царя, что и дало начало чернокожим евреям – фалашим. Мне рассказывали, что черные евреи, приехавшие сюда из Африки, впервые узнали, что существуют, оказывается, белые евреи.

Действительно, Израиль – страна эмигрантов, маленькое подобие Соединенных Штатов. В Тель-Авивском университете, где мне довелось читать лекции на геологическом факультете, есть большой музей еврейской диаспоры. Там, в частности, выставлены макеты еврейских синагог в разных странах мира. Разглядывая их, можно удивляться их несходству, тому, как отличается бревенчатая литовская синагога от классической пагоды китайских евреев. Возвратившись на Землю обетованную, беглецы принесли сюда с собой обычаи и привычки всех народов, среди которых они жили веками. Отсюда бесконечное разнообразие облика городков и поселков на небольшой территории Израиля, уже упомянутое мной.

Своеобразие Израиля – его островная эндемичность не только

в ландшафтах, неповторимом концентрате раритетов и святынь человечества. Это еще и удивительная, непривычная для нашего менталитета атмосфера доброжелательства. Услышав русскую речь в автобусе или на улице, прохожие запросто обращаются к вам с вопросами: «Давно приехали? А как с работой, уже устроились? Как это в гости? Вы что, всерьез собираетесь возвращаться туда? Это же безумие! Хаим, объясни им, что они самоубийцы. Конечно, трудно, конечно, чужой язык, но ведь здесь можно жить». И все это, несмотря на нехватку рабочих мест и жилья, на растущую конкуренцию и недостаток средств.

Новый тип отношений между людьми, безусловно, оказывает влияние на упорное нежелание правительства и кнессета вводить смертную казнь даже для террористов, убивающих женщин и детей. Об этом прекрасно осведомлены арабские террористы из «Хамаса» и других бандитских организаций, которые хладнокровно режут детей, женщин и стариков, сознавая свою безнаказанность. Введения смертной казни требуют в основном выходцы из России, но дух ненависти, столь характерный для нашей распавшейся державы, еще не возобладал в маленькой, окруженной врагами стране. Хотелось бы надеяться, что и не возобладает.

По поводу величины Израиля обычно рассказывают анекдот: «Завтра с утра поедем смотреть страну». – «А что мы будем делать после обеда?» Но недаром говорится, что Израиль кажется небольшим снаружи и большим изнутри. Если ехать с севера на юг, то на протяжении нескольких часов полностью меняется ландшафт – от снежной вершины Хермона и лесистой Галилеи на севере до лунного пейзажа долины Мертвого моря и желто-красной пустыни Негев на юге. А когда ныряешь с маской на красноморские коралловые рифы в Эйлатской бухте, обретаешь полную уверенность, что проехал уже добрую половину земного шара и находишься где-нибудь в Океании. Может быть, и вправду Бог, как на пробном полигоне, сначала создал все виды ландшафтов здесь, а уже потом распространил их на всю планету? А может быть, дело не только в природных ландшафтах, но и в многообразии и живописности местного населения? Так, в Нахарии с ее нидерландским каналом и чистенькими, как в Германии, улочками – это Северная Европа, в Кесарии – Рим и Афины, в Яффе и Акке – неряшливый и многоцветный Восток, в Эйлате – Вайкики-Бич, в Тель-Авиве – Южная Европа.

Многообразие и бесконечность этого удивительного микроконтинента, столь отличного от других стран, подчеркивается прежде всего сердцем его – Иерусалимом, где сразу, независимо от конфессиональной принадлежности, любой

человек физически ощущает, что находится в центре Вселенной, на Святой Земле. Как получилось так, что начала и главные святыни трех основных человеческих религий сосредоточились на этой крохотной территории, где рядом со Стеной Плача у руин разрушенного Храма с одной стороны Голгофа и Гроб Господень, а с другой – золотой купол мечети над гробницей Омара? Здесь поневоле убеждаешься в удивительном триединстве человеческой истории и культуры.

Помню, как, впервые увидев в лучах заходящего солнца неожиданно открывшийся нам на перевале дороги Иерусалим, так гениально описанный никогда не бывавшим здесь Михаилом Булгаковым, я сказал сыну, который вез меня к себе в Рамот-Гимель из аэропорта Бен-Гурион: «Какой странный город. Я ведь видел другие великие города – Рим, Париж, Афины, Лондон, Токио, но этот ни на что не похож». – «На что он должен быть похож? – удивился сын. – Он ведь их всех древнее. Это они могут быть на него похожи».

Этот город, который известен из книг,
Что велением Божьим когда-то возник
Над пустыни морщинистой кожей,
От момента творения бывший всегда
На другие совсем не похож города, —
И они на него не похожи.
Этот город, стоящий две тысячи лет
У подножия храма, которого нет,
Над могилою этого храма,
Уничтожен, и проклят, и снова воспет,
Переживший и Ветхий и Новый Завет,
И отстраиваемый упрямо.
Достоянье любого, и все же ничей,
Он сияет в скрещенье закатных лучей
Белизною библейской нетленной,
Трех религий великих начало и цель
Воплотивший сегодняшнюю модель
Расширяющейся вселенной.
Над Голгофой – крестов золоченая медь,
На которую больно при солнце смотреть,
А за ними встает из тумана
Над разрушенным Котелем – скорбной стеной,
Призывая молящихся к вере иной,
Золотая гробница Омара.
Этот порт у границы небесных морей
Не поделят вовек ни араб, ни еврей

Меж собою и христианином.
И вникая в молитв непонятный язык,
Понимаешь – Господь всемогущ и велик
В многоличье своем триедином.

В Иерусалиме на Сионской горе находится могила знаменитого царя Давида (у арабов – Дауда), которого почитают и евреи, и христиане, и мусульмане. Над гробницей Давида находится помещение, где происходила Тайная вечеря. Иисус собрал своих учеников в субботу, да еще в праздничную, не где-нибудь, а именно здесь – над могилой святого праотца. Рядом дворик, где Иисуса бичевали, надели на него терновый венец, и прямо от этого места начался его крестный путь на Голгофу, где сейчас, поближе к Гробу Господню, прижимаясь друг к другу, стоят церкви всех христианских конфессий. А на противоположном склоне Сиона – уже за стенами Старого города, поставленными в XVI веке Сулейманом I Великолепным, – можно увидеть церковь над могилой Богородицы, напротив которого в Гефсиманском саду стоит храм Марии Магдалины, где легионеры арестовали Христа и где сразу вспоминается описанное в Евангелиях, «Моление о чаше». В самом храме хранятся мощи причисленной к лику святых мученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, вдовы великого князя Сергея Александровича, разорванного в Москве на куски бомбой террориста-эсера Каляева. В 1918 году большевики, изводя под корень царскую семью, сбросили Елизавету Федоровну в Алапаевске в шурф шахты. Так трагическая история России переплетается на Святой Земле с мировой историей.

Когда, впервые попав в Иерусалим, я спросил у моей знакомой Виолетты Кибак, как проехать к Стене Плача, она ответила: «Зачем вам Стена Плача? Прижмитесь к любой и плачьте!»

Были оба храма сожжены.
Миновала их Господня милость.
Только часть разрушенной стены,
Вот и все, что нынче сохранилось.
Если обложила вас беда,
А на сердце – сумерки и слякоть,
Приезжайте к Котелю сюда
Богу помолиться и поплакать.
На затылке – черная кипа,
За плечами – полосатый талес.
Молится усердная толпа,

Господа разжалобить пытаясь.
Да и сам я около стены,
Глядя на библейские долины,
Вспоминаю первый день войны,
Ленинграда скорбные руины.
Ах, Россия, горькая страна,
Где метель за окнами и дождь все!
Нам Стена для Плача не нужна:
У любой заплачь – не ошибешься.

Всего несколько остановок автобуса отделяет это место от шотландского монастыря, где похоронено львиное сердце короля Ричарда. Другой предводитель крестоносцев – Готфрид Бульонский, конная статуя которого красуется на площади Брюсселя, – похоронен прямо под ступенькой лестницы, ведущей в храм Гроба Господня. Чуть дальше находится монастырь Святого Креста, в котором свои последние годы прожил великий грузинский поэт Шота Руставели. Называется он так потому, что был поставлен на том месте, где срубили дерево, пошедшее на крест для распятия.

Так что недаром Палестину называют Святой Землей. Древнееврейские, христианские, эллинские, римские, мусульманские древности, вся мировая история вплоть до Бонапарта с его полулегендарными деяниями в Яффе и Акке, завязались здесь когда-то в единый узел, наглядно воплощая физическую модель расширяющейся Вселенной. Одна эпоха сменяется другой, но все связано. Весь Иерусалим выстроен из бело-розового камня, – и стена Второго храма, и римские и эллинские храмы, и мечети, и городская стена, воздвигнутая Сулейманом Великолепным, и современные кварталы. (Последнее обстоятельство связано с тем, что во времена британского правления, уже после Второй Мировой войны, англичане разрешали ставить здесь дома только из этого камня.) Вот она – истинная колыбель человечества, формой своей напоминающая ковчег.

Иерусалим, более 3300 лет бывший еврейской столицей, никогда не был столицей какого бы то ни было арабского или мусульманского государства. Единственное арабское государство, возникшее на этой земле в итоге арабского завоевания в 635 году, просуществовало всего двадцать два года. Даже во время оккупации Иерусалима иорданцами они не сделали его своей столицей. В священном еврейском писании Танахе (христиане называют его Ветхим Заветом) Иерусалим упоминается более

семисот раз, а в Коране – ни разу. При этом арабы на Ближнем Востоке контролируют 99,9 процента всей территории, а Израиль – лишь одну десятую долю процента. Израильтянам некуда отступать.

Возможно, именно поэтому израильская армия так непохожа на другие армии мира. На первый взгляд – это дети, худые и хрупкие девочки и мальчики. Вот их привели в музей истории в башню Давида и купили каждому по мороженому, и они весело гомонят, как детский сад на прогулке. Удивительны для «совков» и порядки в израильской армии, где нет, например, приказа «Вперед!». Есть только приказ «За мной!». Командир не может послать солдата перед собой на смерть, он должен идти первым. Неразумно? Конечно, неразумно – в Израиле в войнах гибнет больше всего младших офицеров. Однако солдат знает, что командир его никогда не подставит, и верит ему. Или другой пункт устава – если ты окружен и находишься в безвыходном положении, то должен сдаться в плен. В плену же, если тебе угрожают пытками или смертью, немедленно выдавай все известные тебе военные тайны. Помни, что самое дорогое – жизнь. Чудовищно, на наш взгляд, не правда ли? А как же наши герои – мученики, брошенные Сталиным на произвол судьбы? А Гастелло и Матросов? А те сотни рядовых, которых по приказу посылали вперед на минные поля, чтобы расчистить дорогу танкам?

И еще один непонятный нам пункт устава для полевого командира: ни при каких обстоятельствах нельзя бросать раненых. Если на территории, захваченной или обстреливаемой противником, остался хотя бы один раненый и командир роты понимает, что вызволить его можно, только положив две трети роты, он обязан это сделать. Глупо? Уж конечно, глупо – у нас бы так никогда не поступили. Зато каждый солдат уверен, что его никогда не бросят, что бы с ним ни случилось, что вся страна в трудный час придет к нему на помощь, как и он к ней. Может быть, поэтому армия здесь действительно народная, и к солдатам все относятся как к собственным детям.

Служба в армии в Израиле, в отличие от России, считается почетной. В России матери прячут детей от солдатчины, чтобы их не убили на неправедной афганской или чеченской войне, чтобы не изуродовали старослужащие, потому что от дедовщины страдает вся армия. В Израиле другая психология. Родители считают честью для себя и своих детей службу в армии, на самых опасных участках. На особо опасные военные специальности – летчики, танкисты, десантники – большой конкурс и тщательный отбор. Вспоминаю разговор с тем же Игорем, сын которого, Миля,

в 91-м году достиг призывного возраста. «Знаешь, – делился со мной своими тревогами Игорь, – Милька такой рослый и здоровый, что ему могут предложить служить в «коммандос» (специальном подразделении для особо опасных десантных операций. – **А.Г**.). Мы с Татой очень переживаем». – «Зря переживаете, – успокоил я его, – ты разве не знаешь, что для единственного сына в семье в таком случае нужно согласие родителей?» – «Да, знаю, конечно, ну и что из этого? Неужели ты всерьез полагаешь, что я могу не дать согласия? Это же позор. Как я буду соседям в глаза смотреть?»

В израильской армии воинская повинность распространяется не только на юношей, но и на девушек. Последние, впрочем, идут в армию весьма охотно, поскольку сразу после службы, как правило, выходят замуж. Не служат в армии только религиозные ортодоксы, которые вообще не признают государства Израиль, так как, по их вероучению, государство это может создать только мессия, а его приход еще не настал. Но это нисколько не мешает им принимать от не признаваемого ими государства разного рода блага и привилегии.

Поражает израильская армия не только необычными правилами ее устава, но и внешним видом солдат. Постоянно перемещаясь по стране рейсовыми автобусами, я поначалу удивлялся тому, что в конце недели они буквально набиты юношами и девушками в военной форме и с оружием. При этом, несмотря на обязательное наличие у каждого солдата автомата или скорострельной винтовки, внешний вид их не только не казался устрашающим, но наоборот – вызывал сочувствие и жалость. Прежде всего полное отсутствие облика бравых вояк, что привело бы в священное негодование любого нашего сержанта. Форма на всех мятая и заношенная, сапоги не чищены, худые и впалые щеки мальчишек заросли щетиной, да у половины еще и кипа на голове. Рядом с автоматом почти всегда битком набитый вещмешок (позже мне объяснили, что солдаты едут домой на «шабат» и везут в вещмешках вещи в стрику). Помимо неказистого внешнего облика, я удивлялся постоянному усталому виду солдат – стоило им сесть в автобус, они тут же засыпали.

Только позднее, познакомившись с армейской учебной программой «курса молодого бойца», я перестал удивляться их изнуренному виду. Армия здесь не для парадов или устрашения безоружных, а для реальной обороны и защиты от агрессии. Служат в ней, кстати, не только евреи, но и другие граждане Израиля. В долине Израэль, например, мне показывали деревни друзов, которые тоже служат в армии, а неподалеку от Иерусалима – поселения выходцев из Сибири: старые российские

семьи Карякиных и Дубровиных еще в начале XX века приняли иудаизм и переселились сюда. Армия поэтому здесь во многом интернациональная и начисто лишена дедовщины и расизма.

А вот чем Израиль действительно отличается от всех виденных ранее стран, в том числе и более богатых, так это тем, что, несмотря на безработицу, постоянную угрозу терактов, нехватку жилья и другие проблемы, он выглядит страной счастливых людей. И еще – это, пожалуй, единственное место в мире, где не чувствуешь себя за рубежом, поскольку каждый третий (а возможно, и второй) говорит по-русски. Этакий аксеновский остров Крым. Недаром переехавший в Израиль Юлий Ким написал такие строчки на мотив известной песни:

С гулькин нос страна моя родная.
Мало в ней лесов, полей и рек.
Но другой такой страны не знаю,
Где так счастлив русский человек.

Кстати, знаменитая советская ментальность, надолго пережившая Советский Союз, до сих пор весьма ощутима и в израильском обществе. Возможно, это связано с русской эмиграцией. Здесь, как нигде, считаются с мнением «общественности», да и сам интерес к общественной жизни крайне высок.

В Израиле весьма популярны идеи социализма, реализовавшиеся в кибуцах, где иногда, как мне говорили, можно встретить даже портреты усатого «Вождя всех народов». В этом тоже немалая родственная связь с Россией. Думается, не случайно идеи коммунизма зародились в еврейской среде, а идеи сионизма – в России.

Замечательный израильский поэт Иегуда Амихай, принимавший участие в Войне за независимость 1948–1949 годов рассказал как-то историю о том, как после очередной захлебнувшейся атаки вскочил, подняв знамя, «русский» майор, из поверженного Берлина через всю Европу добравшийся до Эрец-Исраэль. Он повернулся к бойцам, взмахнул флагом и на чистом русском языке (иврита он не знал) закричал: «За Родину, за Сталина!» И рванулся в атаку. Так была взята Беэр-Шева.

Еще одна черта местной жизни – чудовищный бюрократизм чиновников, сильно смахивающий на советский, который быстро излечивает от радостной эйфории всех, кто с ним сталкивается, в первую очередь – вновь приехавших.

Если вспомнить, что Израиль – страна эмигрантов, вполне можно оценить, как много сделано за шестьдесят лет его

существования, да еще во враждебном окружении, на пустом месте. На пустом – в буквальном смысле, поскольку вокруг лежит пустыня. И все деревья, которые там сегодня растут, не только сады и плантации, но и леса, все это посажено – от стройных кедров и эвкалиптов до пальмовых рощ. Заселявшие эти земли в течение многих веков арабы, будучи скотоводами, о деревьях не заботились. По их мнению, если дерево не приносит плодов, оно должно быть срублено. И сейчас, когда едешь по стране, глаз безошибочно различает голую выжженную пустошь вокруг арабских деревушек и густую обильную зелень в местах израильских поселений. У израильтян все время находится повод для посадки деревьев: по дереву за каждого еврея, погибшего во время Холокоста, по дереву за каждого еврея, живущего в диаспоре, за каждого праведника, спасавшего евреев от гитлеровского геноцида, по три за каждую жертву террористов. В 2011 году, после выхода фильма «В поисках идиша», посвященного трагической судьбе языка европейских евреев, который был практически уничтожен во время Холокоста, 18 деревьев посажено и в мою честь.

Израильтяне еще и осушили земли, примыкающие к Средиземному морю. Прежде это были болотистые малярийные места, низина страны. Там они посадили эвкалипты и сделали территории плодородными и пригодными для жилья. Сегодня Израиль – зеленая страна. Посмотрите вокруг! Вы увидите зеленые леса, парки, тень, которой здесь не было никогда. Озеленение еще продолжается. Но когда начинается и вспыхивает очередная интифада, первое, что делают арабы, – поджигают леса. Для них деревья, зелень – это символ Израиля, они им не нужны. Они рубят ту ветку, на которой сами сидят, но это их мало волнует.

Выжженные беспощадным солнцем библейские пустыни на глазах превращаются в сад. И это при том, что в стране, где нет больших рек, постоянно возникают трудности с водой для орошения. В октябре и ноябре, когда мы были там, более месяца не выпадали дожди, и уровень озера Кинерет, откуда черпает воду весь Израиль, упал необычно низко. Система орошения поэтому устроена так, чтобы ни одна капля воды не пропала даром, ни одна – буквально: на каждой банановой пальме стоит компьютерное устройство, управляющее капельным орошением. В кибуце неподалеку от реки Иордан, кстати, узкой и грязной, нам показывали цех по изготовлению этих компьютеров, которые поставляются во многие страны мира. В результате в Израиле – в условиях пустыни – чуть ли не самая высокая в мире продуктивность сельского хозяйства.

Пожалуй, главная проблема здесь – безработица, особенно в последние годы, когда в эту маленькую страну хлынул поток эмигрантов, в первую очередь из России. Но, и устроившись на работу, советскому человеку не так-то просто на ней удержаться. Вот приезжает в Израиль российский еврей, языка он не знает, специальность у него такая, которая никому не нужна. Куда он пойдет? Разве что на стройку простым рабочим. Там обычно на самой неквалифицированной и низкооплачиваемой работе трудятся арабы, но предприниматель с радостью увольняет араба и берет «русского». Во-первых, он сам еврей и рад помочь «олиму» (так в Израиле называют недавно приехавших), во-вторых, араба он побаивается, в-третьих, «русскому» можно платить еще меньше, чем арабу, для нищего эмигранта и это деньги. Но дня через два-три хозяин вынужден увольнять «русского» и снова нанимать того же араба. Араб, конечно, может его неожиданно зарезать, зато он работает безотказно с семи утра до трех-четырех часов дня без перекуров и отдыха. Все израильтяне работают в таком режиме – не просто присутствуют на работе, а вкалывают так, как мы уже просто не в состоянии. При этом совершенно неважно, таскаешь ты кирпичи на стройке или сидишь за компьютером в фирме – все рабочее время тратится только на работу – лишний раз покурить не выйдешь. И нет вроде бы никакого цербера, который фиксировал бы твои перекуры, а вот не выйдешь, и все!

Помню, особенно это меня удивило в Тель-Авивском университете, где мне довелось читать лекции по геофизике океанского дна. Меня поразила абсолютная тишина в немноголюдных рабочих кабинетах, где все сосредоточенно склонились над компьютерами. Никакой толкотни в курилках или в столовой, никаких собраний в рабочее время, и самое главное – никто не топчется у кабинета начальства, чтобы подписать какую-нибудь нужную бумагу.

Приезжая, эмигранты селятся большей частью среди своих приехавших ранее земляков, и в результате складываются целые кварталы и даже города, напоминающие о странах, из которых прибыли их обитатели. Отсюда уже упомянутое разнообразие облика людей и улиц, культуры и жизненных укладов. На этой крошечной территории снова моделируются, развиваются и мирно сосуществуют самые разные стили жизни. Это впечатление мира в миниатюре, средоточия всех человеческих культур усиливается еще больше при обращении к израильским древностям. Словно вся мировая история, все религии и культуры начались отсюда и потом, век за веком, снова встречались здесь.

Древняя культура на этой земле причудливо переплетается с

современной. Израиль – страна художников. Иудейская религия запрещает создавать изображения людей и животных (это позволительно только Богу), поэтому в современной живописи и скульптуре преобладает абстрактный стиль. Пожалуй, ни в одной стране мира не видел я такого количества выставок, вернисажей, садовых скульптур, зданий и разного рода сооружений, украшенных фресками и живописью.

В Иерусалиме много лет жил замечательный художник Лев Сыркин, безвременно ушедший в октябре 2012 года после тяжелой болезни. С ним и его женой Лорой, родной сестрой поэтессы Елены Иоффе, вместе с которой я занимался когда-то в литературной студии Дворца пионеров в Ленинграде, нас связывала многолетняя дружба. Сама Лена тоже живет в Израиле довольно давно, выпустила несколько поэтических книг, обзавелась детьми и внуками. Помню, в первый свой приезд в ноябре 90-го года я позвонил ей по найденному мной телефону и радостно закричал в трубку: «Ленка, привет! Ты помнишь, как мы с тобой целовались в параднике в сорок седьмом году?» – «Ты что, с ума сошел? – возмущенно ответила она. – Там же рядом твоя жена!»

Семья Сыркиных выезжала из Москвы в 1972 году, когда Лев Сыркин уже был известным художником-монументалистом, одним из авторов мозаики киноконцертного зала «Октябрь» на Новом Арбате. Выезжали трудно, с тремя маленькими детьми, полностью пройдя через чистилище унижений и препон, создаваемых тогда властями. В конце 80-х у Льва в Израиле вышла книга воспоминаний на русском языке, посвященная этой горестной эпопее с публичным исключением из Союза художников и другими мытарствами. Книга называется: «Я вам не должен». В первые годы в Израиле им также пришлось нелегко.

Лев Сыркин был одним из ведущих художников Израиля, человеком, уважаемым всей страной и пользовавшимся широким международным признанием. Так, он являлся членом Итальянской академии искусств, а в 1998 году в Израиле был объявлен «Человеком года». Лев получал многочисленные заказы от государства и частных фирм. Его превосходные мозаики и смелые скульптурные композиции можно увидеть в Иерусалиме и других городах. Мне особенно понравились мозаики на химическом заводе, стоящем на Мертвом море. На этом заводе производят поташ, используя в качестве сырья суперсоленую мертвоморскую воду. На завод мы ездили вместе с автором на специальную экскурсию. Здесь находятся две огромные мозаики Сыркина. Одна украшает стену в гигантском зале, где размещается заводская столовая.

Нельзя попутно не отметить, что этот химический завод поражает не только мозаиками и панно, которые у нас украшали бы стены правительственных резиденций или музеев, но и оранжереями, чистым воздухом, обилием фонтанов и стерильной чистотой внутри и снаружи, в том числе, конечно, и в празднично убранной столовой. Здесь питаются все вместе – от директора до разнорабочего. Различить их, кстати, нелегко, поскольку все одеты в одинаковую синюю униформу. Вторая мозаика занимает стену первого этажа в здании, где размещается заводоуправление. Я помню, уже настало время уезжать, а Лева все стоял, обернувшись от входных дверей, и смотрел на свое детище, освещенное багровыми лучами заходящего солнца.

Неподалеку от Хайфы, на берегу Средиземного моря, расположена знаменитая деревня художников Эйн-Ход, сильно пострадавшая несколько лет назад от лесных пожаров. Камни, из которых здесь сложены дома, имеют многовековую историю: ими пользовались для постройки домов еще греки, позднее римляне, крестоносцы и арабы, а сейчас – художники. Здесь долгие годы жил мой давний питерский приятель, талантливый художник Евгений Абезгауз, неоднократно подвергавшийся непризнанию и гонениям в 70-е годы в Советском Союзе. В 2006 году его не стало. С грустью я смотрю на висящую в моем московском доме акварель, подаренную им мне теперь уже в далеком 95-м году с надписью: «Саше Городницкому от Жени с любовью». На акварели – юноша и девушка еврейской внешности, одетые по-европейски, держат в руках саксофоны, и над ними летают большие мыльные пузыри. А на заднем плане – русская церквушка на фоне остывающего вечернего неба и стаи воронья, кружащиеся над безлиственными по-осеннему деревьями.

Не стоит судить пристрастно
О разнице измерений:
Художник живет в пространстве,
Поэт обживает время.
Над жизни пучиной вязкой,
Где тонем, не докурив мы,
Художника держит краска,
Поэта проносит рифма.
И там, где с бедой бороться
Все способы ненадежны,
Поэт за перо берется,
Берется за кисть художник.
С рождения и до гроба
Извилиста их дорога.

Они неугодны оба
И все же угодны Богу,
Когда за питьем нехитрым,
Свои затевают пренья,
Связуя путем поллитры
Столь разные измеренья.
Недолог их шумный праздник.
Струится листва по рекам.
Художник уйдет в пространство,
Поэт – с уходящим веком.
Поэт престарелый жалок,
Свое переживший время,
Который, гнобим державой,
Вослед не ушел за всеми.
Он, в век попадая новый,
С обидою вдруг услышит:
«Вы пишете в рифму? Что вы, —
Давно уже так не пишут».
Но, вытесненный другими,
Времен унесен рекою,
Он будет лежать в могиле,
О прошлом не беспокоясь,
Уйдя от земного быта,
В эпоху забивший клинья,
Как ракушка трилобита
В зеленой кембрийской глине.

В Израиле живет немало русских поэтов и прозаиков – Дина Рубина, Елена Аксельрод, Игорь Губерман, Рина Левинзон, Вадим Халупович, Ася Векслер, Борис Камянов, Александр Бараш и многие другие. Кроме того, в Израиле существует первоклассная литература на иврите. А вот вся русскоязычная пресса, включая и литературные журналы, за редким исключением (журнал «22», например), как правило, второго сорта. Тем не менее в Израиле существует союз русскоязычных писателей, членство в котором дает автору право на издание одной книжки бесплатно.

Почему же возникают проблемы в этой стране с русской литературой? Возможно, дело, в частности, в том, что русскоязычная читательская аудитория здесь не слишком велика и со временем уменьшается, поскольку во всех семьях эмигрантов дети активно изучают иврит и быстро отвыкают от русского языка. Да и взрослые стараются как можно быстрее интегрироваться в новую среду обитания, где русский язык чаще

всего только мешает.

Что же касается отношения к русскоязычной культуре, то, несмотря на декларирование демократии и большое число изданий на русском языке, в целом оно довольно сдержанное. Более того, ревнители «истинно еврейского духа», весьма напоминающие наших ревнителей «русского духа» типа Александра Проханова, Станислава Куняева и Владимира Бондаренко, время от времени выступают в печати с заявлениями, что «русскоязычное вторжение представляет собой угрозу многовековой еврейской культуре». Читаешь такое, и кажется, что у тебя в руках очередной номер газеты «Завтра» или «Русский порядок», только в типографии слово «русский» заменяется на «еврейский» или наоборот. Дело доходило до того, что в 1991 году мэр Тель-Авива запретил выступления переехавшего туда Евгения Клячкина как «не соответствующие еврейскому духу». Тлетворным духом противопоставления еврейской и русской культур отдавало и от многих статей профессора Агурского, публиковавшихся в начале 90-х. Ну как тут не вспомнить невеселые строчки все того же Игоря Губермана:

> С душою, раздвоенной, как копыто,
> Обеим чужероден я отчизнам:
> Еврей, где гоношат антисемиты,
> И русский – где грешат синонанизмом.

Кстати, вопрос о том, почему я не хочу остаться в Израиле, «на земле моих предков», мне неоднократно задавали не только доброжелатели на улице и в автобусе, но и журналисты, и нередко в весьма агрессивной форме. Так, известная радиожурналистка Ципора Таль, бравшая у меня интервью для «Голоса Израиля», довольно напористо стала объяснять мне, что я «плохой еврей», поскольку отсиживаюсь в тылу в России, в то время как долг каждого еврея быть здесь, на передовой, вместе со своей маленькой страной, борющейся с более чем стомиллионным арабским окружением. «Почему вы говорите «У нас в Москве»? – возмущалась она. – Ваш дом здесь. У русских много своих поэтов, и вам совершенно незачем писать на чужом языке. Вы должны изучить иврит и писать песни на иврите для своего народа». Тон этого нравоучения меня, помню, несколько разозлил, и я был вынужден, может быть резче, чем нужно, высказать свою точку зрения. Она состояла в том, что родство по культуре для меня не менее важно, чем родство по крови. Что Родина человека, его среда обитания – это язык и культура. И для меня они русские. А свой долг еврея в помощи своей

исторической Родине я вижу в том, чтобы вместе с остальной российской интеллигенцией, от которой я себя не отделяю, бороться с нарождающимся русским нацизмом.

Надо сказать, что длительное пребывание в Израиле, вполне законное на первый взгляд чувство патриотизма, столь понятное после долгих веков бесправия и гонений, иногда приносят весьма странные плоды. Здесь иногда слишком много говорят о еврействе, о том, что должен делать и чего не должен делать еврей, как бы отделяя евреев от всего остального человечества. Вызывает невольную улыбку также стремление обязательно найти во всех великих людях хоть какие-нибудь еврейские корни. В музее Еврейской диаспоры в Тель-Авиве есть даже специальный стенд – знаменитые евреи. Там рядом с портретом Альберта Эйнштейна можно увидеть фотографии Иосифа Бродского, Жака Ширака и многих других известных людей нашего столетия.

У природы законы простые,
Что об этом ни говорите.
Мне случись бы родиться в пустыне,
Я бы песни слагал на иврите.
Понапрасну с судьбою не спорю,
Чтобы сердце потом не болело.
Если б рос я у теплого моря,
То писал бы я справа налево.
Жил бы в доме под красною крышей,
И стихи бы читал на тусовке,
Где одни лишь согласные пишут,
Добавляя потом огласовки.
Тасовал бы ивритские рифмы,
Возмужал бы на службе солдатской,
И нырял на эйлатские рифы,
Аквалангом снабженный и маской.
В том краю, где цветные эстампы
Иллюстрируют Библию снова,
Я, наверное, классиком стал бы,
А по-русски не знал бы ни слова.
Мне желали бы многие лета,
И в журналах печатали фото,
Только был бы не я уже это,
А другой, неизвестный мне кто-то.

Каждый раз в Израиле я подолгу бываю в гостеприимном доме Игоря Губермана в Неве-Якове на окраине Иерусалима. Помню, во время нашего первого приезда, когда мы жили в

религиозном доме сына, где соблюдался строгий кашрут, он неожиданно позвонил мне: «Ну, что, старый, кипу носишь?» – «Ношу». – «Омовение рук делаешь?» – «Делаю. Но главная проблема не в этом. Невестка требует, чтобы дедушке сделали брит-милу (обрезание), а то неудобно перед соседями». – «Вот это уже серьезно. Собирай вещи – водка уже в холодильнике».

За годы жизни в Израиле Игорь Губерман стал поэтом и писателем с мировым именем. Вот только характер его совершенно не изменился. Если раньше он бесстрашно воевал с гэбэшниками, то теперь, считая себя патриотом Израиля, не менее яростно борется с идиотизмом бюрократов и религиозников в этой стране, где его русскоязычные «гарики» (в прошлом – «дацзыбао») оказались как бы никому не нужны. Несмотря на его теперешнюю всемирную популярность, в Израиле у него время от времени возникают проблемы. Пару раз его брали на работу в русские газеты и журналы, но нигде он долго не задерживался. Его непоседливый и неукротимый характер, полное отсутствие способности хотя бы в чем-то пойти на компромисс и с чем-то примириться рано или поздно неизменно приводили к очередной безработице.

К примеру, работу в одной из ведущих русскоязычных газет он потерял после того, как, выступая по радио, прочел стихи, в которых высмеивались религиозные ортодоксы. Дело в том, что, в соответствии с системой религиозных запретов, правоверный еврей не может держать на одном столе мясные и молочные продукты. Более того, для мытья посуды из-под молока и из-под мяса в религиозных домах на кухне существуют две отдельные раковины – не дай бог перепутать! Неистребимый остроумец Губерман не нашел ничего лучше, чем прочитать по иерусалимскому радио такие стихи:

Еврею нужна не простая квартира.
Еврею нужна для жилья непорочного
Квартира, в которой два разных сортира:
Один – для мясного, другой – для молочного.

Теперь Игорь Губерман стал полностью свободным. Он издает свои книги, выезжает с гастролями за рубеж, главным образом в США и Россию, и иногда сотрудничает вместе со своим другом Александром Окунем на русском радио. Надо сказать, что в России, где книги Губермана выходят теперь многотысячными тиражами, его выступления проходят в переполненных залах, а его принимают восторженно, как национального героя. Юмор его все так же неизменен. Когда в первый приезд в Израиль я

пожаловался ему на желудок, он немедленно среагировал: «Старик, все очень просто. Твой советский желудок отторгает непривычные для него свежие продукты». Когда моя третья внучка Рахиль вышла замуж, он отозвался такой эпиграммой в мой адрес:

Еще мы не в полной отключке,
И нам опасения лестны,
Что как бы на свадьбе у внучки
Не трахнуть подругу невесты.

В конце 90-го года, за несколько дней до моего возвращения в Москву, я неожиданно встретил в Иерусалиме моего давнего приятеля актера «Современника» Валентина Никулина. Мы как раз заехали на базар купить фруктов и овощей на мою «отвальную». И вдруг посреди узкой улочки, запруженной автомобилями и пешеходами, я увидел Валю Никулина, окруженного небольшой стайкой журналистов. Вид у него был потерянный, глаза – лихорадочно веселые. «Саня, представляешь? – оживился он при виде меня, как бы продолжая прерванный разговор. – Я ухитрился сюда всю звуковую аппаратуру беспошлинно вывезти». Выяснилось, что он решил навсегда расстаться с Москвой и переезжает в Израиль. На следующий день я прочел в русскоязычной иерусалимской газете интервью с Никулиным под бодрым заголовком: «Полагаю, что в Израиле я буду «беседер» (в порядке. – **А.Г.**)». Бодрческий самоуверенный тон интервью никак не вязался с испуганным выражением его нервного астенического лица на фотографии, с узким, вечно небритым подбородком и трагически поднятыми бровями. Судя по интервью, он решил вместе с известными актерами и режиссерами – Леонидом Каневским, Михаилом Козаковым и другими – организовать в Израиле русский театр. Мне же вспоминалось его лицо на российских экранах, вдохновленный глуховатый голос, поющий Окуджаву или читающий стихи Самойлова, приглушенный шепот у метро у нас за спиной: «Смотри, Никулин».

В апреле 91-го года в Москве, в доме покойного Натана Эйдельмана, в день его рождения, я встретил Михаила Козакова, также складывавшего чемоданы для отъезда на Землю обетованную. Незадолго перед этим он опубликовал в «Московских новостях» трагическое интервью «Не могу плыть в серной кислоте», где обосновал невозможность далее жить и работать в России. Обхватив пустую рюмку тонкими нервными пальцами, он громко вещал притихшим слушателям о своих

будущих перспективах на Западе. «Прости, Миша, – некстати ввязался я, – у меня в Израиле сложилось твердое впечатление, что русский театр там не нужен. Он вообще только здесь и нужен». Я не удивился бы гневной вспышке, типичной для выпившего Козакова. Он, однако, ненавидяще блеснув в мою сторону своими огромными черными глазами, неожиданно тихо сказал: «Ну да, ну да, что ты мне объясняешь! Но у меня ребенок маленький, это ты понять можешь?» Это я понять мог. Тем более что после премьеры только что поставленного им по Шварцу кинофильма «Тень, или Может быть, все обойдется», заехав по пути домой с группой провожающих его друзей в ЦДЛ и привычно попросив там в буфете «пару бутылок водки для Миши Козакова», он услышал в ответ от ухмыляющейся, счастливой своей лакейской безнаказанностью буфетчицы: «В Израиле своем водку проси. Хрен тебе, а не водка». Это несколько уменьшило его предотъездные сомнения.

С Никулиным и Козаковым мне неоднократно довелось потом встречаться во время моих поездок в Израиль. Идея с русским театром, вначале как будто имевшая успех, со временем довольно быстро сошла на нет. Зрителей становилось все меньше, и труппа не смогла существовать. Михаил Козаков, со свойственным ему упорством и нечеловеческой работоспособностью, изучил иврит и с успехом дебютировал на подмостках еврейского театра «Гешер». А вот с Никулиным все было сложнее: иврит ему не давался, пошли нелады с сердцем, он перенес нелегкую операцию по шунтированию, и хотя нельзя было сказать, что он остался совсем без работы, но настроение у него было подавленное. Я помню наш грустный разговор об этом осенью 93-го года под Иерусалимом:

Актер Никулин жаловался мне
Среди холмов Израиля отвесных:
Ему, артисту, нестерпимо тесно
В библейской этой маленькой стране,
Где наизусть изучены давно
Одни и те же улицы и лица,
И скорость превышать запрещено,
Чтобы не оказаться за границей.
«Бывало, прилетаешь из Читы, —
В Москве – спектакль, назавтра в Минске – проба,
Народу – тьма и расстояний – прорва,
А здесь все глухо, как под крышкой гроба, —
С ума сойдешь от этой тесноты.
Здесь тягостно и душно, как в метро,
И хочется повеситься порою».

Вокруг дышало каменной жарою
Вселенной обнаженное нутро.
И я смотрел на край лиловых гор
Под небом, остывающим и красным,
И времени немереный простор
Мне дул в лицо из узкого пространства.

В 1993 году Михаил Козаков поставил в Израиле пьесу Пауля Барца «Возможная встреча». Это пьеса о вымышленной встрече двух великих композиторов – Генделя и Баха. В ней Гендель, которого блестяще играет Козаков, богат и знаменит, а Бах, роль которого прекрасно исполняет Никулин, беден и неизвестен. Прошло несколько лет, и оба они вернулись в Москву. Козаков, по своему обыкновению, так же громко хлопнув на прощание дверью в Израиле, как когда-то в Москве, Никулин – более незаметно. Оба, к сожалению, уже ушли из жизни.

Фестивали авторской песни и клубы ее поклонников в Израиле едва ли не более многочисленны, чем в нашей стране. Обычно каждый год проводится традиционный фестиваль «Дуговка» на озере Кинерет. Немало сил в его организацию вкладывает Евгений Гангаев. Помню, как в 2001 году, открывая эту самую «Дуговку» на озере Кинерет и выйдя на сцену, я сказал: «Дорогие друзья! Хочу вас поздравить с самым многочисленным в мире фестивалем русской авторской песни!» Много лет мне довелось быть председателем жюри Грушинского фестиваля, где в лучшие годы собиралось до трехсот тысяч слушателей, а там было всего пять-шесть тысяч человек, но если разделить на количество русскоязычного населения Израиля, то получается в пять раз больше. Таким образом, в процентном отношении самые большие фестивали русской авторской песни проходят именно в Израиле. При этом если мы возьмем историю авторской песни и попытаемся выяснить, кто же был первым бардом на планете, то получается, что им был легендарный царь Давид, который исполняя псалмы собственного сочинения аккомпанировал себе на кифаре.

Первый бард на планете, пастух иудейский Давид,
От восторга плясавший во время общения с Богом,
Отчего и сегодня еврей в лапсердаке убогом
При молитве качаться вперед и назад норовит.

И тебе, говорят, с сыновьями не слишком везло,
Ты чужую жену возжелал, несмотря на запреты.
Научи различать, где добро обитает, где зло, —

То, что тысячи лет различать не умеют поэты.

Научи меня счастью коротких любовных минут,
Темной ярости боя и светлому пенью кифары,
Научи меня стойкости, если друзья предадут,
Потому что, как ты, скоро немощным стану и старым.

Мой сородич таинственный, царь моей древней страны,
О тебе, постарев, вспоминаю все чаще сегодня.
Научи меня петь, не жалея себя и струны,
А порвется струна, – так на это уж воля Господня.

Пусть тучнеют стада меж библейских зеленых полей,
Где звенят твои песни, земным неподвластные срокам,
И склонились посланцы у пыльной гробницы твоей
Трех враждебных религий, тебя объявивших пророком.

В целом, однако, ситуация с авторской песней в Израиле непростая. Мне рассказывали, как отчужденно встретила израильская аудитория на первом концерте Александра Галича, который вышел на сцену с большим наперсным крестом, что в Израиле, мягко говоря, не вызывает положительных эмоций.

Характерна в этом отношении также драматическая судьба одного из самых талантливых авторов первого поколения Евгения Клячкина, приехавшего сюда в надежде обрести наконец истинную Родину и настоящее признание. Он погиб неожиданно и трагически 30 июля 1994 года при купании в Средиземном море в кибуце неподалеку от Хайфы, когда у него внезапно отказало сердце. Все усилия спасателей и реаниматоров, быстро прибывших на место происшествия, оказались безрезультатными.

Я дружил с Женей Клячкиным с середины 60-х, когда в нашем родном Ленинграде, на улице Правды, в Доме культуры работников пищевой промышленности образовался песенный клуб «Восток», объединивший ленинградских бардов. Среди других молодых ленинградских авторов Евгений Клячкин с самого начала выделялся музыкальной самобытностью и интонационной оригинальностью своих песен, занимающих в авторской песне 60-х годов особое место. В удивительном и чаще всего нерасторжимом синтезе его песен-монологов несущей конструкцией, как, возможно, определил бы сам автор, инженер-строитель по образованию, является не стихотворная строка, а сложная и гармоничная мелодия, придающая каждой его песне яркую авторскую окраску.

Евгений Клячкин – очень питерский бард. Может быть, именно поэтому мне всегда было трудно представить его поющим о солнечном Израиле. В песнях ленинградского периода, который был и остался основным в его творчестве, постоянно звучит тема одиночества городского интеллигента, мучающегося от сознания неприкаянности в окружающем его бездуховном мире. Лирический герой Клячкина чрезвычайно близок к самому автору. В отличие от ярких разнообразных театральных персонажей песен Кима и Высоцкого это всегда практически один и тот же человек, одинокий, откровенный и беззащитно лиричный: «И привычно нам щадить других, себя не защищая». Даже шуточные его песни наполнены грустным сарказмом («По ночной Москве идет девчонка», «Я был мальчишка глупенький», «Завистливая песенка», «На Театральной площади»).

Грустные песни, однако, удавались ему лучше. Они были более близки эмоциональному и искреннему автору, постоянно ощущавшему тревогу и одиночество в окружавшем его мире «развитого социализма». Вместе с тем в лучших своих песнях, не всегда одинаковых по уровню стихов, Евгений Клячкин видел мир глазами художника, обращающего внимание на детали. В его песне «Танец старой газеты» газетный лист «встал на носочки, поднял над снегом плечо, и вот уже края его трепещут, как крылья, и ломкая грудь выгибается вздутым плащом, и в каждой бывшей строчке, в каждой букве – усилье». Круг его песен по тематике как будто не очень широк: город, любовь к женщине, горькая любовь к своей равнодушной Родине, не рассчитывающая на взаимность, природа, возвращающая автору душевное равновесие. В песне, посвященной другому, также безвременно ушедшему из жизни автору, Юрию Визбору, он написал: «Нас Бог избавил от вранья». Вот это полное отсутствие фальши, беззащитная искренность и прямота разговора всегда были отличительными качествами его песен. Возможно, именно поэтому с самого начала, еще с середины 60-х, Евгений Клячкин постоянно подвергался критике (точнее травле) со стороны всех без исключения партийно-комсомольских инстанций. Концерты его много лет проводились полуподпольно. Не могло быть и речи о выступлениях по радио, телевидению, о записи песен на пластинки. К партийным и комсомольским функционерам дружно примкнули «профессиональные» композиторы и музыковеды. Их почему-то раздражало, что человек с дипломом инженера-строителя, владеющий одной гитарой и не имеющий музыкального образования, оказался автором оригинальных и талантливых мелодий.

Не получившие официального признания песни Евгения

Клячкина, широко расходившиеся по нашей стране наряду с песнями Галича, Окуджавы, Высоцкого и Кима, стали основой «магнитофониздата», сыгравшего важную роль в духовном становлении целого поколения. В середине 60-х годов он уже был частью жизни и культуры интеллигентной молодежи. Не случайно Андрей Битов, в своей повести «Путешествие к другу детства» написавший об этих ребятах, отмечал «магнитофоны с Клячкиным и Визбором, их внимание к поэзии».

В начале марта 1964 года, когда в Ленинграде проходил позорный процесс над Иосифом Бродским, Евгений Клячкин на концерте в клубе «Восток» заявил, что посвящает свое выступление любимому им, но опальному поэту. После этого он еще спел несколько песен на стихи Бродского, которые впоследствии стали широко известны. Нет нужды объяснять, что сразу же после этого выступления имя Клячкина надолго попало в «черные списки» и концерты его были настрого запрещены. Пожалуй, только Юрию Визбору удалось тогда записать песни Клячкина на гибкую пластинку звучащего журнала «Кругозор» и передать по радиостанции «Юность».

Появившиеся в то глухое безвременье песни Клячкина на стихи Бродского вызвали множество подражаний и послужили великому делу приобщения к истинной поэзии людей, от нее далеких. Дело, видимо, прежде всего в чутком поэтическом слухе Евгения Клячкина, его редкой музыкальной одаренности, давшей возможность извлечь для слухового восприятия внутреннюю сложную, но гармоничную мелодию стихов Бродского, во всей их многоплановой полифонии. Ему, как никому другому, удалось уловить не только музыку самих стихов, но и авторскую манеру их чтения.

Мне неоднократно приходилось слышать, как Бродский читает свои стихи, и кажется, что при всей внешней непохожести пения Клячкина на глуховатый, чуть завывающий голос читающего поэта, звук гитарной струны, щемящий, иногда кажущийся резким до диссонанса, внезапная смена лирической плавной мелодии («Ах, улыбнись, ах, улыбнись, вослед взмахни рукой») драматичным и напряженным мотивом («Жил-был король») создают близкое по знаку к авторскому чтению силовое поле. Услышав хотя бы раз в музыкальном прочтении Клячкина эти стихи или такие, например, как «Ни страны, ни погоста», или упомянутых уже «Пилигримов», в мелодии которых слышатся вагнеровские отголоски, уже не хочется слушать их иначе. Так поэзия Бродского, взятая «с листа», получила как бы отдельное звуковое существование.

В песнях на стихи Бродского полностью реализовывался

безусловный талант Клячкина – композитора, автора удивительных мелодий («Баллада короля», «Ах, улыбнись», «Романс скрипача» и многие другие). Талант этот сочетался с высоким вкусом в музыкальной интерпретации сложных поэтических монологов, где голос автора неуловимо переплетается с голосами его театральных героев – Арлекина, Коломбины, Честняги, князя Мышкина – и вновь возвращается к их создателю, человеку, как и они, обреченному на одиночество и непонимание во враждебном ему мире, сам воздух которого для него губителен.

Последние годы ленинградской жизни были для Жени нелегкими. Оставив свою инженерскую деятельность, он пошел работать в «Ленконцерт», связав себя изнурительными гастролями по российской глубинке, не дававшими ни денег, ни творческого удовлетворения. Чувство одиночества, ощущение невозможности реализоваться здесь как художнику, опасения за жизнь и благополучие своей семьи на фоне поднимающей голову «черной сотни» заставили Евгения Клячкина в 1990 году переехать в Израиль. Ему казалось, что там, вне партийно-советской системы удушения всего живого, вне пропитавшего все наше общество насквозь, как вирус, народно-государственного антисемитизма, он наконец-то обретет себя.

Отъезд этот, проблема которого решалась им мучительно и долго (вспомним хотя бы одну из лучших его песен – «Я прощаюсь со страной, где прожил жизнь, не разберу чью»), оказался весьма драматичным. Песни русскоязычного автора Клячкина не получили в Израиле того признания, на которое он рассчитывал. В первый свой приезд в Израиль я прожил двое суток у него в квартире, которую он снимал в Рамат-Гане, на окраине Тель-Авива. С работой у него тогда не клеилось, с выступлениями тоже. Он признался мне, что временами был близок к самоубийству. Потом, правда, все понемногу наладилось. Его друг врач-стоматолог Геннадий Гонтарь, приехавший в Израиль из Одессы, где когда-то возглавлял одесскую команду КВН, довольно неплохо перевел несколько песен Клячкина на иврит, чем попытался расширить его аудиторию. Однако песни Клячкина в переводе на иврит уже что-то необратимо теряли, и эффект был совсем не тот.

Надо было кормить свою большую семью, и пришлось снова вспомнить про диплом инженера-строителя. Но работу найти тоже удалось далеко не сразу. Привыкший к многотысячным российским аудиториям, он страдал от равнодушия и неприятия. На фоне этого безразличия быстро угасали его неофитские патриотические восторги по поводу обретенной им новой

Родины. Спрос на его выступления постепенно сходил на нет, а иногда, как уже упоминалось, они просто запрещались, совсем как когда-то в Ленинграде. Для эмоционального и легкоранимого автора грустных питерских песен сложности и неурядицы жизни в этой новой и, как оказалось, чужой для него стране были мучительны. Это не могло не сказаться на сердце, на которое он до этого как будто никогда не жаловался.

Надо сказать, что, переехав в Израиль, Женя не позволил себе ни одного критического замечания в адрес покинутой им России. В год своего шестидесятилетия Евгений Клячкин приехал в свой родной Питер, как оказалось, в последний раз. Торжественно и сердечно прошел юбилейный вечер, собравший, как встарь, сотни поклонников. К этому времени фирма «Мелодия» выпустила два стереодиска с песнями. Женя возвратился на Родину. К несчастью, ненадолго.

Личная и семейная жизнь у Жени складывалась непросто, но он всегда был любящим мужем и трогательным отцом. Когда умерла после долгой и мучительной болезни его жена Виолетта, ее родители предложили взять на воспитание их маленькую дочь. Женя, однако, наотрез отказался и растил ребенка сам. Он всегда был преданным другом и обладал редким талантом радоваться чужим удачам. В середине 60-х в Питере, когда мы с ним выступали вместе, он неизменно помогал мне игрой на гитаре.

Евгений Клячкин умер в Израиле, но песни его остались в России. Они выросли на ленинградской, петербургско-культурной почве, для которой чужды эстрадность, аффектация, внешняя броскость. В них, как и в его любимом городе, преобладают «краски севера», царит атмосфера сдержанности. Именно эти черты присущи стихам в лучших песнях Евгения Клячкина, поражающих своей словесной и музыкальной точностью. Сейчас, когда Евгения Клячкина не стало и «изменились его портреты», с особой признательностью звучат его старые песни, пронизанные многострадальной любовью к России, к Питеру, с которыми, теперь уже навеки, связана его внезапно оборвавшаяся жизнь. В день его смерти в Питере на стрелке Васильевского острова на берегу Невы светлыми июльскими вечерами теперь ежегодно проходят вечера его памяти, собирающие сотни людей.

Узнав о трагической гибели Жени, я написал песню, посвященную его памяти:

Сигаретой опиши колечко.
Снова расставаться нам пора.
Ты теперь в земле остался вечной,
Где стоит июльская жара.

О тебе поплачет хмурый Питер
И родной израильский народ.
Только эти песни на иврите
Кто-нибудь навряд ли запоет.

Со ступеней набережной старой
На воду пускаю я цветы.
Слышу я знакомую гитару.
Может, это вовсе и не ты,
Может, и не ты совсем, а некто
Улетел за тридевять земель,
Старый дом у Малого проспекта
Поменяв на город Ариэль.

Сигаретой опиши колечко,
Пусть дымок растает голубой.
Все равно на станции конечной
Скоро мы увидимся с тобой.
Пусть тебе приснится ночью синей,
Возвратив душе твоей покой,
Дождик василеостровских линий
Над холодной цинковой рекой.

В последние годы в Израиль переехало немало талантливых авторов и исполнителей из России, Белоруссии, Украины, Узбекистана и других краев бывшего Советского Союза. Среди них наряду Дмитрий Кимельфельд, Александр Медведенко, Игорь Бяльский, Марина Меламед и многие другие. Приезжая в Израиль, я каждый раз встречаясь с ними убеждаюсь, что, несмотря ни на что, клубы самодеятельной песни здесь растут и процветают. Наряду с «Дуговкой» на юге Израиля (не слишком далеко удаленном от севера) в Беэр-Шеве собирается свой отдельный фестиваль, получивший название «Бардюга», что означает «Бард Юга», а в Ашдоде – «Дюна».

Что же касается популярности русской авторской песни в Израиле, то я дважды убеждался в несокрушимом интересе к ней. В первый раз – когда в 1995 году, целая группа наших бардов, в которую входили, кроме меня, Юлий Ким, Сергей Никитин, Александр Мирзаян, Галина Хомчик, Дмитрий Сухарев, Виктор Берковский и другие, совершила турне по Израилю при переполненных залах и всеобщем энтузиазме русскоязычной публики (Юлий Ким назвал эту группу – «Бардформированием»). И во второй раз – в 1998 и 2000 годах, когда по всей стране не

менее триумфально проехался коллектив бардов с первым диском из серии «Песни нашего века». Так что русская авторская песня в Израиле непотопляема.

Почти на всех моих концертах, а их за поездки в Израиль было немало, мне постоянно приходили записки: «Что вы думаете о перспективах авторской песни в Израиле?» В доме Льва Сыркина меня познакомили с еще одним израильским автором, боевым офицером-танкистом, отличившимся в боях, Григорием Рубинштейном, который пишет на русском языке. Песни его – родные сестры тех, что написаны нашими «афганцами», и знаменитой танковой песни времен Великой Отечественной войны «Первая болванка попала танку в лоб», которую распевали на мотив знаменитой песни: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить». В его песнях звучит знакомая российская интонация, неразрывно связывающая обе страны.

Я не раз путешествовал и выступал в Израиле вместе с Юлием Кимом, образуя как бы союз Пьеро и Арлекина: первое отделение – я, второе – он. В 1996 году перед началом гастролей в Израиле Женя Гангаев сосватал нас на четырехдневное путешествие по Красному морю на экскурсионном теплоходе с необычным названием «Odessa Song». Удивительное это судно, пришедшее из Одессы и зафрахтованное израильским бюро путешествий, возило туристов по Красному и Средиземному морям. Флаг у него был кипрский, портовая приписка греческая, экипаж русский, а сервис – вполне европейский. За четыре дня мы ухитрились побывать в Иордании, в древнем скальном городе Петра, считающемся одним из чудес света, понырять с маской на коралловых рифах в египетском городке Хургада и в бухте Эйлата. Юлик оказался страстным фотолюбителем – он беспрерывно щелкал своим аппаратом. Все попытки уговорить его поберечь пленку для более интересных кадров были обычно безрезультатны. Эти четыре солнечных беззаботных дня, проведенные вместе с ним и Ирой, я отчетливо помню до сих пор. Снимки Юлика запечатлели эти недолгие радостные часы. С грустью смотрю я теперь на молодое и счастливое лицо Иры на этих фотографиях. Кто мог тогда предполагать, что через три года ее не станет?

Ира Якир, жена Юлия Кима и внучка знаменитого командарма Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году, родилась в мае 1948 года в селе Головинщина Пензенской области – там отбывала ссылку ее мать, только что вышедшая из воркутинского лагеря, где сидела как ЧСИР (член семьи изменника Родины). В 1952 году сюда же приехал ее отец Петр Якир, тоже вышедший из лагеря. После XX съезда и известного доклада Н.С. Хрущева

семья перебралась сначала в Подмосковье, а потом в Москву. В 1963 году юная Ира познакомилась с молодым бардом Юлием Кимом, часто приходившим в их дом и находившимся в абсолютном плену могучего обаяния ее отца. В 1964 году Юлик уехал на два года учительствовать на свою любимую Камчатку, а когда вернулся, они поженились. Ире тогда едва исполнилось восемнадцать лет. Была она удивительной красавицей, какой, впрочем, оставалась всю жизнь, поскольку, к сожалению, состариться не успела. Она поступила учиться в Историко-архивный институт, который за четыре года до этого, уже в весьма зрелом возрасте, окончил ее вернувшийся из лагерей и ссылки отец. Ире, однако, окончить институт не удалось. Ее отец Петр Якир с 1967 года стал одним из лидеров набиравшего силу общественного движения, которое быстро превратилось в диссидентское.

Дом Якира стал центром этого движения, и молодая семья Юлия Кима, жившая вместе с родителями, не могла и не хотела оставаться в стороне. Ира активно участвовала в распространении «самиздата», вместе с отцом, Юликом и своими новыми друзьями – Ларисой Богораз, Павлом Литвиновым, Натальей Горбаневской, Анатолием Марченко и другими – подписывала письма протеста, а с появлением в 1968 году первого в СССР неподцензурного правозащитного информационного бюллетеня «Хроника текущих событий» приняла прямое участие в ее подготовке и издании, осуществляя, в частности, связь с Украиной. В 1969 году ее исключили из института. В 72-м арестовали Петра Якира. Иру тоже таскали на допросы, где следователи, зная о ее беременности, всячески издевались над ней, стараясь «расколоть». Судя по ее рассказам, в ход пускалось все – от запугивания и самых грязных провокаций до прямых побоев. Ира выстояла, оказавшись более стойкой, чем ее отец. Однако выпавшие на ее долю испытания не могли не подорвать ее здоровья. Кстати, много лет спустя, уже в 1996 году, она недолгое время работала в Думе и однажды в думской столовой неожиданно лицом к лицу встретилась со следователем, который ее допрашивал…

В 1973 году у Кимов родилась дочь Наташа. К этому времени Юлий был уже весьма популярным драматургом. Его пьесы шли по всей стране. Однако после ареста Петра Якира, как уже упоминалось, потерял работу и вынужден был, чтобы прокормить семью, писать к фильмам и спектаклям песни под псевдонимом «Ю. Михайлов».

Мы познакомились и подружились с Кимами примерно с середины 70-х в Пярну, где вместе проводили отпускное время.

Там в этот период жил Давид Самойлов и летом собиралась большая и шумная компания, в которую входили, кроме наших двух семейств, семья Володи Лукина, однокашника Кима по МГПИ имени Ленина, Наташа и Егор Мирза, Марк Харитонов, ставший впоследствии известным писателем, лауреатом Букеровской премии и французской Премии за лучшую эссеистическую книгу года, и многие другие.

В 1985 году Ира тяжело заболела. Одна операция следовала за другой. В 1996 году у нее обнаружили рак. Курсы облучения положения не улучшили. В 1997 году сам Ким перенес тяжелейший инфаркт. Инфаркт был обширный, и не сразу удалось его купировать. В связи с болезнью Юлика, главного кормильца семьи, возникли серьезные финансовые проблемы. В то же время Ире необходима была срочная операция, делать которую московские хирурги не решались. Пытаясь спасти жену, Юлий Ким принял израильское гражданство и вывез ее осенью 1998 года в Израиль. Однако было уже поздно. Проведя полгода в больнице, Ира умерла в мае 99-го.

Была она на редкость талантливым и сердечным человеком. Сколько я ее помню, она все время кого-то опекала, кому-то помогала и никогда не жаловалась. В советские времена ей со своей одиозной фамилией не удавалось работать подолгу на одном месте, однако даже то недолгое время, когда она в 70-е годы работала под началом известного литературоведа и искусствоведа Ильи Зильберштейна и занималась архивами Блока и Белого в связи с подготовкой одного из томов «Литературного наследства», оказалось для нее плодотворным. Ей удалось разыскать, в частности, несколько неопубликованных стихотворений Блока. Главным же ее делом было активное участие в подготовке «самиздатовской» «Хроники текущих событий», а также в работе общественного Красного Креста и помощь семьям осужденных. Все, кому посчастливилось встречаться с ней в ее недолгой и полной испытаний жизни, не могли не почувствовать на себе незабываемого обаяния ее красоты и душевности.

Тогда, в ноябре 1996 года, обратно из Эйлата в Хайфу мы ехали вчетвером на автобусе долгим ночным рейсом. Автобус закладывал крутые виражи по горной дороге над Мертвым морем, и полная луна заглядывала в окна то слева, то справа. Бодрствующий Юлик неожиданно предложил мне послушать начало новой песни. Послушав его, я сказал, что мотив мне что-то напоминает. Это, впрочем, не помешало Юлику дописать песню, которую он с успехом показывал на всех наших концертах: «Дорогой длинною и ночью лунною с Эйлата в Хайфу через Тель-

Авив».

Несмотря на растущую военную напряженность, дни, проведенные в Израиле, напомнили мне о чувстве собственного достоинства. Том чувстве, которое с детства тщательно вытравливалось во мне и моих сверстниках под пионерские барабаны и комсомольское хоровое пение, под победные марши сталинских парадов и пьяный мат глумящейся толпы. Нас не учили любить, учили только ненавидеть – классовых врагов, инородцев, абстракционистов, сионистов, уклонистов – всех, на кого в очередной раз направлен указующий перст. Жизнь моего поколения невозвратно потрачена в этом больном ненормальном обществе, пораженном паранойей всеобщей ненависти. Но я рад, что хотя бы в конце пути увидел мир, где, возможно, будут жить не ненавистью, а любовью.

Ах, Земля моя обретенная,
Полыхание синевы,
Левантийское море сонное
И сухие пучки травы.
Могендовиды, полумесяцы,
Христианства святой огонь.
На ладони она поместится,
Если взять ее на ладонь.

Ах, Земля, что была утрачена
И недавно возвращена,
За которую кровью плачено
И похоже, что не сполна.
Мне работать на ней и сеять бы,
Воротив молодую прыть,
Только мне, как и Моисею, здесь
Не придется уже пожить.

Та Земля, что вдоль моря тянется,
От которой отчалил Ной,
Навсегда мне чужой останется,
А для внуков моих родной.
Обреченного человечества
Прорастающее зерно,
Над которым пылает вечера
Неразбавленное вино.

С Израилем связано немало удивительных историй, которые пересекаются с трагической историей Холокоста и героической

историей борьбы за эти святые для евреев места. Одна из них закончилась на вершине горы Кармель, за стенами монастыря кармелитов. Речь идет о героическом человеке – Освальде Руфайзене. Еврейский мальчик, который родился в Польше, вместе с родителями в 39-м году бежал от гитлеровцев в Белоруссию и в 41-м, будучи молодым человеком, прекрасно зная немецкий язык, когда Вермахт захватили городок Мир, пошел работать переводчиком в полицию, выдав себя за немца. Он не был похож на еврея. Работая в полиции, Руфайзен помогал партизанам и спасал евреев от уничтожения. В 42-м году году он вывел в безопасное место триста человек из гетто, после чего сам вынужден был бежать. Руфайзен укрылся за стенами католического монастыря, принял христианство и уже после войны переехав в Израиль, в течение многих десятилетий был монахом кармелитского ордена. Самое интересное, что, являясь национальным героем Израиля, Руфайзен несколько лет судился с правительством этой страны, для того чтобы получить израильское гражданство, поскольку по вероисповеданию был католиком. Его многолетняя дружба с кардиналом Каролем Юзефом Войтылой, который затем стал папой римским Иоанном Павлом II, привела к тому, что Ватикан официально признал государство Израиль.

На вершине горы Кармель в монастыре Стэллы Марии, построенном еще крестоносцами, я встретился с монахами, которые помнят Освальда Руфайзена. Они показали мне и съемочной группе фильма «Атланты держат небо…» его монашескую келью. Немало материалов о брате Даниэле, таково было монашеское имя Руфайзена, хранится в музее Холокоста в мемориальном комплексе Яд ва-Шем. Ему посвящен роман известной писательницы Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик». Повествование, правда, несколько отличается от реальности: в книге Улицкой главный герой погибает в автомобильной катастрофе, на самом же деле Руфайзен умер своей смертью в 1998 году. «Такой святой человек не мог погибнуть насильственной смертью», – заявил старый кармелитский монах, показывавший нам его келью. Он рассказал, что при погребении Руфайзена над ним читали и христианские поминальные молитвы, и кадиш. А над гробом плакали не только евреи, но и десятки христиан-арабов. Похоронили Руфайзена на христианском участке огромного кладбища в нижней части Хайфы на берегу моря. Нам с трудом удалось отыскать его заброшенную могилу, неприбранный вид которой вызывает обиду и грусть.

Среди израильских земель
Цветные видит сны
Руфайзен Освальд Даниэль,
Герой былой войны.
Евреев спас немало он
Из выжженных галут,
Но внуки тех, кто им спасен,
К могиле не придут.

Заброшенной могилы вид
Моим глазам не мил.
Лежит еврейский кармелит
Среди чужих могил,
Меж желтой высохшей травой
Под светом синевы.
В далекой Польше он изгой,
И здесь изгой, увы.

В краю, где в этот час темно,
Среди заморских стран,
О нем снимается кино
И пишется роман.
А здесь под белою стеной
Закат пылает, мглист,
Лежит не признанный страной
Наивный сионист.

Среди ветхозаветных мест
Лежит он в тесноте,
И почему-то сорван крест
На каменной плите,
Где красно-белый, как ожог,
От Кракова вдали,
Отчизны маленький флажок
Валяется в пыли.

В Хайфе несколько лет назад мне довелось побеседовать с крупным израильским религиозным философом и писателем, русскоязычным раввином, магистром математической логики Еврейского университета в Иерусалиме Менахемом-Михаэлем Гитиком, который подарил мне свою книгу «Где же был Бог во время Катастрофы?» Катастрофой в Израиле называют Холокост, в огне которого погибло почти шесть миллионов евреев.

На киот поглядываю косо,
И не верю в ангельскую весть.
Где был Бог во время Холокоста,
Если он и вправду в мире есть?

Русский, итальянский и еврейский,
Где он был, незыблемый в веках,
На полотнах, куполах и фресках
Медленно парящий в облаках.

На вопрос ответить мне не просто
На местах бесчисленных могил,
Где был Бог во время Холокоста,
Если он и вправду где-то был?

Я об этом думаю с тоскою,
Ощущая с мертвыми родство.
Если мог он допустить такое,
Значит, вовсе не было его.

На восходе или на закате,
Для чего в молитвах и мечтах,
От него все ждем мы благодати,
Перед ним испытывая страх?

В шумной портовой Хайфе на склоне горы Кармель, у подножия которой находится гробница Ильи Пророка, меня поразил большой странного вида храм, не похожий ни на синагогу, ни на христианскую церковь, ни на мечеть. Храм этот увенчан золотым, нестерпимо полыхающим на солнце куполом и хорошо виден с моря на фоне зеленого склона. Поставлен он здесь приверженцами одной из самых молодых на нашей планете конфессий – «бахаи», которая провозглашает единство всех верований, поскольку Бог един, и всеобщую любовь между людьми. Последователи этой религии одинаково поклоняются Христу, Магомету, Будде и Иегове. Необычный этот храм стоит в огромном тенистом парке, посаженном прихожанами: каждое новое дерево здесь – форма молитвы. В удивительном этом парке, как в дендрарии, сошлись вместе растения Запада и Востока, Севера и Юга, демонстрируя возможность мирного и дружного сосуществования. Среди причудливого лабиринта дорожек, на клумбах, засаженных яркими и диковинными цветами, возвышаются бронзовые изваяния экзотических животных и птиц,

населяющих нашу планету. Негромкое пение птиц и шелест густых ветвей струятся над немноголюдным парком. Не странно ли, что уникальный этот храм, декларирующий любовь, так же как и храмы трех древнейших религий, встал именно здесь, на крошечной, истерзанной кровавыми междоусобицами земле Израиля, где когда-то зародилась человеческая цивилизация? Видимо, недаром слово «адам» на иврите означает «человек».

На вершине Кармель, где стоит монастырь кармелитов,
У подножия ее, где могила пророка Ильи,
Где, склоняясь, католики к небу возносят молитвы
И евреи, качаясь, возносят молитвы свои.
Позолоченным куполом в синих лучах полыхая,
У приехавших морем и сушей всегда на виду,
Возвышается Храм новоявленной веры Бахаи
Возле сада, цветущего трижды в году.

Этот сказочный Храм никогда я теперь не забуду,
Где все люди живут меж собой в постоянном ладу.
Одинаково чтут там Христа, Магомета и Будду
И не молятся там, а сажают деревья в саду.
Здесь вошедших любя обнимают прохладные тени,
Здесь на клумбах цветов – изваянья животных и птиц.
Окружают тебя сочетания странных растений,
Что не знают границ, что не знают границ.

Буду я вспоминать посреди непогод и морозов
Лабиринты дорожек, по склону сбегающих вниз,
Где над синью морской распускается чайная роза
И над жаркою розой недвижный парит кипарис.
Мы с тобою войдем в этот сад, наклоненный полого,
Пенье тихое птиц над цветами закружится вновь.
И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога, —
Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь.

У меня дома, в Москве, над письменным столом висит большая цветная карта Израиля, подаренная мне в декабре 1990 года в Иерусалиме составившим ее известным американским геофизиком Джоном Холлом. Сам Джон, белокурый англосакс огромного роста со светлыми глазами, женившись на израильтянке, переселился в Израиль и даже сделал обрезание. Уже много лет он работает в Геологической службе Израиля и строит на компьютерах морские и сухопутные карты. В своем иерусалимском доме, где я побывал в гостях, он

оборудовал настоящую картографическую лабораторию, где работает один или с двумя помощниками, используя могучую компьютерную технику. Карта же, подаренная мне, создана на основе цветной аэрофотосъемки, проведенной с американского спутника «Landsat» с высоты около 930 километров в светлое время суток – между девятью утра и шестью часами вечера – в 1987 году. Детали ее уточнены по данным еще одной космической съемки, на этот раз уже с французского спутника. В результате появилась роскошная трехцветная карта Израиля, яркая и радостная, как сама новенькая Обетованная земля, только что сотворенная Богом.

Если смотреть на эту карту глазами геолога, то в глаза сразу же бросается длинная линия, протягивающаяся с севера на юг по восточной ее части и как бы отделяющая Израиль от его арабских соседей. Беря свое начало на севере неподалеку от вершины Хермон, линия эта отчетливо прослеживается вдоль реки Иордан, далее тянется через чудотворное озеро Кинерет, снабжающее весь Израиль пресной водой, затем снова идет по Иордану и вдоль Мертвого моря. Еще дальше на юг она тянется через пустыню Негев, где отчетливо обозначается огромными скальными обрывами, привлекающими внимание экскурсантов. Помню, как поразились мы с моим приятелем – геологом Михаилом Рыбаковым, только переехавшим в 90-м году в Израиль из Питера, когда, выйдя из экскурсионного автобуса на пути из Беэр-Шевы в Эйлат, впервые увидели в пустыне Негев перед собой гигантский багряно-черный обрыв, протянувшийся от горизонта до горизонта и кажущийся непреодолимой границей, созданной Богом. Еще дальше к югу эта трещина становится невидимой, ныряя в вечно теплые воды Красного моря под коралловые рифы Эйлатского залива.

В 1997 году мы, вместе с моим другом израильским геологом Арье Гелатом, анализируя эту карту, на основе совместной интерпретации геологических и геофизических данных высказали предположение, что тянущаяся с севера на юг описанная выше сквозьлитосферная трещина, раскалывающая твердую оболочку Земли, которая носит название Мертвоморского трансформного разлома, на самом деле преобразуется в рифт – расширяющуюся трещину, края которой раздвигаются в разные стороны, понемногу превращая Мертвое море в зародыш нового океана. Я докладывал об этом на Международном геологическом симпозиуме в Тель-Авиве. Если это так, то трещина эта соединится с красноморским рифтом, отодвигающим Аравийский полуостров от Африки, и Израиль, оторвавшись от аравийской микроплиты, превратится в остров, точнее, в маленький

самостоятельный континент, к которому снова присоединится Синайский полуостров.

Согласно современной теории строения нашей планеты, ее внешняя твердая оболочка – литосфера – состоит из отдельных плит, движущихся по сферической поверхности Земли. Там, где плиты расходятся, раскалываясь по так называемой рифтовой трещине, образуется новый океан, раздвигающий континенты, которые при этом разбиваются на части трансформными разломами. Там, где континенты сходятся, происходит закрытие древних океанов, а на границах столкнувшихся континентов от удара возникают огромные горные хребты. Именно так случилось около тридцати шести миллионов лет назад, когда в результате сближения Евразии с южными материками, оторвавшимися от суперконтинента Гондвана, закрылся древний океан Тетис, последними остатками которого являются Средиземное и Черное моря. От столкновения материки раскололись на множество мелких плит. Одна из них – Израильская микроплита – примыкает к Аравийской, отделяясь от нее трансформным разломом Мертвого моря. Так что земля Израиля действительно образует собой микроконтинент в сложном ансамбле Аравийской плиты, напоминающей битую тарелку.

За долгие годы океанских плаваний мне довелось видеть много различных островов, от арктических – Новая Земля, Вайгач, до антарктических – Кэмпбелл, Маккуори, включая Канарские, Бермудские, Гавайские, Антильские, Азорские и многие другие. Запомнились мне острова с эндемичным растительным и животным миром – Галапагосские с доисторическими ящерами и Тасмания с сумчатыми животными – осколки жизни, исчезнувшей на Земле. Израиль – остров другого рода. Реликтовая эндемичность географии Ветхого и Нового Завета сочетается здесь с ростками новых для нас – или основательно забытых – основ человеческой нравственности. Соседствующие здесь рядом могендовид, крест и полумесяц, причудливые сочетания библейской, эллинской, римской, христианской и арабской цивилизаций, смешение людей, животных, языков и растений будят в нас мысли о Ноевом ковчеге во дни грядущего потопа.

А между тем неумолимое движение литосферных плит продолжается. Гудят и сотрясаются земные недра, раскалываемые новыми трещинами. Соединившиеся вместе в Северном полушарии континенты снова начинают распадаться. Огромная рифтовая трещина, породившая озеро Байкал, неостановимо отрывает Забайкалье и Дальний Восток от остальной России. Такая же дышащая огненной лавой трещина («Геенна огненная») раскалывает дно Красного моря и продвигается в Эйлатский

залив и далее по впадине Мертвого моря, преображая ее в рифт и отодвигая Обетованную землю от Иордании. Помню, как после моего доклада в Тель-Авивском университете мне задали вопрос: «Когда, профессор, когда?» Я ответил: «Примерно через пятнадцать-двадцать миллионов лет. Что вам стоит продержаться?» Действительно, пройдет не так уж много времени на геологических часах, и остров Израиль начнет наконец свое самостоятельное плавание в бурном океане истории Земли и человечества.

Эта трещина тянется через вершину Хермона,
Через воды Кинерета, вдоль Иордана-реки,
Где в невидимых недрах расплавы теснятся и стонут,
Рассекая насквозь неуклюжие материки.
Через Негев безводный, к расселине Красного моря,
Мимо пыльных руин, под которыми спят праотцы,
Через Мертвое море, где дремлют Содом и Гоморра,
Словно в банке стеклянной засоленные огурцы.
Там лиловые скалы цепляются зубчатым краем,
Между древних гробниц проводя ножевую черту.
В Мировой океан отправляется остров Израиль,
Покидая навек Аравийскую микроплиту.
От пустынь азиатских – к туманам желанной Европы,
От судьбы своей горькой – к неведомой жизни иной
Устремляется он. Бедуинов песчаные тропы
Оборвутся внезапно над темной крутою волной.
Капитан Моисей уведет свой народ, неприкаян,
По поверхности зыбкой, от белых барашков седой.
Через этот пролив не достанет булыжником Каин,
Фараоново войско не справится с этой водой.
Городам его светлым грозить перестанет осада,
И над пеной прибоя, воюя с окрестною тьмой,
Загорится маяк на скале неприступной Масады,
В океане времен созывая плывущих домой.

Уроки немецкого

Под покрывалом бархатным подушка,
С литою крышечкой фаянсовая кружка,
Пенсне старинного серебряная дужка,
Мне вспоминаются по вечерам,
Агата Юльевна, опрятная старушка,
Меня немецким обучавшая словам.

Тогда все это называлось «группа».
Теперь и вспоминать, конечно, глупо
Спектакли детские, цветную канитель.
Потом война, заснеженные трупы,
Из клейстера похлебка вместо супа,
На Невском непроглядная метель.

Ах, песенки о солнечной форели,
Мы по-немецки их нестройно пели.
В окошке шпиль светился над Невой.
…Коптилки огонек, что тлеет еле-еле,
Соседний сквер, опасный при обстреле,
Ночной сирены сумеречный вой.

Не знаю, где теперь ее могила, —
В степях Караганды, на Колыме унылой,
У Пискаревских горестных оград.
Агата Юльевна, оставим все как было,
Агата Юльевна, язык не виноват.

Спасибо за урок. Пускай вернется снова
Немецкий четкий слог, рокочущее слово,
Из детства, из-за тридевять земель,
Где голоса мальчишеского хора,
Фигурки из саксонского фарфора
И Шуберта хрустальная капель.

Мое открытие Германии оказалось для меня неожиданным, тем более что случилось оно в весьма зрелом возрасте, когда открытия совершать как будто поздновато. Более тридцати лет странствуя по морям и океанам и объехав почти все задворки планеты, до самого последнего времени я так и не побывал ни разу в Центральной Европе.

Давние мои представления о Германии основывались на двух основных противоположных источниках. Первый – зыбкие воспоминания об упомянутой выше немецкой группе Агаты Юльевны из довоенного детства и неожиданно всплывающие в памяти отрывки из стихов Гейне, Гете и Шиллера, которые мы когда-то заучивали в школе на уроках немецкого. Второй, гораздо более основательно засевший в памяти, – война, блокада, бомбежки, пикирующие на мой родной город самолеты со сдвоенными черными крестами на крыльях, моя бабушка, закопанная живьем в землю в могилевском лагере уничтожения в 1941 году, метельная блокадная зима с неубранными трупами на улицах Питера, гора детских ботиночек в Освенциме, где мне довелось побывать на экскурсии в середине 60-х. Мне представлялась нацистская страна, населенная нелюдями, учинившими Холокост и уничтожившими миллионы людей. Реальность же оказалось совсем иной.

Ярким и солнечным днем в начале июля 1996 года наш самолет приземлился в аэропорту Мюнхена. Стараниями моей давней питерской приятельницы Галины Ковалевой, связанной по работе с немецкими строительными фирмами, я получил официальное приглашение от общества немецко-российской дружбы в Мюнхене выступить с авторским концертом в филармоническом концертном зале Мюнхена «Гастайг». В филармонической программе вечер этот назывался весьма оригинально: «Александр Городницкий – легенда Петербурга».

Приехали мы втроем с Галей Ковалевой и моим питерским другом и аккомпаниатором Михаилом Кане и остановились в предместье Мюнхена в доме знакомого Галины Харальда Дзюбы, бывшего крупного руководителя строительства гидротехнических сооружений, пожилого, весьма интеллигентного человека, и его обаятельной жены Лиззи. Сам Харальд в 41-м был мобилизован в армию и выброшен в составе парашютного десанта под Лугой. Ему, однако, повезло – при приземлении он сломал ногу и был госпитализирован. После выздоравления его направили на Западный фронт, где он попал в плен к союзникам. Несколько дней мы жили в их на редкость гостеприимном доме, обихаживаемые радушными хозяевами.

Солнечная и светлая Бавария, двухэтажные сельские дома в стиле фахверк с белым низом и черным верхом, окрестные церкви с витыми по-баварски куполами, синие силуэты Альп на горизонте, контактные и доброжелательные баварцы, наконец, сам роскошный Мюнхен со старинными зданиями, которые были стерты с лица земли англо-американской авиацией и снова восстановлены с чисто немецкой педантичностью… Все это никак

не вязалось со стереотипом мрачной вражеской страны из моего блокадного детства. Эти улыбчивые, с благородной сединой загорелые пожилые бармены в шортах и тирольских шляпах с пером, радостно, как неожиданно встреченных друзей приветствующие нас в маленьких горных ресторанчиках и биргартенах, неужели и впрямь воевали когда-то на Восточном фронте, жгли города и села, убивали детей и женщин? Да и была ли в самом деле война? Как трудно в это поверить в этом таком уютном, стабильном и солнечном мире! Помню, как я удивился, когда Харальд рассказал нам, что они с Лиззи взяли билет на концерт симфонической музыки, который должен состояться через год. «Как можно так все планировать? А вдруг что-нибудь случится?» – «А что может случиться?» – удивился он в свою очередь.

Концерт, на который меня пригласили, должен был состояться в центральном концертном зале Мюнхена «Гастайг» с преимущественно немецкой аудиторией. Это очень меня обеспокоило, поскольку все песни я планировал исполнять на русском языке. За несколько оставшихся до концерта дней, благодаря героическим усилиям приятеля Галины, знавшего русский язык и оказавшегося прекрасным переводчиком, Петера Шенкеля, для десятка основных песен были составлены построчные переводы, которые предполагалось размножить и положить на каждое кресло в зале. Кроме того, Петер любезно обещал перед некоторыми песнями дать кратко со сцены их аннотацию на немецком.

Я со своей стороны, вспомнив уроки средней школы, решил во что бы то ни стало хотя бы одной фразой приветствовать немецких зрителей. Зал в «Гастайге», несмотря на так и не спавшую к вечеру жару, оказался полным, и зрители были одеты в вечерние костюмы. Это повергло меня в некоторое смущение, поскольку сам я обрядился в только что купленную по случаю концерта белую рубаху, рукава которой оказались слишком длинными, и прямо за сценой их пришлось срочно подкалывать. Кстати сказать, Петер Шенкель, со свойственной ему эксцентричностью, вообще пришел на концерт в затертом пиджаке и чуть ли не босиком.

Выйдя на сцену и стараясь не забыть заученную наперед и отрепетированную с Мишей Кане приветственную фразу, я подошел к микрофону и внезапно осипшим голосом сказал, как мне представлялось, по-немецки примерно следующее: «Добрый вечер. Извините, но я не говорю по-немецки. Поэтому мне хотелось бы знать, кто из наших гостей не понимает по-русски. Кто не знает русского языка, поднимите, пожалуйста, руку».

Добравшись с запинками до конца фразы, я долго вспоминал последние слова и вдруг неожиданно для себя внезапно прорезавшимся голосом заорал в зал: «Хенде хох, битте!» Зрители дружно засмеялись и подняли обе руки, решив, что я пошутил. После этого вечер был обречен на успех.

Второй раз в том же составе мы приехали в Германию в январе 1997 года, когда живущий во Франкфурте-на-Майне мой приятель Борис Телис организовал мое концертное турне по нескольким городам Германии. За три недели мы объездили не менее десятка городов – от Берлина до Дюссельдорфа. На этот раз аудитория была везде русскоязычная и состояла, как правило, из евреев, принятых в Германии на постоянное жительство в качестве частичной компенсации за Холокост. Меня поразило многообразие великолепных ландшафтов, стремительно пролетавших за толстыми стеклами широких вагонных окон, – пенистый и быстрый Рейн со скалой Лорелеи, лесистые склоны Гарца, суровые замки на вершинах холмов, каналы Гамбурга.

Этот вид из вагонных открывшийся окон,
Этой зелени пышной насыщенный цвет!
Что Германия больше понравилась Блоку,
Чем Италия, в том непонятного нет.
Школьных лет предваряя былые вопросы,
Заготовил ответы любой поворот.
Здесь когда-то поход начинал Барбаросса,
Карл Великий на Майне отыскивал брод.
Меж руинами замков, у ног Лорелеи,
Безмятежного Рейна струится вода.
Почему ее так обожали евреи
И себе на беду приезжали сюда?
Вслед за этим в золу обратившимся хором
Восславляю и я то пространство, в котором
То гравюра мелькает, то яркий лубок,
Где над Кельнским растаявшим в небе собором
Обитает в тумане невидимый Бог.
Меж Висбаденом, Марбургом и Гейдельбергом,
Всем блокадным сомненьям моим вопреки,
Возникают великие тени и меркнут
Под навязчивый шепот знакомой строки.
Триста лет состояли мы в брачном союзе,
То враждуя, то снова друг друга любя.
Не напрасно немецкой медлительной музе
Ломоносов и Тютчев вверяли себя,
Белокурых невест подводя к аналою,

И в итоге недавней войны Мировой
Стали русские парни немецкой землею,
А солдаты немецкие – русской землей.
Не случайно во времени нашем капризном
Начинается новых братаний пора,
И марксизм-сталинизм обнялись с гитлеризмом,
Воплощая в веках завещанье Петра.
Никогда не изжить этот горестный опыт,
Императоров наших остзейскую кровь,
То окно, что когда-то пробито в Европу,
Неизменную эту любовь.

С Германией связана история моего знакомства с замечательным человеком, правозащитником и писателем Львом Зиновьевичем Копелевым, который всю жизнь был убежденным коммунистом и в 30-е годы даже принимал участие в раскулачивании. Копелев, будучи в рядах действующей армии, в 44-м году, когда наши войска вошли в Пруссию, стал свидетелем жестоких расправ над мирным немецким населением, в частности массовых изнасилований немецких женщин. Размахивая партбилетом и «наганом», он пытался остановить эту вакханалию, за что был посажен на полную катушку. В лагерях Копелев из правоверного коммуниста раз и навсегда превратился в убежденного диссидента. Кстати, именно он послужил прототипом майора Рубина – одного из главных героев знаменитого романа «В круге первом» Александра Солженицына, с которым они дружили и вместе сидели в той самой «шарашке» в подмосковном Марфине. Впрочем, все это прекрасно описано в его собственной книге «Хранить вечно».

Я много раз встречался с Копелевым в Пярну, где он подолгу жил рядом с замечательным поэтом Давидом Самойловым, с которым мы тогда дружили. Вспоминаю, что, когда Копелева выдворили из СССР, я приехал к нему на проводы в «Дом писателей» рядом с метро «Аэропорт», сильно сомневаясь в том, следует ли это делать, поскольку работал я в «выездном» институте и часто ходил в заграничные рейсы. Действительно, у подъезда всех входящих фотографировали сотрудники КГБ. Когда я вошел в квартиру Копелева, то увидел его, сидящего перед западной телекамерой. Как очень быстро выяснилось, его снимали журналисты враждебного Би-би-си. Увидев меня, он закричал: «Саня, иди сюда, давай споем!» А потом запел «Бригантину», обняв меня одной рукой. Я стал подпевать ему прямо перед телеобъективом и вдруг с ужасом увидел, что в

левой руке Лев демонстративно держит подожженный советский паспорт. Так мы расстались с ним в Советском Союзе.

Через много лет, в 1997 году, когда во второй раз приехал в Германию, с концертами и выступлениями, я побывал у него в гостях, в Кельне, где он жил уже много лет. Лев Копелев был близким другом известного немецкого писателя Генриха Белля, вместе с которым написал книгу «Почему мы стреляли друг в друга?». В Германии он получил статус почетного гражданина и последние годы работал над проектом «Немцы в русской культуре за триста лет и русские в немецкой». Написанная им книга «Святой доктор Федор Петрович» посвящена русскому врачу немецкого происхождения Ф.П. Гаазу, который тоже занимался изучением культурных связей Германии и России. Я помню, что тогда мы сидели у него дома, пели новые песни, которые он с интересом слушал. Осталась фотография об этих временах. К великому сожалению, в том же году Льва Копелева не стало. Он умер от тяжелой формы гриппа, которой нечаянно заразил остановившегося у него в доме Булата Окуджаву. Окуджава, уехав во Францию, скончался от осложнений, вызванных этим гриппом. Так два замечательных человека, определившие собой целую эпоху, умерли от одной болезни и примерно в одно и то же время. После панихиды по Булату в Театре имени Вахтангова, через несколько дней на кладбище Донского монастыря мы хоронили Льва Копелева. Тогда же я написал стихи его памяти:

Прими венок мой скромный к изголовью
Перед уходом в плаванье большое,
Почетный немец с иудейской кровью
И русскою доверчивой душою,

Что в сорок первом сделавшись солдатом,
Свою наивность обративший в силу,
Стал гуманистом, но не в сорок пятом,
А на год раньше – это и сгубило.

Ты был похож на капитана Немо
В краю, не понимающем презумпций.
Спасать от изнасилованья немок
В сорок четвертом в Пруссии – безумство.

Тебе статей на полный срок хватило:
Казенный дом и дальняя дорога.
Потом мы вместе пели «Бригантину»,
Прощаясь у московского порога.

Библейский старец с бородою снежной
И радостными светлыми глазами,
Ты вызывал в сердцах немецких нежность,
Но был всегда одной Россией занят.

Библейский старец с детскими глазами,
Бывалый зэк, себя судивший строго,
Ты перед Богом выдержал экзамен,
С рождения не признававший Бога.

Но в дальних неопознанных пределах,
Над звездною распутицею млечной,
Пылится неоконченное дело
С пометкою на нем: «Хранится вечно».

В 1997 году в Кельне журналистка Хильда Хайдерзам подарила мне книгу о русской авторской песне, где был опубликован немецкий перевод песни «Атланты», сделанный переводчицей Катей Лебедевой, живущей в Берлине. Через несколько дней после этого у меня был концерт в Берлине в Русском культурном центре. Зал на три четверти состоял из русских евреев, которые, чувствуя себя хозяевами положения, шумно переговаривались, смеялись, пересаживались с места на место. Примерно одну четверть составляли немцы, в основном студенты-слависты, изучающие русский язык. Они, не в пример евреям, вели себя крайне скромно и вежливо молчали. Вечер уже подходил к концу, когда я, вдруг вспомнив, что у меня под рукой есть немецкий перевод песни «Атланты», решил почтить немецких гостей и спеть эту песню по-немецки. Однако я недооценил звучание жесткого немецкого текста на мою мелодию:

Ganz Wenn dir vor Schmerz und Sorgen
Und kalt ist in der Brust,
Dann weist du, das du morgen
Zur Ermitage gehn must,
Wo ohne je zu klagen,
Nun schon jahrhundertlang,
Atlanten muhsam tragen
Den Himmel in der Hand.

Как только я стал петь песню с листа по-немецки, то заметил

краем глаза, что в зале начали происходить странные изменения. Евреи, которые только что чувствовали себя вполне вольготно, вдруг перестали смеяться, замолчали и начали боязливо озираться, как будто ожидая новой «хрустальной ночи». Немцы же, наоборот, оживились, начали улыбаться, переглядываться, бить друг друга по плечу и привставать со своих мест. Мне сразу вспомнился эпизод из гениального фильма «Кабаре», когда мальчик чистым голосом начинает петь народную песню, а к концу она преображается в нацистский гимн. Испугавшись, я перешел на русский язык, и все встало на место.

Многие имена древних немецких городов связаны с именем Карла Великого и завоеваниями франков. В Бремене, например, стоит памятник неистовому Роланду. Слово «Франкфурт», как мне объяснили, означает «франкский брод». В этих местах воинственные франки переправлялись через Майн и Одер. Небольшой городок Карлсруе получил свое название оттого, что Карл Великий избрал его местом для отдыха (Руе – по-немецки «покой»). Узнав об этом перед самым выходом на сцену, я сказал, открывая вечер: «Оказывается, «Карлсруе» – это «Покой Карла», а вовсе не сообщение Карлу о том, что ты делаешь в настоящий момент». В небольшом городе Гамельне, знаменитом своим крысоловом, туристский маршрут по старому городу намечен на брусчатке мостовой белыми силуэтами бегущих крыс. А вот и сам крысолов с дудочкой в руках, на огромном цветном плакате, висящем на стене большого универмага «Карлштадт». За ним, заслушавшись, следуют дети. Впечатление такое, что идут они в этот магазин.

В 1998 году, познакомившись с Артуром Лукасом, возглавляющим общество немецко-российской дружбы в Магдебурге, я попал в Цербст, в маленький музей в родовом дворце Ангальт-Цербстских князей, посвященный принцессе Софье Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, ставшей впоследствии российской императрицей Екатериной II. Очень красивая девушка в платье XVIII века встречает посетителей книксеном и представляется Екатериной II, помогая ознакомиться с небольшой экспозицией. Какая удивительная связь между этим захолустным и небогатым немецким городком и Великой и необъятной Российской империей!

Старинные замки стоят на холмах
У Рейна и Эльбы.
Орлиных раскрылий медлительный взмах,
Поющие эльфы.
Там призраки бродят всю ночь до утра,

Пугливы как дети.
На башнях высоких скрипят флюгера, —
Меняется ветер.

Немецкие замки стоят над водой
Дуная и Майна.
Под черными сводами дышит бедой
Забытая тайна.
Столетней войны, Семилетней войны
Угрюмые вехи.
Бесстрастно портреты глядят со стены,
Мерцают доспехи.

Здесь шпаги звенели раз сорок на дню,
И плакали вдовы.
Их стены и башни сводил на корню
Французский Людовик.
Но к небу они поднимались опять,
Вставая из пепла.
Их каменной плоти упрямая стать
Мужала и крепла.

Мне снятся в березовом русском лесу
Немецкие замки,
Куда поселяне под вечер несут
Сухие вязанки.
И кажется странным их сказочный вид
Меж нынешних буден,
А в замке красавица юная спит,
Пока не разбудят.

Из многих городов Германии, где мне довелось побывать в концертных поездках, более других мне запомнился Марбург. Отчасти потому, что имя это пришло ко мне из стихов Пастернака, отчасти оттого, что водил нас по этому старинному университетскому городу, с которым связаны имена братьев Гримм и Ломоносова, замечательный человек, детский врач, харьковчанин Григорий Певзнер, влюбленный в этот, ставший ему родным город. Именно здесь будущий великий русский ученый Михаил Ломоносов, в бытность свою студентом, уже успев жениться и сильно подпив в местном кабаке, дал подписку вступить в армию Фридриха II Великого. Проснувшись наутро под замком в каталажке, он своими могучими руками раздвинул

железную оконную решетку и благополучно сбежал в Россию, чем оказал немалую услугу отечественной науке. Сам Григорий, одаренный поэт и эссеист, уверял нас, что каждый раз, водя гостей по Марбургу, он сам обнаруживает что-то новое, чего раньше не знал или не замечал.

Марбургу сильно повезло. Он оказался одним из немногих немецких городов, которые не пострадали от беспощадных англо-американских бомбежек во время войны. Бытует легенда, что причина этого якобы в том, что командир эскадрильи, получивший приказ о его бомбардировке, был выпускником Марбургского университета. Расцвет Марбурга в начале XIII века связывают с именем тюрингского ландграфа Людвига IV и его жены Элизабет, которая вышла замуж в четырнадцать лет, а в двадцать уже осталась вдовой с четырьмя детьми, поскольку ее супруг погиб в Крестовом походе. Элизабет совершает чудеса подвижничества, строит францисканские больницы для бедных и не покладая рук трудится в них, не боясь никаких эпидемий. Еще при муже она потрясает окружающих тем, что отдает их супружескую постель прокаженному. В возрасте двадцати четырех лет она умирает и впоследствии причисляется к лику святых. Родственник ее мужа, ландграф Конрад, Великий Магистр Тевтонского ордена, переводит сюда управление им и закладывает церковь Элизабеткирхе, куда помещают прах святой. В 1527 году гессенский ландграф Филипп основал Марбургский университет, который стал первым протестантским университетом в Германии. До сих пор на территории старинного замка ландграфов, возвышающегося над городом на высоком берегу Лана, можно увидеть консервативные студенческие корпорации «Алеманния», «Корпус Тевтония» с традиционными пивными, украшенными чучелами медведей и шпагами в козлах. Не вышли до сих пор из моды и традиционные шрамы на лице у буршей, которым полагалось всегда драться на дуэлях с поднятым забралом. Многие из буршей до недавнего времени специально резали себе физиономии.

Город тесно связан с мировой и даже русской литературой. В начале XIX века здесь преподавали братья Гримм, ученики знаменитого профессора римского права Фридриха Карла фон Савиньи. Кстати, и знаменитые иллюстрации к сказкам братьев Гримм «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах» и другим, как поведал нам всезнающий Гриша Певзнер, созданные в начале XX века художником Отто Убелоде, тоже имеют своей основой реальные ландшафты Марбурга и его ближайших окрестностей.

В Марбурге изучал философию Борис Пастернак, название

поэмы которого много десятилетий назад открыло для меня этот таинственный город. Здесь неоднократно бывал Булат Окуджава, ставший его почетным гражданином и написавший песню, начинающуюся словами: «Когда петух над Марбургским собором пророчит ночь и предрекает тьму». Нам пора было уже уезжать, а мы все ходили по его древним и узким улочкам с фахверковыми домами, спеша как можно больше запомнить и унести с собой хотя бы часть очарования этого удивительного сказочного города.

Здесь когда-то живал Ломоносов,
Постигая науки азы,
А поздней, кантианский философ,
Накануне вселенской грозы,
Молодого учил Пастернака
Познавать окружающий мир.
Это все позабыто. Однако
Над фахверками съемных квартир
Ранней готикой дышат соборы,
И кричит ежечасно петух,
Заполняя пространство собою,
Говоря, что огонь не потух.
В половодье тюрингских туманов
Сохранился рассеянный свет,
Что идет от крутых алеманнов
И неистовой Элизабет.
Над зелеными водами Лана,
Это место немало веков
Было так почему-то желанно
Для далеких моих земляков.
Не по их ли незримой указке
Приезжаю сюда, пилигрим,
Где придумывать начали сказки
Два студента по имени Гримм?
Не с того ли, от жизни усталый,
Я любуюсь, забыв про дела,
Той Германией, доброй и старой,
Что из памяти нашей ушла?

Накануне вечером за столом в доме у Певзнеров мы разговорились с молодым профессором теоретической физики из Москвы, преподающим в Марбурге. Речь зашла о национальной ментальности студентов. Я, читавший в последние годы лекции по геофизике на геофизическом факультете Московского университета, посетовал на нерадивость русских студентов по

сравнению с аккуратными и всегда дисциплинированными немцами. «Не скажите, – улыбнулся мой собеседник, – в Германии другие трудности, связанные именно с хваленой немецкой дисциплиной. Когда я даю студентам решать задачу, они обычно приходят ко мне и спрашивают, где можно найти готовые варианты решения. Такая психология хороша для службы в армии или работы на фирме, а вот для теоретической физики не годится. А вот в России студенты мыслят менее стандартно. Кстати, когда в середине тридцатых годов Гитлер изгнал из германских университетов профессоров-евреев, немецкие профессора облегченно вздохнули, поскольку евреи их сильно опережали, в частности в физике».

В 1998 году в Берлине мне довелось познакомиться с одним из лидеров движения русской авторской песни в Германии – Ильей Тимаковым, возглавляющим берлинский бард-клуб. Заметное место среди германских клубов самодеятельной песни занимает также Ганновер, где клубом руководит Злата Лихтерман, приехавшая вместе с родителями из Ташкента. С каждым годом укрепляется клуб во Франкфурте-на-Майне, где душой местного клуба стала Анна Белякина. В Вуппертале, где клубом руководит бывший майор Советской Армии Юрий Томилин, регулярно проходят «общегерманские фестивали русской бардовской песни».

Все это не случайно. В Германии, так же как в Израиле и других странах с многочисленной русской эмиграцией, именно авторская песня стала символом русской культуры, русского языка, причастности к покинутой Родине. Характерно, что в семьях, где увлекаются авторской песней, дети не утрачивают русский язык и не презирают родителей, отстающих от них в освоении языка новой среды обитания.

В 2001 году в Мюнхене состоялся зимний слет поклонников авторской песни, посвященный памяти талантливого барда Виктора Шнейдера, жившего в Мюнхене и внезапно погибшего в возрасте двадцати девяти лет при катании на горных лыжах под Бостоном. Поэт, переводчик, прозаик, бард, переехавший в Германию из Питера, он успел выпустить две книги стихов, свидетельствующие о его безусловной литературной одаренности:

Новые стихи не лучше старых,
Может быть, немного совершенней,
Но написаны вослед свершений
И напоминают мемуары.

Виктор учился в Геттингенском университете и по специальности был биохимиком. В 1999 году он стал лауреатом интернационального конкурса Тенета за переводы немецкого поэта Герхарда Тенцера. Виктор Шнейдер успешно переводил Генриха Гейне и других классиков немецкой поэзии. Он писал также повести, рассказы, публицистику. Его перу принадлежат оригинальные эссе о «Гамлете» и «Докторе Живаго». В 2003 году в Санкт-Петербурге, в издательстве «Ретро», вышел двухтомник произведений Виктора Шнейдера с моим предисловием.

Что же касается других достойных упоминания авторов, живущих в Германии, то их оказалось довольно много, особенно если учитывать «процент на душу населения». Среди них Людмила Барон, Николай Бень, Марина Белоцерковская, Марина Гершенович, Евгения Голосовская, Семен Кац, Манана Менабде, Алексей Петров, Борис Серегин, Яна Симон, Татьяна Синицына, Дмитрий Сорокин, Сергей Сусло, Константин Шнайдер. Подозреваю, что это далеко не полный список.

В январе 1997 года во время концертной поездки по Германии я впервые попал в Гамбург, который сразу же поразил меня сходством с моим родным Питером. На перроне вокзала нас встречала черноволосая красавица с огромными глазами, державшая в руке букет роз. Подойдя ко мне, она сказала: «Я вас ждала всю жизнь». «Если бы я знал об этом, то обязательно приехал бы раньше», – легкомысленно улыбнулся я. Муж Натальи Касперович (так звали встречавшую нас женщину) Анатолий Контуш приехал сюда вместе с ней из Одессы, где в свое время занимал видное место в КВН в «Клубе одесских джентльменов». Талантливый биофизик, он работал в биофизической лаборатории в университетской клинике Эппендорф в Гамбурге. Сама Наташа родилась и выросла в Баку (она и похожа на первый взгляд скорее на азербайджанку), училась на журфаке МГУ и по окончании университета успела немного поработать на телевидении, потом вышла замуж и переехала в Одессу, откуда в начале 90-х вся семья перебралась в Гамбург.

Ее приветственная фраза не была лишена оснований: она действительно с раннего детства увлекалась моими песнями и именно поэтому взялась организовать мой концерт в Гамбурге. В то время она работала в еврейской общине, где занималась с детьми русским языком и ухитрилась поставить устный спектакль по моим стихам и песням. Я несколько раз видел этот самодеятельный спектакль, в котором были заняты девочки и мальчики от восьми до пятнадцати лет, нередко изрядно позабывшие русский и говорившие с акцентом. Песни они, впрочем, пели довольно чисто, запоминая их на слух. Картина

была порой удивительная: на сцене стоят дети, уже частично утратившие русский язык, и бесстрастными голосами поют мои песни, а в зале сидят родители, хорошо знающие русский, и вытирают слезы.

Вскоре после нашей встречи Наташа перешла работать в маленькую частную телевизионную компанию «Lighthouse Production» под руководством молодого немца Арне Васмута, а позднее – на государственную телекомапнию NDR. Голубоглазый и белокурый, по-баскетбольному высокий Арне, выглядевший типичным арийцем, происходил из богатой и знатной семьи. Дедушка его в свое время работал в разведке, и Арне не без гордости показывал в альбомах старые фотографии своих предков, в том числе и в печально памятной моему поколению форме гитлеровской армии. Более всего Арне был привязан к своей девяностотрехлетней бабушке-графине, которую чтил и изрядно побаивался. Где бы он ни находился – в Германии, России или Турции, – он каждый день по много раз звонил ей, постоянно советуясь по всем житейским вопросам.

Крошечная фирма Арне, весь штат которой состоял из трех человек, работала по контрактам с крупными телевизионными компаниями, предлагая свои проекты. С появлением в фирме Наташи существенное место в съемках сразу стали занимать русские проекты. Летом 1997 года они с Арне впервые приехали в Москву снимать телевизионный фильм о русских разведчиках. Будучи строго проинструктирован бабушкой, много наслышавшейся о грозном советском KGB, Арне в первое время буквально боялся выйти на улицу, но постепенно освоился.

Его явно нерусская внешность, высоченный рост и привычка все время разговаривать по мобильному телефону, постоянно привлекали к нему внимание окружающих. Самое длительное телефонное общение с бабушкой он решил провести, когда, прогуливаясь по центру, увидел на площади большое красивое здание, возле которого было относительно безлюдно. Прислонившись к стене у одного из закрытых подъездов, Арне тут же достал из кармана мобильный телефон и позвонил в Гамбург бабушке: «Бабушка, не волнуйся. Москва очень красивый город, и никакого кей-джи-би здесь нет. Я сижу возле очень красивого светлого здания». В этот момент к нему подошел милиционер и потребовал документы, поскольку, как оказалось, Арне сидел как раз у подъезда «Большого дома» на Лубянке.

В 1997 году, снимая телефильм о разведчиках, они попали в гости к очень ветхому, но крайне доброжелательному старичку, много лет служившему в свое время в разведке. Старичок много лет был разведчиком в Германии и прекрасно знал немецкий.

Достав из стола старую затертую папку с грифом «Совершенно секретно», он долго рассказывал, с кем и против кого он работал в 30-е и 40-е годы. Фамилию дедушки Арне, своего давнего противника, он тоже, конечно, вспомнил. Когда гости обратили внимание на роскошь огромной, уставленной богатой мебелью квартиры, хозяин скромно сказал: «Так живут все советские люди». Когда его спросили о сталинских репрессиях, он ответил, что лично он ни о каких репрессиях ничего не знает, – скорее всего, это выдумки буржуазной прессы. «Ну, как же, – возразила Наташа, – вот моего дедушку в тридцать седьмом расстреляли. Ему было всего тридцать два года». Глаза улыбчивого и благодушного старичка сразу стали цепкими и злыми, как будто через маску вдруг проглянуло другое лицо. «Как ваша фамилия?» – спросил он жестким голосом допрашивающего.

С Наташей, впервые за восемь лет приехавшей в Россию, из-за ее яркой кавказско-семитской внешности и полного отсутствия российских навыков тоже время от времени возникали проблемы. Так, в метро ее буквально на каждом шагу хватали бдительные милиционеры как «лицо кавказской национальности» и требовали предъявить паспорт, видимо, принимая ее за чеченскую террористку.

В июле 1997 года она прилетела в Москву, чтобы отправиться вместе со мной в Самару на Грушинский фестиваль. Войдя к нам в дом в чрезвычайно модной парижской шляпке и каком-то немыслимом европейском костюме, она сказала: «Я надеюсь, что в отеле на фестивале будет какой-нибудь душ». Пришлось срочно переодевать ее в кроссовки, штормовку и по возможности затертые джинсы. Дорога на фестиваль также оказалась непростой. Места в купейном вагоне по билетам, взятым для нас оргкомитетом, оказались в разных купе. Нижние полки в нашем купе занимали наркоманы, которые, как выяснилось, тоже ехали на фестиваль «покейфовать и поколоться». Я мирно уснул на своей полке и только утром обнаружил, что Наталья за всю ночь не сомкнула глаз от страха.

На самом фестивале, где она наняла от фирмы для съемок телевизионного оператора из Тольятти, тоже не обошлось без происшествий. В один прекрасный день, проходя по поляне, я обратил внимание на плотную толпу мужчин, в том числе подвыпивших, кого-то обступивших. Протиснувшись внутрь, я увидел Наташу, которая, как выяснилось потом, решила произвести расчеты со своим оператором. Прямо на глазах восхищенной публики под жадными взглядами мужиков она доставала из-за роскошного корсажа стодолларовые бумажки и передавала их оператору.

Несколько позже оператор подошел ко мне и смущенно сказал: «Александр Моисеевич! Она заставляет меня снимать все подряд, в том числе горы пустых бутылок из-под водки. Ну, она иностранка, понятно, но мы-то с вами – русские люди, – зачем нам позориться?» – «Правильно, – улыбнулся я, – не снимайте». Опасения наши были напрасными, поскольку пленка формата Бетакам, купленная им в Тольятти, оказалась бракованной, и все съемки пошли насмарку.

Забегая вперед, хочу вспомнить другую историю, связанную со съемками немецкого телевидения в Москве. В феврале 1999 года, в год двухсотлетнего пушкинского юбилея, в Москву прибыла большая съемочная группа, чтобы снять документальный фильм о Пушкине. Возглавлял группу режиссер Раймонд Кусерофф. Меня попросили быть гидом и консультантом по пушкинским местам в Москве. Начали мы с бывшей Немецкой улицы, где почти напротив нынешней станции метро «Бауманская» находился прежде дом, где, по наиболее вероятной версии, родился Пушкин. Теперь там здание школы, перед которой стоит небольшой бюст юного поэта. Шел мелкий февральский снег. Операторы расположились возле бюста и начали снимать. В этот момент подъехал экскурсионный автобус с большой группой школьников во главе с учительницей. Как выяснилось из разговора, это были четвероклассники и пятиклассники из 16-й московской школы для трудных детей. Подойдя к памятнику, дети хором стали читать: «У лукоморья дуб зеленый». Я вступил с ними в разговор: «Ребята, за что вы любите Пушкина?» Маленький светловолосый мальчик, блестя отважными голубыми глазами, ответил: «За то, что он был очень храбрый человек. Ведь Дантес был моложе его и гораздо сильнее. А он не побоялся вызвать его на поединок…» (Эта неожиданная мысль никогда не приходила мне в голову.) «А ведь плохо, что Дантес убил Пушкина?» – спросил я. «Плохо, плохо!» – дружно закричали дети, не ожидая подвоха. «А было бы лучше, если бы Пушкин победил в поединке и убил Дантеса?» Наступило неловкое молчание. Школьники явно растерялись. Потом худенькая девочка, глядя в сторону, тихо сказала: «Нет, все-таки плохо». – «Почему? – наседал я. – Ведь Пушкин бы остался живым». «А Пушкин, – запинаясь и с трудом подбирая нужные слова, ответила она, – а Пушкин никого не должен убивать. Лучше бы они помирились, и дуэли бы не было». И все ребята облегченно засмеялись и дружно захлопали в ладоши. Я был потрясен этим точным детским пониманием несовместимости гения и злодейства, недоступным многим взрослым людям.

В тот же день на Красной площади Раймонд нарядился в

цилиндр и крылатку, приклеил бакенбарды и стал прогуливаться возле Спасской башни, изображая Пушкина. Его снимали скрытой камерой, чтобы не привлекать прохожих. Тем не менее довольно скоро подошел милиционер. «Кто этот сумасшедший?» – строго спросил он. «Вы что, не видите, что это Пушкин?» – возмущенно ответил ему русский оператор Дмитрий Благоверов. «Ну, так бы сразу и сказали», – смутился милиционер и мирно удалился.

Вернемся, однако, в 1997 год. Тогда, возвратившись в Гамбург, Арне и Наталья подали в телекомпанию NDR проект фильма о русской авторской песне, в котором должен был сниматься я, в связи с чем планировался мой приезд в Германию в начале ноября. Судьба, однако, повернулась иначе.

Во второй половине августа в поселке Красновидово, где мы с женой снимали на лето квартиру в писательском поселке, я выкупался в уже по-осеннему холодной Истре. Через несколько дней у меня заныла поясница, но я не придал этому особого значения, приняв боли за обычный радикулит. 12 сентября (эту дату я запомнил) я приехал на машине на работу на заседание Ученого совета и, вылезая из-за руля, ощутил резкую боль в левой ноге. С трудом добравшись до телефона, я позвонил жене, поскольку передвигаться без посторонней помощи не мог. Невропатолог в академической поликлинике выписала мне бюллетень и порекомендовала натираться мазями, однако ночью боль усилилась, стала постоянной и нестерпимой, и приехавшая «Скорая» отвезла меня в отделение невропатологии в нашу академическую больницу в Узком. Двадцать дней и бессонных из-за боли, которую так и не смогли снять, ночей, проведенных там, наглядно показали мне катастрофически бедственное состояние нашей нищей и беспомощной медицины. Никаких лекарств в больнице не было, их надо было искать и покупать в аптеках по чудовищным ценам. Все попытки поставить мне капельницу ни к чему не привели, так как капельницы были неисправными. Истыкав толстенными иглами вены на обеих руках и доведя их до полного посинения, сестры оставили это неблагодарное занятие.

В первый же день мне сделали рентген позвоночника, и к вечеру ко мне в палату вошел один из лечащих врачей со снимком в руках. «Вообще-то нам запрещено это делать, – грустно сказал он, – но я считаю, что вы человек мужественный и должны знать правду. У вас в легком, по всей видимости, саркома. Посмотрите». С этими словами он протянул мне рентгенограмму, на которой в области правого легкого отчетливо проступало большое пятно. Меня бросило в озноб. В этот день как раз была пятница, и уж не помню как я дожил до понедельника. Помогала только боль, заглушавшая всяческий страх. Через два дня меня

повезли на повторный рентген и заявили, что пленка была бракованной и с легкими все в порядке.

Отделение невропатологии, в которое меня поместили, занималось в основном реабилитацией больных, перенесших инсульт. За стенкой, в соседней палате, время от времени кричал и страшно матерился какой-то несчастный академик, не оправившийся после инсульта. Надо отдать должное врачам, которые из всех сил старались мне помочь. Меня кололи иглами, возили на физиотерапию, пару раз меня тряс мануальщик. Ничего не помогало. Только после этого решили, что надо бы сделать ядерно-резонансное исследование позвоночника. Своей установки в больнице не было, и меня по большому блату за доллары возили на машине в кремлевскую клинику. Исследование показало, что у меня межпозвонковая грыжа, очень неудачно придавившая какие-то нервные узлы и центры.

Кто-то из умельцев сказал мне, что уменьшить боль можно, если лежать на спине с поднятыми на табуретку ногами, и я несколько дней провел в этом дурацком положении. Специалистов спинальщиков в клинике не было. Пока я скучал в больнице, бедная моя жена обивала пороги московских светил в разных клиниках. «Надо оперировать, – говорили хирурги. – Если вы не сделаете этого, он останется инвалидом и не сможет двигаться». «Только не операция, – авторитетно заявляли невропатологи, – после операции, как правило, бывают рецидивы, и все будет еще хуже. Да и процент успешных операций у нас очень невысок».

В этот критический момент неожиданно пришла помощь с немецкой стороны, где Арне Васмут планировал сделать фильм обо мне. Я уже упоминал, что муж Наташи Касперович, Анатолий Контуш, работал в лаборатории клиники Эппендорфского университета. В лаборатории велись исследования по изучению липидов в крови, наследственных заболеваний, влияния на кровь витаминов, неизлечимой болезни Альцгеймера и так далее. Руководила лабораторией профессор Ульрика Байзигель, молодая, на редкость энергичная и привлекательная женщина, носившая короткую прическу и приезжавшая на работу на велосипеде, которая, несмотря на молодость, пользовалась в клинике неоспоримым авторитетом.

Благодаря активному вмешательству в ситуацию Наташи Касперович и Ульрики Байзигель удалось договориться, что меня положат в клинику для обследования на предмет определения необходимости операции. Мой друг Владимир Лукин, бывший тогда председателем комитета Государственной Думы по международным делам, обратился с письмом к немецкому послу,

и мне буквально за два дня оформили немецкую визу. Ничего этого я, лежа в больнице, не знал и поэтому очень удивился, когда утром 30 сентября у меня в палате неожиданно возник сотрудник моей лаборатории Леша Горшков с каталкой и объявил, что меня немедленно везут на самолет. Так, прямо в больничной пижаме, с трудом переодевшись в машине, я отправился сначала домой за женой, а затем в аэропорт «Шереметьево-2», откуда санрейсом «Люфтганзы» мы вылетели в Гамбург.

Когда меня на больничной каталке выкатили в Гамбурге в зал ожидания, друзья, с которыми мы виделись лишь месяц назад, меня не узнали. Сморщившийся от боли, я был похож на груду серого тряпья. В клинике, куда меня привезли около десяти вечера, тут же была вызвана дежурная бригада диагностики. Посмотрев диаграмму магнитно-резонансного исследования, сделанного в кремлевской клинике, хирурги заявили: «Брак. Срочно повторить обследование».

Где-то к полночи все нужные обследования были закончены, и ведущий хирург с печальными итальянскими глазами – Лука Папавера – через Наташу, игравшую роль переводчицы, объяснил мне, что операцию делать совершенно необходимо и очень срочно, поскольку выскочивший позвоночный диск искрошился, и у меня в запасе всего несколько часов – может наступить общее отравление организма. После этого я подписал бумаги, что на операцию согласен и в случае нежелательных последствий всю ответственность беру на себя. (Аккуратная немецкая медицина никогда не забывает застраховать врача от больного.)

Операция состоялась на следующее утро под общим наркозом и заняла около трех часов, которых я, уснув после анестезии, сделанной говорившим по-русски сербом, конечно, не заметил.

Меня спасли немецкие врачи
В одной из клиник Гамбурга сырого,
Мой позвоночник разобрав и снова
Соединив его, как кирпичи.
Я перед этим твердо осознал:
За двадцать дней бессонницы и боли
Подпишешь ты признание любое.
Как вы – не знаю, – я бы подписал.
Меня спасли немецкие друзья,
Снабдивши визой, авиабилетом
И объяснив жене моей при этом,
Что часа медлить более нельзя.
И сколько ни пошлет мне Бог здоровья,

Я буду помнить на своем веку
Красавицу Наташу Касперович,
Погромы пережившую в Баку,
И Вас, профессор Ульрика Байзигель,
С кем были незнакомы мы почти,
Которая чиновникам грозила,
Чтоб не застрял я где-нибудь в пути.
В дождливой атлантической ночи,
Пропитанной настоем листопада,
Меня спасли немецкие врачи,
Блокадного питомца Ленинграда.
И город, что похож на Ленинград,
Я полюбил порой осенней поздней, —
Там громкие слова не говорят,
Поскольку делом заняты серьезным,
Чугун мостов на медленной реке,
Где наводнений грозные отметки,
И пусть не слишком знаю я немецкий, —
Мы говорим на общем языке.

Когда я пришел в сознание после операции, ко мне в палату заявилась оперировавшая меня бригада хирургов во главе с Лука Папавера, который спросил, есть ли у меня вопросы. Оказалось, что таков общий порядок. Голова моя еще плавала в тумане, и мой первый вопрос вышел почти из подсознания: «Скажите, доктор, такая сложная операция и все центры рядом. Останусь ли я мужчиной?» Когда Наталья перевела мой вопрос, Папавера долго хохотал, поскольку, как он объяснял потом, ему больные никогда прежде таких вопросов не задавали. Обычно спрашивают – выживу или нет, будет паралич или не будет и тому подобное. «Передайте герру профессору, – сказал Папавера, – что он быстро пойдет на поправку, у него на редкость здоровая психика».

Металлические скобы со шва на моей спине сняли на третий день, и уже на четвертый день меня перевезли из больницы на квартиру Ульрики Байзигель, которая, уехав на научную конференцию в Париж, оставила моей жене ключи от своей квартиры, хотя мы с ней тогда были почти незнакомы. У меня были довольно веские причины не задерживаться в больнице – каждый день пребывания в ней стоил около пятисот долларов.

Поскольку долгое время после операции я мог только лежать или стоять, то переезд на машине, да еще низенькой немецкой малолитражке, где надо было сгибаться, оказался весьма

сложным мероприятием. Арне Васмут, который меня перевозил из больницы, сильно загрустил, поглядев на меня, и сказал потом Наташе: «Ты думаешь, что его можно будет снимать в кино? Это же живой труп. Плакали мои денежки!»

Хирург Папавера сказал, что боли в правой ноге пройдут через три-четыре дня, но они не прошли и через неделю. Не в силах заснуть от боли, я ходил по пустой квартире, за окнами которой бушевали атлантические ветры, несущие шквальные и холодные дожди. Испуг охватывал меня. Вот сделали операцию, и ничего не прошло. Что же будет? Только на третью неделю боли стали понемногу ослабевать и уходить. К этому времени мы с женой переселились от Ульрики в дом к Наташиной матери Нелле, на редкость доброй и душевной женщине, года на три моложе меня, которая, как оказалось, тоже была когда-то геологом. Преодолевая боль, я начал понемногу «расхаживать» больную ногу, сначала с палкой, поскольку сильно хромал, потом – без нее. Примерно через три недели после выхода из больницы мы смогли приступить к съемкам, приятно удивив и успокоив Арне.

Что же касается доброжелательности и отзывчивости немецких врачей, с которыми мне многократно пришлось встречаться впоследствии, то, вопреки нашим заскорузлым представлениям о расчетливости и холодности немцев, она оказалась поистине удивительной. Так, через месяц после операции, в Дортмунде, где меня неожиданно прихватил нешуточный приступ гипертонии, первый попавшийся врач, к которому я обратился, и его жена, работавшая медсестрой в его маленькой амбулатории, сделали мне необходимые уколы, снабдили грудой весьма дорогостоящих лекарств и категорически отказались брать деньги. Я уже не говорю о замечательных врачах Эппендорфской клиники: профессорах Байеле и Уланде, докторах Ангелине Гудхофф и Александре Манне, многократно помогавших мне в трудных ситуациях.

Кстати, в немецких поликлиниках меня поразила и такая мелочь: врач выходит из своего кабинета к каждому очередному больному и обязательно протягивает ему руку. В аптеке все больные, имеющие страховку (а в Германии страховку имеют практически все), платят за лекарство не более тридцати евро независимо от его реальной стоимости.

К сожалению, мое общение с немецкой медициной на этом не закончилось. В апреле 2006 года в Москве, выступая в Доме ученых, за несколько минут перед началом концерта я решил спуститься со второго на первый этаж и открыл дверь на лестницу, которая ремонтировалась, но ограждена не была.

Механически шагнув вперед, я упал с двухметровой высоты, поскольку пролет лестницы был разобран, и ударился оперированной частью спины о бетонные ступени. Находясь, видимо, в нервном шоке, я еще выбрался наверх и даже вышел на сцену. Там я попытался начать петь, но успел только сказать: «Если в зале есть врач, прошу его подняться на сцену». После этого я потерял сознание от острой боли. На вызванной «Скорой» меня увезли в больницу. Забавно, что после того, как меня увезли, зрители, расходясь с отмененного концерта, скупили в книжном ларьке все мои диски и книги, опасаясь, что это выступление было последним.

Убежала талая вода.
Глаз не остановишь на ровеснице.
Я и сам в последние года
Постоянно падаю на лестнице.
То ступеньки нету под ногой,
То на спину завалюсь увечную,
И больничный ждет меня покой,
Торопя меня к покою вечному.
Перевала сумеречный дым
И лавины бешеная конница.
Вверх по склону шел я молодым,
Никогда не оступаясь, помнится.
Синева пронзительная вод,
И норд-оста дикая мелодия.
По вантинам я взбегал на грот,
Никогда не оступаясь вроде бы.
Сразу вспоминаются Тунис,
Гваделупа, Касабланка, Падуя.
Нелегка, увы, дорога вниз.
Надо и по ней пройти, не падая.

Характерно, что дирекция Дома ученых в Москве, виновная в случившемся, распорядилась немедленно заколотить злополучную дверь, но не только не предложила мне никакой помощи, но даже ни разу не поинтересовалась моим здоровьем. Меня отвезли в травмотологическое отделение 31-й московской клиники с диагнозом сотрясение мозга и травмы спины. Около месяца я провалялся в травмотологии, но острая боль в спине не проходила, хотя по данным магнитно – резонансной томографии никаких новых грыж в позвоночнике не обнаруживалось. Пришлось снова лететь в Гамбург все к тому же Лука Папавера. На этот раз меня выручила немецкая медицинская техника. Дело

в том, что наша магнитно-резонансная томография давала очень маленькую развертку, на которой ничего не было видно. Когда в Германии мне сделали МРТ с почти полуметровой разверткой, выяснилось, что при ударе от диска откололись два осколка, застрявшие в спинном канале, и срочно нужна вторая операция, которую сделал все тот же Папавера. После операции профессор предупредил, что снова оперировать мой израненный позвоночник ни за что не возьмется.

На этот раз переводчицы у меня не было, и когда я очнулся от наркоза, медсестра стала говорить мне что-то по-немецки. Я ответил ей, что плохо понимаю немецкий. «А на каком языке вы говорите?» – спросила она. «Немного по-русски, немного по-английски». «А на каком хорошо?» Я подумал и сказал: «Ни на каком!» – и отключился.

Столица Германии – Берлин, совершенно непохож на другие уютные и компактные немецкие города. Огромный, величественный и по-имперски холодный город, с широкими столичными улицами, огромными зданиями и монументами (Рейхстаг, памятник Бисмарку, Бранденбургские ворота, огромная триумфальная колонна со статуей Ники), чем-то напоминает Москву при всей несхожести этих городов. В конце 90-х годов Берлин представлял собой огромную стройплощадку. Весь он был перегорожен котлованами, заборами, башенными кранами. Его срочно перестраивали под столицу объединенной Германии, залечивая язвы социалистической поры.

За прошедшие годы мне неоднократно пришлось перемещаться поездом или машиной в Германии из западных областей на территорию бывшей ГДР, я всегда обращаю внимание на неуловимое изменение ландшафта. Разбитые, плохо ухоженные дороги, у обочины которых нет-нет да и заметишь ржавеющий комбайн или трактор советского производства, нищие сельские домишки, убогие блочные пятиэтажки хрущевского типа, руины зданий, так и не восстановленных с самой войны. И это в трудолюбивой и чистенькой Германии! Сколько же десятилетий надо, чтобы изжить это в России?

«Запад есть Запад, а Восток есть Восток», —
Не сдвинется ни один.
Припоминаю слова этих строк,
Пересекая Берлин.
Продлевая ушедшие времена,
Призраком жизни иной
Встает невидимая стена
Над сломанною стеной.

Уравнять их трудно, и если сам
Убедиться захочешь в том,
Поезжай сперва на Курфюрстендамм
И на Фридрихштрассе потом.
Там кварталы с язвами нищеты
И разбитый бомбой карниз.
На живом примере увидишь ты,
Что такое социализм.
Там за городом в поле, как и вчера,
У обочин бетонных трасс,
Догнивают ржавые трактора
Так же, как и у нас.
«Запад есть Запад, а Восток есть Восток».
Будет долго еще корчевать
Социализма печальный итог
Им порожденная рать.
Исчезнет не скоро порядок такой,
Рожденный в боях и труде,
За Шпрее-рекой, за Эльбой-рекой
И далее в мире везде.

Кстати, именно в Восточном Берлине после войны жило довольно много бывших нацистов, которые прекрасно бы здесь себя чувствовали, если бы не преследования властей. Вспоминается, в частности, знаменитая история с неким Герхардом Марквардом, бывшим лейтенантом Вермахта, служившим в полевой жандармерии. Он был фотолюбителем и все военные годы на оккупированных территориях Советского Союза аккуратно фотографировал безотказной «Лейкой» зверства своих «камрадов» и свои собственные. На суде ему инкриминировали сделанные им же фотоснимки, которых оказалось более семисот.

…Был альбом в пятьдесят обнаружен втором.
Десять дней проведя в Моабите,
Наградил и себя деревянным крестом
Незадачливый фотолюбитель.
Он оставил двоих малолетних детей,
И жену, и каталог предлинный
Фотографий своих, ежедневных затей
С аппаратом поклонник невинный.
Я сижу в ресторане у Шпрее-реки,
Вспоминая забытые были,
А вокруг улыбаются мне старики,

Что сниматься тогда не любили.

Историю жизни и расстрела этого человека, в начале 2000-х, поведал мне известный кинокритик и сценарист Лев Рошаль. Через несколько лет, по его сценарию, режиссер Ирина Гедрович сняла фильм, который так и называется – «Фотолюбитель».

В Берлине на огромном еврейском кладбище Вайсензее, по странной случайности не разгромленном, как все остальные, при Гитлере, я обратил внимание на четкие ряды одинаковых могил с воинскими званиями над еврейскими именами. Здесь, как оказалось, лежат евреи, погибшие за Германию во время Первой Мировой войны 1914–1918 годов. Я вспомнил, как в 1968 году в Париже, во Дворце инвалидов, нам показывали мемориальную доску в память французских солдат еврейского происхождения, погибших в ту же войну за Францию. С грустью вспомнил я и поросший мхом, покосившийся надгробный камень над могилой лейб-гвардии фельдфебеля Шимона Черкасского на Казанском кладбище в Царском Селе.

На кладбище Вайсензее
(По-русски Белое море),
Экскурсии, как в музее
Летом и зимою.
На кладбище Вайсензее,
Где весной расцветает ландыш,
Похоронены евреи,
Защитники Фатерлянда.
Успевшие воплотиться
В ветки кустов кривые, —
Саперы и пехотинцы,
Фельдфебели и рядовые
Лежат на земле любимой,
Ничуть не подозревая,
Что вовремя их убила
Первая Мировая.
Что, в печи гоня их семьи
Неутомимо и косно,
Отплатит достойно всем им
Родина Холокоста.
Так же, как и когда-то,
С правофланговым вровень,
Держат в строю солдаты
Мрамор своих надгробий.
Досужие ротозеи

Приходят сюда, глазея,
На кладбище Вайсензее,
На кладбище Вайсензее.

Неподалеку от Берлина, в Потсдаме, расположен знаменитый дворцово-парковый комплекс Сан-Суси. Создан он был в середине XVIII века при Фридрихе Великом и удивительно напоминает моему ленинградскому сердцу виды Петергофа и других дворцовых пригородов Питера, которые были созданы примерно в то же самое время по тому же образцу. Здесь особенно хорошо осенью, потому что именно осенью человек начинает задумываться о себе, о прошедшем времени и о той жизни, которая прожита им.

Бабье лето в Сан-Суси, бабье лето, —
Золотая полоса в Сан-Суси.
Если Бог тебя торопит со света,
Ты отсрочку у него попроси.
Ты пройди через осенние краски
К тем раскрылиям игрушечных рек,
Где нашептывает старые сказки
Куртуазный восемнадцатый век.

Гложет осени холодное пламя
Желтых листьев ненадежную медь,
Машет мельница неспешно крылами,
Вслед за стаей собираясь взлететь.
И над темною водою усталой
Я горюю от Москвы вдалеке,
Что ладонь твою, как лист пятипалый,
Удержать я не сумею в руке.

Белый мрамор остывающих статуй,
Туча синяя с багряной каймой.
Век кончается суровый двадцатый,
Век кончается нечаянный мой.
Но в потоке уходящего света
Обещают мне любовь навсегда
Эти отблески минувшего лета,
За которыми грядут холода.

В самом центре Берлина, неподалеку от Рейхстага и Бранденбургских ворот, установлен памятник жертвам Холокоста,

евреям, погибшим в годы нацистского режима. Памятник этот – собрание безликих серых плит – появился недавно и стоит он на том месте, где проходила печально известная Берлинская стена. Рядом с этим большим мемориалом находится Музей Холокоста. Следует отметить, что Германия, пожалуй, одна из немногих стран, которая нашла в себе мужество покаяться в злодеяниях прошлого. Здесь принят целый ряд законов, которые категорически запрещают любую пропаганду антисемитизма и нацизма. Причем законы эти, в отличие, например, от формальных российских законов, действительно работают. А что касается памятников Холокосту, то их в Германии много. Они есть практически в каждом городе, где когда-то убивали евреев, в каждом городе, откуда их депортировали.

Когда я размышляю об истоках нацизма, то всегда думаю о том, что это не могло бы произойти без преступного равнодушия тех людей, которых это как будто не касалось. И на память мне приходят слова протестантского священника Мартина Нимеллера:

Полицейской машины рев по ночам,
Звонки у соседних дверей.
Когда брали евреев, я молчал,
Потому что я не еврей.
Когда коммунистов везли в лагеря,
Молчал я, душою чист,
Поскольку любому известно, что я,
Конечно, не коммунист.
Когда за католиками потом
Пришли через пару лет,
Сидел я снова с закрытым ртом, —
Ведь я не католик, нет.
А ветер холодный выл за стеной,
На Германию ставя печать.
И когда пришли наконец за мной,
Некому было молчать.

День 9 ноября, годовщина начала Холокоста, однажды застал меня в Берлине. В этот день по телевидению выступали канцлер и президент ФРГ, посвятившие свои речи памяти об этом трагическом событии. Вечером мы стояли с моей давней знакомой актрисой Таней Куприяновой на тротуаре центральной улицы Западного Берлина Курфюрстендамм неподалеку от станции «Зоо». Накрапывал мелкий, по-осеннему холодный дождь. Многотысячная демонстрация, вооруженная зонтами,

медленно и молчаливо двигалась мимо нас. Шли, подняв транспаранты, большие группы студентов. Ехали на своих передвижных тележках инвалиды, зябко подняв воротники своих дождевых курток. Матери везли в колясках младенцев. Татьяна, в отличие от меня, хорошо знавшая немецкий, спросила у молодого светловолосого парня, что происходит, и он, остановившись около нас, неторопливо и спокойно стал объяснять, что демонстрация посвящена памяти жертв Холокоста. «Это позор Германии, который не должен быть забыт, чтобы не было повторения».

Через пару недель после этого в Амстердаме, где у меня был авторский вечер в русском кафе «Обломов», я около двух часов простоял в огромной очереди перед домом Анны Франк. Тоже шел дождь, и не менее холодный, но очередь все прибывала. Белые и черные, юные и пожилые, японцы и американцы терпеливо ждали, чтобы, пройдя по дому, где и смотреть-то особенно нечего, почтить память еврейской девочки, вместе с ее семьей замученной нацистами уже в самом конце войны и оставившей свой дневник в назидание потомкам.

В последние годы во многих городах Германии была проведена специальная акция: в тех домах, где когда-то жили евреи, депортированные в лагеря уничтожения, по желанию жителей этих домов в тротуар вмонтированы медные таблички с именами убитых людей, с датами их рождения, депортации в лагеря уничтожения и гибели. Такие таблички есть в Берлине, Гамбурге и многих других городах Германии. Когда люди ступают на эти таблички, то они поневоле вспоминают о погибших.

В краснокаменном гамбургском доме,
Где недолгое время живу,
Где улыбчивый старый садовник
Постригает утрами траву
И сажает в газончике розы,
Ежедневный верша ритуал,
Я смотрю на таблички из бронзы,
Запечатанные в тротуар.
Проживали здесь прежде евреи.
Их убила родная страна.
Моет дождик и солнышко греет
Позабытые их имена.
Оглянись, торопливый прохожий,
На оставленный мертвыми след:
Готфрид Клеве, что года не прожил,
Эльза Клеве двенадцати лет.

Доктор Готлиб, заслуженный медик,
Что на третьем живал этаже.
Из живущих поныне соседей
Их никто не припомнит уже.
Был единый финал неизбежен
Для детей, стариков и девиц.
Адреса депортации те же:
Аушвитц, Аушвитц, Аушвитц.
Обещание новой угрозы,
Раздувающей новый пожар,
Эти десять табличек из бронзы,
Запечатанные в тротуар.
Мир устроен теперь по-другому,
И живые живут для живых.
Но когда выхожу я из дома,
Я всегда спотыкаюсь о них.
Я ступаю на них по привычке,
Невеселым раздумьем томим:
Заблестят ли такие таблички
Перед домом московским моим?

В ноябре – декабре 1998 года, во время концертных поездок по Германии, мне довелось побывать также в Дании и Швеции. Меня пригласил туда эмигрант из Польши Штефан Бург, живущий и работающий в маленьком университетском городке Лунд неподалеку от порта Мальме. Комфортабельный поезд «Томас Манн» долго втягивался в огромный паром «Ферри», следующий через серые датские проливы.

В Копенгагене нас возили по его окрестностям давние мои знакомые еще по Харькову Валентин и Алла Ровинские. Их семья как капля воды отражает причудливые пути нового Эксодуса российских евреев. Одни дети, выехавшие с ними в Европу, стали здесь лютеранами, приняв христианство, другие, переехавшие в Израиль, надели кипу и стали убежденными иудейскими ортодоксами. Впрочем, какая разница? Бог един.

Более всего мне запомнились два замка неподалеку от Копенгагена: знаменитый Кронберг в Эльсиноре – суровый и древний замок Гамлета, и королевский замок Фредериксборг, построенный в XVI веке. Они как бы создают странное двуединство: Кронберг для войны и смерти, Фредериксборг – для мира и жизни.

В целом же в Дании русских мало. Это или ученые, приезжающие по контрактам в известный институт Нильса Бора,

или русские женщины, вышедшие замуж за датчан. Русскоязычная аудитория здесь формируется в основном за счет польских евреев, выдворенных из Польши при Гомулке и осевших в скандинавских странах. Когда в первый свой приезд в Копенгаген я попал в дом к принимающим меня людям, я был убежден, что это поляки: у них были польские имена, они говорили по-польски, пели за столом польские песни. Оказалось, что это евреи, изгнанные из родной Польши и осевшие в Дании.

Кстати сказать, Польша была и остается традиционно одной из самых антисемитских стран в мире. Мой друг Мирон Гордон, бывший послом Израиля в Польше в 1989–1990 годах и неожиданно скончавшийся от внезапного сердечного приступа, рассказывал мне, что теперь в Польше евреев практически нет, а антисемитизм остался. Подпитывается он мифами о «страшных евреях», которые некогда мешали бедным полякам быть хозяевами в своей земле. Теперь, слава богу, не мешают. Скорее наоборот, не менее миллиона евреев, в основном женщин, стариков и детей, стали удобрением для худородного польского подзола. И не без помощи поляков, жестоко расправлявшихся с беглецами из Треблинки, неоднократно учинявших еврейские погромы до прихода немцев и после их ухода и, наконец, беспощадно выгнавших евреев из страны, где их предки проживали веками.

В Гамбурге я познакомился с удивительным человеком – Меиром Строяковским и его женой Валентиной. Меир поведал мне трагическую историю своего деда – раввина, который был убит вместе с полутора тысячами евреев в польском городке Едвабне накануне прихода немцев. Когда Красная Армия уже покинула городок, а Вермахт еще не пришел, поляки собрали всех своих соседей-евреев и сожгли их в нескольких овинах, свалив это злодеяние немцев. Сам Строяковский чудом избежал мучительной смерти, поскольку по счастливой случайности его не оказалось в это время в Едвабне. Однако вся семья Меира погибла. Теперь эта позорная для Польши история стала известна всему миру благодаря книге американского профессора польского происхождения Яна Томаша Гросса «Соседи», которая вышла в Нью-Йорке несколько лет назад.

В июне 2001 года я был в Едвабне с немецкой съемочной группой телеканала NDR. В эти дни сюда должен был приехать президент Польши Квасьневский, чтобы открыть памятный обелиск на месте гибели евреев. Меня удивил неприкрытый звериный антисемитизм местного населения. Какие-то мрачные личности следовали за нами с камнями в руках, грозя разбить телекамеру. «Пусть только президент уедет, – мы разобьем этот

обелиск!» – кричали они. Еще бы – ведь у многих из них в домах до сих пор стоит мебель убитых их дедами евреев. Мэра Едвабне Кшиштофа, давшего нам интервью, в скором времени довели до того, что он повесился. Когда в Германии показали телефильм о трагедии в Едвабне, польское посольство в Берлине заявило протест, обвиняя авторов фильма в клевете.

…Стебли травы пробиваются из-под суглинка,
В нынешнем веке минувшее так ли уж важно?
В польской истории нету названья «Треблинка»,
В польской истории нету названья «Едвабне».
Мир убиенным, землей безымянною ставшим,
Красным бурьяном встающим над склоном покатым.
В русской истории нету названья «Осташков»,
В русской истории нету названия «Катынь».
Ветер в два пальца свистит, как раскосый кочевник.
Дождик танцует по сумрачному бездорожью.
Новые школьники новый листают учебник, —
Новая кровь открывается старою ложью.

Что касается общности коммунистической и нацистской идеологии, на которую обратил внимание еще Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба», то она, увы, не случайна. Ефим Григорьевич Эткинд в своей книге о советской поэзии, сравнивая коммунистические советские и немецкие песни 30-х годов с нацистскими, пишет о их глубоких аналогиях: «Людоедские режимы обоих тоталитаризмов странно походят друг на друга». В 2001 году в Гамбурге в русском журнале «Гамбургская мозаика» я прочел статью моего давнего приятеля по Питеру, одного из первооснователей песенного клуба «Восток» Владимира Фрумкина, много лет живущего в Вашингтоне и работающего на радио «Голос Америки». Статья называется «Раньше были мы марксисты» и посвящена песенной связи двух социализмов. Оказалось, что в песнях гитлеровской Германии и сталинской России было немало общего, в том числе и прямые заимствования, которые, как правило, шли слева направо.

Так, знаменитая любимая Лениным песня «Смело, товарищи, в ногу», написанная поэтом Леонидом Радиным в конце XIX века в одиночной камере Таганской тюрьмы, ставшая в годы Гражданской войны коммунистическим гимном, немецкая версия которой была создана видным дирижером коммунистом Германом Шерхеном, в конце 20-х годов была дружно подхвачена штурмовиками, лишь в слегка подредактированном варианте. Молодым коричневорубашечникам нравилась ротфронтовская

песня, полная громких фраз о темном прошлом, светлом будущем, презрении к смерти, жажде битвы, всеобщем братстве и свободе. В этой песне, как в капле воды, отобразилась интонационная и ритмическая общность двух неразличимых, как близнецы, тоталитарных идеологий: «Свергнем гнет буржуазного государства богачей, разобьем цепи, выведем Германию из нужды, уничтожим врагов!» Разница была только в именах вождей и врагов да в терминах. Главный ритм, под который росли и крепли и гитлеровская Германия, и ленинско-сталинская Россия, – это ритм «смелого бодрого революционного марша». Не зря в качестве эпиграфов к статье Фрумкин приводит рядом знаменитую строчку из «Левого марша» Владимира Маяковского: «Разворачивайтесь в марше» и весьма примечательную фразу одного из нацистских главарей Альфреда Розенберга: «Немецкая нация наконец-то готова найти свой жизненный стиль. Это стиль марширующей колонны». Под таким заявлением охотно подписался бы и сам усатый «вождь всех времен и народов». Мне на память приходят другие, не менее характерные строчки из любимого мною Маяковского:

Это мало построить парами,
Распушить по штанине канты.
Все совдепы не двинут армий,
Если марш не дадут музыканты.

И музыканты обоих режимов изо всех сил давали требуемый марш. Мы уже упоминали в первой главе, что революционные марши были далеки от традиции русских народных песен. Дореволюционная Россия по этой части безнадежно отставала от Европы. Более того, как справедливо подчеркивает Фрумкин, русские композиторы нередко прибегали к ритму марша, чтобы показать силу чужую, «нерусскую», враждебную. Вспомним «Марш Черномора» у Глинки, «Половецкий марш» у Бородина в «Князе Игоре» или фашистский марш из Пятой симфонии Шостаковича.

Советская же Россия в самое короткое время стала крупнейшим мировым экспортером воинственных революционных маршей, ведущей маршевой державой мира. Советский Союз, гитлеровская Германия и Италия Бенито Муссолини, по существу, вместе с середины 30-х годов стали активно создавать международный человеконенавистнический интонационный стиль тоталитаризма.

Не случайно во всех этих трех странах сразу же началась непримиримая борьба с фокстротом, танго, джазами и другими безыдейными «штатскими» буржуазными ритмами. Я уже

упоминал, как в конце 40-х в нашей школе на вечерах строжайше запрещалось играть фокстроты и танго, и в первую очередь растленный «Гамбургский фокстрот». Взаимный обмен песнями облегчался не только общностью интонации, но однотипностью словесной риторики. Так, любимая мною с детства песня: «Мы шли под грохот канонады», которую мы дружно распевали в пионерских лагерях, на стихи Михаила Светлова, оказалась русской версией немецкой солдатской песни времен Первой Мировой о гибели юного трубача-гусара. Нацисты сделали из нее свою печально известную «Песню о Хорсте Весселе». Наш знаменитый «Авиамарш», написанный в 1920 году в Киеве авторами-евреями поэтом Павлом Германом и композитором Юлием Хайтом и в 1933 году официально утвержденный авиационным маршем ВВС Красной Армии, также был сразу же приспособлен нацистами, которые даже слова особенно не меняли и пели его с припевом: «Und ho her, und ho her, und ho her» («Все выше, и выше, и выше»).

Как отмечает Владимир Фрумкин, мелодия бодрого марша советских ВВС послужила мелодической основой еще одной известной нацистской песни: «Дрожат одряхлевшие кости», текст которой был написан восемнадцатилетним Гансом Бауманом в 1932 году:

> И если весь мир будет лежать в развалинах,
> Мы все равно будем маршировать дальше,
> Потому что сегодня нам принадлежит Германия,
> Завтра – весь мир.

Кстати сказать, после падения гитлеровского Рейха уже упомянутая песня Радина «Смело, товарищи, в ногу», снова вернулась «на круги своя» и стала официальным партийным гимном Социалистической единой партии Германии, который с энтузиазмом распевался делегатами всех партийных съездов. О нацистском прошлом этой песни там старались не говорить. Ну как тут не вспомнить историю с официальным гимном России, трижды перелицованным из гимна ВКП(б) и СССР!

В центре Гамбурга, на берегу внутреннего озера Альстер, рядом с величественной ратушей, восстановленной после англо-американских бомбежек, стоит небольшой памятник великому немецкому поэту Генриху Гейне. Грустный понурый Гейне, чем-то напоминающий горестный памятник Гоголю в Москве, задвинутый с Арбатской площади за дом, где он умер, стоит, ни на кого не глядя. Как будто предчувствует черные годы нацизма. На четырех стенках постамента укреплены чугунные барельефы,

на которых изображены мрачные сцены из времен Холокоста: штурмовики сжигают книги Гейне, свергают памятник и швыряют его в яму с отбросами. Теперь памятник водружен на прежнее место.

Бронзовый Гейне на ратушной площади Гамбурга,
Сумрачный гений германский, похожий на Гамлета,
Стынущий молча у края холодных морей.
Видят туристы глазами, до слез умиленными,
Что не сгорел с остальными шестью миллионами
Этот случайно избегнувший казни еврей.
Бронзовый Гейне над облаком гари ли, смога ли,
Напоминающий обликом скорбного Гоголя
В скверике пыльном напротив Арбатских ворот.
Благоговейно субботами и воскресеньями
Бюргеры здесь собираются целыми семьями, —
Непредсказуем грядущего дня поворот.
Бронзовый Гейне, из ямы с отбросами вынутый,
Сброшенный раз с пьедестала и снова воздвигнутый,
Пахнущий дымом своих уничтоженных книг,
Пусть отличаются наши родные наречия,
Радуюсь этой, такой неожиданной встрече я,
Единокровный поклонник твой и ученик.
Бронзовый Гейне на площади шумного Гамбурга. —
Рюмка рейнвейна над узкой портовою дамбою,
Голод блокады, ушедших друзей имена,
Контур Европы над желтою школьной указкою,
Черный сугроб под пробитой немецкою каскою,
«Traurigen Monat November», родная страна.
Бронзовый Гейне, грустящий на площади Гамбурга, —
Томик стихов в переводах, мне помнится, Вайнберга,
Послевоенный лежащий в руинах Большой.
Малая Невка, лесистый ли Гарц, Лорелея ли, —
Что за мечты мы в мальчишеском сердце лелеяли,
К странам чужим прирастая незрелой душой?
Бронзовый Гейне, что зябко под ветром сутулится,
Не переменишь рождением данную улицу,
Город и век, ни в Германии, ни на Руси.
Так повелось со времен Перуна или Одина.
Что же поделаешь, если свобода и Родина —
Две несовместные вещи – проси не проси?

Множество мостов, переплетения каналов, порт с морскими судами, крики чаек образуют совершенно неповторимую ауру

Гамбурга, близко сроднив его с Питером. Сходство это, впрочем, неслучайно. Петр I, в бытность свою в Европе, в Амстердаме и Гамбурге, и очарованный их каналами и гаванями, старался строить Петербург по их образу и подобию. Кстати, когда я впервые оказался в этом городе, то с удивлением узнал, что по числу мостов Гамбург значительно превосходит Амстердам, Венецию и Санкт-Петербург, вместе взятые. Кроме того, два этих города похожи скверной дождливой погодой и постоянной угрозой наводнений, которые в Гамбурге, как и в Петербурге нередко приобретали катастрофический размах.

Снова чаек тревожный над гаванью крик,
И ненастная нынче погода.
«Immer regnet», – сказал мне печально старик,
Ожидавший со мной перехода.
Я сначала расслышал его не вполне
В мокром сквере над хмурой рекою.
«Immer regnet», опять улыбнулся он мне
И, махнув на прощанье рукою,
Растворился бесследно во мгле дождевой,
И невольно подумалось – он-то
Уж, конечно, из тех, кто вернулся живой
Из окопов Восточного фронта.
Век двадцатый стремительно тает, как год,
И не так уж и много осталось
Дней погожих в запасе, а глянешь вперед, —
Одиночество, холод и старость.
Вот и встретились снова мы, два старика,
Под шуршание ливней обильных,
И мерцает угрюмая Эльба-река
Словно кадры забытого фильма.

В сентябре 2000 года в Гамбурге, где мы были вместе с моим многолетним аккомпаниатором Александром Костроминым, немецкий музыкант, работавший одновременно пилотом «Люфтганзы», тридцатидвухлетний красавец Нильс Вулькоп предложил записать диск с моими песнями у него в студии, снабдив их переводами на немецкий язык. Нильс с детства увлекался музыкой и решил посвятить себя ей. Однако надо было зарабатывать на жизнь. Поэтому он окончил летное училище и стал летать, чтобы заработать деньги на студию звукозаписи. Мои песни ему понравились, хотя он ни слова не понимает по-русски. «В них есть какая-то сила, – говорит он, – я чувствую это по интонации».

Диск нам удалось объединенными усилиями записать примерно за две недели напряженной работы. С переводами, однако, не обошлось без проблем. Так, во время перевода песни «Чистые пруды» выяснилось, что слово «вагоновожатый» звучит по-немецки примерно как «айзбанфюрер». «Нет уж, такого слова мне в песне не надо», – запротестовал я. Пришлось заменить слово «вагоновожатый» на более благозвучное на немецком языке слово «прохожий».

Поразившее меня сходство между Гамбургом и моим родным Питером нашло отражение в песне, посвященной Нильсу Вулькопу:

Два города этих так странно похожи,
Так странно похожи две этих реки.
Они далеки друг от друга, и все же
Они для меня неизменно близки.
Здесь птичьего зова небесные гаммы
Мешают порою весеннею спать.
Мне в Питере снова привидится Гамбург,
А в Гамбурге Питер приснится опять.

Два города этих так странно похожи.
Обоим преподали горький урок
Глубокие раны жестоких бомбежек,
Ночные сирены воздушных тревог.
Здесь море сурово грохочет за дамбой,
Внезапным грозя наводнением стать.
Мне в Питере снова привидится Гамбург,
А в Гамбурге Питер приснится опять.

И, кажется, жизнь повторится сначала,
И сердце как птица забьется, когда
От берега Эльбы, от невских причалов,
Уходят, гудя, в океаны суда.
От края земного к другим берегам бы,
Как в юности дальней, и мне уплывать.
Мне в Питере снова привидится Гамбург,
А в Гамбурге Питер приснится опять.

Мне много раз приходилось бывать в Германии, иногда во время наших праздников – 1 Мая, 9 Мая. В такие дни, оборачиваясь назад, начинаешь остро осознавать уроки истории, понимать, как по-разному сложились судьбы бывшей гитлеровской Германии и бывшего сталинского Советского

государства. Немцы имели мужество пройти через покаяние, признать и публично разоблачить злодеяния гитлеровского режима. У нас же полного разоблачения сталинских преступлений так и не произошло, поэтому как повернется наша история завтра, пойдут ли нам впрок уроки немецкого, мы пока не знаем.

День победы я встретил в Германии,
Той поверженной прежде стране,
Что позднее прошла покаяние
И теперь процветает вполне.
Гром салюта над площадью Красною,
Разноцветные вспышки ракет.
Сколько лет все победу мы празднуем
Над страной, что в помине уж нет!
Не пойму эти праздники гордые, —
Для меня это слишком хитро.
Маршируют нацисты по городу,
И людей убивают в метро.
Не могу, старики-победители,
Я вам это поставить в вину.
Просто зря умирали родители
За несчастную нашу страну.
Потому что известно заранее,
В целом мире, куда ни приди,
Что не будет нацизма в Германии,
А у нас еще все впереди.

Парижские каштаны

Я от мыслей ночных устану
И гитарный возьму аккорд,
А в Париже цветут каштаны
Возле площади ля Конкорд.
Невесомые эти свечки,
Что прохожих лишают сна,
Хороши, но недолговечны,
Как и наша с тобой весна.

В юность собственную под старость
Не воротишься, хоть умри,
А в Париже цветут каштаны
Над дорожками Тюильри.
Над московскою снежной крупкой,
За которой придут дожди,
Я кричу безнадежно в трубку:
«Подожди меня, подожди!»

А зачем меня ждать напрасно
У столетий на рубеже?
Мне на этот веселый праздник
За тобой не поспеть уже.
А в Париже речная пристань,
Разноцветная карусель,
И везут катера туристов
У подножия Тур Эйфель.

И смотрю я в окошко тупо
На двора проходного дно,
Где моя возрастная группа
Соревнуется в домино.
А в Париже летит по кругу
Нескончаемый хоровод,
И целует студент подругу,
И никто никого не ждет.

Как-то исторически сложилось, что именно Париж, один из крупнейших и красивейших городов мира, стал местом, куда всегда стремилось и русское дворянство, и русская интеллигенция. Возможно, поэтому именно с Францией у России

установились прочные вековые культурные связи. При слове «Париж» сразу вспоминаются художники-импрессионисты, Иван Тургенев, Хаим Сутин, Амедео Модильяни и Анна Ахматова, Эдит Пиаф и Ив Монтан. Париж связан для нас с детским открытием Виктора Гюго, Александра Дюма, Проспера Мериме и всей замечательной французской литературы, которая давно сроднилась с русской.

Впервые в Париж я попал в далеком 1968 году. За год до этого моя песня «Атланты» неожиданно для меня, я в это время плавал в очередной экспедиции, заняла первое место на Всесоюзном конкурсе на лучшую песню для советской молодежи. И Центральный комитет комсомола с подачи Ленинградского обкома комсомола решил направить меня вместе с другими артистами и поэтами в составе «творческой группы» при олимпийской сборной СССР на Зимнюю олимпиаду в Гренобль.

Во Франции мы пробыли три недели: четыре дня в Париже, а остальное время – в Гренобле. «По должности» мы должны были время от времени выступать перед нашими спортсменами в Олимпийской деревне и перед французской «общественностью». Поскольку сам я на гитаре играть тогда не умел, впрочем и сейчас не умею, в качестве специального аккомпаниатора был оформлен актер Театра комедии, ныне народный артист, Валерий Никитенко. Уже в поезде Ленинград-Москва выяснилось, что на гитаре он тоже играть совершенно не умеет. После признания Валерий слезно просил его не выдавать, поскольку очень хочется в Париж. В результате на концертах во Франции мне подыгрывали гитаристы из грузинского ансамбля «Орэро», и надо сказать, что такого роскошного аккомпанемента своим скромным песням за все последующие годы я не помню.

Париж поразил меня своим точным сходством с нашими школьно-книжными представлениями о нем – Эйфелева башня, Лувр, Пантеон, Триумфальная арка, роденовский Бальзак на бульваре Распай, Дворец Инвалидов, собор Сакре-Кер на вершине Монмартрского холма, Нотр-Дам. Знакомство с этим городом напоминало путешествие в книжное Зазеркалье нашего детства – от Гюго и Мериме до «запретных» Золя и Мопассана. Более других запомнились мне Нотр-Дам и музей импрессионистов Оранжери в Тюильрийском парке.

В Париже, руководитель нашей группы, высокопоставленный комсомольский аппаратчик Геннадий Янаев, впоследствии последний вице-президент СССР при последнем президенте Горбачеве, печально прославившийся как председатель ГКЧП, во время экскурсии в Лувр возмущался: «Что за музей? Поставили у самого входа какую-то каменную бабу без головы и с крыльями, –

имелась ввиду знаменитая античная статуя Ники Самофракийской, – а пива выпить негде!» На следующий день, под вечер, успев с утра презрительно отозваться о «бездарных буржуазных портретистах, малюющих косые рыла» (имелся в виду Модильяни), Янаев неожиданно ворвался к нам в номер в состоянии радостного возбуждения, усиленного привезенной с собой «Столичной», и заявил: «Париж – город враждебной идеологии и необходима постоянная бдительность. Поэтому, кто стриптиз еще не видел, разбились на боевые «тройки» – на Пляс-Пигаль!»

Что же касается Модильяни, то мне все-таки удалось заступиться за него перед нашими грозными руководителями. А дело было так: по случаю Олимпийских игр была специально организована выставка работ Модильяни, на которой побывала наша делегация. Услышав упомянутую выше презрительную реплику похмельного Янаева, я страшно обозлился и неожиданно для себя самого, забыв о разнице наших положений и элементарной осторожности, начал кричать на него и его заместителя первого секретаря ЦК комсомола Белоруссии Михаила Ржанова: «Комсомольские дураки, – это же великий художник! Как вы смеете так говорить о нем?» Я ожидал гневной реакции, но вожди наши вдруг притихли, и Янаев, миролюбиво улыбнувшись, сказал: «Саня, ну что ты лаешься? Ты лучше нам объясни, – может быть, и мы поймем». В течение последующих двадцати минут я дрожащим от волнения голосом держал вдохновенную речь о творчестве Амедео Модильяни и его трагической жизни, оборвавшейся в тридцать пять лет, положив в основу своего повествования кинофильм «Монпарнас, 19». Янаев слушал вполуха, но когда узнал, что художник был алкоголиком и спился, то радостно заявил: «Саня! Это же наш человек. Споили сволочи-буржуи гениального художника!» После этого выставка была рекомендована для обязательного посещения всем членам советской делегации.

Эпоха печальных зияний,
Где смерти обилен улов.
Ахматова и Модильяни,
Ахматова и Гумилев.
Небесной от Господа манны
Дождаться не может изгой.
Короткими были романы,
Несчастливы тот и другой.
Лишь жившему долгие лета
Доступен бывает секрет, —

Художника или поэта
Любить неспособен поэт.
На то понапрасну не сетуй,
Что каждый до срока сгорел:
Один захлебнулся абсентом,
Другой угодил под расстрел.
От связей тех не было толка,
И дальше потянется нить,
Поскольку обоих надолго
Сумела она пережить.
Но с ними, пусть даже и мало,
Делившая ложе и кров,
Она навсегда их связала,
Пришельцев из разных миров.
Как колокол гулкий в тумане
Звучит сочетание слов:
«Ахматова и Модильяни,
Ахматова и Гумилев».

До сих пор помню тесное купе второго класса поезда Париж-Лион, которым мы ехали до Гренобля. В купе этом, размером как у нас, помещалось не четыре, а шесть человек, и было невероятно душно. Мы встали в коридоре у окна и решили, что подождем, пока кончится Париж, и ляжем спать. Однако мы простояли больше часа, а за окном по-прежнему мелькали дороги и дома, – так мы и не дождались леса или поля. Посреди ночи мы проснулись от резкой и неожиданной остановки, тем более странной, что экспресс Париж-Лион мчался со скоростью более ста километров в час. Оказалось, что один из наших одуревших от духоты соотечественников, выйдя в коридор из соседнего купе, решил открыть окно, чтобы подышать, и потянул за ближайшую к окну скобу, под которой что-то было написано на непонятном для него французском языке. Оказалось, он потянул за ручку стоп-крана. На следующее утро наши активисты ходили с шапкой по вагонам и собирали со всех по пять франков ему на штраф.

В Гренобле нас расселили по одному в семьи членов общества франко-советской дружбы, чьи дети изучали в колледжах русский язык, и вручили билеты на все матчи и соревнования. Раз в день мы собирались в центральном клубе. Не обошлось и без страшных моментов, из которых самым пугающим был тот, когда на заключительном концерте, после завершения Олимпийских игр в Гренобле, мне пришлось петь через два номера после Шарля Азнавура. Были и другие испытания. Мои

хозяева поселили меня в комнате с отдельным входом. По этой причине мне был вручен ключ от высокой резной двери, распахивающейся прямо в сад. Почти всю комнату занимала старинная огромных размеров кровать, не двух, а минимум – четырехспальная, с высокими мореного дуба спинками, увенчанными многочисленными купидонами. На безбрежных перинах этого роскошного ложа, где хоть вдоль ложись, хоть поперек, я ощущал себя одиноким странником в пустыне, тем более что деревянные стены дома оказались не слишком надежной преградой для холода февральских ночей. Чемодан свой с привезенными «разрешенными» двумя бутылками водки я по советской привычке засунул под кровать. В один из дней я попал на какую-то вечеринку с питьем и танцами к нашим французским друзьям. Где-то после полуночи, когда выпивка понемногу стала истощаться, я вдруг вспомнил о чемодане с водкой, и решил съездить за ней. Меня повезла на своем маленьком «Пежо» одна из француженок-переводчиц, Даниэль, двадцатилетняя шатенка в умопомрачительном «мини». На улице хлестал ливень. Сидя рядом с ней в машине, которую она героически гнала через тьму и дождевые струи, я старался не смотреть на ее ноги, туго обтянутые черной сеткой колготок. Мы прошли через сад. Я с трудом в темноте открыл дверь и зажег свет. Она скинула мокрый плащ, вынула гребень из длинных волос и, распустив их, стала отжимать. Потом с разбегу прыгнула на кровать и засмеялась, раскинув руки. Я, конечно, полез под кровать за чемоданом. Когда я вытащил чемодан, она обхватила меня за шею и сказала: «Послушай, – водки этой все равно на всех не хватит, а такая кровать – и у нас большая редкость. Может быть, останемся?» Голова моя поплыла, но бдительное сердце сжалось от страха. Я представил, что вот сейчас раздвинутся старинные деревянные стены, открывая объективы снимающих нас фото– и кинокамер. Затем ворвутся агенты французской разведки, чтобы завербовать меня в «Сюрте», или какие-нибудь другие шпионские службы. «Что ты, что ты, – забормотал я дрожащим голосом, – неудобно, нас же ждут». И потянулся за ее мокрым плащом. Возможно, именно поэтому в день отъезда, прощаясь с нами, она подошла ко мне и, ласково похлопав по щеке и презрительно улыбнувшись, сказала: «Прощай, дурачьок».

После концерта по случаю окончания Белой олимпиады состоялся большой банкет. Было объявлено, что горячие блюда будут типично французские. Поэтому мы несколько удивились, когда нам подали цыплят-табака. Только когда мы их основательно отведали, выяснилось, что это никакие не табака, а жареные лягушки. Советские дамы начали падать в обморок, но

мужчины оказались на высоте – они попросили еще «смирновской» водки и дружно навалились на лягушек. За десертом сидевший рядом со мной итальянец Фаусто, учившийся в МГУ и понимавший по-русски, обратился ко мне с громким вопросом: «Санья, ну как вам понравился французский женщина?» Сидевший с другой стороны меня гэбешник, официально именовавшийся директором школы, отставил рюмку и оглянулся на меня. «Не знаю», – запинаясь произнес я. «Почему «не знаю»?» – не отставал Фаусто. «Почему, почему, – постарался я отвязаться от назойливого собеседника, – языка не знаю». Он долго думал над моим ответом, явно не понимая его и морща лоб, потом радостно улыбнулся и закричал: «Зачьем языком? Руками!»

На обратном пути через Париж мы с Валерой Никитенко, отпросившись у начальства, отправились смотреть ночной Париж. Когда, проблуждав полночи по бульвару Клиши и Пляс-Пигаль и выпив кофе вместе с водителями ночных такси в знаменитом «Чреве Парижа», мы возвратились в родной отель, оказалось, что двери в него наглухо заперты. На звонки и стук никто не откликался. Вот тут-то Валера и обнаружил рядом с гостиницей какие-то полуоткрытые ворота, украшенные литой старинной решеткой со львами. Когда мы вошли в них, в надежде обнаружить какой-нибудь дополнительный вход в гостиницу, выяснилось, что это чей-то частный дом, отделенный от гостиницы глухой стеной. Во дворе дома стояли открытые роскошные автомашины, на столе распахнутой веранды слабое уличное освещение позволяло различить какие-то бутылки и остатки неубранного ужина. Мы испуганно повернули назад к воротам, однако они, как оказалось, захлопнулись за нами, когда мы вошли. Причем как захлопнулись! Сработал какой-то автоматический замок, который даже изнутри без ключа открыть было невозможно. Только теперь в наши хмельные головы проник смысл случившегося. Посреди ночи мы залезли в чужой дом, и, если нас схватят, то мы толком даже и объяснить ничего не сможем, поскольку по-французски двух слов не свяжем. В течение последующего получаса мы перелезали через высокие ворота, увенчанные острыми наконечниками, имитирующими копья, на одном из которых я безнадежно разорвал свои единственные выходные брюки.

В Париже нам, однако, повезло. Занепогодило в Москве, и фирма «Эр-Франс», извинившись за задержку рейса, взяла на себя заботу об авиапассажирах. Нас немедленно поселили в одной из наиболее дорогих гостиниц Парижа «Лютеция» на бульваре Распай и выдали по пятьсот франков на личные расходы.

Насмерть запуганные советские граждане, тщательно проинструктированные на «случай провокации» и слегка ошалевшие от неожиданных милостей, приученные к тому, что родной «Аэрофлот» обращается с пассажирами как с военнопленными, мы наотрез отказались от роскошных одноместных номеров, и нас поместили в еще более комфортабельные двухместные. Отужинав за счет фирмы, с бургундским вином, и полночи прогуляв по Большим Бульварам, мы вернулись в наш непривычно богатый номер с мебелью в стиле рококо. И здесь моему соседу, уже успевшему перемигнуться с миловидной журналисткой из нашей группы, пришла в голову безумная мысль. Журналистка эта со своей подругой-переводчицей жили в таком же номере, на этаж выше. Сосед мой пытался позвонить к ним по телефону, но телефонистка по-русски не понимала, а ни по-немецки, ни по-английски, ни, тем более, по-французски сосед мой объясниться не мог. Тогда он подступился ко мне и потребовал, чтобы я по-английски пообщался с телефонисткой и узнал номер телефона наших дам. План его был прост до гениальности; его подруга должна была прийти к нам, а я – на ее место, в их номер. Все мои попытки отговорить не действовали на его сознание, возбужденное парами бургундского и видом роскошной – минимум четырехспальной – постели с альковным балдахином. «Валера, – уговаривал я его, справедливо опасаясь «немедленных провокаций», – ну потерпи до завтра, до Москвы, какая тебе разница?» «О чем ты говоришь? – закричал он. – На французской земле и наши бабы слаще!» Пришлось налить ему еще стакан вина, после чего он, наконец, впал в сонное состояние.

На следующий день, к некоторой нашей досаде, погода наладилась и самолет благополучно вылетел из Ле-Бурже в Москву…

В последующие годы мне довелось много раз бывать в Париже, и я всегда сравнивал этот великий город со своими прежними о нем представлениями, почерпнутыми из книг Гюго, Дюма, Мериме, Стендаля и Мопассана. Помню, что в Омске, в голодные годы эвакуации, я увлекался биографией Наполеона Бонапарта. Все мальчишки тогда, по-видимому, увлекались фигурой этого великого полководца! Я много раз перечитывал замечательную книгу академика Тарле «Наполеон». И это детское увлечение Наполеоном сохранилось на долгие годы. Поэтому, когда уже в зрелом возрасте я в Париже попал во Дворец Инвалидов, где похоронен Наполеон и его знаменитые маршалы, перед моими глазами снова прошла эпоха Наполеоновских войн, вызвавшая острую ностальгию по самому себе. Кстати, там же во

Дворце Инвалидов, где все говорит о победных сражениях, в числе которых есть Бородино, и о воинской славе Франции, я, неожиданно для себя, нашел на серой стене надгробные надписи на иврите. Выяснилось, что здесь похоронены солдаты-евреи, которые сражались за Францию на полях Первой Мировой войны.

В парижском Дворце Инвалидов,
Где Наполеон погребен
И статуи скорбного вида
Склонились у пышных колонн,
Где слава витает в зените
И все говорит о войне,
Я надпись нашел на иврите
На серой надгробной стене.
Гласили под надписью даты,
Что вечный нашли здесь покой
Погибшие в битвах солдаты
Далекой войны Мировой.
И глядя на список унылый
Спасавших французскую честь,
Я вспомнил – такие могилы
В Берлине во множестве есть.
На кладбище Вайсензее,
Где юность свою и талант
Зарыли солдаты-евреи,
Погибшие за фатерлянд.
Сражаясь на Марне и Ипре,
Воюя с обеих сторон,
Евреи за Родину гибли,
Врагу причиняя урон.
В краях, где железная вьюга
Огнем выжигала поля,
Они убивали друг друга
Чужого отечества для,
Его в размышлении косном
Наивно считая своим.
И жирным костром Холокоста
Европа ответила им.

В каждый мой приезд Париж поворачивался ко мне какой-то новой стороной, однако всегда оставался не имперской столицей, символом громких военных побед и кровавых революций, каким стремились представить его архитекторы, а прежде всего городом поэтов и художников, вечным городом влюбленных.

Гранями крыш блещет Париж
В шуме чужого народца.
Давний роман канул в туман,
Только любовь остается.

Где он, мой дом? Светят ли в нем
Звезды на дне колодца?
Гаснет огонь, стынет ладонь,
Только любовь остается.

В дальней стране, в мире, в войне,
Жили мы все как придется.
Горе и зло прочь унесло,
Только любовь остается.

Горный ли пик, рю ли Лепик,
Вновь ничего не вернется.
Все в никуда сносит вода,
Только любовь остается.

Память храня, вспомни меня,
С временем бросив бороться.
Горечь обид в ночь улетит,
Только любовь остается.

Кончился круг, время из рук
Струйкою тонкою льется.
Кто мне из вас скажет сейчас,
Что же потом остается?

Чайки крыло бьет о стекло,
Новое солнце смеется.
В речке светло вспыхнет весло,
Значит, любовь остается.

Один из главных символов Парижа – знаменитый Люксембургский сад со старинным Люксембургским дворцом, оазис посреди шумного, не смолкающего ни днем, ни ночью города. Здесь можно встретить парижан самого разного возраста, проводящих свой досуг в многочисленных кафе или наслаждающихся тишиной на садовых скамейках. Особенно хорош этот сад в два времени года – багряной парижской осенью и весной, когда его заполняют студенты, отдыхающие от своих

нестерпимых занятий накануне сессии.

Студенты лежат на траве в Люксембургском саду,
Из памяти вызвав Мане голубые полотна.
Подобную сцену навряд ли в России найду,
Что так же была бы безоблачна и беззаботна.
Под надписью, что запрещает лежать на траве,
Стоит полицейский, скучая на солнце весеннем.
Вокруг на лужайках ленивое длится веселье,
Влюбленные дремлют, прильнув голова к голове.
Вся Франция спит в этот час в Люксембургском саду —
Младенцы в колясках, в узорных шезлонгах старушки.
Не здесь ли гремели теперь устаревшие пушки,
Неся коммунарам последнюю в жизни беду?
Их здесь расстреляли, у этой вот низкой стены,
Где юная пара целуется самозабвенно,
Являя собою скульптурную группу Родена,
Что спит, убаюкана миром дневной тишины.
И я через сад по песчаной дорожке иду,
На них озираясь завистливо и воровато.
Студенты лежат на траве в Люксембургском саду,
Сбежавшие с лекций, как мы убегали когда-то.
Шумящий Париж обтекает сей мир лежебок,
Где спят амазонки, короткую сдвинув тунику,
И дремлет над садом на солнечном облаке Бог,
Как праздный студент, что дождаться не может каникул.

Париж удивительно зеленый город. Здесь огромное количество парков, скверов, садиков. Почти со всеми парками связаны исторические события, поскольку Париж настолько пропитан историей, что, куда ни шагни, обязательно споткнешься о какую-нибудь реликвию. Если в Люксембургском саду расстреливали коммунаров, то в парке Монсури прогуливался Владимир Ильич Ленин. Его квартира была неподалеку, на маленькой улочке Мари-Роз, где в соседнем доме жила Инесса Арманд. И в этом замечательном парке, где плавают утки, парят чайки, цветут каштаны, он думал не больше и не меньше как о планах Мировой Революции. Кажется даже странным, что все в Париже так тесно связано – и абсолютная тишина парижских парков, и гремящее пламя революционного террора, как французского, так и русского.

Другой совершенно своеобразный мир Парижа, без которого Париж не был бы Парижем, – это дети. Во Франции очень большое количество многодетных семей. В отличие, например, от

соседней Германии, где в лучшем случае по одному ребенку в семье, здесь нормой считается иметь трех-четырех детей. Пока родители работают, за детьми присматривают няни. Маленькие парижане – раскованные, веселые, прекрасно одетые и ухоженные, наполняющие своим щебетом парижские парки и скверы, образуют совершенно удивительную атмосферу веселого солнечного Парижа, устремленного в завтрашний день.

В Париже жизнь кипит и днем и ночью, но стоит свернуть с шумной магистрали за угол и сделать несколько шагов, как ты оказываешься на тихой, мощенной булыжником улочке с приглушенным светом фонарей, пришедшей будто из Средневековья. И кажется, что вот прямо сейчас, из-за угла выйдут три мушкетера вместе с д'Артаньяном, и начнутся те приключения, которые так привлекали в детстве. А совсем рядом шумные магистрали пересекают бульвары, и Париж продолжает свою дневную, вечернюю и ночную жизнь.

Когда на грани серых крыш
Смотрю я перед сном,
Мне снова видится Париж
За питерским окном.
Там посреди чужой земли
Плывут по Сене корабли,
И мы с подругой Натали
Идем на Пляс Итали.

Не зная горя и забот,
С зари и до зари
Гуляет праздничный народ
По парку Тюильри.
Где прежде жили короли,
Теперь тюльпаны расцвели,
И мы с подругой Натали
Идем на Пляс Итали.

Там от вина и счастья пьян,
Зажав бокал в руке,
Сидит с друзьями д'Артаньян
В нарядном парике.
Там над бульварами вдали
Летят на север журавли,
И мы с подругой Натали
Идем на Пляс Итали.

Там пьют веселое вино
В вечерний этот час.
Ах, почему же так темно
За окнами у нас?
А там поют: се тре жоли, —
Скорее жажду утоли,
И мы с подругой Натали
Идем на Пляс Итали.

Когда попадаешь в Париж, то, оборачиваясь на собственную жизнь, вспоминаешь ту великую литературу, прежде всего русскую, которую ты для себя открыл в детстве. Здесь нельзя не вспомнить замечательного писателя Ивана Сергеевича Тургенева, который в свои последние годы жил в Европе и немало сделал для сближения русской литературы и литературы западноевропейской. Тесная дружба связывала его в Париже с Флобером, Золя, Гюго, Мопассаном, Мериме, Жорж Санд и другими французскими писателями. Скончался он в 1883 году под Парижем, в городке Буживаль, от рака легких.

Что за странные тени, однако,
Отражаются в этом стекле!
Умирает Тургенев от рака
На уютной парижской земле.
В этот вечер, закатный и длинный,
Что ему вспоминается вдруг, —
Бенефисы прекрасной Полины
Или Бежин покинутый луг?
Или хмурый предутренний Невский
У Владимирской церкви немой,
Где устало бредет Достоевский
Из игорного дома домой?
Кто талант из них был, а кто гений?
Все растаяло нынче во мгле.
Умирает от рака Тургенев
На уютной парижской земле.
Благородного профиля облик,
Головы нерастаявший снег,
Уплывут, как серебряный облак,
В недалекий Серебряный век.
Я смотрю на тома его прозы,
Я лечу ими раны души.
Там цветут меж беседками розы,
И свежи они, и хороши.

Над усадьбою веет прохлада.
Неподвижна озерная гладь.
И не рубят вишневого сада,
И не учат еще убивать.

С Парижем связана трагическая судьба еще одного русского поэта – Владимира Маяковского, который был и остается моим любимым поэтом. Именно здесь он встретил, по-видимому, последнюю свою любовь – Татьяну Яковлеву. Это была не просто любовь, а попытка вырваться из того окружения, в которое Маяковский попал в Советском Союзе, и обрести желанную свободу. Он писал ей: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». Он был всерьез влюблен в Яковлеву. Как знать, возможно, судьба Маяковского могла сложиться иначе, если бы он приехал в Париж еще раз.

Кровавые знамена Октября,
Мы с ними век свой прожили не зря, —
Они и нынче причиняют боль нам.
Поэт, изображавший бунтаря,
С потомками сквозь годы говоря,
Был в личной жизни слабым и безвольным.
Он, изо всех вытягиваясь жил,
Великой Революции служил,
С родной страной делил ее напасти,
Но, полюбивший с юношеских лет,
Свои стихи подняв, как партбилет,
От женщины зависел и от власти.
Помахивая грозным кулаком,
Он пел, одолевая в горле ком,
Всю звонкую им отдавая силу.
Обеими обманут и влеком,
Он у обеих был под каблуком,
И обе привели его в могилу.
Невозмутимый сохраняя вид,
Он бронзовый на площади стоит,
Хвалебными статьями пережеван.
Его поэм артиллерийский ряд
Потом опять для жизни возродят
Письмо и резолюция Ежову.
Последний выезд. Франция. Париж.
Не убежишь, Володичка, – шалишь:
О Яковлевой и не думай лучше.
Обратно возвращаясь, по пути,

Он отдал фирме «Лориган Коти»
Весь гонорар, который был получен.
Печален звук оборванной струны.
Давно уже в помине нет страны,
Чей паспорт был ему иного ближе.
Погиб поэт, и нет его вины,
Что никому сегодня не нужны
Все сто томов его партийных книжек.
Минувший век немыслимо далек.
Он догорает, словно уголек.
Конец поэта горестен и жалок.
Но много лет, пока не вышел срок,
Его подруге клали на порог
Букеты им оплаченных фиалок.

Другая любовь Маяковского, Лилия Юрьевна Брик, сыграла в его судьбе достаточно сложную роль. Знаменитый любовный треугольник стал для поэта роковым. Именно Брики, особенно Осип Брик, который сотрудничал с «органами», посоветовали не давать визу Маяковскому, для того чтобы он не смог снова поехать в Париж, поскольку опасались, что он женится на Татьяне Яковлевой и навсегда останется во Франции. Здесь вспоминается посвященная Брику эпиграмма, обычно приписываемая Сергею Есенину: «Вы думаете, кто такой Ося Брик? Исследователь русского языка? А на самом-то деле он шпик и следователь ВЧК!» К сожалению, так оно и было. Однако Лилия Брик уже после гибели Маяковского обеспечила ему бессмертие. Именно на ее письме Сталину красным карандашом была начертана знаменитая резолюция вождя: «Товарищ Ежов! Очень прошу Вас обратить внимание на письмо Брик». Н.И. Ежов тогда еще не возглавлял карательные органы, а был секретарем ЦК ВКП(б). Далее шли строки, которые люди моего поколения учили в школе наизусть: «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».

Этот маузер дамский в огромной руке!
Этот выстрел, что связан с секретом,
От которого эхо гудит вдалеке,
В назидание прочим поэтам!
Отчего, агитатор, трибун и герой,
В самого себя выстрелил вдруг ты,
Так брезгливо воды избегавший сырой
И не евший немытые фрукты?
Может, женщины этому были виной,

Что сожгли твою душу и тело,
Оплатившие самой высокой ценой
Неудачи своих адьюльтеров?
Суть не в этом, а в том, что врагами друзья
С каждым новым становятся часом,
Что всю звонкую силу поэта нельзя
Отдавать атакующим классам.
Потому что стихи воспевают террор
В оголтелой и воющей прессе,
Потому что к штыку приравняли перо
И включили в систему репрессий.
Свой последний гражданский ты выполнил долг,
Злодеяний иных не содеяв.
Ты привел приговор в исполнение – до,
А не задним числом, как Фадеев.
Продолжается век, обрывается день
На высокой пронзительной ноте,
И ложится на дом Маяковского тень
От огромного дома напротив.

В окрестностях Парижа расположен удивительный уголок России – кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Здесь лежат русские, которые потеряли при жизни свою Родину и обрели ее только после смерти. Но обрели, будем надеяться, навсегда. Многие из тех, кого мы называли Белой гвардией и кто был воспет Мариной Цветаевой и другими замечательными поэтами и писателями, остались на этом кладбище. Любого приехавшего сюда потрясает порядок воинских захоронений. Славные офицеры Белой армии лежат по своим воинским подразделениям – отдельно Донская артиллерия, отдельно казачьи войска, отдельно кавалерийские части. До самой смерти они сохранили приверженность и любовь не только к России, но и к своим воинским традициям, в том числе и к тем учебным заведениям, где воспитывались. Кроме званий, генеральских, полковничьих и других, почти у каждого на могильной плите можно увидеть погон того кадетского корпуса или юнкерского училища, которое они когда-то окончили, будучи молодыми.

Не просто в эпохе, что прежде была,
Теперь разобраться.
На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа
Кадетское братство.
Лежат они молча в сырой темноте,
Но нету претензий.

Кадетский погон на могильной плите
И павловский вензель.
Нас школьные манят обратно года,
И некуда деться, —
Дорога из жизни везде и всегда
Идет через детство.
Лежат командиры походов былых,
Землею одеты,
И звания нету превыше для них,
Чем званье кадета.
Лежат генералы дивизий лихих,
Геройские деды,
И звания нету превыше для них,
Чем званье кадета.
Кричат, улетая на юг, журавли,
Усопших тревожа.
Кончаются деньги, – из этой земли
Их выпишут тоже.
Меняют окраску в соседних лесах
Земли обороты.
Смыкают привычно ряды в небесах
Кадетские роты.
Забудьте, кадеты, про пушечный дым,
Немного поспите.
Пускай вам приснится, мальчишкам седым,
Покинутый Питер.
Старинной усадьбы таинственный мир
С желтеющим садом.
И мамино платье, и папин мундир,
И Родина рядом.

Привлекает внимание и находящийся напротив мемориала кадетам надгробный камень канонической формы с надписью «Донские артиллеристы».

Лежащий вдали от Империи
Под полуопавшим каштаном,
Поручик Донской артиллерии
Не станет уже капитаном.
Под теплым светящимся лучиком,
Расставшийся с миром подлунным,
Он будет навеки поручиком,
Веселым, восторженным, юным.
Мерцает осенняя лужица,

И нет сожаления снова,
Что он никогда не дослужится
До звания очередного.
Он вспомнит мосты с переправами,
И окна родимого дома,
Где пахло нагретыми травами
Над водами Тихого Дона.
Степными, дремучими, терпкими,
На фоне темнеющей сини.
А здесь православная церковь лишь
Напомнит о бывшей России.
И лет эмигрантских – как не было, —
Есть только храпящие кони,
И это далекое небо лишь,
Где звездочки, как на погоне.

Неподалеку от могил Белой гвардии лежат виднейшие представители русской литературы и искусства XX века, умершие в изгнании: Рудольф Нуриев, Александр Галич, мой ровесник Андрей Тарковский, который поразил весь мир своим искусством кино и, блеснув, ушел из жизни. Здесь лежат замечательные писатели и поэты: Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и многие, многие другие. Вот оно, огромное русское поле на французской земле…

На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа
Забвения не вырастает трава, —
Ее, разодет как любовник,
Стрижет регулярно садовник.
На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа,
Где статуи стынут в песцовых боа,
Покой обрели эмигранты, —
Российской свободы гаранты.

На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа
Земля от февральского снега бела,
И смотрят на черные кроны,
Забыв про коней, эскадроны.
Звенит у обители Сен-Женевьев
Скворцов прилетевших двусложный напев,
Связав ее пением птичьим
С Донским или Ново-Девичьим.

Опять в ожидании новой весны

Покойникам снятся московские сны,
Где вьюга кружится витая,
Литые кресты облетая.
Знакомые с детства родные места,
И купол сияет над храмом Христа,
Склоняя усопших к надежде,
Что все возвратится, как прежде.

На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа,
Исчезнув с планеты, как птица моа,
Лежит лебединая стая,
В парижскую землю врастая.
Меж мраморных ангелов и терпсихор
Поет им каноны невидимый хор,
И нету, понятно из пенья,
Свободы помимо успенья.

Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа неразрывно связано не только с русской литературой, кино, балетом, но и с русской авторской песней. Всякий раз, попадая сюда, я кладу цветы на могилу Александра Аркадьевича Галича – человека сложной судьбы, обозначившего собой целую эпоху. Преуспевающий писатель, благополучный драматург, пьесы которого ставили по всему Советскому Союзу, он, на вершине своего благополучия, вдруг взял и ушел в диссиденты, начав писать жесткие, обличительные песни. После этого он потерял все, что имел, был выдворен за границу и через несколько лет погиб при странных обстоятельствах. Эта смерть до сих пор представляется загадочной. Песни Александра Галича, так же как и его знаменитая поэма «Кадиш», посвященная погибшему в нацистском концлагере выдающемуся педагогу Янушу Корчаку, навсегда остались в золотом фонде русской литературы и стали своеобразным памятником той несчастной эпохе, которую мы теперь называем «Эпохой застоя».

Снова слово старинное «давеча»
Мне на память приходит непрошено.
Говорят: «Возвращение Галича»,
Будто можно вернуться из прошлого.
Эти песни, когда-то запретные, —
Ни анафемы нынче, ни сбыта им,
В те поры политически вредные,
А теперь невозвратно забытые!
Рассчитали неплохо опричники,

Убежденные ленинцы-сталинцы:
Кто оторван от дома привычного,
Навсегда без него и останется.
Слышен звон опустевшего стремени
Над сегодняшним полным изданием.
Кто отторгнут от места и времени,
Тот обратно придет с опозданием.
Над крестами кружение галочье.
Я смотрю в магазине «Мелодия»
На портреты печальные Галича,
На лихие портреты Володины.
Там пылится, не зная вращения,
Их пластинок безмолвная груда…
Никому не дано возвращения,
Никому, никуда, ниоткуда.

Совершенно невозможно представить себе Париж без открытых кафе, без звучащих под гитару песен, без знаменитого французского шансона. Без Жака Бреля, Ива Монтана, Шарля Азнавура и многих других. Булат Окуджава как-то говорил мне, что именно приезд Монтана в 1956 году в Москву побудил его впервые взяться за гитару. Дух французского шансона, охвативший когда-то всю Европу и явившийся серьезным толчком для рождения авторской песни в нашей стране, до сих пор существует. Вот только отношение к авторам разное. На кладбище Монпарнас, у всегда заваленной свежими цветами могилы знаменитого французского шансонье Сержа Генсбура (Гинзбурга), я как-то поневоле вспомнил о нашем шансонье Гинзбурге, выступавшим под литературным псевдонимом Галич.

Вперед угадать мы не в силах
Земное свое бытие.
Лежат во французских могилах
Два Гинзбурга, два шансонье.
Осенних пейзажей наброски,
Дыхание ближних морей.
Один из них – днепропетровский,
Другой – кишиневский еврей.
Октябрь лисицею рыжей
Крадется по мокрой траве.
Один был известен в Париже,
Другой – популярен в Москве.
Немного известно нам в сумме
О их непохожей судьбе, —

Один от наркотиков умер,
Другого убил КГБ.
Связали их общие узы,
С рождения каждый изгой,
Но первый остался французом,
И русским остался другой.
Как эти могилы не близки
Холодной дождливой порой:
На первой – цветы и записки,
Густая трава на второй.
И мысль невеселая снова
Внезапно приходит ко мне:
Не следует русское слово
В чужой хоронить стороне.

Удивительное дело – те эмигранты, которые лежат на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, весь остаток своей жизни мечтали вернуться на Родину, а те мальчики, которыми они когда-то были, которые умирали на фронтах и Первой Мировой, и Гражданской войны, мечтали попасть в тихий и спокойный Париж, который исторически был для русского человека местом отдыха и развлечений.

Кабы мне попасть в Париж,
Где сейчас ночная тишь,
Пил бы вина в хрустале
На французской на земле.

Славен бабами Париж,
Там любви не утаишь.
Подожди меня, Мари, —
Погуляем до зари.

Ах, поручик, что за блажь, —
Ваш Париж – пустой мираж:
Все, что связывает с ним,
Имя звонкое «Максим».

Да и это не кабак.
Атакует снова враг.
Не видать нам Сены впредь, —
Здесь придется умереть.

Кабы нам попасть в Париж,

Где сейчас ночная тишь,
Пили б вина в хрустале
На французской на земле.

С Парижем всегда тяжело расставаться. Особенно осенью, когда осень – это не только время года, но и время жизни. Когда, оборачиваясь назад, понимаешь, что счастливое время, твоя весна, твое лето, во многом уже позади. И все-таки, несмотря ни на что, хочется надеяться, что с этим городом тебе еще суждено встретиться в будущем…

Преодолевая Америку

Преодолевая Америку с востока на крайний запад,
От восхода к закату перелистывая города,
Между двух океанов, чей йодистый резкий запах,
Раз вдохнув, не забудешь, видимо, никогда,
Между длинными плоскими отмелями Ньюпорта
И лесистым Сиэтлом, где вечно идут дожди,
Открываешь жизнь совершенно иного сорта,
Не сравнимую с той, что истрачена позади.
Здесь другой Орлеан, не такие Москва и Питер,
Стоязыких племен неожиданное родство,
И второе пришествие в кратере Солт-Лейк-Сити
Возвращает надежду на старое божество.
От канадских озер до горячих степей Техаса,
Облаченная в шорты и прочую лабуду,
Все куда-то торопится эта веселая раса,
Несъедобную пищу дожевывая на ходу.
С изначальных времен здесь иные кипели страсти,
У реки Сакраменто или реки Юкон.
Здесь веками не ведали тоталитарной власти,
Над собой признавая деньги или закон.
Здесь Эйнштейн в Вашингтоне у края безлюдного Молла,
Земляка опознавший, тебя привечает кивком,
И себя, даже если годами пока ты молод,
Возвратившись в Россию, чувствуешь стариком.
И обратно потянешься с чувством внезапной утраты
В те края, где впервые пробил тебя сладостный шок,
И шумит человечество новой эпохи, упрятав
Все созвездия мира в один полосатый мешок.

В нетопленой комнате девятого класса нашей мужской школы, в полуголодном 1948 году, учитель географии, повесив на доску карту мира – два огромных по-осеннему ярких желто-сине-зеленых полушария, и медленно обводя их указкой, говорил: «Есть только одна страна на свете, природа которой по своему богатству и разнообразию сопоставима с природой нашей страны, это Соединенные Штаты Америки, которые, так же, как и Советский Союз, простираются от Атлантического океана до Тихого. Где еще есть такие просторы, необозримые степи, могучие горные хребты, полноводные и быстрые реки? И если характер народа зависит от окружающей природы, то именно эти две

великие нации должны быть наиболее близки». Неожиданно для себя я вспомнил эти слова, довольно смелые для конца 40-х, с их разгулом сталинского антиамериканизма, когда летел из Нью-Йорка в Сан-Диего. Как школьник, неотрывно прильнув к окошку, я с удивлением первооткрывателя наблюдал за сменой величественных ландшафтов, неторопливо проплывавших под крылом «Боинга».

Однажды утром рано пойду я на Восток,
Покуда не приду на край Земли,
Где сразу волны океана заплещутся у ног
И палубы подставят корабли.

А если я отправлюсь дорогой на закат
По горным перевалам и лесам,
В зеленой солнечной дубраве меня обнимет брат,
О чем еще пока не знает сам.

В поводыри возьму я Полярную звезду,
Чтобы дойти до северных озер,
И там подругу дорогую в дороге я найду,
Что вышьет на рубашке мне узор.

А если за удачей отправлюсь я на Юг,
Сплавляясь по теченью шумных рек,
То там среди степи горячей подаст мне руку друг,
С которым не расстанусь я вовек.

Бери, дружок, на плечи дорожную суму,
Шагай и на окрестный мир глазей.
А если будешь бесконечно сидеть в своем дому,
Не будет ни подруги, ни друзей.

Впервые я попал в США в феврале 1993 года, прилетев в Вашингтон, где мой многолетний приятель Володя Лукин возглавлял тогда посольство России. В том году один из энтузиастов авторской песни в Бостоне предложил мне приехать с гастролями в Соединенные Штаты, и я с радостью ухватился за это приглашение, поскольку в Америке до этого практически не был. Начал я, естественно, с Вашингтона, куда меня пригласил Лукин. В аппарате посольства в ту пору работало немало замечательных людей – Владимир Аверчев, Русина Волкова, Лев Мухин. В тот раз я довольно долго, около двух недель, прожил в Вашингтоне на территории нашего посольства, прогуливался по

вашингтонскому Молу, посещая многочисленные музеи, мавзолей Линкольна и другие достопримечательности. Большое впечатление в тот раз произвели на меня встречи со старыми эмигрантами в доме вдовы Романа Якобсона, где было организовано мое выступление. Помню худого и ветхого старика, который представился мне как главный атаман станицы Вашингтонская. Там же мне довелось встретиться с Галиной Старовойтовой, читавшей лекции в университете, незадолго до ее трагической гибели.

С Владимиром Петровичем Лукиным я познакомился в конце 60-х годов в доме Давида Самойлова в Опалихе. Биография его весьма неординарна. Закончил он истфак знаменитого Московского государственного педагогического института имени Ленина, бывшего в то время чуть ли не главной колыбелью бардов и поэтов-«шестидесятников», начиная с Юрия Визбора и Ады Якушевой. Учился он на одном курсе с Юлием Кимом, Юрием Ряшенцевым, Юрием Ковалем, Вадимом Делоне, Марком Харитоновым и многими другими известнейшими литераторами и бардами. Тогда же он женился на своей сокурснице Ларисе, одной из первых красавиц института. За ней ухаживала целая толпа поклонников, однако Володя обошел всех. В связи с этим вспоминается забавная история. Благосклонности Ларисы упорно добивался уже известный в те поры бард и спортсмен, однокурсник Визбора Борис Вахнюк, однако, как говорится, «не прошел». Много лет спустя старший сын Володи и Ларисы Саша, оказавшись вместе с родителями на гала-концерте бардовской песни и послушав выступление Бориса Вахнюка, подошел в перерыве к отцу и, картинно пожав ему руку, громко заявил: «Спасибо, папа, что ты женился на маме, а не дядя Вахнюк».

Дух вольнолюбия, витавший в МГПИ, и недолгая «оттепель» 60-х овладели душой Володи. На гребне наивной романтической веры в «комиссаров в пыльных шлемах» он вступил в партию. Да и как ему было в них не поверить, когда дома у него с ранних детских лет хранилась бережно фотография его матери в том самом «пыльном шлеме», суконной буденовке с черной пятиконечной звездой, в длинной кавалерийской шинели, туго перепоясанной ремнями, и с биноклем на груди? Мать Володи с весьма неудобным для него в последующие годы пятым пунктом анкеты в действительности была военкомом в начале 20-х, за что и была впоследствии репрессирована.

Одаренный политолог и историк, возмечтав о политической карьере, Володя в середине 60-х вместе с Юрием Карякиным, замечательным философом Мерабом Мамардашвили и другими активными представителями нового политического мышления,

поверившими в «социализм с человеческим лицом», оказался в Праге в редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Ввод в августе 68-го года в Чехословакию советских танков, раздавивших «Пражскую весну», оказался для него полной неожиданностью. Увидев, как на улице советские солдаты грабят горожан, отбирая у них часы и деньги, он, размахивая партийным билетом, пытался их остановить. За это он в двадцать четыре часа был выдворен обратно в Советский Союз, а с партийным билетом чуть не расстался.

Когда я с ним познакомился, он уже работал в Институте США и Канады, возглавляемом тогда академиком Георгием Арбатовым и служившим в те годы своего рода отстойником для опальных политических деятелей. Володя, однако, не унывал. Со свойственной ему энергией он защитил докторскую диссертацию и стал руководителем сектора стран Тихоокеанского региона.

В начале 80-х он организовал в Находке интереснейшую международную, посвященную проблемам стран Тихоокеанского региона, на которую пригласил и меня в качестве гостя. Кстати, именно там мне довелось познакомиться с приглашенным на эту же конференцию Туром Хейердалом, бывшим тогда в зените своей славы после знаменитого тихоокеанского плавания на «Кон-Тики». Несколько дней, пока Володя был занят делами конференции, которую он возглавлял, мы с Хейердалом провели на борту маленькой парусной яхты вместе с ее владельцем, президентом Дальневосточного отделения Академии наук, известным геологом-«золотишником» Николаем Алексеевичем Шило. Призванный развлекать знаменитого гостя, Шило все время заставлял меня переводить ему на английский нехитрые соленые анекдоты, а я получил возможность обсудить со знаменитым скандинавом реальность платоновской легенды об Атлантиде, которую Хейердал поддерживал. Он считал, в частности, что белые африканцы – берберы, живущие в Западной Африке, возможно, являются потомками атлантов.

Большую часть времени, около недели, участники конференции прожили в Находке в гостинице «Интурист», опекала нас большая группа весьма миловидных и контактных переводчиц. Заметив, что к одной из них я начал проявлять некоторые знаки внимания, Володя сказал мне: «Дело твое, конечно, но только имей в виду, что она – капитан КГБ». И, увидев мою вытянутую физиономию, добавил, засмеявшись: «Впрочем, можешь особо не опасаться – они ведь тоже живые люди. Не будет же она на себя доносить».

В начале 70-х, когда я только что переехал в Москву, мы с моей женой Анной жили в коммуналке на улице Вахтангова,

неподалеку от Института США и Канады. Володя довольно часто появлялся в нашей тесной, заставленной вещами и книгами комнатушке. Как правило, наряду с традиционной поллитрой он притаскивал с собой свой огромный старый и потертый портфель, до отказа набитый самыми разными книгами, в том числе нередко «самиздатом» и «тамиздатом». Иногда мы отправлялись с Володей посидеть в ЦДЛ или особо близкий его сердцу Дом журналиста на Суворовском (ныне – Никитском) бульваре, где тогда подавали пиво с раками, что по тем временам было большой редкостью. Случалось, что, увлеченный беседой и выпивкой, близорукий и рассеянный Володя забывал свой гигантский портфель со всем его содержимым под ресторанным столиком или в такси, но как-то всегда обходилось. Возможно, именно эти случаи в числе прочих послужили поводом для появления знаменитых песенных строчек Юлия Кима:

Ходили мы с таким преступным видом,
Хоть сходу нас в Лефортово вези,
Причем все время с портфелем набитым,
Который дважды забывали мы в такси.

С середины 70-х мы вместе с семейством Лукиных каждое лето стали регулярно наезжать в Пярну, куда к тому времени переселился Давид Самойлов, бывший духовным центром нашей в те поры «дезицентрической системы». Туда же приезжали Юлий Ким с женой Ирой и дочерью Тусей, Егор Мирза с женой Наташей и дочерьми и многие другие приятели, в том числе композитор Давид Кривицкий, чтец и актер Рафаэль Клейнер и прочие. Помню, как шумно отмечался всякий раз в Пярну день рождения Лукина, приходившийся на конец июля. Кажется, именно в это время Володя начал писать свою аналитическую прозу, которую зачитывал Давиду Самойлову. Самойлов прозу Володи одобрил и предложил дать ей название «Записки умного человека».

Эпоха горбачевской перестройки дала возможность Володе полностью реализоваться как политику. Он был избран народным депутатом, а позднее – депутатом Государственной Думы, где долгие годы возглавлял парламентский комитет по международным делам, впоследствии стал одним из создателей партии «Яблоко» и вице-спикером.

В начале 90-х он на несколько лет был назначен послом России в США. Туда он пригласил с собой Владимира Аверчева, ставшего его надежным и бессменным помощником, известного ученого-физика Льва Мухина, занявшего должность атташе по науке, Русину Волкову, занимавшуюся культурными связями,

и многих других друзей. На несколько лет ему удалось создать в посольстве, где традиционно с советских времен господствовали всеобщее подсиживание и стукачество, дружный коллектив, способный успешно работать в обстановке взаимного доверия. Надо сказать, что сам Володя, несмотря на свой высокий пост, расценивал его как политическую ссылку, на что неоднократно сетовал мне за рюмкой, и активно рвался обратно в Москву.

Свою деятельность на посту российского посла он начал с того, что пригласил на официальный обед еще опального тогда Александра Солженицына и предложил Василию Аксенову вернуть ему русское гражданство. Когда Аксенов спросил: «Зачем, у меня уже есть американский паспорт?» – Лукин пожал плечами: «Что, у вас в пиджаке нет второго кармана?» Впрочем, независимости ему было не занимать. Помню, когда я впервые прилетел в Вашингтон в марте 93-го года, Володя Аверчев встретил меня в аэропорту и сразу же повез на встречу Лукина с соотечественниками и прессой. Отвечая на вопросы, Лукин довольно резко высказался в адрес Руслана Хасбулатова, бывшего тогда спикером Верховного Совета, и тут же последовал едкий вопрос какого-то репортера: «Господин посол, вы не боитесь так резко критиковать ваше непосредственное начальство?» – Володя молча улыбнулся и развел руками. Кстати, упомянутый выше Володя Аверчев, тоже Владимир Петрович, долгие годы работавший вместе с Лукиным, был и остался его близким другом и помощником и в Думе, депутатом которой он был также избран, и в партии «Яблоко». На какой-то очередной день рождения Лукина я даже посвятил им обоим шуточную песенку:

Владимир Петрович Аверчев —
Готовый сюжет для кина,
Но часто бывает доверчив,
В отличие от Лукина.
Второй же Владимир Петрович,
Владимир Петрович Лукин,
По виду гораздо суровей,
Чем нужно бывает для кин.
Не машут они кулачками
На сборищах думских дьячков.
Один постоянно с очками,
Другой завсегда без очков.
Но каждый Владимир Петрович
Готов, несмотря на чины,
И силы отдать, и здоровье
На благо родимой страны.

Владимир Петрович Аверчев,
Владимир Петрович Лукин,
Мы скажем им: «Аривидерчи»,
Красивым и умным таким.
Я видел их трезвых и пьяных
И всех агитировать рад
За партию яблок румяных,
В которой они состоят.

Что касается «партии яблок румяных», то мои симпатии к ней объясняются скорее именно дружбой с Лукиным, а не политическими пристрастиями, поскольку всю жизнь я старался держаться подальше от любых политических партий, начав с КПСС. Помню, несколько лет назад, когда существовала еще партия «Демократический выбор России», боровшаяся в те поры на очередных выборах за места в парламенте, один из ее лидеров спросил меня, не буду ли я возражать, если песню «Атланты» сделают гимном их партии. Я очень попросил этого не делать. «Пожалуйста, пойте ее просто так, а вот гимном делать не надо. Ну а если вам уж так нужен гимн перед выборами, то возьмите лучше песню Булата Окуджавы про Моцарта». «А при чем тут Моцарт?» – удивился мой собеседник. «Ну, как же, там ведь есть строчка: «Моцарт отечества не выбирает». («Отечеством» назывался один из конкурировавших тогда избирательных блоков.) Собеседник юмора не оценил и почему-то обиделся.

В целом же надо сказать, что дружеские привязанности играют, видимо, не последнюю роль в человеческих поступках. Мой безвременно ушедший из жизни друг, замечательный историк и пушкинист Натан Эйдельман, когда-то обратил мое внимание на неправильную общепринятую трактовку диалога Пушкина с Николаем I после того, как новый император вызвал поэта в Москву и в разговоре спросил его: «Где бы ты был, ежели оказался бы четырнадцатого декабря в Петербурге?» «Конечно, на Сенатской площади, Ваше Величество», – ответил Пушкин. Ответ этот, казалось бы, предельно дерзкий и смелый. Однако дальше Александр Сергеевич добавляет явно поясняющую это извинительную фразу: «Там ведь были мои друзья». То есть не по политическим убеждениям, а из-за невозможности не поддержать своих друзей в трудную минуту. И царь понял этот ответ правильно.

Резиденция российского посла и офис посольства находились на 32-й улице неподалеку от Белого дома, в старинном особняке, построенном еще при Николае II в 1899 году и в полной мере

сохранившем роскошный интерьер российского ампира. Жилые апартаменты посла и его жены располагались на третьем этаже над залами для официальных приемов и мероприятий. Очутившись в этой дворцовой музейной обстановке, я поневоле разинул рот – какой разительный контраст с тесной московской квартиркой Лукиных с вечно наглухо закрытыми окнами, выходящими на пыльный и шумный Ленинский проспект, где долгие годы ютились они впятером, с двумя детьми, и где продолжают жить сейчас, ничего себе не стяжав! Стены спальни, столовой и гостиных, обставленные дорогой старинной мебелью, были увешаны картинами Саврасова, Репина, Нестерова и других известнейших русских художников. Лариса жаловалась, что спать под ними неуютно. Завтрак, обед и ужин сервировались здесь же. Немногословный и прекрасно вышколенный не официант даже, а явно мажордом с любезной улыбкой наполнял рюмки и бокалы самыми изысканными, на мой взгляд, напитками. «Вот это профессионал!» – восхитился я. «Еще бы, – шепнула Лариса, – полковник КГБ». На дворе, однако, стоял уже второй год после неудачного путча ГКЧП, и протокольные порядки понемногу менялись. Так, когда Лукин знакомил меня с ведущими сотрудниками посольства, моложавый, несмотря на седину, и подтянутый мужчина в безукоризненном костюме, протянув мне руку, представился: «Резидент российской разведки в США генерал Петров». Увидев мое явное замешательство, он улыбнулся: «Не удивляйтесь. Сейчас другие правила игры. Мы вот с моими американскими коллегами иногда даже вместе в театр ходим».

Само российское посольство, строительство которого было начато в брежневские годы и с трудом завершалось в начале 90-х годов, располагалось довольно далеко от резиденции, за Джорджтауном на Висконсин-авеню, и представляло собой большой комплекс современных зданий, надежно, как крепость, защищенный высокой глухой стеной, напоминавшей Берлинскую. Все сотрудники посольства жили там. Там же, в гостинице, разместили и меня. Выступления мои в Штатах должны были начаться примерно через неделю, и у меня было несколько свободных дней, чтобы побродить по Вашингтону. Начал я, естественно, со знаменитого Национального Молла, центра города, где располагаются главные мемориальные комплексы: гробницы Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и основные музеи. В последующие годы, нередко приезжая в Штаты, я регулярно бывал здесь в самые разные времена года и до сих пор не перестаю удивляться своеобразной красоте и значительности этой огромной прямоугольной площади-парка,

начинающейся около Белого дома и завершающейся величественным куполом Капитолия. Здесь, на сравнительно небольшом пространстве, нашла свое отражение вся не слишком длинная, но весьма насыщенная событиями история первой в мире страны, никогда не знавшей авторитарного правления, с ее взлетами и падениями, кровопролитной и драматической Гражданской войной между Севером и Югом, единственным, после борьбы за независимость, военным конфликтом на территории США, и последующими войнами, которые американские войска вели уже на других континентах.

Мне почему-то особенно запомнился памятник ветеранам Корейской войны 1950–1953 годов. Фигуры солдат в касках и плащ-палатках, сделанные из серого бетона, стоят прямо на травянистой земле. В каждом из лиц – усталость и обреченность, рота явно отступает. Последний раз я стоял перед этим монументом и внимательно его разглядывал поздней холодной осенью 2002 года, уже после трагических событий 11 сентября. На ненастном Моллу было безлюдно. Все проезды к Белому дому были тщательно перегорожены огромными бетонными плитами, сразу же напомнившими мне противотанковые надолбы в Москве и моем родном Ленинграде в начале Великой Отечественной войны.

Поредевшая рота бредет, отступая устало.
Не смыкают солдаты москитами выжженных век.
Их от роты вчерашней не более взвода осталось.
Им идти далеко – через день, через год, через век.

Этот памятник странный с фигурами серой окраски,
Отрешенные лица измученных боем солдат!
Плащ-палатки хребты им сгибают и тяжкие каски.
Подгоняя отставших, командир обернулся назад.

Догорает ракета, над полем маисовым рея.
Вертолеты ревут, разрывая окрестную мглу.
Отступленье, что начато в топких болотах Кореи,
Завершается здесь – на пустом вашингтонском Моллу.

По Америке катится рокот военного грома.
Самолет небоскребы таранит на полном ходу,
И бетонные плиты чернеют у Белого дома,
Как в начале Тверской в сорок первом морозном году.

Снова сходятся вместе концы и начала историй,

В обороне упорной пробита кровавая брешь.
Атакует противник. У нас за спиной Капитолий.
И у Белого дома проходит последний рубеж.

Неподалеку от этого памятника располагается мемориальный комплекс, связанный с другой несчастной войной – Вьетнамской. На невысоких гранитных стенах выбиты имена почти шестидесяти тысяч погибших и пропавших на ней солдат. Под стенами много цветов. В 2009 году, когда я в очередной раз попал на Молл, там проходили сразу две демонстрации. Одна из них была против операции американских войск в Ираке, а другая – в ее поддержку. Так что я сразу оказался в центре современных событий.

Что касается мемориалов великим президентам, то общий их стиль близок к ампиру. Особенно это заметно в знаменитом памятнике Аврааму Линкольну, внушительные размеры и облик которого невольно вызывают в памяти огромные статуи вождей сталинских времен. Из всех многочисленных памятников на Моллу мне более других понравился не слишком заметный памятник Альберту Эйнштейну, чрезвычайно живой на фоне прочих величественных и холодных изваяний. Пожилой усталый человек полусидит-полустоит, разведя руки, с растерянной улыбкой, как бы сам пораженный неожиданным собственным открытием. Здесь на память снова приходят слова, сказанные когда-то величайшим физиком теперь уже прошлого века, которые немало лет поддерживали и обнадеживали меня в моей научной работе: «Есть сто физиков, которые хорошо знают физику и понимают, что эффекта быть не может. Но есть сто первый, который плохо ее знает. Он ставит безграмотный эксперимент и получает эффект. Так совершаются великие открытия».

Огромное впечатление производят музеи, расположенные на Моллу, а их там великое множество, в том числе довольно большой музей Холокоста. Вход в музей несколько дней в неделю бесплатный. Наряду с прекрасными музеями классического и современного искусства, на меня сильное впечатление произвели музей космоса и аэронавтики и особенно музей истории мира с его движущимися панорамами и макетами динозавров, птеродактилей и других древних обитателей нашей планеты.

В Вашингтоне, в музее истории мира,
(Не пройдите, когда там окажитесь, мимо),
В допотопных долинах рычат диплодоки,
Неподвижные, словно дредноуты в доке.
Там зубастые птицы застыли в полете, —
Вы сегодня таких на Земле не найдете.

Это слева от вас происходит, а справа
Из вулкана, светясь, извергается лава,
В океане плывут кистеперые рыбы,
Оставляя в воде голубые разрывы.
Птеродактили в тучах, внизу – стегозавры,
Входят легкие в моду уже, а не жабры,
И леса, на ветру колыхаясь упруго,
Превратятся не скоро в сегодняшний уголь.
И любуется сверху морями и сушей
Всемогущий, Всеведущий и Вездесущий,
Отдыхая в начале рабочей недели,
Не спеша перейти к неудачной модели.

Вашингтон, стоящий на границе штатов Виргиния и Мэриленд, состоит, по сути, из нескольких уютных и красивых городков – Александрия, Джорджтаун и других, входящих в расположенный на берегах бурной и порожистой реки Потомак округ Колумбия. Летом здесь бывает невыносимо жарко из-за высокой влажности, а самая хорошая погода наступает в апреле, когда зацветает сакура – японская вишня. Целая роща этих деревьев была подарена Вашингтону в начале прошлого века императором Японии, и они прекрасно привились на берегах Потомака. До Хиросимы тогда было еще далеко. Теперь праздник весеннего цветения вишни – «Шерри-блоссом» – один из самых торжественных и ярких праздников американской столицы. Он сопровождается театрализованными шествиями, фейерверками и всеобщими гуляньями.

Над водою деревья свой пышный
Подвенечный надели наряд.
В Вашингтоне цветение вишни,
«Шерри-блоссом», как здесь говорят.
Этот праздник недолгий весенний,
Где невестами ветки парят,
Городское рождает веселье
И торжественный шумный парад.
Лепесток оторвавшийся, тонок,
Начинает недолгий полет
Над бурливой рекою Потомак,
Где вода у порогов поет.
Вашингтонское влажное лето
Принесет изнурительный зной.
Оттого ль, что своих у нас нету,
Так приятен нам праздник чужой?

Я не третий и все-таки лишний
В этом розовом теплом снегу.
Отцветает японская вишня
На чужом для нее берегу.

В Вашингтоне, а потом и в других городах я начал встречать давних своих знакомых и друзей, уехавших в США в эмиграцию. На первое же мое выступление в посольство России пришел Василий Аксенов, который тогда преподавал в университете русскую литературу, и в доме которого мне впоследствии довелось неоднократно бывать. Аксенов напомнил мне, что когда-то, в конце 40-х годов, мы с ним, оказывается, вместе занимались в Ленинградском дворце пионеров в студии у Глеба Сергеевича Семенова. На радиостанции «Голос Америки» я с радостью встретился с замечательным музыковедом и журналистом Владимиром Ароновичем Фрумкиным, уже упоминавшимся в этой книге, который покинул Советский Союз почти сорок лет назад. Володя тут же организовал мне выступление на «Голосе Америки», подключив в прямой эфир поэта Льва Лосева, работавшего в университете канадского города Дартмута и знакомого мне еще по Питеру. В последующие годы я много раз встречался с Володей Фрумкиным и его женой Лидой, приезжал на его семидесятилетие, по несколько дней жил в его гостеприимном доме и всякий раз не переставал удивляться широте его интересов, обнимающих, кажется, все – от музыки до политики, одаренности и неистощимой, несмотря на возраст, энергии. Талантливый музыковед и радиожурналист, один из ветеранов «Голоса Америки», один из крупнейших специалистов по авторской песне 60-х годов, ставшей теперь предметом научного изучения, автор нескольких книг о Булате Окуджаве, он и сейчас полон творческих планов и продолжает активно работать и писать. Я уже упоминал его нашумевшую статью «Общность песенных социализмов», посвященную полной идентичности нацистских и коммунистических маршей 30-х годов. Наталья Касперович на основе этих материалов сняла для немецкого и французского телевидения документальный фильм, который производит весьма сильное впечатление. Одно дело статья, а вот когда видишь в кадре старой кинохроники, как гитлеровские солдаты, раздетые по пояс, перекидывают какие-то доски на аэродроме и дружным хором поют: «Und ho er, und ho er, und ho er» («Все выше, и выше, и выше»), песню, которую мы не менее дружно и радостно пели в пионерах, это вызывает буквально шок. После событий 11 сентября Володя, как и многие

другие американцы, вывесил над своим домом флаг США, и я с полным уважением и даже некоторой завистью воспринял такое несколько по-детски наивное проявление патриотизма этого умного и уже немолодого человека. В апреле 2010 года, когда я жил у него, мы говорили о том, что вот хорошо бы написать вдвоем книжку об авторской песне в России. Летом того же года они с Лидой впервые за много лет приезжали в Москву и Питер, но нам, к великому сожалению, пересечься не удалось. Остается надеяться на будущее. Как говорится, какие наши годы!

За последние двадцать лет у меня было довольно много литературных выступлений в Вашингтоне, но из всех более других мне запомнился вечер в ноябре 1993 года в общественной организации соотечественников, состоявшей в основном из российских эмигрантов первого поколения и носившей почему-то название «Литфонд». Выступали мы вместе с женой Анной перед весьма пожилой публикой, много чего повидавшей на своем веку и на первый взгляд настроенной весьма скептически. Однако вечер этот, организованный Василием Аксеновым, бывшим, как помню, вице-президентом «Литфонда» (не он ли и придумал это название в пику московскому Литфонду, из которого его в свое время исключили после скандала с альманахом «Метрополь»?), прошел неожиданно тепло. Среди прочих по окончании встречи к нам подошел высокий весьма ветхий старец в синих штанах с широкими красными лампасами и представился: «Главный атаман станицы Вашингтонская». После вечера было устроено «пати» в доме вдовы знаменитого в прошлом лингвиста Романа Якобсона, упомянутого Маяковским в его стихотворении «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Собралось много народу, в том числе Анатолий Найман, бывший в ту пору в Вашингтоне, и другие литераторы. Довольно много было выпито. Приехала на «пати» и Галина Васильевна Старовойтова, читавшая тогда лекции в каком-то университете в Вашингтоне. Это было время, когда многие наши демократические лидеры – Виталий Коротич, Галина Старовойтова и другие – отправились на Запад с лекциями и беседами о ситуации в России, которая после расстрела танками Белого дома в октябре 93-го года оставалась весьма напряженной. Галине Васильевне не понравилась тональность стихов, связанных с этими событиями, которые я прочитал на вечере, о чем она мне и заявила. «А вы, Галина Васильевна, теперь здесь, в Америке, российскую демократию защищаете?» – неожиданно для себя резко спросил я, обиженный ее критикой. Чувство горького сожаления и стыда за эти слова охватывает меня всякий раз, когда я вспоминаю об этом после ее злодейского убийства в Питере в 1998 году.

В том далеком теперь 1993 году, согласно плану моего незадачливого менеджера, я летал по тем городам США, где концерты, как правило небольшие, организовывали для русскоязычной публики еврейские культурные центры. Кстати, в первый же свой прилет в Штаты я обратил внимание, что в этой традиционно эмигрантской стране почти все национальные группы образуют свои общественные и культурные центры. Не говоря уже о китайцах и латиноамериканцах или неграх, которые селятся своими анклавами, существуют устойчивые «комьюнити» у итальянцев, немцев, французов, греков. Совершенно иначе ведут себя русские эмигранты. Они, как правило, стараются оторваться от русскоязычной среды, поскорее войти в англоговорящую, считая это главным залогом делового и личного успеха. За редким исключением, как это было, например, в Вашингтоне, русских клубов и «комьюнити» на огромной территории Соединенных Штатов практически нет. Поэтому роль хранителей и пропагандистов русской культуры берут здесь на себя все те же многострадальные российские евреи. Именно они принимают у себя в своих небогатых «Juish Comunity Center» (по-русски – «Джуйка») российских артистов, писателей, поэтов и бардов, нередко используя для этого синагоги. Помнится, в свой первый приезд мне довелось выступать не менее десяти раз в синагогах разных городов, а один раз в Сан-Диего, в масонской ложе. Так что я теперь с полным основанием могу считать себя жидомасоном.

В последние годы это положение, во всяком случае для бардов, существенно изменилось. Почти во всех крупных городах США – от Атлантики до Тихого океана – с русскоязычным населением появилась могучая и разветвленная сеть клубов самодеятельной песни, которые взяли на себя организацию концертов и фестивалей и начали активно воевать с игнорирующими их менеджерами.

С ростом новой волны русской эмиграции, состоящей в основном из активной работающей молодежи, традиционно увлекающейся авторской песней, начали регулярно организовываться фестивали русской авторской песни в Филадельфии, где этим активно занимался Юрий Книжник, в Калифорнии – при активном участии Бориса Гольдштейна в Лос-Анджелесе и Леонида Духовного в Сан-Франциско и других городах США.

Тогда же, в 93-м году, с целью экономии расходов на перелеты, мне был куплен так называемый «стендбай» авиакомпании «Дельта Эйр Лайнз». Всего за пятьсот долларов он давал возможность целый месяц летать на самолетах этой

авиакомпании по всем направлениям внутри США при наличии свободных мест. Как правило, такие места всегда бывали, однако в конце недели или в дни праздников их нередко не оказывалось, так что приходилось сиживать в аэропортах и даже отменять концерты. Плохо владея английским языком, я не сразу научился ориентироваться в сложной и нередко запутанной географии огромных американских аэропортов, где от одного терминала до другого надо было добираться на автобусах или на специальном поезде. Это оказалось особенно актуально, поскольку самолеты авиакомпании «Дельта» летали на большие расстояния с частыми пересадками в портах, и надо было в считаные минуты переместиться на нужный следующий рейс, чтобы не опоздать на него.

Часто неприятные сюрпризы подбрасывала капризная и крайне неустойчивая американская погода, тем более что март в 93-м году на Восточном побережье оказался аномально ветреным и снежным. Сидя по несколько дней в закрытых из-за непогоды аэропортах или откапывая вместе с хозяином его дом в Нью-Джерси, засыпанный по стреху крыши снегом во время очередной «метели века», я в полной мере смог оценить американскую шутку: «Если вам не нравится американская погода, не огорчайтесь – она скоро изменится». Иногда подводило и плохое знание географии Соединенных Штатов. Помню, как в первый свой вояж я попал наконец в Бостон к своим старым друзьям и коллегам по Институту океанологии Ире и Сергею Кашиным, много лет назад прочно обосновавшимся здесь. Расслабившись на несколько дней от их радушного гостеприимства и дружеского общения их веселой русскоязычной профессорской компании, я с большим неудовольствием собрался лететь дальше в город Коламбус, где планировался очередной концерт. Сергей любезно сопроводил меня в аэропорт и объяснил, что у меня пересадка в Цинциннати, но багаж можно зарегистрировать прямо до Коламбуса, чтобы не таскаться с ним в порту пересадки. Я облегченно вздохнул и, опрокинув с приятелем рюмку виски на посошок, облегченно уснул в кресле.

В аэропорту в Цинциннати я, уже имея некоторый опыт, чтобы зря не искать на мониторах номер своего рейса и выход для посадки, протянул свой билет дежурному – огромного роста черному человеку в красном пиджаке, стоявшему у выхода с самолета. Он назвал мне номер выхода и предложил поторопиться. Я уже вошел в самолет, когда выяснилось, что летит он в Коламбус, но не в штат Охайо, куда мне нужно, а в штат Джорджия. Ценой огромных усилий, трудность которых усугублялась плохим знанием английского, мне удалось

перегрузить свой чемодан на нужный рейс. Когда я сказал черному человеку в красном пиджаке: «Извините, я не знал, что в США два Коламбуса», – он, презрительно посмотрев на меня, сказал: «Три».

Все последущие приезды были связаны с жестким графиком концертов и встреч и проходили в ритме «Танца с саблями» из балета «Гаяне». «Ты Америки не увидишь, – напутствовал меня уже побывавший там Юлий Ким, – в каждом городе одно и то же: аэропорт, концерт, стакан водки, утренний подъем, аэропорт, и все сначала». Он оказался прав. Только в последние годы мне удалось избавиться от этого потогонного темпа.

Есть на свете планета Америка,
В мире равных Америке нет,
Что стремится вперед, как во тьме река,
Эмигрантов надежда и свет.
А тебе почему-то поверится
Посреди подмосковных полей,
Что тебе улыбнется Америка
Белоснежной улыбкой своей.

Есть на свете планета Америка,
Не забудешь ее никогда,
Где лесные просторы не меряны
И ночные шумят города.
А тебе все по-прежнему верится,
Что однажды, с течением дней,
И тебе улыбнется Америка
Знаменитой улыбкой своей.

Может, все-таки что-то получится,
Если ты наплюешь на года,
Чтобы с юной веселой попутчицей
Навсегда перебраться сюда.
Вдалеке от российского ерика
Жить среди разноцветных огней.
Где тебе улыбнется Америка
Неизменной улыбкой своей.

Есть на свете планета Америка,
Полосатый со звездами флаг,
Где тебя одолеет истерика, —
Жизнь ты прожил не там и не так.
И уедешь ты к дальнему берегу,

Чтобы думать до смерти о ней,
И тебе улыбнется Америка
Равнодушной улыбкой своей.

Америка начинается не с Нью-Йорка, где возвышается статуя Свободы, столь знакомая многим эмигрантам, а с Бостона. Начинается и в географическом отношении, потому что Бостон стоит на берегу Атлантического океана, и в историческом, ведь именно здесь в конце XVIII века со знаменитого Бостонского чаепития началась борьба за независимость Северо-Американских Соединенных Штатов. По своему облику Бостон самый европейский город США. Не случайно наши соотечественники, переехавшие в Америку, сравнивают его с Питером, тогда как Нью-Йорк, по их мнению, имеет много общего с Москвой.

Бостон является крупнейшим университетским центром. Здесь расположены Гарвардский и другие университеты, занимающие первые места в мировых рейтингах высших учебных заведений. В Бостоне, пожалуй, самая большая в мире плотность студентов на душу населения. Общепризнанно, что Бостон – самый интеллигентный город США и один из самых интеллигентных городов мира. Не случайно здесь среди эмигрантов из России преобладают питерцы и москвичи.

Мы узники географии. В талом
Снегу припортовым бредем кварталом,
Стараясь вырулить в Чайна-таун
К ресторанчикам с надписями «Си Фуд».
Европы сторожевым форпостом,
В чередовании улиц пестром,
Вокруг поворачивается Бостон,
Перемещаясь за футом фут.

Это еще не Америка. Старый
Свет здесь представлен пустою тарой
Из-под таможни, сырой отарой
Облаков, бегущих издалека
Над океана сияющей лентой,
Разобщившей некогда континенты,
Как утверждал это Вегенер некто,
Чье имя переживет века.

Переселенцы, оставим пренья, —
В мире всеобщего ускоренья,
Затуманенным ностальгией зреньем

Не то увидишь, на что глядел.
Если Европу с Америкой сдвинуть,
Соединив как две половины
Яблока, – в самую середину
Бостона угодит раздел.

Не потому ли в раздумьях над тостом,
Соусом поперхнувшись острым,
В контурах зданий Васильевский остров
Видишь за окнами вдруг,
В зале, где саксы, евреи, непальцы,
Вышитые на разных пяльцах,
Переплетаются, словно пальцы
Соединившихся рук?

Там – за знакомыми с детства домами,
Словно за сдвинутыми томами,
В сеющейся атлантической манне,
Твой обрывается след.
Так грозовое дыханье озона
Снова напомнить могло Робинзону
Остров его – каменистую зону,
Столько унесшую лет.

Слово «юнайтед» рюмахой уважив,
В небе с потеками дыма и сажи,
Разные мы созерцаем пейзажи
Из одного окна,
Объединенные общей тоскою,
Жизнью единою городскою,
И гробовой недалекой доскою,
Где будут разные письмена.

У Окуджавы есть песенка, в которой ему снится сон, что его друзья выбились в начальство, и, как дальше поет Булат, наверно, мне когда-то станет легче жить. Не знаю, как насчет начальства, но я всегда испытываю чувство радости, когда вижу, что мои друзья, давно уехавшие из России, наконец-то могут получать за свой труд и за свой талант средства, достаточные для того, чтобы жить по-человечески. В Бостоне живут мои друзья, талантливейшие люди, Саша и Леня Райз. Леня – инженер-изобретатель, которому удалось воплотить в жизнь свое изобретение, а Саша художник и скульптор-керамист. Их

бостонский дом, напоминающий замок, всегда вызывает у меня чувство радости. Он был построен по проекту талантливого архитектора Елены Колмановской. Когда я бываю в Бостоне, то всегда останавливаюсь именно в этом доме. Кроме меня, в нем жили Вениамин Смехов, Михаил Козаков, Игорь Губерман.

Бостон не зря называют самым интеллигентным городом Америки, – когда говорят о поэзии и живописи или о других формах искусства в США, то всегда разговор начинается с Бостона. Здесь уже много лет живет замечательный поэт Наум Мандель, более известный под псевдонимом Коржавин, натерпевшийся от сталинского и постсталинского режима. Помню, как в конце 60-х годов выдающийся поэт фронтового поколения Борис Слуцкий, который считал себя моим ментором и изрядно шпынял за мои скверные стишки, как-то мне жестко сказал: «Из песка свои стихи строишь, из мусора. Учись у Андрюши Вознесенского, как надо работать со словом. А не научишься, так Манделем и помрешь!» Наума Коржавина тогда почему-то обвиняли в примитивном стихосложении. Я, однако, всегда любил его стихи, которые поражали меня пронзительностью своих на первый взгляд простых строчек. Например, «Мужчины мучили детей» или короткое стихотворение «Вспоминая Некрасова»:

Столетье промчалось, и снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Надеть подвенечный наряд,
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Много лет Наум Коржавин живет в Бостоне. В последние годы у него начались серьезные проблемы со зрением. Всякий раз, бывая в Бостоне, я стараюсь с ним встретиться. Вот фрагмент нашей беседы, записанной в 2010 году для документального сериала «Атланты держат небо…»:

– Вы сейчас пишете стихи?

– Нет, только прозу. Стихи я уже давно не пишу. Стихи требуют колоссальной физической энергии. Стихи – это сгусток энергии. А если ее нет, то это трудно. Потом, вероятно, изменилось мое отношение к жизни…

– А проза о чем? Биографическая?

– Мемуары – биографическая проза, а остальное – это эссе: о

литературе, истории, жизни. Меня раздражает, например, что все говорят, что большевизм прекратил свое существование. Большевизм прекратил свое существование в начале 30-х годов, в их середине – в крайнем случае. А потом была сталинщина. Большевизм ничуть не лучше, чем сталинщина, но это не одно и тоже. Большевизм – преступление, но сталинщина – это не только преступление, это чистый бандитизм. Уголовные методы применял и Ленин, но у Сталина были уголовные цели. И это главное.

– Сталину инкриминируют убийство нескольких миллионов человек в лагерях, но почему-то обходят другую сторону вопроса. Ведь ту часть населения Советского Союза, которая не попала в лагеря, он превратил в доносчиков и охранников. Развратив этим абсолютно все общество.

– Я бы воздержался от такой категоричной формулировки, что Сталин всех превратил в доносчиков и охранников. Я знал многих людей и в Москве, и в сибирской деревне, которые не были ни доносчиками, ни охранниками. Сталин подменил все ради собственной славы, а в итоге создал империю, которая стала разваливаться буквально на следующий день после его смерти. Сам большевизм был преступлением. Я вообще считаю, что идейность – грех. А мы воспринимали ее как единственную форму духовности. Это – соблазн, выражаясь церковным языком. Сталинщина была таким соблазном.

– Сейчас в России в большой моде разговоры и поиски национальной идеи. Что вы думаете о национальной идее как таковой и о национальной идее для России?

– Если национальная идея состоит в том, что наше государство самое главное и мы можем весь мир завоевать, то ничего хорошего в такой идее нет. Это не русская идея. Она чужда любому русскому человеку. У царской России была национальная идея, а большевики ее уничтожили. Я говорю о русской религиозной философии – Владимире Соловьеве, Николая Бердяеве и других.

– Каково ваше мнение о следующем поколении поэтов? Говорят, что сейчас кризис силлабо-тонической поэзии. Не знаю, как вы, но я, например, к постмодернизму отношусь с большим подозрением.

– Я очень давно начал войну с модернизмом. У меня когда-то даже статья в «Новом мире» вышла, которая называлась «В защиту банальных истин: Заметки о поэтической форме». Там был анализ стихотворения Вознесенского «Свадьба». Я и по сей день враг модернизма и постмодернизма. Сейчас в позии появилось новое поколение. Их соблазнил ваш очень талантливый земляк –

ленинградец Иосиф Бродский, который, как я всегда говорил, стал жертвой собственной гениальности, тем, что гением он стал раньше, чем человеком. А так не бывает. У Бродского есть стихи, которые я очень высоко ценю, мне они нравятся. Я убежден, что он таких стихов мог бы написать намного больше. Но он уже был гением и верил в гениальность своей левой ноги.

Я всегда презирал тех людей, которые отправились в эмиграцию для того, чтобы состояться. Когда при Хрущеве посадили Синявского и Даниэля, я тоже к этому относился неоднозначно. Я их, конечно, защищал, ведь сажать за литературу нельзя, но я знал простое правило: для того, чтобы печатать стихи за границей, надо их строго законспирировать дома. А главный их читатель-то как раз жил в Советском Союзе. Когда человек приезжает для того, чтобы реализоваться за границей, возникает закономерный вопрос – перед кем? Почему он решил, что на Западе есть ценители его таланта более высокие, нежели дома?

Если снова начинаю думать
О поэтах юношеских лет,
Вспоминаю Манделя Наума:
Для меня он истинный поэт.
Он пузат, беспомощен, наивен,
Да к тому ж теперь еще ослеп.
Над чужой рекою Чарли-Ривер
Не подарок эмигрантский хлеб.
Не добыв просторных помещений,
Он сидит печально день за днем,
В комнатушке, запыленной щели,
Между книжной полкой и окном.
Знатоки поэзии с улыбкой
На него взирают свысока, —
Мол, строка его осталось зыбкой,
И стихи он строит из песка.
У меня же не такое мненье.
Критике досужей вопреки,
Сердце мое жгет прикосновенье
Не снесет его бесследно в Лету
Времени холодная вода:
Было бы что говорить поэту,
А слова отыщутся всегда.

Встречи с Наумом Коржавиным и другими русскими поэтами зарубежья еще раз напомнили мне, что главная проблема для поэтов, живущих вне России – отсутствие русскоязычной среды.

Возможно, именно поэтому авторская песня пышным цветом расцветает на американской земле как попытка сохранения языковой культуры и передачи детям этого наследия. Если говорить о поэтах, живущих на Американском континенте, то их немало, наряду с Бахытом Кенжеевым, Львом Лосевым и другими именами, которые стали достаточно известны и входят в первую десятку поэтов мира. Хотя я не люблю, в отличие от многих, расставлять поэтов по местам и давать им какие-то номера. Поэзия не спорт и не конкурс красоты. Вот Пушкин, например, всех современников затмил своим поэтическим гением, но он никогда бы не написал за Батюшкова: «О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной!» Каждый настоящий поэт – единственный и за него никто другой ничего сказать не сможет. Одним из таких поэтов, по моему глубокому убеждению, является человек, для которого исторической родиной является украинская Винница, живущий теперь в Бостоне Леопольд Эпштейн, С ним я познакомился в доме Саши и Лени Райз. К сожалению, в России этот поэт почти неизвестен читающей публике.

Историческим, духовным и научным центром Бостона является Гарвардский университет (компьютер трудолюбиво исправляет первую букву с Х на Г), который был основан в первой половине XVII века, более чем за сто лет до начала Войны за независимость США. Гарвард является желанной научной школой не только для студентов. Даже среди маститых профессоров считается большой честью сделать здесь сообщение или поработать с местными учеными над каким-нибудь совместным проектом. Не могу не похвастаться, что мне, простому смертному, тоже довелось причаститься этих научных тайн, поскольку повезло повезло познакомиться с замечательным ученым, профессором Евгением Шахновичем, который на факультете химии и химической биологии Гарварда возглавляет научное направление, связанное с изучением генома бактерий и простейших организмов. Несмотря на то что я геофизик, а он – биохимик, несколько лет назад мы начали довольно нестандартную работу по корреляции инверсий геомагнитного поля Земли и биологических катастроф на поверхности нашей планеты, смены одних живых видов другими. В 2010 году мне довелось делать доклад об этом на факультетском семинаре, который вел Шахнович, и меня поразило, что абсолютное большинство присутствующих студентов и аспирантов составляли китайцы и индусы. «А вы знаете, что такое американский университет сегодня? – с улыбкой ответил на мой недоуменный вопрос Евгений. – Это то место, где русские профессора

еврейского происхождения обучают китайских студентов».

В Бостоне живет Дина Виньковецкая, вдова моего давнего приятеля Якова Виньковецкого, с которым мы шестьдесят лет назад вместе учились в Ленинградском горном институте и занимались в литобъединении у Глеба Семенова. Яша был человеком удивительных и разносторонних талантов, хотя и во многом загадочный. По окончании Горного довольно быстро защитил кандидатскую. Писал прозу. Потом увлекся живописью и приобрел довольно широкую известность как художник-модернист и в Союзе, и за рубежом. Не случайно его работы, выставленные на нашумевшем Вечере творческой молодежи Ленинграда в Ленинградском доме писателей 30 января 1968 года, стали одним из объектов известного доноса, состряпанного В. Щербаковым, В. Смирновым и Н. Утехиным и опубликованного в середине 80-х в США Сергеем Довлатовым: «За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателей были наспех выставлены работы художника Виньковецкого, совершенно исключающие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Поллака, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Я. Гордин говорил всем братьям по духу как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств «консолидации различных искусств».

Яшины непонятные картинки вызывали неоднозначную реакцию и в нашем ЛИТО. Я вспоминаю споры между ним и искусствоведом и поэтом Львом Мочаловым, который, глядя на абстрактную Яшину живопись, говорил: «Яша, я признаю, что ты настоящий художник. Только ты нарисуй меня или вот птичку, чтобы похоже было. А потом рисуй любую абстракцию. А пока ты птичку не нарисуешь, я тебя художником не признаю». Виньковецкий при этом всячески бранил Мочалова, но птичку не рисовал.

Незадолго до своего он отъезда написал и опубликовал – как рукописное издание – небольшую книжку об устройстве Земли, которую подарил мне. Я тут же прочел ее (вернее – попытался прочесть) и почти ничего не понял. Через много лет, в 1983 году, уже защитив докторскую, также посвященную строению и эволюции оболочек Земли, я снова прочел ее и снова многого не смог понять. Когда я сказал об этом Андрею Битову, он заявил, что я напрасно пытаюсь найти в этой книге реальные научные обоснования. Она отражает скорее не геологические, а натурфилософские взгляды. Эмигрировав в Америку в 1975 году, Яков устроился на работу в крупную нефтяную фирму

«Эксон» в Хьюстоне и какое-то время вполне преуспевал. Но потом его неожиданно обвинили в растрате казенных денег. Не найдя возможности (или не желая) оправдываться, он покончил с собой. Вскоре после этого выяснилось, что он невиновен. Неожиданная его смерть всех потрясла. В 1999 году Дина показала мне изданный ею альбом его живописных работ. Теперь Яков Виньковецкий стал признанным художником, и никто уже не будет требовать от него нарисовать птичку.

Говорят, что Нью-Йорк – это не Америка, как Москва – не Россия. Но Нью-Йорк, пожалуй, единственный город, попав в который понимаешь, что Москва – тихий провинциальный городок, где нет ни шума, ни уличного движения, ни такого многолюдства, как в Нью-Йорке. Люди, которые живут в Нью-Йорке, всегда его ругают, напоминая москвичей, которые тоже зачастую недовольны российской столицей. Однако вопрос о том, чтобы переехать в какой-то другой город, даже не поднимают. Иосиф Бродский, например, поругивая Нью-Йорк, никуда уже отсюда уезжать не собирался. Всякий раз, попадая в этот огромный и шумный город, физически ощущаешь, что он является центром мировой цивилизации. Поэтому, вероятно, именно сюда и были направлены взоры исламских террористов, устроивших страшный теракт 11 сентября 2001 года.

Достаточно совсем недалеко отъехать от Нью-Йорка, посетив другие штаты, как ты соприкасаешься с иной Америкой: одноэтажной, просторной, степной, гористой. Я помню, когда я впервые попал в Нью-Йорк и вечером вышел из метро на площади Таймс-сквер, расположенной на пересечении Бродвея и Седьмой авеню, то испугавшись ослепительного света реклам, нескончаемого «траффика» – движения машин и шума вокруг, «убежал» обратно в подземку. Это была первая реакция нормального человека, впервые попавшего в крупнейший американский мегаполис. «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой» – помните эту старую песенку? Вот так и живут ньюйоркцы, в круглосуточном шуме и гаме.

Со смотровой площадки Эмпайр-стейт-билдинг хорошо виден весь этот гигантский город. Владимир Маяковский, впервые попав сюда, был так потрясен Нью-Йорком, что даже перепутал названия двух больших рек, на которых он стоит. В своем знаменитом стихотворении «Бруклинский мост» он написал: «Отсюда безработные в Гудзон с моста кидались вниз головой». Однако Бруклинский мост нависает не над Гудзоном, а над Ист-Ривер. Безработным надо было бы перескочить через весь огромный Манхэттен с его небоскребами, чтобы попасть в Гудзон, или Хадсон, как называют его ньюйоркцы.

Когда стоишь на краю Манхэттена, на набережной Ист-Ривер, и смотришь на отдыхающих стариков, играющих детей и яхты, медленно скользящие по зеркальной воде на фоне солнечного заката, трудно представить, что недалеко отсюда, буквально метров через триста-четыреста, стояли печально известные башни-близнецы Ворлд-Трейд-Центра, разрушенные 11 сентября.

Я вспоминаю, как в день теракта в Нью-Йорке с ансамблем «Песни нашего века» приземлился в Тель-Авиве. Незадолго перед этим в Москве, при обстоятельствах, которые до сих пор остаются загадочными, были взорваны дома на Каширском шоссе и улице Гурьянова, что послужило поводом для начала второй Чеченской войны. Мы приехали в Нетанию, чтобы выступить с концертом, и я обратил внимание, что обычно многолюдный город вымер, на улицах нет прохожих, все закрыто. Оказалось, что все сидели в кафе и смотрели телевизор. Взглянув на экран над головами сидящих, я увидел, что они смотрят какой-то фильм ужасов: самолет врезается в небоскреб. «До чего здорово снято!» – подумал я, у меня в мыслях не было, что это документальные кадры. На два дня в Израиле был объявлен траур и отменены все развлекательные мероприятия. Веселились только арабы в Восточном Иерусалиме, которые радостно приветствовали атаку террористов на небоскребы и запускали фейерверки. На третий день после трагедии, когда состоялся наш первый концерт в Хайфе, я написал такие стихи:

Заступись ты, Господь, за Россию,
Где на воздух взлетают дома.
Дай улечься хмельной ее силе
И добавь ей немного ума.
Укажи ей во мраке дорогу
От ее ненасытных князей,
Чтоб не жить ей, как прежде, убого,
Перепутав врагов и друзей.
Заступись за Израиль, Всевышний,
Неразумных детей возлюбя,
За него заступиться, так вышло,
Больше некому, кроме тебя.
Там кровавый припрятав гостинец,
На затылок напялив кипу,
Неприметный бредет палестинец,
Затесаться стараясь в толпу.
Заступись за Америку, Боже,
Где предсмертные стоны слышны,
Ту страну, что не знала бомбежек

Мировой отгремевшей войны.
Там высокие рушатся башни
И взрывная гуляет волна.
Мы войны ожидаем вчерашней,
Но иная сегодня война,
Где, из дома на улицу выйдя,
Прикасаешься сразу к беде,
Где безжалостен враг и не виден,
Где везде он всегда – и нигде.

Примерно через год после событий 11 сентября я снова попал в Нью-Йорк и увидел, что на месте развалин погибших небоскребов в качестве временного памятника установлены два вертикальных прожектора, два луча, упиравшиеся в закрытое черными тучами осеннее ночное небо.

Два вертикальных прожектора, памятник двум небоскребам,
Две белоснежных колонны, упершиеся в небосвод,
Два обелиска бесплотных над крышкою братского гроба
Напоминают живущим, что смутное время грядет.

Яростный крик световой обреченных на смертные муки,
Пара бессильных лучей в непроглядности вечного зла.
К небу протянуты длинные белые руки
Из-под бетонных руин и осколков стекла.

Два пограничных столба у порога грядущего века,
Два маяка у бездонной пучины на самом краю.
«Стоит ли жизнью своей дорожить, – вопрошает Сенека, —
Если отнять ее может любой, кто не ценит свою?»

Кто нас избавит от чувства гнетущего страха?
Что нам сулят времена неизвестные те?
Новый миллениум, благословляя Аллаха,
Входит в наш дом со взрывчаткою на животе.

Во многих уголках Нью-Йорка и штата Нью-Джерси существуют мемориалы в память о тех жителях своего района, которые погибли в небоскребах Ворлд-Трейд-Центра. У этих обелисков всегда лежат свежие цветы, которые возлагает муниципалитет и приносят местные жители.

Уникальным, ни на что не похожим уголком Нью-Йорка является знаменитый эмигрантский район Брайтон-Бич, заселенный по большей части выходцами из СССР. Брайтон-Бич – это не Америка, не Нью-Йорк и не Одесса, Брайтон-Бич – это Брайтон-Бич. Когда-то его населяли люди в основном с черным цветом кожи, однако с конца 70-х годов здесь активно стали селиться наши бывшие соотечественники. Брайтон-Бич образует система улиц, над которыми проходит надземка – городская рельсовая железная дорога. На Брайтоне многие говорят по-русски, хотя и довольно своеобразно. У местных жителей есть поговорка: «Мы здесь живем, в Америку – не ездим». На Брайтоне действительно можно прожить всю жизнь, не зная английского языка. Среди эмигрантов бытует такая байка: стоят два еврея и говорят на русском, по их мнению, языке. К ним на машине подъезжает американец и пытается что-то спросить. Евреи пожимают плечами, поскольку английского не знают, и незадачливый американец разочарованно уезжает. Тогда один еврей говорит другому: «Ну, вот, видишь, Сема, помог ему его английский? А говорят, надо английский учить! Не помог!»

На Брайтон-Бич время как будто бы замедлило свой бег и вернулось к персонажам Бабеля, старым одесским обывателям. Здесь полное смешение разных костюмов и стилей. Можно встретить и наших ветеранов-фронтовиков с орденскими колодками, играющих в домино, как в московском дворе. Впервые попав на Брайтон лет десять назад, я увидел удивительные картины, пришедшие словно из 30-х годов прошлого века.

Приобщится к жизни странной,
Кто задумает достичь
Той земли обетованной,
Что зовется Брайтон-Бич,
Чтобы с русскою газеткой
Кайф ловить из года в год
Под железною надземкой,
Что в Америку ведет.
Растолстевшие от водки,
Возмечтав о женихах,
В ресторане пляшут тетки
В бриллиантах и мехах.
Обжираются свирепо
В этой сказочной стране,
Где костюм эпохи НЭПа
До сих пор еще в цене.
Фаня спикает на инглиш,

Продавая всякий хлам,
Маня спикает на идиш
С украинским пополам.
Здесь торгуют чем-то вечно,
В этом сумрачном раю,
И Атлантика – как речка
У бордвока на краю.
Если вдруг посмотришь прямо
В синий берег на реке,
Может быть, Одессу-маму
Ты увидишь вдалеке.
Реквизит былого быта,
Очага былого дым,
Эта пена, что прибита
К берегам теперь иным,
Где сидит Утесов в баре —
Виски с содовой в руке,
И роман кропает Бабель
На английском языке.

На Брайтон-Бич происходят удивительные истории и случаются удивительные встречи. Я сам не однажды попадал здесь в разные забавные ситуации. Так, лет десять назад, когда я был в Нью-Йорке на гастролях, мне надо было постричься. Волос у меня тогда было чуть больше, чем сейчас, и росли они достаточно беспорядочно. Кто-то из приятелей посоветовал мне: «Слушай, зачем ты будешь выбрасывать тридцать долларов на стрижку? У нас на Брайтон-Бич живут замечательные парикмахеры из Одессы, они работают без лицензии, поэтому стригут очень дешево – четыре доллара, и тебя постригут. Вот адрес – Седьмой Брайтон, вторые ворота налево, и там спросишь». Действительно, парикмахер оказался замечательным. Однако, когда я ему вместо четырех долларов протянул пять, он брезгливо на меня посмотрел, протянул мне один доллар сдачи и сказал: «Молодой человек, когда вы, как я, переедете сюда, то вы будете давать мне пять долларов, а пока с вас хватит и четырех».

По дороге в парикмахерскую тоже произошла забавная история. Я иду на Седьмой Брайтон, нахожу вторые ворота налево и вхожу во двор. Во дворе обстановка действительно как в Одессе: висит белье на веревках и стоят две толстые еврейки, которые громко бранятся друг с другом с употреблением русской неформальной лексики и какого-то чудовищного «волапюка». Меня они видят, но свой содержательный разговор прекращать не

собираются. Я обращаюсь к ним: «Простите, пожалуйста…» Одна из них прерывает разговор: «Хая, подожди! Молодой человек, вам чего?» Я говорю: «Мне Циперовича!» – «Циперович – левый подъезд, второй этаж направо!» Я благодарю ее и направляюсь к Циперовичу. А она мне вслед кричит: «Молодой человек, подождите! Молодой человек, вернитесь!» – «Что случилось?» – спрашиваю я. «Вы с Москвы или с Питера?» – «А как вы догадались?» – «У вас жуткий акцент!»

Действительно, говорят на Брайтон-Бич нараспев, по-одесски, на странной смеси русского, украинского и идиша. Так, например, в продуктовом магазине женщина при мне спросила, есть ли нежирный кефир для ребенка, и услышала в ответ: «Мадам, не морочьте мне голову, – ребенку нужен жирный». На Брайтоне в русских магазинах можно купить все, что мило сердцу русского человека. Например, селедку пряного посола, к которой вы привыкли в России, или соленые грузди, настоящие или соленые огурцы и многое, многое другое. Здесь можно услышать такие языковые смешения, какие нигде больше не встретишь. Например, мама может сказать ребенку: «Я тебе чистым русским языком говорю, «ноу» – значит «ноу».

На Брайтоне поражает огромное число вывесок на русском языке, постоянный грохот железной надземки и грязь. По деревянной прогулочной набережной – бордвоку – с важным видом гуляют солидные дамы, одетые, несмотря на жару, в зимние шубы. В последние годы на Брайтоне начали строить новые дома, здесь стала селиться работающая молодежь – компьютерщики, врачи, юристы. Район становится более-менее престижным.

Неподалеку от Первого Брайтона долгие годы жил замечательный изобретатель Роберт Лиснянский, невостребованный ни в Советском Союзе, ни Соединенных Штатах. Он совершил настоящий переворот в технике, изобретя способ преобразования энергии торможения в двигателях внутреннего сгорания в энергию ускорения. Лиснянский умер в полной безвестности и нищете от гриппа, а буквально на следующий день ему пришло предложение от нью-йоркского муниципалитета об апробации его изобретения при производстве новых автобусов. Муниципалитет собирался выделить несколько миллионов долларов для реализации этого проекта. Жизнь Лиснянского была достаточно сложной. Как сын «врага народа» он был вынужден покинуть СССР и долгие годы жил в нищете, упорно работая над своим проектом. Разработки, оставшиеся после него, до сих пор лежат нереализованными. Ходят слухи, что его способ обращения энергии торможения в энергию ускорения

не так давно был украден то ли «Лексусом», то ли какой-то другой крупной автомобильной компанией.

Роберт Лиснянский, безвестный ученый,
В день кончины Пушкина, в феврале,
Умер в Нью-Йорке, в больнице казенной,
Не оставив плачущих на Земле.
Сын расстрелянного врага народа,
Убежавший от Родины и семьи,
Он проматывал золотые годы,
Из житейской выбившись колеи.
Постоянно меняя подруг и знакомых,
Делая все, что хотелось ему,
Не признавал он земные законы.
Возможно, именно потому
Он опроверг законы движенья,
В любви и науке не в меру ретив,
Впервые энергию торможенья
В ускорение новое обратив.
Роберт Лиснянский, изобретатель,
Ушел неожиданно, как и жил,
Жизнь свою до конца истратив
На металлом не ставшие чертежи.
Между райскими кущами и преисподней
Он завис, превращенный в холодный дым.
Кто о нем нынче сумеет вспомнить,
Кроме нескольких женщин, брошенных им?
Роберт Лиснянский, непризнанный гений,
Не увидит внуков своих, а жаль:
В них зреют его неуемные гены,
Обещая неслыханный урожай.

Расположенный рядом с Нью-Йорком штат Нью-Джерси, стоящий на правом берегу реки Хадсон, кажется тихой деревней. Когда едешь в Нью-Джерси из Бруклина, то обязательно проезжаешь по одному из самых больших и красивых мостов мира – мосту Верразано, соединяющему Бруклин со Статен-Айлендом и названному так по имени одного из капитанов – первооткрывателей этих мест. С моста Верразано открывается прекрасный вид на Нью-Йорк. В 2009 году, когда мы снимали одну из серий фильма «Атланты держат небо…», наш оператор Семен Фридлянд, попавший в Соединенные Штаты впервые, с увлечением снимал этот вид. Когда мы съехали с моста, нас остановил полицейский. Оказалось, что мост Верразано является

стратегическим объектом, и снимать на нем строго воспрещается, о чем гласит надпись при въезде, на которую мы внимания не обратили. Мы пытались сделать вид, что не понимаем английского, но, на нашу беду, полицейский оказался русским и потребовал у нас камеру. «Вы что, разве не знаете, что США находятся сейчас в состоянии войны?» – строго спросил он. «Но ведь не с евреями», – возразил я. Полисмен засмеялся и вернул оператору камеру.

Штат Нью-Джерси состоит из множества маленьких городков. Это уже одноэтажная или, по крайней мере, двухэтажная Америка, «спальные районы» Нью-Йорка. Здесь зелено, пустовато днем, когда все на работе, но тихо и спокойно, и тебя не покидает ощущение, что находишься где-то на даче, когда выбираешься сюда из каменных нью-йоркских джунглей. В одном из таких домов в тихом городке Мотаван живут мои многолетние друзья Андрей и Оксана Розены, у которых я обычно останавливаюсь, когда приезжаю в Нью-Йорк. Здесь я неоднократно встречался с моим старым другом Игорем Губерманом и другими приезжающими на гастроли в США поэтами и бардами.

Мне довелось пару раз выступать в штате Нью-Джерси в комплексе оздоровления пожилых людей, который называется «Шерри-Хилл» – «Вишневый холм». Это удивительное заведение, и таких в Америке немало. Утром по дороге на работу сюда привозят своих пожилых ближайших родственников, а вечером, после работы, забирают домой. В «Шерри-Хилл» американских пенсионеров обеспечивают медицинской помощью, выдают необходимые медикаменты. Можно только мечтать о таком социальном обеспечении для наших российских стариков. Хотелось бы надеяться, что и мы когда-нибудь до этого доживем.

Неподалеку от Нью-Джерси располагается еще один зеленый городок, который называется Фаэрлон, что на русский язык переводится как «Ясная поляна». Городок этот действительно напоминает знаменитые толстовские места в Тульской губернии, да и природа очень похожая. Здесь живут мои друзья Татьяна и Виктор Геллеры, приехавшие сюда много лет назад из Одессы.

В Америке самым неожиданным образом вспоминаются лирические истории, героини которых жили когда-то в Советском Союзе. Вспоминаю, как в 60-м году, когда я работал в моем родном Ленинграде, в Научно-исследовательском институте геологии Арктики, я весьма активно ухаживал за очень красивой девушкой, Лидой Карасиной, которая была переводчицей в нашем институте. В моем воображении она напоминала знаменитую принцессу Беренику из романа Лиона Фейхтвангера «Иудейская война». Ее походка тогда казалась мне похожей на походку,

которая, если верить Фейхтвангеру, производила неизгладимое впечатление на римского императора Тита. Я прозвал Лиду «принцесса Береника». Жила она на Малой Охте, и я на нервной почве написал лирическую песню, ей посвященную. Песня эта, переведенная на английский и иврит, стала предметом одноименного рассказа замечательной израильской писательницы Руфи Зерновой, умершей несколько лет назад. Спустя почти полвека я совершенно неожиданно встретил Лиду Карасину в Анн-Арборе. Она уже давно не Карасина, а Кунявская, у нее внуки. А старая песня про принцессу Беренику теперь связывает времена моей далекой ленинградской молодости с нынешними американскими пейзажами.

У леса не черника,
А мох растет.
Принцесса Береника
На Охте живет.
Покрыты там обочины
Быльем-травой.
Мы очень озабочены
Ее судьбой.

В двухкомнатной квартире
Живет она,
К автобусу «четыре»
Идет одна,
И каблучок резиновый —
Весь след ее,
Плывет дымок бензиновый —
И нет ее.

А путь без песен труден нам,
Как ни скрывай.
На улице полуденной
Звенит трамвай.
И я к своей указанной
Судьбе привык,
И нету в мире сказок —
И Береник.

В октябре 2009 года документальный фильм «В поисках идиша», созданный мною в соавторстве с Натальей Касперович, Семеном Фридляндом и белорусским режисером Юрием Хащеватским, на Нью-Йоркском международном независимом

фестивале кино и видео был признан «Лучшим международным фильмом» в категории «Культура». Нас пригласили для презентации этого фильма в весьма престижное место – Библиотеку Конгресса США. Презентация прошла успешно, хотя волнений нам доставила немало. С ней, кстати, связана забавная история. За день до презентации со мной встретилась русскоязычная сотрудница библиотеки, чтобы ввести меня в курс этого мероприятия. «Профессор, – сказала она мне строго (они досконально изучают биографию приглашенных гостей), – мы знаем вашу точку зрения по поводу идеи о глобальном потеплении. Поэтому должна вас предупредить: чтобы была соблюдена политическая толерантность, вы ни слова не должны говорить против Альберта Гора. Вы поняли меня?» Я ее, конечно, понял и ни слова об этом не говорил, тем более что фильм «В поисках идиша» никакого отношения к этой теме не имел. Однако после этого разговора появилась шуточная песня, которая заканчивается такими строчками:

Легковерное Земли население,
Нам глобальное грозит оглупление.
Принимаем все всерьез, что ни мелется,
А на улице мороз и метелица.

Одной из особенностей русской жизни в Соединенных Штатах явилось активное развитие здесь клубов самодеятельной песни. Многотысячная армия молодежи, которая приехала сюда за последнее десятилетие, привезла с собой любовь к авторской песне, столь популярной в России. Сейчас, пожалуй, во всех городах США, где есть русские эмигранты, существуют клубы самодеятельной песни. Каждый год в Филадельфии, Калифорнии, Орегоне, Техасе и других штатах проходят фестивали русской авторской песни, собирающие тысячи участников. КСП выполняют очень важную роль, поскольку помогают эмигрантам из стран бывшего Советского Союза сохранить русский язык, русскую культуру и любовь к родной речи. Дети эмигрантов очень быстро внедряются в англоязычную среду и впитывают в себя американскую культуру и образ жизни. Иногда более «продвинутые» дети даже стесняются своих родителей, бабушек и дедушек, которые плохо говорят по-английски. А в семьях, где любят авторскую песню и увлекаются тусовками КСП, дети не забывают русский язык и продолжают относиться к нему с уважением и любовью. Таким образом, в эмиграции авторская песня играет огромную роль в сохранении русского языка и русской культуры.

Я истины постиг элементарные,
В далеких странах побывав не раз, —
Нужней там людям песенки гитарные,
Звучат они иначе, чем у нас.
В Германии, Канаде и Израиле
Слышнее звук натянутой струны,
В местах, куда когда-то их отправили
Безумные правители страны,
Поют они о Волге и о Питере,
И дети их, отвыкшие от книг,
Вдруг начинают понимать родителей
И учат позабытый свой язык.
Покажется, что все в порядке вроде бы,
Услышав вновь гитарный этот бой,
Как будто можно и взаправду Родину
Упаковать и унести с собой.
И посреди заморского уюта
Из позабытых возвратить времен,
Надежно упихав ее в компьютер
И портативный свой магнитофон.

Калифорния – не просто штат, это отдельная страна. Не случайно на калифорнийском флаге изображен медведь гризли и написано: «California Republic». Помню, как в 1979 году на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев» я впервые попал в Сан-Франциско. Меня поразил удивительный вид этого прекрасного города, не имеющего себе равных в мире. Вечером того же дня мы с моим приятелем отметили это открытие в маленьком мексиканском ресторанчике на популярном среди туристов 32-м причале. Город этот расположен на довольно крутом склоне, и улицы тоже достаточно крутые. По одной из них ходит старинный декоративный открытый трамвай, который, так же как и огромный мост «Голден-Гейт» – «Золотые ворота», является символом Сан-Франциско.

За последние годы мне неоднократно приходилось бывать в Сан-Франциско. Помню, когда несколько лет назад я приехал сюда на выступления вместе с ансамблем «Песни нашего века», нас поселили в дешевенькую гостиницу в припортовом районе, населенном гомосексуалистами и наркоманами. Я незадолго до этого перенес довольно серьезную операцию на позвоночнике и не мог поднимать свой увесистый чемодан. Поэтому встретивший меня мой давний друг Саша Штейнберг, работавший в те поры профессором в Беркли, охотно взялся доставить его в мой номер

на втором этаже (лифта, конечно, не было). В грязноватом вестибюле нас неожиданно остановила толстая черная консьержка с серьгой в ухе, которая закричала, что двух мужчин она пускает в номер только за отдельную плату. «Как вы смеете, возмутился Саша, – я профессор». «А какая разница?» – возразила она.

Рядом с Сан-Франциско в маленьком городке Сан-Хосе много лет живет мой старый одноклассник и друг Толя Рыжиков. Каждый раз, приезжая сюда, я останавливаюсь у него в маленькой двухкомнатной квартирке на первом этаже социального дома. Живется Толе трудно. Несколько лет назад он потерял любимую жену, которая умерла от рака. Позднее неожиданно умер один из его сыновей. Борясь с одиночеством, он начал писать книгу воспоминаний и даже издал ее небольшим тиражом на свою скромную пенсию. Я начал листать ее небрежно, читая с пятого на десятое, и вдруг поймал себя на том, что не могу оторваться. Забросив все дела, я прочитал ее от корки до корки. Книга оказалась удивительно хорошей. В Анатолии Рыжикове, которого я вроде бы знал с седьмого класса, человеке, всю жизнь проработавшем инженером, никогда ничего не писавшем, вдруг на старости лет обнаружился неожиданный литературный талант. И какой!

Через несколько домов от Толи живет моя двоюродная сестра Мура, много лет назад переехавшая сюда из Москвы со своей дочерью. Она старше меня на восемь лет, однако сохранила острый ум и любознательность. Муж ее, Михаил Соломонович Хитрик, был в свое время одним из ведущих в нашей стране ученых, занимавшихся разработкой систем управления ракетами. В этом же районе живет еще один интересный человек, бывший капитан бакинского КВН Геннадий Щирин, также недавно неожиданно овдовевший. Обладая широкими знаниями и незаурядной бакинской энергией, он постоянно придумывает самые разные проекты журналов и новых постановок.

Неподалеку от Сан-Франциско, в городке Пало-Альто, располагается Стэнфордский университет, где мне пару раз довелось выступать. Именно здесь, вблизи от Сан-Франциско, находится всемирно знаменитая Силиконовая долина, ставшая символом научно-технического прогресса, в который немалый вклад внесли и российские ученые. На моих выступлениях я видел множество молодых российских физиков и программистов, успешно работающих здесь, и всякий раз мне становилось обидно за мою страну, которая не смогла обеспечить им достойных условий для жизни и работы в России. Нынешняя рекламная шумиха вокруг новомодного проекта Сколково вряд ли способна

изменить бедственное положение нашей научной молодежи.

Регулярно бывая в Пало-Альто, Бостоне, Анн-Арборе и других университетских городах США, я заметил характерную эволюцию в вывешенных на досках объявлений списках аспирантов. Около двадцати лет назад почти все имена и фамилии были английские, лет десять назад начали преобладать русские и еврейские, а в последние годы их вытеснили индийцы и китайцы. Что же касается студентов, то их состав также чрезвычайно пестрый. В 2011 году в университетском городке Ирвайн в Калифорнии должна была состояться презентация моего фильма «В поисках идиша», занявшего тогда первое место на Международном фестивале документальнго кино в Нью-Йорке. Узнав об этом, палестинские студенты заблокировали компьютер, предназначенный для демонстрации фильма, и отключили свет в зале. Презентация была сорвана.

Это, кстати, не единственная оппозиция, с которой я столкнулся в Калифорнии. В том же году на моем выступлении в Сан-Франциско, в помещении Еврейского культурного центра, в зале неожиданно поднялся какой-то шум. Оказалось, что пришла группа весьма агрессивно настроенных евреев, чтобы сорвать мое выступление. Как выяснилось, причиной этого явилось мое стихотворение «Родство по слову», в котором они усмотрели отречение от моей еврейской крови.

Неторопливо истина простая
В реке времен нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову – создает народ.

Не для того ли, смертных поражая
Непостижимой мудростью своей,
Бог Моисею передал скрижали,
Людей отъединяя от зверей?

А стае не нужны законы Бога, —
Она живет заветам вопреки.
Здесь ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх да острые клыки.

Своим происхождением, не скрою,
Горжусь и я, родителей любя,
Но если слово разойдется с кровью,
Я слово выбираю для себя.

И не отыщешь выхода иного,
Какие возраженья ни готовь, —
Родство по слову порождает слово,
Родство по крови – порождает кровь.

Ну, как тут не вспомнить четверостишие моего друга Игоря Губермана:

Неожиданным открытием убитый,
Развожу я в удивлении руками,
Ибо думал, как и все антисемиты,
Что евреи не бывают дураками.

Довелось мне неоднократно бывать и в Лос-Анджелесе, самом большом по площади городе мира, где расположена знаменитая «Фабрика грез» – Голливуд. Здесь многие годы живет мой приятель писатель Александр Половец, в прошлом владелец русской газеты «Панорама», основной русскоязычной газеты на Дальнем Западе Соединенных Штатов. Саша – президент зарубежного фонда Булата Окуджавы. В 2007 году при его активном участии в Лос-Анджелесе и Сан-Диего был организован фестиваль авторской песни памяти Окуджавы, где я был председателем жюри вместе с вдовой Булата Ольгой Владимировной Окуджавой. Вообще, русская авторская песня в Калифорнии процветает. Ежегодно проходят фестивали, собирающие сотни людей. Активной пропагандой авторской песни здесь занимаются Леонид Духовный, Григорий Котляр, Борис Гольдштейн и многие другие выходцы из Советского Союза.

В Лос-Анджелесе много лет преподает и работает известный ученый-лингвист академик Вячеслав Всеволодович Иванов, сын знаменитого советского писателя Всеволода Иванова. Кто из людей моего поколения не видел или не читал его популярную в свое время пьесу «Бронепоезд 14–69»? Сам Вячеслав Иванов (друзья зовут его «Кома») – человек энциклопедических знаний и самых разных талантов, вплоть до поэтического. Недаром его ранние стихи получили одобрение Бориса Пастернака. Нерушимый авторитет Иванова в свое время сделал его крупной общественной фигурой, недаром в 89-м году он стал депутатом Первого съезда народных депутатов.

Здесь же, в Лос-Анджелесе, живет и работает замечательный режиссер-документалист Марина Голдовская. Пару лет назад она закончила работу над документальным фильмом, посвященным Анне Политковской, ее жизни и трагической гибели.

Самый южный город Калифорнии, Сан-Диего, расположенный неподалеку от границы с Мексикой, по виду напоминает собой субтропический рай. Здесь живет знаменитый в свое время капитан одесской команды КВН Евгений Каминский. Он и сейчас активно участвует в организации и проведении всеамериканских и международных турниров Клуба веселых и находчивых. Здесь же проживает мой друг, которого я называю просто «Нолик», талантливый инженер из Киева, счастливый обладатель красавицы-жены и огромного роскошного дома с видом на калифорнийские долины, немного напоминающие израильские.

В Калифорнии замечательный климат, здесь почти круглый год стоит умеренное тепло – около 23 градусов по Цельсию. Дело в том, что вдоль калифорнийских берегов проходит холодное течение, которое уравновешивает летнюю жару. Этот полуостров, закрытый от северо-американского материка высокими Кордильерами, всегда залит солнцем и наполнен цветущими растениями. Главным бедствием в Калифорнии являются пожары, которые особенно опасны в засушливый летний период. В то же время район этот сейсмически опасный. Недалеко от берега проходит самый активный в мире тектонический разлом Сан-Андреас. Поэтому землетрясения здесь довольно частое явление. Но если можно было бы выбирать место для счастливой жизни, то, возможно, Калифорния заняла бы одно из первых мест в этом списке.

Уйдет бесследно через пару дней
Все, что пока еще как будто близко.
Мне не увидеть больше, Сан-Франциско,
Ночное зарево твоих огней.

Взмывает «Боинг» круто в облака.
Не удержать ни одного момента.
Прощай, извилистая Сакраменто,
Наивной юности моей река.

Я, улетая, оглянусь в тоске
На этот край, где не бывает снега.
Прощай, лазурный берег Сан-Диего,
Не загорать мне на твоем песке.

Ах, Калифорния, любовь моя,
Когда мы встретимся, не знаю точно,
Но благодарен я тебе за то, что
Хотя бы раз тебя увидел я.

Не позабуду о твоем тепле,
Но я суровою судьбой наказан:
Своим рождением навек привязан
К другой погоде и другой земле.

Над полосой прибойной синевы
Тускнеет солнца золотое блюдце,
И обещаю я сюда вернуться,
И знаю сам, что не вернусь, увы.

Пересекая на машине границу Соединенных Штатов и Канады, обращаешь внимание на то, что жизнь у канадцев попроще – менее нарядные дома, меньше света на шоссе, все как-то победнее. Но в то же время мало платных дорог, и социальная помощь посильнее, чем у богатого американского соседа.

Мое первое открытие Канады состоялось в апреле 1963 года, когда наш экспедиционный парусник «Крузенштерн», ходивший тогда под флагом гидрографии Военно-морского флота, после двух месяцев работы в тропических широтах Атлантики и Карибском море совершил свой первый в этом походе заход в иностранный порт. Это был Галифакс в Новой Шотландии. Изнуренные беспощадной тропической жарой, а кондиционеров на судне не было, матросы и офицеры с надеждой смотрели на открывшийся нашим глазам милый русскому сердцу пейзаж: на берегу стояли березовые рощи со снежными проплешинами лужаек. До дома, однако, было еще далеко. Я до этого за рубежом почти не был и, как и многие мои соотечественники, наивно полагал, что березы растут только в России. В последующие годы, объездив практически весь земной шар, я понял, что растут они почти везде, за исключением, пожалуй, пустынь и тропиков. Но тогда я этого знать не мог. И написал ставшую широко известной песню о Канаде с таким припевом:

Над Канадой небо сине,
Меж берез дожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Только все же не Россия.

Примерно через год канадское радио в передаче на русском языке сообщило: «Как нам стало известно, в Советском Союзе впервые написана песня о Канаде. По нашим сведениям, написал ее моряк с военного парусника «Крузенштерн». После этого по

радио прозвучал фрагмент записи этой песни. Уже значительно позднее, в 76-м году, во время 16-го рейса научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев», попав на заход в столицу Новой Зеландии Веллингтон, я услышал в гостях у новозеландского профессора Киблуайта песню на английском языке, записанную на пластинку, которая показалась мне странно знакомой. Она называлась «Заход солнца в Канаде» («Sunset in Canada») и представляла собой довольно точный английский перевод моей песни. Правда, исполняло ее женское трио под джаз так красиво, что опознать первоисточник было непросто. Труднее было с публикацией этой песни у нас. В начале 70-х главный редактор одного из толстых журналов снял ее уже из набора как «явно эмигрантскую».

Несколько лет назад на концерте в подмосковном городе Жуковском ко мне подошла женщина, в прошлом работавшая в горкоме комсомола, и рассказала, как в конце 70-х она, увлекаясь авторской песней, пела песню про Канаду на каком-то конкурсе, за что получила грозную отповедь начальства. Не успокоившись на этом, она выяснила фамилию автора и пыталась узаконить эту песню в своем репертуаре. «Не морочьте нам голову, – сказали ей в горкоме, – Городницкий – известный советский ученый, а песня написана типичным эмигрантом».

За минувшие полвека песня широко распространилась среди русской эмиграции в Канаде и пользуется там популярностью. Ежегодно неподалеку от канадской столицы Оттавы, на порожистой реке одноименного названия, проходят фестивали русской авторской песни под девизом «Над Канадой небо сине». На этих фестивалях, как правило, хором поют гимн канадских каэспэшников, написанный Михаилом Овсищером, руководителем клуба авторской песни в Торонто, где есть такие слова:

Нам всем открыл Канаду маэстро Городницкий,
И вслед за ним в Канаду мы прибыли с тобой.

На то, что «маэстро Городницкий» остался в России, никто почему-то внимания не обратил…

За последние двадцать лет почти во всех крупных городах Канады появилась довольно разветвленная сеть клубов русской авторской песни, созданная эмигрантами из бывшего Советского Союза. В Оттаве таким клубом руководят замечательные люди, организующие и концерты, и слеты. Это Алла и Яша Флаксманы, это супружеская пара Абрамовичей, Галя и Аркадий, и их многочисленные помощники.

Название Оттавы произошло от названия племени индейцев, которое обитало в этих краях в XV–XVII веках. Первые белые поселенцы появились здесь только в 1800 году, построив себе бревенчатые жилища и лесопилку. Интересно, что англоязычные канадцы произносят слово «Оттава» с ударением на первом «а», а франкоязычные из провинции Квебек – на втором. Это языковое разночтение прекрасно обыграл в одной из своих новых песен Юлий Ким.

Оттава выстроена в староанглийских традициях, ведь когда-то провинция Онтарио, административным центром которой она является, входила в состав Британской империи. Так, здание местного парламента очень напоминает лондонское Вестминстерское аббатство, то же можно сказать и о других зданиях в центре канадской столицы. Оттава – сердце страны, и, конечно, здесь расположено много мемориальных комплексов. Входя в состав Британского содружества наций, Канада принимала активное участие во всех войнах, в которых участвовала Великобритания. Канадские корабли во время Второй Мировой войны в составе знаменитых Полярных конвоев снабжали Советский Союз танками, самолетами, стратегическим сырьем. Немало канадских моряков погибло. Я сам убедился в этом, когда в 2003 году мне довелось принимать участие в мемориальном рейсе на военном гидрографическом судне «Сенеж» в Баренцево море вместе с канадскими военными и торговыми моряками – ветеранами конвоев в СССР.

На смотровой площадке, в здании парламента, хранится огромная книга, страницы которой переворачивают специальные охранники. В эту книгу вписаны имена всех канадцев, которые когда-либо погибали в войнах, начиная от знаменитой Англо-бурской войны 1899–1902 годов и заканчивая войнами новейшей истории в Ираке и Афганистане. Здесь же установлен памятник полицейским, которые погибли, как говорят у нас, в «горячих точках» и при наведении порядка. Когда входишь в здание Канадского парламента, то проникаешься духом традиций Старой Англии и новой Канады, свободной страны, которая уважает память людей, отдавших жизнь за ее свободу.

Самый большой город Канады – Торонто похож и не похож на американские города. Стоит он на берегу одного из Великих американских озер – озера Онтарио, и особенно красив вертикальными линиями своего делового центра – даунтауна, расположенного над ширью озера. Торонто, растет как на дрожжах, и очень напоминает Нью-Йорк и Москву, поскольку, что в нем ни построй, все через год приживется и станет элементом его эклектического стиля.

Всякий раз, попадая в Торонто, я стараюсь снова посмотреть на одно из главных чудес света – Ниагарский водопад. Он находится совсем недалеко отсюда, на границе Канады и Соединенных Штатов. Когда стоишь на его набережной, то слева от тебя оказывается американская часть водопада, не самая большая, а справа грохочет главная – канадская часть. Каждый раз к Ниагаре меня возит на своем «вэне» моя бывшая аспирантка Аня Пантелеева, которая уже более десяти лет живет и работает в Канаде. Она нашла здесь новых друзей, и вся ее семья теперь живет с ней вместе. Помню, несколько лет назад я приезжал сюда с ансамблем «Песни нашего века», и она возила нас вместе с тогда еще живым Виктором Берковским из Торонто в Оттаву и Монреаль. Виктор, заядлый автомобилист и профессиональный преподаватель, в дороге начал ей делать замечания по поводу вождения. Она долго терпела, а потом сказала с ангельской улыбкой: «Виктор Семенович! Вообще-то я подданная британской королевы».

Монреаль – второй по величине город Канады и один из самых красивых городов мира. В этом городе удивительным образом сочетаются старинные здания, выстроенные во французском стиле, очень напоминающие архитектуру Парижа, с современными билдингами и даунтауном, сооруженным в американском стиле. В Монреале, как и во всей Канаде, два государственных языка – английский и французский. Французский стиль в архитектуре этого города дает удивительную мягкость и неповторимость всему его облику.

В Монреале живет один из самых интересных современных поэтов русского зарубежья Бахыт Кенжеев. Мы с ним регулярно общаемся, когда я попадаю в Монреаль. Помню, в первый мой приезд на следующий день после моего концерта я надеялся поехать смотреть на красоты Монреаля, но наутро ко мне заявился Бахыт с ящиком пива и предложил послушать его стихи, так что Монреаля я в тот раз не увидел. Пару лет назад мы с ним заранее договорились о встрече, он даже специально собственноручно приготовил настоящую азиатскую шурпу. Когда я нашел его квартиру и позвонил в дверь, Бахыт выскочил мне навстречу и захлопнул за собой входную дверь. Выяснилось, что ключа у него нет. Недолго думая, он предложил выбить дверь, тем более что на плите стояла кипящая шурпа, а на столе – водка. Небольшое это приключение не омрачило нашей встречи и даже придало ей некоторую экзотичность. Пили водку, закусывая польскими огурчиками из русского магазина и подоспевшей шурпой.

Говорили, как всегда, бессвязно обо всем, но все время

возвращались к поэзии. Бахыт поведал мне смешную историю. Когда в советские времена у него дома гэбэшники проводили обыск, то один из них в поисках запрещенной литературы влез под диван, вылез оттуда весь в пыли и, чихая, сказал недовольно: «Что же вы дома не убираете?» В Монреале Бахыт живет в дешевой квартирке в многоэтажном доме с коридорной системой в не очень богатой части города. Жизнь здесь, однако, какая-то очень достойная и приятная.

Бахыт прочитал мне свое новое стихотворение, посвященное его другу прозаику Петру Образцову. До меня он много раз читал эти стихи в самых разных аудиториях и однажды решил спросить, знает ли кто-то из молодого поколения его слушателей значение слова «повторник». Оказалось, что никто не знает. Бахыт был вынужден объяснить. Повторник – это человек, который в сталинском ГУЛАГе сидел по политической статье и, когда кончался срок его заключения, автоматически получал следующий. Фактически это означало смерть в лагере.

Значит, и ты повторник. Твой воздух едок, как фтор,
и одинок, словно в Дрездене, в сорок третьем году, инженер-еврей.
Ключик к хорошей прозе едва ли не в том,
чтобы она была не меньше насыщена, чем хорей
или, допустим, дактиль. Сгущенная во сто крат,
жизнь не выносит пошлости. Вот тебе оборот:
с бодуна пробормочешь невесть почему: Сократ,
и вспоминаешь: цикута, бедность, старый урод.
Между тем он умел взмахнуть галерным веслом,
отведав брынзы и лука, рыгнуть, и на даль олимпийских гор
направлять свой лукавый взгляд под таким углом,
чтобы пот превращался в кровь, а слеза – в кагор.
Растворятся во времени бакелит, КВН, совнархоз, люминал.
Даже сотням и тысячам неисправимых строк —
шестерить муравьями в чистилище, где и нам
в лебеде и бурьяне, в беззвездных сумерках коротать свой срок.
А как примешь известно чего, как забудешь про все дела —
вдруг становится ясно, что вечный сон – это трын-трава.
Ключик к хорошей прозе, мой друг, – чтобы она плыла
от Стамбула под парусами, курсом на греческие острова.

После встреч с Наумом Коржавиным, Бахытом Кенжеевым и другими русскими поэтам зарубежья, даже востребованным в сегодняшней России остается странное чувство грусти и сочувствия к ним, которое не зависит от их успешности. Я много раз погружался в океане на подводных обитаемых аппаратах, где запасы кислорода ограниченны – около тридцати часов, и на своей шкуре испытал, что такое недостаток воздуха. Что-то похожее происходит и с русским языком за рубежом. Живя в России, мы не задумываемся об этом, как не замечаем воздуха, которым дышим.

Себя не ощущаешь лишним,
Покуда дан тебе, незрим,
Язык, которым все мы дышим
И на котором говорим,
В краю, где никогда не сгинет
Знакомых слов водоворот.
Поэт, освоивший чужбину,
Живет как раз наоборот.
Поэт, освоивший чужбину,
Живет как раз наоборот.
Он как ныряльщик, что в глубины
Несет с собою кислород.
Над Потомаком или Роной
Он не вернет уже из книг
Московский мусорный соленый,
Чуть матом сдобренный язык.
Там, где далек и ненадежен
Курантов сумеречный бой,
Он говорить все время должен
С самим собой, с самим собой,
Чтоб думать, как и встарь, привычно,
На нем во сне и наяву.
В потоке слов иноязычных
Держаться трудно на плаву.
Как для куряки папироска,
Как пайка хлеба для зэка,
Непозволительная роскошь
Глоток родного языка.

Несколько раз мне довелось пересечь Канаду, как и Соединенные Штаты, с востока на запад. Я дышал чистым морозным воздухом заметенного снегами Виннипега, города, где появился знаменитый любимец детей всего мира медвежонок

Винни-Пух, названный его создателем Аланом Милном в честь этого города. Я любовался Скалистыми горами в Калгари, городе геологов, где в музее можно увидеть уникальное собрание скелетов древних ящеров. Я прогуливался по тихоокеанской набережной сказочного города Ванкувера, названного так по имени британского капитана – первооткрывателя этих земель, и лакомился в рыбном порту свежайшими суши. Я проезжал в октябре через густые кленовые леса, пылающие багрянцем осени, и понял, почему на флаге этой страны изображен красный кленовый лист. Я побывал на живописном острове Ванкувер в океанологическом институте, где встречался с моими коллегами, изучающими тайны Мирового океана.

Все это оставило впечатление устремленной вперед страны, у которой тоже наверняка немало своих проблем, но главное не в этом, а в том почти физическом чувстве доброжелательства и безопасности, которое ощущает каждый приехавший сюда.

Над Канадой, над Канадой
Солнце низкое садится.
Мне уснуть давно бы надо, —
Отчего же мне не спится?
Над Канадой небо сине,
Меж берез дожди косые…
Хоть похоже на Россию,
Только все же – не Россия.

Нам усталость шепчет: «Грейся», —
И любовь заводит шашни.
Дразнит нас снежок апрельский,
Манит нас уют домашний.
Мне снежок – как не весенний,
Дом чужой – не новоселье:
Хоть похоже на веселье,
Только все же – не веселье.

У тебя сегодня слякоть,
В лужах солнечные пятна.
Не спеши любовь оплакать,
Подожди меня обратно.
Над Канадой небо сине,
Меж берез дожди косые…
Хоть похоже на Россию,
Только все же – не Россия!

Кенгуру под дождем

Непогоду поутру переждем,
В буше мокнут кенгуру под дождем,
Не осталось от жары и следа,
Над Австралией стоят холода.
И не скачут, как вчера, кенгуру,
Застывая на холодном ветру,
А лежат они на мокрой траве,
Прислонившись голова к голове.

Я с ладони накормлю кенгуру,
Крупных зерен для него соберу,
Неслучаен он на гербе страны,
Что встает из океанской волны.
Потому что, как и этот народ,
Может двигаться он только вперед,
Не дрожа перед любой из преград,
Никогда не отступая назад.

Дует ветер с Антарктиды – беда,
Над Австралией стоят холода.
Нам не видеться с тобой, кенгуру,
Я на севере далеком умру,
В несвободе, холодах и снегу, —
Жить иначе я уже не смогу.
Вот и все мои на свете дела,
Ну а ты еще дождешься тепла.

У каждого человека, а иногда и у целых народов, существует мечта о земле обетованной, где все можно начать с «с белого листа», а горечь обид и собственные ошибки оставить далеко позади. Так, русские крепостные бежали на Дон, а Эрик Рыжий, как утверждает легенда, успев замочить кого-то у себя на родине в Исландии, спасаясь от судебных преследований, пошел на ветхом суденышке на Запад и открыл северо-американский континент. Многие века воображение людей занимали образы Шамбалы и других мифических стран. Атлантида, не та Атлантида, которую я искал на вершине глубоководной горы Ампер, а Атлантида – изотерическая, до сих пор представляется многим образцом идеального человеческого общества. Австралия, пятый континент планеты, на сегодняшний день, пожалуй,

единственное место на Земле, которое может стать таким белым листом.

Я открыл для себя эту далекую страну в 1974 году, когда в составе экспедиции на научно-исследовательском судне «Дмитрий Менделеев» мы посетили Сидней, для того чтобы принять участие в международном конгрессе по океанологии. Тогда я, конечно, не мог представить, что мне когда-нибудь посчастливится еще раз ступить ногой на этот материк. Однако судьба распорядилась иначе. В следующий раз я побывал здесь в 2002 году, когда приезжал с концертами в Мельбурн и Сидней по приглашению клуба русской авторской песни «Южный Крест». В третий и, если учесть мой возраст, вероятно, последний раз я посетил Австралию в 2009-м, когда снимался фильм «Атланты держат небо…». Всякий раз, попадая на пятый континент, я восхищаюсь двумя вещами: во-первых, удивительной и неповторимой природой Австралии и, во-вторых, теми огромными скачками вперед, которыми в современном неспокойном мире движется эта страна, всегда устремленная в будущее.

Последний мой прилет в Австралию состоялся в августе, когда стояла дождливая зимняя погода, а с берегов недалекой Антарктиды дул пронзительно-холодный южный ветер. В обезлюдевших в ненастную погоду парках и заповедниках, сбившись в кучки, уныло хохлились промокшие кенгуру. В местных ресторанах жареная кенгурятина обычно входит в состав меню, но есть ее для многих, в том числе и для меня, невозможно, как невозможно, например, есть человечину. Не знаю, верно ли то, что люди произошли от обезьяны, признаться, в последние годы я в этом очень сомневаюсь, но мне кажется, что человеческим прапрадедом мог бы быть кенгуру. Это удивительное животное обладает многими человеческими качествами, и, наверное, не случайно на гербе Австралии изображено именно оно. Не стервятник или орел, не хищник, как на гербах многих стран мира, а это доброе и умное животное, которое никого не убивает, но и ни при каких обстоятельствах не движется назад – всегда прыгая только вперед.

В 1974 году нам повезло обойти на судне все австралийское побережье. Мы были в Сиднее, Аделаиде, Мельбурне, Хобарте, Фримантле и Перте. Тогда пятый континент был полностью осмотрен мною с моря, но я не смог побывать внутри Австралийского материка. Вспоминаю встречи с австралийскими учеными в Университете Виктория. В то время, почти сорок лет назад, я только начинал всерьез заниматься изучением магнитного поля Мирового океана, и мне было очень приятно,

когда в 2009 году многие из них пришли на мою лекцию, которую я читал в Сиднее.

Побережье в районе Сиднея еще в 74-м поразило меня своей красотой. Конечно же, смотреть на него нужно не только с моря, но и сверху – с самолета или вертолета, потому что вся бухта со стороны Тихого океана, и Харбор-Бридж, и Сидней потрясающе красивы. Представьте себе огромное количество разветвленных и соединяющихся между собой маленьких заливов, защищенных от воздействия штормового ветра. Здесь сходятся вместе воды двух океанов – Индийского и Тихого, южная часть которого, Тасманово море, получила свое название от имени великого голландского мореплавателя Абеля Янсзона Тасмана, в середине XVII века впервые подошедшего к западному побережью Австралии и открывшего для европейцев этот континент.

Первыми людьми, появившимся в Австралии, по всей видимости, были аборигены, которые представляли собой какую-то иную расу, непохожую на аборигенов в других частях планеты. Не случайно, что увидевший их Джеймс Кук поначалу вообще не принял их за людей. Здесь столкнулись представители двух разных тысячелетий, ведь, по мнению современных исследователей, аборигены Австралии в своем развитии отставали от других населявших Землю народов примерно на полторы-две тысячи лет. С приходом на пятый континент европейских колонизаторов началось их беспощадное истребление, продолжавшееся почти два века. Если в XVIII веке численность аборигенов составляла семьсот тысяч человек, то к 1921 году коренных австралийцев осталось лишь шестьдесят тысяч. В новом тысячелетии история взаимоотношений белых людей с коренными жителями все еще остается сложной, хотя потомки аборигенов и получают «вэлфер» – льготы, так же как индейцы в Соединенных Штатах и Канаде, но от этой «халявной» государственной помощи, наоборот, быстрее деградируют и вымирают.

Именно с капитана, а в то время еще лейтенанта, Джеймса Кука начинается история британской Австралии. Впервые Кук прибыл сюда в 1770 году, а всего через девять лет он был убит аборигенами Гавайских островов и, как известно, съеден ими. Через сто лет после гибели Кука правительство штата Новый Южный Уэльс решило поставить ему памятник в Сиднее. У этого памятника была достаточно интересная судьба. В 1908 году какой-то большой поклонник Кука похитил его. Как ему это удалось, до сих пор остается загадкой. Памятник пришлось устанавливать заново, однако и на этом его приключения не закончились. Один дотошный историк обратил внимание, что

форма на капитане Куке не британская, а итальянская. Выяснилось, что мэр Сиднея в целях экономии средств, вместо того чтобы заказать отливку нового монумента, приобрел по сходной цене статую какого-то итальянского полководца и распорядился заменить ему голову. Так итальянец стал великим британским мореплавателем.

В самом центре Сиднея, в гавани, расположен замечательный морской музей, где можно увидеть самые разные корабли: от современных военных или исторических времен Первой и Второй Мировых войн до судна, на котором в конце XVIII столетия Джеймс Кук приблизился к берегам Австралии. Интересно, что после того, как Кук объявил Австралию частью Великобритании, правительство Ее Величества совершенно не стремилось осваивать эти далекие территории. Из докладов Кука ясно следовало, что австралийские земли скудны и неплодородны, и британцев, занимающихся в основном сельским хозяйством, пятый континент поначалу привлекал мало. Обернуть свой взор в сторону Австралии англичан заставили Соединенные Штаты, объявившие о своей независимости 4 июля 1776 года. Для Британии это означало, что теперь нельзя было высылать туда преступников. До этого англичане довольно долгое время избавлялась от криминальных элементов, ссылая их на северо-американский континет. Теперь ситуация изменилась, а в английских тюрьмах содержалось около ста тысяч человек. Вот тут британские власти и вспомнили про земли открытые Джеймсом Куком.

В 1787 году от берегов Туманного Альбиона отошли первые одиннадцать кораблей, направлявшихся в Австралию. Руководителем плавания стал капитан Артур Филипп, еще в Великобритании удостоенный титула первого австралийского губернатора. Через восемь месяцев его корабли бросили якорь в бухте Ботани-Бей. Однако неожиданным образом в соседней бухте обнаружились два судна под враждебным британцам флагом Франции. Это была экспедиция великого Жана-Франсуа Лаперуза на судах «Астролябия» и «Буссоль». Английские каторжники предприняли отчаянную попытку сбежать на французские корабли, чтобы избавиться от верной, как они полагали, смерти на неизведанной земле. Но Лаперуз никого из них на борт не взял, и «Буссоль» с «Астролябией» ушли в море, чтобы бесследно сгинуть на просторах Тихого океана. В последний раз корабли экспедиции Лаперуза видели именно у берегов Австралии.

Сейчас австралийцы – одна из самых цивилизованных наций на нашей планете. Когда смотришь на благоустроенный и сверкающий небоскребами Сидней, то кажется удивительным, что

всего несколько веков назад история этой страны начиналась с преступников и проституток из Старой Англии, которых сюда отправляли насильно. Особым почетом в современной Австралии пользуются потомки каторжан, прибывших на пятый континент с Артуром Филиппом. Они принадлежат к местной элите, считаются самыми родовитыми жителями страны и с гордостью рассказывают о том, что их прапрапрабабушка была известной проституткой, а прапрапрадедушка – свирепым бандитом. Во многих респектабельных домах Сиднея и других городов Австралии как главную семейную реликвию бережно хранят кандалы прапрадедушки, которые являются предметом гордости владельцев и большой зависти соседей. Кратко эти сантименты выражены в местном лозунге: «Горжусь кровью каторжанина!»

Разные люди попадали на пятый континент по самым разным причинам. Так, одним из первых русских, который оказался в Австралии, был беглый матрос. В конце XVIII века в Англии он покинул военный корабль Российского Императорского флота, сошелся с местной девушкой и, решив сделать ей подарок на Рождество, разбил витрину какого-то «ботл-шопа», после чего был повязан, судим и приговорен к каторжным работам. Что касается других эмигрантов, то есть совершенно удивительные судьбы. Например, судьба Билла Нортиса, немецкого моряка, который в 30-е годы не захотел служить нацистам и довольно сложным путем эмигрировал в Австралию. Он умер в Сиднее и оставил после себя удивительно интересный киноархив, который до сих пор еще по-настоящему не разобран.

Сидней – самый большой город пятого континента, жемчужина Южного полушария, неповторимый по своей архитектуре и природным ландшафтам. В течение длительного времени между Сиднеем и Мельбурном шел спор о том, кто из этих крупнейших мегаполисов должен стать столицей Австралии. Спор этот, однако, так и не был разрешен, и столицей стала Канберра, расположенная между Сиднеем и Мельбурном.

Поскольку история Австралии – это прежде всего история морских географических открытий, то в Сиднее поставлены памятники не только Куку, но и другим известным мореплавателям. На одной из центральных улиц стоит памятник уже упомянутому Артуру Филиппу, который впервые перевез на пятый континент поселенцев из Британии и отдал немало сил для того, чтобы европейцы закрепились на этих берегах на многие столетия.

По улицам вечернего Сиднея
Река машин струится, и над нею

Огни реклам разбрызгивают свет,
И я любуюсь, человек прохожий,
На рыжеватых женщин с бледной кожей,
На ноги их, которым равных нет.
Кинотеатры, клубы, кегельбаны,
Призывно бьют буддисты в барабаны,
Стараясь души слабые увлечь,
Мясные лавки, праздник для утробы,
Металлом стен мерцают небоскребы,
Внезапен звук, разноязыка речь.
Играют в гольф на стриженых площадках,
Катаются на маленьких лошадках;
Раскинув необъятные поля,
Меж городов, не знавших затемнений,
Лежит, как в кружевах, в прибойной пене
Спокойная и сытая земля.
Вдали от континентов беспокойных,
Горящих в революциях и войнах,
От тонущих и рушащихся стран,
Под парусами гор, одетых снегом,
Она зеленым Ноевым ковчегом
Плывет из океана в океан.
Как будто вовсе нет войны на свете,
Нарядны парки и нарядны дети.
Найдешь здесь все, чего бы ни спросил,
Как далеко от звезд чужого неба
До мерзлой пайки карточного хлеба,
До пискаревских горестных могил.
Австралия, тепла и мира остров,
Среди твоей толпы, цветной и пестрой,
Не отыщу того, кого люблю,
Я – космонавт, туманами одета,
Покинутая ждет меня планета,
И время возвращаться к кораблю.

Неподалеку от памятника Артуру Филиппу стоит памятник капитану Мэтью Флиндерсу, который двадцатидвухлетним молодым человеком начал обследование Австралии и составил карты австралийского побережья. Интересно, что памятник поставили не только доблестному капитану, но и его любимому коту. Надо сказать, что кошки сыграли крайне отрицательную роль в истории Австралии. Когда их завезли сюда, то врагов среди местного животного мира у них практически не было.

Кошки ловко лазили по деревьям, быстро размножались и стали уничтожать эндемичных птиц, которых на сегодняшний день почти не осталось. Дело дошло до того, что кошек стали специально отлавливать и убивать, с большим трудом избавившись от этого бича животного и растительного мира пятого континента. Таким же опасным врагом эндемичной природы являлись кролики, тоже завезенные в Австралию европейцами. Эти симпатичные пушистые создания начали пожирать все зеленые растения вокруг себя и размножаться с огромной скоростью.

Свои проблемы есть в Австралии и сейчас. Одна из главных – опустошительные лесные пожары, особенно опасные в период летней засухи. С грозной огнедышащей стихией мы столкнулись и в России жарким летом 2010 года. За год до этого я побывал в маленьком городке Мэрисвилл на месте трагедии, разыгравшейся в Австралии 7 февраля 2009-го. Эта дата навсегда вошла в австралийскую историю под названием «Черной субботы». Леса в Австралии горели и раньше, но пожаров такого масштаба никогда прежде не было. Уничтоженными оказались огромные лесные массивы и множество поселений. Погибло много людей, поскольку температура воздуха в районе пожара достигала нескольких сотен градусов, а скорость перемещения огня превышала скорость автомобиля. Некоторые местные жители, пытавшиеся спастись на своих машинах, сгорели заживо. Вдоль дороги, ведущей в Мэрисвилл, до сих пор можно увидеть обгоревшие остовы автомобилей. Хотя раны на эвкалиптах заживают быстрее, чем раны в людских сердцах – обожженные деревья уже на следующий год покрываются зеленью, сейчас выгоревший на восемьдесят процентов Мэрисвилл восстанавливается, а его жители возвращаются на родные пепелища.

Если Сидней деловая столица Австралии, то Мельбурн – культурная столица страны, город, который можно сравнить с нашим Питером. При населении около трех миллионов человек, это один из самых первых городов, возникших на пятом континенте. В его деловом центре возвышается трехсотметровая «Башня Эврика», которая является одним из самых высоких небоскребов в Южном полушарии. В Мельбурне много театров, концертных и выставочных залов. Город живет богатейшей и разнообразной культурной жизнью, а уровень культурной жизни в Австралии ничуть не ниже европейского и американского. Не так давно в Мельбурне реконструировали бывшие доки и причалы, превратив их в современный культурно-развлекательный комплекс.

Австралия – единственная страна в мире, занимающая целый материк. Материк, достаточно далеко отстоящий и от Европы, и от Азии, от всех мировых проблем и страстей, и, прежде всего, от вооруженных конфликтов. Однако сама Австралия принимала активное участие и в обеих мировых, и в других войнах, в которых сражались страны Британского Содружества наций, ООН и США. В Австралии силен культ воинов, погибших за ее свободу и независимость. В 1934 году в Мельбурне было завершено строительство Мемориала австралийцам, павшим на полях Первой Мировой войны. В горниле этой кровопролитной войны, которую современники называли Великой, австралийцы понесли значительные потери. Наиболее существенные из них пришлись на Турецкий фронт, где один из мысов около Галлиполи назван в честь Австралийского и Новозеландского армейского корпуса. Именно там англичане, которые всегда старались вместо себя подставлять под вражеские пули своих союзников, бросили австралийские войска на хорошо укрепленную оборону турок. Кстати, как выяснили историки, в рядах Австралийского и Новозеландского армейского корпуса сражалось не менее тысячи русских, значительная часть из которых погибла.

Если вам доведется побывать в Мельбурне, то обязательно обратите внимание на архитектуру этого мемориала. Здесь и египетская пирамида, и колонна дорического ордера, напоминающая о сражении на территории Греции, и римские барельефы, и другие аллегорические изображения. Каждый год в мемориале, в день и час заключения Компьенского мирного соглашения в 1918 году – 11 ноября в одиннадцать часов утра, проводится церемония на могиле австралийского Неизвестного солдата. Луч солнца ровно в одиннадцать часов падает на его гробницу, и звучат сигналы труб. Трубачи трубят сначала побудку, а затем – отбой. Таким образом, погибшие солдаты как бы просыпаются в наше время и снова уходят на свой вечный пост. Нам, жителям страны, переживший самую страшную войну в истории человечества, можно только позавидовать Австралии, на территорию которой никогда не ступал враг.

Солдат сутулится устало,
Надвинув каску до бровей.
Австралия не воевала
На территории своей.
Чужой туман, чужие топи.
В чужой земле погребены,
По Азии и по Европе

Рассеяны ее сыны.
В чужой песок, в чужую воду,
Они навеки полегли,
Чтоб защитить свою свободу
Вдали от собственной земли.
Чтобы могилы чужеземцев
За все минувшие года, —
Японцев, русских или немцев,
Здесь не возникли никогда.
Солдат сутулится устало
В зеленом лиственном дыму,
И я стою у пьедестала
С невольной завистью к нему.

Австралийские войска принимали активное участие в Крымской войне 1853–1856 годов и осаде Севастополя. В Мельбурне об этой странице истории Австралии напоминает целый ряд названий улиц: есть улица Инкерман, есть улица Альма, названная в честь небольшой речушки в Крыму, на которой развернулось кровопролитное сражение, и другие. Перед зданием мельбурнского городского музея установлена трофейная русская пушка. На ее стволе отчетливо видны русские клейма, а если посмотреть на ствол сверху, то можно увидеть двуглавого императорского орла.

С Австралией тесно связана судьба старой и своеобразной русской эмиграции, так называемых «харбинских русских». Дело в том, что в Китае, в Харбине, долгие десятилетия формировалась эмиграция, составившаяся из разных поколений русских людей. Начался этот процесс с постройки в Маньчжурии в начале XX века Китайско-Восточной железной дороги. После Гражданской войны к ней прибавилась многочисленная эмиграция, ушедшая вместе с атаманом Семеновым в Китай, с бароном Унгерном – в Монголию и затем в Китай или другими путями попавшая в Харбин. Эта эммиграция образовала удивительный анклав русской культуры, русской литературы и русского общества в Харбине и Маньчжурии, который просуществовал четверть века. Когда завершилась Вторая мировая и в 1945 году советские войска заняли Маньчжурию, харбинским русским пришлось двигаться дальше. Значительная их часть осела на Западном побережье США, в основном в Сан-Франциско, но большинство эмигрировали в Австралию.

На пятый материк эмигранты из России принесли с собой православную веру, русскую литературу, обычаи и нравы, не

испорченные годами Советской власти, которая последовательно занималась улучшением грамматики и уничтожением религии. В Мельбурне на пожертвования сейчас возводится храм Покрова Пресвятой Богородицы. Строят его уже не дети, а внуки и правнуки того поколения харбинских русских, которое в середине прошлого века эмигрировало на пятый континент. Они бережно сохранили традиции своих отцов и дедов, их прекрасный и точный литературный русский язык. В отличие от новой эмиграции, где дети стараются быстрее раствориться в англоязычной среде, для того чтобы сделать карьеру, и родители не всегда им в этом препятствуют, представители старой эмиграции очень крепко держатся за традиции русской культуры и Русской православной церкви.

Не смотреть на московские клены вам,
Вдоль Оки не пройти бережком,
Тем, что шли с атаманом Семеновым,
Или Унгерном и Колчаком.
Пролетарии семечки лузгают,
Нет побед на гражданской войне.
Остаются вчерашние русские
На китайской земле в Харбине.

Их потомки, живя за границею,
Сторонясь новомодных затей,
Сберегали былые традиции
И упрямо крестили детей.
Для лишенных с рождения родины
Только русское слово в цене.
Вот и все, что осталось им вроде бы
На китайской земле в Харбине.

Никогда им в России не жить уже,
Но из глуби далеких времен,
Как над городом сказочным Китежем,
Колокольный мне слышится звон.
Не отыскан сердец этих клад еще,
Что остался в чужой стороне,
Под крестами забытого кладбища
На китайской земле в Харбине.

В Мельбурне существует созданный харбинскими эмигрантами Русский дом, в котором моим гидом был постоянный член Всемирного координационного совета

российских соотечественников Александр Александрович Ильин. В Австралии он живет уже более пятидесяти лет, переехав сюда из Харбина вместе с мамой и бабушкой в 1959 году. В составе австралийских экспедиционных сил Александр Александрович воевал полевым радистом во Вьетнаме, где чудом выжил, ведь на современном поле боя радист является одной из главных целей для противника.

На сегодняшний день в австралийском штате Виктория насчитывается более шестидесяти тысяч человек, говорящих по-русски, а тех, кто относит себя к этническим русским, – шестнадцать с половиной тысяч человек. Русский дом, задуманный как культурно-просветительский центр, был основан в 1964 году на собранные «всем миром» деньги русской общины. Сейчас этот дом функционирует главным образом как центр, где собирается русскоязычная молодежь. Здесь репетируют три танцевальных ансамбля. До недавнего времени были даже струнный оркестр «Садко» и литературно-театральный кружок имени писателя Владимира Солоухина. Российское посольство в Австралии активно помогает своим бывшим соотечественникам как финансово, так и морально, привозя в дар русской общине школьные учебники на родном языке.

Александр Ильин отвез меня к могиле первого российского посла в Австралии Алексея Дмитриевича Путяты, который был отправлен на пятый континент Александром III в 1894 году, незадолго до его кончины и воцарения Николая II. С этого момента можно вести отсчет истории дипломатических отношений между Россией и Австралией. Путята – потомок одного из древнейших русских родов, история которого восходит к временам Крещения Руси. В «Повести временных лет» записано, что князь Владимир, вначале окрестив киевлян, велел послать священнослужителей для крещения в Новгород. Новгородцы, однако, отнюдь не жаждали принимать Христову веру и взбунтовались. Эту смуту подавлял предок первого русского посла на пятом континенте – воевода Путята. Сам Алексей Дмитриевич скончался в Австралии от водянки, его потомки погибли в огне Гражданской войны, и из этого древнего рода сейчас, к сожалению, почти никого не осталось.

В крупнейших городах Австралии – Мельбурне и Сиднее, существуют клубы самодеятельной песни. В Мельбурне клубом «Южный Крест» руководит Юрий Розман, а в Сиднее его лидером является Михаил Канторович, который по совместительству возглавляет и местный Клуб веселых и находчивых. Движение КВН, которое было создано в Советском Союзе полвека назад усилиями трех его основоположников – Альберта Аксельрода,

Сергея Муратова и Михаила Яковлева, – сейчас очень популярно в русском зарубежье. Клубы веселых и находчивых, кроме Австралии, есть в Европе, Соединенных Штатах, Израиле.

Примерно в середине XIX века в Австралии были открыты месторождения золота, и началась настоящая золотая лихорадка, примерно такая же, как на Аляске, которую захватывающе описал Джек Лондон. В Австралию хлынули любители легкой добычи из Старой Англии, и очень быстро начались разработки золотоносных приисков. Так, в ста километрах от Мельбурна возник город золотоискателей Балларт. Сейчас он стал музеем и бережно сохраняется в том виде, в каком существовал в XIX веке. Золота теперь здесь, конечно, не найдешь, но любому желающему за небольшую плату выдают маленькую драгу, и он может намывать шлих в бывших когда-то золотоносными ручьях. Специально для туристов в такие ручьи подбрасывают блестки, и создается полное впечатление, что вы действительно наткнулись на золотую жилу. Многие посетители Балларта, и в особенности дети, с увлечением намывают свои собственные «золотые» запасы. В местных туристических магазинчиках можно купить кирку для добычи золота и пистолет, естественно игрушечный, для охраны добытого «богатства». В Балларте сразу же вспоминаются любимые с детства рассказы Джека Лондона:

Поселок, картинка из книжки,
Над золотоносной рекой.
Какие мечты у мальчишки? —
Собачья упряжка и кольт.
Любовь – победившим награда,
Сумевшим с пути не свернуть,
А золота вовсе не надо,
Поскольку не в золоте суть.
Угар золотой лихорадки,
Джек-лондоновских страстей,
Морочил отравою сладкой
Худых ленинградских детей.
Как будто и впрямь на каноэ,
От школьных забот вдалеке,
Плывешь неизвестной рекою,
Сжимая весло в кулаке.
Гремящей воды канонада,
Азарт, разрывающий грудь,
А золота вовсе не надо,
Поскольку не в золоте суть.

Удивительные вещи можно узнать, если пройти по улицам Балларта пешком или прокатиться по ним в старинном экипаже. Например, прочитать объявление о том, что «скоростной пароход может доставить вас из Ливерпуля сюда всего за полтора месяца», или послушать «последние новости», напечатанные в газетах «Таймс» и «Нью-таймс» где-то в середине XIX века. Так, одна из газет за 1856 год извещает своих читателей о том, что победоносные англо-французские войска овладели русским городом-крепостью Севастополь.

Одна из главных достопримечательностей австралийского штата Новый Южный Уэльс – внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняющиеся государством Голубые горы. Это удивительное формирование палеозойских красноцветных песчаников, переслаивающихся с каменным углем. Горный хребет рассечен огромной долиной Джемисон, которая сформирована древней рекой и глубоко врезана в горизонтально лежащие пласты красных песчаников. Помимо фантастических пейзажей, Голубые горы славятся огромными запасами каменного угля, являющегося одним из основных источников экономического богатства Австралии.

Тема отдельного разговора – это австралийский животный мир, удивительный и неповторимый. Здесь присутствуют и разные виды птиц, сухопутных и живущих на воде, например, гигантские пеликаны, которые кормятся рыбой. В Австралии можно увидеть страусов самых разнообразных пород и, конечно же, символ пятого континента – неповторимого кенгуру. Когда попадаешь в мир австралийских эндемичных животных, всегда думаешь о том, что среди них практически не было хищных животных, исключая, конечно, крокодилов и тасманийского дьявола, хищников же завезли сюда европейцы. Это одичавшая собака динго и дикие кошки, которые тоже произошли от обыкновенных домашних котов. Природа Австралии не похожа на наши жесткие российские тайгу и тундру, наши болота и степи. Если верно, что характер человека определяет окружающая природа, то Австралия неизменно располагает к добру.

В 2009 году я побывал в Австралии в период школьных каникул и, конечно же, в зоопарках видел множество детей самого разного возраста. Когда смотришь на них, рядом с такими же свободными эндемичными животными, понимаешь, как уютно чувствуют себя в этой прекрасной стране, отделенной многими тысячами километров от всего остального мира. И нельзя не вспомнить, что ни разу на австралийскую землю не ступала вражеская нога, ни разу ее не вспарывали окопы. Даже воинские могилы здесь лишь для тех, кто погиб далеко за морями. Можно

только позавидовать австралийским детям, которые родились в этой свободной стране и, будем надеяться, что так же свободно свою жизнь и проживут.

Отыщу вам подобных едва ли я
За просторами дальних морей,
Эндемичные дети Австралии
Посреди эндемичных зверей.
Отстающие или отличники,
Каждый вырос в положенный срок,
Не страшась нападения хищников,
Не пугаясь воздушных тревог.
С малолетства, с утра и до вечера,
Вы не знали голодной поры.
Вот поэтому вы и доверчивы,
Вот поэтому вы и добры.
Вдалеке от Москвы и от Токио,
На земле, где тепло в январе,
Вас не грабили дылды жестокие
В приблатненном и нищем дворе.
От утра я любуюсь и до ночи,
Вспоминая мой вымерший класс,
Вашим детством, свободным и солнечным,
Что уже недоступно для нас.

В Сиднее вот уже двадцать лет живет замечательный русский поэт, к сожалению, недостаточно востребованный в России, Юрий Михайлик. Я встречался с ним в июле 2009 года и хотел бы процитировать отрывок из нашей беседы, записанной для фильма «Атланты держат небо…»:

– Юра, вы живете в Австралии достаточно долго. Чувствуете ли вы себя здесь дома?

– Австралия – замечательная страна, очень красивая, если, конечно, бывают некрасивые страны. Очень дружелюбная, я ей чрезвычайно признателен за все, что происходило здесь со мной за эти годы, но домом я ее не считаю. До сегодняшнего дня, как говорят австралийцы, «I don't belong to this country» – «я не принадлежу к этой стране», хотя очень хорошо к ней отношусь.

– Что вы думаете о современной русской поэзии и русскоязычных поэтах, живущих сегодня за границей: Бахыте Кенжееве, недавно ушедшем Льве Лосеве, о замечательном поэте Иосифе Бродском? Каков, на ваш взгляд, их вклад в русскую литературу?

– Если говорить о современной русской поэзии, то я вне

контекста. Вероятно, в России есть какие-то новые поэты, стихи которых обжигают, волнуют и будут жить. Я просто не вправе об этом рассуждать. Сейчас я с большим удовольствием читаю стихи тех поэтов, которых любил и прежде, когда жил в Союзе. Я не воспринимаю ни Бахыта Кенжеева, ни, допустим, Льва Эпштейна или Владимира Гандельсмана, в отрыве от русской поэзии, только потому что они живут сегодня не в России. Ну какая мне разница, где жил Александр Петрович Межиров, ведь его стихи я помню наизусть, знаю их и люблю. То же самое относится ко многим другим поэтам. Совершенно отдельно для меня стоит Иосиф Бродский. Я полагаю, что он – эпохальное явление в русской поэзии, поэт, внесший в нее что-то очень новое и очень значительное. Я не литературный критик, но у меня именно такое ощущение.

– При советской власти существовали такие понятия, как «самиздат» и «тамиздат». Одновременно было как бы две литературы. Одна – официозная советская, а вторая – свободная: подпольная или издававшаяся за рубежом.

– Что касается «самиздата» и «тамиздата», то я должен с грустью заметить, что в них публиковалось много чепухи, которая привлекала нас уже самим фактом, что это напечатано, пускай и на папиросной бумаге. Настоящего и значительного было сравнительно немного. Точно так же, как настоящего и значительного было немного и в официально публикуемой поэзии. Вообще, настоящего, серьезного, значительного много никогда не бывает, и, наверное, слава богу…

– Вы, как человек, пишущий за рубежом, ощущаете ли вокруг себя нехватку русского языка?

– Я ощущаю это чудовищно! Хотя, конечно, понимаю, что это – мое личное. Мне представляется, что тот же Бродский за рубежом стал более значительным поэтом, чем был в России. То есть ему нехватка языка, о которой он, кстати, все время писал, не мешала. Мне же она мешает чрезвычайно. Кроме того, в моей стране я все понимал. Очень многие вещи улавливал из существующей вокруг атмосферы языка, которая менялась, переливалась, двигалась. Этого начисто нет здесь. Мне очень не хватает людей, с которыми можно общаться и знать, что они понимают, что вот это я процитировал, например, Юрия Левитанского, а затем – Лермонтова. Этого мне крайне недостает.

– Неужели вы все-таки не чувствуете себя в Австралии дома после шестнадцати лет, проведенных в этой стране?

– Позвольте мне стишком ответить:

Когда б ты мог родиться заново

На сколько там осталось дней,
И море пред тобой Тасманово,
И город за спиной – Сидней,
И неба дымчатая патина,
Случайная в твоей судьбе,
И нет земли доброжелательней
И снисходительней к тебе.
Когда б ты мог в иной гармонии
В чужом краю, в чужом раю,
Коротким поводком иронии
Удерживая жизнь свою,
Весенним утром здешней осени
Завидя парус за окном,
Не приставать к нему с расспросами,
Что кинул он в краю родном!

Уже в России, вспоминая беседу с Юрием Михайликом, я написал стихи, посвященные ему:

Поэт, оторванный пространством
От собственного языка,
Судим не может быть пристрастно, —
Его дорога нелегка.
Под зодиаками иными
Живет он много лет подряд,
Где кажутся глухонемыми
Те, кто по-русски говорят.
Не так ли некогда Овидий,
Безрадостный слагая стих,
Томился мукою, не видя
Вокруг читателей своих
На склонах берегов суровых
Дуная – северной реки,
Что понимали с полуслова
Подтекст написанной строки?
Москву, Одессу или Питер
Вернет ли он когда-нибудь?
Ежеминутно рвутся нити
И увеличивают путь.
Но будет исцеленье ранам,
Мой неулыбчивый собрат.
Горит закат над океаном,
А рукописи не горят.
И будет отзвук этой лире,

Пока волна у ног звенит,
Пока в подлунном нашем мире
Жив будет хоть один пиит.

Прощание с Австралией всегда связано с грустью. И не только потому, что пятый континет очень далек от нас, а еще и потому, что в Австралии задумываешься о каком-то другом варианте собственной жизни, который не состоялся, а мог бы состояться, если бы ты был моложе и мог все начать с «белого листа».

Перечитываю снова, как поэму,
Эту землю, пробудившись поутру,
Где гуляет на свободе страус эму
И стремительные скачут кенгуру.
Здесь улыбкою сияет каждый встречный,
Жизнь спокойна, как широкая река.
Хороша страна Австралия, конечно,
Только очень отовсюду далека.

Мы с тобой не отыскали места ближе,
Где надежный мы бы выстроили дом,
Потому что ни в Москве и ни в Париже
Мы, по-видимому, счастья не найдем.
Мы свыкаемся здесь с блеяньем овечьим,
С теплым запахом парного молока.
Хороша страна Австралия, конечно,
Только очень отовсюду далека.

Не забудутся, покуда не умру я,
Эти теплые заморские края.
Если жизнь мне подарили бы вторую,
Я Австралию бы выбрал для житья.
Ах, как жаль, что мы устроены неверно,
Что отпущены нам дни, а не века!
Хороша страна Австралия безмерно,
Слава Богу – отовсюду далека.

Хелло, Джуди

Судно из гавани выйти готово,
Над побережьем редеет туман.
Кончен заход, отдаются швартовы,
Снова нас ждет впереди океан.
Крылья раскрыли портовые боны,
Время пришло возвращаться домой.
Новой Зеландии берег зеленый
Тает за нашей за кормой.

Гуд бай, Джуди, курс намечен,
Нам не встретиться вновь.
Чем короче были встречи,
Тем сильнее любовь.
В Веллингтоне нынче лето,
А в России метель,
На планете дальше нету
Наших разных земель.
Меж кромешных серых буден
Обо мне вспоминай,
Гуд бай, Джуди, гуд бай, Джуди,
Гуд бай, Джуди, гуд бай.

Быстрой водой, убегающей в реках,
Необратимое время течет.
Тем, для кого миновало полвека,
Двадцать часов перелета не в счет.
Канули в ночь гималайские склоны,
От неподвижности ноги свело.
Новой Зеландии берег зеленый
Снова плывет под крыло.

Хелло, Джуди, хелло, Джуди,
Я вернулся опять.
Хелло, Джуди, хелло, Джуди,
Выйди друга встречать.
Непогода в странах Юга,
И немолоды мы.
Как узнаем мы друг друга
На пороге зимы?
Южный ветер щеки студит,
А на сердце тепло.

Хелло, Джуди, хелло, Джуди,
Хелло, Джуди, хелло!

В феврале 1974 года на переходе из Австралии в Новую Зеландию у нашего научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» сломался баллер руля – важнейшая часть механизма рулевого управления корабля, и нам пришлось почти три недели простоять в Веллингтоне, ожидая, пока запасные детали доставят из Германии. Лишенные местных денег, мы все дни этого вынужденного отдыха проводили на океанских пляжах под Веллингтоном, где купались и собирали раковины галиотисов с яркой перламутровой изнанкой. Во время этой стоянки мне довелось подружиться с коренной новозеландкой Джуди Холловей, яркой и статной каштанововолосой вдовушкой, прапрадед, которой, сэр Джон Холловей, судя по ее уверениям, был старпомом у Джеймса Кука на бриге «Дискавери». Это, кстати, ничуть не помешало ей оказаться убежденной левой коммунисткой, чуть ли не маоистского толка. У нее была небольшая машина, на которой она возила нас по побережью. У нас даже были достаточно обширные дискуссии и эмоциональные на политические темы.

До встречи с Джуди я не был знаком с зарубежными женщинами. Она была на редкость хороша собой и сильно отличалась от советских женщин. Так дикие гуси отличаются от домашних. Она была свободна. Она говорила то, что хотела, она улыбалась, когда хотела, двигалась как-то иначе, чем наши. А главное – она каждую минуту понимала, что она женщина.

Хорошо помню наш выход из Веллингтона 2 марта, когда в воздухе закружились первые желтые листья и в Новой Зеландии началась осень. Накануне на судне был устроен прощальный вечер. Взволнованная предстоящим расставанием и раскрасневшаяся от вина, Джуди, скинув мешавшие ей высокие туфли, танцевала в нашей кают-компании босиком, не обращая внимания на недовольные взгляды первого помощника. На следующий день она должна была приехать проводить меня, но на пирсе так и не появилась. Судно ушло, и я, глядя на ускользающий зеленый новозеландский берег, написал грустную песню, которая начинается словами: «Прощай же, Новая Зеландия, прощай же, город Веллингтон».

Я был уверен, что с Джуди мы никогда больше не увидимся. Но все сложилось иначе. В 2009 году, через тридцать пять лет после нашей встречи, я должен был выступать с концертами в Новой Зеландии, и мои друзья решили ее разыскать. Было это

нелегко. У меня не сохранилось ни ее адреса, ни телефона. Я помнил лишь, что жила она в Веллингтоне и состояла в местной коммунистической партии. В итоге нашлось около сотни Джуди Холловей, которые подходили по этим параметрам, но никто из них не знал Александра из России. И лишь совершенно случайно, по старой книжке членских взносов новозеландской компартии, удалось найти ту самую Джуди. Она уже давно не живет в Веллингтоне и не состоит в коммунистической партии. Когда я летел в Веллингтон, то написал новую песню о Новой Зеландии – «Хелло, Джуди».

В аэропорту группа людей из русского «комьюнити» встречала меня шумно, с хлебом-солью, гармошкой и водкой. Рядом с ними стояла седая сутулая женщина, в которой я с трудом опознал прежнюю красавицу Джуди Холловей. Только глаза, улыбка и белоснежные зубы остались такими же. Выяснилась удивительная история. Оказалось, что накануне нашего отхода из Веллингтона Джуди приезжала к нам на судно, а меня в тот момент на борту не было. Она привезла мне письмо, в котором было золотое колечко и предложение остаться с ней в Новой Зеландии навсегда. Она долго думала, кому это письмо передать, и в конце концов вручила его, как она считала, самому надежному человеку на нашем судне – замполиту. Я узнал об этом только по прошествии тридцати пяти лет. Замполит мне, конечно, ничего передавать не стал. Но он поступил как порядочный человек, потому что, в конце рейса составляя политдонесение, не написал на меня донос. Иначе все мои плавания в океане и все связанное с ними прекратилось бы в том далеком 74-м году.

Джуди рассказала мне еще одну забавную историю, о которой я ничего не знал. Оказывается, что после того как она встретилась с нашим замполитом и передала ему подарки для меня, он ей тоже вручил памятный подарок, как будто бы в знак любви от меня. Это был портрет Владимира Ильича Ленина, который наряду с книжкой стихов, подаренной мною, она бережно хранила все эти годы.

За три с половиной десятилетия, которые мы не виделись с Джуди, в ее жизни произошли существенные изменения. Тогда она была простой учительницей, а за это время стала известной детской писательницей, автором около двух десятков книг, которые пользуются широкой популярностью у детей Новой Зеландии. У нее большая семья, внуки и правнуки. Жизнь не баловала ее. Она дважды была замужем. Овдовела. Ее старшая дочь умерла. Пару десятков лет назад в нее влюбился какой-то очень богатый английский бизнесмен и предлагал ей руку и

сердце. Она отказалась. «Ты капиталист, – заявила она, – я не могу принять деньги, нажитые на эксплуатации людей». Политические взгляды ее и сейчас не сильно поменялись, – когда она приехала встречать меня в аэропорт, то держала в руках книгу о Фиделе Кастро.

Вот что Джуди тогда рассказала мне и съемочной группе фильма «Атланты держат небо…» об истории своей семьи, которая тесно связана с историей Новой Зеландии, и нашей встрече тридцать пять лет назад:

– Я родилась в центральной части Северного острова Новой Зеландии. Среди моих предков есть ирландцы, норвежцы, маори, французы. Моего первого европейского предка, который женился на маорийке, звали Уайла. Он приплыл на китобойном судне и женился на дочери вождя племени, которое обитало на севере Новой Зеландии.

– Когда это было, в каком веке?

– В 30-е годы XIX века. Затем он купил корабль и плавал на нем вокруг Новой Зеландии.

– Это была экспедиция?

– Нет, он занимался торговлей, продавал вещи, а его жена выращивала первые в Новой Зеландии овощи и растения из семян, которые привозили на кораблях из Европы. Также она разводила сады, а поскольку она была маори высокого происхождения, то много ее людей работало в этих садах, выращивая новые растения. У них был свой магазин по продаже строительных материалов. В нашей семье сохранилась гравюра с изображением корабля Уайлы. В 1865 году этот корабль отправился на Южный остров Новой Зеландии, но произошло кораблекрушение, и все, кто на нем был, погибли, в том числе трое его сыновей. Это была большая семейная трагедия.

Все мои родственники по материнской линии были норвежцами, прибыли сюда в 1872 году и обосновались на Восточном побережье в маленьком городке Нортуорт. Моя прапрапрабабушка вышла замуж за ирландца. Вот такая у меня кровь! У моих тетушек были превосходные благородные манеры, и все они так и не вышли замуж, поскольку потеряли своих женихов во время Первой Мировой войны. Они жили вместе со своими родителями: моим дедушкой и моей бабушкой. Когда я впервые увидела пьесу Чехова «Три сестры», ее героини очень напомнили мне моих тетушек. Они были старенькие и старомодные, но с высокими моральными идеалами и очень романтичные.

– А ты помнишь нашу первую встречу в семьдесят четвертом году?

– Мы встретились в советском посольстве. Все пили водку и пели песни, такие, как «Подмосковные вечера». Ты пел под гитару какие-то другие песни. Мы думали, что русские очень закрытые, но немного водки, и все они улыбаются и поют. Это необычно для нас, потому что новозеландцы – достаточно застенчивые люди. Мы ждем от других, что они первыми откроются нам. Русские люди на вашем корабле пошли нам навстречу. Особенно ты. Твой взгляд был очень думающим, очень знающим и очень понимающим. Ты пел замечательно и был очень красивым мужчиной.

– Тогда у меня еще были волосы…

– Очень много. Пышная шевелюра. Знаешь, за эти несколько дней ты стал для меня необыкновенно близким и родным. Я была тогда молодой, и я влюбилась в тебя. Ни до, ни после я не влюблялась в людей с корабля. Я верила в наши с тобой отношения. Я думала, что обязательно встречу тебя еще раз в этой жизни. Но ты не ответил на мое письмо, я не понимала, почему ты молчишь. Да, у меня были сильные чувства к тебе в то время. Потом я много разочаровывалась в мужчинах. Но когда я брала в руки книгу стихов, подаренную тобой, я всегда пыталась представить, где ты, чем ты занимаешься.

– А почему ты не пришла проводить меня?

– В последний день вашей стоянки мы с моей подругой пришли попрощаться с тобой. Корабль должен был уйти в два часа, но когда мы пришли на пирс, судно уже выходило из бухты. Оно ушло раньше назначенного времени. Я плакала. Надеялась, что тебе передали мое кольцо и письмо. Я ждала. Теперь я узнала правду – у тебя были бы неприятности, если бы тебе передали письмо. Это удивительная история. Наверно, это сюжет для романа. Как в русской литературе, когда у романа открытый финал.

Два седых старых человека, мы гуляли с ней по пустынному и по зимне холодному Веллингтону, поднимались на гору Виктория, стояли на безлюдном каменистом пляже, где когда-то собирали галиотисов, и вспоминали о прошлом. «Могли ли мы с тобой тогда остаться вместе? Вряд ли. Это было бы очень трудно. Тебе пришлось бы жить в Новой Зеландии или мне в России. Нет, это невозможно. Ты – очень русский, я – очень новозеландская. Для этого надо хорошо знать язык, – ты писатель, я писательница». На моем последнем концерте в Веллингтоне, когда я запел песню «Хелло, Джуди», она вышла на сцену и под бурные аплодисменты зала подпевала мне припев.

Новая Зеландия страна моряков. Все ее коренные жители

прибыли сюда морским путем. Может быть, поэтому здесь существует настоящий культ яхтенного и парусного спорта. Для европейцев новозеландский берег впервые открыл в 1642 году голландский мореплаватель Абел Янсзон Тасман и назвал его в честь самого большого острова Балтийского моря – Новой Зеландией. Но обследовал все ее берега, проливы и побережья Джеймс Кук. Хотя первые поселенцы, островитяне с островов Раротонга, с острова Таити и, возможно, с Гавайских островов, пришли сюда задолго до Тасмана и Кука, как сейчас полагают ученые, где-то на рубеже XIII–XIV веков. Даже сейчас, в начале XXI столетия, в Новой Зеландии есть районы, где живут исключительно маори и куда не ступала нога белого человека. До сих пор между потомками европейских переселенцев и аборигенов идут большие споры по поводу прав на ту или иную территорию.

Сейчас в Новой Зеландии заключается очень много смешанных браков между потомками англичан и маорийцами, и даже если у человека есть всего одна тридцать вторая маорийской крови, то он гордо записывает в анкетах (а здесь присутствует «пятый пункт») свою национальность как «маори», которая считается наиболее «престижной». А для всех остальных употребляется маорийское слово «пакеха», которое переводится как «бледнолицый».

На вершине горы Виктория – самой высокой горы, которая возвышается над столицей Новой Зеландии, стоит памятник знаменитому исследователю Антарктиды контр-адмиралу американского флота Ричарду Бэрду, который начиная с 1929 года возглавлял целую серией экспедиций в Антарктиду и внес немалый вклад в ее изучение. Но, что не менее важно, именно он явился инициатором того, чтобы антарктический континент не использовался для испытания ядерного или какого-либо другого оружия и для добычи полезных ископаемых в интересах какой-то одной страны. Бэрд ратовал за то, чтобы Антарктида навсегда стала областью международных научных интересов и только международное сообщество совместно могло руководить исследованиями Белого континента.

Из Веллингтона я отправился в Окленд, где у меня также были запланированы выступления. Сюда же приехала Джуди, захватив с собой огромный чемодан с косметикой, какими-то перчатками, шарфами и другими предметами женского туалета, которые она меняла каждый день. Окленд – не только самый большой город Новой Зеландии, но и его деловой центр. Он значительно больше, чем Веллингтон, столица этого островного государства. Здесь живет более полутора миллионов человек, что

достаточно много, если учесть, что все население Новой Зеландии составляет немногим более четырех миллионов человек.

Неподалеку от Окленда находится музей, который совершенно точно отображает быт удивительного племени маори, предки которого пришли к берегам Новой Зеландии несколько столетий назад на больших, достигавших нескольких десятков метров в длину, каноэ. Для того чтобы на подобных судах пересекать Тихий океан с острова Раротонга или с более дальних Таити и Гаваев, нужно было быть отважными мореходами. При этом маорийские мореплаватели не просто пересекали Тихий океан в одном направлении, но могли и возвращаться обратно, а значит, имели серьезные для того времени представления о навигации.

Восемь каноэ приплыли сюда с островов Раротонга,
В каждом по сорок гребцов, женщины, свиньи и дети.
Мифы изустные нам повествуют о том, как
Осуществлялись нелегкие плаванья эти.
Чайки кричали над ними тревожно и тонко.
Светом багровым пылали во мраке зарницы.
Восемь каноэ приплыли сюда с островов Раротонга
За шесть веков до прихода людей бледнолицых.
Восемь каноэ приплыли сюда с островов Раротонга,
К черным базальтам и красным камням рапакиви.
Бронзоволицые нынче гордятся потомки
Тесным родством с полосатою птицею киви,
Что в полуночном сиянии лунной дорожки,
В час, когда в небе развернута звездная карта,
Спит, опираясь на нос и на тонкие ножки,
Как самолет в ожидании нового старта.

Маори были искусными охотниками, рыболовами и храбрыми воинами. Англичане, придя сюда, не воевали с ними, как, например, с индусами, не покоряли их, как другие племена в своих колониях, и не уничтожали, как аборигенов Австралии, а были вынуждены заключить с местным населением мирный договор. Маори оказались на редкость смышлеными: быстро купив у англичан огнестрельное оружие, они стали оказывать колонизаторам серьезное сопротивление. Интересно, что английский и маорийский тексты заключенного в середине XIX веке контракта не совпадают друг с другом. Поэтому сейчас маори очень активно борются за свои права, требуя возвращения своих исконных земель. Например, полосы вдоль моря, которая

считается государственной собственностью, что мешает аборигенам ловить рыбу. Когда на прибрежном шельфе стали находить нефтяные месторождения и другие полезные ископаемые, то маори стали претендовать и на шельф, и на весь доход, который может быть с него получен. Кроме того, маори искусные резчики по дереву, которые владеют искусством удивительной многоступенчатой резьбы. Основным мотивом их творчества является изображение богов и сцен охоты. Причем бога новозеландские аборигены, как правило, изображали с птичьим клювом, поскольку обожествляли птиц. На более поздних изображениях божественных существ у них в руках могут быть и британский флаг, и мушкет, отобранный у белого человека.

В Новой Зеландии в отличие от Австралии, не водятся эндемичные животные или хищники, исключая, может быть, лишь древнюю птицу моа, которая напоминала страуса, превосходя его ростом, была покрыта почти медвежьей шерстью и не могла летать. К сожалению, аборигены съели эту птицу еще в XVIII веке, и от нее остались только чучела, пылящиеся в местных музеях. Самыми распространенными в Новой Зеландии деревьями являются каури – одни из древнейших видов хвойных растейний на нашей планете, которые пережили динозавров и встречались уже примерно сто пятьдесят миллионов лет назад во время Юрского периода. Растут каури полторы тысячи лет, в обхвате достигают шестнадцати метров, а в высоту могут вымахать до шестидесяти. Эти деревья очень ценятся еще и потому, что почти не поддаются гниению. Дома, выстроенные из каури в середине XIX века, стоят до сих пор и могут простоять практически вечно.

Новая Зеландия вулканическая страна. Даже Окленд стоит на десятках вулканов. Когда проезжаешь по новозеландским дорогам, то можно увидеть конусы маленьких и больших вулканов, которые заросли пышной растительностью. Новая Зеландия является крайним южным звеном огромного вулканического пояса, которое носит название «Огненное кольцо» Тихого океана. Начинается оно на Севере – от Чукотки и Берингова пролива, а заканчивается здесь, на побережье Тасманова моря, у берегов Антарктиды. Огромная плита под Тихим океаном задвигается под «Огненное кольцо», вызывая землетрясения и постоянные вулканические извержения.

На берегу озера Ротароа, посреди которого возвышается небольшой, но красивый остров вулканического происхождения, родилась старая маорийская легенда. На одном берегу жило одно племя маори, а на противоположном берегу – другое. И дочь

вождя одного племени полюбила, как это часто бывает, сына вождя другого племени. Они долгое время были разлучены водным пространством, но однажды дочь вождя не выдержала и поплыла с берега озера на остров на встречу со своим любимым человеком, который ждал ее и волновался. Вода была холодная, и девушка еле живая доплыла до того берега и упала без чувств. Юноша подхватил свою возлюбленную и отнес в горячий источник, где она пришла в себя.

Летом 1974 года, вернувшись из Новой Зеландии, впервые попал на Камчатку, где проходил научный конгресс по вулканологии, и посетил Долину гейзеров и вулкан Узон. До сих пор помню, какое фантастическое впечатление произвели на меня эти места, очень похожее на тот парк гейзеров и горячих источников, в котором мне посчастливилось побывать в Новой Зеландии.

Узона марсианские цвета,
Где булькают таинственные глины,
Где неподвижен свет, и тени длинны,
И чаша неба алым налита.
Косяк гусей, прижившихся в тепле,
Стараюсь ненароком не спугнуть я.
Здесь киноварь рождается во мгле,
Кровавя почву смертоносной ртутью.
Земли новорожденной вид суров:
Здесь пузыри вскипают неустанно
И гейзеры взлетают, как фонтаны,
Над спинами коричневых китов.
Здесь понимаешь: сроки коротки
И ненадежна наша твердь земная,
Где словно льды плывут материки
И рушатся, друг друга подминая.
И мы живем подобием игры,
Ведя подсчет минутным нашим славам,
На тоненькой пластиночке коры,
Над медленно клубящимся расплавом.

В Окленде, в наиболее удаленной от России точке земного шара, действует самый южный на планете клуб русской авторской песни. Организован он стараниями Николая Вахрушева, приехавшего сюда много лет назад из Новосибирска. Николай и его жена Ольга организовывали мои концерты в Новой Зеландии в 2009 и 2011 годах. Члены этого клуба также в основном переехали сюда из Сибири, с Дальнего Востока, и сейчас

авторская песня объединяет их как воспоминание о Родине.

Нередко путь в Новую Зеландию для людей, уехавших из стран бывшего Советского Союза, складывается непросто. Об этом мне рассказывали замечательные люди – Андрей Овсянников, занимавшийся в «Лихие 90-е» в России бизнесом, и супружеская пара врачей Наташа и Василий Лашмановы. Василий – врач-протезист, сейчас у них с женой своя частная клиника. «После того как мы уехали из Украины, – рассказала мне Наташа, – мы пять лет жили в Южной Африке и, когда решили, что нам все-таки лучше поменять местожительство, долго изучали карту и думали куда же лучше поехать. Мир большой, но нам показалось, что Новая Зеландия – это самая спокойная, тихая, дружелюбная страна. И мы не ошиблись. Я бы сказала, что это – последний рай на Земле. Мы ее очень любим».

Надо сказать, что мне довелось встречаться со многими русскими эмигрантами в самых разных странах. И, пожалуй, Новая Зеландия – единственная страна, где все приехавшие из России безоговорочно признаются в любви к своей новой родине и действительно называют ее Родиной, что отнюдь не типично для русского человека.

Я у края рожден морского.
Мне на суше жить не резон.
И меня привлекает снова
Остывающий горизонт.
Обветшалое сердце ноет,
Будто я над крутой волной
В узкогрудом сижу каноэ
У сородичей за спиной.
Ослепительных чаек крики,
Океанская бирюза,
Пялит с ростра бессонный Тики
Галиотисовые глаза.
Под прерывистый рокот гонга
Оставляем мы за кормой
Остров солнечный Раротонга
И Васильевский остров мой.
Над дугою большого круга
Сколько дней еще протяну?
Снова ветер сырой и грубый
Разгоняет в Неве волну.
Он опять в океаны гонит,
Не считая минувших лет,
И святой Николай-угодник

Мне ладошкою машет вслед.

Яркий солнечный день в октябре 2011 года. Джуди везет меня в аэропорт на своей крошечной машине. Я в последний раз обнимаю ее. Я прощаюсь с Новой Зеландией, с маленьким кусочком вулканической суши, висящей над погружающейся под нее Тихоокеанской плитой. Я прощаюсь со страной вечной зелени, где нет ни жестокой зимы, ни жаркого засушливого лета, где урожай можно снимать несколько раз в год. Я прощаюсь с ее коренным населением маори, удивительно талантливыми людьми, чьи песни так напоминают русские народные. Я прощаюсь с сообществом людей, которые нашли силы и возможность начать жизнь с «белого листа» – вдали от войн, национальных розней, революций и других неустройств, сотрясающих наш Старый Свет.

Регистрация, паспортный контроль. Уходя на посадку, перед последним поворотом, я оборачиваюсь и машу рукой Джуди. Старая седая женщина стоит и печально смотрит мне вслед. Она старается улыбнуться, но у нее это плохо получается. Самолет взлетает. Под крылом в просветах рваных облаков в последний раз мелькает яркий желто-зеленый берег Новой Зеландии. Мы расстаемся. На этот раз, похоже, навсегда.

Не повышает настроения
Лесистых склонов красота.
У нас сейчас метель весенняя,
А здесь осенние цвета.
Веселый марш играет радио,
Вода запела под винтом.
Прощай же, Новая Зеландия,
Прощай же, город Веллингтон.

Здесь мной не пахано, не сеяно,
Не для меня тепла вода.
В краю, где солнце светит с севера,
Не знать мне женщин никогда.
Грущу сейчас чего же ради я
И вспоминаю не о том?..
Прощай же, Новая Зеландия,
Прощай же, город Веллингтон.

В московском утреннем автобусе,
От красоты твоей вдали,
Я вспомню вдруг, что есть на глобусе

Полоска узкая земли.
Не потерять того, что найдено
На берегу твоем крутом.
Прощай же, Новая Зеландия,
Прощай же, город Веллингтон.

Атланты в поисках истины

Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида —
Голубого огня материк.
А над ней – пароходы и ветер,
Стаи рыб проплывают над ней…
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Не найти и за тысячу лет нам —
Объясняют ученые мне —
Ту страну, что пропала бесследно
В океанской ночной глубине.
Мы напрасно прожектором светим
В этом царстве подводных теней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Век двадцатый, войною палимый,
Смерть прикинется теплым дождем…
Кто нам скажет, откуда пришли мы?
Кто нам скажет, куда мы уйдем?
Кто сегодня нам сможет ответить,

Сколько жить нам столетий и дней?..
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда»,
Если спросят: «Была Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да!»
Пусть поверят историям этим.
Атлантида – ведь дело не в ней…
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

Верь тому, кто ищет истину, и не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел.

Платон

Когда шестьдесят лет назад я учился в Ленинградском горном институте, то наивно полагал, что знаю все об устройстве окружающего мира. Я помнил наизусть пять ленинских признаков империализма и, главное, содержание сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)». Кстати, из всех классиков научного коммунизма более прочих мне нравилось читать именно труды Сталина, поскольку Ленин, с моей точки зрения, писал слишком длинно и путано, в то время как формулировки «отца народов» были жесткими и понятными. Я был абсолютно уверен, что невозможна революция без рабочего класса, я понимал идиотизм любой религии и твердо стоял на принципах диалектического и исторического материализма, которые хорошо помню до сих пор. С течением времени, однако, многое изменилось. Уже став профессором, опубликовав свыше 250 научных работ, я вдруг осознал, что понимаю в науках гораздо меньше, чем полвека назад. Даже в родных для себя естественно-научных областях, которыми занимаюсь не одно десятилетие и являюсь автором

нескольких книг по истории Земли, дрейфу континентов, природе земного магнетизма, мне не все так ясно и очевидно, как было в далекие студенческие годы. Чем глубже погружаешься в научные знания, тем отчетливее понимаешь, что с позиций современной агностической науки многие вещи объяснить просто невозможно.

Поэтому в последние годы я в связи с изучением инверсий геомагнитного поля Земли все чаще обращаюсь к Теории катастроф Жоржа Кювье, отвергнутой научным сообществом еще во второй половине XIX века. Когда я был молодым, то уверенно повторял определение Энгельса: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой». Но оказалось, что это ничего не объясняющие пустые слова. Тайна возникновения жизни на Земле ученым неизвестна, так же как и тайна возникновения человеческого разума. Лишь совсем недавно удалось расшифровать геном человека, а сейчас в швейцарском ЦЕРНе коллектив ученых из разных стран пытается проникнуть в тайны мироздания с помощью огромного ускорителя заряженных частиц – Большого адронного коллайдера. Однако есть вещи, которые до сих пор науке недоступны. Например, мы не можем предсказывать землетрясения и плохо представляем себе механизмы, их вызывающие. Я не верю в Бога, так как воспитан в совершенно атеистическом духе, но однозначно исключать элементы «промысла Божьего» не берусь. Вполне возможно, что Высший разум – какая-то форма материи или энергии – существует. Например, часто задаются вопросом, почему инопланетяне (если они, конечно, есть) не спешат вступать с нами в контакт? А стали бы мы устанавливать «дипломатические отношения», например, с микробами на лабораторном стеклышке?

Поделиться могу секретом,
Что итог мой научный жалок:
Доверяю теперь приметам,
Уважаю теперь гадалок.
Верю черному наговору,
Наводящему злую порчу,
Из себя, как в былую пору,
Атеиста уже не корчу.
Все мне прежде, как на ладони,
Было ясно по крайней мере,
Да вот двери откроешь в доме,
А за ними другие двери.
И в познании ни на сколько

Не продвинулись мы, наверно.
Пробурили дыру на Кольском,
А попали вновь на поверхность.
Ближе к старости понимаешь,
Что учебники лгут нам с детства,
А наука игра – игра ума лишь
И не может спасти от бедствий.
Ибо дарвинская цепочка
Или Ньютоново движенье
В этом мире, увы, неточном,
Только первое приближенье.

Несколько лет назад на телеканале «Культура» прошел большой телесериал моих научно-популярных фильмов под общим названием «Атланты. В поисках истины», всего 42 фильма по 26 минут каждый. В этих фильмах я выступал в роли автора и ведущего. Сериал приобрел большую популярность. Его более десяти раз повторяли по «Культуре» по многочисленным просьбам телезрителей. Этот сериал дважды выходил в финал конкурса телевизионных программ ТЭФИ.

Работа над сериалом об актуальных проблемах науки заставила меня лишний раз задуматься о важности популяризации фундаментальной науки в наше сложное время, когда ее рейтинг сильно понизился и многие забыли о важнейших жизненных проблемах, связанных с ней. Статьи в малотиражных научных журналах читают только специалисты, а телевизор смотрят все, и обсуждаемая научная проблема становится известна сотням тысяч людей. Поэтому эффективность таких фильмов значительно больше. Например, наш Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук, после цунамигенного землетрясения на Суматре в 2009 году, унесшего сотни человеческих жизней, долгое время безрезультатно обращался в вышестоящие инстанции с просьбой выделить деньги на экспедиции судов в район Курильских островов для исследования этой сейсмически опасной зоны. Однако стоило выйти моему фильму о цунами, как необходимые средства были сразу выделены.

Замечу, что фундаментальная наука в России сегодня пребывает в позорном, нищем состоянии. Во времена существования СССР мы занимали ведущее положение в изучении Мирового океана, успешно конкурируя с США. Советский научный флот был самым большим в мире и имел на вооружении самые современные суда со всем необходимым научным

оборудованием. Изучением морей и океанов занимались самые квалифицированные научные коллективы, бережно создаваевшиеся в течение многих лет. Наша страна активно участвовала в важнейших международных проектах, от глубоководного бурения до исследования взаимодействия океана с атмосферой. После распада Советского Союза все изменилось. Научный флот, лишенный необходимого финансирования, был брошен на произвол судьбы и практически расхищен. Показательна судьба принадлежавшего нашему институту научно-исследовательского судна «Витязь». Это судно нового поколения, вошедшее в строй в 1980 году, было специально оборудовано как судно-носитель для подводных обитаемых аппаратов и база для акванавтов. На нем были уникальная гипербарическая система и водолазный колокол, с помощью которых успешно осуществлялись выходы акванавтов в открытую воду на больших глубинах с последующей декомпрессией. Мне довелось принимать участие в нескольких рейсах этого уникального судна, в том числе и в районы гибели легендарной Атлантиды. Судно это, со всем дорогостоящим и уникальным оборудованием, оказалось никому не нужным и, по существу, уничтожено. Другие суда нашего института, чтобы выжить, вынуждены, демонтировав научное оборудование, возить туристов и «челноков».

Россия ушла из многих международных проектов, чтобы не платить членские взносы. Нищенское бюджетное финансирование научных институтов за последние десять лет привело к тому, что молодежь перестала подпитывать научные кадры, уезжая за рубеж или уходя в бизнес. Это, в свою очередь, привело к распаду целого ряда важнейших научных направлений. К примеру, средний возраст ученого совета в нашем институте сегодня составляет 68 лет. Можно ли считать такое положение нормальным? Только мелководные шельфовые моря интенсивно обследуются в погоне за нефтью. Но это не океан. Складывается впечатление, что Мировой океан современной России не нужен, и из великой океанской державы мы рискуем превратиться в лишенную морей допетровскую Московию.

Но вернемся к сериалу «Атланты. В поисках истины». Один из фильмов назывался «Океан – колыбель жизни». Если жизнь на Земле эндогенного происхождения и связана с вулканической деятельностью, то именно в водной среде она могла зародиться и развиваться, переходя от низших форм развития к высшим. До сих пор не разгадана одна из главных тайн мироздания – солевой состав человеческой крови тождественен солевому составу океанской воды. Не так давно в океане была обнаружена новая

форма жизни на Земле. Ее открытие стало возможным только после создания и освоения новой техники глубоководных исследований в океанах – подводных обитаемых аппаратов, а также в результате геологического изучения системы упомянутых выше срединно-океанических хребтов. В 1981 году доктор Мередит Л. Джонс дал первое описание новой группы беспозвоночных – гигантских подводных червей – вестиментифер, длина которых достигает более двух с половиной метров. Первый вестиментифер был добыт подводным аппаратом «Deep Star», принадлежащим военно-морским силам США, еще в 1966 году на континентальном склоне Калифорнии на глубине 1125 метров неподалеку от рифтовой зоны Восточно-Тихоокеанского срединного поднятия. В последующие годы эти животные были изучены как американскими, так и российскими учеными. Их заспиртованные экземпляры, отобранные в 1986 году в районе подводного хребта Хуан-де-Фука в бассейне Гуаймас в Калифорнийском заливе с борта подводных обитаемых аппаратов «Пайсис» и «Мир», можно увидеть в лабораториях Института океанологии в Москве.

Эти черви живут в так называемых гидротермальных биотопах на больших океанских глубинах в зонах упомянутых выше срединных хребтов, где из трещин в океанском дне восходят вверх потоки горячей воды с температурой до 300 градусов, насыщенной растворенными в ней металлами, сероводородом и метаном. Места выхода этих гидротермальных вод можно увидеть из иллюминатора подводного аппарата: они курятся черным дымом из-за обилия в потоках тяжелых металлов, потому их называют «черные курильщики». Особенностью этих животных является то, что в отличие от всех других видов животных и растений, которые связаны с кислородно-углеродным циклом, эти существа питаются сероводородом. Эти огромные беспозвоночные трубчатые черви, не имеющие кишечного аппарата, по существу, являются новой, ранее неизвестной формой жизни на Земле, которая, как знать, через миллиарды лет может стать основой новой цивилизации.

Интересно, что эпиграфом к книге В.В. Малахова и С.В. Галкина «Вестиментиферы», первой отечественной монографии посвященной этим таинственным существам, стало мое стихотворение:

В глубинах ночных океана,
Куда не дотянемся мы,
Из черного дна постоянно
Крутые восходят дымы.

Среди закипающей черни,
Рождающей множество руд,
Огромные плоские черви
В горячих растворах живут.
Едят они серу на ужин,
Вкушая от этих щедрот.
Здоровью их даром не нужен,
Полезный для нас кислород.
И в час, когда вспыхнет пожаром
Земная недолгая плоть,
И ядерным смертным ударом
Людей покарает Господь.
И солнце погаснет, и реки
Покроются пепельным льдом,
Они лишь освоят навеки
В наследство полученный дом.
И встанут на цепкую лапу,
Что станет позднее ногой, —
Начало другого этапа,
И будущей жизни другой.

Еще один фильм назывался «Можно ли предсказать землетрясение или нельзя, поскольку это – промысел Божий?». В нем священник (кстати, кандидат геолого-минералогических наук) спорил с крупнейшими российскими сейсмологами. В итоге дискуссии выяснилось, что сегодняшняя наука не может делать краткосрочных прогнозов землетрясений. Это касается не только нашей страны с ее нищей наукой, но и богатых Соединеных Штатов, и крайне заинтересованной в этом Японии. Где могут произойти землетрясения мы знаем, а вот когда – нет. В этом свете обращает на себя внимание уголовный процесс, затеянный властями Италии против сейсмологов, которых обвинили в том, что они не предсказали разрушительное землетрясение на Апеннинском полуострове в апреле 2009 года. Да они и не могли ничего предсказать!

Другой фильм назывался «Когда взорвется Черное море?». Он был связан с актуальнейшей проблемой сероводородного заражения Черного моря. Дело в том, что в Черное море, которое было когда-то частью палеоокеана Тетис, а сейчас стало замкнутым бассейном, отделенным от Средиземного моря порогом Босфорского пролива, в течение тысячелетий могучими реками Днепр, Днестр и Дунай выносится ил. Оседая на дно и уплотняясь, он приводит к образованию сероводорода.

В результате на сегодняшний день чистой воды в Черном море остается немного – только верхние 100–150 метров, а глубже начинается лишенная жизни сероводородная зона, где живут только анаэробные бактерии. Мощность водного слоя становится все меньше. Если сероводород вырвется наружу, то произойдет страшная экологическая катастрофа, которая затронет все государства Черноморского бассейна.

Не меньший интерес вызвал и фильм «Стоит ли есть рыбу из Балтийского моря?». В 1947 году перед союзными нам странами по Антигитлеровской коалиции встала проблема – как обезвредить химическое оружие Третьего Рейха, около 800 тысяч тонн бомб и снарядов со смертоносным ипритом. После длительных обсуждений было решено утопить эти бомбы и снаряды в океане. Американцы и британцы набили ими старые списанные транспортные суда и отправили их в Атлантику. Однако разыгрался сильнейший шторм, и пришлось топить корабли с химическим оружием где попало – в Северном море и возле Датских проливов. Большое число таких боеприпасов было затоплено в Балтийском море возле шведского острова Готланд. Считалось, что корабли и ящики с бомбами и снарядами будут захоронены грунтом и, таким образом, обезврежены. Получилось, однако, иначе: за десятки лет химически агрессивная морская вода в результате коррозии разъела металлическую оболочку бомб и снарядов, и иприт стал просачиваться наружу.

Сильные морские течения, омывающие почти все берега Балтийского моря, разнесли иприт в самые разные его районы. В последние годы польские и немецкие рыбаки неоднократно получали сильнейшие ожоги от иприта. Дело, однако, не только в этом. Иприт сорбируется в подводных растительных организмах – фитопланктоне. Его поедает зоопланктон, который служит кормом для рыбы. Человек ест рыбу. В результате в человеческом организме происходят необратимые изменения, приводящие к появлению младенцев-уродов и онкологическим заболеваниям. Так Балтийское море стало зоной экологической катастрофы. Положение осложнилось еще и тем, что многие суда с химическим оружием за эти годы полностью захоронены донными осадками, и найти их на дне непросто. Одним из основных способов их обнаружения стала высокоточная морская магнитная съемка, которой занималась моя лаборатория.

В 2004 году я был приглашен с докладом в бельгийский город Гент на закрытое международное совещание под эгидой НАТО, посвященное проблемам обезвреживания химического оружия в Балтийском и Северном морях. Совещание это проводилось в обстановке строжайшей секретности. Еще бы, ведь

значительную часть бюджета стран Балтийского региона составляет рыболовство, а кто будет есть рыбу, зараженную ипритом?

Большую общественную реакцию вызвал фильм «Когда утонет Санкт-Петербург?». В нем спорят два ведущих ученых в области морской геологии. Один из них, заведующий отделом морской геологии Всероссийского геологического института, доктор геолого-минералогических наук Михаил Александрович Спиридонов, крупнейший специалист по геологии Балтийского моря, доказывает, что рано или поздно Петербург неизбежно будет затоплен, а второй, известный тектонист, профессор Олег Георгиевич Сорохтин, возражает ему, считая, что Балтийский кристаллический щит, на котором стоит город, будет подниматься, и Петербург не утонет. Мне, конечно, как ленинградцу, хотелось бы верить Сорохтину. Олег Георгиевич Сорохтин, замечательный русский ученый и мой учитель, ушел из жизни в 2010 году. В его лице отечественная наука понесла невосполнимую потерю.

Мощные извержения исландских вулканов, надолго закрывшие небо над Европой и надолго нарушившие авиационное сообщение, сделали актуальным фильм «Вулканы – наши враги или друзья?». Я вспоминаю городок Сен-Пьер на далеком острове Мартиника, куда заходило наше судно «Дмитрий Менделеев». Цветущее райское место у подножья спящего вулкана Мон-Пеле. В начале XX века этот вулкан неожиданно проснулся и в течение нескольких часов сжег весь город с его обитателями – 18 тысяч человек погибло. Катастрофа произошла столь молниеносно, что стоявшие на рейде корабли сгорели, даже не успев выбрать якоря. В конце 80-х на острове Кунашир Большой Курильской гряды, где расположен грозный вулкан с обманчиво-ласковым именем Тятя, местные жители поведали мне весьма поучительную историю, довольно точно отображающую возможности современной вулканологической науки. У них в Южно-Курильске выступал как-то один из известнейших наших вулканологов, профессор, доктор наук, автор многих книг о вулканах. Он рассказывал о признаках, по которым можно опознать угрозу близкого извержения. Лекция прошла с большим успехом. После лекции заинтересованные слушатели спросили у профессора, когда, по данным науки, можно ожидать извержения вулкана Тятя. Вопрос, сами понимаете, не праздный: вулкан – вот он, из окна виден. Лектор успокоил собравшихся, обстоятельно разъяснив, что следующего извержения следует ожидать не ранее, чем через сто лет. Все, довольные, разошлись по домам, а на следующее утро неожиданно началось сильное извержение Тяти, и в первых рядах

бегущих видели уважаемого профессора.

Большую полемику вызвали фильмы, посвященные альтернативным источникам энергии. Что будет делать человечество, когда вся нефть иссякнет? Может ли человек жить под водой? Оказалось, что не может из-за кессонной болезни, победить которую науке пока не удается. Нужны ли сегодня дирижабли? Оказалось, что в ряде случаев просто необходимы.

Наибольший интерес, однако, вызвали фильмы, связанные с научным обсуждением древних легенд и мифов. В истории человечества можно выделить три категории мифов. Первая – это древние мифы, такие, например, как плоская Земля, стоящая на трех китах, или миф, что на Канарских островах живут люди с песьими головами, которые со временем были опровергнуты. Вторая – древние мифы, которые сегодня могут иметь реальное подтверждение с позиций современной науки. И, наконец, третья категория – это мифы, возникшие уже в наше время и серьезного научного подтверждения не имеющие. Наиболее наглядный пример – миф о глобальном потеплении, запугавший миллионы людей.

Множество мифов и легенд связано с океаном. Одни возникли в глубокой древности и давно развеялись. Другие – порождение нашего времени. Чего стоит, например, леденящий сердце миф о зловещем Бермудском треугольнике, «незакрытом пупе Земли», по Высоцкому, который до сих пор будоражит воображение доверчивых читателей! Но есть, пожалуй, только одна легенда, которая, возникнув в глубокой древности, не только сохранилась до наших дней, но интерес к ней по-прежнему не ослабевает, – это легенда об Атлантиде.

Впервые об Атлантиде поведал древнегреческий философ Платон (428(7) – 348(7) годы до нашей эры), ученик знаменитого Сократа. Предание о ней он изложил в двух диалогах: «Тимей» и «Критий». При этом он утверждал, что воспользовался сведениями об Атлантиде, взятыми у афинского законодателя и государственного деятеля Солона, его прадеда по материнской линии. Солон почитался в Древней Греции как «мудрейший из семи мудрых». Около десяти лет Солон путешествовал по странам Средиземноморья и побывал в Египте, где был с почетом принят в древней столице Саисе. При посещении храма богини Нейт жрецы сообщили ему, что девять тысяч лет назад в Афинах существовало могучее государство, и в то же время в Атлантическом океане, за Геркулесовыми столбами располагался большой остров. «С него, – писал Платон, – открывался плавателям доступ к прочим островам, а с тех островов – ко всему противолежащему материку, которым ограничивался тот истинный понт». На

острове Атлантида, как рассказывали жрецы Солону, существовало некогда грозное государство, представлявшее союз царей, им принадлежала власть над многими островами и странами. В те времена атланты владели всей Ливией вплоть до Египта и Европой до Апеннинского полуострова. Этот союз, собрав все свои силы, напал на древнеегипетское государство. Началась длительная война, имевшая, по-видимому, характер древней Мировой войны. В этой войне между народами, живущими по ту и эту сторон Геркулесовых столбов, Афины то воевали во главе эллинов, то противостояли врагам в одиночку и наконец добились победы.

Об Атлантиде написано более шести тысяч томов. Если собрать и опубликовать все данные о том, где она могла находиться, получилась бы увлекательная книга, в которой пришлось бы рассказать и о Южной Америке, с которой отождествлял Атлантиду известный философ Френсис Бэкон (1561–1626) в утопии «Новая Атлантида», и о Северном море, где недалеко от острова Гельголанд, по мнению немецкого пастора Юргена Шпанута, находился загадочный континент, и о поисках в начале XIX столетия от Юкатана до Монголии и от Шпицбергена до острова Святой Елены. Атлантиду «прописывали» в Бразилии, Скандинавии, Палестине, в проливе Па-де-Кале и так далее. Среди активных сторонников ее существования были художник и философ Николай Рерих и геолог академик Владимир Обручев. С конца XIX века наибольшую популярность приобрела версия русского путешественника и ученого, академика Авраама Норова (1795–1869), предположившего существование острова в Средиземноморье.

В последнее время взгляды исследователей все чаще обращаются к островам Крит и Тира, в античности носившему имя Фера, минойская культура которых погибла в результате крупной катастрофы примерно за полторы тысячи лет до нашей эры. Среди сторонников последней гипотезы – греческий археолог Ангелос Галанопулос, академик Российской академии наук, известный вулканолог и тектонист Евгений Милановский, знаменитый исследователь морских глубин, французский ученый-океанолог Жак-Ив Кусто и многие другие. Этому же посвящена изданная в 1983 году книга Галанопулоса и Эдварда Бэкона «Атлантида. За легендой – истина».

За полторы тысячи лет до нашей эры в Эгейском море на острове Тира произошло крупнейшее в истории человечества извержение вулкана Санторин (предыдущее катастрофическое извержение, судя по глубоководным донным отложениям, относится к периоду 25 тысяч лет до нашей эры). Взрывом была

снесена центральная часть острова, и на ее месте возникла гигантская (11 километров в ширину, до 300 метров в глубину) кальдера, в которую ринулось море. Из жерла вулкана вырвалось огромное количество пепла, а ударная волна, землетрясения и цунами разрушили города и поселения минойцев на Крите и других островах. Облако вулканических газов, смешанных с пеплом, окутало Греческий архипелаг, погубило значительную часть населения, сожгло растительность и уничтожило животный мир. Критомикенская (эгейская) культура, еще недавно столь процветавшая, была стерта с лица земли.

Пепел, выброшенный из жерла вулкана, по уверениям геологов, три раза обогнул земной шар с воздушными потоками, его следы обнаружены даже в Южной Америке. Известно, что любое извержение выбрасывает в атмосферу тысячи тонн «кислых» веществ, которые разносятся ветром по всей Земле, оседая на ледниках в виде дождя или снега, и навеки сохраняют память о минувших событиях. Исследования ледников позволили с точностью плюс-минус двадцать лет установить дату катастрофического извержения – примерно 1645 год до нашей эры. Эту датировку подтвердили и сотрудники Аризонского университета, которые по годовым кольцам на спиле древней сосны определили, что деревья в тот период получали намного меньше тепла и солнечных лучей, чем в предыдущие и последующие годы. Сотрудники Кембриджского университета провели радиоуглеродный анализ ископаемых деревьев, найденных на Санторине, и определили, что катастрофа произошла между 1639 и 1603 годами до нашей эры. Таким образом, дата гибели процветавшей некогда цивилизации коррелирует с датой взрыва вулкана, но извержение ли вызвало катастрофу или были какие-то иные причины?

Подводные исследования, проведенные здесь акванавтами под руководством Жака-Ива Кусто, обнаружили под водой обломки затонувших внезапно судов и целые залежи старинных амфор и других предметов. По данным археологов и морских геологов, древний город на острове мог погибнуть в результате чудовищного извержения вулкана Санторин около 1500 года до нашей эры. Именно с этим извержением связывается в греческой мифологии так называемый Девкалионов потоп. Галанопулос считает, что Атлантида – это Крито-Минойская держава и что катастрофа случилась не за 9000 лет до посещения Солоном Египта, а всего за 900 лет. В итоге извержения остров Тира раскололся на части и погрузился в море. Интересно, что сам капитан Кусто, с которым мне довелось встречаться незадолго до его смерти, от выводов в пользу эгейской Атлантиды уклонился.

«Мое дело – нырять и находить, – заявил он, – а что это за подводные развалины, должны разбираться вы – ученые». Как же быть в этом случае с Гибралтарским проливом – знаменитыми Геркулесовыми столбами? Ведь у Платона ясно сказано, что Атлантида располагалась по ту сторону Геркулесовых столбов, то есть в Атлантическом океане! Может быть, на Санторине погибла не Атлантида, а противостоящее ей Праафинское государство? А Атлантиду нужно искать все-таки в Атлантике?

В теперь уже далеком 1970 году наше научно-исследовательское судно «Дмитрий Менделеев», завершавшее свой третий экспедиционный рейс, неторопливо покачивалось на солнечной плоской зыби Северной Атлантики примерно в трехстах милях к западу от Гибралтара. В связи с успешным ходом научных работ было решено торжественно отметить Международный женский праздник – день 8 Марта, тем более что на судне было немало женщин – и в экипаже, и в научном составе. К празднику готовились заблаговременно. В числе прочих мероприятий по инициативе все того же неугомонного выдумщика и мечтателя Игоря Михайловича Белоусова ко дню женского праздника должны были подводиться итоги объявленного им примерно за месяц перед этим конкурса на лучшую песню об Атлантиде. Почему именно об Атлантиде? Потому ли, что она женского рода, или оттого, что плавали мы как раз в тех местах, где Платон когда-то поместил свою легендарную страну? Конкурс этот приобрел неожиданную популярность – недостатка в пишущих людях на судне не оказалось. А когда капитан Михаил Васильевич Соболевский, сам писавший стихи и лично принимавший участие в конкурсе, заявил, что в качестве первого приза победителю будет вручена бутылка коньяка, за перо взялись поголовно все.

Я, как «профессиональный литератор», к конкурсу допущен не был и стал председателем авторитетного жюри. Однако общий вирус графомании, овладевший судном, не миновал и меня, и я тоже попытался сочинить песню об Атлантиде, естественно, «вне конкурса». Правда, были у меня поползновения тайно предложить эту песню в качестве безвозмездного дара уже упомянутой выше смуглой красавице Кларе, главной «секс-бомбе» на судне, писавшей стихи и тоже принимавшей участие в конкурсе, но она эту идею с негодованием отвергла. Слишком сильные были у меня соперники, среди которых был и капитан Соболевский, открыто, хотя, кажется, и безрезультатно ухаживавший за Кларой. Так эта песня и осталась невостребованной.

В результате конкурса первое место с вожделенной бутылкой не было присуждено никому. Второе разделили капитан и Игорь

Белоусов. По итогам конкурса был устроен большой праздничный вечер на вертолетной палубе, расцвеченной разноцветными фонариками. После концерта претендентов и торжественного вручения призов начались танцы. Судя по навигационной карте, судно в это время лежало в дрейфе в районе подковообразно изогнутой системы больших подводных гор, цепочкой протянувшихся между Гибралтаром и Азорскими островами. Она так и называлась – Подкова («Хосшу» по-английски). Где-то неподалеку под ночной водой всего в 70 метрах от поверхности таилась самая большая гора этой системы, названная Ампер – в честь выдающегося французского физика.

Мы с Игорем отошли на корму с фужерами вина в руках. Прямо перед нами, под кормовыми подзорами, над невидимой в черных глубинах подводной горой, дробилась на волне желтая лунная дорожка. «А что ты думаешь, – вдруг спросил Игорь, махнув рукой в сторону лунной ряби за кормой, – может быть, она где-нибудь здесь?»

Через семь лет научно-исследовательское судно МГУ «Академик Петровский» проводило в Северной Атлантике в районе горы Ампер пробное подводное фотографирование дна при испытании новой аппаратуры. Сотрудник Института океанологии В.И. Маракуев сделал большую серию снимков ее вершины, которая находится всего в семидесяти метрах от поверхности воды. На некоторых фотографиях под слоем светлого песка ясно просматривались вертикальные гряды, похожие на стены древнего города. Удивительным было то, что гряды эти располагались под прямым углом друг к другу. Всем известно, что природа не любит прямых углов. Не следы ли это легендарной Атлантиды, спор о которой идет вот уже около двух тысячелетий? Снимки попали в журналы. Страницы испанских, голландских, французских и английских газет запестрели захватывающими названиями: «Русские нашли Атлантиду», «Новое открытие древней тайны». Так снова ожила древняя легенда об Атлантиде в Атлантическом океане.

Первая попытка проникнуть в тайны горы Ампер и загадочных подводных фотоснимков была предпринята в 1982 году – в первом испытательном рейсе нового судна «Витязь», где мне довелось руководить геологическими работами. Тогда нам не везло с погодой: Атлантический океан встретил нас затяжными мартовскими штормами. Волна в районе горы Ампер была не ниже шести-семи баллов. И прогноз ничего хорошего не сулил. Прямо на вершину горы, на тот участок, где, судя по подводным фотографиям, располагаются таинственные стены, был опущен на стальном тросе водолазный колокол с тремя

акванавтами. Несмотря на шторм, им удалось отобрать несколько образцов из гряд, напоминающих стены. Решить вопрос, рукотворные ли стены на вершине горы Ампер или это природа так искусно их возвела, по отобранным образцам не удалось. Однако геологическое и особенно петрохимическое исследование образцов с вершины горы показало, что базальт такого типа мог образоваться только при застывании лавы на воздухе, а не под водой, то есть на поверхности океана. Значит, гора Ампер в начале своего существования была вулканическим островом.

Когда, закончив рейс, «Витязь» возвратился в Новороссийск, судно осадили многочисленные журналисты. По указанию Новороссийского горсовета в день нашего возвращения во всех кинотеатрах города шел один и тот же фантастический фильм «Вожди Атлантиды». И, конечно, в центре внимания был уникальный камень, извлеченный из глубин. Еще бы, кусок Атлантиды! Его многократно снимали фото– и телекамеры, просили разрешения «подержать». Все наши скромные попытки охладить энтузиазм журналистов успеха не имели. Наиболее шустрые представители газет и телевидения, немедленно объединившись в коллектив, предложили мне обменять этот образец на ящик коньяку, после чего распилить камень, чтобы каждой редакции досталось «по кусочку Атлантиды». Я, конечно, с негодованием отверг это недостойное предложение и, гордясь своей неподкупностью, с возмущением сообщил об этом начальнику рейса. «Ну и дурень, – недовольно сказал он, – ты что, не мог им любой другой камень подсунуть? Им-то ведь все равно».

Судно «Витязь» вернулось на Ампер летом 1984 года. На этот раз в задачи работ входило детальное изучение геолого-геоморфологического строения горы, ее происхождения и развития, в том числе исследование стен на ее вершине. Было совершено несколько погружений на вершину горы, где располагались таинственные стены, и проведены их тщательные зарисовки и описание. Я сам дважды опускался на обитаемом подводном аппарате «Аргус» на плоскую вершину горы и подробно описывал в диктофон все увиденное.

Только на четвертый день были обнаружены «стены», «комнаты» и что-то вроде арки. В этот день, однако, стала вдруг портиться погода, сильный ветер начал разгонять волну, и последнее погружение было предложено снова сделать мне. Это было четвертое погружение за день, однако пилоты согласились «еще поработать». Мотобот, раскачиваясь и подлетая на сильной волне, помчался к всплывшему «Аргусу», рубку которого почти захлестывала волна. Это момент для аппарата неприятный.

Поэтому, сменяя предыдущего наблюдателя, я постарался не оставлять люк надолго открытым. Торопясь, я раньше времени захлопнул тяжелую крышку люка и довольно сильно прищемил руку, хотя в первый момент даже не почувствовал этого. «Ну, что? – спросил я у первого пилота Булыги. – Нашли?» – «Да кто его знает, вроде похоже», – ответил он. Мы связываемся по подводному телефону с «Витязем» и просим засечь наши координаты. Сильное течение сносит нас в сторону от вершины. Надо торопиться. Срочное погружение. «Аргус» стремительно идет вниз.

Привожу дальше отрывки из надиктованных мною под водой на магнитофон наблюдений: «Аппарат лег на грунт в 13 часов 20 минут на глубине 110 метров на южном склоне горы Ампер. Видимость примерно 50 метров, поэтому можно работать без светильников. В поле зрения скальные выходы, хорошо видные на фоне белого песка и образующие прямоугольные гряды высотой около полутора метров, отдаленно напоминающие развалины домов. Всплываем над грунтом на 3–4 метра и ложимся на курс 90 вверх по склону. На глубине 90 метров перед нами возникает вертикальная стенка высотой два метра и шириной около метра. Поверхность ее заросла красными водорослями – литатамниями. На их фоне видны как бы следы «кирпичной кадки», очень напоминающие породу, образующуюся при застывании излившихся базальтов. Стенка упирается в скалу. Хорошо бы посмотреть ее контакт со скалой! Тогда будет ясно, рукотворная это кладка или же по трещине в старой скале внедрилась новая порция расплавленной базальтовой лавы и застыла, образовав «стенку». В последнем случае край скалы должен носить следы обжига расплавленной лавой. Пилот подводит аппарат вплотную так, что наша «механическая рука» царапает скалу. Но вся эта часть наглухо закрыта сросшимися глыбами, покрытыми густыми водорослями, и контакт не виден.

Всплываем над скалой, и перед нами открывается панорама прямоугольных гряд, чередующихся с долинами, засыпанными белым песком. На песке хорошо видны вытянутые борозды. Это так называемые рифели – следы сильного подводного течения, скорость которого на глубине достигает полтора узла, то есть почти столько же, сколько может давать наш «Аргус». Подходим вплотную к одной из гряд и обнаруживаем на стене большие ниши и каверны, явные следы разрушительного действия воды. Значит, эта стена была раньше на поверхности? Она разбита трещинами, заваленными базальтовыми глыбами, которые хорошо окатаны. Между глыбами – галька разного размера, значит, здесь гуляли когда-то волны прибоя. Да и края скал

сильно разрушены выветриванием. Все это говорит о том, что гора Ампер была когда-то островом. Аппарат медленно всплывает над сильно разрушенными грядами. Они вытянуты в двух направлениях – на северо-восток и юго-восток. Вершины гряд напоминают зубья пилы.

Неожиданно прямо перед «Аргусом» возникает из зеленых сумерек тонкая нить, пересекающая наш курс. На ней борода водорослей. Лежащий рядом со мной Булыга настораживается, его мышцы напрягаются: перемет! Аппарат взмывает вверх, и опасная снасть остается под нами. Двигаясь тем же курсом на глубине около 90 метров, снова выходим на стенку высотой около двух метров и шириной полтора метра с отчетливыми следами «кладки». У ее подножия на песке целая колония морских ежей. Поверхность стенки, сплошь заросшая водорослями, плоская, как будто обработанная какими-то орудиями. Так же, как и в предыдущем случае, она упирается в сильно разрушенную скалу, но контакт завален камнями, и все попытки расчистить его оказываются безуспешными. Подходим к стенке вплотную. Ее верхний край разбит на правильные кубики с гранью около 15 сантиметров. С большим трудом, раскачивая аппарат из стороны в сторону, Булыга берет манипулятором два образца «кубиков» и кидает их в бункер.

Движемся дальше вдоль склона над грядой, ограниченной двумя параллельными стенками. Внутренняя поверхность стен разбита прямоугольными трещинами. Впечатление такое, что плывешь на «речном трамвае» по родной Мойке. В конце «канала» между стенами – пещера с полуразрушенным навесом из крупных глыб. Все вокруг засыпано галечником и окатанными глыбами. На стенах, разбитых глубокими трещинами, растут ярко-зеленые водоросли, напоминающие хвойные растения. Слева от нас – стена высотой около 20 метров, с большими расселинами. У ее подножия виден прямоугольник, засыпанный песком, посреди которого лежит изометрическая базальтовая глыба, похожая на «жертвенник». В конце сходящегося ущелья между стенами зияет пещера.

На поверхности дна под слоем песка просматриваются следы прямоугольных гряд. Перед нами по курсу возникает новая гряда. На глубине 78 метров перед аппаратом возникает тройное сочленение стен, утыкающихся в скалу. Делаем несколько фотоснимков. Сразу же за этим тройным сочленением, на глубине около 80 метров, обнаруживается стенка со следами «кладки», аналогичная вышеописанной. Она упирается в скалу, в которой видна пещера. Над ней подобие свода. Вдоль стены к пещере ведут как бы ступени, засыпанные песком. Ширина ступеней

около 2 метров. Делаем несколько фотоснимков. На внутренней стороне стены, у ее основания. – Выступ шириной около 20 сантиметров. Ниже по склону, под «лестницей», – прямоугольный участок, засыпанный белым песком. Поверхность гладкая, покрытая литатамниями. У основания стены на территории прямоугольника лежит какой-то изометрический камень. Сильно разрушенный «свод» над пещерой отдаленно напоминает кладку радиально расходящихся камней. Неужели это сделала природа?»

Было проведено также детальное подводное изучение еще одной горы – Жозефин (также подводного древнего вулкана), которая расположена по соседству с горой Ампер. Обе горы входят в большую цепь подводных гор Подкова, тянущуюся на сотни километров вдоль зоны гигантских трещин, так называемой Азоро-Гибралтарской зоны разломов. Именно здесь проходит граница между двумя литосферными плитами – Африканской с юга и Евразиатской с севера. Выяснилось, что Жозефин, как и остальные горы из системы Хосшу, тоже была когда-то островом. Значит, между Азорами и Гибралтарским проливом существовала в древности огромная цепь островов, которые затем погрузились в пучину океана?

Система подводных хребтов Хосшу тянется от Гибралтарского пролива к Азорскому архипелагу и образует гряду, где господствуют плосковершинные горы, когда-то срезанные поверхностной эрозией, о чем свидетельствуют галечно-валунные отложения, образовавшиеся в результате прибойно-волновой деятельности. Если учесть, что возраст гор (по калийаргоновому определению) в среднем колеблется от семи до девяти миллионов лет, вполне закономерно предположить, что эти древние вулканические образования некогда могли быть островами. А на островах вполне могли жить люди.

Изостатические колебания уровня океана не могли привести к катастрофическим последствиям, так как подъем уровня океана – процесс очень медленный, о чем, в частности, свидетельствуют коралловые отложения. Можно предположить поэтому, что погружение островов или, наоборот, поднятие уровня океана произошло вследствие какой-то грандиозной катастрофы. Вопрос в том, как и когда это произошло? И не идет ли речь об Атлантиде, которую ищут уже третье тысячелетие?

Обратимся к диалогу Платона «Критий», где речь идет о причинах гибели Атлантиды: «И вот Зевс… помыслив о славном роде, впавшем в столь жалкую развращенность, и решил наложить на него кару, дабы он, отрезвев от беды, научился благообразию. Поэтому он созвал всех богов… и обратился к

собравшимся с такими словами…» Именно в этом месте обрывается повествование. Какую именно кару уготовил Зевс Атлантиде?

Там, где заканчивается миф, начинается кропотливая работа ученых. Сейчас все больше исследователей склоняются к тому, что Атлантида могла погибнуть в результате сильнейшего землетрясения или вулканического извержения, а скорее всего, того и другого одновременно. Некоторые ученые считают, что Атлантиду уничтожили гигантские волны – цунами, которые часто возникают вследствие землетрясений. Но есть и более экзотические варианты. Польский астроном Людвиг Зайдлер считает, что гибель континента связана с падением на нашу планету кометы или астероида. Австрийский астроном Отто Мук выдвинул гипотезу о падении огромного метеорита в районе полуострова Флорида на побережье Атлантического океана, произошедшем, по его расчетам, 5 июня 8499 года до нашей эры (по Григорианскому календарю) и ставшем причиной катастрофы. Ханс Шиндлер Беллами предположил, что Атлантиду стерли с лица земли гигантские волны, возникшие в результате попадания Луны в гравитационное поле Земли.

Однако, пожалуй, наиболее вероятной с геологической точки зрения представляется версия, согласно которой глубинные тектонические процессы и взаимные коллизии Африканской и Евроазиатской плит при закрытии палеоокеана Тетис, вызвавшие частичный поддвиг в районе Азоро-Гибралтарской тектонической зоны, породили и землетрясения, и цунами, уничтожившие Крито-Минойскую цивилизацию на востоке Средиземного моря и Атлантиду в Атлантике «по ту сторону Геркулесовых столбов».

Обратимся теперь к современной науке о Земле. Когда в геологии господствовали представления о неизменности положения земных континентов (у них и сейчас еще немало именитых сторонников, «фиксистов»), легче жилось и атлантологам, ибо предполагалось, что океанские впадины возникли в результате опусканий отдельных блоков литосферы. Если могли быть резкие опускания целых континентов, то как будто легко объяснимы причины гибели Атлантиды. Сегодняшние многочисленные факты указывают на то, что в океане нет погруженных участков континентальной коры. Это на первый взгляд противоречит существованию Атлантиды.

Ну что ж, континенты действительно не могут погружаться. А архипелаги? Проведенные нами исследования убедительно показали, что подводные горы Ампер и Жозефин были когда-то островами. И весь подводный хребет Хосшу, в состав которого они входят, тоже, возможно, был когда-то на поверхности. А если

были острова, то на них могли жить люди. Весь вопрос в том, когда и почему эти острова погрузились в океанские волны. Попробуем посмотреть на эту загадку с позиций современной науки.

Расчеты скорости погружения подводных гор Ампер и Жозефин в океан показали, что она значительно превышает среднюю скорость погружения литосферной плиты по формуле Сорохтина-Склейтера. Такие же признаки быстрого погружения обнаружены американскими геологами, изучавшими несколько лет назад плосковершинную гору Атлантис, тоже входящую в систему Подкова. Еще двенадцать тысяч лет назад гора Атлантис была островом. Значит, острова, входящие в систему Подкова, затонули катастрофически быстро, что никак не могло случиться при простом утолщении океанской литосферы! Что же заставило их столь внезапно погрузиться? Вспомним, что в описании Платона (если ему, конечно, можно верить) говорится, что гибель Атлантиды произошла «в один бедственный день» и в одну «бедственную ночь»!

В соответствии с теорией тектоники литосферных плит твердая оболочка нашей планеты – литосфера – состоит из отдельных плит, движущихся по поверхности Земли. Движение это, в первом приближении, может быть по модели Эйлера описано системой уравнений сферической тригонометрии. Там, где плиты сталкиваются, более тонкая и глубоко погруженная океанская литосфера ломается и «ныряет» под континентальную, унося в глубины на своей «спине» океанские острова. Именно такая картина наблюдается сейчас в Тихом океане, дно которого со сравнительно большой скоростью (около пяти сантиметров в год!) пододвигается под край азиатского континента: под Камчатку, Курильскую и Японскую островные дуги.

В результате того, что Африка «навалилась» на Европу примерно тридцать шесть миллионов лет до нашей эры, возникла альпийская складчатость, породившая Пиренеи, Альпы, Карадаг в Крыму и Памир. В пределах этих горных цепей землетрясения происходят до сих пор. Местом столкновения плит стало и Средиземное море, последний остаток древнего океана Тетис, и Азоро-Гибралтарская система разломов, на ось которой, как на шампур, нанизана цепь подводных гор, тянущаяся от Азорского архипелага до Гибралтара.

На острове Кипр над главным городом Никозией возвышается Тродосский горный массив, сложенный древними океаническими породами – офиолитами. Это остаток ложа древнего Тетиса, который был выдавлен наверх, когда при закрытии океана Африка навалилась на юг Европы, сминая ее край. А большая

часть дна Тетиса вместе с островами ушла в глубину. Катастрофические извержения Санторина, Везувия, Этны – все это следствия закрытия Тетиса. Платон пишет, что катастрофа произошла одновременно на всем Средиземноморье.

Таким образом, Атлантида находилась в тектонически активной зоне, до сих пор проявляющей вулканическую и сейсмическую активность. (Достаточно вспомнить Мессинское землетрясение 1908 года или страшную катастрофу 1775 года, когда за полчаса был разрушен Лиссабон.) На карте геофизической изученности Азоро-Гибралтарского района хорошо просматривается огромная трещина – Азоро-Гибралтарская зона разломов. Сейсмические данные выявляют в этой области короткофокусные и длиннофокусные землетрясения, аномальное магнитное поле и высокую плотность эндогенного теплового потока. Методы глубинного сейсмического профилирования, проведенного по меридиану вкрест простирания этой трещины – Азоро-Гибралтарского трансформного разлома, позволили обнаружить признаки частичного поддвига Африканской плиты под Иберийскую микроплиту, являющуюся частью Евразиатской. Результатом такого поддвига (по-научному субдукции) могла стать и гибель Атлантиды.

Можно предположить, что при извержении вулкана Санторин в Эгейском море на востоке погибло Праафинское государство и эллинское войско. А на западе, по ту сторону Геркулесовых столбов, от той же катастрофы раскололся и погрузился в воду огромный архипелаг, протянувшийся от Азорских островов до Гибралтара, и вместе с ним Атлантида. Значит, чтобы решить загадку Атлантиды, надо продолжить изучение подводных гор Азоро-Гибралтарской системы, прежде всего выяснить, была ли эта огромная горная страна на поверхности океана. А если была, то когда погрузилась? Вопрос очень важный. Ведь если погружение совпадает с эпохой человеческой цивилизации, и особенно со временем извержения вулкана Санторин, то именно здесь могла погибнуть Атлантида!

Надо сказать, что А. Галанопулос и Э. Бэкон, приводя данные о геологии Атлантического океана и Средиземного моря, опирались на устаревшие «фиксистские» представления о формировании океанов, отвергнутые современной наукой. Так, например, глубоко ошибочны выводы авторов, что в Атлантическом океане якобы нет затонувших островов: их к настоящему времени найдено несколько десятков. Неверно также утверждение, что «с точки зрения геофизики Атлантида не могла находиться в Атлантическом океане». Анализ гравитационных и тепловых полей, зон сейсмической активности вдоль Азоро-

Гибралтарской системы разломов показывает, что с точки зрения геофизики Атлантида могла находиться в Северной Атлантике в районе утонувших островов Хосшу, где проходит граница между Африканской и Евразиатской плитами, в зоне которой обнаружены гигантские трещины. Частые и разрушительные землетрясения, а также огромные тепловые аномалии свидетельствуют о высокой тектонической активности в этом регионе.

Что же касается времени гибели легендарной Атлантиды, то оно, по-видимому, действительно совпадает со временем извержения вулкана Санторин (около 1500 лет до нашей эры). Только само это чудовищное извержение, уничтожившее крито-минойскую культуру, по нашему мнению, было не причиной, а следствием катастрофического столкновения плит по линии закрывшегося палеоокеана Тетис, последним остатком которого является Средиземное море. На острове Кипр на вершине горного массива Тродос геологами найдены остатки офиолитов – древней океанической коры, закинутой силами сжатия из глубин океана на высоту более двух километров над уровнем моря. По всей линии границы между плитами в историческое время не раз возникали землетрясения и вулканические извержения. Взрыв и катастрофическое извержение вулкана Санторин, видимо, явились следствием такого сильнейшего сжатия при закрытии палеоокеана Тетис и частичного поддвига Африканской плиты под Евразиатскую, которое на атлантическом участке границы между плитами привело к погружению и гибели некогда могучей островной державы.

Сторонники средиземноморского варианта существования Атлантиды считают, что древние были неважными мореходами и географами, например, путали Геркулесовы столбы с Сицилийским проливом, а в Атлантике практически не бывали. Однако в «Одиссее» у Гомера Одиссей и его спутники наблюдают «Пляски богини Эос», то есть полярное сияние, которое можно видеть только в Северной Атлантике. Мы уже упоминали о кокосовых пальмах, деревьях, дающих питье и мазь, описанных в «Критии», которые в Средиземноморье, как известно, не растут. Да и слоны на островах Эгейского моря не обитают. Обращает на себя внимание также, что в первой части «Крития» описано Праафинское государство с огромным Акрополем, которое также было разрушено, «когда одновременно с землетрясением разразился неимоверный потоп». Что же касается времени этого гигантского катаклизма, равного которому не знала человеческая история, то оно косвенно может быть определено по совокупности легенд и мифов древних народов, в той или иной

степени отразивших эту катастрофу, захватившую все страны Средиземноморья и архипелаги «по ту сторону Геркулесовых столбов».

Прежде всего это Девкалионов потоп, опустошивший все побережье Восточного Средиземноморья от Сирии до Апеннинского полуострова. О нем неоднократно упоминается в древнейших записях на глиняных табличках, найденных на месте древнего порта Угарит, разрушенного землетрясением и огромными волнами примерно в 1370 году до нашей эры. Этот потоп древние эллины связывают с именем царя Девкалиона.

Как свидетельствует Гельвеций и по расчетам историков и геофизиков, около 1450 года до нашей эры произошло еще одно чрезвычайное событие, явившееся результатом вспышки сейсмической активности и обусловившее прорыв вод Атлантики в Средиземное море и возникновение Гибралтарского пролива. (Считается, что до этого момента Африка была связана с Иберией (Испанией) узким перешейком.)

В мифологическом цикле о подвигах Геракла («Яблоки Гесперид») так описана одна из величайших катастроф, произошедших в Западном Средиземноморье: «Чтобы обезопасить себя от погони, Геракл уперся руками и ногами в два континента и отодвинул Африку от Европы. Заколебалась земля, нахлынули высокие волны, и место битвы Геракла с Антеем с ужасающим грохотом провалилось в море. В память этого подвига Геракл воздвиг на краях образовавшегося пролива скалы Абиле и Кальпе – Геркулесовы столпы».

Девкалионов потоп произошел в 1511 году до нашей эры. Примерно такую же дату, 1516 год до нашей эры, называет Сет Кальвиций. По мнению А. Стажериса, Девкалионов потоп датируется временем около 1529 года до нашей эры. Как мы видим, даты эти, достаточно близкие, примерно соответствуют тому времени, когда на востоке началось гигантское землетрясение, вызвавшее катастрофический взрыв Санторина и волны цунами, обрушившиеся на берега Средиземного моря.

Историк Иммануил Великовский, используя вышеупомянутую геохронологию, сделал вывод о том, что Девкалионов потоп совпал по времени с исходом евреев из Египта, описанным в Библии и датируемым примерно 1495 годом до нашей эры. Как полагают некоторые исследователи, нельзя исключать и возможную связь приведенного в Библии описания «десяти казней египетских» с катастрофическими землетрясениями и вулканическим извержением. Так, «превращение воды в кровь», вероятнее всего, явилось следствием замутнения воды в результате оползней, вызванных землетрясениями. Мне

неоднократно приходилось видеть, как оползни и ливневые дожди, размывающие железистые красноцветные песчаники и глины, окрашивают в кровавый цвет ручьи и реки. Образовавшиеся застойные воды в жару приводят к размножению паразитов, возникновению моровой язвы скота и всевозможных эпидемий. Сильные грозы при крупных извержениях сопровождаются градами и ливнями, а часто и смерчами. В результате этого могут быть «дожди из лягушек», «кровавые» дожди из красного песка и так далее. Да и сама «тьма египетская», очевидно, отображает результат действия туч вулканического пепла, закрывшего солнце после взрыва вулкана Санторин на несколько дней.

Подобные катастрофические извержения вулканов происходили и в иные времена. Одним из наиболее страшных стало извержение вулкана Тамборо (Тамбора) на острове Сумбава с 5 по 12 апреля 1815 года. Почти 12 тысяч жителей погибли во время грандиозного взрыва, еще 37 тысяч человек умерли на соседних островах от голода и болезней. По приблизительным подсчетам, в воздух было выброшено 1,7 миллиона тонн обломков. Мельчайшая пыль поднялась в стратосферу и, отражая солнечные лучи, на время лишила Землю тепла. Извержение вызвало знаменитый «год без лета»: повсеместно стояли трескучие морозы, а в Новой Англии в июне случились снегопады. Однако долгое время никто не связывал вулканическую катастрофу с погодой.

В Зондском архипелаге, представлявшем собой остатки вулкана, разрушенного еще в доисторические времена, летом 1883 года взорвался вулкан Кракатау. Громадные массы пепла, пемзы, шлаков и тягучей, подобной тесту, грязи хлынули в Зондский пролив. Берега Суматры и Явы изменились до неузнаваемости: их усеяли серая грязь и продукты извержений, вырванные с корнями деревья, остатки зданий, трупы людей и животных, богатая тропическая растительность исчезла. По официальным данным, число погибших доходило до 40 тысяч человек. Волна в море, – цунами, вызванная взрывом, была настолько мощной, что обошла всю планету, а грохот взрыва слышался на огромном расстоянии: в городе Маниле, отстоящем на две тысячи километров от Кракатау, и на острове Мадагаскар в 4775 километрах.

Мощность взрыва Тамборо в десять раз превышала мощность Кракатау и вызвала колоссальный выброс пепла в атмосферу, что привело к глобальному похолоданию (углеродный эффект). Это явление подробно изучалось в связи с возможностью ядерной зимы вследствие потенциальной ядерной войны, потому что

стандартное извержение вулкана предполагает выброс в атмосферу около кубического километра газов, обломков и лавы. Кракатау изверг 10–15 кубических километров, а Тамборо – около 150–200 кубических километров.

Наконец, заслуживает особого интереса легенда о гибели фараонова войска, посланного вдогонку за Моисеем и его народом, в морской пучине. Как упоминают А. Галанопулос и Э. Бэкон, комментаторы Библии давно предполагают, что израильтяне шли не по берегу Красного моря, а по берегу озера Сирбонис – средиземноморской лагуны, расположенной к востоку от дельты Нила, между городами Романи и Эль-Ариш. Древнее написание слов «Ям Суф» (Красное море) и «Море тростников» одинаково. Эту лагуну, называемую ранее озером Стрибонис, упоминает античный географ Стробон. Судя по описанию Стробона, длина лагуны 200 стадий, ширина 50 стадий. Лагуна эта отделена от Средиземного моря узкой песчаной косой и связана с ним проливом Экрегма. В книге «Исход» описано, что когда Моисей воздел руки, глядя на морские воды, преградившие ему путь, то «Господь… сделал море сушею, и расступились воды». Далее написано: «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, и воды же были им стеною по правую и по левую стороны» (глава 14, стих 22). Это описание позволяет предположить, что неожиданный отлив моря возник в результате сильного землетрясения и извержения вулкана Санторин, вызывавшего волны-цунами. Сама волна цунами обычно приходит примерно через полчаса после отлива. За это время толпа беглецов могла пробежать по внезапно образовавшемуся перешейку.

Далее в Библии сказано: «Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесница его и всадники его». В этот момент пришла огромная волна и утопила войско фараона. Многократные свидетельства о характере действия цунами документально подтверждают достоверность его описания, приведенного в книге «Исход».

Современные исследования и мнения самых авторитетных ученых в этой области показывают, что это достаточно точное, почти документальное описание цунами. С этим согласен, например, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института геофизики и геологии Дальнего Востока на Сахалине, мой друг Борис Вольфович Левин и многие другие специалисты по цунами. Откуда взяться цунами в Средиземном море? Такие случаи бывали там и довольно часто, аналогично тому, что было на Суматре. Эти же самые землетрясения вызывают взрыв вулканов и вулканические извержения. Есть основания полагать, что одновременно происходили и взрывы

вулкана Санторин, который погубил крито-минойскую культуру и Праафинское государство. Тем более что до этого в Библии описано, что Моисей вел свой народ ночью, ориентируясь на столб огня, а днем – на столб дыма. Это не что иное, как многосуточное вулканическое извержение. Вот так библейские легенды позволяют понять геологическую природу тех катастроф, которые произошли уже в историческое время.

Таким образом, вероятнее всего, такие важные в начале человеческой истории события, как гибель Атлантиды на западе и Праафинского государства (крито-минойской культуры) на востоке, оборвавшая первую в истории Мировую войну, а также исход евреев из Египта, могут быть связаны с уникальной по своим масштабам геологической катастрофой в Северо-Восточной Атлантике и Средиземном море, вызванной коллизией между Африканской и Евразиатской литосферными плитами.

В итоге проведенных в Восточной Атлантике исследований мной и моими коллегами предложена непротиворечивая геолого-геофизическая модель этой катастрофы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что Платону все-таки следует верить и Атлантиду надо искать за Геркулесовыми столбами в Атлантическом океане, на вершинах обнаруженной нами затонувшей горной страны. Так что таинственная Атлантида по-прежнему ждет своих первооткрывателей.

В середине 90-х годов в мой родной Питер прибыл из Греции известный археолог профессор Ставрос Папамаринопулос, заинтересовавшийся нашими данными. Я для встречи с ним ездил в Питер и делал специальный доклад для его группы.

Была ли Атлантида или нет?
Профессор греческий внимает мне серьезно.
Ночное небо летнее беззвездно.
Струится в комнату холодноватый свет
С залива Финского. Отвечу, что была,
И положу на стол морскую карту,
И, подчиняясь детскому азарту,
Подводный опишу архипелаг,
Который наблюдал через стекло
Иллюминатора в подводном аппарате,
Где, помнится, дышалось тяжело,
И фотопленку попусту потратя,
Я рисовал старательно затем
Все то, что в полутьме доступно глазу, —
Руины башен городских и стен, —
И сам поверю своему рассказу.

Ведь этот старый выдумщик Платон,
Сократом уличенный в фантазерстве,
Не мог с Солоном разделить позор свой,
Воспоминаний завершая том.
За окнами становится темней.
Нас осеняет общая идея
Легенды допотопной. Перед ней
Ни эллина уж нет, ни иудея.
И проявив научное чутье,
Из фляги греческой некрепкое питье,
Мерцающее в сумерках, как пламя,
Мы разольем, поднявшись над столами,
И выпьем, чокнувшись, за гордый флаг ее,
За детство, что у каждого свое,
За прошлое, утраченное нами.

Вдохновившись докладом, профессор попросил срочно выслать ему в Грецию все имеющиеся данные наших работ, твердо пообещав пробить финансирование международной экспедиции под эгидой программы НАТО «Партнерство во имя мира». Получив необходимые материалы, он, однако, бесследно исчез…

В нашем институте, не без моей помощи, составили проект поисковых работ. Были найдены спонсоры, и планировалось в 1998 году вначале обследовать район банки Литл-Сол у британского побережья, а затем район подводных гор, примыкающий к горе Ампер. Однако в августе 98-го грянул экономический кризис, и отечественные спонсоры развели руками. Так миф об Атлантиде до сих пор остается мифом, не получив пока реального подтверждения. И все-таки я продолжаю верить Платону. Да и трудно не поверить человеку, написавшему много столетий назад: «Верь тому, кто ищет истину, и не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел».

Что же касается современных мифов, то наиболее известный из них, запугавший миллионы людей, – миф о глобальном потеплении. Начало ему было положено бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Альбертом Гором, в 2007 году выпустившим книгу под интригующим названием «Неудобная правда» и документальный фильм с одноименным названием. На самом деле и книга, и фильм представляют собой собрание ошибочных и неграмотных климатических «страшилок», вроде таяния ледниковых шапок Гренландии и Антарктиды, катастрофических повышений уровня Мирового океана,

предсказаний нестерпимо жаркого климата и панических призывов к отказу от автомобилей, самолетов, заводов, а также других механизмов, пожирающих углеводороды. В частности, по данным академика В.М. Котлякова и наблюдениям нашего Института океанологии за снежным покровом Полюса относительной недоступности Антарктиды, масса льда и снега этого континента за последние тридцать-сорок лет существенно увеличивалась, а не снижалась, как это уверенно утверждает Гор. Между тем, его книга и фильм, неграмотные и вредные с точки зрения физических основ формирования климатов Земли, без какого бы то ни было научного обсуждения, были шумно разрекламированы, получили немедленное признание со стороны международных чиновничьих структур, экологов и «зеленых» политиков, а также отмечены престижной международной Нобелевской премией мира. Это печальный факт, говорящий о том, что проблемами изменений климата должны заниматься профессиональные ученые, а не дилетанты и политики.

В результате хорошо организованной международной политической кампании 192 страны мира подписали и ратифицировали Киотский протокол, призывающий к сокращению выбросов в атмосферу так называемых «парниковых газов» и, прежде всего, главного из них – углекислого. Протокол этот исходит из ошибочного предположения, что эти газы якобы приводят к увеличению парникового эффекта и существенному потеплению климата Земли. Основным аргументом этой гипотезы является совпадение потепления климата в последние десятилетия XX века с одновременным повышением содержания в атмосфере углекислого газа антропогенного происхождения. При этом забывают о том, что последнее потепление климата началось еще в начале XVII века, когда о выбросах в атмосферу антропогенных парниковых газов говорить не приходилось. Тем не менее известно, что ранее наблюдались еще бóльшие климатические аномалии, например, при открытии викингами в X веке Зеленого острова (Гренландии), ныне покрытого толстым слоем льда. Кстати, резкие похолодания климата в Европе происходили неоднократно. Такой «Малый ледниковый период» был, например, в начале XVII века. Посмотрите на картины «малых голландцев» или Питера Брейгеля Старшего. Судя по свидетельствам современников, тогда покрылись льдом Босфор и Дарданеллы, а товары в Венецию возили по льду. Похолодание это имело и важные исторические последствия. Так, в Голландии испанские войска почти задавили повстанцев, но грянули морозы, и теплолюбивые испанцы побежали из Фландрии, как французы в 1812 году из-под Москвы. На Руси было еще интересней. По

данным Британского адмиралтейства, которое уже в XVII веке вменяло в обязанность своим послам во всех странах измерять и аккуратно записывать температуру в местах пребывания их миссий, Москва-река в 1601 году замерзла на Яблочный Спас, то есть 19 августа. В следующие два года повторилось то же самое. Из-за этого по всей Русской земле пошел неурожай, вызвавший страшный голод, в результате чего пало правительство Бориса Годунова и началось Смутное время.

Теперь о влиянии антропогенного выброса углекислого газа в атмосферу на климат Земли. По разным оценкам, в настоящее время за счет сжигания природного топлива в атмосферу поступает около 5–7 миллиардов тонн углекислого газа, или 1,4–1,9 миллиарда тонн чистого углерода. Это колоссальное количество углерода влияет не только на состав ее газовой смеси, но и несколько увеличивает общее давление атмосферы. Оба эти фактора действуют в противоположных направлениях, в результате средняя температура земной поверхности почти не меняется. Практически не изменится она, даже если концентрация углекислого газа увеличится вдвое, что ожидается к 2100 году. При этом повышение давления углекислого газа в атмосфере приводит к повышению эффективности сельского хозяйства и скорости восстановления вырубаемых лесных массивов. Поэтому предлагаемые международными экологическими организациями рассчитаные на многие десятки миллиардов долларов в год мероприятия по стабилизации концентрации углекислого газа не имеют смысла и вредны для экономики и сельского хозяйства. Эти средства с гораздо бóльшей пользой можно было бы использовать, к примеру, в социальной сфере.

К аналогичным выводам в 1997 году пришли и многие ученые из США, изучавшие изменения климата в разных регионах Северной Америки. В этой связи известный американский ученый, бывший президент Национальной академии наук США профессор Фредерик Зейтц отмечал: «Экспериментальные данные по изменению климата не показывают вредного влияния антропогенного использования углеводородов. В противоположность этому имеются веские свидетельства, что увеличение содержания в атмосфере углекислого газа является полезным». Зейтц подготовил петицию ученых правительству Соединенных Штатов с призывом отказаться от Международного соглашения по глобальному потеплению климата, заключенному в японском городе Киото в декабре 1997 года, и от других аналогичных соглашений. В этой петиции, в частности, говорится: «Не существует никаких убедительных научных свидетельств

того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Кроме того, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положительному влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде Земли». К настоящему времени эту петицию подписало уже более пятнадцати тысяч американских ученых и инженеров, а Киотский протокол до сих пор не ратифицирован правительством США. Определенно складывается впечатление, что он может оказаться крупнейшей международной финансовой и политической аферой, поскольку не имеет научного обоснования и противоречит физике природных процессов. Об этом, в частности, осенью 2004 года официально заявила и Российская академия наук. Однако политические круги не послушали ученых, и Россия зачем-то подписала и ратифицировала этот псевдонаучный и вредный для страны договор.

Таким же мифом является «страшилка» о том, что печально известная «озоновая дыра» якобы образуется из-за губительного влияния фреона, используемого в холодильниках. Речь идет о разрушении тонкого озонового слоя в верхних слоях атмосферы, что приводит к вредному воздействию на поверхность Земли губительных ультрафиолетовых лучей. Слухи о том, что это связано с холодильниками, распространил известный бизнесмен Дюпон, чтобы разорить своих конкурентов – фирмы, выпускающие фрионовые холодильники. На самом деле, как выяснили ученые, озоновые дыры существовали еще до появления человека на Земле, а их возникновение связано с природными явлениями в Арктике и Антарктике, в зонах с сухим и холодным климатом. Сейчас, например, озоновая дыра существует в Антарктиде, где пингвины, как известно, холодильниками не пользуются.

Надо сказать, что у меня тоже есть своя версия возможного «Конца Света», которой был посвящен один из фильмов сериала «Атланты. В поисках истины». Связана она с магнитным полем нашей планеты. Палеомагнитное изучение инверсий магнитного поля Земли показало, что смена знака поля всегда сопровождается существенным понижением его напряженности. Это приводит к практическому выключению на длительный срок магнитосферы, которая удерживает ионосферу и препятствует проникновению к поверхности нашей планеты солнечного ветра и радиационной энергии, прежде всего жесткой ее составляющей.

Можно предположить поэтому, что существенные изменения в эволюции жизни на поверхности Земли связаны с инверсиями геомагнитного поля. Одной из характерных особенностей магнитного поля Земли, природа которого до сих пор остается дискуссионной, является наличие систематических инверсий его полярности. Это, как говорится, медицинский факт.

Существование инверсий магнитного поля Земли, систематической и многократной перемены его знака в течение геологической истории нашей планеты, впервые установленное еще в начале прошлого века, убедительно подтверждено многолетними экспериментальными палеомагнитными исследованиями на суше, а также данными геомагнитных съемок и глубоководного бурения в океанических областях. Исследования эти на базе огромного фактического материала показали, что одновозрастные осадочные и вулканогенные породы, независимо от места их залегания, в пределах больших территорий обладают первичной намагниченностью, соответствующей одной и той же полярности геомагнитного поля. Работы палеомагнитологов (ученых, изучающих магнитное поле Земли в прошлые геологические эпохи) дали свидетельства того, что эти глобальные закономерности не могут быть объяснены явлениями самопроизвольного обращения намагниченности. На основании многочисленных экспериментальных данных была построена магнитохронологическая шкала инверсий геомагнитного поля в фанерозое, времени явной жизни на Земле.

Одним из наиболее важных факторов является изменение напряженности магнитного поля Земли во время самой инверсии и в смежные отрезки времени, то есть между двумя стабильными его состояниями. Так, для раннепалеозойских инверсий, продолжительность цикла которых колеблется от 10 до 300 тысяч лет, отмечается резкое падение напряженности магнитного поля. Аналогичная картина наблюдается для частых инверсий магнитного поля в пермотриасе, на рубеже палеозоя и мезозоя, а также для инверсий в мезозое и кайнозое.

Существенное падение напряженности магнитного поля Земли не может не отразиться на строении магнитосферы, защищающей поверхность нашей планеты от действия так называемого солнечного ветра. Еще в конце 50-х годов прошлого века ученые установили, что в солнечной короне, где газ обладает тепловыми скоростями порядка 180 километров в секунду, солнечное вещество может преодолевать поле тяготения Солнца и непрерывно поступать в космическое межпланетное пространство со скоростью порядка 400–500 км/с, образуя солнечный ветер. Эти потоки, в связи с упомянутой выше «вмороженностью»

магнитных силовых линий, должны увлекать с собой магнитные поля с Солнца. Встречая на своем пути геомагнитное поле Земли, солнечный ветер будет продвигаться до тех пор, пока его давление не станет равным противостоящему давлению геомагнитного поля. При таком взаимодействии потока солнечной плазмы с геомагнитным полем образуется полость, где газодинамическое давление солнечной плазмы уравновешивается давлением геомагнитного поля. Граница полости образует слой, вдоль которого течет ток, создающий пондеромоторные силы, обеспечивающие эффект магнитного «обжатия». Почти во всем огромном объеме этой полости плотность геомагнитной энергии превышает плотность внешней радиационной энергии, и поведение заряженных частиц контролируется геомагнитным полем. Именно поэтому описанная полость носит название магнитосферы Земли.

При резком падении напряженности магнитного поля Земли ее магнитосфера как бы отключается, и Земля остается без магнитного щита. Губительный поток «солнечного ветра» и жесткое космическое излучение достигают поверхности нашей планеты, убивая все живое. В структуру магнитосферы, ионосферы и атмосферы при длительном, до пятидесяти тысяч лет, «отключении» геомагнитного поля вносятся существенные изменения, которые могут нарушить их защитные функции в качестве слоев, предохраняющих поверхность нашей планеты от губительного воздействия тепловой энергии космических излучений, в первую очередь ультрафиолетовых.

Все это дает основание предположить, что инверсии геомагнитного поля и связанное с ними резкое падение его напряженности на интервалы времени в десятки тысяч лет, могут вызвать существенные региональные и глобальные катастрофы биологической жизни на поверхности Земли – от мутации до полного исчезновения отдельных видов животных и растений и замены их новыми. Можно предположить, в частности, что массовая гибель гигантских ящеров около шестидесяти семи миллионов лет до нашей эры связана не с падением метеоритов, как принято считать, а с инверсией магнитного поля на границе Позднего Мела и Третичного периода.

Мне во сне привиделось, что ли,
Что все это будет так,
И сумеют спастись лишь те,
В ком устойчива божья вера,
Потому что магнитное поле
Вдруг поменяет знак,

И в невидимой высоте
Отключится ионосфера.

И наступит кромешный ад,
И петух закричит в ночи,
Атмосферы прозрачный слой
Распадется над головою,
И из космоса полетят
Смертоносные гамма-лучи,
Убивая энергией злой
Все, что есть на пути живое.

И следа не найдете вы
От великих когда-то стран.
Не сумев избежать беды,
Задохнется во тьме планета.
Континенты умрут, увы,
Но останется океан,
Потому что толща воды
Излучение гасит это.

Будет после уже без нас
Потрясенная жить Земля,
Забывая во тьме веков
Про погибшие наши души.
Будет снова, в который раз,
Начиная отсчет с нуля,
Земноводных и пауков
Заселять на безлюдной суше.

А потом, как учили в школе,
Все вернется за шагом шаг —
Город в праздничной суете,
Небывалых расцветов эра,
Но земное магнитное поле
Вновь поменяет знак,
И в невидимой высоте
Отключится ионосфера.

В наше время есть, однако, и другие «страшилки». Одна из них, наиболее популярная, связана с работой Большого андронного коллайдера, запущенного не так давно в Швейцарии с целью исследования возможности создания «антивещества». Одна

дама в Германии даже подала судебный иск, требуя запретить эти работы, которые якобы угрожают всему человечеству, поскольку речь идет о создании «черной» аннигиляционной дыры, которая нас всех поглотит. Ну, как тут не вспомнить о знаменитой повести братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света»! Надо сказать, что после выхода моего сериала «Атланты. В поисках истины» ко мне стали довольно часто обращаться самые разные люди с вопросом о Конце Света. Частота этих вопросов особенно возросла в ноябре – декабре прошлого года, накануне роковой даты календаря Майя – 21.12.2012. Отвечая на эти вопросы, я всегда вспоминаю старый анекдот. Больная спрашивает врача: «Скажите, доктор, я могу умереть?» И врач отвечает: «А как же!» Действительно, есть немало факторов, которые могут привести к гибели нашей зыбкой цивилизации и ее исчезновения с поверхности нашей планеты. Что же касается исчезновению жизни как таковой, то все обстоит гораздо сложнее. Изучение биологических катастроф в истории нашей планеты показывает, что исчезновение одних видов, как правило, сопровождается мутацией и возникновением других. Уместно вспомнить в связи с этим уже упомянутых вестиментифер, которые даже после того, как солнце погаснет, могут дать новую форму жизни на нашей планете.

История с научными мифами невольно наводит на размышления о роли в нашей повседневной жизни реального и фантастического, о соотношении между ними. Запомнив со школьных лет фразу Ромена Роллана: «Лучше жалеть о том, что пошел, чем о том, что не пошел», я всегда охотно поддавался искушению разного рода мифов и легенд, стараясь, с одной стороны, отыскать в них реальную основу, с другой – лишний раз убедиться в ограниченности и стереотипности догматичного нашего мышления в рамках «диалектического материализма». Мучительно деля небольшое отпущенное мне жизненное время между наукой и литературой, я, в силу извечной своей слабохарактерности и дуализма, никогда не мог решительно отказаться от чего-нибудь одного во имя другого.

Мы живем в начале третьего тысячелетия, когда поток информации поглощает человека с его несовершенными возможностями целиком. Век Ломоносовых и Леонардо прошел безвозвратно. Чтобы добиться успеха в какой-то отрасли, необходимо день за днем сосредоточенно работать только в этом направлении, стать профессионалом. Я не верю в идеальную картинку, нарисованную Маяковским: «Сидят папаши, каждый – хитр: землю попашет, попишет стихи». Так не бывает. Толстой пахал изредка и по прихоти, а никто из хлебопашцев великим

писателем не стал. Дело еще более осложняется, когда речь идет о современной науке, забирающей серьезного научного работника круглосуточно с потрохами. На вопрос, что для меня наука, а что поэзия, я обычно в шутку отвечаю, что это отношение можно сравнить с отношением к жене и любовнице. Сразу же возникает второй вопрос: кто из них жена, а кто любовница? Тут все существенно осложняется. Как сказал поэт Давид Самойлов, графоман отличается от настоящего поэта только результатом труда. Вдохновение и все прочие переживания у него – такие же, ничуть не хуже. Когда пытаешься реализовать или сформулировать интересную идею в науке, испытываешь такой же азарт, такой же завод, как и тогда, когда пишешь стихи.

И все же между наукой и искусством есть непреодолимое глубинное различие. Ведь наука – это, в общем, лишь обнаружение некоего факта природы, поиск уже существующего, пусть даже очень глубоко спрятанного, хотя и здесь очень важен примат созидания, творчества. Открытие Коперником гелиоцентрической системы или Эйнштейном теории относительности – сродни творениям Данте или Бетховена. Самолет, радио, книгопечатание не существовали в природе, их надо было создать. Научный процесс близок к поэтическому, только он проистекает не из воспаленного воображения автора, а требует определенной суммы знаний. Нельзя ничего открыть или создать, не зная физики, математики, геологии. В этом смысле наука более, казалось бы, защищена от шарлатанов и невежд, чем поэзия, где порой невежество выдается за самобытность.

И все-таки, если бы не было, например, Эйнштейна, теорию относительности открыл бы кто-нибудь другой, ибо развитие человеческой мысли настойчиво подталкивало к этому открытию, ревизуя законы ньютоновской механики. Если бы Беккерель не обнаружил на фотопленке следы тяжелых частиц и не было Склодовской-Кюри или Оппенгеймера, все эти изобретения или открытия сделали бы другие. Не будь Лобачевского, другой вывел бы правила неевклидовой геометрии. Потому что это заложено в самой природе, как металл в руде. Научные открытия, даже самые великие, быстро устаревают, взяв их на вооружение, человечество теряет к ним интерес. В то же время, сколько бы ни прошло веков, ничто не заменит фаюмской живописи, никто не напишет за Пушкина ни одной строки, и никто не сочинит за Державина, как туча стремится «по наклонению небес». Так что единственная неповторимая реализация личности в истории человечества возможна только в искусстве, а не в науке.

И отношения с властями предержащими у ученого сложнее,

чем у поэта. Проблема «поэт и царь» довольно проста. Царю от поэта нужно прежде всего восхваление. Недаром говорилось, что «соцреализм – это восхваление начальства методами, доступными его пониманию». А вот от ученого властям нужны прежде всего все более современные орудия убийства. Даже Леонардо да Винчи вынужден был наниматься военным инженером. А дело Оппенгеймера в Соединенных Штатах или героическая борьба Андрея Дмитриевича Сахарова – отца водородной бомбы – за права человека? В науке и нравственные проблемы, и общественный резонанс подчас гораздо серьезнее и трагичнее.

Я и сам, много лет гордясь тем, что «для власти, для ливреи» не написал ни одной верноподданнической строчки, совершенно не считал зазорным сначала усердно искать для той же власти уран, а позднее – разрабатывать систему магнитной маскировки подводных лодок, никогда практически не задумываясь, как будут использованы результаты моих работ.

Не сгибался угодливо вроде бы,
Всемогущим хвала небесам,
И стихи про любимую Родину
По заявке властей не писал.
Про величие красного знамени
И высоких партийных идей.
Было радостно мне от сознания,
Что руду я ищу для людей.
Лишь к тебе обращался в работе я,
Бог распада – подземный Плутон,
И нисколько меня не заботило,
Что из этого выйдет потом.
Оснащенный приборами ловкими,
В океанской мерцающей мгле,
Я следил за подводными лодками,
Чтобы мир укрепить на Земле.
Самолюбие теплила гордое
Очевидная польза труда,
А поэмы начальству в угоду я
Никогда не писал, никогда.

С большим запозданием я понял, что для настоящего ученого, помимо таланта, знаний и упорства в работе, постоянного, как у спортсмена, поддержания формы, необходимы принципиальность и высокая нравственная позиция, чтобы здесь, так же, как в искусстве, «гений и злодейство» были несовместны. Что же касается моего отношения к реальности существования Бога, то

оно, пожалуй, наиболее точно отражено в старом моем стихотворении, написанном в одном из океанских плаваний:

В старинном соборе играет орган
Среди суеты Лиссабона.
Тяжелое солнце, садясь в океан,
Горит за оградой собора.
Романского стиля скупые черты,
Тепло уходящего лета.
О чем, чужеземец, задумался ты
В потоке вечернего света?
О чем загрустила недолгая плоть
Под каменной этой стеною, —
О счастье, которого не дал Господь?
О жизни, что вся за спиною?
Скопление чаек кружит, как пурга,
Над берега пестрою лентой.
В пустынном соборе играет орган
На самом краю континента,
Где нищий, в лиловой таящийся мгле,
Согнулся у входа убого.
Не вечно присутствие нас на Земле,
Но вечно присутствие Бога.
Звенит под ногами коричневый лист,
Зеленый и юный вчера лишь.
Я так сожалею, что я атеист, —
Уже ничего не исправишь.

Портреты на стене

Художник Жутовский рисует портреты друзей.
Друзья умирают. Охваченный чувством сиротства,
В его мастерской, приходящий сюда, как в музей,
Гляжу я на них, и никак мне не выявить сходства.
Я помню их лица иными в недавние дни,
Неужто лишь в скорби их жизней действительный корень?
Портрет неулыбчив любой – на какой ни взгляни,
Суров не по правде и обликом горестным черен.
Зачем мне на эти унылые лики смотреть?
Могу рассказать я о каждом немало смешного,
Да вот улыбнуться навряд ли заставлю их снова, —
Печальны они и такими останутся впредь.
Художник Жутовский, лицо мое запечатлей
В свободной ячейке угрюмого иконостаса,
Где рядом с другими и я бы таким же остался,
Забыв понемногу, что был иногда веселей.
Художник Жутовский, налей нам обоим вина.
Смахнем со стола на закуску негодные краски
И выпьем с тобой за улыбку, поскольку она
Зеркальный двойник театральной трагической маски.

У моего друга, художника Бориса Жутовского, есть серия портретов, которую писатель Фазиль Искандер, также в нее попавший, назвал «Последние люди империи». Те, о ком пойдет речь в этой части книги, уйдя из жизни, остались портретами в галерее Жутовского.

Портреты эти, очень разные и в разное время написанные, объединяет одна общая черта – печальный и неулыбчивый облик, хотя при жизни эти люди любили улыбаться. Может быть, дело в том, что, «когда человек умирает, изменяются его портреты»? А может быть, в том, что оригиналы ушли из жизни безвременно? Или в том еще, что в их лицах запечатлелись горькие черты уходящей эпохи, в историю которой навсегда врезаны их имена? Или это – печаль об остающихся, которым распад грозной Империи грозит смутными временами и гражданскими войнами, предшествующими Возрождению?

Рисовал он пару раз и меня. Первый раз – в начале 80-х, потом на несколько лет позже. Тогда его портреты меня

расстроили – неужели я и впрямь такой старый и страшный? Теперь они кажутся мне комплиментарными.

Мои воспоминания о людях, изображенных на портретах Жутовского, многие из которых висят теперь и в моем доме, не претендуют на полноту или объективность. Я горюю об их уходе и вспоминаю о них прежде всего потому, что они были близки мне и, как я запоздало понял, сыграли важную роль в появлении в моей искалеченной всеобщим и обязательным конформистским воспитанием душе того трудноуловимого, но незыблемого ощущения, которое мы не очень точно называем самосознанием. А еще я просто любил их. Вот и все…

«Я говорил от имени России»

Борис Слуцкий вошел в мою жизнь в 1959 году, хотя стихи его, конечно, мы знали раньше. Их тогда практически не печатали, и распространялись они на слух или в списках. Вообще, середина и конец пятидесятых годов – это начало раздвоения нашей литературы на официальную печатную и неофициальную «непечатную», которая ходила в списках или слепых машинописных копиях на папиросной бумаге. Так было положено начало «самиздата». Со стихами же было проще – их нетрудно было запомнить наизусть. Первые же услышанные (именно услышанные, а не прочитанные) стихи Бориса Слуцкого – это, кажется, были «Евреи хлеба не сеют» и «Нас было семьдесят тысяч пленных…» – поразили меня своей истинно мужской и солдатской, по моему тогдашнему мнению, жесткостью и прямотой, металлической точностью и весомостью звучания, совершенством монолитной строки с единственностью ее грозной гармонии. Впечатление было таким сильным, что до сих пор я читаю стихи Слуцкого с листа вслух.

Моими любимыми поэтами тогда были Редьярд Киплинг (разумеется, в переводах, ибо мое скудное знание английского ни тогда, ни позднее не позволяло читать его в подлиннике), Гумилев, ранний Тихонов, Багрицкий. Сюда относились также некоторые стихи Луговского («Басмач», напоминающий перевод из Киплинга), «Стихи 39-го года» Симонова и что-то еще. Во всех этих стихах меня привлекало «мужественное звучание», активное вторжение авторов в окружающий мир, яростная экспрессия звучных, как металл, строк. Поэтому Борис Слуцкий, которого я сразу же отнес к перечисленному любимому ряду, произвел на меня сильнейшее впечатление и стал настоящим открытием. То было время юного идолопоклонничества, и я тут же объявил для себя Бориса Слуцкого первым поэтом. Еще бы! Такие стихи, да еще легендарная биография – боевой офицер, прошел всю войну «от звонка до звонка». Преклонению моему не было предела. Помню, в ноябре 1961 года, во время встречи в Москве с Иосифом Бродским в доме общего нашего приятеля – поэта и прозаика Сергея Артамонова, меня страшно шокировало, что молодой Иосиф фамильярно называет этого выдающегося поэта Борух. «Как ты можешь, – возмутился я, – говорить о Борисе Абрамовиче в таком тоне?» – «А как же его прикажешь величать? – искренне удивился Бродский, особой скромностью в те годы не отличавшийся. – Все эти Борухи и Дезики – только для тебя поэты. Их можно поставить в одну шеренгу и рассчитать на

«первый-второй». Все это останется бесконечно далеким от истинной поэзии, которую представляю только я».

Так или иначе, но известие о том, что Борис Слуцкий приезжает в Ленинград читать стихи в Технологическом институте и университете, мигом облетело весь город, и мы, молодые «горняки» из литобъединения Горного института, решили обязательно добиться встречи с ним, тем более что вечер Слуцкого организовал Евгений Рейн, учившийся тогда в Техноложке.

Внешний облик Слуцкого, увиденного на сцене в Технологическом институте, где он выступал вместе с Евгением Евтушенко, произвел на меня серьезное впечатление, так как полностью совпал с ожидаемым представлением об авторе услышанных стихов. Полувоенный френч, строгий и независимый вид – никаких улыбочек и заигрываний с аудиторией. Седые, аккуратно подстриженные усы. Подчеркнутая офицерская выправка, усугубляемая прямой осанкой и твердой походкой. Лапидарные рубленые фразы с жесткими оценками, безжалостными даже к самому себе. Помню, кто-то попросил его прочесть уже известное нам тогда стихотворение «Ключ» («У меня была комната с отдельным входом…»). Он отказался. «Почему?» – спросили его, и он строго ответил: «Потому что это – пошляцкое стихотворение». «Господи, – подумал я, – если он к себе так безжалостен, то что же он скажет о наших стихах?»

И непреодолимое мазохистское желание показать этому олимпийскому громовержцу свои стихи и услышать его пусть беспощадное, но истинное суждение овладело мною и моими товарищами по «горняцким музам». На этом грозном фоне выступавшего перед Слуцким молодого Евгения Евтушенко, читавшего, кстати сказать, очень неплохие стихи: «О, свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные о том, что не убьют…», мы почти и не заметили.

Не помню уж, кому и как (возможно, тому же Рейну) удалось уговорить его встретиться с нами – молодыми ленинградскими поэтами. Встреча состоялась у Леонида Агеева, жившего со своей тогдашней женой Любой и только что родившейся дочерью в конце Садовой, на Покровке, именуемой площадью Тургенева, в коммунальной квартире на первом этаже огромного, с несколькими дворами, по-ленинградски закопченного старого доходного дома. В тесную комнатушку Агеева набилось человек двадцать поэтов, их жен и подруг. Было закуплено сухое вино, к которому, однако, прикасаться не разрешалось до прибытия высокого гостя. Наше ЛИТО было, кажется, в полном составе: кроме меня и хозяина дома, присутствовали Елена Кумпан, Нина

Королева, Олег Тарутин, Володя Британишский, Шура Штейнберг, Саша Кушнер, Глеб Горбовский, Яков Виньковецкий, Андрей Битов, Евгений Рейн и еще несколько поэтов и болельщиков. Все изрядно волновались, хотя вида старались не показывать, поэтому разговор не клеился.

Наконец прибыл Слуцкий, не один, а со своим старым, как он сказал, другом – полковником Петром Гореликом. Этот курчавый черноволосый полковник, снявший штатское пальто и оказавшийся в щегольской офицерской диагоналевой гимнастерке, перехваченной в талии скрипучим ремнем и увешанной орденами и медалями, был для нас, вчерашних блокадных мальчишек, как бы наглядным воплощением того недоступного нам всем фронтового героизма, поэтическим олицетворением которого являлся Борис Слуцкий. Это усилило всеобщее смущение. Борис Абрамович строго посмотрел на нас, прищурился и неожиданно произнес: «Вот вы, ленинградцы, все время без конца твердите, что любите и хорошо знаете свой родной город. Кто из вас сейчас перечислит мне двадцать общественных уборных?» Мы были шокированы этой «чисто московской» шуткой, однако напряжение начало спадать. Пошли в ход сухое вино и самодельный винегрет хозяйки Любы. Разговор, однако, приобрел характер вопросов и ответов, причем спрашивали не мы гостя, а он нас. Строго и пунктуально он требовал немедленной информации о нас самих, о наших специальностях, зарплате, кто где печатается или не печатается и почему. Кажется, не было ни одной мелочи, к которой он не проявил бы живейшего интереса. О том, чтобы задать какой-нибудь вопрос ему, не было даже речи.

Дошло дело до стихов. Слуцкий вел себя властно и на первый взгляд бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием, как будто сразу безошибочно определял их качество. Больше других ему понравились стихи Лени Агеева, и он тут же об этом заявил: «Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, а все прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!» Как ни странно, стихи Глеба Горбовского, который тогда ходил у нас в главных гениях, произвели на него меньшее впечатление. Александру Кушнеру он сказал: «Скучные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия – Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печатать не будут». – «Но у вас же тоже еврейская», – возразил кто-то робко. «Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают», – отрезал

он. Спорить с ним, естественно, никто не осмелился.

Когда дело дошло до меня, я дрожащим голосом стал читать какие-то, как мне казалось, лирические стихи. «Ну, это для Музгиза», – беспощадно сказал Слуцкий, выслушав их. Я попытался прочесть другие, но он перебил меня на середине и заявил: «А вот этого даже Музгиз не возьмет. А как ваша фамилия? Городницкий? Ну, это вообще ни в какие ворота… Мало того, что тоже еврейская, так еще и длинная. Такую длинную фамилию народ не запомнит». Я уже совершенно упал духом, как вдруг он спросил, нет ли у меня каких-нибудь стихов про войну, и я срывающимся от отчаяния голосом, уже ни на что не надеясь, стал читать незадолго перед этим написанные стихи «Про дядьку». Стихи эти неожиданно для меня Слуцкому понравились. Он вызвал из коридора своего друга Горелика, вышедшего покурить, и заставил меня прочесть стихотворение еще раз, сказав: «Повторите – полковникам такие стихи слушать полезно».

О стихах в этот вечер Слуцкий говорил много и увлеченно. Большинство присутствующих были из числа многолетних «студийцев» Глеба Семенова, занимавшихся у него – кто во Дворце пионеров, кто в Горном институте. Мы уже привыкли к его «классическому» ленинградскому стилю бесстрастного и вдумчивого слушания и обсуждения стихов. Здесь же все было совершенно иначе. Уже позже я узнал, что Слуцкий – прирожденный и профессиональный педагог. Действительно, он всю жизнь возился с молодежью и не жалел для этого ни сил, ни времени.

«Если, начиная писать стихи, – сказал он нам, – ты заранее знаешь, чем кончить стихотворение, брось и не пиши: это наверняка будут плохие стихи. Стихотворение должно жить само, нельзя предвидеть, где и почему оно кончится. Это может быть неожиданно для автора. Оно может вдруг повернуть совсем не туда, куда ты хочешь. Вот тогда это стихи».

Рассказывал он и о мало еще известных в то время своих однокашниках – ифлийцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Больше всех о Павле Когане – авторе уже любимой нами тогда «Бригантины», и Михаиле Кульчицком, которого он, как и Давид Самойлов, считал самым талантливым из всех своих сверстников. Тогда от него мы впервые услышали широко известные теперь стихи Михаила Кульчицкого:

Я думал – лейтенант
Звучит – налейте нам, —
И зная топографию,

Он топает по гравию.
Война – совсем не фейерверк,
А просто трудная работа,
Когда, черна от пота, вверх
Ползет по пахоте пехота.

Несколько лет спустя Давид Самойлов, тоже припомнив именно эти стихи, сказал: «Вот замечательные строчки. Почему у Кульчицкого пехота ползет «вверх по пахоте»? Да потому, что ползти так трудно, что кажется, ты лезешь все время куда-то вверх».

Рассказывал Борис Слуцкий и о неукротимом характере Кульчицкого. Говорил, что, когда Кульчицкого друзья-поэты (им тогда было по девятнадцать-двадцать, а многим так и осталось) обвиняли, что он порой брал у них понравившиеся ему строчки и беззастенчиво использовал в своих стихах, тот отвечал: «Подумаешь! Шекспир тоже обкрадывал своих малоодаренных современников».

Потом Слуцкий по нашим усиленным просьбам читал свои стихи. Мне тогда особенно запали в душу строки, посвященные памяти погибшего под Сталинградом Михаила Кульчицкого, о котором он только что вспоминал:

Листок поминального текста —
Страница в тонком журнале.
Он был из такого теста!
Ведь вы его лично знали!
Ведь вы его лично помните,
Вы, кажется, были «на ты»?
Писатели ходят по комнате,
Поглаживая животы.
Они вспоминают очи,
Горящие из-под чуба,
И пьянки в летние ночи,
И ощущение чуда,
Когда атакою газовой
Перли на них стихи.
А я убеждаю, доказываю —
Заметку б о нем, три строки!
Писатели вышли в писатели,
А ты – никуда не вышел,
Хотя в могиле, в печати ли,
Ты всех нас чище и выше.
А ты никуда не вышел,

Ты просто пророс травою,
И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою!

Второй раз я увидел Бориса Слуцкого уже в Москве, в 1963 году, в его небольшой, увешанной картинами без рам квартире неподалеку от метро «Сокол», в Балтийском переулке, где он жил вместе с женой Таней и куда я получил от него приглашение зайти. Все тем же строгим тоном он примерно полчаса выспрашивал у меня все ленинградские литературные и нелитературные новости, а потом сказал: «Ну что ж, читайте, посмотрим, на что вы теперь способны». После недолгой читки последовала прямая и жесткая зубодробительная критика, не оставившая от прочитанных стихов камня на камне. Справедливости ради следует сказать, что, когда я сейчас перечитываю стихи, которые осмеливался читать тогда Слуцкому, мне становится страшно. Я совершенно не понимаю, как он мог столь терпеливо слушать эти беспомощные, плохо зарифмованные вирши, да еще и обсуждать их.

Прощаясь, он неожиданно спросил: «Вам деньги нужны? Если нужны, я вам дам». Оказалось, что он многих молодых поэтов ссужал тогда деньгами, хотя и сам не был особенно богат. Важнее другое: заметив мой интерес к живописи, развешанной на стенах, он спросил: «А вы никогда не видели картин Филонова? Даже не знаете такого художника? Ну, это позор, хотя откуда вам его знать? Вот что, я вам сейчас напишу записку к его сестрам. Они живут в Ленинграде, на Невском. У них хранятся многие его работы. С моей запиской они вас пустят. Это надо смотреть».

И через несколько дней я уже звонил в старую и обшарпанную дверь коммуналки во дворе кинотеатра «Аврора» на Невском, где в страшной нужде жили две пожилых сестры одного из самых крупных художников нашего столетия, основоположника знаменитой «филоновской школы», умершего в блокаду. Меня поразила скромность их быта, отсутствие самого необходимого. Медленно двигаясь и переставляя картины и рисунки, при слабом свете несильной электрической лампочки, они показывали замечательные работы Филонова, из которых более других поразила меня «Первая симфония Шостаковича». Старухи оказались истинными ленинградками. С грустной гордостью рассказывали они мне, что Русский музей отказывается брать работы Филонова в свои запасники даже даром, ссылаясь на отсутствие помещения. Что приходили к ним американцы и предлагали огромные деньги в валюте, но что они

скорее умрут, чем отдадут это за границу. Что рисунки и картины гибнут здесь, в коммунальной квартире, осыпаются краски и карандашный графит, а у них нет даже бумаги, чтобы переложить рисунки и акварели. Помню, я принес им несколько рулонов кальки и миллиметровой бумаги.

Известный художник Борис Биргер говорил как-то мне, что Слуцкий в живописи ничего не понимал, что «у него были дырки вместо глаз». А я при этом вспоминал историю с Филоновым…

В течение 60-х и самом начале 70-х годов, до его тяжелой болезни, я встречался с Борисом Слуцким несколько раз. Несмотря на внешнюю суровость, он оказался человеком удивительной чуткости и доброты и крайне ранимым. Все время возился с молодыми поэтами, вел литературные объединения. Работа эта не всегда была благодарной, да и молодые поэты порой свысока посматривали на своего мэтра, совершенно не понимая, видимо, какая бесконечная дистанция их разделяет.

В конце 60-х годов мы неожиданно встретились с ним в Коктебеле, где он жил в Доме творчества писателей. Его жена Таня тогда уже была неизлечимо больна, и он, как мог, окружал ее трогательнейшей заботой. Ходил он при этом по вечерам по набережной все с той же прямой и суровой осанкой отставного прусского генерала. Увидев меня, он потребовал, как и обычно, творческого отчета и потащил к себе в писательский корпус. Кроме него и Тани, слушали меня литературовед Соломон Апт с женой и поэтесса Юлия Друнина, сделавшая, кстати, несколько дельных замечаний по песне «Романс Чарноты». Большую часть прослушанных стихов он как будто одобрил, но одно стихотворение – «Державин» – привело его в неописуемую ярость.

В стихотворении речь шла о старом Державине. Я читал:

Не звала чуму на домы
Од высокая хвала,
И поэта на приемы
Государыня звала.
Молодой державы гордость,
Отрывался он от книг,
Шеи старческой нетвердость
Прятал в твердый воротник.

«Стоп, прекратить читать! – закричал неожиданно Борис Абрамович. – Это безобразные стихи. Полное неприличие». – «Почему?» – спросил я, растерянный его внезапным гневом. «А потому, – сказал он сердито, – что Державину было всего лишь немного за пятьдесят, и у него не могло быть дряблой шеи».

Жизнь не баловала Бориса Слуцкого. Судьба отняла у него двух самых близких людей – мать и жену. Обе болели долго и умерли у него на руках. Он остался одиноким. Ученики не заменили ему семью. Будучи всю жизнь непримиримо требовательным к себе, честным и прямым, он на фронте вступил в партию, свято верил в конечную правоту ее дела, безусловно подчинялся партийной дисциплине. Наш общий знакомый, тоже фронтовик, Юрий Овсянников рассказывал мне, как однажды встретил Бориса Слуцкого на улице, когда тот возвращался из Союза писателей с партийного собрания. «Зачитывали закрытое письмо ЦК», – сказал Слуцкий. «О чем?» – спросил Овсянников. «А ты член партии?» – в свою очередь спросил Слуцкий. «Да!» – «Тогда я могу с тобой об этом говорить». Борис Слуцкий был политработником на фронте, на передовой, в самое трудное время войны: «Я был политработником три года, сорок второй и два еще потом».

Жесткая партийная дисциплина, привычка беспрекословно подчиняться партийному решению, идущему сверху, выработанная им еще в годы войны, привели к трагическому для его последующей жизни поступку: будучи парторгом объединения поэтов, он вместе с другими «обличителями» выступил на собрании писателей, потребовавшем исключения Бориса Пастернака из Союза писателей. И хотя в самом его выступлении как будто не было никаких слов, порочащих Пастернака, сам факт этого выступления в одном ряду с партийными функционерами, действовавшими по указке сверху, был неожиданным для всех, знавших Слуцкого, и трагичным.

Профессор Вячеслав Всеволодович Иванов, единственный человек, нашедший в те темные годы мужество открыто высказаться в защиту Пастернака, рассказывал мне о своем разговоре со Слуцким на следующий день после того злополучного собрания. Слуцкий телефонным звонком вызвал его на улицу и около двух часов говорил с ним, пытаясь объяснить свой поступок. «Он был совершенно убежден, что Пастернака посадят. А с ним вместе, по всей вероятности, и меня», – рассказывал он.

Многие бывшие друзья Бориса Слуцкого, которые и сами не высказались открыто в защиту Бориса Пастернака, осуждали его. Сам он, высоко ценивший поэзию Пастернака и более других понимающий несправедливость происходящего, тяжело переживал свой роковой поступок. Все это – жесточайший разлад с собственной совестью при его органической честности и прямоте, потеря близких людей и последовавшее одиночество, невозможность предать гласности свои стихи, которые он писал

всю жизнь и прятал в стол, – не могло не привести к глубокому и неизлечимому нервному заболеванию, отнявшему у него сначала возможность писать, а затем и саму жизнь. Эта трагедия расхождения его яростной партийной веры с реальностью происходящего отразилась в одном из лучших его стихотворений:

Я строю на песке, а тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня распался и потек.
Я мог бы это дело прекратить.
Я мог бы отдых пальцам дать корявым.
Я мог бы возмутиться и спросить, —
За что меня и по какому праву…
Но верен я строительной программе…
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.

Драматическая, полная трагизма жизнь Бориса Слуцкого, так же как самоубийство Маяковского, со всей очевидностью показывает, что поэт не должен «всю свою звонкую силу» отдавать «атакующему классу», брать на себя опасную миссию говорить «от имени России». Все это плохо кончается и неизбежно ведет к потере внутренней свободы и душевному разладу. И снова приходит на ум сравнение с Давидом Самойловым, избегавшим говорить «от имени России», сохранившим эту внутреннюю свободу при жизни. Поэтическая судьба Слуцкого – жестокая борьба поэта за свою бессмертную душу с безжалостным тоталитарным государством, договоры с которым подписываются только кровью. Победа в этой борьбе стоила Слуцкому жизни.

Последние годы перед смертью он мучился сознанием того, что его стихов якобы никто не помнит, что он предан забвению. Переживания были напрасны. Его лучшие стихи помнили и помнят тысячи людей, многие из них стали песнями (например, «Лошади в океане»). Уже после смерти поэта в его архивах были найдены сотни неизвестных ранее стихотворений, ныне опубликованных благодаря эпохе гласности и самоотверженным усилиям их собирателя, критика Юрия Болдырева, также безвременно ушедшего из жизни. Стихи его, получившие сейчас второе рождение, переведены и переводятся на языки многих народов мира. А я с благодарностью вспоминаю те недолгие часы, когда с робостью слушал его короткие отрывистые фразы и мог считать его своим ментором.

В поэзии определяет случай,
Что принимать за образцовый стих.
Был ближе всех мне в молодости Слуцкий:
Прямолинейность строк его простых,
Его одежда бывшего солдата,
И строгий ус, и бритая щека.
Был мир его сколочен грубовато,
Но, мне тогда казалось, на века.
Суровых строк неистовая вера
Была жестка, и жестким был он сам.
Удачнее не знаю я примера
Такого соответствия стихам.
И ученик в его огромном цехе,
В нем отыскав начало всех начал,
Я ждал его безжалостной оценки,
(А больше тройки я не получал).
Куда теперь от веры этой деться?
Кто нас ободрит? Кто укажет путь?
Оплакиваю собственное детство,
Которое обратно не вернуть.

«Повремени, певец разлук»

Благодаренье богу – ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине…

Давид Самойлов

С Давидом Самойловым я познакомился весной 1962 года, придя к нему домой вместе с молодыми московскими поэтами, к которым он благоволил, – Анной Наль и Сергеем Артамоновым. Жил он тогда в старом шестиэтажном «московском» доме на площади Борьбы. («Площадь борьбы с самим собой», как он в шутку ее называл.) Его еще почти не печатали, но мы уже, конечно, знали наизусть его знаменитые «Сороковые, роковые…» и «Смерть царя Ивана». В те времена вообще лучшие стихи ходили в рукописях или запоминались на слух, поскольку их, как правило, не публиковали в бдительной хрущевской прессе. Для нас поэтому тогда Давид Самойлов, так же как Борис Слуцкий, был самым главным поэтом, почти богом. Еще бы! Боевые фронтовики, прошагавшие пол-Европы, да еще такие легкие, звонкие, по-пушкински прозрачные, дышащие свободой стихи.

Со Слуцким я к этому времени уже был знаком, и его упомянутые выше суровая осанка, нарочитая офицерская выправка, строгие усы и начальственный тон, заставлявшие робеть, производили на меня серьезное впечатление. Внешность же Давида Самойлова оказалась полной противоположностью моим заочным представлениям – передо мной стоял маленький, как мне сначала показалось, небрежно одетый лысоватый человек с удивительно завораживающими и все время чему-то, даже не относящемуся к разговору, смеющимися глазами, начисто лишенный какой бы то ни было внешней внушительности, подобающей бывалому солдату и классику поэзии, каковым он в действительности и являлся.

Меня удивило и даже поначалу шокировало, что уже хорошо знакомый с ним мой ровесник Сережа Артамонов вместо почтительного обращения к нему «Давид Самойлович» называет его каким-то странным и никак не подходящим детским именем Дезик. На меня, к моему великому огорчению, Самойлов никакого внимания не обратил, так как почти все оно было тогда поглощено девятнадцатилетней Анной Наль, поражавшей своей яркой внешностью и необычными стихами. Но мне, в те поры

терзаемому честолюбием и комплексами поэтической иерархии, казалась счастьем сама возможность быть в доме такого поэта, как Самойлов, и слушать, что он говорит, хотя и говорил он в тот раз почему-то больше не о поэзии, а о вещах, от нее, на мой взгляд, далеких – например о водке. Стихи мои, уже одобренные Слуцким, он слушал недолго, явно скучая, и вполуха. «Да, – сказал он, хмыкнув, – вы не живописец», чем поверг меня в полное отчаяние. Потом ему позвонили, и он заторопился в «Метрополь» встречаться с какими-то друзьями.

Снова я увидел его два года спустя, уже в подмосковной Опалихе, куда он, женившись на Галине Ивановне Медведевой, переселился в купленный им просторный бревенчатый дом с довольно большим садовым участком. Дом этот отапливался углем, и поэтому обычно в зимнее время Самойлов наряжался в валенки и свитер, а выходя во двор по хозяйственным делам, облачался в старый армейский ватник и такую же ушанку. На черной бревенчатой стене его кабинета висели старая медвежья шкура, охотничье ружье, несколько фотографий и еще какие-то безделушки. Скрипучая, обитая для тепла дверь вела в коридор и далее – на кухню, где почти круглосуточно хлопотали Галя и ее мать, Ольга Адамовна, что-то дымилось, варилось и пеклось. Вход в «зимний» дом вел через застекленную, насквозь промерзшую террасу, уставленную старыми детскими колясками и пустыми бутылками, разнообразию этикеток которых мог бы позавидовать любой коллекционер. За домом располагались сад и огород, которые, по всей вероятности, могли бы приносить большой урожай и поначалу действительно приносили, если бы не полное равнодушие главы семейства к садово-огородным занятиям. Поэтому все это понемногу дичало и зарастало, что обеспечивало иногда неожиданное обилие дикорастущей малины.

Почти каждый будний день, не говоря уже о выходных и праздничных, распахивалась никогда не запираемая калитка, и в дом вторгались гости, обычно из числа друзей хозяина. С ними, однако, появлялись затем и их друзья, а то и просто посторонние приезжие люди, желающие повидать поэта и поделиться с ним кто стихами, кто неудачами. Все они, как правило, шли с бутылками, но похоже, что их абсолютно не интересовало, свободен ли хозяин дома от работы, желает ли он сейчас немедленно бросить свои стихи или переводы и общаться с ними. Так что многие дни и даже ночи превращались в непрерывное застолье, где одни гости вдруг спохватывались о делах и убегали к очередной электричке, но им на смену неизменно появлялись другие. Хозяин же, которого и я уже к тому времени тоже привычно называл Дезиком, постоянно пребывал за столом,

и приходилось только удивляться, когда же он успевает работать. А работа была каторжная. Стихи Самойлова печатали в те годы мало, и он жил переводами. Семья между тем разрасталась, появились дети – сначала Варвара, потом Петя, потом Павлик.

Надо сказать, что свой второй брак Дезик официально узаконил только в 71-м году, уже после рождения Пети. При регистрации не обошлось без курьезов. В то время как народная депутатка торжественно зачитывала казенный текст, старшая дочь новобрачных Варвара, которой к этому времени было уже около пяти лет, вырвалась из рук сопровождавших и кинулась к папе с мамой. «А это кто?» – испуганно спросила депутатша, прервав от неожиданности чтение. «А это их будущий ребенок», – невозмутимо ответил один из свидетелей – Анатолий Якобсон. Дети неизменно болели, всех надо было кормить, и воз переводов все возрастал. Возможно, именно в эти годы Давид Самойлов окончательно сформировался как один из главных мастеров русской школы поэтического перевода. Его поначалу-то и в Союз писателей приняли по секции переводчиков. Любил ли он эту свою многолетнюю кропотливую и не всегда благодарную работу, отнимающую время и силы, этот почти пожизненный литературный оброк, связывающий его жесткими сроками сдачи переводов и произволом редакторского вкуса? Ведь не зря ненавидели переводы, занимались ими по суровой жизненной необходимости многие выдающиеся наши поэты. Анна Андреевна Ахматова сказала как-то, что «переводить стихи – все равно что есть собственный мозг».

Помню, уже в Пярну Дезик должен был переводить какую-то огромную драму в стихах, к которой у него душа не лежала. Это называлось «двигать шкаф».

И все-таки мне кажется, что Самойлов любил переводить. Во всяком случае, стихи своих любимых поэтов он переводил с таким блеском и свойственной только ему изящной легкостью, что они органично перевоплощались в русские стихи. Благодаря удивительной музыкальности, тонкому поэтическому слуху и неповторимому таланту пересмешника, русские читатели впервые смогли открыть для себя многих поэтов Франции и Польши, Венгрии и Чехословакии, Грузии и Армении, Литвы и Эстонии. Более того, его переимчивый слух позволил ему воплотить в своих стихах многие интонации народной славянской поэзии. Отсюда стихи о воеводе Вуке, отсюда знаменитые его строки:

Если в город Банья Лука
Ты приедешь как-нибудь,
Остановишься у бука

Сапоги переобуть…

Отсюда, наконец, его несколько неожиданные для современников баллады последних лет «Ясеневый листок», «Вставайте, Ваше величество» и другие. Так Самойлов, как некогда Пушкин, брал вечные камни народной поэзии для своих поэтических изданий.

Слава Самойлова как поэта-переводчика быстро распространялась по всей стране. Издательства наперебой заказывали ему переводы. Многие поэты южных республик приезжали к нему с ящиками коньяка или винными бочонками, приложенными к рукописям. Заслуживали ли их стихи переводов такого поэта, как Самойлов? Не знаю, да это теперь и неважно, потому что русские переводы, опубликованные под их именами, были уже настоящими стихами. Дело доходило до курьезов, когда к Самойлову приезжали эмиссары с юга и за обильным столом говорили ему: «У нас есть очень хороший поэт… Надо, обязательно надо, чтобы именно вы перевели его стихи. Это настоящий поэт, очень большой. Его надо открыть для русских. Только вот у него рифма иногда бывает слабовата. Надо ему помочь с рифмой. Да, и вот у него не всегда образов достаточно в стихах. И с этим ему надо помочь… Очень просим».

Я вспоминаю авторский вечер одного из действительно хороших литовских поэтов – Эдуардаса Межелайтиса, проходивший в Москве в ЦДЛ. Зал был полон. Сначала Межелайтис читал свои стихи на литовском языке, малопонятном большинству аудитории, а потом эти же стихи читали по-русски поэты, переводившие его: Белла Ахмадулина, Юрий Левитанский, Андрей Вознесенский. В конце вышел Давид Самойлов, который, судя по румянцу и блеску в глазах, попал на сцену уже через буфет. Он блистательно прочел несколько стихотворений Эдуардаса Межелайтиса в своих переводах, а потом неожиданно сказал: «За что я люблю моего друга Межелайтиса? За то, что он очень умный человек и подружился с хорошими русскими поэтами, которые переводят его стихи на русский. Вот поэтому-то он и классик». Межелайтис и впрямь оказался умным человеком, и дело закончилось смехом.

В начале 80-х в Москве в театре «Современник» была снова поставлена знаменитая комедия Шекспира «Двенадцатая ночь». Поставил ее специально приглашенный для этого английский режиссер Питер Джеймс. По этому случаю Давиду Самойлову театр заказал новый перевод пьесы. И Самойлов перевел Шекспира, притом совершенно современным языком, языком

Москвы 70-х годов, да еще и несколько озорных зонгов написал к комедии на музыку Давида Кривицкого. Я присутствовал на премьере в театре на Чистых прудах, куда, ввиду отсутствия билета, прошел по номерку от пальто Самойлова из гардероба. В спектакле, конечно, были заняты все ведущие актеры: Мальволио играл Олег Табаков, сэра Эндрю Эгьючика – Олег Даль, шута – Валентин Никулин. Главное ощущение, оставшееся у меня от спектакля, – постоянное состояние совершенно до неприличия неудержимого смеха, овладевавшего мной на протяжении всего театрального действия. Смеялся я так, что на меня оборачивались соседи. После спектакля всех актеров и англичанина-режиссера много раз вызывали на сцену бурными аплодисментами. Наконец вытащили туда и Самойлова и долго ему хлопали. Вернувшись оттуда, он сказал мне, тронутый успехом: «Ты понимаешь? Я же выходил за автора!»

Помнится, потом поехали отмечать премьеру в его московскую квартиру, бывшую тогда на Пролетарском проспекте. Было много народу, включая английского гостя. Все говорили о том, что Самойлов должен теперь перевести заново все комедии Шекспира, чтобы дать им новую жизнь – как Пастернак дал новую жизнь шекспировским трагедиям. Жена же Галя этой идеи явно не одобряла. Меня это удивило, и, когда гости разошлись, я спросил ее об этом. Она сердито ответила: «Дезик должен прежде всего писать стихи». – «Что ты, – возразил я, – это ведь тоже стихи – Шекспир». – «Ты не знаешь Дезика, – сказала она. – Он все хочет делать сразу: стоять на сцене, переводить Шекспира, пить с друзьями, крутить роман и писать гениальные стихи, и при этом в одно и то же время. Так не бывает». Она была права. Больше Давид Самойлов Шекспира не переводил…

Возвращаясь же к поэтическим переводам Самойлова, можно с уверенностью сказать, что даже если бы он совсем не писал собственных стихов, то все равно остался бы в нашей литературе как непревзойденный мастер поэтического перевода. Когда стихи переводит не просто переводчик, а поэт, всегда происходит как бы противоборство двух личностей, двух поэтических систем, где побеждает сильнейший. Чтобы убедиться в этом, достаточно восстановить в памяти, например, прекрасные переводы шекспировских сонетов, сделанные Самуилом Маршаком, и его собственные стихи, скорее похожие на переводы. Обратный пример – с Эдуардом Багрицким, переведшим «Балладу о рубашке» Томаса Гуда, где перевод убедительнее подлинника. У Самойлова же, сильного и самобытного русского поэта, было редкое чувство вкуса и меры, никогда не позволявшее ему «гнуть под себя» чужие стихи. Может быть, именно это и обеспечило

точную гармонию переводов.

В середине 70-х годов Самойловы купили – сначала частично, а потом и целиком – дом в Пярну, в Эстонии, на берегу Пярнуского залива, и практически переселились туда. Знаменитый и многим памятный дом в Опалихе был продан и прекратил свое литературное существование. А жаль! Ведь именно этот дом, где в гостях у Самойлова бывали многие видные литераторы – от Анатолия Якобсона и Фазиля Искандера до Вячеслава Иванова и Лидии Корнеевны Чуковской, – стал теперь своеобразным памятником эпохе 60-х годов. В нем всегда жили какие-то приехавшие родственники или ученики, а то и просто друзья. Быт, хотя и трудный, полусельский быт дома, где росло трое детей, никогда не бывал проблемой – как на палубе корабля, где в машинном отделении все в порядке.

Частые застолья и вереница гостей образовывали как бы внешнюю декорацию этого дома. Каждое утро, даже с тяжелой головой, хозяин садился за свою нелегкую и часто постылую работу. А разговоры за столом были совсем не праздными. Шли 60-е годы, когда перед российской интеллигенцией стоял трудный выбор – эмиграция или духовная внутренняя борьба, противостояние тупой махине полицейского государства. Тесная дружба связывала Давида Самойлова с людьми, близкими к диссидентскому движению, – Львом Копелевым, Лидией Корнеевной Чуковской, Юлием Даниэлем (после его возвращения из ссылки), Вячеславом Всеволодовичем Ивановым.

Наиболее трагической фигурой в этом окружении оказался поэт и переводчик из семинара, который вели в те годы Давид Самойлов и Мария Петровых, Анатолий Якобсон – самый, пожалуй, любимый ученик Самойлова. Талантливейший литератор, человек с болезненно обнаженной совестью, со всей юной горячностью и непримиримостью, он отдал свою жизнь диссидентскому движению, став одним из самых основных составителей знаменитой «самиздатовской» «Хроники текущих событий», и тем обрек себя на тюрьму или высылку. Все, что писал в те годы Якобсон, и в первую очередь его блестящие литературоведческие работы, в том числе книга о Пастернаке и статьи об Ахматовой, поэме Блока «Двенадцать», советских поэтах-романтиках, во многом черпалось из общения с Дезиком. Самойлов долго и болезненно переживал его вынужденный отъезд и последовавшую затем безвременную и трагическую гибель, которой он посвятил стихи. Для всех этих людей и для многих других, включая А.Д. Сахарова, Давид Самойлов был в те годы мерилом общественного самосознания. Тогда интеллигенция тянулась к поэтическому слову, и он стал одним

из главных центров этого поэтического притяжения.

Вместе с тем Самойлов всегда был последовательным противником эмиграции и убежденно считал, что российский писатель не должен покидать родину, полностью солидаризируясь в этом с Ахматовой и Сахаровым. В его архивах сохранились не отправленные им письма к Солженицыну, где он формулирует свою позицию. Кроме того, Самойлов, подобно Пушкину, физически ощущал потребность быть независимым как от официальных инстанций, так и от политических движений, которым сочувствовал. К нему полностью могут быть отнесены автобиографические строки Пушкина в его выдуманном переводе «Из Пиндемонти»:

> Зависеть от властей? Зависеть от народа?
> Не все ли нам равно? Бог с ними! – Никому
> Отчета не давать! Себе лишь самому
> Служить и угождать. Для власти, для ливреи,
> Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи…

В старом бревенчатом, потемневшем от времени опалихинском доме существовал в те годы особый, не всегда трезвый, но неповторимый социум творческих людей и витал тот странный дух свободы, который я нигде не встречал за его пределами. Иногда меня охватывает ностальгия по нему. В Пярну тоже был дом, гораздо более роскошный и вместительный, однако в Пярну это чувство не возникало. Может быть, потому, что прошли годы, и все стало восприниматься по-другому, а может быть, и потому еще, что дом этот стоял уже не посередине нашей жизни в Подмосковье, а в эстонском курортном городке, среди чужого языка, чужой истории и быта, и все поэтому виделось не изнутри, а как бы со стороны.

И здесь, однако, Давид Самойлов со свойственной лишь ему редкой особенностью становится центром общения, создает удивительное литературное силовое поле, в зону действия которого попадали все приезжавшие в Пярну друзья и литераторы. Я в свое время даже придумал выражение «дезоцентрическая система». Поэтому с середины 70-х многие завсегдатаи Опалихи, в том числе и мы, стали наезжать летом в Пярну. Организовывались купания, хотя купаться Самойлов любил не очень, так как после болезни плавал плохо. «Люблю природу, но не люблю стихию», – сказал он как-то. Устраивались разнообразные литературные игры, до которых Дезик был великий охотник. Чего стоит, например, его стихотворная переписка «Из Пярну – в Пярну» с отдыхавшим там в то время

Львом Зиновьевичем Копелевым, которому он писал, в частности:

Ты всегда бываешь, Лев, – лев,
Не всегда бываешь, Лев, прав.

Вместе с рижским писателем Юрием Абызовым, своим давним приятелем, Самойлов придумал целую страну – Курзюпию, с историей и, конечно, своей литературой, которую они старательно переводили на русский язык. Был создан также специальный словарь курзюпского языка и ряд курзюпских имен – такие, например, как имена двух сестер – Ссална Ваас и Клална Ваас.

Иногда, в вечернее время, совершались посиделки «на Ганнибаловом валу», крепостной стене старинного города Пернова, возведенной, по преданию, под руководством и по чертежам знаменитого прадеда Пушкина – царского арапа Абрама Петровича Ганнибала, что нашло потом отражение в известной поэме Давида Самойлова «Сон о Ганнибале». Дезик обладал неистощимой мальчишеской фантазией на различного рода выдумки и затеи. Например, надевал шляпу и очки, брал в руки трость и изображал «богатого старика», каким он хотел бы когда-нибудь стать. Или, только что написав песенку на музыку композитора Бориса Чайковского для детской пластинки «Слоненок-турист», собирал вокруг себя детей и взрослых. Все прыгали на одной ноге и дружно распевали вслед за ним: «Цык-цык, цуцик, цыкцык, цуцик».

В те июньские дни, что катились ни шатко ни валко,
В ту эпоху, что стала теперь чужая,
Давид Самойлов, подвыпив, брал канотье и палку,
Старика богатого изображая.
Это было в Опалихе, помнится, или в Пярну —
Городке, казавшемся иностранным.
Он играл старика, который живет шикарно
И красивых женщин водит по ресторанам.
Мы приплясывали вокруг на одной ножке,
Еще не сменившие водку на кока-колу,
Распевая песенку из пластинки с картинкою на обложке,
Изображавшей слоненка, идущего в школу.
Самойлов не стал стариком, умерев молодым на сцене, —
Он остался ребенком, взбалмошным и капризным,
И когда в его строчках ищу для себя панацею,
Надо мною витает хмельной и веселый призрак.

Я и сам сегодня старше его, пожалуй.
На могиле Самойлова с вязью латинской камень.
Поколение славное кончилось с Окуджавой
Воевавших поэтов, не сделавшихся стариками.
Вспоминая песенки, певшиеся когда-то,
Подсчитавший свои пенсионные скромные средства,
Все горюю о том я, что старость моя не богата
Ни осеннею мудростью, ни откровеньями детства.

Шутки Самойлова были неистощимы. Будучи свидетелем в ЗАГСе при моей женитьбе в 1972 году, он сказал: «Алик, я должен преподать тебе основы этики семейных отношений. Жене, конечно, можно и нужно изменять, но есть нравственные нормы, которые переступать нельзя. Например, – ты пришел домой в пять утра. Ну, бывает, – засиделся у приятеля, выпили, ничего. А теперь представь, что ты пришел домой не в пять, а в половине шестого. Это уже совсем другое дело – ты не ночевал дома. Ты понял разницу?» На мое пятидесятилетие он прислал из Пярну стихотворное послание:

Городницкий, – пятьдесят
Это, брат, не фунт изюма.
Это, я сказал бы, брат,
Основательная сумма.

Юмор не покидал Давида Самойлова даже в самых критических ситуациях. Когда к нему пришел глазной врач накануне операции по снятию катаракты на глазах (прошедшей, к сожалению неудачно), чтобы определить, насколько у больного ослабло зрение, Самойлов заявил: «Понимаете, доктор, – бутылку вижу, а рюмку нет». К женщине-хирургу перед операцией он обратился со стихами:

Роза Александровна, вырежьте мне глаз,
Ибо этим глазом я не вижу вас.

Когда я думаю о Самойлове, его облик в моей памяти всегда связан с его домом. В Опалихе или Пярну, но обязательно с домом. В Москве, на Астраханском, у Самойловых была городская квартира, но Дезик ее недолюбливал, бывал в ней недолго, наездом. Просторно он чувствовал себя только в доме. В доме, где плачут или смеются дети, пыхтит и варится что-то на кухне,

шумят за столом и спорят наехавшие гости. А на другом столе, в кабинете, ждет начатая рукопись. А за стенами дома лежат подмосковные задымленные снега или шумит неприветливая осенняя Балтика. Не оттого ли образ Дезика легко ассоциируется в моем сознании с образами маститых мастеров Возрождения, в их шумных итальянских домах, окруженных подмастерьями, учениками, детьми и домочадцами? Помните его «Свободный стих»? Сейчас таких мастеров больше нет. Ушел последний.

Самойлов, вообще, чем дальше, тем больше, не любил большой город с его суетой, беспрерывными телефонными звонками, отсутствием моря или леса и своей постоянной зависимостью от конъюнктуры событий, здесь происходящих, на которые он, как один из первых поэтов, обязательно должен был реагировать. Он ощущал органическую потребность быть подальше от суетной и бестолковой столичной жизни с ее важными на первый взгляд не имеющими отношения к поэзии событиями. К нему полностью могут быть отнесены строки Иосифа Бродского из «Писем римскому другу»:

Если выпало в Империи родиться,
То уж лучше жить в провинции, у моря.

Давид Самойлов и жил «в провинции, у моря», найдя наиболее удобную для себя форму внутренней эмиграции. «Я выбрал залив», – пишет он сам о себе. Пожалуй, именно здесь и происходит его главный личностный и поэтический водораздел с Борисом Слуцким. Тот всю жизнь старался быть как можно ближе к центру событий, жадно впитывал в себя все последние новости, стараясь все время быть в курсе происходящего. Его стихи почти всегда неразрывно связаны с конкретными политическими событиями, переживаемыми нашей страной: «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин», «Покуда над стихами плачут», «Евреи хлеба не сеют», «Я строю на песке». Эти и многие другие стихи его поражают прицельной точностью беспощадных жестких формулировок, острой актуальностью и незамедлительной быстротой реакции. На этом фоне стихи Давида Самойлова кажутся мягкими, порой совсем неактуальными. В них часто как бы отсутствует личная позиция автора (как, например, в одном из лучших его стихотворений «Пестель, поэт и Анна»). Самойлов избегает жестких форм и формулировок, поэтических силлогизмов, внешней экспрессии стиха. При внимательном чтении, однако, убеждаешься, что поэтическая ткань его стихов гармонична и неразрывна, и негромкие, казалось бы, откровения поражают своей глубиной:

Ах, как я поздно понял,
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,
И что порой напрасно
Давал страстям улечься,
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься.

Или:

Ночь стоит ледяно и сухо,
Ночь стоит высоко и звездно, —
Не склоняй доверчиво слуха
К прозревающим слишком поздно.

Одной из главных особенностей стихов Давида Самойлова является присутствие воздуха в его стихах, ощущение удивительной музыкальной гармонии их звучания. Секрет этого остается непонятным. Это прозрачная пушкинская гармония не «поверяется алгеброй». При всем очевидном несходстве эпох, лексики, судеб и характера поэтических талантов, как это некоторым ни покажется странным, звонкие самойловские стихи более всего сродни пушкинским. Их сближает, помимо прочего, легкость и кажущаяся простота.

Не менее важным параметром, связывающим напрямую поэзию Самойлова с пушкинской, можно считать то постоянное ощущение улыбки, которое присутствует у Самойлова даже в самых серьезных стихах – явление вообще достаточно редкое и потому особенно ценное в русской поэзии: «Все это ясно видел Дибич, но не успел из дома выбечь», или: «По ночам бродил в своей мурмолочке, замерзал и бормотал, – нет, сволочи! Пусть пылится лучше – не отдам». Не говоря уж о таких его поэмах, как «Дон-Жуан» или «Юлий Кломпус». Помню, как после первого прочтения озорной поэмы «Юлий Кломпус» в Москве, куда он привез ее из Пярну, Дезик сказал мне: «Сам не знаю, как она у меня выскочила. Время было самое неподходящее. Понимаешь, Петя болеет, Галя – черная, денег нет, а из меня, как назло, прет эта поэма. Ну что ты будешь делать!» Действительно, по свидетельству Галины Ивановны, «Юлий Кломпус» был написан во время второй Петиной реанимации, когда ночью до приезда реаниматора родители попеременно держали тяжелый водопроводный шланг, из которого наскоро соорудили

дыхательную трубку для Пети.

Может быть, именно поэтому Самойлову всю жизнь ближе других оставались светлые, несмотря ни на что, образы гениальных Шуберта и Моцарта: «Шуберт Франц не сочиняет: как поется – так поется». Или: «Но зато – концерт для скрипки и альта!» Солнечная поэтическая натура Давида Самойлова была прямым продолжением его могучего жизнелюбия, побеждающего болезни. Помню, как-то в Пярну его вместе с нами пригласили в «генеральскую» финскую баню, стоявшую на берегу реки. Войдя в роскошный, устланный оленьими шкурами и увешанный рогами и светильниками предбанник, мы обнаружили посреди него огромный стол, уставленный до отказа разнообразными бутылками и закусками. Все, покосившись на стол, прошли дальше в раздевалку, а Дезик сел и сказал: «Я, вообще-то, баню не люблю. Я бы лучше сейчас отдохнул и чего-нибудь выпил».

Что же касается политизированной декларативной эстрадной поэзии, ставшей столь модной в начале 60-х и снова набирающей силу в наши дни, то Самойлов ее откровенно не любил, не считая ее явлением поэтического ряда. С горечью говорил он мне при последней встрече в Москве, у него дома на Астраханском, о мутной волне политизированной поэзии, которая поднимается сейчас, о конъюнктурных однодневках, звучащих с эстрад, о том, что действительная поэзия становится не нужна в наш публицистический период, жадный до сенсаций и разоблачений. При всем том Самойлов всегда был подлинно русским поэтом с государственным сознанием того ушедшего поколения, которое кровью своей на полях самой кровавой войны в истории человечества заплатило за право на это сознание.

Во всем остальном же, впрочем, он был совершенно русским, а не «русскоязычным», как его стараются представить идеологи литературной «черной сотни», писателем. Не случаен в связи с этим его живой интерес к российской истории. Исторические стихи и стихотворные драмы Давида Самойлова – тема отдельного исследования. Во всех своих исторических произведениях он концептуален. Это не красочные иллюстрации к минувшим событиям былого, а как бы опрокидывание их в проблемы сегодняшнего дня. Наиболее яркий пример этого – поражающая своим лаконичным изяществом поэма «Струфиан», в которой императора Александра I похищают из Таганрога инопланетяне. Фантастический современный фон, возникший в поэме на основе рассказов и лекций одноклассника Дезика, известного «тарелочника» Феликса Юрьевича Зигеля, совсем не случаен. Он подчеркивает актуальность проблем государственного переустройства бунтующей многонациональной

империи. И в челобитной, подаваемой государю Федором Кузьминым, легко угадывается современная программа сторонников «патриотической России»:

Чтоб России не остаться
Без хомута и колеса,
Необходимо наше царство
В глухие увести леса…
И, завершив исход Синайский,
Во все концы пресечь пути,
А супротив стены Китайской
Превыше оной возвести.
В Руси должна быть только Русь.
Татары ж и киргиз-кайсаки
Пусть платят легкие ясаки,
А там – как знают, так и пусть!

В стихотворной драме «Меншиков» тупая махина государства ломает все нормальные человеческие чувства, и прежде всего любовь прежде всего любовь сына литовского гетмана графа Петра Сапеги и Марии Меншиковой. Историческая поэма «Сон о Ганнибале», посвященная, казалось бы, семейной драме знаменитого предка Пушкина, на самом деле посвящена сложным, всегда актуальным проблемам любви и взаимного понимания близких людей. «Он заплатил за нелюбовь Натальи» – это уже о Пушкине и обо всех нас. Поэмы Самойлова, как правило, коротки. Для них характерно стремительное развитие сюжетов и характеров героев. Композиция – редкий дар. Давид Самойлов владел им в совершенстве, что еще раз обличает в нем мастера. Он, кстати, сознавал это и не без гордости говаривал: «Ну, уж сюжетом-то я владею».

Поразительна художественная ткань этих поэм, где реплики героев органично сплетаются в строке с описанием происходящего на сцене: «Дон-Жуан, Чума! Холера! (*Треск, гитара, мандолина!*) Каталина! Каталина! (*Входит.*) Что вам, кабальеро?» Предельно точны изображения: «Доныне эту вязку я помню под рукой и грустную развязку с искательницей той». Что же касается истории, то и в поэмах, и в емких исторических стихах («Смерть Ивана», «Конец Пугачева») автора привлекали прежде всего нравственные проблемы, связанные с поступками героев, соотношение государственной необходимости и христианских заповедей. Все беды «Смутного времени» на Москве происходят «потому, что маленьких убивать нельзя!». Показателен в этом отношении и диалог Ивана Грозного с

обреченным на мучительную смерть холопом:

– Ты милосердья, холоп, не проси.
Нет милосердных царей на Руси.
Русь – что корабль. Перед ней – океан.
Кормчий – гляди, чтоб корабль не потоп!..
Правду ль реку? – вопрошает Иван.
– Бог разберет, – отвечает холоп.

Почти все поэмы Самойлова, от «Снегопада» до «Кломпуса», так же, впрочем, как и стихи, во многом биографичны. Даже когда автор пишет о легендарном мастере Средневековья Вите Ствоше, в конце жизни отправившемся в Нюрнберг и «запропавшем по дороге», он пишет во многом о себе. Вместе с тем если развивать дальше дискуссионную тему о сходстве Самойлова и Пушкина, то необходимо отметить еще одну общую черту – некую внешнюю непричастность художника к изображаемым им героям и событиям. Именно эта черта Пушкина вызвала критику со стороны Андрея Синявского в его знаменитой работе «Прогулки с Пушкиным», публикация которой в журнале «Октябрь» наделала столько шума. Так же, как и Пушкин, Самойлов равно доброжелателен ко всем своим героям, но как бы отстранен: «Как прощался он с Устиньей, как коснулся алых губ, разорвал он ворот синий и заплакал, душегуб». В стихах и поэмах Давида Самойлова нет резонерства. Они рассчитаны на умного собеседника, который сам сумеет во всем разобраться.

Еще живя в Опалихе, Самойлов наряду со стихами начал писать автобиографическую прозу, книгу о себе, своей эпохе, своих современниках. Книгу эту он не успел закончить, но даже те куски из нее, которые мне посчастливилось услышать в его чтении, очень значительны как по содержанию и нравственной позиции автора, так и по все той же неповторимой летящей легкости самойловского стиля.

Говоря о литературном стиле Самойлова, с сожалением приходится заметить, что этот прозрачный пушкинский поэтический стиль, ставший в наше время модернистских новаций уникальным, с его уходом может оказаться вообще утраченным. В своей поэзии Давид Самойлов со всей глубиной показал огромные, еще не использованные богатства классической русской поэзии. Не случайно поэтому он занимался специальным изучением русской рифмы, разработкой теории стиха. Его знаменитая «Книга о русской рифме» – одна из редких книг такого рода, написанная не литературоведом, а поэтом, остается бесценным вкладом в поэзию и литературоведение.

Всю свою жизнь Давид Самойлов как магнит притягивал к себе поэтическую молодежь. У него было много учеников, однако все они пишут иначе. Его моцартовский легкий стиль никто из них перенять не сумел. Может быть, именно об этом думал он еще в молодости, когда написал в стихотворении «Старик Державин» пророческие строчки:

Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!

К своим публичным выступлениям, которых было немало, Давид Самойлов почти всегда готовился тщательно, продумывая их композицию до деталей. У него был на редкость обаятельный голос и такая же завораживающая манера читать стихи – очень мягкая и ненавязчивая. В отличие от многих московских поэтов, превращающих чтение стихов в эстрадный номер или выступление на митинге, размахивающих руками и жестикулирующих каким-то особым образом, вскрикивающих вдруг в процессе чтения своих стихов, чтение Дезика начисто было лишено какой бы то ни было внешней аффектации. Стихи его были настолько насыщенны и естественны, что совершенно не требовали никаких звуковых или мимических дополнений при чтении. Голос его – казалось бы, негромкий – с удивительной точностью передавал все оттенки и полутона звучащей строки. Послушайте его аудиодиски – и вы сами немедленно убедитесь в этом.

В последние годы на своих авторских вечерах в Москве, Ленинграде и Таллине, где у Самойлова сложилась своя многолетняя аудитория, он, как правило, выступал не один, а с кем-нибудь из своих друзей-актеров, которые читали его стихи. Обычно это были Михаил Козаков, Рафаэль Клейнер, Яков Смоленский, Зиновий Гердт, Лилия Толмачева. Все они актеры и чтецы самого высокого класса, глубоко любившие Дезика и его стихи и вкладывавшие в чтение весь свой талант. Чтение их – само по себе неплохое, звучавшее, как правило, в первом отделении каждого вечера, – ни в какое сравнение, конечно, не шло с чтением самого автора во втором отделении, несмотря на то что в последнее время Дезик забывал строчки (и тут же весь зал принимался хором их подсказывать), снимал и надевал очки при чтении и держался без всякого сценического напряжения. «Играть» на сцене его даже остросюжетные поэмы было совершенно не нужно. Так, однажды, читая его поэму «Сон о

Ганнибале», Михаил Козаков решил почему-то разыграть на сцене роли ее персонажей и стал усиленной мимикой изображать то девицу Моор, то лихого Норцова, что вызвало в зале смешки и внесло элемент балагана, но нарушило грустный и меланхолический гармонический строй звучащей поэмы, которая была совсем не смешной. Рафаэль Клейнер, много лет работавший с Дезиком, который был режиссером многих его поэтических моноспектаклей (по стихам поэтов, погибших на полях Отечественной войны, – «Строки, пробитые пулей», по Алексею Константиновичу Толстому и так далеее), читая стихи Самойлова, всячески смирял свой громовой голос, стараясь передать мягкость Дезиковых интонаций.

Вспоминаю, как после одного из последних вечеров Самойлова в ЦДЛ мы вместе с Гердтами заехали к нему домой на Астраханский. Дезик был недоволен вечером, реакция зала казалась ему холодной. «Понимаете, – жаловался он, – раньше, когда я читал свои поэмы, от них гул шел. А теперь нет гула, не чувствую я его». Гердт допил свою рюмку коньяка, поставил ее на стол и патетически произнес: «Гул затих». Все засмеялись.

Так же нелегко было переложить стихи Самойлова на музыку. Я помню, как нелепо и чужеродно к стихам звучал в сопровождении фортепьяно уж не помню кем написанный романс на стихи «Я – маленький, горло в ангине», да еще и с вокальной сопрановой колоратурой. Всякая внешняя патетика и напыщенность не уживались с органическим строем этих стихов. Мне кажется, что только Сергею Никитину и Виктору Берковскому, талантливым композиторам-самоучкам с прекрасным поэтическим слухом, удалось найти правильную интонацию музыкальной аранжировки его стихов. Это относится к песням Сергея Никитина «Триптих о царе Иване», Виктора Берковского «Сороковые-роковые» и многим другим.

Однажды Сергей Никитин спел мне только что написанную им на стихи Самойлова новую песню «Давай поедем в город». Мелодия песни, показавшаяся оригинальной и точной, мне понравилась, о чем я Сергею тут же и сказал, поздравив его с тем, что ему удалось придумать такую хорошую мелодию. «Да я вовсе и не придумывал ее, – ответил он, – она уже была в стихах. Просто я ее извлек и подчеркнул». Сам Самойлов песен, как правило, не писал (не считая, конечно, работы с театрами, в результате которой, в частности, появилась ставшая народной и безымянной уже упомянутая песня «Ах, поле, поле, поле» или песни для «хора терских казаков» в годы, когда его не печатали).

Его однокашник по ИФЛИ, поэт и прозаик военного поколения Евгений Агранович, вспоминал, как в послевоенные

годы, когда их собственные стихи не печатали, они писали песни на заказ втроем – он, Борис Слуцкий и Давид Самойлов. Происходило это примерно так. Самойлов звонил с утра по телефону Аграновичу или Слуцкому и говорил: «Приходите ко мне к соавторку». Слегка подкрепившись, они начинали сочинять песни. В каждом куплете кто-то начинал первую строку, а другие продолжали. Весьма характерный пример, приведенный Евгением Аграновичем, такой:

Привели в отделенье милиции (*Агранович*)
Где паркет, и букет, и портрет (*Слуцкий*),
Девчоночку в платьице ситцевом
Восемнадцати с чем-нибудь лет (*Самойлов*).

Кстати, сам Евгений Агранович, родившийся в 1919 году и поступивший в Литературный институт в 38-м, в том же году вместе с Борисом Смоленским написал широко известную песню «Одесса-мама»:

В Одессе зажигаются огни,
И корабли уходят в море прямо.
Давай поговорим за берега твои,
Любимая моя Одесса-мама.

С первых дней войны Агранович отправился на фронт рядовым 22-го отдельного истребительного батальона и именно тогда, в самые тяжелые дни войны, написал знаменитую песню, которую я (а возможно, и многие другие) приписывал Редьяру Киплингу:

День-ночь, день-ночь,
Мы идем по Африке.
День-ночь, день-ночь,
Все по той же Африке.
И только пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог, —
Отдыха нет на войне.

В 1942 году Евгений Агранович – уже военный корреспондент, старший лейтенант. Он закончил войну в Германии, а после демобилизации в 1946 году долго не мог восстановиться в Литературном институте из-за начавшейся в

стране антисемитской кампании. Для его восстановления потребовались ходатайства Константина Симонова и Павла Антокольского. В последующие годы поэт, прозаик и драматург Евгений Агранович, став профессиональным сценаристом, неоднократно писал песни для кинофильмов, из которых наибольшую известность приобрела песня «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Он ушел из жизни в январе 2010 года в возрасте девяноста одного года.

Другим однокашником Самойлова, писавшим песни, был поэт Михаил Львовский, написавший в соавторстве с Михаилом Светловым знаменитый «Глобус». Ему принадлежат также замечательные песни «На Тихорецкую состав отправится» и песня, которую любил петь Самойлов, начинавшаяся такими строчками:

Если пойдешь от Ольховки
Прямо за Уральский хребет,
Ты подойдешь к океану,
Лучше которого нет.
Дальше пойдет Сан-Франциско,
За Сан-Франциско – Нью-Йорк.
Через Париж и Варшаву
Все к той же Ольховке придешь.

Еще один многолетний приятель и современник Давида Самойлова Георгий Лепский, служивший во время войны в железнодорожных войсках, еще в 1937 году вместе с однокашником Самойлова по ИФЛИ Павлом Коганом написал, пожалуй, самую знаменитую песню нашей молодости «Бригантину» (стихи Павла Когана, музыка Георгия Лепского).

И Евгения Аграновича, и Михаила Львовского, и Павла Когана с Георгием Лепским вполне можно причислить к предтечам авторской песни.

Сам Давид Самойлов к авторской песне относился довольно равнодушно. Именно ему принадлежит крылатая фраза: «Истинная поэзия не нуждается в гитарной подпорке». Это, однако, не мешало ему любить Окуджаву, Высоцкого и Кима, которому он незадолго до своей смерти написал предисловие для книжки.

Ким, кстати, поведал мне забавную историю о том, что как-то в Пярну Дезик пригласил его к себе в качестве «эксперта» по авторской песне. В этот день к нему в гости приехал откуда-то издалека поэт, пишущий песни, предусмотрительно прихватив с собой пару бутылок коньяка. Прикончив первую бутылку, Самойлов благосклонно предложил поэту показать свои песни.

После их исполнения первое слово, как специалисту, было предоставлено Юлию Киму. Песни Киму не понравились, однако и обидеть гостя при Самойлове он не решался, поэтому говорить начал уклончиво: «Понимаете, песни, с одной стороны, неплохие, но с другой стороны – в них не хватает того-то и того-то». Дезик долго и терпеливо слушал рассуждения Юлика, а потом выпил очередную рюмку и с римской прямотой громогласно заявил: «А по-моему, все это – полное говно!»

Вспоминается также история с еще одним известным бардом, приехавшим на поклон к Самойлову из Харькова, тоже, конечно, с бутылкой. Самойлов с ласковой улыбкой слушал его песни под гитару, и бард удалился в полной уверенности, что покорил сердце сурового мэтра. Когда дверь за гостем закрылась, Дезик, поставив пустую рюмку на стол, поднял вверх палец и глубокомысленно произнес: «Так должен уметь каждый еврейский мальчик».

Еще с фронтовых и даже с военных ифлийских лет Самойлов любил застолье и был изрядным сердцеедом. Невысокого роста, подвижный и порывистый в молодости, как Пушкин, с завораживающе красивыми и живыми глазами, на сердца всех женщин действовал он безотказно, что создавало порой то драматические, то комические ситуации. Со скромной гордостью записал он в шуточном сборнике «В кругу себя»: «Меня любили дочери пяти генералов, двух маршалов и одного генералиссимуса». Помню, в 91-м году в Питере я процитировал эти слова на вечере его памяти, который вел в Ленинградском концертном зале. Сидевший за моей спиной Зиновий Гердт молниеносно выхватил у меня микрофон и громко крикнул в него: «И это был совсем не Чан Кайши!»

Поэт Юрий Левитанский написал про его многочисленные увлечения: «А эту Зину звали Анной – она была прекрасней всех». Сам Самойлов однажды жаловался мне, что Левитанский «начисто убил» его любимые стихи о Франце Шуберте, начальная строчка которых звучала так: «Шуберт Франц не сочиняет – как поется, так поет». Остряк Левитанский заменил всего лишь одну букву в слове «поется», после чего Дезик навсегда вычеркнул эти стихи из своего концертного репертуара. «Все время боюсь прочесть не так», – объяснил он. Виктор Берковский, написавший песню на эти стихи, из тех же соображений поменял эту строчку Самойлова на «Шуберт Франц не сочиняет: запоется – запоет».

Один из родственников Дезика со стороны первой жены, редактор издательства «Советский писатель» Виктор Фогельсон, живший в незапамятные времена с ним вместе на даче в Мамонтовке, вспоминал, как однажды, в холодный зимний день,

Дезик неожиданно появился на этой даче с дочерью «величайшего гения всех времен и народов» и заставил растерянного Фогельсона немедленно убраться на холодный чердак. Однако совершенно неожиданно появилась вдруг жена поэта, и на холодном неотапливаемом чердаке пришлось довольно долго отсиживаться и самой дочери генералиссимуса, которую сердобольный Виктор, когда Дезик вынужден был удалиться вместе с женой, долго отпаивал горячим чаем и провожал на электричку.

В ресторане ЦДЛ и в некоторых других ресторанах Дезик пользовался общей любовью (и кажется, порой даже кредитом) всех официанток. Действительно, в 60-е годы он проводил там довольно много времени и, когда случались деньги, щедро поил всех окружающих. Он любил дружеские застолья, ставшие одной из главных составных частей его жизни. Главным здесь для него всегда была, конечно, не выпивка, а «роскошь человеческого общения». Эту сторону своей жизни он прекрасно описал в автобиографической поэме «Юлий Кломпус», посвященной своему покойному другу. В этих знаменитых московских застольях обсуждались мировые проблемы, выявлялись новые мессии, читались новые стихи и поэмы.

С одним из героев поэмы «Юлий Кломпус» произошла в то время в Коктебеле история, в поэме, правда, не отраженная. Он несколько раз подряд возвращался домой уже под утро и каждый раз объяснял жене, что был у Самойлова, где тот всю ночь читал ему новые главы из исторической драмы в стихах «Меншиков». В очередной раз, когда он, также вернувшись поздно ночью, стал раздеваться, чтобы лечь, жена заметила, что брюки на нем надеты задом наперед. «Извини, дорогая, – сказал он, оправдываясь, – драма была очень сильная».

Пил Дезик порой довольно много, однако в последние годы ему пришлось строго ограничивать себя из-за развившейся гипертонии, частичной потери зрения и болезней сердца. Тем не менее он обладал редкой способностью: продолжал писать после рюмки. В те времена, когда в Пярну еще существовали эйнелауды с коньяком в разлив, он обычно, делая передышку, совершал прогулку к паре эйнелаудов и потом, оживленный, продолжал работать. Одно время в его рабочем кабинете в Пярну даже был оборудован настоящий бар с зеркалами и разнообразными напитками. Бар этот просуществовал недолго. «Понимаешь, – объяснил мне Дезик, – я как-то пришел домой с прогулки, сел около бара и стал методично пить все, что там было. На следующий день Галина Ивановна бар закрыла, и там теперь оборудовали аптеку».

Еще живя в Опалихе, Самойлов совершал частые прогулки на станцию. Относясь к ним с подозрением, Галина Ивановна строго запретила ему заходить в станционный ресторан. Там же в то время только что открыли новый фирменный ресторан русской кухни «Опалиха». Дезик попал туда в первый день его открытия и оказался одним из первых посетителей. А поскольку открытие снимало телевидение, то Дезик немедленно оказался разоблачен, так как в тот же вечер снова возник за столиком ресторана на экране семейного телевизора.

Еще в опалихинский период Давид Самойлов, загуляв в Москве, не всегда мог сам добраться до Опалихи. Артист Рафаэль Клейнер, друживший с Самойловым, вспоминал, как однажды в половине первого ночи ему домой позвонил сильно выпивший Дезик: «Рафик, я звоню из телефонной будки. Забери меня отсюда». «Давид Самойлович, где вы находитесь?» – спросил Рафик. «Не знаю», – ответил Самойлов и повесил трубку. В другой раз собутыльники довезли его на машине до Опалихи и выгрузили возле калитки его дома, где он сразу же и уснул и был обнаружен встревожившимися родными только на следующее утро. Не отсюда ли строчки:

Как валенок рваный валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети?

Сам Самойлов как-то вспоминал, что однажды, отправившись на выступления в Ленинград, он неожиданно встретил в поезде Евгения Евтушенко, с которым они всю ночь пили шампанское. На перроне они разошлись, поскольку каждого встречали представители разных организаций. Давида Самойлова встречали какие-то инструкторы отдела культуры Ленинградского обкома КПСС. Увидев среди встречающих женщину, Дезик, не слушая приветственных слов, заявил: «Это все – ерунда. Мы немедленно едем к тебе».

Нельзя не подчеркнуть при этом, что продолжать писать после рюмки Дезик мог только тогда, когда уже вертелось в голове и шло. Как метко заметила его жена, рюмка лишь «подбадривала Трубецкого». Пьяным он никогда не писал, а если и случалось, выбрасывал или переделывал.

Зная склонность Дезика к застолью, устроители литературных вечеров часто старались ему угодить, однако так случалось не всегда. Помнится, в 1973 году в мемориальном Музее А.С. Пушкина на Волхонке состоялся литературный вечер «Поэты читают Пушкина», в котором принимал участие и Самойлов.

Помню, готовясь к этому вечеру, я чрезвычайно волновался, стараясь выбрать для чтения (конечно, наизусть!) какие-нибудь не слишком тривиальные пушкинские стихи. Остальные участники отнеслись к этому более спокойно. Маргарита Алигер, например, попросив у хозяев томик Пушкина, стала, заглядывая в книжку, читать: «На берегу пустынных волн». Левитанский почему-то стал говорить, что сцены из «Фауста» написаны таким современным стихом, что напоминают Андрея Вознесенского, и вместо пушкинских стихов прочел свои. Окуджава же вообще не приехал, и злые языки утверждали, что это, дескать, потому, что он по ошибке выучил «Бородино».

Когда официальная часть вечера завершилась и гостей повели к столу за сцену, Дезик сказал мне: «Держись возле меня. Это место приличное – обязательно коньяк поставят». Тем большим оказалось наше разочарование, когда на роскошном столе, в центре которого возвышался огромный, как в фильме «Покаяние», торт, сплошь уставленном разнообразными закусками, с фарфором фамильных сервизов и медным сиянием самовара, противостоящего торту, никаких признаков выпивки не оказалось. Дезик расстроился, но виду не подал и, взяв в руки переданную ему чашку чая, громко сказал: «Какая прелесть – чай, с десятого класса не пил».

За этими шутками, однако, была серьезная подоплека. Его каждодневная одинокая и изнурительная работа требовала нервной разрядки.

Как-то однажды летом в Пярну Самойлова пригласили выступить в Доме отдыха Балтийского флота. Он заявил, что выступать будет только вместе со своими друзьями, поэтому отправились мы туда вчетвером – Давид Самойлов, Юлий Ким, поэт Александр Юдахин и я. Вечер прошел с большим успехом, и по окончании выступления дирекция Дома отдыха предложила нам остаться поужинать. «Мы что, к вам дрова колоть приходили? – неожиданно обиделся Дезик. – Вот если бы вы предложили нам выпить, тогда другое дело, а поесть мы и сами сможем. Пошли, ребята!» И мы дружно последовали за ним к ближайшему эйнелауду.

Характер его не был легким – порой поэт был вспыльчив и несдержан. Иногда, выпив, становился вдруг необоснованно агрессивен, мог неожиданно за столом оскорбить человека или без всякой видимой причины выставить его из дома. Или, наоборот, обнявшись на людях с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, к которому тогда и подойти-то боялись, на другой день обняться в ресторане с таким человеком, которому в трезвом виде не подал бы руки. Игорь Губерман вспоминал, как в

середине 60-х Самойлов выставил его со своего семинара, когда Игорь прочитал свои «гарики», видимо, приняв все это за намеренную провокацию. Справедливости ради следует сказать, что, когда Губерман вернулся из заключения и его никто нигде не прописывал, Давид Самойлов прописал его у себя в Пярну.

Одна питерская поэтесса, живущая теперь в Израиле, моя давняя приятельница и однокашница по литературной студии Глеба Семенова во Дворце пионеров в Ленинграде, прочитав мои воспоминания о Самойлове в книге «И вблизи, и вдали», написала мне в письме: «Мне известно, что Давид Самойлов приложил руку к уничтожению Веры Федоровны Френкель, удивительной переводчицы, открывшей и замечательно переведшей Тадеуша Ружевича. Он, Самойлов, был редактором этого составленного ею сборника. Он раздал стихи Ружевича, уже переведенные ею, своим друзьям. Этот рассказ я слышала от самой Веры. Для нее это был сокрушительный удар, после которого она уже не оправилась. Переводы Веры были такого высокого класса, что когда они читались в Ленинградском отделении Союза писателей, то поразили всех… И когда ты пишешь, что Иосиф Бродский пренебрежительно отозвался о Слуцком и Самойлове, то думаю, что понимание их ограниченной порядочности также диктовало ему эту оценку. Первые поэты – придворные поэты, хотели они этого или нет».

Зная сложную, постоянно конфликтную ситуацию с раздачей переводов в 70-е годы в Худлите, оставляю достоверность истории с переводами Ружевича на совести автора письма. Что же касается «придворных поэтов», то уж никак ни Слуцкого, ни тем более Самойлова к ним отнести нельзя, сколько на них ни обижайся. Незаслуженно обидеть любого человека, особенно по пьянке, Самойлов мог, поступить непорядочно – никогда. Все его оскорбительные для собеседников реплики были, как правило, случайными и недолгими всплесками отрицательных эмоций на фоне неизменной доброжелательности.

Когда на похоронах Самойлова я слушал речи многочисленных друзей, соратников и почитателей, то вдруг поймал себя на том, что испытываю то забытое детское ощущение, которое появлялось всякий раз, когда доводилось читать особо полюбившуюся книжку, иллюстрированную рисунками художника. На этих рисунках любимые герои были как бы и похожи на самих себя, то есть, конечно, на мое о них представление, и вроде бы не очень. И я подумал, что у каждого из близких друзей Давида Самойлова должно быть подобное ощущение, ибо у каждого из них в сердце остался такой же единственный образ его, похожий и непохожий на другие. И у

меня тоже – свой, не претендующий на объективную фотографическую достоверность…

Давным-давно, лет двадцать назад, в Опалихе, Дезик сказал мне как-то утром: «Алик, не думай, что поэт или писатель – это «кто-то что-то написал». Писатель – это прежде всего образ жизни. Вот ты – не писатель, ты совслужащий – боишься опоздать на работу и торопишься на электричку. А вот я – писатель и спокойно сяду сейчас опохмеляться».

Впрочем, к науке Давид Самойлов относился с уважением. В 82-м году он прислал мне теплое письмо, где написал: «Только что от Феликса (Зигеля. – **А.Г.**) узнал о твоей успешной и блестящей защите докторской диссертации. Ничего не понимая в науке, но зная тебя, уверен, что решение научного совета было справедливым. Ты один из немногих писателей, которые хоть что-то знают. Все свое незнание употребляй для стихов и песен, которых тебе желаю. Желаю тебе всего доброго. Всегда к тебе расположенный Д. Самойлов».

Что касается самого Самойлова, то он, безусловно, был прирожденным поэтом и писателем. И тогда, когда лежал со своим пулеметом под деревней Лодьва «на земле холодной и болотной», и когда за долгие годы официального непризнания и каторжной литературной поденщины не написал ни одной строчки «для почестей, для славы, для ливреи». И тогда, когда остался чужд соблазнительной возможности стать «властителем дум» с помощью политизированных стихов. Мне выпало редкое счастье разговаривать с ним и слушать его, и я могу сказать, что он был одним из крупнейших мыслителей нашего времени, подлинным российским интеллигентом, внешняя скромность и мягкость которого сочетались с непоколебимой нравственной позицией. И при всем том он был оптимистом, что особенно редко в наши дни. С уходом этого большого художника его поэзия начала новую жизнь, без него. И жизнь эта будет долгой.

Уже после смерти Самойлова в его черновиках были найдены лирические стихи, которые он при жизни не опубликовал, считая, возможно, что они не заслуживали этого:

Тот запах вымытых волос,
Благоуханье свежей кожи,
И поцелуй в глаза, от слез
Соленые, и в губы тоже.
И кучевые облака,
Курчавящиеся над чащей,
И спящая твоя рука,
И спящий лоб, и локон спящий.

Повремени, певец разлук, —
Мы скоро разойдемся сами.
Не разлучай уста с устами,
Не разнимай сплетенных рук.

Сергей Никитин написал песню на эти стихи, и они совершенно неожиданно приобрели новое пронзительное звучание. Минуло уже более двадцати лет со времени ухода Самойлова. Необратимо изменился мир вокруг. Иногда я думаю: а как бы Дезик реагировал на распад огромной империи, думал ли о том, что могила его окажется за границей? И каждый раз, когда я вспоминаю о нем, в моем сердце болью отзываются строчки песни:

Не лги, не лги, считая дни,
Кукушка, – мы живем часами.
Певец разлук, повремени, —
Мы скоро разойдемся сами.
Повремени, певец разлук, —
Мы скоро разойдемся сами.
Не разлучай уста с устами,
Не размыкай сплетенных рук.

Последний летописец

Все переплетено, и все, оказывается, чрезвычайно близко. Эта связь, этот стык времен и есть моя тема.

Натан Эйдельман

Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним вместе с женами были в Варне, куда поехали отдохнуть, хотя из этого ничего и не получилось – частично из-за плохой погоды и неналаженного быта «дикого» существования в этой, уже изрядно обнищавшей на пути социалистического развития стране, частично – из-за не знающего меры гостеприимства хозяев, составившего изрядную угрозу для здоровья.

Натан впервые был в Болгарии. Его там, конечно, знали по широко известным книгам о русской истории, а кроме того, еще по только что прошедшей в «Московских новостях» разоблачительной публикации о расстреле польских офицеров в 1940 году в Катыни и под Осташковом. Но при первой же встрече со знакомыми моими, среди которых были океанологи, журналисты и писатели, он неожиданно для хозяев (и для меня) обнаружил такие глубокие познания во всей древней болгарской истории – от Бориса I до разгона крестьянской партии и мучительной смерти Трайчо Костова при Сталине, что сразу же завоевал постоянный и непререкаемый авторитет среди них раз и навсегда. Будучи немало лет знакомым с ним, я каждый раз не уставал удивляться его фантастической памяти, удерживающей десятки тысяч дат и имен в их точной и единственной взаимосвязи.

Вдруг он вспомнил за столом историю, никому из присутствовавших дотоле не известную, о том, как государь император Николай I на военном фрегате Черноморского флота в 1829 году отправился в Варну, только что освобожденную от турок русскими войсками. В пути неожиданно разыгрался жесточайший шторм, и императорский корабль неостановимо понесло ветром прямо к турецким берегам. Стало ясно, что русскому царю грозит турецкий плен. Поэтому, когда турецкий берег уже ясно виднелся невдалеке, нашли рослого матроса, похожего на Николая, и надели на него императорский мундир с регалиями, а царь обрядился в матросскую робу. К счастью,

однако, ветер переменился и угроза плена в самый последний момент миновала.

Именно в Варне я впервые услышал от него, человека, казалось бы, несокрушимого здоровья, любившего ввечеру выпить и закусить, как Гаргантюа, а утром неумолимо будившего нас для раннего купания в холодном осеннем море, непривычные для него жалобы, что «покалывает сердце», жалобы, которым ни мы, ни он сам не придали серьезного значения. (Уже после его смерти вскрытие показало, что у него именно в это время произошел инфаркт легкого.) Однажды, возвращаясь из гостей, мы с ним говорили не помню о чем, и вдруг, без всякой связи с предыдущей темой, он сказал: «Знаешь, как написано у Зощенко, – у одной женщины умер муж. Она сначала подумала: а, ерунда! Оказалось, совсем не ерунда!» – «Ты что это вдруг?» – спросил я у него. «Да так, – ответил он, – к слову пришлось». И захохотал…

Я был знаком с Натаном Яковлевичем Эйдельманом с 1972 года и особенно дружен последние десять лет, когда мы вместе снимали дачу в Переделкине – пару маленьких комнатушек и кухню. Познакомил нас его друг и одноклассник, океанолог и военный моряк в прошлом Игорь Михайлович Белоусов, так же неожиданно и безвременно ушедший из жизни в возрасте сорока двух лет. Именно Игорь, человек удивительной доброты и общительности, ввел меня тогда в круг своих школьных друзей, из которых ближе всего мы подружились с Натаном Эйдельманом, Юлием Крелиным и Вольдемаром Смилгой. После внезапной смерти Игоря эта дружба была как бы передана мне по наследству. Меня объявили «постоянно введенным» членом этого уникального класса 110-й школы и регулярно приглашали на все сборы однокашников, ставшие многолетней традицией. И хотя формально я как будто был признан одноклассником Тоника Эйдельмана, на самом деле я никогда не был им, как остальные школьные его друзья, помнившие толстого мальчика в тесной «комбинированной» курточке, с детства отличавшегося удивительной памятью на даты и фамилии.

Школьная иерархия, сложившаяся в старших классах, – вещь консервативная, и одноклассникам Тоника, особенно тем его друзьям, которые занимали в этой иерархии когда-то более высокие места, хотя и любившим его, конечно, не всегда просто было оценивать его вне сложившихся многолетних стереотипов. Да и сами его ближайшие друзья были людьми незаурядными.

Так, Валя Смилга, в прошлом неформальный лидер класса, ныне профессор физики, отличающийся философским складом ума и любовью к крепким напиткам, сам написал интересную

книгу о великом математике Николае Лобачевском.

Второй близкий друг Эйдельмана, Юлий Крейндлин, врач-хирург, кандидат медицинских наук, стал одновременно с этим известным писателем-прозаиком Юлием Крелиным, автором многих книг, пользовавшихся широким успехом. Много лет он проработал заведующим хирургическим отделением 71-й московской городской больницы и за эти годы лечил и оперировал почти всех известных писателей и поэтов – от Эммануила Казакевича до Евгения Евтушенко, что нашло отражение в его воспоминаниях. Его бескорыстная отзывчивость и врачебный авторитет, широко известные в литературных кругах, привели к тому, что все знакомые обращались к нему за помощью, в том числе и в случае самых сложных и даже безнадежных заболеваний, и я не помню, чтобы он кому-нибудь отказал. В результате ему приходилось время от времени не только лечить своих друзей, но нередко и хоронить их. Так было с Игорем Белоусовым, Натаном Эйдельманом и многими другими. Вместе с тем профессии врача и писателя не могли не сделать его философом. Когда кто-нибудь из нас звонил ему и жаловался на здоровье, он неизменно утешал собеседника: «Чего ты хочешь, ведь известно, что смертность стопроцентна». Довольно много он поведал мне о неизбежных врачебных ошибках, о силе и бессилии нашей медицины. Однажды в некрополе Донского монастыря я увидел необычную надгробную надпись: «Здесь лежит княгиня Шаховская, умершая от операции профессора Снегирева». Помню, по этому поводу, в связи с очередным юбилеем Юлика, я обратился к нему с такими стихами:

Увяли траурные ленты
В доисторической поре.
Твоих собратьев пациенты
Лежат в Донском монастыре.
Но я живой, и я не сбрендил.
И говорю я, весь дрожа,
Что мне твои романы, Крендель,
Дороже твоего ножа.

В круг друзей – одноклассников Тоника – входили и рано ушедший из жизни сценарист Юрий Бразильский, и талантливый режиссер и педагог, также умерший, Владимир Левертов, и профессор физики Владимир Фридкин, и видный журналист Серго Микоян – сын знаменитого государственного деятеля Анастаса Микояна. Все они были знакомы и дружны с Тоником задолго до его литературной славы.

Я же познакомился с Натаном Эйдельманом тогда, когда он уже был известен своими книгами «Лунин», «Герцен против самодержавия» и другими, а также многочисленными статьями о русской истории. Я застал его уже сложившимся ученым, писателем, человеком. Может быть, именно поэтому мне с самого начала нашей дружбы отчетливо был виден масштаб его писательского и человеческого таланта, дистанция, нас разделяющая. Он был человеком чрезвычайно доброжелательным и внимательным к людям, вывести его из себя было практически невозможно. Мне это однажды, кажется, удалось. Натан был страстным болельщиком – прежде всего футбольным. Когда по телевидению транслировали футбольный матч, всякие дела откладывались. Иногда это был даже некий ритуал, сопровождаемый (легкой, правда) выпивкой и закуской, когда все три упомянутых друга собирались у одного из них «смотреть футбол». Здесь же дело было на даче, куда-то мы с ним торопились, но вдруг выяснилось, что на телеэкране футбол, и Натан прочно уселся на стул. «Погоди, – отмахивался он от моих настойчивых увещеваний, – уже второй тайм начался – досмотрим и пойдем». «А сколько минут длится тайм?» – неосторожно спросил я у него. Тут Натан развернулся ко мне на стуле всем своим внушительным телом. В глазах его было даже не презрение, а какая-то брезгливая жалость, смешанная с откровенным удивлением, – «Даже этого не знаешь, да?».

Примерно через месяц после нашего возвращения из Болгарии там начались демократические преобразования, кончившиеся смещением престарелого вождя «брежневской формации» Тодора Живкова. Тоник радовался за наших болгарских друзей. «Теперь тебе бы неплохо съездить в Румынию», – сострил я как-то. (Там еще прочно сидел Чаушеску.) Однако ни в Румынию, ни в, казалось бы, уже близкую Швейцарию, куда были взяты авиабилеты на 4 декабря, Натану Эйдельману уже не суждено было попасть никогда. Его сердце остановилось на исходе ночных часов 29 ноября 1989 года в тесном отсеке реанимационной палаты на Каширском шоссе, куда его под большим нажимом жены и друзей почти насильно уложили накануне, не зная еще всех размеров надвигающейся беды.

Можно было, конечно, говорить, что виновата равнодушная и непроницательная медицина, что Эйдельмана «проглядели», однако все это уже бесполезно, поскольку от судьбы не уйдешь. Осталось лишь запоздалое и бесполезное сожаление, что история эта приключилась с ним здесь, а не неделю спустя в Швейцарии, где его бы, по всей вероятности, спасли. Меня почему-то, помимо

прочего, потрясло странное совпадение дат рождения и смерти Тоника и моей покойной матери (18 апреля и 29 ноября).

Поэт Иосиф Бродский заметил как-то, что не язык – орудие поэта, а скорее наоборот: поэт – орудие языка. Если слова эти можно отнести к истории, то именно таким историком был Натан Эйдельман. Мне довелось жить с ним вместе несколько лет и видеть его каждодневную изнурительную работу, которая его самого, казалось бы, совершенно не отягощала. Он не просто собирал и изучал документы – он буквально жил в материале, как бы перемещаясь в исследуемую эпоху и среду и вступая в прямой контакт с ее героями. Удивительное перевоплощение это напоминало вхождение актера в роль, но там вхождение внешнее, подражательное, а здесь глубокое и внутреннее, в качестве собеседника или «содельника», если речь шла о Михаиле Лунине и других декабристах.

Прекрасное владение материалом, блестящая память и могучий ассоциативный ум дали возможность историку и философу Натану Эйдельману в его лучших работах выстроить стройный эволюционный ряд развития российской государственности, российского свободомыслия и российской интеллигенции в восемнадцатом-девятнадцатом веках. Писал он и диктовал на машинку, кажется, постоянно, и творческая энергия его казалась бесконечной. Даже вечером, после целого дня (а день его начинался рано поутру) каторжной работы, он ощущал потребность что-нибудь рассказывать и радовался по-детски любой застольной аудитории. А рассказывать он мог практически бесконечно. Одной из основ нашей с ним близкой дружбы, возможно, была моя постоянная готовность слушать его всегда и на любую тему.

Несмотря на возможность каждодневного общения с Тоником, я старался не пропустить его публичных лекций и выступлений и ничуть не жалел об этом, ибо каждое из них отличалось от другого тем, что Тоник говорил, хотя все это, казалось бы, было написано в его книгах. Но он, как знаменитый пушкинский импровизатор в «Египетских ночах», явно увлекаясь темой рассказа и своими комментариями и «заводясь» от полученных вопросов, впадал в состояние истинного артистического вдохновения, лицо его покрывалось румянцем, глаза блестели, а голос, как мне казалось, приобретал рокочущие, громовые оттенки. Когда я сейчас думаю об этом, то невольно вспоминаю, что в его многочисленных устных выступлениях он говорил много такого, о чем не мог бы написать даже в самых популярных своих изданиях. Начав разговор, он порой сам не знал, куда уведут его собственная могучая эрудиция и

стремительность и ассоциативность мышления в устных комментариях. Его любовь к прямому общению с аудиторией многое объясняла в его артистически щедром характере.

С грустной радостью слушаю я теперь случайно сохранившиеся магнитофонные записи некоторых его выступлений.

Мне вспоминается ясный и холодный декабрьский день в Ленинграде в середине 80-х, где я, оказавшись в командировке одновременно с приехавшим туда Тоником и его женой Юлей, попал, за его широкой спиной, в отдел рукописей Публичной библиотеки, священное место, куда простому смертному попасть непросто. Трудно перечислить те уникальные книги, манускрипты и документы, на которые нельзя было смотреть без сердечного трепета – от древних рукописей Корана и Псалтыря до автографов Пушкина и Кюхельбекера. Удивительно, как меняется представление о человеке, когда видишь его автограф. Так, например, Кюхельбекер представлялся мне, по Тынянову, сентиментальным, порывистым и нескладным, а здесь я увидел по-немецки аккуратный каллиграфический почерк его писем и рукописей. А строгий, казалось бы, склонный к порядку благополучный Державин писал, как оказалось, рваным беспокойным почерком человека, лишенного душевного покоя. Меня поразила более всего выставленная под стеклом грифельная доска с записанными его дрожащей рукой предсмертными стихами:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Какая пронзительная и проницательная безнадежность на краю смерти! Какая противоположность его же величавому и самоуверенному «Памятнику»!

Кстати, о рукописях. В наши дни победного шествия Интернета, когда сами рукописи становятся ненужным атавизмом, вместе с ними уходит целая культура. Представьте себе наследие Пушкина без его черновиков с рисунками на полях или переписку Бориса Пастернака и Ольги Фриденберг в виде электронной почты.

Залы, где мы находились, как рассказал Тоник, были специально отведены под хранилище редких рукописей, прежде императорское. Я обратил внимание на большое число старых французских рукописей и книг, и Эйдельман, улыбаясь хищной улыбкой миссионера при виде еще не обращенного дикаря, поведал мне забавную историю из времен Великой французской революции. 14 июля 1789 года, когда дымилась взятая санкюлотами Бастилия, все ее многолетние архивы были вышвырнуты прямо на мостовую. Мимо проезжал скромный чиновник русского посольства, страстный коллекционер Дубровин, который, проявив чисто российскую сметку, послал тут же в посольство за подводами. Так бесценные архивы французской королевской тюрьмы оказались в Санкт-Петербурге.

Не менее удивительной, однако, в этом строгом хранилище мне показалась та нескрываемая симпатия, с которой к Тонику относились все без исключения хранители и хранительницы, чья строгость и недоверчивость являлись необходимой частью их профессии. Его человеческое обаяние вообще везде и всегда действовало на окружающих. Он был на редкость органичный человек, никогда не старался подделываться ни под кого, понравиться аудитории или какому-нибудь значительному лицу. Может быть, именно поэтому, будучи полным и грузным, двигался он с каким-то неповторимым изяществом, а лицо его, часто освещенное улыбкой, казалось всегда молодым. Борис Жутовский нарисовал его портрет, на котором Натан Эйдельман совсем не такой – на портрете он жесткий, монументальный и трагический. Наверное, так оно в самом деле и было, но мне запомнился другой облик Тоника – общительного и веселого. На друзей своих он сердиться долго не умел и прощал им любые обиды.

По его собственному заявлению, дружбу Натан Эйдельман ценил более всего. Он, по существу, был центром того «школьного братства», которое в наш небогатый традициями и долговечными людскими связями век на долгие годы объединило выпускников 110-й школы. Класс их, подобно лицеистам, традиционно собирался раз в году, не считая различного рода сборищ на днях рождений. Сам Тоник вел летопись их класса. Ему очень нравилось их сходство с пушкинскими лицеистами. Он даже книгу хотел написать об этом, да вот не успел.

Мне неоднократно приходилось выступать вместе с Эйдельманом, и каждый раз это было серьезным испытанием, потому что после него на сцене уже нечего было делать: весь зал и все участники выступления знали, что самое интересное уже прошло. Я помню, как в начале июня, в дни очередного

пушкинского юбилея, мы ездили вместе с небольшой группой писателей выступать в Сухуми. Встреча с аудиторией должна была состояться в городском театре. Всем было выделено для выступления по пять минут, и только Эйдельману, как основному лектору, предоставили полчаса. Когда перед выступлением он сидел и готовился за сценой, к нему подошел писатель и литературовед Зиновий Паперный, известный своими шутками, и сказал: «Знаешь, Тоник, когда ты будешь им рассказывать про Пушкина, не говори, что его убили, – это омрачит вечер».

На юбилейном вечере Булата Окуджавы даже популярнейший Михаил Жванецкий все просил ведущего, чтобы его выпустили выступать перед Эйдельманом, а выйдя все же сразу после него, сказал: «После Эйдельмана выступать трудно. Ведь он сам гораздо более популярен, чем те люди, о которых он пишет».

Друзья Натана, в том числе и я, часто обвиняли его, что он разбрасывается – много пишет всяких, на наш взгляд, необязательных книжек, в том числе детгизовских, где занимается популяризацией истории; что ему следовало при таком уме и таланте сосредоточиться на главном. Критиковали, в частности, его «автобиографический» роман «Большой Жанно», написанный как бы от лица Ивана Ивановича Пущина. Некоторые говорили о всяческих «вредных влияниях» на Тоника, которые отвлекают его от основного поприща. Зная Тоника много лет, я могу сказать, что, при всей внешней мягкости характера, в вопросах творчества он был твердым и неподатливым, как на портрете Бориса Жутовского. И влиять на него здесь было практически невозможно – он делал только то, что сам хотел делать в этот момент.

Подобно другим крупнейшим российским историкам – Карамзину, Соловьеву, Ключевскому, Костомарову, – Эйдельман был концептуален. Его главная концепция, близкая к пушкинской идее «в надежде славы и добра», состояла в реформаторском преобразовании нашей огромной страны на основе демократии, экономических реформ, культуры и просвещения. Показательной в этом отношении является его последняя прижизненная книга «Революция сверху», которую он подарил мне с характерной надписью: «И никаких революций снизу!» И в истории России его привлекали реформаторы и просветители при всем их несходстве – от Лунина и Герцена до князя Щербатова и Карамзина.

В долгих ежевечерних прогулках по зеленым улочкам дачного поселка Мичуринец, где уютно пахло печным дымом и тишина мягких подмосковных сумерек лишь изредка нарушалась криками играющих детей или шумом проходящей электрички, Тоник,

обдумывавший тогда будущую книгу о «революции сверху», подробно рассказывал о сложностях реформаторской деятельности в России во все времена, о страшной силе давления «правых» и «аппарата» на царей-реформаторов, которые только на первый взгляд были «самодержавными», а в действительности не могли, конечно, не считаться с мнением помещиков и губернаторов. «Вот Павел попытался пойти против аппарата – его и убили. Знаешь, он послал своего доверенного чиновника с ревизией в Курскую губернию. Тот вернулся и доложил, что воруют все – от губернатора до последнего коллежского регистратора. И Павел на его донесении собственноручно начертал: «Уволить всю губернию». Представляешь? Обстановка такая же, как сегодня. Ну а Александр, хорошо помня про папин опыт, против аппарата идти не решался. Ведь на самом деле он очень хотел провести реформы, вот Польше в 1821 году Конституцию дал. Хотел и крестьян освободить, уже специальная комиссия указ подготовила, но консерваторов своих всемогущих сильно побаивался. И более всех при этом постарался великий наш историк Николай Михайлович Карамзин». Карамзина Эйдельман любил больше всех и никогда не расставался с «Историей государства Российского». «Николай тоже, по существу, готовил земельную реформу. В дневнике Александра Николаевича, наследника, есть такая запись: «Вчера обсуждали с папа и дядей Костей (великим князем Константином Павловичем. – **А.Г.**), давать ли народу свободу. Решили не давать». Так что на аппарат, который во все времена был гораздо консервативнее верховных правителей, даже цари с опаской оглядывались. А ведь против теперешнего аппарата царский – это детский сад». Воспоминания об этих прогулках вызывают теперь острую ностальгию по прошлому.

К моим стихотворным и песенным опусам на историческую тему Тоник относился весьма благосклонно и всячески их поощрял. Кстати сказать, к историческим ошибкам в моих стихах и песнях (а их было немало) Тоник также относился снисходительно, полагая, что не в этом дело. Помню, как известный критик Станислав Рассадин критически отозвался о моем стихотворении «Пушкин и декабристы», где были такие строчки:

В Завод Петровский пятого числа
Глухая весть о Пушкине пришла.
Дыханье горна судорожно билось.
Ночная вьюга пела и клубилась,
Три каторжника сели у огня,

Чугунными браслетами звеня.

Рассадин справедливо заметил, что кандалы с ссыльных были сняты еще до 1830 года. Эйдельман же, высказавшись в мою поддержку, заявил, что для художественного произведения, в отличие от научной статьи, не всегда обязательна точная фактология, а «чугунные браслеты» здесь вполне уместны как красочный символ неволи.

Самая же досадная ошибка содержится в любимой Эйдельманом песне «Донской монастырь». Друг Пушкина, автор замечательной песни «Нелюдимо наше море» поэт Николай Михайлович Языков, похоронен не в Донском монастыре, как сказано в песне, а в Новодевичьем. Его могила находится неподалеку от могилы безвременно ушедшего Веневитинова, а также писателей-славянофилов Хомякова, Шевырева и Аксакова. В Донском же монастыре похоронен его однофамилец. Я несколько раз пытался исправить строчку с «поэтом Языковым», но из этого так ничего и не вышло.

В оценке будущего России Эйдельман всегда оставался неисправимым оптимистом. Уже в Болгарии, в сентябре 89-го года, за два месяца до смерти, он яростно спорил с моими пессимистическими оценками экономического и политического кризиса в нашей стране, нарастающей волны национальной непримиримости, что могло, по моему мнению, привести к националкоммунистическому перевороту и гражданской войне. «Я – оптимист, – заявил он. – Надо трезво смотреть на вещи. Даже если коммунисты и захватят на какое-то время власть, они ее надолго не удержат. Ведь им нечем кормить народ. Значит, неизбежно будет развиваться рыночная экономика и связанная с ней демократизация общества. Будущее России – прекрасно!» – «Да, – возражал я ему, – но ведь нас-то с тобой к этому времени, по всей вероятности, уже укокошат». – «Ну и что из этого? – возмущался он. – Саня, ты эгоист. Разве можно думать о собственной шкуре, когда речь идет о будущем великой страны?» Мне, да и не только мне одному, сегодня сильно недостает его оптимизма.

Эйдельман всерьез занимался не только российской историей. Он выпустил книгу «Мгновенье славы настает» о Великой французской революции, писал о Марке Аврелии, которым собирался заняться вплотную, изучал судьбы итальянцев в России. Я с 1982 по 1986 год участвовал в экспедициях на научно-исследовательском судне «Витязь» в Северную Атлантику, в район подводной горы Ампер, где нами при подводных

погружениях были обнаружены странные сооружения на вершине горы, напоминающие развалины древнего города. Поэтому я уговаривал Тоника написать вместе со мной книгу об Атлантиде, в которой он написал бы все, что касается истории, а я – результаты подводных исследований и геологическое обоснование возможности ее существования и катастрофической гибели. Тоник загорелся этой идеей и даже собирался со мной вместе в одну из экспедиций. Планам этим, однако, не суждено было сбыться. Несмотря на официальный запрос из моего института, выездная комиссия Союза писателей не дала Тонику разрешения на поездку в зарубежную экспедицию. «Мы с Пушкиным оба – невыездные», – грустно пошучивал он. Его в те годы за рубеж не пускали. Возможно, во всяком случае, так он сам предполагал, это было связано с тем, что в университете Тоник оказался причастным к известному в 50-е годы «делу Краснопевцева». Особых улик против Эйдельмана по этому делу как будто не было, но он вызвал раздражение следователей, решительно отказавшись давать какие бы то ни было показания. За это по окончании университета он был сослан учительствовать в Калугу.

Провожая меня в экспедицию, Тоник грустно сказал: «Знаешь что, Саня? Если ты найдешь Атлантиду, не проси там политического убежища». За рубеж, в капстраны, его начали пускать только после 1986 года, в эпоху перестройки, да и то не «автоматически», а благодаря письму, направленному им в ответ очередному отказу в загранпоездке на имя члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС А.Н. Яковлева. После этого его долго оформляли в Италию, потом сообщили, что уже поздно и что его теперь будут оформлять во Францию. Там тоже что-то не получилось, и началось оформление в ФРГ. Он позвонил мне в радостном возбуждении: «Видал? Я еще никуда не поехал, но уже дважды сменил страну пребывания!»

Потом он все же поехал в Италию, и в ФРГ (где «Люфтганза» потеряла чемодан с его вещами и рукописями, но через месяц чемодан все-таки отыскался), и во Францию, где его восторженно принимали коллеги и русскоязычная аудитория, и в США, где он в Калифорнии более месяца безвылазно работал в архивах, почти не имея возможности взглянуть на открытую им наконец Америку. Как ни странно, рассказы его о зарубежных впечатлениях были не особенно интересны. Никакой сенсации для него не произошло оттого, что он воочию увидел Венецию или Париж. Совсем другое дело – рассказы о новых находках, о сокровищах в зарубежных архивах, касающихся отечественной истории. Неожиданно точными поэтому оказались строки из

посвященной ему песни Вероники Долиной: «Он не открывает Америк – Россия его материк».

И хотя географию он знал так же блестяще, как историю, поражая своих собеседников не только знанием дат и имен, но и многочисленными географическими названиями дальних островов, рек и городов, расположение которых знал досконально, «перемещения в пространстве», по-видимому, меньше занимали его, и он, подобно любимому своему Карамзину, заменил их «перемещениями во времени». Вместе с тем, рассказывая ему о своих плаваниях в отдаленных районах Атлантики, Индийского и Тихого океанов, я неоднократно убеждался, что он просто зрительно точно представляет всю карту, например, Тихого океана, безошибочно перечисляя многочисленные острова и проливы Океании или Индонезии. Прекрасно знал он также и любил истории про известных мореплавателей и пиратов. В свое время даже писал о Фрэнсисе Дрейке, и когда я, вернувшись из Англии, стал рассказывать ему об увиденном мною замке Фрэнсиса Дрейка в графстве Девоншир, неподалеку от Плимута, он сам рассказал мне о нем и о его обитателе столько интересного, словно это он, а не я побывал там.

При всем том главным смыслом всей его жизни была русская история, русская литература. Он не мыслил себя вне своей родной страны. Когда при нем кто-нибудь из друзей или знакомых заводил разговор о возможном отъезде, Тоник только сочувственно и беспомощно улыбался, как бы извиняясь и показывая, что понимает, конечно, проблемы своего собеседника и даже вполне сочувствует им, но к нему самому это никак не относится.

Много сил Тоник отдал преподавательской работе, с которой он начал после университета, которую любил, всегда находя время, чтобы прочесть лекцию в школе или даже просто в квартире для заинтересованной аудитории. Вместе со своей дочерью Тамарой, тоже педагогом, он намеревался полностью перестроить преподавание истории в средней школе. Хотел даже написать новый учебник истории и, безусловно, написал бы его, если бы не внезапная смерть. Его «детские» книги «Вьеварум», «Твой девятнадцатый век», «Твой восемнадцатый век» с увлечением читают и взрослые, и дети.

Основные исторические труды Эйдельмана посвящены русской истории второй половины XVIII – первой половины XIX века – «Грани веков». Эпоха эта привлекала его, помимо всего прочего, еще и тем, что она была временем могучего развития российского просвещения, недолгого единения нарождающейся

мыслящей интеллигенции и молодой Империи, единения, разрушенного николаевской реакцией. Эта модель импонировала Эйдельману, в ней он видел надежду на будущее. Чуждый каким-либо шумным сенсациям, историк по характеру своей работы с архивными материалами время от времени оказывался первооткрывателем многих тайн российской истории. Ему даже пару раз пришлось выступать с лекциями на тему «Тайны русских царей» здесь и за рубежом. О том, например, что Павел I не был не только сыном официального отца своего – Петра III, но и Екатерины II, его матери. По материалам, найденным в архивах, Екатерина родила мертвого ребенка, который был незаметно для нее заменен другим по указанию императрицы Елизаветы. Он же комментировал личную записку Павла I, в которой тот отказывает в престолонаследии сыну своему Николаю на том основании, что в действительности он родился не от него, а от гоффурьера Бабкина, на которого был очень похож.

Были и другие скандальные находки. Я помню, что уже после выхода из печати одной из лучших книг Тоника «Герцен против самодержавия» появились документы, что Яковлев, которого считали раньше отцом Герцена, отцом его на самом деле не был, так как будущая жена пришла в русское консульство, будучи уже беременна от барона Фаненберга. Этой находки Тонику опубликовать не дали, чтобы не отнимать у нашей литературы Герцена. Я же, узнав об этом, предлагал в шутку заменить название его знаменитой книги: вместо «Герцен против самодержавия» назвать ее «Барон Фаненберг против русского самодержавия».

Уже на панихиде в Центральном доме литераторов представитель Института истории Академии наук СССР выразил сожаление, что Эйдельман мог бы защитить докторскую диссертацию, а вот умер кандидатом. Так же уместно было бы сожалеть о том, что Лермонтов умер поручиком, а Пушкин – камер-юнкером. Как историк Эйдельман стоил один целого академического института со всеми академиками и членкорами, не говоря уже о докторах наук. Его в свое время и не брали в институт истории потому, что он был опасен, хотя формальные причины были иными.

История для Эйдельмана была не сухим научным предметом строгих архивных изысканий, а источником творчества. Карамзин, которому он посвятил книгу «Последний летописец», привлекал его еще и потому, что был одним из ведущих писателей своего времени. По мнению Эйдельмана, правильное освещение исторических событий, во всей их сложности и неоднозначности, мог дать только писатель, который, кроме

конкретных фактов, обладает еще и творческой интуицией, помогающей правильно их выстроить. Он ведь и сам был писателем и прекрасно это понимал. Отсюда его книга «Пушкин-историк», отсюда постоянный интерес и восхищение, которые он проявлял к Юрию Тынянову.

В наше время самые великие открытия происходят на стыке наук. Натан Эйдельман совершил свои открытия на стыке науки и искусства. Он был попушкински щедр на сюжеты и обладал удивительным бесстрашием исследователя. Подобно тому, как поэт открывает в обыденности окружающего мира удивительные, невидимые прежде черты, он делал удивительные находки в рукописях и материалах, уже, казалось бы, изученных до этого. Огромная заслуга Эйдельмана состоит в том, что он сделал историю предметом литературы, вынес ее на открытую аудиторию…

Главной же любовью Эйдельмана был и оставался Пушкин. И не только книга «Пушкин и декабристы» и другие, посвященные Пушкину непосредственно: писал ли он о Михаиле Лунине, Иване Ивановиче Пущине, Сергее Муравьеве-Апостоле или Герцене, все эти (и многие другие) книги освещал, подобно солнцу, постоянный свет пушкинского присутствия. Судьба Пушкина, его стихи были как бы главной несущей конструкцией описываемой эпохи, началом координат. Тоник любил говорить, что, как это ни кажется парадоксальным, чем более мы удаляемся от эпохи, тем точнее ее история. Что мы знаем историю Древнего мира лучше, чем Плутарх, который во многом ошибался. Что мы знаем сейчас о Пушкине гораздо больше, чем он сам. Например, Пушкин не знал, кто за ним следил, а мы знаем. Пушкин не знал, что его прямым предком был знаменитый воевода Александра Невского Гаврила Олексич, а мы знаем. И так далее.

Страстное пожизненное увлечение Эйдельмана Пушкиным было настолько сильным, что передалось его близким друзьям. Так, его одноклассник профессор физики Владимир Фридкин, выезжавший в служебные загранкомандировки во Францию и в Бельгию, провел настоящее исследование по зарубежным архивам и написал книгу «Пропавший дневник Пушкина». Он познакомился в Сульце с потомками Дантеса и надеялся получить от одного из нынешних Дантесов материалы из переписки Екатерины и Натальи Гончаровых, однако из этого ничего не вышло. «У меня не сложились отношения с Дантесом», – как-то пожаловался он мне. «Не огорчайся, – утешил я его, – у Пушкина они тоже не сложились».

Помню, как смеялся Тоник, когда я рассказал ему, что в моем родном Царском Селе, переименованном теперь в город Пушкин,

в дни шестидесятилетия образования СССР поперек главной улицы Ленина красовался транспарант со строкой из Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш Союз!», в которой слово «Союз» начиналось с заглавной буквы.

Эрудиция Эйдельмана поистине была безграничной. Помню, как-то он сказал мне: «Вот, Саня, ты ленинградец. А ну-ка скажи мне, почему в последнем предсмертном стихотворении Блока, посвященном Пушкинскому Дому, есть такие строчки:

Потому в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему?

Пушкинский Дом ведь стоит на Малой Неве и с Сенатской площади не виден». Я не мог ответить. «Вот так, – удовлетворенно поднял он палец, – не знаешь, конечно. А в том дело, что при Блоке литмузей и Пушкинский Дом помещались в главном здании Академии наук на Неве, как раз напротив Сенатской».

В 1989 году в Болгарии Эйдельман показал нам черновик написанного им там открытого письма Горбачеву в связи с ростом антисемитизма в нашей стране и разного рода националистических организаций типа «Памяти». Письмо это вызвало критику, и Тоник намеревался его переделать, но внезапная смерть не дала ему этой возможности. Так после его ухода оно и зачитывалось на радиостанции «Свобода», ибо актуальность этого письма, к сожалению, со временем возросла.

В своих книгах, статьях и лекциях Натан Эйдельман убедительно показывал, что империи, в том числе и наша, недолговечны, что не может человеческое общество долго держаться на насилии и лжи, независимо от того, относится это к доисторическим временам правления Хамураппи, николаевской России или эпохе «сталинской конституции». Не «русский бунт – бессмысленный и беспощадный», а демократизация, реформы и просвещение – вот курс нашего многострадального общества. Эйдельман был учителем не только по образованию, но и по призванию, не преподавателем, а именно Учителем – с заглавной буквы. В «Эпоху застоя», когда четко обозначился дефицит нравственности и добра, он учил добру и надежде. Не потому ли так тянулись к нему люди? Не потому ли, думая о его внезапном и безвременном уходе, я жалею прежде всего не его, а нас, оставшихся теперь без утешения и надежды. Я настолько привык к тому, что он всегда рядом, что до сих пор мне кажется чудовищным его отсутствие. С горечью думаю и о том, что Натан

Эйдельман, мать которого прожила более девяноста лет, умер в пятьдесят девять.

Предчувствовал ли он это, когда говорил порой, что все его любимые герои – Александр Герцен, Михаил Лунин, Николай Карамзин и даже Иван Иванович Пущин, декабрист, доживший до возвращения, – ушли из жизни до шестидесяти лет и что с ним будет то же самое? Ведь сказал же он жене, когда его везли в больницу: «Я же всегда говорил, что умру в пятьдесят девять». Кто из нас принимал всерьез эти дурацкие шутки? Знали ли мы тогда, глядя на его улыбающееся лицо, какой смертельной болью переполнено его сердце, готовое взорваться?

Уже после его смерти вышла из печати книга, пророчески названная им «Оттуда» и сданная им в издательство незадолго до смерти. Помнится, Тонику очень нравилось это название, хотя речь шла, конечно, не о том свете, а об Италии.

Незадолго до смерти Эйдельман вернулся из Калифорнии, где работал в Стэнфордском университете, и привез груду ксерокопий и книг, касающихся событий в нашей стране в 20-е годы – по эмигрантской прессе и мемуарам. Вся эта груда была свалена в маленькой комнатушке у нас на даче, и время от времени Тоник, с нескрываемым удовольствием озирая эту груду, вдруг выхватывал из нее какой-нибудь листок и увлеченно начинал рассказывать о неведомых нам событиях, сопровождая рассказ, как обычно, интереснейшими комментариями. В это время он обдумывал также замысел новой, уже заказанной ему книги об истории Московского Кремля и его обитателей – от Юрия Долгорукого до современных. Книге этой не суждено было осуществиться.

Уже после смерти Натана Эйдельмана в «Огоньке» была опубликована его небольшая статья, даже не статья, а расшифровка его лекции после возвращения из Стэнфорда, где он ежедневно, более двух месяцев, прерывая работу только на выходные дни, работал в архивах входящего в этот университет Института Гувера, явившегося самым крупным архивным фондом материалов о России в послереволюционные годы. Даже по этой небольшой статье можно судить о масштабах и значении задуманной им книги. Основу ее должны были составить рукописные материалы, собранные в эмиграции Борисом Ивановичем Николаевским и Николаем Владиславовичем Вольским, известным под псевдонимом Валентинов и ставшим одним из обруганных героев главной работы Ленина по философии «Материализма и эмпириокритицизма». Два этих выдающихся человека собрали огромную коллекцию рукописей, создавшую основной фонд Гуверовского архива – сотни тысяч

документов. В них – вся неискаженная история России: от Александра II, Герцена и Огарева – до ГУЛАГа, Жданова и Берии. В общем, как сказал Эйдельман, – «от Радищева до Брежнева». Один из наиболее интересных документов – биография Ленина, написанная Валентиновым. В переписке с Николаевским Валентинов, не скрывая своей несомненной симпатии к Ленину, несмотря на его авторитарность и восхищения его безусловным талантом, пишет, что без Ленина революции в России быть бы не могло: «У него была ражь, гипноз, он мог бы и десять революций сделать. Я вам точно говорю – гипноз».

Огромное количество найденных Эйдельманом материалов проливает свет на события 30-х годов, ранее почти неизвестные у нас. К ним относятся катастрофическое землетрясение в Армении весной 1931 года – в районе медных рудников Зангезура, чудовищный взрыв, произошедший в августе 1939 года на Магаданском рейде, при котором погибло три или четыре тысячи человек и который долгие десятилетия оставался государственной тайной.

Впервые обнаружены документы о массовом выселении корейцев и китайцев с Дальнего Востока, которое, оказывается, началось не в годы Великой Отечественной войны, а значительно раньше и достигло внушительных масштабов – более трех с половиной миллионов человек. Большая часть выселенных была отправлена в Заполярье, в Якутию, где их обрекли на голодное вымирание. Эти огромные планомерные операции, как писал Николаевский, в известном смысле подготавливали массовые выселения во время войны. «Действительно, – пишет Эйдельман, – те методы, которыми руководствовались при выселении калмыков, татар, отрабатывались много раньше на жителях российских земель – на казачестве, на немцах Поволжья, а до этого – на китайцах и корейцах».

Кстати, о казачестве. В рукописной коллекции Николаевского Эйдельман обнаружил анализ Кубанского дела, относящегося к 1932–1933 годам. Из этого зажиточного края в указанные годы было принудительно выселено около двух миллионов человек, более четверти которых расстреляны или погибли в тюрьмах и лагерях. Такие же акции по приказу Сталина проводились в это время в Тамбовской и Воронежской областях. Не менее обличительные документы были найдены Эйдельманом в связи с убийством Кирова. Оказалось, что по «делу Кирова» репрессии были обрушены не только на Ленинград, но и на Москву, Киев, Харьков, Ростов и Одессу, в результате чего пострадало около полумиллиона человек.

Внимательно анализирует Эйдельман исторические прогнозы

Николаевского и Валентинова на будущее развитие Советского Союза. Николаевский писал, что сложившаяся тоталитарная система в данных условиях не может эволюционировать в демократию, а Валентинов утверждал: «Еще как может!», в чем в известной степени совпадал с Эйдельманом.

Даже беглый обзор этих удивительных по своему значению и охвату материалов позволяет вообразить, какую книгу о современной нашей истории мог бы написать Натан Эйдельман. В ней на основе новых материалов он собирался развить одну из основных своих концепций – о неразрывной связи событий XVIII–XIX веков с современностью, о недоразвитых зачатках российского парламентаризма, прерванного матросом Железняковым, о людях, биографии которых «одним концом уходят во времена Герцена и Плеханова, а другим – в наши дни».

Любимый Натаном пример – эмигрант-историк Сватьков, написавший в 1935 году, что его матушка в молодости, в Таганроге, учились у престарелого Павла Александровича Радищева, сына Александра Николаевича Радищева. Сын Радищева выучил матушку, а матушка – Сваткова, который говорил по-французски с женевским акцентом потому только, что учитель Радищева был родом из Женевы. Так женевский акцент был передан из времен Екатерины II человеку, дожившему до начала Второй Мировой войны. «Но это нормальное явление, – пишет Эйдельман. – Все переплетено, и все оказывается чрезвычайно близко. Вот эта связь, этот стык времен и есть моя тема… Николаевский и Валентинов для меня олицетворяют эту связь. Роль этих людей, как и честных серьезных ученых, в нашей стране будет возрастать. Термин «эмиграция» начнет стираться. Все понятнее будет, что у нас единая культура. Все больше и больше мы будем оценивать тех, кто не впал ни в пресмыкательство, ни в черную ненависть».

Неменьшего внимания заслуживает и оборванная на полуслове рукопись последней статьи Натана Эйдельмана «Гости Сталина», опубликованной также посмертно в «Литературной газете». В этой работе, по-видимому написанной в связи с планами будущей книги об обитателях Кремля, Натан Эйдельман с удивительной исторической точностью и художественным чутьем описывает, как ловко обманывал Сталин в Кремле своих знаменитых гостей – Бернарда Шоу, Ромена Роллана, Лиона Фейхтвангера и других выдающихся деятелей западной культуры, которые, будучи убежденными сторонниками демократии и либерализма, тем не менее проявили феномен слепоты и восхищения кровавой тиранией Сталина, хотя были, конечно, и отрицание, и сомнение. Даже известный своим беспощадным

аналитическим умом и скептицизмом Шоу написал: «Часовой в Кремле, который спросил нас, кто мы такие, был единственным солдатом, которого я видел в России. Сталин играл свою роль с совершенством, принял нас как старых друзей и дал нам наговориться вволю, прежде чем скромно позволил себе высказаться». А в октябре 1938 года, выступая по радио, тот же Шоу сравнивал большевиков с создателями независимых Соединенных Штатов: Ленин – Джефферсон, Литвинов – Франклин, Луначарский – Пейн, Сталин – Гамильтон. Недалеко ушел от него и Ромен Роллан, сравнивавший Сталина с римским императором Августом. Выясняя причины этого чудовищного самообмана, Эйдельман выдвигает на первый план такие факторы, как гигантский аппарат дезинформации, идеологической обработки и умелой и незаметной для них изоляции именитых гостей от крестьянства, концлагерей и других миров горя, ужаса и террора. Беседы со Сталиным, открытые политические процессы также входят в эту огромную систему обмана.

На этих мыслях рукопись последней статьи Натана Эйдельмана обрывается. Как вспоминает его жена, он, оставив лист в пишущей машинке, отложил работу на завтра. Но это «завтра» не наступило для него никогда. Теперь можно только с горечью сожалеть, каких книг о современной истории и «связи времен» мы лишились. Уже в больнице, ложась на каталку в свой последний путь в палату, Натан Эйдельман, несмотря на запрещение врача, взял с собой томик Пушкина в надежде разгадать тайну знаменитого пушкинского стихотворения «Анри Шенье». Эту разгадку, до последнего дыхания живя российской литературой и историей, он унес с собой в небытие.

Осталась в россыпях дневниковых и случайных записей ненаписанная им «главная книга о собственной жизни», о классе 110-й школы, о товарищах, об отце, о любимой им «связи времен». Заметки эти с пометкой «ЮК» он собирал всю жизнь, но книга эта так и не написана.

В пасмурный, не по-летнему холодный июльский день мы с Юлием Крелиным получали урну с прахом Эйдельмана в крематории Донского монастыря. Урну положили в целлофановый пакет, а пакет спрятали в сумку. «Такой толстый, а поместился в сумку», – вспомнил невесело Юлик «черную шутку», сказанную на этом же месте восемнадцать лет назад, когда забирали урну с прахом Игоря Белоусова. Пышная высокая трава зеленела вокруг нас на газонах и клумбах, почва которых образовалась из безымянного праха тысяч расстрелянных в сталинские годы, чьи тела сжигались здесь в 30-е и 40-е. Низкие

серые облака, смешиваясь с негустым дымком, неспешно струящимся из квадратной трубы, стремительно перемещались над кирпичной стеной колумбария с фотопортретами усопших, напоминавшей Доску почета, в сторону старой части монастыря с полуразрушенным собором, обломками горельефов из взорванного храма Христа Спасителя, фамильными склепами Ланских и Голицыных, надгробиями над местами последнего приюта Хераскова и Чаадаева. «Все переплетено, и все чрезвычайно близко» – вспомнилась мне снова одна из последних строк Тоника…

Когда я стою перед книжной полкой и смотрю на плотный ряд книг, написанных Натаном Эйдельманом, поражает, как много он успел в своей короткой, трудной, но, безусловно, счастливой жизни. Когда же вспоминаю его безвременный уход, с горечью думаю, сколько он мог бы еще написать. И ощущение нереальности смерти охватывает меня. И не отпускает…

Мой друг писал историю Кремля,
Точнее – обитателей кремлевских.
Его зашили в гробовые доски
И сделали щепоткою угля.
Кирпичных стен кровавое пятно.
Сквозь сито факты тайные просеяв,
Нам открывать сегодня их дано
От Калиты не ближе Алексея.
Здесь кажется зловещим скрип дверей,
Здесь все источник гибельной заразы —
Царь-колокол, не знавший звонарей,
Царь-пушка, не стрелявшая ни разу.
В какой необнаруженной пещере,
В какой из стен скрывается тайник
Того неубиенного Кащея,
Что сотни лет здесь правит, многолик?
Здесь ночью раздается крик совы,
А ввечеру, едва начнет смеркаться,
Крадется тень, минуя часовых,
Бесшумною походкою кавказца.
И сохнут, не поднявшись, тополя,
И мостовые ненавистью дышат.
Мой друг писал историю Кремля —
Теперь ее никто уже не пишет.

Почти четверть века минула со времени внезапного ухода Натана Эйдельмана. Когда-то Пушкин сказал, что Карамзин

открыл для россиян их историю подобно тому, как Колумб открыл Америку. Натан Эйдельман во второй половине минувшего века снова открыл для нас отечественную историю, закрытую почти на семьдесят лет, когда многотомные исторические работы Карамзина, Ключевского, Соловьева, Костомарова, Тхоржевского были насильственно заменены «Кратким курсом ВКП(б)» и кастрированной «Историей СССР». Открытие это, представляется мне, можно сравнить с другим великим открытием нашего времени, совершенным знаменитым французским исследователем подводных глубин Жак-Ивом Кусто, Благодаря многочисленным телевизионным подводным съемкам капитана Кусто неведомые прежде для человеческого глаза таинственные океанские глубины стали доступны каждому включившему телевизор. Книги Натана Эйдельмана открыли миллионам читателей безбрежный океан Российской истории, вернули истории гласность, возвратили нам интерес к нашему прошлому, которое после этого уже невозможно было отменить или запретить. Возможно, в этом – главный подвиг его недолгой жизни.

«Единственный свидетель уходящего столетия»

Лев Эммануилович Разгон, замечательный писатель и солнечный человек, ушел из жизни сухой и ясной последней осенью XX века на девяносто втором году жизни. Жизнь эта была долгой, но нелегкой – семнадцать лет сталинских лагерей, ранние утраты дорогих и близких людей, упорная война с осадившими его в последние годы недугами. Корней Иванович Чуковский как-то сказал: «В России надо жить долго». Лев Разгон, на наше счастье, жил долго, хотя другой на его месте, возможно бы, сломался. Ушли из жизни Варлам Шаламов и другие выжившие узники, смертельно раненные зонами, а Разгон жил и радовался тому, что, как он сам говорил, «пересидел Сталина».

Лагеря не сломали его не только физически, но и духовно. Он не ожесточился, не озлобился. Его книга «Непридуманное», другие его повести и рассказы, несмотря на трагизм описываемых ситуаций, где герой и автор практически одно и то же лицо и литература тесно сплетена с документом, полны света и неистребимой надежды на победу добра. Даже в лагере, под гнетом и надзором. Лев Разгон оставался свободным человеком в несвободной системе. Кто мог позволить себе тогда смеяться над усатым тираном? А он мог.

Я помню, что впервые услышал его рассказы от него в Переделкине, где мы снимали дачу вместе с Натаном Эйдельманом. Меня тогда поразил его не по возрасту юный задорный облик, особенно эти светлые, по-мальчишески озорные глаза и манера себя держать совершенно свободно. С первого момента подкупало также его очевидное бесстрашие, поскольку то, что рассказывал он, даже тогда еще было небезопасно предавать гласности.

Потом мы подружились, и он буквально заставил меня перейти с ним на «ты», несмотря на мое упорное сопротивление – все-таки четверть века разницы, да и величины несоразмерные. Однако по прошествии некоторого времени я начисто перестал замечать разницу в возрасте. Он оказался моложе и крепче духом не только меня, но и многих нынешних двадцатилетних.

Лев Разгон по-детски умел радоваться жизни. Он верил в счастливое чудо, и оно с ним происходило. Именно так к нему через много лет, проведенных в потемках ГУЛАГа, вдруг вернулась его старая рукопись, утерянная, казалось бы, навсегда. Она называлась необычно: «Позавчера и сегодня». Вчера –

времени, проведенного в заточении, не было.

Биография его была причудливой. Родившись в 1908 году, в 22-м он приехал в Москву, где через десять лет закончил историко-экономическое отделение Московского педагогического института. К этому времени относится его недолгая служба в ОГПУ, где он служил в отделе под руководством своего тогдашнего тестя, старого революционера-боевика, активного участника революции 1905 года Глеба Ивановича Бокия, бывшего в свое время начальником Петроградской ЧК и расстрелянного в 37-м. Есть даже архивная фотография – Лев Разгон в чекистской форме. После гибели Бокия Разгон ушел работать в Детгиз редактором «Детской энциклопедии». В первый раз его посадили в том же 37-м, но выпустили. В следующем году его снова арестовали, и долгие годы до окончательной амнистии в 55-м он провел в лагерях.

Тем не менее «жертвой ГУЛАГа» он себя не считал. Вот что писал он об этом: «Свободным человеком я стал в лагере. Там нечего было терять. В лагере освобождаешься от догм и стереотипов. Кроме того, у меня были счастливые возможности свободного общения с людьми огромного интеллекта. Потерял я за эти годы многое, но еще больше приобрел». В лагерях сформировалось его мировоззрение на базе полного отвержения фальшивых идеалов коммунизма, которые он считал утопичными и античеловечными.

Когда в 1946 году его ненадолго освободили, то, поскольку в Москву он вернуться не мог, он приехал в Ставрополь, где устроился работать в типографию. Однако его вторую жену Рику через недолгое время арестовали и отправили в пожизненную ссылку, а вскоре снова забрали и его, инкриминировав ему, что в одном из номеров газеты он поместил портрет Сталина «за решеткой».

Надо сказать, что со своей второй женой, Ревеккой Ефремовной Берг, Лев Разгон познакомился в лагере и прожил с ней вместе 47 лет. Ее суммарный лагерный срок оказался даже больше, чем у него, поскольку она была дочерью известного революционера, члена ЦК партии эсеров Ефрема Берга. Именно она помогла Льву Разгону стать писателем. Смерть Рики была большим ударом для него. В последние годы Разгон собирал материалы для книги о дочери и отце Берг, которую так и хотел назвать: «Отец и дочь».

Писательская судьба Разгона также складывалась непросто. Настоящая известность пришла к нему только в 1988 году после публикации в журнале «Огонек» рассказа «Жена президента» о драматической жизни жены Калинина, упрятанной Сталиным в

лагеря. К тому времени у него уже вышло несколько книг. Зато последние его книги, в том числе книга «Непридуманное», переведены на многие иностранные языки и получили всеобщее признание.

Жизнь свою без работы он не представлял. Вот что он сам писал об этом всего за полгода до смерти: «Для меня главным в жизни была и есть возможность трудиться. Седьмой год состою членом Комиссии по помилованию при президенте России. Три полных дня в неделю читаю толстые папки с заявлениями о помиловании. Это счастье, что президент объявил мораторий на исполнение приговоров и с мая никого не казнят. Состою я и в совете «Мемориала», в совете Еврейского российского конгресса. Увы, я уже не могу передвигаться ни пешком, ни на городском транспорте, поэтому на заседания и собрания меня возят. Глупо умолчать о том, что за эти годы у меня было два инфаркта, повалялся по больницам, не понимаю, как ухитрился выжить, но все это не мешало ощущению счастья и удачи. Моя главная книга лагерно-тюремных воспоминаний продолжает выходить в разных странах. В прошлом году – в американском издательстве «Ардис», а в этом – в Лондоне. В Италии вышел перевод книги «Позавчера и сегодня». Продолжаю публиковаться и часто выступаю по телевидению. Отказывать не имею права, ведь я чуть ли не единственный свидетель уходящего столетия. В США умер почти мой ровесник Толя Рыбаков. Я работаю, активно живу и обязан чувствовать себя счастливым».

Одним из удивительных качеств Льва Разгона были изначальная доброжелательность к незнакомым людям и обостренное чувство справедливости вместе с практическим отсутствием чувства страха. Так, когда ему было уже за девяносто, он дал публично пощечину подлецу, оскорбившему память его первой жены Оксаны, который написал в комментариях к «Энциклопедии Булгакова», что дочери Бокия принимали участие в оргиях на чекистской даче. И кажется совершенно естественным, что именно он, бывший зэк, активно работал в Комиссии по помилованиям, пытаясь творить добро в наш недобрый век. И хотя он был как бы из другого поколения, мы, «шестидесятники», считали его своим.

Он любил женщин, и они любили его. Жена его племянника Ирина, живущая в США, вспоминает, что когда он нес ее будущего мужа из родильного дома, то так заговорился с какой-то встреченной по пути красоткой, что, по уверениям родственников, чуть не потерял младенца.

Он любил петь и пел, кстати, превосходно. Предметом особой гордости для меня было то, что пару моих песен, знакомых еще с

лагерной поры, он любил и пел. Выступая на сцене в Политехническом музее на моем шестидесятипятилетии, он сказал: «Когда после семнадцати лет отсутствия я вернулся в Москву и очутился в обществе друзей моей двадцатилетней дочери, я был поражен – они все непрерывно что-нибудь пели. Большая часть этих песен принадлежала, как выяснилось, некоему Алику Городницкому, хотя я-то их слышал раньше и считал народными. И я сам невольно поддался магии этих песен, хотя и не сразу понял, в чем она заключается. В чем же причина успеха этих песен среди тогдашней молодежи? Во-первых, эти песни были вовсе не советскими – они не звали на целину и в космос, не призывали бороться и побеждать, да и написаны были о нормальных человеческих чувствах нормальными человеческими словами, а во-вторых, это была поэзия».

В конце 90-х для «Авторского телевидения» был снят фильм о моих песнях, где оказалась довольно своеобразная сцена. В соответствии с идеей режиссера, в мастерской у упомянутого выше художника Бориса Жутовского сидят за столом мои друзья и разговаривают обо мне. На столе стоит водка и закуска, а сам я отсутствую. По режиссерскому плану, в состав присутствующих должны войти: художник (Борис Жутовский), политик (им стал мой давний приятель, тогда один из лидеров партии «Яблоко» Владимир Лукин), поэт (в этой роли выступил также упомянутый выше Игорь Губерман) и писатель, которым, к моей радости, согласился быть Лев Разгон.

По мере истребления водки и закуски разговор приобретал все более непринужденный характер. Игорь Губерман уже со второй рюмки начал активно вовлекать в разговор неформальную лексику, и весь материал для фильма безнадежно пропал, а я, отсмотрев эти кадры, узнал о себе массу нового и интересного. Дело, однако, не в этом, а в том, что, когда зашла речь о песне «Снег», написанной в 58-м году, Разгон стал страстно доказывать, что он ее слышал на зоне еще в 55-м, чем немало подогрел мое авторское тщеславие.

Жизнерадостный по натуре, он и в последние годы позволял себе дружеские посиделки с выпивкой. Помню, на банкете по поводу моего шестидесятипятилетия он выпил довольно много за пару дней до собственного девяностолетия, чем чуть не сорвал свой собственный юбилей.

В своем отношении к людям, к друзьям и врагам, к женщинам, к правде и неправде, в своем удивительном бескорыстии и фатальной вере в победу добра он был настоящим рыцарем и настоящим мужчиной, – категории, нетипичные в нашу торгашескую эпоху.

Он любил друзей, и друзья любили его. В последние годы, когда стало сдавать сердце, они сделали все, чтобы продлить эту замечательную жизнь. Трудно перечислить всех, но хотелось бы выделить, кроме его дочери Наташи, еще Евгению Альбац, помогавшую ему в самые трудные часы.

При жизни Лев Разгон не был религиозным человеком, но хоронили его на Востряковском кладбище по традиционному религиозному обряду и читали над ним кадиш – еврейскую поминальную молитву. Во время панихиды в Центральном доме литераторов, куда собралась, кажется, вся Москва, и на кладбище, согласно его последнему желанию, звучали мотивы еврейских народных песен, которые мастерски исполнял на скрипке один из видных авторов и исполнителей авторской песни Борис Кинер. Солнечная и ясная осенняя погода, звуки скрипки, просветленные лица провожающих – все это придавало грустному обряду прощания какую-то странную праздничность.

Он совсем немного не дотянул до рубежа тысячелетий и навсегда остался в уходящем XX столетии рядом с другими такими же светлыми рыцарями правды, как Андрей Дмитриевич Сахаров и Булат Окуджава – его коллега в Комиссии по помилованию. Не случайно Булат посвятил ему песню, опубликованную в своем последнем сборнике «Чаепитие на Арбате»:

Я долго лежал в холодильнике,
Омыт ледяною водой.
Давно в небесах собутыльники,
А я до сих пор молодой.

Вот таким молодым он и остался на все времена, свободный человек в несвободной стране, оптимист в век разочарования и уныния.

Имени Окуджавы

Еще при жизни Булата Окуджавы, сын моих приятелей, девятнадцатилетний студент, спросил меня: «А что вы пели, когда не было Окуджавы?» Вопрос этот звучал примерно как: «А что вы смотрели, когда еще не было телевизора?» И я вспомнил, что с песнями Булата Окуджавы впервые познакомился в 1961 году, услышав их в записях сначала в Москве, а потом на борту военного парусника «Крузенштерн». До этого, в последних классах школы и в Горном институте, мы пели песни военных и послевоенных лет, а в студенческие годы – еще и наследие российских буршей: «Там, где Крюков канал», «Быстры, как волны», а также обязательную «Кису-Мурочку», «Жену» и еще что-то легкомысленное. Об этом прекрасно написал Давид Самойлов в своей упомянутой выше поэме «Юлий Кломпус»:

Что пели мы в ту пору, бывшие
Фронтовики, не позабывшие
Свой фронтовой репертуар?
Мы пели из солдатской лирики
И величанье лейб-гусар —
Что требует особой мимики,
«Тирлим-бом-бом», потом «по маленькой»,
Тогда опустошались шкалики,
Мы пели из блатных баллад
(Где про шапчонку и халат)
И завершали тем, домашним,
Что было в собственной компании
Полушутя сочинено.
Тогда мы много пели, но
Былым защитникам державы,
Нам не хватало Окуджавы.

Окуджавы действительно не хватало, и именно его обычно считают основоположником авторской песни, хотя еще раньше писали песни под гитару Юрий Визбор, Ада Якушева, Михаил Анчаров и некоторые другие авторы. Главная причина здесь, вероятно, в масштабе его огромного поэтического таланта. Но, кроме того, еще и в масштабе личности, в том, что он в своих песнях один из первых заменил столь привычное для воспитанных под сталинский барабан предыдущих поколений советской молодежи местоимение «мы» местоимением «я»,

которое звучало не только в стихах, но и в самой непривычной для слуха интонации его изысканных поэтически и, как поначалу казалось, камерных песен, звучавших как продолжение городского романса. Вспомним горькие строки поэта фронтового поколения Владимира Соколова:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек,
И не надо мне прав человека —
Я давно уже – не человек.

Именно благодаря «камерным» произведениям Булата Окуджавы, впервые после долгих лет маршевых и лирических песен казарменного «социализма», в песенной (и не в песенной) поэзии появился «отдельно взятый» человек, личность, «московский муравей», заявивший о себе, единственное и неповторимое «я». Так началась революционная эпоха авторской песни, в которой снова обрела свой голос молчавшая много лет в беспросветных потемках сталинских и послесталинских времен российская интеллигенция.

Кстати, об интеллигенции. Понятие это, безапелляционно определенное «величайшим гением всех времен и народов» как «социальная прослойка», в наши дни толкуется по-разному. Помню, как мы яростно и неоднократно спорили на эту тему в Переделкине с Натаном Эйдельманом, особенно тогда, когда он назвал Петра I «первым интеллигентом на троне». Это Петра-то, который собственными руками во время стрелецкой казни рубил головы, убил собственного сына, которого Пушкин назвал «гений-палач»! Я в полемике с Тоником, помнится, заявил, что первым интеллигентом был скорее протопоп Аввакум и что интеллигент – это человек, для которого духовные ценности важнее материальных.

В последнее время стало модно обвинять интеллигентов в том, что «они сделали революцию» и поэтому с самого начала виноваты во всех бедах русского народа. Между тем история показывает, что первыми и последними интеллигентами в русском революционном движении были декабристы. Не потому ли они так привлекали к себе и Эйдельмана, и Окуджаву? Пришедшие же им на смену Желябовы и Нечаевы, петрашевцы, народовольцы и социал-демократы, выродившиеся в большевиков, вышли главным образом из разночинцев и были не интеллигентами, а образованцами. А вот мнение Булата Окуджавы, высказанное им в феврале 1992 года в беседе с Ириной Ришиной: «Образованцы, которые делали революцию, –

это не интеллигенция, конечно… Честно говоря, я устал от разброса мнений, от чудовищной неразберихи в этом вопросе. Все переплелось – и попытки научного осмысления, и невежество. Хотя уйти от ответа невозможно». Майор по телевидению заявляет: «Я интеллигент, потому что майор…» Писатель Боборыкин утверждал, что интеллигенты – университетские недоучки, раздраженные посему. А. Солженицын считает, что интеллигенции нет, а есть образованщина. Некто Иван Иванович уверен, что интеллигенты – это «в очках и шляпах».

Бедные интеллигенты! Я тоже, набравшись мужества, вмешиваюсь в этот хор. В течение многих десятилетий нас учили, что интеллигенция – это «прослойка» или в лучшем случае «люди умственного труда». Нас воспитывали на этом стереотипе. Но у меня постепенно сложилось свое представление об интеллигентах, далекое, понимаю, от совершенства, очень неполное, но свое.

Интеллигентность, я думаю, – это прежде всего способность мыслить самостоятельно и независимо, это жажда знаний и потребность приносить эти знания, как говорится, на алтарь Отечества. Вот уже что-то вырисовывается, но этого, конечно, мало. Ведь интеллигентность, кроме того, в моем понимании, – это состояние души. Важны нравственные критерии: уважение к личности, больная совесть, терпимость к инакомыслию, способность сомневаться в собственной правоте и отсюда склонность к самоиронии и, наконец, что крайне важно, неприятие насилия. Что-то, видимо, я упустил и не сомневаюсь, что кому-то эти качества покажутся и неполными, и недостаточными, а кого-то мое мнение, может быть, и покоробит. Я вовсе не претендую на окончательное определение, просто размышляю.

Я никогда не утверждал, что я интеллигент. Но мне всегда хотелось быть интеллигентом. Хотя у меня масса недостатков, пороков, но освобождение от них, наверное, и есть приближение к интеллигентности.

То, что песни Булата Окуджавы исполнялись под гитару, на которой он не слишком виртуозно аккомпанировал себе сам, освоив, по его собственным словам, всего шесть аккордов, тоже имело принципиальное значение, как бы восстанавливая интонационные традиции не «мещанской гитары с красным бантом», о которой тут же принялись оголтело кричать многочисленные ревнители идейной чистоты, а дворянского романса, дворянской интеллигенции. Гитара стала как бы сразу же в оппозицию к высочайше утвержденным в качестве «народных инструментов» баяну («Играй, мой баян») и аккордеону, бодрый

рев которых заглушал тихие человеческие слова. Не случайно Белла Ахмадулина спросила как-то на совместном концерте у партийных функционеров: «Послушайте, что вы его так боитесь? У него же в руках гитара, а не пулемет».

Именно его песни привили молодежи, и не только молодежи, новый (а скорее утраченный задолго до нас старый) тип самосознания – любовь и уважение к Личности. И пути назад уже нет:

Совесть, благородство и достоинство —
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь.
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек!

Кстати, один известный московский драматург, получивший в молодости музыкальное образование, уже после смерти Окуджавы говорил мне, пожимая плечами: «Ну, какой же Окуджава музыкант? Как он мог сочинять песни? Я же видел, как он беспомощно играет, – он все время смотрит на свои пальцы, чтобы не ошибиться в нужной струне».

Помню, как четверть века назад, обеспокоенный приставаниями профессиональных певцов, уверявших, что нельзя петь непоставленным голосом, я, встретив Булата Окуджаву в тогда еще доступной для писателей поликлинике Литфонда, спросил у него, ставили ли ему голос. «А зачем? – искренне удивился он. – Для моих песенок мне и так хватит».

Дело было не в голосе и не мастерстве владения гитарой. Оказалось, что самая сложная гамма чувств и настроений, акварельная система поэтических образов, подлинная стихотворная строка – все это может быть предметом песни. Стихи Окуджавы неразрывно связаны с органикой его неповторимых мелодий. Отсюда невозможность «улучшать» и «аранжировать» его музыку, чего упорно не хотели понимать некоторые композиторы, даже такие талантливые, как Таривердиев и Рыбников, потерпевшие на этом фиаско. Чтобы убедиться в этом, попробуйте послушать, например, песни Булата Окуджавы к «Золотому ключику» на музыку Рыбникова, а потом – на его собственные мелодии.

Творчество Булата Окуджавы произвело революцию и в песенной поэзии, уничтожив «железный занавес» между песнями

и стихами, что не раз приводило в ярость именитых литераторов – ревнителей «чистой поэзии» и не менее именитых композиторов – ревнителей «чистой песни».

В отличие от Галича, Кима и даже Высоцкого Булат Окуджава не писал обличительных диссидентских песен. Как сказала Зоя Крахмальникова, он «не был ни опальным, ни правительственным поэтом». «Я никому ничего не навязывал» – эта фраза послужила названием одной из его книг. Он был лириком и, так же как и Давид Самойлов, не слишком жаловал политизированные стихи. Но сам дух его поэзии, личность лирического героя и автора, свободного человека, подчеркивающего свою независимость, не могли не вызвать с самого начала яростно враждебного отношения всех многочисленных охранительных инстанций.

Я вспоминаю одно из первых выступлений Булата Окуджавы в 1961 году в моем родном Питере, после которого он был подвергнут травле в доносительской статье некоего Н. Лисочкина, снискавшего себе этой статьей сомнительные лавры, опубликованной в газете «Комсомольская правда» от 6 декабря 1961 года под названием «О цене шумного успеха». Вот отдельные цитаты из этой статьи: «О какой-либо требовательности к самому себе говорить не представляется возможным. Былинный повтор, звон стиха «крепких» символистов, сюсюканье салонных поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора – здесь перемешалось все подряд. Добавьте к этому добрую толику любви, портянок и пшенной каши, диковинных «нутряных» ассоциаций, метания туда и обратно, «правды-матки» – и рецепт стихов готов. Как в своеобразной поэтической лавочке: товар есть на любой вкус, бери, что нравится, может, прихватишь и что сбоку висит. Дело тут не в одной пестроте, царящей в творческой лаборатории Окуджавы. Есть беда более злая. Это его стремление и, пожалуй, умение бередить раны и ранки человеческой души, выискивать в ней крупицы ущербного, слабого, неудовлетворенного. Позволительно ли Окуджаве сегодня спекулировать на этом? Думается, нет! И куда он зовет? Никуда.

Невооруженным глазом видна здесь тенденция уйти в «сплошной подтекст», возвести в канон бессмыслицу. А вот и ее воинствующий образчик – «Песня о голубом шарике»:

Девочка плачет,
Шарик улетел,
Ее утешают,
А шарик летит.

Теперь, по прошествии многих лет, перечитывая эту заметку, я с удивлением обнаруживаю, что, помимо своей воли, Лисочкин на самом деле наговорил осуждаемому им автору немало поэтических комплиментов, усмотрев в его стихах «былинный повтор», звон стиха «крепких» символистов, рубленый ритм раннего футуризма, приемы фольклора и, наконец, самое главное, признавая за автором «умение бередить раны и ранки человеческой души».

На выступлении, проходившем во втором Юсуповском дворце на Невском, где тогда располагался Дом работников искусств, вход которого в этот вечер охраняла почему-то конная милиция, присутствовало довольно много ленинградских композиторов. Настроены они были весьма агрессивно и во время выступления не стеснялись топать ногами, свистеть, выкрикивать: «Пошлость!» – и всячески выражать свое возмущение. После концерта, уже в гардеробе, к Окуджаве подскочил именитый в те поры и обласканный властями композитор Иван Дзержинский, автор популярной в сталинские годы оперы «Тихий Дон». Багровый от негодования, брызжа слюной, он размахивал руками перед самым носом Булата Окуджавы и истерически кричал: «Я не позволю такого безобразия в нашем доме! Я – Дзержинский! Я – Дзержинский!» Обстановку неожиданно разрядил стоявший за спиной разбушевавшегося композитора замечательный актер Большого драматического театра Евгений Лебедев, уже успевший слегка выпить, который хлопнул его по плечу и громогласно заявил: «А я – Фрунзе».

Вслед за композиторами по команде партийных органов к освистыванию Булата Окуджавы немедленно подключились и многие профессиональные поэты, усмотревшие в исполнении стихов под гитару эстрадную профанацию поэзии, салонность и поиски дешевой популярности. Особо ревностно обличал Булата руководивший тогда ленинградской писательской организацией поэт Александр Прокофьев, печально прославившийся впоследствии травлей Иосифа Бродского. «Шансоне, шансонетки», – кипятился он.

В результате активной клеветнической кампании, начатой «Комсомольской правдой», Булата Окуджаву уволили из «Литгазеты», где он тогда работал. Благоволившие к нему редакционные начальники как-то вызвали его и сказали: «Нам все время звонят сверху и удивляются, что в отделе поэзии работает гитарист».

И в последующие годы выступления Булата Окуджавы неизменно давали пищу для многочисленных доносов. Наиболее известен один из них, который был направлен в отдел культуры

ЦК КПСС секретарем Ульяновского обкома А. Скочиловым в 1967 году.

Интересно, что и многие диссиденты также приняли песни Окуджавы в штыки, обвиняя его в членстве в КПСС, а также в том, что вместо того, чтобы разоблачать советскую власть, он поет какие-то песенки про Ваньку Морозова или уже упомянутый шарик. Давний друг Окуджавы писатель Владимир Войнович, в доме которого в Штокдорфе, неподалеку от Мюнхена, Булат жил в 1985 году во время поездки в Германию и Францию, вспоминает: «Одна парижская дама из числа просто дураков отказалась прийти на концерт Окуджавы, сказав примерно такое: «Я бы пришла, если бы знала, что он выйдет на сцену, отшвырнет в сторону гитару и скажет, что советский режим хуже фашистского и он отказывается петь до тех пор, пока этот режим не рухнет».

Помню, как в 1986 году в Ленинграде, куда мы вместе с ним ездили выступать, Булат, только что вернувшийся из поездки в Германию и Францию, с горечью жаловался мне на Владимира Максимова, бывшего тогда главным редактором «Континента» и заявившего, что «Булат Окуджава – агент КГБ, поскольку иначе бы его в поездку по странам Европы не выпустили». Эта поездка, как говорил сам Булат, принесла ему немало неприятностей. На обратном пути на пограничной станции Чоп он подвергся жесточайшему обыску, явно по наводке стукачей, поскольку за рубежом он уже бывал неоднократно, а такой обыск был учинен впервые. «Я сам виноват, – рассказывал он мне, – поскольку перед пересечением границы вынул запрещенные к провозу книги из чемодана и спрятал их в вагонный ящик под сиденьем, а вошедший таможенник сразу же туда полез. В результате мне приписали не только провоз запрещенной литературы, но и намеренное ее укрытие».

Окуджаву сняли с поезда и целый день обыскивали самым тщательным образом, даже зубной порошок проверяли. При обыске были отобраны книги «КГБ» Барона, «Бодался теленок с дубом» Солженицына, «Номенклатура» Восленского, «История царской семьи», а также другие книги и видеокассеты. Последовал скандал с проработкой по партийной линии в Союзе писателей и угрозами исключения из КПСС.

Надо сказать, что членство в партии принесло Булату Окуджаве немало неприятностей и трудных ситуаций, включая вынужденные публичные покаяния в печати. Вступил он в партию после XX съезда в 56-м, с открытым сердцем, веря в «комиссаров в пыльных шлемах» и новые времена так же, как когда-то в 1942 году в Тбилиси после девятого класса пошел добровольцем

на войну. «Уже в 59-м году я понял, что совершил ошибку. Коммунистом себя не ощущал, и вообще какой я был член партии в общепринятом тогда понимании? Но выйти из нее не мог: со мной бы разделались и семью бы не пощадили».

Характерно, что и проза Булата Окуджавы, в первую очередь особенно полюбившееся мне «Путешествие дилетантов», – это тоже продолжение его песенной поэзии. Только в другой стране – стране прозы. Может быть, именно поэтому и проза его так же неповторима по своей интонации, как песни. Он сам подтверждает это в своей песне «Я пишу исторический роман»:

Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробиваясь, как в туман,
От пролога к эпилогу.
Были дали голубы,
Было вымысла в избытке,
И из собственной судьбы
Я выдергивал по нитке.
В путь героев снаряжал,
Наводил о прошлом справки
И поручиком в отставке
Сам себя воображал.

Окуджава действительно любил перемещать себя в любимое им начало XIX века, мысленно представляя себя в роли своего литературного героя. Эта эпоха «лет Александровых прекрасное начало», восстание декабристов, «глоток свободы», пушкинская пора привлекали его более всего:

А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем
Поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

На одном из вечеров его спросили, почему он так любит декабристов и ничего не пишет о народовольцах. Он помолчал и ответил: «Какие-то они – оголтелые». Трудно сказать точнее.

И все же нельзя не согласиться с мнением Владимира Войновича, что Булат Окуджава «в прозе был один из немногих, в поэзии – одним из нескольких, а в песне – первым и единственным».

Помню, в конце 70-х годов я организовал авторский вечер Окуджавы в нашем Институте океанологии. Булат заранее предупредил меня, чтобы его не просили петь – он будет

выступать не как автор песен, а как писатель. Он вообще время от времени старался почему-то всячески отгораживаться от своих песен. Так, свою вышедшую незадолго до этого книгу «Путешествие дилетантов» он подарил мне с такой характерной надписью: «Дорогому Саше от бывшего гитариста». Такая форма надписи, как выяснилось позднее, была им весьма любима. Ему почему-то хотелось, чтобы его помнили не по песням, а знали как писателя. «Песни – как театр, они живут двадцать лет», – сказал он однажды Фазилю Искандеру.

В связи с его предупреждением, открывая вечер, я представил Булата аудитории как «поэта и исторического писателя». Здесь он неожиданно обиделся и поправил меня: «Я не исторический писатель. Разве можно сказать о «Войне и мире», что это исторический роман? Я просто писатель».

Привязанность к первой половине XIX века во многом роднила его с Натаном Эйдельманом, с которым его связывала многолетняя дружба. Написав в конце 60-х годов роман «Бедный Авросимов» и пьесу «Глоток свободы», где рассказывается о судебном следствии по делу Пестеля, он, как прозаик, принял эстафету этой темы от Юрия Тынянова, писателя и историка, более других любимого и Эйдельманом. Потом появились повесть «Мерси, или Похождения Шипова» (1971), романы «Путешествие дилетантов» (1978) и «Свидание с Бонапартом»(1983) и многочисленные песни, тесно связывающие кавалергардов, чей «век недолог», и гусара, «в Наталию влюбленного», с героями наших дней и самим автором.

Не случайно Окуджава, «грузин московского разлива», как он в шутку назвал себя, родившийся на Арбате в родильном доме Грауэрмана, пишет о себе:

Я дворянин арбатского двора,
Своим двором введенный во дворянство.

Не случайно он присваивает звание короля соседу по двору, простому парню Леньке Королеву, сложившему голову на войне. Не случайно обращается к своим согражданом с изысканным словом «кавалеры» («Капли датского короля»), не случайно призывает вернуть в жестокий «век нынешний» утраченные рыцарские традиции минувшего века.

Рыцарственность, как главная жизненная позиция, – вот что прежде всего объединяет лирического героя Окуджавы с автором. Это более всего проявляется в его лирических песнях: «Женщина – ваше величество», «Вы пропойте, вы пропойте славу женщине моей», «Комсомольская богиня», «Ель моя, ель,

уходящий олень», «А юный тот гусар, в Наталию влюбленный». Адресаты песен могли меняться, но возвышенное чувство любви и поклонения женщине как «Прекрасной даме» оставалось неизменным. В этом лирическая поэзия Булата Окуджавы сродни поэзии Пушкина.

Что касается прозы Булата Окуджавы, связанной с русской историей, то и она подвергалась самой жестокой и необъективной критике в 1969 и 1979 годах в статьях Владимира Бушина. В первой статье в издевательской форме критиковался роман «Бедный Авросимов». При этом неграмотность Бушина проявилась сразу же, начиная с заголовка статьи, в качестве которого он взял фразу из романа «Удобности производить революцию», не подозревая, что фраза взята из документов Пестеля. Во второй статье, напечатанной десять лет спустя в журнале «Москва», известном своим «патриотическим» направлением, Бушин старательно выискивал ошибки и исторические несоответствия в романе «Путешествие дилетантов». Непозволительный злорадный тон обеих статей со всей очевидностью показывал, что дело вовсе не в исторических ошибках, а в том, что нечего, мол, грузину лезть в нашу русскую историю. К сожалению, достойного отпора со стороны друзей Окуджавы, как он сам считал, Бушин не получил. Ответная статья Валерия Оскоцкого в «Литературной Грузии» прошла относительно незаметно, и все получилось почти как в песне Булата:

Умный в одиночестве ходит кругами,
Он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками, —
Скоро их повыловят всех до одного.

С Булатом Окуджавой я познакомился впервые где-то в середине 60-х годов, когда он недолгое время жил в Ленинграде и мы с ним участвовали в каких-то общих выступлениях, а в 1965 году сидели вместе в жюри ленинградского конкурса авторской песни во Дворце культуры имени С.М. Кирова на Васильевском острове. Справедливости ради следует отметить, что к моим тогдашним песням и стихам он относился довольно критически, в чем, по всей видимости, был прав. В последующие годы его мнение существенно изменилось. Где-то с начала 80-х мы подружились, сначала через посредство Тоника Эйдельмана, с которым мы вместе жили в поселке Переделкино, а потом и просто так.

В 86-м году, осенью, мне довелось вместе с Булатом

Окуджавой, Натальей Горленко и большой группой бардов принять участие в поездке с гала-концертами по городам России, организованной Лидией Киселевой из Ленинграда. В географию поездки входили Казань, Набережные Челны, Саратов, Ленинград и еще какие-то города. Поездка была довольно утомительной. Выступать приходилось в больших залах, а в Набережных Челнах – даже на открытом стадионе, чего Окуджава не любил, справедливо полагая, что авторская песня – для небольших аудиторий. В связи с этим нельзя не вспомнить замечательные слова одного весьма популярного эстрадного автора-исполнителя, заявившего как-то: «Ну, какой же Окуджава поэт? Вот я могу держать стадион, а Окуджава не может. Так кто из нас поэт – я или Окуджава?» На этот раз Окуджава вполне «держал стадион», был вообще весел, оживлен и на редкость демократичен. Возможно, эта поездка была и для него «глотком свободы». Мне почему-то особенно запомнилось наше с ним посещение старого кладбища в Елабуге, где похоронена Марина Цветаева.

В моих бумагах до сих пор хранится один забавный документ – решение худсовета Татарской филармонии о тарификации Окуджавы Б.Ш. и Городницкого А.М. как «чтецов-декламаторов 2-й категории с оплатой за выступление 14 рублей 30 копеек».

В связи с этой поездкой вспоминается один курьезный случай. В Ленинграде мы выступали в Большом концертном зале Ленинградского Дворца молодежи на Петроградской. Известный бард Вадим Егоров, принимавший участие в концерте, со свойственной ему эстрадной патетикой пел со сцены свою песню «Баллада о певчей стае», посвященную Булату Окуджаве и написанную к его 60-летнему юбилею:

Запомним этот март, и занавеса плеск, и дату,
Запомним этот зал, где души и глаза светали,
Запомним этот день, когда на юбилей Булата
Стремительно птенцы гнезда Булатова слетались.

Последние строки песни, которые Вадим спел с особенной аффектацией, были такие:

Летит наш певчий клин, которому названья нету,
И впереди вожак, которого зовут Булатом.

Находившийся за сценой и не слышавший, что поет Егоров, Булат должен был выступать следующим. Когда в своей первой

песне про дураков он дошел до строчек:

Дураки любят собираться в стаю, —
Впереди главный во всей красе,

в зале раздались дружный смех и аплодисменты.

В последние годы жизни Булата мы часто встречались с ним в летнюю пору в Переделкине, где мы с женой снимали комнату в дачном поселке Мичуринец, неподалеку от дачи Окуджавы на улице Довженко. Он жил там, как правило, один, работая над очередным романом, сам готовил себе обеды, копал огород, ходил на прогулки и любил время от времени вечерком зайти к нам на чай «посплетничать» (его любимое выражение). К тому времени он уже перенес тяжелую операцию на сердце, жил со стимулятором и время от времени жаловался на неважное самочувствие. Несмотря на это, он активно работал вместе со Львом Разгоном и другими в Комиссии при президенте по помилованию и каких-то других общественных комиссиях и жюри. В своих суждениях он, как правило, избегал категорических оценок. Одним из самых отрицательных отзывов в его устах были слова: «Это – холодный человек». Сам он холодным человеком не был и все события принимал близко к сердцу.

Вспоминаю, как после октябрьских событий 93-го года в Москве, в Минске, куда он ездил выступать вскоре после этого, провокаторы, организованные тамошними сталинистами, устроили Булату Окуджаве безобразную обструкцию, кидали ему под ноги его книги и пластинки, освистывали его, оскорбляли. Собравшаяся на площади перед консерваторией, где проходил концерт, толпа размахивала красными флагами и плакатами с надписями «Окуджава, вон из Белоруссии!». Он перенес это стоически, не вступая с ними в диалог. Несмотря на все усилия «красно-коричневых», концерт все-таки состоялся.

Неподалеку от Булата, на той же улице Довженко, поселился наш общий знакомый журналист Юрий Щекочихин. Как-то летом мы встретились у него на дне рождения, где был обещан «настоящий кавказский шашлык». Народу собралось много. Все пили обильно выставленные напитки и ожидали шашлыка. Неожиданно для всех в разгаре мероприятия в калитку вошли запыхавшиеся друзья именинника, которые вели на веревке живого барана. Гости приуныли. Стало ясно, что до шашлыка далеко. Булат тут же вспомнил, что он – член общества по охране животных, и в самых категорических выражениях выразил протест против преобразования жалобно блеющего барана в шашлык.

Получив такую могучую поддержку, баран как-то незаметно освободился от веревки и убежал в открытую калитку, за которой, возможно, был изловлен другими любителями шашлыков. Помню, в тот вечер Булат в разговоре со мной сетовал на то, что вот «стихи идут время от времени. А вот с песнями – хуже, – мелодий не стало». Я засмеялся: «Наш с тобой разговор напоминает анекдот: «Один мужик жалуется другому – я уже седьмой год импотент. А второй отвечает – а я, тьфу-тьфу, – всего три года».

Последние переделкинские встречи летом и осенью 96-го в музее Корнея Ивановича Чуковского и у нас на даче были невеселыми. Булат жаловался на здоровье, на легкие, сетовал на то, что вот придется опять ехать в Европу с выступлениями, отрываясь от привычного ритма переделкинской жизни, от работы над книгами. «Врачи не советуют менять ритм жизни». С грустью вспоминаю я теперь об этих днях.

Хозяин дачи в ближнем Подмосковье,
Где мы снимаем угол пару лет,
Выводит розы и глядит с тоскою
На их бутонов матовый вельвет.
Он имена их помнит без запинки,—
Как молоды они и хороши!
Не для продажи на ближайшем рынке
Растит он их – скорее для души.
Полет его фантазии крылатой
Невычислим. Однажды невзначай
Охапку роз он подарил Булату,
Зашедшему к нам вечером на чай,
Догнав его смущенно у калитки.
Булат же, подмосковный старожил,
Еду себе готовил сам на плитке
И на прогулку с палочкой ходил.
Любил копать порою майской грядки,
Перекурить с лопатою в руке,
И что-то соловьиное в повадке
И сереньком просторном пиджачке.
Аэропорт за перелеском слышен.
Холодный день уходит за Можай.
Хозяин чинит старенькую крышу,
Упаковав нехитрый урожай.
И мелкий дождик проливает слезы
Над тем же, что оплакиваю я.
Грядет зима, и далеко до розы,

До жизни, до любви, до соловья.

Известие о смерти Булата Окуджавы я получил неожиданно под Челябинском на Ильменских озерах, где 10–13 июня 1997 года проходил Уральский фестиваль авторской песни. Услышанному ночью по Би-би-си сообщению не поверили и стали проверять по Интернету. К несчастью, оно подтвердилось. Воскресный день 13 июня был ясным и солнечным. На берегу озера, на самодельных трибунах и склонах холма, в ожидании дневного заключительного концерта с утра разместилось несколько тысяч молодых людей, до которых трагическое известие еще не дошло. Настроение было праздничным, кое-где звенели гитары и раздавался смех. Я, как председатель жюри, должен был объявить им о смерти Окуджавы. Помню, как невыносимо тяжело было подниматься на сцену. Как язык упорно отказывался произносить роковые слова. Какая душная, беспросветная тишина повисла над поляной, когда все, сразу онемев, встали.

Через несколько дней, вместе со всей Москвой, я пришел прощаться с Булатом в Вахтанговский театр, где состоялась гражданская панихида. Будучи уверен, что придется в толпе прорываться через всякие кордоны, я сдуру надел джинсовый костюм, но писателей провели обходным путем, и я горько сожалел о своем нелепом одеянии, когда стоял у гроба в почетном карауле.

В перекроенном сердце Арбата
Я стоял возле гроба Булата,
Возле самых Булатовых ног,
С нарукавным жгутом красно-черным,
В карауле недолгом почетном,
Что еще никого не сберег.
Под негромкие всхлипы и вздохи
Я стоял возле гроба эпохи
В середине российской земли.
Две прозрачных арбатских старушки,
Ковылять помогая друг дружке,
По гвоздичке неспешно несли.
И под сводом витающий голос,
Что отличен всегда от другого,
Возникал, повторяясь в конце.
Над цветами заваленной рампой,
Над портрет освещающей лампой
Нескончаемый длился концерт.

Изгибаясь в пространстве упруго,
Песни шли, словно солнце по кругу,
И опять свой полет начинали
После паузы небольшой,
Демонстрируя этим в финале
Разобщение тела с душой.
И косой, как арбатский художник,
Неожиданно хлынувший дождик
За толпою усердно стирал
Все приметы двадцатого века,
Где в начале фонарь и аптека,
А в конце этот сумрачный зал.
И, как слезы глотая слова,
Нескончаема и необъятна,
Проходила у гроба Москва,
Чтоб уже не вернуться обратно.

На отпевании Булата в церкви Святых Космы и Дамиана и похоронах на Ваганьковом, куда его вдова Ольга Владимировна просила «не приходить никого, кроме ближайших друзей», я не был. Мне вообще показалось странным, что его за несколько дней до смерти, уже в бессознательном состоянии, окрестили, хотя при жизни он не был религиозным – наоборот. Не случайно в его песнях и стихах, как правило, вместо слова «Бог» стоит слово «Природа»: («У природы на устах» коварная улыбка», «Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа»). Впрочем, вопрос это непростой. Отпевавший его священник отец Георгий в своей проповеди назвал его псалмопевцем. Ибо, подобно тому, как, читая псалмы, видишь как в зеркале собственную душу, так, слушая песни Окуджавы, человек в 60-е годы увидел в них самого себя. Да и сам Булат, написавший песню «Молитва», стал, по существу, пророком нашего поколения, вернувшим людям смысл и свет жизни. Не случайно многие крылатые строчки его песен сродни заповедям Нового Завета.

Кстати, именно Окуджава, всегда бывший подлинным русским патриотом, рассказал мне однажды кавказскую притчу о существе патриотизма. Пришли к сороке и спросили, что такое Родина. «Ну, как же, – ответила сорока, – это родные леса, поля, горы». Пришли к волку и спросили у него, что такое Родина. «Не знаю, – сказал волк, – я об этом не думал». А потом взяли обоих, посадили в клетки и увезли далеко. И снова пришли к сороке и задали тот же вопрос. «Ну, как же, – ответила сорока, – это родные леса, поля, горы». Пришли к волку, а волка уже нет – он

сдох от тоски».

В 98-м году указом президента Ельцина «в целях увековечивания памяти Булата Окуджавы» была учреждена Государственная литературная премия его имени с довольно странной формулировкой: «За создание выдающихся произведений русской поэзии и вклад в авторскую песню, соизмеримый с вкладом Булата Окуджавы». Кто же это придумал? Да разве можно хоть что-нибудь соизмерить с его вкладом?

В мае того же года мне домой позвонил заместитель главного редактора еженедельника «Вечерний клуб», известивший меня, что газета выдвигает на эту премию мою кандидатуру. Через пару дней раздался звонок из Питера. Звонил критик Александр Рубашкин, бывший когда-то, в незапамятном 67-м году, редактором моей первой довольно беспомощной книжки стихов «Атланты». Он сказал, что правление петербургской писательской организации на своем заседании также решило выдвинуть мою кандидатуру на премию имени Булата Окуджавы. «Хоть ты нас и бросил четверть века назад, а мы все-таки считаем тебя своим». Мое питерское сердце ностальгически заныло, когда я прочитал копию письма питерской писательской организации в Комиссию по Государственным премиям: «Хотя Александр Городницкий много лет живет в Москве, но он родился и вырос в Ленинграде. Здесь происходило его становление как поэта. Родному городу посвящены его лучшие стихи и песни». Еще через неделю позвонил Яков Аронович Костюковский, заместитель председателя правления Международного литфонда, с таким же сообщением. Что мне было делать? А как же «соизмеримый вклад»? Махнув рукой на все, я согласился.

В декабре 98-го, когда я был в отъезде, мне домой позвонил главный редактор «Знамени» Сергей Иванович Чупринин, сообщивший моей жене «по секрету», что моя кандидатура в комиссии по премиям «поддержана единогласно». После позвонили с такими же известиями другие члены комиссии – Вячеслав Пьецух и Андрей Битов. Уже после того, как в газетах был опубликован указ президента, я узнал некоторые подробности обсуждения. Так, выяснилось, что мою кандидатуру горячо поддержали на общем худсовете Алла Пугачева и Олег Янковский. Я даже не подозревал, что они вообще когда-нибудь слышали обо мне.

Премию вручали в Кремле вместе с другими Государственными премиями 11 июня 1999 года, накануне недавно утвержденного праздника – Дня независимости России, пришедшегося на 12 июня – годовщину смерти Булата Окуджавы, день рождения которого 9 мая пришелся на другой праздник –

День Победы. Я перед этим был на гастролях в США вместе с ансамблем «Песни нашего века», откуда, прервав гастроли, прилетел 10 июня. Только что отремонтированный Георгиевский зал Кремля, сиявший свежей позолотой и ослепительными зеркалами паркетных полов, был полон знатными гостями. Я, кажется, оказался единственным из всех присутствующих без галстука, и на меня неодобрительно косились. Вызванные для вручения премии сначала стояли в недлинной очереди на роскошной лестничной площадке перед длинными столами и, расписавшись, совали в карманы конверты с полученными деньгами, а потом проходили в Георгиевский зал. Приятная толщина конвертов обнадеживала. Я еще раньше, сразу после публикации указа, объявил по радио, что считаю своим приятным долгом передать всю полученную мною премию общественному музею Булата Окуджавы в Переделкине, и рассчитывал, что смогу ему всерьез помочь. Как раз назавтра, 12 июня, в годовщину смерти Булата, был намечен вечер его памяти в Концертном зале имени Чайковского на Маяковской площади, и я планировал в начале вечера вручить деньги прямо на сцене директору музея.

В Георгиевском зале, пока ожидали президента, будущих лауреатов ознакомили с протоколом вручения. От награжденных с ответным словом должны были выступать всего два человека: поэт Игорь Шкляревский и актер Михаил Ульянов. Остальные, подойдя к президенту, могли только кратко поблагодарить его, не утомляя долгой беседой. Вошедший Ельцин выглядел непривычно бодрым и свежим, не в пример тому, что мы видели в последнее время по телевидению. Церемония вручения дипломов и медалей явно ему нравилась. Меня вызвали где-то в конце. Когда я подошел к Ельцину вплотную, он оказался значительно выше меня. Лицо его расплылось в выжидательной улыбке. «Спасибо вам, Борис Николаевич, – сказал я ему, – что такая премия стала возможна в России. Ведь ни Галич, ни Высоцкий, ни сам Окуджава долгие годы ничего, кроме травли и гонений, от этого государства не получали. И я так понимаю, что эта первая в истории России государственная премия за авторскую песню вручается не мне, а им. А вот за то, что через меня, – спасибо». Ельцин еще шире улыбнулся и, утопив мою ладошку в своей необъятной медвежьей лапище, прорычал: «Правильно. Это будет хорошая для них память». После чего, вручив мне диплом и необъятный букет, развернул меня лицом к телеобъективам.

На премию, переданную музею (она оказалась довольно скромной – чуть менее пятнадцати тысяч рублей), купили видеокамеру и тент, который потом натягивали во дворике дома в Переделкине во время концертов. В самом доме, со стен

которого улыбаются портреты Булата, молча стоят на полках десятки колокольчиков, которые он собирал при жизни. Теперь там регулярно устраиваются литературные и музыкальные вечера, звенят гитары.

И когда мне доводится бывать в этом доме, зимой и в летнюю пору и я слышу молодые голоса в ограде Булатова двора, на память снова приходят бессмертные строки его ранней песни:

Не клонись-ка ты, головушка,
От невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
Утро новое горит.
Все оно смывает начисто,
Все разглаживает вновь…
Отступает одиночество,
Возвращается любовь.

Вместо послесловия

Мы сравнительно недавно перевалили через рубеж третьего тысячелетия и еще можем оглянуться на стремительно удаляющийся от нас XX век. Для нового поколения молодежи «поющие 60-е» – первая оттепель хрущевской поры – время такое же давнее, как для моего, время такое же давнее, как для моего Первая Мировая война. Новый ускоряющийся ритм жизни, Интернет, мгновенно связывающий континенты и грозящий заменить печатные книги, – почти как в романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Победное шествие постмодернизма и других суперсовременных течений в искусстве, отменивших рифмы и ритм в стихах, мелодию в музыке и похожесть в рисунке. Объявление нравственности в литературе устаревшим атавизмом. Диктатура силовых структур и продажных чиновников вместо демократии. Поглотившая все коррупция, проникающая во все эшелоны власти. Все как будто призвано разделять людей, отталкивать их друг от друга. Не кажутся ли по-детски наивными сегодня знаменитые строки Булата Окуджавы, пением которых заканчивались когда-то многотысячные фестивали авторской песни – «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»?

Оборачиваясь на прожитую жизнь, я могу сказать, что я вряд ли был советским поэтом, зато был советским ученым. Значительную часть жизни я работал на оборону своей страны. Данное обстоятельство никогда не мучило мою совесть. Хотя я отлично понимал, что способствую созданию орудий убийства, которые попадут в руки людей, которым их доверять нельзя. Параллельно существовали как бы два разных человека. Первый – Городницкий-поэт, автор идейно не выдержанных стихов и песен, которого после доноса в 1968 году, когда я попал в «черные списки», пятнадцать лет не печатали, запрещали выступать, вымарывали фамилию из театральных афиш.

В то же время, существовал и второй Городницкий – научный работник. В те времена еще не было современных компьютеров, а разные отделы КГБ, похоже, не соприкасались друг с другом. Поэтому в своей второй ипостаси я был ученым, успешно трудившимся на военно-промышленный комплекс Советского Союза. В загранрейсах на научных судах вел себя прилично, за рубеж сбежать не пытался, контрабанду и антисоветскую литературу не провозил, а главное – работал над актуальнейшими проблемами для нашего славного Военно-морского флота, считая, что делаю правильное, святое дело. Как

тот ученый из фильма «Девять дней одного года», которого замечательно сыграл Алексей Баталов.

Что же касается песен, то были поэты и авторы, которые на самом деле были диссидентами. Например, Александр Галич или мой друг Юлий Ким, в молодости сочинявший обличительные антисоветские песни. Я никогда этого не делал. Поэтому, когда теперь многие литераторы и барды начинают бить себя в грудь и кричать, что они были героями и боролись с советской властью, я всегда подчеркиваю, что никогда не был диссидентом. Я был вполне лояльным советским гражданином. Однако все стихи и песни, которые я писал, я писал без цензуры «сверху». Ни я, ни Юрий Визбор и Булат Окуджава, бывшие членами партии, ни Новелла Матвеева, ни Владимир Высоцкий, в партии не состоявшие, никогда не воевали с советской властью. Это власть, сразу поставившая авторскую песню вне закона, воевала с нами, поскольку любая попытка свободно дышать и говорить в несвободном государстве сама по себе уже являлась крамолой. Не случайно в те времена социалистический реализм переводился как «восхваление начальства методами, доступными его пониманию».

В последнее время я ловлю себя на том, что все чаще оглядываюсь в прошлое. Старые друзья и собеседники уходят один за другим, а новых заводить – поздно. Как гласит восточная мудрость, тот, кто сажает деревья под старость, уже не может надеяться, что будет сидеть в тени их ветвей.

Память начинает подводить, особенно по части всего недавнего. «Память, как зрение, делается дальнозоркой: помню войну и не помню, что было вчера». Среди постоянной суеты текущих дел, шумного громыхания сегодняшних буден, ежедневных телевизионных и интернетовских страшилок, в моих ушах все явственнее звучат негромкие струнные аккорды давно умолкших гитар.

Жил я достаточно долго.
Где я умру – неизвестно.
Определение дома,
Определение места.
Все опознать его силюсь я,
Запечатлеть его в слове.
Я родился на Васильевском,
Мать и отец – в Могилеве.
Внучки родились в Израиле,
Рядом с погибшим Содомом.
Кто растолкует мне правильно,

Что мне считать своим домом?
Гнал ураган меня галсами
С яростью невыносимой.
В спальный мешок забирался я,
Пахнущий дымом и псиной.
Север пургой меня потчевал
Над океаном бездонным.
Кто объяснит мне доходчиво,
Что мне считать своим домом?
Долго не ведал я, баловень,
Истины в горьких облатках.
Жил я подолгу на палубах
Разных судов и в палатках,
Там, где для мыслей подобных
Попросту не было времени.
Определение дома,
Определение племени.
Живший стихами и песнями,
Был бы, возможно, всегда я
Счастлив с подругою, если бы
Не появлялась другая.
Таинство детского лепета,
Блин, что останется комом.
Кто объяснит мне бестрепетно,
Что мне считать своим домом?
Предки, что газом удушены,
В общей исчезли могиле.
Дом мой, в блокаду разрушенный,
Люди обжили другие.
Необратимо потеряно
Все, что с рожденья дано нам.
Кто объяснит мне уверенно,
Что мне считать своим домом?
Город ли, желто-медовый,
Этот заснеженный мысли?
Определение дома,
Определение смысла
Жизни, что теплится вроде бы,
Значит, не кончился порох.
Определение Родины,
Призрачной точки опоры.